Александр Бек

Александр Бек

4



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1976

Александр Бек

Собрание сочинений
в четырех томах

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1976

Александр Бек

Собрание сочинений

Том четвертый

Почтовая проза
•
Такова должность
•
На своем веку

Роман-записки

•
Литературные заметки, дневники

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1976

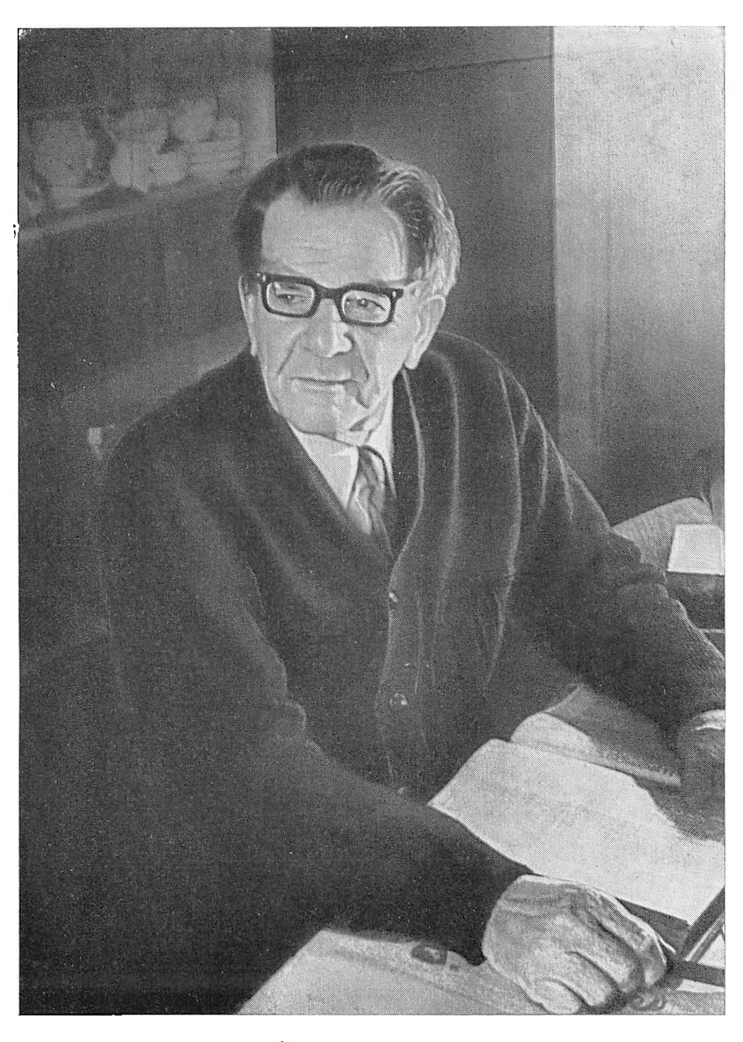
Р2
Б 42

Редакционная коллегия:
Н. ЛОЙКО, М. КУЗНЕЦОВ, А. РЫБАКОВ

Комментарии
Т. БЕК

Оформление художника
М. ШЛОСБЕРГА

Б $\frac{70302\text{-}056}{028(01)\text{-}76}$ подписное



А. Бек

Почтовая проза

Передо мной мои давние герои — металлурги. Вещь, посвященная старшему, уже ушедшему, и более молодым поколениям советских металлургов, у меня, что называется,— в работе. Мобилизованы, извлечены из шкафа десятки папок, записных книжек и тетрадей. Отысканы, легли на стол и пачки моих старых личных писем.

Перечитав эти письма, относящиеся к тридцатым годам, адресованные Лидии Петровне Тоом, я подумал, что многое в них и само по себе, независимо от будущего произведения, пожалуй, представляет интерес, характеризуя в какой-то степени время, литературные искания, связанные с «Историей заводов», «Кабинетом мемуаров», а также мои первые шаги в качестве писателя-прозаика.

Вычеркнув из писем все, что не идет к делу, я воспроизвожу их в том виде, как они тогда вылились из-под пера. Кое-где, так сказать, по ходу действия, как бы дополняя письма, я позволил себе привести некоторые мои неопубликованные наброски и отрывки. Разумеется, потребовались и примечания или, лучше сказать, пояснения.

В итоге получилась эта книжка. Чеканные пушкинские строки — «доныне гордый наш язык к почтовой прозе не привык»,— строки, которые я не отважился избрать эпиграфом, дали ей название.

МОСКВА-НОВОКУЗНЕЦК

1932. Февраль — июнь

Приходится сразу начинать с пояснения.

Еще в 1931 году превратности судьбы,— о них сказано далее в некоторых письмах,— забросили меня на московскую окраину на завод «Красная Пресня». Побитый в ли-

тературных драках критик, я нашел пристанище в редакции заводской многотиражки «Вагранка», зарабатывал себе на хлеб как штатный труженик, едва ли не единственный, этого еженедельного листка.

Мой адресат, уехавший по партийной мобилизации на строительство Кузнецкого металлургического комбината, стал там, исполняя задание главной редакции «Истории заводов», организатором «Истории Кузнецкстроя».

Хочется для зачина привести письмо Л. П. Тоом — ее первое письмо с площадки Кузнецкстроя. Делаю это, конечно, с разрешения писавшего.

14 февраля 1932 г. Кузнецкстрой

...Многим я тебя удивлю. Какими мы были наивными в своих представлениях о Кузнецкстрое! Мы воображали, что жить я буду в бараке, стирать в тазике себе белье и варить кашку на керосинке. Нет, держи выше.

Но расскажу по порядку. Начну с поезда. Как уже было сказано в моей открытке с дороги, поезд шел без вагона-ресторана. Более того — и на станциях нигде не было обедов. Но наше купе оказалось очень дружным. Ехали: хозяйственник-коммунист из Востоккокса, командированный в Кузнецк к пуску коксохимкомбината, вузовка-коксохимик, которой предстояла практика, и молодой нормировщик-строитель. Все свои припасы мы делили между собой. Ели консервы, сыр, молоко, чай, печенье.

...Я в дороге не теряла времени даром и старательно занималась. Во-первых, усердно расспрашивала соседей о коксохимическом производстве, и они добросовестно мне отвечали. Во-вторых, проштудировала книжку «Доменное производство», так что в грубых чертах с этим делом познакомилась.

Подъехали к Кузнецку 13-го в 11 часов вечера. Из Новосибирска я послала телеграмму секретарю Франкфурта: «Еду командировке ЦК. Приеду тринадцатого. Прошу встретить». Спутники уверили меня, что никто не встретит, так как поезд опоздал на 11 часов. Поэтому по приезде я наняла возницу-крестьянина и велела везти себя в гостиницу. Приехали в «гостиницу» — паршивый дом в так называемом соцгороде (будь он неладен, до чего там скверно,— зачем только эдак позорить слово «социалистический»), в Нижней колонии. Конечно, мне объявляют: комнат нет. Тут же в прихожей сидят люди, ожидают но-

меров, но неизвестно, будут ли они. Что делать? Я села на табурет и тоже жду. Вдруг входит дядя огромных размеров в военном, пристально всех оглядывает и в особенности меня.

— Вы из Москвы?

— Да.

— Телеграмму Франкфурту давали?

— Да.

— Тоом?

— Да.

— Где ваши вещи? Едем.

Забирает мои вещи и несет... в автобус вместимостью человек на тридцать. Кидает в машину мой тощий багаж, подсаживает меня, и мы едем. Едем долго-долго. Наконец приезжаем в Верхнюю колонию. Здесь хорошенькие, небольшие, термолитовые (деревянные с прокладкой) дома, где живут инженеры, а также иностранные специалисты и т. д. Входим в один дом, так называемый правительственный (в нем, кстати, живет и Франкфурт). Дядя в военном ввел меня в комнату, большую, хорошо меблированную, и, любезно пригласив располагаться, попрощался.

Я на славу выспалась. Здесь, конечно, ванна и все удобства. Это дом для командированных из разных высоких учреждений. Здесь живут недели по две. Однако сегодня здесь были сведущие люди и сказали, что меня, может быть, оставят тут совсем, так как этот дом хотят превратить в постоянное жилье.

Я уже заказала и полку для книг, и вообще комнату хотят еще «обставить». И вот еще что. Для нас, тут обитающих, есть домработница, которая всех обстирывает, убирает, ходит в лавку, варит, если это ей поручишь, и т. д.

Боюсь, не потурят ли меня отсюда? Может быть, меня, как ревизора, за кого-то принимают, не подозревая, что я лишь проштрафившийся литератор? Да и посланный в скромном звании работника будущей «Истории Кузнецкстроя».

Рядом здесь столовая иностранцев и их закрытый распределитель. Уборщица говорит, что я могу быть туда прикреплена. Уже сегодня купила мне там десяток яиц. Сахар здесь продается свободно, без карточек. Словом, край сей изобилен.

Но каков же Кузнецкстрой? Я мало видела, но все же

скажу: удивителен. Чем? Едешь тысячи километров пустыней, поросшей чахлой растительностью, и вдруг — такой кусок кипучей человеческой энергии! Кругом красивые горы, воздух чист, небо голубое, солнце, несмотря на мороз, прямо-таки южное, и все здесь разворочено, всюду упрямо копошатся, работают люди. Все живет, кипит. Впечатление сильное.

Очень интересно: перед заводоуправлением, прямо на земле, книги, книги, целый Госиздат. Внутри — опять два прилавка. И народ все покупает да покупает. Я купила «Донбасс героический» Гудка-Еремеева, «Горькую линию» Шухова (про Сибирь), «Дело чести, славы, доблести и геройства» (кузнецкстроевский сборник) и кое-что еще.

Вообще, наверное, здорово обрасту тут книгами.

Следующее утро

...Так вчера и не смогла отправить это письмо: здесь нет конвертов. Прими к сведению и вышли.

Конверты, разумеется, я выслал. Слал и письма в этот удивительный Кузнецкстрой, уже заваленный книгами, но еще не снабженный почтовыми принадлежностями.

Впрочем, и я строчил на чем попало, на листках, что находились под рукой. Эти наскоро заполненные страницы, что я привожу следом за письмом Л. Тоом, повествуют про мое житье-бытье в Москве.

27 февраля. Москва

...Эти дни, эти месяцы я ощущаю как дни перелома в моей жизни. Я действительно всерьез пишу свою повесть. Сижу над ней, точно прикованный. Утром пишу, вставая ежедневно в шесть часов, а на заводе, куда прихожу к десяти, продолжаю исподволь эту же работу, выясняя ряд вопросов, углубляя свое понимание дела, разговаривая с людьми о том, о чем пишу.

Буквально — врезаюсь в жизнь. Это страшно интересно. Чем дальше, тем больше. Это втягивает. Но задача неимоверно трудна. Ведь я не хочу так, от нечего делать, написать повестушку. Да и ничего хорошего у меня не получится от такой любительщины.

И вот вопрос — сумею ли я овладеть новой профессией, достигнуть в ней хотя бы некоторого совершенства? Именно такую задачу я перед собой ставлю: овладеть про-

фессией, выучиться которой не легче, чем профессии инженера или летчика. Хватит ли у меня сил и упорства на то, чтобы преодолеть трудности ученичества?

Мне придется очень тяжело. Я к этому внутренне готов. Не зря писательство называют каторгой. А ученичество — это, наверное, каторга вдвойне. Особенно для меня, никогда раньше и не помышлявшего о том, чтобы стать писателем-художником, автором художественной прозы.

Я уже и теперь трижды перечеркнул, сделал наново отрывок, который хочу более или менее отделать. Трижды, а удовлетворения написанным все-таки нет. Однако каждый раз получается, по-моему, немного живее, интереснее. И чем дальше я вникаю, проникаю в самую жизнь, тем больше новых штрихов, черточек мне хочется внести в отрывок.

Работа в «Вагранке» у меня теперь опять-таки связана с моим писательством, которое не выходит у меня из головы. После четырех я беседую с нужными мне людьми, иногда привожу их даже к себе домой и здесь разговариваю по два-три часа.

Но изучение — это ведь далеко еще не все. А думать образами? И видеть то, что излагаешь, выражаешь словами на бумаге? А сюжет? Все трудно, трудно, трудно, и все в тысячу раз интересней критики. Тут работаешь над самой жизнью, постигаешь жизнь, стремишься выразить это свое постижение. Год, два, три упорного, неустанного, каторжного труда, и я научусь писать искусно. Верю в это, как маньяк.

...У вас там, на Кузнецкстрое, сейчас праздничные дни: пускаются коксовые батареи, центральная электрическая станция и т. д. Повезло же тебе — приехать как раз к пуску.

4 марта

...Вчера был на «Страхе» в МХАТе. Представь, очень понравилось. Есть в этой вещи настоящее искусство, которое теперь, занимаясь своей повестью, я начинаю понимать. Эта вещь как-то покоряет, хотя, поразмыслив, не все в ней принимаешь. Сейчас я разбираюсь в своих впечатлениях и преодолеваю глубокое влияние, которое оказал на меня этот спектакль. «Главное в искусстве — простота. Поле. Колышется рожь. Просто. А это волнует, трогает». Так в пьесе говорит старая коммунистка Кла-

ра. И места, построенные на этом принципе, самые сильные в пьесе. А верен ли он?

9 марта

...Писание у меня идет очень, очень туго. Работаю каждый день, и не нравится мне то, что я написал. Накатано уже листа три, но все надо будет переделывать, сжимать, прессовать, чтобы из трех остался один.

...Нет-нет и опять возвращаюсь мыслями к «Страху». Там есть тип, который всякий раз, когда к нему обращается ребенок, бросает лишь единственное слово: «Отстань». Одной этой мелочью Афиногенов раскрывает, что человек перед зрителем нехороший, не настоящий. Это искусство, и это действует. Вот так и я хочу писать. Чтобы показать человека и завод в правдивой жизненной мелочи. Но пока не выходит. Буду овладевать, одолевать.

13 марта

...Сейчас у меня большое переживание, хочу поделиться. Читаю последний номер «Красной нови», рассказ Чумандрина «Белый камень». Различаю его писательские приемы, вижу, что как сделано. Рассказ мне не нравится. Не глубок. Обычная приевшаяся история. Организуется штурм — люди работают по две смены. Сколько раз я об этом уже читал. У меня повесть, думается, гораздо интереснее,— там по замыслу нечто иное.

Первая глава у меня штурм; поначалу это выглядит почти как литературный штамп, но с новыми линиями, которые потом разовьются (новизна в том, что показывается безобразная организация производства,— хотя читатель еще очень-очень смутно ощущает это безобразие или не ощущает совсем,— безобразная организация производства, которая отнюдь не устраняется штурмом). Показывается геройство. Потом дальше, во второй главе, вскрывается ограниченность этого геройства, и ему противопоставляется более глубокое геройство людей, взявшихся за реорганизацию производства. И наконец, третья глава показывает ограниченность и этого геройства, когда оно выливается в порыв, во вспышку. И тут я нарисую, стремлюсь нарисовать еще более высокое и незаметное геройство упорного овладевания техникой, геройство длительной работы, которая долгими месяцами преодолевает косные традиции, далеко не сразу дает результат. Людям, которые

проделывают такую работу, всерьез изменяющую лицо завода, и будет, собственно говоря, посвящена моя повесть. «Серьезные люди» — меня подмывает так ее назвать.

Новое здесь будет в том, что изображается планирование на заводе, вопросы уравниловки, организации производства со всей тщательностью, правдивостью, подробностью... Иной рассмеется, когда скажешь, что такая тема возможна. Но она возможна и нужна. И именно такова моя тема.

И вот, читая рассказ Чумандрина, я сразу как-то загорелся: выходит ли у меня хотя бы так, как пишет он? Смогу ли я без отвращения прочесть то, что мной написано?

Ведь когда я начинал писать, я не мог себя читать без отвращения. До того все было не то, не так, до того все сбивалось на газетную статью.

Но сегодня я прочел начало своей повести без отвращения. Написано плохо, однако уже так, что можно читать не без интереса. Есть, кажется, даже удачные места.

Вновь решаю работать, стиснув зубы, над тем, чтобы стать писателем. Понимаешь, в этом случае и, пожалуй, только в этом случае по-настоящему получит смысл и оправдание вся моя забубенная, неудачливая и все же не зряшная жизнь.

И вот я, не имеющий, вероятно, почти никакого художественного таланта, хочу воспитать, вырастить, развить его в себе. Я знаю, что это осуществимо. Нужно лишь зверское упорство. Нужны годы непрерывной, неустанной, ежедневной работы. И я на это иду. И у меня уже есть первые малюсенькие успехи.

2 апреля

...Не знаю, аккуратно ли ты получаешь газеты? Посылаю тебе вырезку — письмо о Кузнецкстрое немецкого коммуниста Макса Гельца. Это, конечно, документ будущей «Истории Кузнецкстроя».

Газетная вырезка сохранилась в конверте и поныне. Привожу несколько абзацев.

«Макс Гельц. Домны переделывают руду и людей. *(Письмо о Кузнецкстрое.)* ...Временная дорога из Нижней колонии ведет мимо заводоуправления через площадку к

Верхней колонии. Германский прокатчик из Генингсдорфа, которому приходится по ней каждый день проходить по три-четыре раза, заявляет:

— Здесь движение, как на Фридрихштрассе в Берлине.

И действительно, это колоссальное скопление людей, эта огромная масса движущихся рабочих, повозок и автомобилей напоминает самые оживленные улицы европейских городов.

...Прокатчик — иностранный специалист — видел бурный восторг рабочих, когда коксовый комбинат дал в полуночный час первый кокс.

— Это *наш, наш* первый кокс.

Он часто слышал, как рабочие говорили:

— *Наша* домна.

В этом словечке *«наша»* тайна победоносной неисчерпаемой силы советских ударников. «Их работа, которую они любят, не основывается только на стремлении заработать деньги» — вот какие слова осмелился написать этот наш ворчун прокатчик в письме своим родственникам».

6 апреля

...Я пишу и пишу. С трудом, со скрипом, но дело движется. Рою, копаю, ищу золотоносную жилу. Сначала шла только грязь и вода, теперь уже попадаются камни и маленькие блестки металла. Или это игра света? Буду рыть, рыть, рыть!

24 апреля

...Приходит ко мне сегодня утром В. и говорит:

— Поздравляю.

— С чем?

— С ликвидацией РАППа.

Да, В. оказался прав. Сегодня опубликовано постановление ЦК о ликвидации РАППа. Это крепкий удар по разношерстной группе, которая захватила РАПП. Теперь монополия этой группы сброшена. Руководить литературой будет коммунистическая фракция общего Союза советских писателей. Удельный вес (количественный) бывших вождей РАППа в этой комфракции будет незначителен, хотя влияние их, вероятно, останется еще немалым и самые жестокие бои, думается, еще впереди.

Уже сегодня я вновь почувствовал себя человеком в литературе. Могу опять заняться литературной критикой, теперь дверь к этому открыта. Как же мне быть дальше? Не оставить ли мысль о писательстве? Я раздумываю об этом. Заново взвешиваю разные «за» и «против».

Не зря ли я взялся за художество? Ведь никогда раньше меня не тянуло писать рассказы или повести. Боюсь, что решился я на это вовсе не по неодолимой внутренней потребности, которая называется призванием, и, как мы знаем из множества биографий, обычно еще с юности томит будущих людей искусства, а лишь потому, что жизнь, как говорится, загнала «в собачий ящик». Вспоминаю недавнюю встречу с К. Он, некогда мой товарищ, а потом рапповский вельможа, увидел меня у раздевалки в Доме советского писателя и процедил:

— Этот труп еще здесь появляется?

Да, пришлось испытать судьбу «угробленного» критика, чтобы зародилась мысль и мечта о писательстве.

Ныне, после ликвидации РАППа, эта вынужденность убрана. Пожалуй, можно возвращаться в критику. Но, представь, не хочется. Что-то во мне уже проросло, пустило корешки. Я уже испробовал вкус постижения жизни. Постигнуть и выразить — для меня это теперь самое интересное на свете. И уже по доброй воле остаюсь верным своим планам.

Однако на чем же, если не строить иллюзий, они зиждутся? Рассчитывать на то, что разумеют под словами «божьей милостью», я не могу. Но маленькая искорка, возможно, во мне есть. Буду ее раздувать. На нее надежда. Без нее — дело пропащее.

8 мая

...Сегодня кончил работу в «Вагранке». Этот полуторагодовой период пройден мною, в общем, с честью.

Еще не знаю, где и как буду зарабатывать. Быть может, придется туговато. В душе по-прежнему муки, сомнения, колебания относительно моего писательства. Ведь ничего готового еще нет.

...Сообщаю литературные новости. Выделен Оргкомитет нового Союза. Бывшие руководители РАППа получили только два места (Фадеев и Киршон) из двадцати. Председатель Горький, заместитель Гронский (редактор «Известий»).

БРИГАДА. МЫ — НА ПЛОЩАДКЕ КУЗНЕЦКСТРОЯ

1932. Август

По-видимому, отдельные мои письма потерялись. Во всяком случае, в переписке почти ничего не сказано о том, как я собирал бригаду литераторов для поездки на площадку Кузнецкстроя. Кое-что все же уцелело.

В конце июля я получил письмо из Новокузнецка. Вот некоторые строки:

«...Мне пришла мысль, что ты мог бы на время приехать сюда. Ты меняешь ведь работу. А нам работники нужны до зарезу. Работы — горы, делать ее некому. И вот подумалось: было бы хорошо, если бы приехал ты в помощь «Истории Кузнецкстроя». В горкоме партии это одобрили. И предложили вызвать бригаду,— человека три.

Сегодня послана тебе телеграмма, но как-то не надеюсь на успех. Если не приедешь, то хоть бы подыскал нам в Москве организатора по цехам. Мы просто пропадаем от отсутствия сил. Каждый грамотный комсомолец здесь на счету, и его не выдерешь, не дадут.

А с бригадой было бы замечательно. Мы дали бы каждому рублей 300 на дорогу и рублей 300 в месяц. Можно было бы не бог весть каких больших писателей. Их направили бы в цехи, работа сдвинулась бы. Подумай, у нас ведь десяток цехов — крупных заводов».

...Это приглашение в Кузнецкстрой взволновало меня. Помнится, я не колебался, решил ехать. В бригаду мне удалось привлечь одного настоящего писателя, скромного, милого Н. Г. Смирнова, который был уже автором небезызвестных книг «Дневник шпиона» и «Джек Восьмеркин — американец». Наряду с ним в бригаду включилась и З. А. Крянникова, молодой критик, жена писателя А. И. Тарасова-Родионова (тоже таким образом приобретшего некое касательство к бригаде). Крянникова хотела, пыталась перейти на очерки, на прозу.

Лишь одно мое письмо говорит о наших сборах.

3 августа. Москва

...Ну вот, мы, кажется, едем. Должны были бы выехать сегодня, но в представительстве Кузнецкстроя нам сказали, что на сегодня есть два билета в международный и один в мягкий, а пятого будут три международных. Я настаивал, чтобы ехать сегодня, но «бригада» порешила отложить до пятого, сесть всем в одно купе.

Мы едем трое: я, Смирнов и Крянникова. Я не особенно хотел брать Крянникову, но никого больше подыскать не мог,— все говорят, что невыгодные условия. Крянникову я взял еще и потому, что она хочет остаться в Кузнецке на год,— возможно, это как раз будет организатор по цехам.

Денег мы из Кузнецка не получили ни копья. Знаю, это не ваша вина, а вина почты. В представительстве нам выдали (вчера мы получили) по сто рублей.

С нетерпением жду отъезда. В эти дни — с тех пор, как получил телеграмму с приглашением,— я совершенно выбит из колеи, все жду, когда наконец сядем в вагон и поедем.

В моих позднейших записях сохранились некоторые первые впечатления приезда на площадку. Приведу отрывок.

...Мы стояли у окна вагона. Скорый № 12 шел осторожным замедленным ходом, словно нащупывая путь. Колея была проложена недавно, балласт еще оседал и требовал постоянной подсыпки.

Начинались первые складки отрогов Алтая. Полотно прорезало мелкие взгорья, заслоняющие горизонт. Мы напряженно вглядывались в даль. Не эта ли выемка последняя, не за этим ли пригорком покажется наконец то, что так хочется скорей увидеть?

И вдруг за каким-то поворотом он открылся сразу, целиком, всей панорамой — Кузнецкий металлургический завод. Разговоры оборвались, стало тихо, все прильнули к окнам. Вероятно, многим, кто подъезжал в те годы к Кузнецкстрою, на всю жизнь запомнилось волнение этой первой минуты, первого взгляда на площадку.

Он возник перед нами множеством строений, протянувшихся на километры, изрытый котлованами, в строительных мачтах, в грудах наваленной земли, в движении паровозов, грузовиков и кранов. Над всем возвышались черные башни, две дымились, две другие, еще не законченные монтажом, вырисовывались в небе могучими железными сплетениями.

Одна из башен внезапно озарилась снизу красным. Кто-то воскликнул:

— Пускают чугун!

Но поезд уже остановился, скрежеща тормозными колодками. На дощатом бараке, заменявшем вокзал, крупными подтекшими буквами было написано: Новокузнецк.

Так, в августе 1932 года мы, небольшая группа литераторов, прибыли на площадку Кузнецкстроя для работы над историей завода.

На другой день после приезда мы шагали через площадку, взметывая ботинками изжелта-серую пыль, к строителю и главному инженеру завода академику Бардину.

Мы шли, останавливаясь на каждом шагу. Из высокой железной трубы первого мартена вылетало пламя: происходила сушка печи. Внизу, под железобетонной эстакадой, стояли четыре паровоза, окутанные клубящимся паром. Подземная паровая магистраль еще не была готова, пришлось использовать локомотивы для производства пара, нужного мартену.

Секретарь Бардина без задержки впустил нас к нему. Не поднимая глаз, Бардин что-то буркнул. Несколько позже близкие Бардину люди рассказали, что, от природы застенчивый, он в минуту смущения говорит отрывисто, невнятно.

На стене висел большой синий лист, густо пересеченный в разных направлениях цветными линиями, с надписью «план подземного хозяйства Кузнецкого завода». После нескольких незначащих вопросов один из нас попросил пояснить этот план.

Высокий, костистый, крупный, слегка сутулясь, словно для того, чтобы не казаться таким большим, Бардин подошел к стене, обвел пальцем контуры завода и сказал:

— Вы видите, что конфигурация завода поразительно

напоминает очертания чайки на занавесе Московского Художественного театра.

Минута смущения миновала. Сухощавое лицо Бардина теперь выглядело мягче, добрее, проблеснули глубоко запавшие маленькие ясные глаза.

Раздался телефонный звонок. Бардин взял трубку. Он говорил, как можно было понять, с начальником железнодорожного цеха. Внезапно побагровел и, словно забыв, что в кабинете присутствуют посторонние, вспылил, ударил кулаком по столу. Какое-то его приказание оказалось неисполненным. Ругательства академика были свирепыми.

— Я тебя, бродягу, в землю вколочу! — кричал он.

Тяжело дыша, Бардин бросил трубку, что-то пробормотал, все еще переживая разговор. Было видно, что он действительно забыл о нашем присутствии. Взглянув в нашу сторону, он опять покраснел, на этот раз от смущения, насупился, опять спрятал глаза под лохматыми бровями. Затем, подойдя к плану, продолжал объяснения.

Растворилась дверь, и в кабинет вошел грузный человек, одетый в замасленную рабочую спецовку, из-под которой выпирал живот и массивные округлости плеч. В его пальцы въелась черная пыль металла, толстый крепкий ноготь большого пальца был изуродован. Местный товарищ, пришедший вместе с нами к Бардину, шепнул:

— Главный механик завода.

Главный инженер и главный механик стали что-то обсуждать. Через некоторое время они заговорили о памятном знаке, который следовало изготовить для чьей-то могилы. Да, о памятном знаке на могилу Константиныча. О ком же они говорят? Какого Константиныча?

Главный механик уже направился к двери, когда, не выдержав, я спросил:

— Кто этот Константиныч?

Исполин медлительно повернулся, оглядел меня, словно раздумывая, достоин ли я ответа, и сказал:

— Это был наш доменный поп. Позови он — и за ним люди по льду босиком пошли бы.

Механик произнес это и вышел. Я вопросительно посмотрел на Бардина. Тот ответил:

— Михаил Константинович Курако. Лучший русский доменщик. Помер здесь в тысяча девятьсот двадцатом году.

— Здесь? В двадцатом? Ведь тогда здесь не было никаких домен.

— Он приехал сюда из Юзовки...

Вновь раздался телефонный звонок. Бардин проговорил в трубку:

— Да, да, сейчас иду.

Надев кепку, он сказал:

— Расспросите публику — южане его знают. Вот механик с ним работал. Да и не только он.

ЗИМА

1932—1933

Мы прожили на площадке Кузнецкстроя без малого пять месяцев.

В наше распоряжение были выделены две стенографистки, обе «съездовские» (существует такой термин), обе москвички. Одну из них — П. Н. Мельникову — не могу не упомянуть. Она оказалась и героем-тружеником, и превосходным товарищем,— вскоре мы стали ее называть попросту Полиной.

Располагая стенографисткой, мы кинулись беседовать с кузнецкстроевцами-старожилами, выискивали интересных рассказчиков.

Несчастный случай, происшедший с Иваном Павловичем Бардиным (он ночью упал в незакрытую, неосвещенную яму и сломал ногу), позволил нам провести немало вечеров у его постели. В результате мы обогатились двенадцатью или четырнадцатью его стенограммами. Это были рассказы не только о Кузнецкстрое, но и о всем пути большого человека, инженера-доменщика, ученика Курако.

Свой материал — воспоминания участников истории завода — мы добывали исподволь, не хищнически, начинали с живого интереса к собеседнику-рассказчику, зачастую с его биографии, чтобы потом как бы с разгона подойти и к Кузнецкстрою.

Для нас подобные стенограммы были сырьем, рудой, которой предстояло идти в плавку. Могу, к нашей чести, сказать, что мы уважали, берегли эту руду, понимали, что

она имеет собственную, непреходящую, первородную ценность.

Постепенно нам вырисовывались контуры истории Кузнецкого завода, охватывающие не только современность, но и дореволюционные времена, и первые годы революции.

Нас волновали, радовали наши открытия, или «свежатины», как говаривал Смирнов.

Я с ним сдружился. Мы часто рассуждали об увиденном, услышанном, о том, как писать книгу. Порой, поднявшись вдвоем на пригорок, мы подолгу разглядывали живую панораму стройки и уже дымящие заводские цехи. У Николаши — мы с ним уже звали друг друга по именам — я учился писательскому зрению. Мы могли, например, потратить полтора-два часа лишь на то, чтобы перебрать, перечислить один за другим все дымы завода, определить словами особенный цвет, особенный вид каждого.

Ударила сибирская стужа. На воздухе небольшие черные с сединкой усики Николая Григорьевича быстро белели, заледеневали, но в полушубках и валенках, выданных нам Управлением Кузнецкстроя, мы кружили и кружили по площадке.

В какой-то день — по-видимому, это было в декабре — к нам нагрянул из Москвы муж Зинаиды Кряпниковой Тарасов-Родионов, довольно видный в те времена писатель. Не помню, как это случилось, но в конце декабря мы всей бригадой, а также и Тарасов, поехали в Москву, для того чтобы явиться в главную редакцию «Истории заводов», доложить о своей работе, получить, как говорится, указания и т. д. Заодно мы решили разыскать в Москве людей, знавших по личным воспоминаниям историю Урало-Кузбасса, побеседовать с ними. Я взялся по пути заехать в Свердловск и Магнитогорск, провести и там нужные нам беседы. Со мной командировали и стенографистку — все ту же неутомимую Полину.

26 декабря. Свердловск

...Приехали сюда вчера. Обстоятельства пока складываются не особенно удачно. Икс в отпуску — приедет в первых числах января. Колгушкин в Москве — приедет через три дня.

Удалось поймать только Терехова, да и тот лишь сегодня приехал. Вечером буду с ним беседовать.

Примечание. Здесь названы некоторые партийные и хозяйственные работники Урала. Ф. Т. Колгушкин был в 1929 году первым управляющим Кузнецкстроя.

27 декабря. Свердловск

...Сейчас пускаюсь с Полиной в геройский путь — идем на вокзал встречать Зомбе. На улице вьюга, мороз 40 градусов, трамвайные пути замело, трамваи не ходят, пойдем пешком. Хочу узнать у Зомбе новости о заседании горкома и т. д.

...Сегодня провел беседу с Карклиным — бывшим секретарем Магнитогорского райкома. Свежатины множество. Колгушкин приехал. Терехов тоже. С обоими назначены встречи на послезавтра. Завтра будем беседовать с Кабаковым.

Примечание. М. И. Зомбе — работник Кузнецкого горкома партии. И. Д. Кабаков — секретарь Свердловского обкома.

2 января 1933 г. Свердловск

...Ведь я так и не встретил Зомбе. Ждал поезда до двух ночи, не дождался, плюнул.

Через два часа выезжаю с Полиной в Магнитку. Едем не без приключений. Должны были выехать утром — оказывается, нужный поезд не пришел и сегодня не придет совсем. Едем вечером с пересадкой в Челябинске. Вообще в Свердловске с железнодорожным транспортом — кошмар. За билетом — по броне! — стояли три часа. На вокзале давка. Чтобы сдать на хранение вещи, надо простоять два с половиной часа. На трамвай попасть почти невозможно.

...В Свердловске мы провели семь бесед. Особенно интересны воспоминания Колгушкина. Ради одного этого стоило ехать. Он рассказал массу нового, дал несколько «крупнятин» и, главное, бросил какой-то новый свет на Бардина и вообще на весь 1929 год. На обратном пути из Москвы я думаю снова с ним покалякать.

Беседуя с Карклиным (а потом и с Кабаковым), я постарался выяснить основное в истории Магнитки. Эта история изумительно похожа на нашу кузнецкстроев-

скую — прямо-таки до чертиков. Но к писанию истории в Магнитке еще не приступили — пока работают лишь над историей цехов. Мы их обогнали.

5 января. Магнитогорск

...Добрались до Магнитки. Сейчас осматриваю рудодробилку. Вечером назначены беседы. О новостях буду сообщать.

Кстати, первую новость, случившуюся до нашего приезда, преподношу тебе в виде газетной вырезки. Знай, куда мы попали.

«Снежный буран на Магнитострое. Над Магнитогорском 27 декабря ночью пронесся жесточайшей силы буран при морозе до 40 градусов. Несмотря на принятые меры, все же работа на площадке была парализована. 20 паровозов были потушены. Сила урагана была настолько велика, что снегоочистители оказались бессильны. Со стороны Пермской дороги были преграждены подходы к Магнитной. Ураганом свалены стропильные фермы, несколько колонн и балок. Особенно пострадал водопровод, где лопнули колонки. Значительные повреждения нанесены также ковшевому хозяйству и разливочным машинам.

В течение 28—29 декабря домнам пришлось работать попеременно. Выплавка чугуна 28-го велась на второй домне, 29-го — на первой, и лишь 31 декабря начали работать обе магнитогорские домны. Потребуется еще два-три дня для полного восстановления работы Магнитогорского завода».

Примечание. Мои письма из Магнитки, по-видимому, пропали. Я, однако, разыскал позднейшую запись — набросок о тех днях. Привожу ее.

...В январе 1933 года мне довелось побывать на Магнитогорском заводе. В Кузнецке мне сказали, что там я встречу М. Ф. Жестовского, начальника доменных печей Магнитки, на руках у которого тринадцать лет назад скончался Курако.

Я разыскал Жестовского на площадке доменного цеха. Огромная магнитогорская печь, домна номер два, кажется,

величайшая в мире, работала первую зиму, проходя жесточайшее испытание морозом. Площадка была загромождена бесформенными глыбами чугуна и шлака. Ледяные наросты и сосульки, величиной в телеграфный столб, свисали с железных конструкций. Сверху из прорвавшейся трубки хлестала вода и тотчас намерзала у подножья печи в полукруглый скользкий ком. Стеклянные глазки-гляделки, сквозь которые видна внутренность домны, обычно нестерпимо яркие, потемнели. Печь требовала кокса и кокса, а каучуковая лента, которая, непрерывно двигаясь, должна подавать домне кокс, затвердела от холода и остановилась. Ее отогревали паром, в морозном воздухе пар сгущался в белый туман. Казалось, судно терпит бедствие во льдах.

Мне указали Жестовского. Я увидел упрямо склоненную голову, выдвинутый тяжелый подбородок, резко обрисованные скулы над ввалившимися щеками, красноватые от бессонницы глаза.

К нему подошел корреспондент центральной газеты и попросил уделить пять минут для беседы. Жестовский сердито и резко отказал. Не стесняясь в выражениях, он отдавал приказания, к нему было страшновато подойти. Я все же решился.

— Товарищ Жестовский, я приехал, чтобы побеседовать с вами о...

— Не могу,— раздраженно ответил он, не дав договорить.

Я все же докончил:

— ...о Михаиле Константиновиче Курако.

— О Курако?

Жестовский мгновенно изменился. Я ощутил, что произнесенное мной имя вдруг сблизило нас. Я торопливо сообщил, что пишется книга о Кузнецком заводе, в которой будет рассказано и о Курако, сообщил, что приехал сюда, чтобы расспросить о нем Жестовского и других «куракинцев». Я видел, как потеплели глаза Жестовского, в них зародилась симпатия. Он воскликнул:

— Смерть придет, и то соберусь с силенками, обожду помирать, чтобы рассказать о Константиныче. Приходите ко мне в полтретьего ночи.

...В ту ночь мы побеседовали. Потом он еще выкраивал время. Четыре стенограммы Жестовского, ценнейшую добычу, я увез с собою из Магнитки.

17 января. Москва

...Вчера вечером приехал в Москву.

...Мы, вероятно, раньше 8—10 февраля не вернемся в Кузнецк, потому что Крянникова поехала в дом отдыха до 3 февраля, а я решил обязательно съездить в Караганду к Федоровичу.

Примечание. И. И. Федорович был до революции директором-распорядителем акционерного общества «Копикуз» («Копи Кузбасса»), которое замыслило выстроить Кузнецкий завод.

22 января. Москва

...У нас такие новости. Во-первых, Тарасов-Родионов нас «информировал» (так он выразился) о своем разговоре с Хитаровым.

(Примечание. Р. М. Хитаров был в это время секретарем Кузнецкого горкома партии.) Суть разговора якобы в том, что надобно усилить темпы, скорее кончать сбор материала, скорее писать. И, уже чувствуя себя верховным комиссаром, приставленным к нашей бригаде, Тарасов взял курс на крайнюю гонку.

В центральной редакции в начале февраля будет наш (по всей вероятности мой) доклад и будет принято то или иное решение. Возможно, выделят главную редакцию «Истории Кузнецкстроя» или главного редактора.

Мы со Смирновым не теряем времени, проводим по две беседы в день.

26 января. Москва

...Пишу с Октябрьского вокзала. Еду в Ленинград за материалами Гипромеза (Государственного института по проектированию металлургических заводов).

...Виделся на днях с Л. Сейчас он производит впечатление надломленного человека.

— Вот,— говорит,— нашел подлинный приказ об аресте Беранже и его стихи на этом приказе. Таковы,— говорит,— мои радости.

Это грустно. Какая интереснейшая работа у нас по сравнению с этим!

1 февраля. Москва

...Ну вот, скоро мы тронемся снова на площадку. Я решил сейчас в Караганду не ездить, может быть, загляну туда весной на обратном пути.

Я всячески подстегиваю, чтобы скорей ехать, а Смирнов оттягивает, да и Тарасов склонен отложить отъезд числа до восьмого.

Завтра в центральной редакции у нас будет совещание бригады под председательством Леопольда Авербаха (он там правая рука у Горького). Доклад, как видно, придется делать мне.

Уже хочется начинать писать. У меня уже творческий зуд, то и дело возникают, мерещатся разные лица, эпизоды из будущей книги.

3 февраля

...Вчера был наш доклад у Авербаха. Прошел с большим успехом. На прощание Авербах пожал мне руку и сказал:

— Поздравляю, хорошо работаете.

Доклад делал я. Его особенно выигрышным местом был перечень людей, с которыми мы беседовали. При этом я вкратце сообщал, что из себя представляет тот или иной человек, и передавал кое-что из того, что этот человек нам рассказывал. В общем, немножко тряхнул материалом. Это произвело впечатление.

Они (Авербах и другие) одобрили все наши установки — и методы работы, и предполагаемую беллетристическую форму изложения (сквозные фигуры, сюжетные узлы и т. д.).

Авербах особенно подчеркнул:

— Надо говорить в книге всю правду, полную правду.

Я дал реплику:

— Ничего не лакировать.

Авербах:

— Не только не лакировать, этого мало, но и ничего не прятать, не скрывать.

Тут всполошился Смирнов.

— Наша история,— говорит,— это ведь не история Петра Великого...

Авербах (иронически):

— Да, это наблюдение, не лишенное меткости. (Смех.)

Мы привели Авербаху некоторые примеры. Так и так. Разве можно писать все о живых людях? Он категорически стоял на своем,— все писать, обо всем писать.

Авербах заявил: с сегодняшнего дня мы включаем вас в число тридцати заводов, с которыми работаем, и будет назначена главная политическая редакция во главе с членом ЦК. Кто это будет — еще неизвестно. Авербах предполагает в марте приехать на Кузнецкстрой дней на десять и на месте ознакомиться со всей работой, дать указания на ходу и т. д.

По-видимому, наша история будет одним из его козырей. В общем, все идет хорошо, подъем у нас большой. Хочется скорей ехать.

ПРОБЫ ПЕРА

1933. Февраль — апрель

Вернувшись на площадку, мы продолжали работу, которую между собой именовали «перелистыванием людей». В этом «перелистывании» опять совершались находки, открытия, обнаруживались интересные рассказчики,— на них мы задерживали внимание.

Я по-прежнему дружил со Смирновым. Его выражения «свежатина», «крупнятина», «преснятина» стали и моими любимыми словечками.

Все чаще возникал вопрос: как же писать? Я впитывал размышления Смирнова, знатока, мастера сюжетной прозы.

— Пишите сценами. Это совет Горького,— говорил он.— Ничего другого мы не выдумаем.

— Николаша, а что такое сцена?

— Сцена это не сценка. Это переход из одной ситуации в другую.

Уже более или менее ясно представляя себе фигуры неуемного Курако и его антипода Федоровича, капиталистического организатора, я как-то высказался:

— Вот золото, валюта для книги: два противоположных характера.

Николай Григорьевич ответил:

— Валюта — это действие, драматизация действия.

Я мало с ним спорил, не пускался в отвлеченности. Предпочитал вслушиваться, учиться.

Тем временем наша бригада составила план книги, обсужденный и утвержденный затем на заседании городского комитета партии.

Мы, наша троица, распределили между собой будущие главы. Мне досталась среди ряда других глав и история Курако. Начались первые пробы пера, работа за столом. Меня потянуло написать вступление к книге, дать как бы всю ее программу. Я это сделал. Вступление понравилось моим товарищам. Привожу его.

Вступление

Когда в Америке полдень, в Сибири полночь.

На глобусе Кузнецк и Чикаго стоят друг против друга на одном меридиане. Если длинной булавкой проткнуть насквозь Чикаго, конец пробьет центр земного шара и выйдет в точке, где можно разобрать «Кузнецк». Мистеры Фрейн, Уилкокс и Эвергард, о которых будет поведано в этом повествовании, любят повторять, что Кузнецкстрой находится на полпути вокруг света.

Место действия нашей книги Сибирь — Америка — Москва.

* * *

Из ворот завода Гэри, близ Чикаго, вышел мастер. Не повышая голоса, он сказал:

— Э ман фор слаглейдель.

Это означает: нужен шлаковщик.

Из толпы вышло семеро. С края стал высокий, исхудалый, жилистый, с бритым сухим обветренным лицом, как у шведского шкипера. Из-под нависших бровей не было видно глаз.

Мастер взглянул и пробурчал:

— Но гут.

Это означает: не годен.

Человек отошел. Ему не везло. 30 марта 1910 года он выехал из России в Америку, имея 183 рубля и инженерский диплом в кармане. Восьмую неделю он подходил к заводу Гэри.

Завод Гэри близ Чикаго величайший в мире. Из своих двенадцати домен он выдавал больше чугуна, чем вся довоенная Россия.

В Америке — половина мировых запасов руды и самые большие заводы.

* * *

— В Азии нет руды. Вы извините меня, товарищ Эйхе, но в Азии ее нет.

Профессор Усов виновато улыбнулся. Эйхе был сдержан и сух, как всегда. Он сказал, что можно бросить еще несколько миллионов рублей на разведки. Он настаивал.

Усов гнулся под напором, пересыпал речь извинениями, но не уступал. Набравшись духу, он спросил:

— Вы помните день — четырнадцатое марта тысяча девятьсот двадцать седьмого года?

Нет, Эйхе не помнил этого дня.

— В этот день вы приехали в Томск и вызвали меня. Помните? Я с вами поехал в Москву и заявил в Главметалле, в Совнаркоме, в печати, всюду, что у нас на Тельбессе, близ Кузнецка, два миллиарда пудов руды. Где же они, эти миллиарды? Каждая буровая скважина резала меня ножом. Видите, у меня седые волосы.

Эйхе все же настаивал.

— Нет, товарищ Эйхе, нет. Если позволите, это последнее мое слово. Ведь, между нами говоря, Китай, Индия и Сибирь не историей осуждены, а обижены самой природой. Если вы сомневаетесь, читайте.

Усов развернул толстую книгу в тисненом переплете. Это был фундаментальный труд американских геологов об Азии. Усов нашел главу о рудах.

Глава начиналась так: «Железных руд в Азии нет».

* * *

Голдобин, инженер Кузнецкстроя, после возвращения из Америки рассказывал:

— Осматривал я большой металлургический завод в Мильвоки около Чикаго. Пригласили меня на завтрак. Собрались инженеры. Они интересовались, какой завод мы строим, считали, что завод очень крупный. Я сказал, что мы приехали учиться. У них лица довольные. А потом

говорю: мы поставили себе задачу догнать и перегнать вас. Как только я сказал, они встали и ушли, не попрощавшись. Вот какая со мной штука приключилась.

* * *

О всех этих людях и событиях будет рассказано на страницах нашего повествования.

И еще.

О румынском солдате Д..., который ранней весной переплыл Днестр и приехал ломать камень на площадку Кузнецкстроя. Его фамилии нельзя в книге назвать, потому что в Румынии у него отец. Старик проводил сына до Днестра и, когда тот разделся, достал бутылку водки.

— Выпей, сынок, здесь и выпей там.

Когда Д... вылез из черной холодной воды, на нем было лишь румынское военное кепи и в кепи бутылка. Он всхлипывал и смеялся.

О директорском выпуске Санкт-Петербургского императорского горного института. В 1900 году среди других институт кончили шестеро. Проходит 15 лет, идет год 1915-й. Шесть горных инженеров стали директорами крупнейших акционерных компаний. Они держат в руках уголь, железо и золото России. Проходит еще 15 лет, идет год 1930-й. Шестеро приговорены к расстрелу. Среди них действующие лица нашей книги — Пальчинский и Федорович. Им немало места уделено в толстом томе под названием «Процесс Промпартии».

О Франкфурте — директоре Кузнецкого металлургического комбината, Франкфурте, на которого в ноябре 1920 года вознегодовали секретарши Совнаркома, потому что Ленин на два часа заперся с ним в кабинете и у географической карты выспрашивал все до тонкости о великой Сибирской пустыне.

О самом знаменитом доменщике Юга Михаиле Константиновиче Курако и об анархисте Рогове, сибирском Махно. Курако проектировал в годы гражданской войны Кузнецкий металлургический завод. Отряд Рогова разрушал города, сжигал церкви, истреблял буржуев и инженеров. Курако мечтал построить в центре Азии завод американского типа. Рогов мечтал во всем мире уничтожить железо, чтобы Азия сразу поравнялась с Америкой.

О шорце-охотнике Майдакове, который водил по тайге геологоразведочные партии и перед революцией менял шкурки на черных тараканов, ибо они — шорские божки.

Об АИКе — Американской индустриальной колонии, о жившем вместе с колонистами в Кузбассе Билле Хейвуде. Прах Хейвуда, разделенный по его завещанию надвое, захоронен и в московской Кремлевской стене, и на кладбище в Чикаго. О Хейвуде, и об инициаторе, создателе АИКа голландском коммунисте Рудгерсе, и о его сподвижнице, некогда секретаре Клары Цеткин, Брониславе Корнблит, которую все называли Бронкой, и о тысяче революционных эмигрантов разных наций, приехавших из Америки в Кузбасс создавать новую, иную Америку в Сибири — строить рудники, коксовые печи и Кузнецкий металлургический завод.

Об Андрее Кулакове, любимце горняков Кузбасса, первом секретаре Кузнецкстроевского райкома. Его переросло дело, выращенное им самим, он уходил с дракой и с болью.

И еще и еще о многих, чьи жизни пересеклись в Кузнецкстрое.

* * *

Видели ли вы деревянные пушки?

Из них палили красные партизаны Сибири. Несколько деревянных пушек сохранилось. Их осматривают в музее — Новосибирск, Красная, дом № 107.

* * *

В Америке стулья странно легки. Они сделаны из тонкой стали и выкрашены под дерево. Горы для лыж и салазок сделаны из стали.

* * *

В 1929 году инженер Щепочкин увидел в тайге страшную картину. По наезженной просеке ползли полчища клопов. Они перебирались с Сухаринки на Одрабаш вслед за ушедшими людьми.

* * *

Год спустя Щепочкин сошел с парохода в Нью-Йорке. По улицам автомобили ползли полчищами, как клопы.

* * *

В Гипромезе споры затягивались до утра.

Буров (председатель Гипромеза, большевик):

— Американские домны объемом в тысячу кубометров нужны для нашей страны.

Павлов и Липин (ветераны русской металлургии, в один голос):

— Да вы с ума сошли?!

Мистер Томас (главный инженер фирмы Фрейн, американец):

— У вас нельзя строить больших печей. Руда не та, кокс зольный, грязный.

* * *

Спустя четыре года, 3 апреля 1932-го, дала чугун первая домна Кузнецкстроя.

Через несколько дней американский инженер Фергюсон получил письмо с родины. Он выстроил в Америке двадцать доменных печей. Письмо сообщало, что промышленный кризис душит и душит американские заводы, потушена последняя домна из его двадцати.

Фергюсон был одним из тех, кто вышел, не попрощавшись, из столовой, когда Голдобин ляпнул: «Догнать и перегнать».

* * *

13 декабря 1932 года актив Кузнецкстроя слушал высокого жилистого человека с бритым сухим, обветренным лицом, как у шведского шкипера. Из-под нависших бровей видны маленькие живые глаза. Двадцать два года назад его не приняли шлаковщиком на завод Гэри близ Чикаго. Это Иван Павлович Бардин — главный инженер Кузнецкого завода, металлург, строитель, академик.

— Во всем мире нет лучшего района, чем район Кузнецкого завода,— сказал Бардин.— Разбита легенда о том,

что в Азии нет руды. Неисчислимые запасы угля и руды лежат рядом.

В докладе развертывался план на пятилетье. Новый завод, перед которым Кузнецкий — дитя. Кокс отправлять на Урал по двадцать поездов в сутки. Всесоюзный центр вагоностроения, чтобы вагоны с коксом уходили отсюда и не возвращались.

* * *

В улусе, где живет охотник Майдаков, сидит шорец Токмаков. Он пишет историю Горной Шории. Солнце бьет в окно на белую бумагу — товар, которого не знала Шория.

Когда в Кузнецке полдень, в Чикаго полночь.

Темнеют погасшие домны на заводе Гэри близ Чикаго.

ЕЩЕ ПРОБЫ ПЕРА

Там же, на площадке, мы начали писать. Это были поиски, пробы; следовало придать какую-то литературную форму старательно собранному материалу. У меня уцелели некоторые тогдашние мои наброски. Перечитывая их ныне, вижу, что тогда лишь ощупью подходил к элементарному правилу прозы: рисуй людей, рисуй характеры, ничто иное не сделает живым,— и, тем более, живым надолго — твое повествование. Однако, быть может, эти наброски все же заслуживают, чтобы друг-читатель их пробежал хотя бы, что называется, по диагонали.

Осень тысяча девятьсот двадцать девятого

...В октябре бюро окружкома постановило: секретарем Кузнецкстроевского райкома рекомендовать товарища Андрея Кулакова, члена партии с 1919-го, в прошлом ленинградского рабочего и комиссара полка в Красной Армии, члена президиума окружной КК — РКИ.

Кулаков выехал на площадку с Лотиковым, заместителем секретаря окружкома.

Неторопливый, нешумливый Лотиков ехал прощупать положение на месте и сватать Андрея.

— Знаешь, Лотиков,— раздумывал вслух Андрей,— я начну работу так. Неделю ни во что вмешиваться не буду. Пусть работают, как работали. Полазаю по баракам, по столовым. В артелях побываю, с народом покалякаю. А потом возьмусь. Правильно?

— Ну что же, валяй, валяй...

Приехали ночью. Кое-как нашли коней и двинулись в контору. Первое впечатление — фантастическая грязь.

По всей стране и сейчас, в тысяча девятьсот тридцать третьем,— позволим здесь себе такое отступление,— и сейчас гуляют рассказы о кузнецкстроевской грязи. А ведь год от года ее становилось меньше. Весной тридцатого ноги грузли по колено. Осенью двадцать девятого Бессóнова — нынешний секретарь Франкфурта — увязла в грязи по грудь в самом центре площадки, где клали фундамент заводоуправления. Сапоги засосало, и они навсегда остались в болоте.

Изгвазданные грязью, наши путники-партийцы добрались до конторы. Разбудили дежурного. Он оказался знаком Кулакову. Дежурный не обрадовался встрече. Летом в Кемерово Кулаков проводил чистку советского аппарата. Среди других он вытряхнул по первой — самой злой — категории одного прохвоста, отнюдь не болевшего душой за свое дело, заведующего телефонной станцией Кемеровского рудника. Это и был дежурный по конторе Кузнецкстроя.

Наутро, когда один за другим потянулись к столам сотрудники конторы, Кулаков узнал еще несколько подобных типов,— лично им вычищенных служащих Кузбассугля, коксового завода и т. д. Они, как и дежурный, тоже не обрадовались встрече.

* * *

Вечером пошли по баракам. Моросил обложной сентябрьский дождь. С потолков на столы, на нары падали коричневые капли. Сверху для тепла бараки были укрыты слоем навоза. Оттуда кое-где протекала вода. Ноги и под крышей скользили в хлюпающей грязи.

Сквозь щели задувал, погуливал ветер. Бараки шили в одну доску из сырого теса. Щели конопатили. Но почти вся пакля выпала, торчали лишь клочки.

Вошел рабочий. Сапоги облеплены блестающей грязью. Изрядный ком отвалился с задника. Не раздеваясь, рабо-

чий лег. Доски не стали грязней. Новая грязь была неотличимой от старой, сырой, непросыхающей, черной. Матрацев на нарах не было. Здесь спали вповалку, как в теплушке.

— Уборщица в бараке есть?

— А тебе что? Проваливай, откуда пришел.

— Пришел из ячейки.

— Из ячейки? Беседу проводить? Лучше-ка объясни, откель эта штука произошла.

Парень запустил пятерню в штаны и, покопавшись, извлек белую крупную вошь.

Уборщиц в бараках Кузнецкстроя не было.

— Коммунисты в бараке есть?

Молчание. Коммунистов не было в бараках Кузнецкстроя. Из шестидесяти членов и кандидатов партии только четверо жили в общих бараках. Четверо на три тысячи рабочих.

В одном из бараков Кулаков увидел знакомого кемеровского строителя-каменщика Киселева.

— Сматываюсь, Андрей,— сказал Киселев.— Занесла нелегкая. Сегодня бегу и расчета не беру. Зимой тут погибнешь. Пропадешь, как муха.

Киселев порассказал Андрею о том, что тот уже видел сам.

Печей в бараках — где не было совсем, где поразвалились. Дров в бараки не подвозили, воды не подвозили.

Как бактерии в питательном бульоне, плодились в бараках контрреволюционные речи.

Ежедневно на станцию Кузнецк прибывали вербованные и самотечные рабочие. В среднем по сто человек в день. И по сто человек в день убегало. Советские вагоны на обратном пути развозили по всей стране антисоветский груз — рассказы о кузнецкстроевской жути. Бараков на первое октября 1929 года было тридцать четыре. Площадь — пять с половиной тысяч квадратных метров. Рабочих три тысячи. С семьями вдвое. На человека приходилось меньше метра.

Но было бы страшней всего, если бы бараки опустели, если бы в них совсем не осталось постоянных обитателей. А это могло, это должно было случиться.

Все говорили об одном — бежать, бежать, пока не ударила зима.

* * *

На другой день вечером сошлись коммунисты площадки. Собрались где-то в сарае на Верхней колонии. Десятилинейная коптилка горела без стекла. Скамеек не было. Некоторые присели прямо на пол.

На повестке дня стоял вопрос об организации райкома. Но Кулаков заговорил об ином. Райком-то будет, от нас это не уйдет, а рабочих не площадке не останется. Позор. Немедленно отеплить бараки. Отставить все дела и бросить партийные силы — всех до единого — на отепление бараков.

— Хребет будем ломать, кто попробует стоять в сторонке.

Ячейка Кузнецкстроя не видела еще таких работников. Твердый голос, крепкая рука. Размах, напор.

Утром на заре, поднимающейся над площадкой, заготовляли дерн. Высветленные по краю лопаты срезали крепкую, не ломкую верхнюю кромку земли, прошитую корнями травы. Эти жесткие корни скрепляли землю, как железная арматура скрепляет бетон. Подходили и отъезжали телеги. Барачные жители были мобилизованы — если требовалось, то и принудительно — на обкладку дерном дощатых бараков.

Часть бараков отеплялась по-другому. Ставили вторые дощатые стены в полуметровом расстоянии от первых и в просвет засыпали землю. Толстым слоем обваливали весь низ. Такая насыпь называлась «завалинкой».

За каждый барак отвечал коммунист по списку. Не Кулаков придумал обкладку и засыпку. И то и другое было предусмотрено в планах. Но по живучей обломовской привычке дотянули до края, до мороза. Кулаков зверски поругался с Цветковым — начальником конторы. Цветков затвердил директиву: средства вбивать только в капитальные сооружения по жесткому плану из Томска, где расположилось Управление Кузнецкстроя. Но Андрей все же вдолбил Цветкову свое, и когда тот понял, то сам начал носиться по площадке, гонять стекольщиков и кровельщиков. Вставляли стекла, чинили крыши. На каждые пять бараков был назначен комендант.

Цветкову уже нравились энергичные выражения Кулакова.

— Хребет буду ломать,— заявил Кулаков комендантам,— если дров не подвезешь, если оставишь без воды.

Это была маленькая победа, взятая рывком. Кемеровский каменщик Киселев не уехал. Потеплело в бараках и потеплело в глазах людей.

* * *

— Теперь поговорим насчет созыва конференции,— сказал Кулаков.

Оргбюро по созданию новой районной организации собралось в маленькой комнатушке Дома приезжих. Цветков ни в какую не давал помещения для райкома. Не мог дать. Лотиков придумал выход. Под будущий райком была занята комната Колгушкина в Доме приезжих. Вынесли кровать, поставили два стола, на дверь прилепили бумажную вывеску.

Здесь, на втором этаже, над итээровской столовой, зародился первый райком Кузнецкстроя.

После заседания Лотиков сказал:

— Ну вот, неделя пролетела. Как же твой план, Андрей?

— Какой?

— Неделю похожу, а потом возьмусь.

— А я ведь и забыл... Как это так, черт побери?

Первая партконференция

Первая районная кузнецкстроевская партконференция открылась 20 октября 1929 года.

К открытию подготовлялось торжество — приход первого паровоза на площадку. Однако работы задержались, и паровоз в тот день не пришел.

Доклад мандатной комиссии был утвержден без поправок. Новая районная организация составилась из 348 членов и кандидатов партии, разбросанных на сто километров по одиннадцати ячейкам. Это были: ячейка площадки, ячейка кирпичного завода, пять ячеек по линии железного пути к руде, ячейки на рудниках Тельбесс и Темир-Тау, на Осиновских угольных шахтах и еще одна с длинным названием — советско-административно-кооперативная.

Норма представительства была: один делегат от четырех действительных членов партии. Всего делегатов насчи-

тывалось: пятьдесят девять с решающим и девять с совещательным голосами.

В президиуме сидели:

Лотиков — заместитель секретаря окружкома, крестный новой организации;

Кулаков — секретарь оргбюро, рвущийся к работе непоседа, будто земля горела у него под ногами;

Морозов — заместитель начальника Кузнецкстроя, металлист, сибиряк, первый из мобилизованных крайкомом на стройку сибирского гиганта;

Елизаренко — председатель рабочкома, бывший председатель окружного исполнительного комитета, посланный вниз, в массы, в пекло Кузнецкстроя;

Локуцаевский — инженер-строитель, старик, член партии с 1901 года, измотанный и нервный;

Реутов — Сережа Реутов, летчик, шофер, рабкор, парень — заглядение.

В почетный президиум среди других был избран Блюхер — командарм Дальневосточной. В те дни бойцы-дальневосточники дрались. Длился вооруженный конфликт в районе Китайско-Восточной железной дороги.

Фронт пролег и по реке Сунгари. Там бухали минометы Стокса. Врытые в землю, уставившие рыла в небо, они выкидывали по крутой траектории гранаты с огромной разрывной способностью. Этой новинкой снабдила Англия предательскую и жалкую китайскую буржуазию.

Отрывались от самолетов и падали тяжелые бутыли с толуолом, который взрывчатой силой в сто раз превосходит порох.

Щелкали затворы винтовок и фотоаппаратов. Корреспонденты всего мира слетелись на границы Китая и Советского Союза. В огне двадцать девятого года проверялась Красная Армия. Это был малый огонь, малая война, малая кровь.

А в недрах истории набухали и зрели будущие столкновения. Вряд ли мы, профаны в искусстве войны, можем представить, каковы они будут. Возможно, никто из нас не понимает до дна, до конца, до последней глубины, что такое Кузнецкстрой.

Лишь тогда, когда загрохочет и на западе и на востоке, когда сквозь завесы орудийного огня будут прорываться эскадрильи самолетов, лишь тогда мы поймем: ага, вот оно что такое — Кузнецкий металлургический завод.

Узнайте, какова скорость военных самолетов. Узнайте, сколько часов они могут продержаться без посадки. Ни один не долетит до Кузнецка. Если Ленинград будет дымиться в развалинах, если Донбасс и южные заводы будут охвачены десантами вторжения, если даже схватят за горло Москву, социализм будет продолжать борьбу. У него есть Урало-Кузбасс, у него есть Магнитогорский и Кузнецкий заводы.

На первой партийной конференции Кузнецкстроя, которому история отвела, быть может, немаловажную роль в мировых судьбах, не было ни одного газетного корреспондента. Ее протоколы не переписывались на машинке — в ту пору на площадке не было ни одной машинистки. Они лежат с обтрепавшимися и загнувшимися краешками. Первые страницы исписаны крупным размашистым почерком синими, а потом зелеными чернилами. Дальше идет карандаш, мелкий неразборчивый почерк, недописанные, с оторванными хвостами слова.

Эти протоколы будут переписываться и перепечатываться. К ним будут приникать глаза историков.

* * *

В ходе конференции на центральное место, ломая повестку, выпер без спросу, самочинно маленький прозаичный вопрос о кооперации.

Так складывается история: наша будущая участь в какой-то степени зависела и от того, хорошо ли работала кооперация где-то в заболоченной сибирской долине на берегу Томи.

Доклад от имени оргпартбюро сделал на конференции Кулаков. Куда устремить внимание, чтобы скорее построить завод? Кулаков отвечал — социалистическое соревнование, очищение партии, вербовка честных рабочих, воспитательная работа в бараках и артелях, партучеба, выдвижение, кооперация. По докладу выступило семнадцать человек. Четырнадцать из них говорили о кооперации.

Так бывает, так повелось,— в прениях по первому отчетному докладу высказывают наболевшее, натертое, зудящее.

На пять дней остановилась прокладка железной дороги на Тельбесс, потому что кооперация не доставила хлеба. В разгар работ на неделю закрыты магазины на переучет,

и рабочие остались без продуктов. Сгноили и выкинули под отвал яйца, бочки с экспортным маслом, сотни кило колбасы, рыбы, мяса. За один месяц три продавца сбежали с деньгами. Рабочие не имеют горячей пищи. Мука мокнет под открытым небом, пачки мануфактуры и яруса пакли сложены в топкой грязи. Правление окопалось в старом Кузнецке и не желает перебираться на площадку.

Один за другим выходили делегаты площадки, Тельбесса, кирпичного завода и били, бомбардировали кооперацию тяжелыми увесистыми фактами.

На трибуну быстро прошагал маленький подвижной чернявый человек. Это был председатель правления Центрального рабочего кооператива Кузнецкстроя Чурсин. Он начал говорить на ходу, не дойдя до столика, предназначенного для ораторов.

— По части пакли это верно. Пакля не закрыта. И мука, верно, находится незакрытая. Это мы изживем. По части плохого питания — верно и отрицать не приходится. Но почему?

Чурсин повернулся к президиуму. И издали словно бы боднул Морозова:

— Вот... Управление Кузнецкстроя не идет нам навстречу. Мы подрядили возчиков для подвозки хлеба на Тельбесс, а контора дала им дороже, и они возят землю для насыпи. Оборудования для столовых Управление категорически не дает. И я со всей ответственностью заявляю, что больше сорока процентов рабочих я горячей пищей не обслужу. Помещений для правления нам на площадке не дают. И со всей ответственностью я заверяю конференцию, что на площадку мы не переедем, пока не предоставят помещений. Мы свои недочеты сознаем, но корень зла вот...

Чурсин ткнул пальцем в сторону Морозова.

Морозов поднялся. Он снял кепку с седоватой головы, медленно прошел большими шагами к столу и постоял молча, ожидая, пока отойдет Чурсин. Потом начал говорить, говорил негромко, не спеша, делая паузы между словами.

— За этот год товарищи, мы получили четыре миллиона. На будущий год нам ассигновано тридцать миллионов. К этим миллионам летят со всех сторон, как бабочки,— кооперация, профсоюз, пионеры, школы и т. д. Правительство и партия дали нам эти деньги, чтобы строить

завод, а не что-либо иное. Мы совершим преступление, если вместо заводских сооружений будем строить магазины, жилые помещения, контору кооперации и т. д. Кооперация — дело самого населения. Залезать в государственный сундук — дело самое легкое. Изыщите средства сами, не затрагивая заводских ассигнований. Вот задача большевиков кооперации. Если с этой задачей вы не справились, не вините Управление Кузнецкстроя. Нам партия поручила строить завод, а не здания для торговли.

Елизаренко и Реутов считали, что Морозов не прав. Реутову показалось даже, что Морозов подпал под влияние Ивана Павловича Бардина.

В резолюции конференция резко отметила безобразную работу кооперации. Стычка между Чурсиным и Морозовым в резолюции отражения не нашла. Конфликт будет решен в округе, в крае, а быть может, даже в Москве.

* * *

Первый паровоз пришел на площадку, когда конференция уже закончилась.

Этот паровоз, дымящий на площадке, олицетворял вторую победу Кузнецкстроя. Вторую после майской, когда огонь заплясал в новой гофманской печи кирпичного завода. План Бардина воплощался в жизнь.

Подъездная ветка была капитальным сооружением — она прослужит столько лет, сколько простоит завод.

Маленький маневровый паровоз, украшенный алыми флажками, притащил по незабалластированному, на живую нитку закрепленному пути платформы с лесом и кирпичом.

Рельсы прогибались, шпалы оседали под паровозом. Четыре километра от станции поезд шел пятьдесят минут. За ним поспевали пешком. На временный деревянный мост через Абушку паровоз ступил сначала одним скатом, потом, будто помедлив, подвинул другую пару колес. Мостик закряхтел и пропустил поезд.

У котлованов заводоуправления паровоз закричал, как мальчишка, диким озорным гудком. Он свистел несколько минут. Со всех сторон бежали грабари, землекопы, плотники. Встреча не была назначена заранее. Чем черт не шутит — вдруг конфуз.

Летучий митинг открыл с паровоза Елизаренко.

Когда народ разошелся, Морозов сказал Кулакову:

— Видишь?

— Ну?

— В эту ветку мы вложили четыреста тысяч. Как по-твоему, эти деньги лучше бы кооперации дать? Или гостиницу выстроить?

Кулаков промолчал. Сейчас, когда нахлынуло волнение от первых побед стройки, ему не хотелось спорить.

Поезд подался назад. Кирпичи для Кузнецкстроя поплыли с рук на руки с платформ.

Нет, Чурсин! Нет!

Они были боевыми ребятами — два партийца с Кузнецкстроя. Они решили пробиться, если нужно, до Михаила Ивановича Калинина. И добрались к нему.

Кулаков, отправляя их, сказал:

— Душа винтом, а чтоб термоса были!

На площадке лишь один рубленый дом был занят под столовую. Кроме того, две летних столовых расположились под навесами. Здесь же на воле были сложены и кухни-времянки. К зиме их законсервировали. Сняли плиты и заслонки. Раскрытое нутро печей завалил снег.

Чурсин требовал помещения и оборудования для новых столовых. Морозов отказывал. Конфликт странствовал по инстанциям. За ноябрь прибыло две тысячи рабочих. Утекло полторы.

Кулаков брякнул: «Душа винтом...»

В Москве с помощью Калинина посланцы Кузнецкстроя получили двенадцать термосов и три походных кухни. Термоса были выданы с армейского склада на Шаболовке. С двойными стенками вместимостью по четыре ведра. Они сверкали зеленой краской. Крышки привинчивались наглухо. Гайки откованы с крыльями, как бабочки. Винтовая нарезка оставляла машинное масло на ладонях.

Термоса гнали на площадку пассажирской скоростью. Кухни — на товарных платформах.

* * *

Партийная ячейка площадки избрала секретарем Реутова.

Снег укрыл цепочку кольев, вбитых вдоль оси завода. Бараки на пригорке, где стояли также шесть рубленых

двухквартирных домиков, назывались Верхней колонией. По другую сторону оси завода в ровной болотистой низине предполагалось заложить соцгород. Пока там сколачивали тесовые бараки. Они назывались Нижней колонией.

Все члены ячейки были прикреплены к баракам для политбесед. Реутов с утра начинал проверку, посещали ли члены ячейки свои бараки. Он гонял тех, кто отлынивал, отсиживался. Он вытягивал письменные отчеты о каждом посещении барака.

Отчеты были похожи один на другой. Некоторые сохранились. Прочтем:

«В ячейку ВКП(б) заводской площадки

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

О проведении беседы в бараке № 27 на тему «Международное положение».

При обсуждении рабочие отмечали слабое снабжение продуктами и плохие обеды... Да мы лучше уйдем в тайгу. Как видно из выступлений, есть часть кулацких агентов. Мне, беседуя до двенадцати часов ночи, удалось расколоть, выявить бедноту, сочувствующих, которые стали выступать в поддержку.

Суворов Н. А. 12. XI—29».

* * *

Андрей Кулаков вставал в шесть. Он будил похудевшего Елизаренко. Они вместе выходили из дому.

Елизаренко по профсоюзной линии имел задание — добиться чистоты в бараках. Шел конкурс чистоты. Соревнование барака с бараком; койки с койкой. Премии: радиоприемник — победительнице-койке, громкоговоритель — бараку.

Зимой на Нижней колонии продолжали рубить новые дома. Сюда Кулаков пришел после обеда. Еще издали он увидел, будто на бревне уселись в линию одна за другой птицы. Он не удивился. Так уж бывало. У плотников волынка. Они всаживали в бревно топоры,— всаживали в длинный ровный ряд будто по линеечке,— и бросали работу. Валялся опрокинутый термос. На снегу застыла серо-

ватая лужа. Были видны ломтики моркови, бурые макароны, кусочки мясной крошенки. Бок термоса был вдавлен,— кто-то, видимо, сильно пнул сапогом.

— В чем дело?

Плотники сунули Кулакову белый вываренный плоский кусок. Это была гузенная кишка. В ней накопляется коровий кал.

Несколько дней спустя прибежали в райком и бросили на стол Кулакову хвост и две лапки крысы. Они были найдены в борще. Слух о борще с крысиным наваром разнесся по площадке. Термоса полетели в снег. Площадка полдня не работала.

Люди бежали с площадки. Артели бузили. Вербовщики сообщали:

— Вербовка идет туго. По всей Сибири разошлись люди, побывавшие на Кузнецкстрое. Собираешь народ, и обязательно кто-нибудь вылезет: «Я там был. Пришлось бежать. Даже заработок оставил».

* * *

Арестовали в столовой пять человек. Затихло. Потом опять. В супе — тряпки. В колодце на Нижней колонии найдена дохлая собака. Как она попала туда? Сама? Брошена ли?

Так или иначе — это был козырь кулака, удар по коммунизму. Коммунизм отвечал термосами, теплыми бараками, чистыми матрацами.

Чурсин! Чурсин! Видишь ли, слышишь ли эту схватку?

Чурсин, на твоем — тебе доверенном — участке ожесточается бой. Ворвись наконец в драку! Добейся образцовой столовой! Перетащи правление на площадку! Ночуй на столах в райкоме, в конторе, если не дают квартиры!

Чурсин! Еще раз, последний раз зовет тебя партия!

Несколько раз Кулаков говорил с Чурсиным начистоту. Бюро райкома дважды делало Чурсину предупреждения.

Чурсин отсиживался в старом Кузнецке. Доходили слухи о пьянках. Он требовал помещений. Морозова называл сквалыгой.

И вот... В дошедшей до нас старой райкомовской папке мы читаем:

«Товарищ Кулаков!

Я готов нести какое угодно наказание, но только не высшую меру. Я готов на любую ударную работу. Я спрашиваю себя: не сон ли это? Я в ужас прихожу, я плачу. Ты говоришь: «Какая же это болезнь, если ты лежишь и пьешь?» Возьми том Большой Советской Энциклопедии, найди слово «алкоголь» — и ты поймешь, в чем дело. Исключение из партии для меня смерть — смерть бесславная. Меня нужно бить, но не до смерти. Ты говоришь: в назидание другим. Это слишком жестоко. Я стою на грани душевного заболевания. Прошу, умоляю тебя — пересмотри свой взгляд на меня.

К. Чурсин».

Нет, Чурсин! Нет! Поздно.

Председатель Центрального рабочего кооператива Чурсин был первым, кого вновь организованный райком исключил из партии.

1933. ПИСЬМА ИЗ МОСКВЫ И МАЛЕЕВКИ В НОВОКУЗНЕЦК

Проведя в Кузнецке февраль, март и апрель, наша бригада в начале мая была отпущена в Москву писать первую книгу истории завода. Был установлен срок возвращения на площадку с рукописью — 1 сентября. Затем, в перспективе, предполагалась и вторая книга. К бригаде в некоем странном качестве наблюдателя и контролера был прикреплен Тарасов-Родионов, опять появившийся на какое-то время в Кузнецке.

Намечалось, что все мы поселимся в подмосковном Доме творчества «Малеевка» и напишем там книгу.

16 мая 1933 г. Москва

...Вчера приехали в Москву.

...В дороге для меня окончательно выяснилось: с Тарасовым я работать не буду. Если он будет участвовать во второй книге, то я в ней не участник. Это совершенно твердо и окончательно. Смирнов тоже под опекой Тарасова работать не будет. И по всей вероятности,— на 90 процентов,— работать будем мы, а он и сам не захочет. Придется

в будущем распроститься и с Зиной, чтобы совсем избавиться от Тарасова.

Это мое решение определилось после небольшой стычки в вагоне. Я сказал что-то вроде: «Интересно будет узнать у Авербаха, как дела на других заводах». Тарасов взбеленился: «Я прошу тебя к Авербаху не ходить и ни о чем с ним не разговаривать, я запрещаю» и т. д. Разозлился и я: «Как так — запрещаю? Да что это такое?»

В общем стычка закончилась более или менее мирно, я обострять не стал, хотя свои права говорить с кем угодно отстоял. Но для меня ясно, что Тарасов хочет совершенно изолировать нас от центральной редакции, чтобы полностью держать в своих руках. Он даже заявил, что нам сейчас вообще не нужна центральная редакция, пока не будет готова книга.

Я думаю разрушить эти его планы, но осторожно, чтобы не поссориться с ним вдрызг. Такая ссора сейчас, накануне работы, совершенно ни к чему.

17 мая. Москва

...Сообщаю новости. Вчера вечером мы все собрались. В Малеевку Тарасов нас устроил, и 1 июня мы катим туда. Нам он сказал: «До первого июня работайте каждый самостоятельно». Зина собирается на несколько дней в Ленинград к родным. Я запротестовал. Зачем же тащили меня в Москву? Почему не дали съездить к Федоровичу в Караганду? Мы посидели часа два, причем Тарасов быстро смылся на какое-то заседание, а мы втроем основательно хорошо потолковали.

Завтра или послезавтра я сажусь писать.

Еще никак не могу примениться к разнице во времени на четыре часа — ложусь рано, так и тянет спать, просыпаюсь в шесть утра.

24 мая. Москва

...Есть интересная новость,— скоро, по-видимому, будет созвано всесоюзное совещание по истории заводов. Об этом я узнал в центральной редакции. Кажется, совещание будет приурочено к съезду писателей.

Посещение центральной редакции не произвело на меня хорошего впечатления. Авербаха я не застал, его заместитель Шушканов словоохотливостью не отличается.

Там какая-то мертвечина. Я слышал, что Авербах там не бывает и почти забросил это дело. В Москву приехал Горький, и, возможно, он встряхнет работу. Вероятно, в связи с его приездом и возник вопрос о совещании.

...Москва не радует меня. Я чувствую себя выбывшим из литературы. Многие не здороваются. Другие здороваются, но почти никто не спрашивает: «Ну, как, Бек? Что делаешь? Откуда? Над чем работаешь?» Есть только одно средство борьбы с людским равнодушием — работа, работа, дьявольски упорная работа.

Литература не верит намерениям, хорошим душевным качествам, страданиям, помыслам,— она верит только книгам.

Выход один — работа. Этот выход есть, он не закрыт.

29 мая. Москва

...Насчет приглашения писателей для второй книги мне еще ничего сделать не удалось. Некоторые надежды возлагаю на Малеевку. Ведь мы там пробудем три месяца,— возможно, что за это время попадется кто-нибудь подходящий. Через два дня едем туда.

30 мая. Москва

...Да, надо бы уже привлекать писателей для второй книги. Пока хотя бы одного. Ему предстоит поработать и на площадке и в Москве. Поиски материала в Москве для второй книги прямо необходимы. Здесь столько материалов в ЦК, в ЦКК — РКИ, в Наркомтяжпроме, что, если всерьез писать вторую книгу, без них не обойтись. Если этого не изучить, то и писать не стоит.

31 мая. Москва

...Здесь весь май стоит очень плохая погода. Каждый день дождь и дождь. Проходят и проходят, пролетают деньки. Эти полмесяца были малопродуктивны. Работал вяло, бесед провел всего четыре. Зря уехали. Зря болтаемся в Москве. Ну, ничего, завтра уже в Малеевку.

31 мая. Москва

...Пишу сегодня вторую открытку. Оказывается, в Малеевку завтра мы не едем. Новый дом не готов. Он откроется только шестого, и мы выедем пятого вечером, не раньше.

Меня сначала огорчила эта новость,— очень тяготит вынужденное бездействие или полубездействие. Хочется писать, засесть вплотную, и вдруг — срыв. Но я решил: с завтрашнего дня начну с полной нагрузкой писать в Москве. Опять возьмусь за своего Курако.

...Николай Григорьевич удивляется поведению Полины. Почему она не расшифровывает, не высылает стенограмм наших бесед с Франкфуртом? Или тоже расклеилась?

1 июня. Москва

...Нынче у меня первый день полноценной настоящей работы. Пишу главу о Курако. Как много все-таки значит — иметь возможность заниматься писательским трудом, погрузиться в это, ни о чем больше не думая, будучи обеспеченным ежемесячной заработной платой. Этим мы обязаны «Истории Кузнецкстроя».

...Опять возникают мысли, что у меня талант журналиста, а не художника. Но, думается, и талант журналиста можно отточить так, что он приблизится к художественному. Надо работать и работать.

...Теперь насчет второй книги. Я все больше склоняюсь к тому, что она должна быть цельным, единым повествованием. Это будет более ценная вещь, чем очерки. И думаю, что мне грешно было бы отказаться от возможности изучить всю до тонкости стройку и описать правдиво (поелику возможно), как она шла. Ведь там действительно масса интересного. Взять тот же соцгород — всю эту проблему надо специально изучить. А кризис первой домны зимой? Это тема для романа. А Сибирь? Проблема: Сибирь и Кузнецкстрой. А люди, люди, люди? Трудно их описывать, а интересно.

Я думаю, нам удастся создать «элегантную», как говорит Смирнов, книгу. А вторая книга тоже потребует по меньшей мере года работы.

Подготовляй ее, опрашивай людей,— чем больше материала, чем больше подробностей, тонкостей, тем богаче, сочней будет написано.

3 июня. Москва

...В Москве все дождь и дождь. Каждый день льет с утра и до утра. Не знаю, сможем ли пятого выбраться в Малеевку. Боюсь, что скверная погода задержит там работы.

Тарасов чувствует себя виноватым. Я говорил по телефону с Зиной. Она сказала: «Я начну писать только в Малеевке. Надо быть всем вместе. Жаль, что пять дней вычеркивается из бюджета». Потом трубку взял Тарасов: «Знаешь, говорит, ничего нельзя поделать. Я нажимал. Но не готова крыша. Раньше пятого никак нельзя».

С Зиной и Тарасовым я почти совсем не вижусь. Со Смирновым часто, почти каждый день. Он обедает в Доме Герцена и часов в пять обязательно стучит ко мне в окно. Частенько ходим с ним в Ленинскую библиотеку, читаем о Сибири, о доменном деле, об истории металлургии. Но и он в Москве ничего не пишет. Тоже ждет, пока окажемся в Малеевке. И только я, писака-мученик, усадил себя за стол.

Третий день работаю по-настоящему. Начинаю писать в десять, сижу до двух, потом меня пронимает голод, я иду обедать, после обеда сплю, потом в семь опять принимаюсь писать и до одиннадцати.

Сегодня кончил главу о Курако, которую делал еще на площадке. Получилась длинная, на машинке будет страниц пятнадцать. Раза два ее придется еще переписать, тогда она примет приличный вид. Следующая глава «Уголь» (ее должен писать Смирнов), потом «Роговщина» (это за Зиной), а дальше 1920 год в Сибири (я). Это очень трудная глава — в ней масса разнообразного материала, в том числе и смерть Курако. Я сейчас раздумываю над этой главой.

7 июня. Москва

...Мы все еще сидим в Москве.

9 июня. Малеевка

...Вот я и в Малеевке. Только что приехал. Сижу на кровати и пишу. Почему на кровати? Потому что в комнате нет еще стола,— его делают, и только завтра к утру он будет готов. Мы поселились в новом доме. Он огромный, комнат на пятьдесят — шестьдесят. Пока готовы только пятнадцать. Остальные доделываются, стучат топоры, молотки, скрипят пилы. Над моей комнатой только вчера или позавчера настелили крышу, и комната пока попросту мокрая,— ведь три недели лили дожди, поэтому и стены и полы совершенно сырые. Растоплена печь, открыты окна, комната просыхает.

Добрался я до Малеевки с мучением, натерпелся, можно сказать. Дорога от шоссе (там меня высадили с попутного автобуса) напоминает Кузнецк — такая же топкая грязь. Я сразу промочил ботинки, разулся, выжал носки и зашагал босиком, таща на спине чемодан со стенограммами, книгами. Жара, грязь, я в пальто, с чемоданом, вспотел, устал.

Смирнов со мной не поехал, он выезжает завтра. Воображаю, как он дотащится. Выйду его встречать. Впрочем, к завтрему, может быть, высохнет, потому что второй день погода стоит превосходнейшая. Зина и Тарасов приедут, вероятно, дня через два.

...В последние дни в Москве я читал кое-кому свои страницы — вступление, главу о Курако, еще кусочки. Представь, всеобщее одобрение. Я прямо удивлен — люди буквально восторгаются, говорят, что очень хорошо, замечательно и т. д. Ф. и Н. аплодисментами прерывали вступление. Это все меня порадовало и зарядило. Я поэтому решился: позвонил Авербаху — «хочу тебе кое-что почитать, в частном порядке, посоветоваться, поговорить». Он назначил на одиннадцатое вечером. Отъезд я все-таки не стал откладывать. Съезжу к нему отсюда. Прочту ему вступление, Курако (отделаю еще завтра здесь, в Малеевке), кое-что еще, набросанное в Москве. Во всяком случае, это будет интересная встреча.

11 июня

...Еду из Малеевки в Москву. Пишу в поезде. Клонит в сон. Встал я сегодня в пять утра и отправился на станцию. Дорога пустынна, на шоссе почти нет движения. Всего две подводы и два человека попались мне навстречу. Я шел пешком. Ямщиков нет,— их раскулачили и послали рубить лес. На автобус попасть можно только с боем.

В Малеевке надоедают комары, в остальном все хорошо. Кормежка приличная. Вчера сюда добрался Николаша.

...Работая, я думал о Сибири. Да, если всерьез становиться на писательский путь (а это, как видно, так), к Сибири придется вернуться. Но не в очерковом романе. Меня тянет к сюжетным вещам с человеческими судьбами и т. д. Типа, например, «Судьба Шарля Лонсевиля» Пaус-

товского. Мне очень нравится эта вещь, она напечатана в альманахе «Год шестнадцатый».

Я знаю, когда-нибудь мне придется вернуться к теме Кузнецкстроя на высшей основе. Сейчас наша вещь будет, конечно, недоработанной, недоспелой. Когда-нибудь вернусь к Сибири, к «Копикузу», к Федоровичу, к сибирской геологии, к Усову, к Урало-Кузбассу. Мы еще и не копнули как следует этой целины. Так хочется знать как можно больше. Вот и сейчас я еду не только для того, чтобы повстречаться с Авербахом, но и на беседу с интересным человеком — геологом Гапеевым, который исследовал Кузбасс в 1914—1920 годах. Поработать лет тридцать, написать пятнадцать — двадцать хороших, добротных книг на большие магистральные темы, открыть, воссоздать новые характеры, некий кусок жизни, еще неведомый литературе,— можно умирать спокойно.

...Я подумываю найти Паустовского и соблазнить его кузнецкстроевскими материалами, привлечь ко второй книге.

14 июня. Малеевка

...Завтра утром Тарасов едет в Москву, оставляя нам Зину. Я передаю это письмо с ним и попрошу его бросить в Москве, авось дойдет быстрей.

Встреча, о которой я писал в последних письмах, не состоялась. Она будет, очевидно, в следующий мой приезд в Москву. Но с Гапеевым увиделся. Он рассказывал часа три.

...В Малеевке наша троица-бригада еще раз обсудила, как разделить работу. Вместе с тем поточней наметили содержание и объем глав. Курако моего здорово подмяли, о нем-де слишком много, придется сокращать, сжимать. Зато я немало интересного узнал от Гапеева о Кузбассе, о Сибири. Это отчасти войдет в главу, которую я как раз сейчас пишу. В ней говорится о геологических исследованиях, о поисках угля на востоке в предреволюционные годы. Эту главу передали мне. Здесь был у нас пробел. Теперь беседой с Гапеевым я его восполнил.

Смирнов выдвинул интересную мысль,— жалко, не удастся ее провести. Он вспомнил, что «Копикуз» заполучил угленосный край в концессию от Кабинета его величества. Раньше эти земли были кабинетскими. И вот интересно было бы показать этот самый Кабинет, при-

дворные сферы, интриги, разные ходы, посредством которых учредителям «Копикуза» удалось оттягать эдакий кус. Если бы все это узнать в конкретности, было бы интересно изложить в начале книги. Теперь поздно, и осуществить это вряд ли удастся.

А вот в той вещи, которую, возможно, я когда-нибудь буду писать о Сибири, обязательно надо будет показать этот Кабинет, вторжение капитализма. Все в лицах, в действии. Вообще роман о Сибири мыслится мне так, чтобы половина действия протекала на месте, а другая — в Петрограде, в Москве, на Урале, на Юге. Вообще меня тянет к широким полотнам с массой исторического материала. Читать это, думается, будет интересно.

...Вчера у нас было столкновение с Тарасовым. Не хочу писать об этом в письме, которое повезет он. Завтра опишу подробно.

15 июня. Малеевка

...Я уже писал, что свидание с Авербахом не состоялось. Он уехал одиннадцатого на дачу и двенадцатого не вернулся. Возвратившись в Малеевку, я решил сразу определить отношения с Тарасовым. Я ему сказал прямо:

— У нас внутри бригады должны быть отношения более тесные и интимные, чем с тобой. Мы будем читать друг другу, а тебе нет. Тебе мы дадим уже готовый текст. Ты имей это в виду и не обижайся.

Он что-то промычал и перевел разговор на другое,— что-де надо начинать писать четырнадцатую партконференцию. Я отказался. Заявил, что считаю это нецелесообразным, что мы начнем с первых глав. Был спор, Тарасов уступил.

Мы без него уединились и стали разрабатывать главы первой части, намечать их размеры и т. д. Вышло восемь листов.

И вот за обедом разыгрался скандал.

Тарасов заявил, что больше шести листов он не допустит. Я сказал, что это его не касается, не входит в его компетенцию. Нам дано для всей первой книги, для ее трех частей, 24 листа, и мы распределяем листаж так, чтобы воплотить свой замысел.

Он раскричался. Я говорю:

— Тогда пиши сам.

Он кричит:

— Горком партии дал мне директиву: не допускать первую часть больше шести листов.

— Ну, тогда пиши сам.

— Если вы мне не подчиняетесь, я распущу бригаду.

— Нет, лучше мы попросим в главной редакции, чтобы нам дали другого редактора.

Это на него подействовало. Он притих.

Сейчас Тарасов к нам не лезет, зря получает от «Истории Кузнецкстроя» по 400 рублей в месяц. (Да, он угрожал, что не даст нам денег, не будет выписывать зарплату,— ему и это предоставлено. «Пожалуйста,— говорю я.— Смирнов получил сейчас пять тысяч за «Джека Восьмеркина» и всегда меня выручит.)

Пишется хорошо. Первая часть, думаю, выйдет стремительной, богатой, если, конечно, Тарасов не испортит.

17 июня. Малеевка

...Работа двигается у нас так,— я иду впереди, написал уже начерно две с половиной главы, Смирнов отстает, набросал лишь несколько страничек, а Зина совсем зашилась, что-то высиживает, нам не читает, работает в одиночку и до сих пор не сделала полглавки о Кольчугинском восстании. К роговщине она еще не приступила. Она, очевидно, выписывает каждую фразу и хочет блеснуть.

Я работаю по-другому — стараюсь сначала написать все до конца, выяснить общий ход действия, а потом приводить в порядок. Это мне кажется правильным. Ведь и скульптор не лепит сначала нос, а делает из глины всю фигуру, и художник сперва намечает на полотне общую композицию.

С Тарасовым мы продолжаем пикироваться.

— Смотри,— сказал он сегодня,— они и без тебя сумеют написать.

— Возможно,— отвечаю.— А без тебя сумеем, это уж вне сомнения.

— Ну, это тебе не удастся.

В общем, без столкновения не обойдется. Посмотрим, как это выйдет.

...Около Малеевки в деревне живет Виктор Шкловский с семьей. Мы со Смирновым к нему понаведались. Николаша относится к Шкловскому с большим уважением. Сказал однажды мне:

— Свежатина,— это то, чего не знает Шкловский.

20 июня. Малеевка

...У нас в бригаде прорыв. Смирнов заболел. Лежит третий день. Температура 38 и даже 39. Врач говорит: грипп. На недельку, вероятно, Николаша из строя выбывает. Я за ним ухаживаю.

Все дни стояла прекрасная погода, а сейчас страшнейший ливень с громом и молнией.

21 июня. Малеевка

...Сейчас Смирнова отправили в Москву. Его повезли Тарасов и Зина. У него четвертый день температура 38, 39, сегодня ночью было даже 40.

Он очень боится: «Останусь ли жив?» и т. д. Но доктор говорит, что грипп. В Малеевке в смысле удобств почти ничего не изменилось, я понял это во время болезни Смирнова. Часто нет даже кипяченой воды.

23 июня. Малеевка

...У нас неприятная новость — оказывается, у Николая Григорьевича сыпной тиф. Значит, он выбывает из строя на месяц, на полтора. Это в лучшем случае.

Мне неясны еще все последствия этого события. Работа во всяком случае затормозится, хотя темпов я не сдам.

24 июня. Малеевка

...Спутаны все карты, смешаны все перспективы.

Сегодня я еду на несколько дней в Москву. Меня попросили это сделать, потому что некоторые отдыхающие опасаются: ведь я все время ухаживал за Смирновым. Проведу в Москве дней пять — семь и вернусь.

Меня продезинфицировали, белье отправили в дезокамеру, комнату мою залили такой вонючей жидкостью, что второй день шибает в нос. За себя я не боюсь, я сыпняком болел. Но за Николашу тревожусь, хотя в Москве у него хороший уход.

Эх, напрасно, напрасно мы поспешили уехать из Кузнецка, не написав там черновика книги. Если бы мы имели

черновик, временное выбытие Смирнова не очень отразилось бы. А сейчас в Москве и здесь он не написал почти ничего, набросал лишь самый конспективный черновичок одной главы.

Что же сейчас делать? Выходов два: или срезать план, или сорвать срок.

План срезать можно — например, кончить 16 партсъездом, перенеся конфликт Франкфурта с Кулаковым, стройку домны, закладку мартена и т. д. во вторую книгу. Это я считаю наиболее целесообразным. Тогда, возможно, выиграет и вторая книга (интересное начало, сразу конфликт, завязка), и первую мы сумеем в сентябре кончить.

Я лично смогу заменить Смирнова по первой части (там он должен дать несколько кусков). Собственно говоря, за исключением двух глав, всю первую и так предстоит написать мне. Мне даже хочется написать ее самому. Она мне нравится, и, думаю, будет хороша. Она сама по себе будет представлять отдельное произведение, и — поверь мне, скромнику,— очень интересное, такое, с которым мне не стыдно будет показаться в люди. Дальнейшие главы (кое-что из них мы уже писали на площадке) потянет Зина. Возможно, ей поможет Тарасов. Пока там все страшно эмпирично, не доведено до конфликта, не дожато. Я с Зиной разделюсь, то есть потребую, чтобы в книге было указано, кто что писал.

Если же не урежем план, то раньше декабря книга кончена не будет. А по-моему, лучше поскорей издать. Тарасова я к своей части не подпущу. Плохо лишь, что он ведает деньгами. Ну, как-нибудь я из-под него выберусь. Главы у меня, кажется, хорошие. Я их отделаю и дам на машинку.

Очень долго я сидел над главой «1920 год», которая заканчивается смертью Курако. Не мог найти конфликта, стержня, сцен. Конфликт обнажился передо мной постепенно. Теперь все найдено и черновик есть.

О болезни Смирнова напишу сегодня Власову.

Примечание. П. И. Власов — редактор газеты Кузнецкстроя «Большевистская сталь». Он был утвержден и редактором «Истории Кузнецкого завода».

27 июня. Москва

...Сегодняшняя ночь была последней для Смирнова. Умер, умер наш Николаша.

Меня обступили заботы. Несколько раз побывал и в горкоме писателей, и в комиссии по похоронам. Наведываюсь и в его семью. Сейчас опять еду к ним.

Он умер сегодня утром в девять часов. Пишу я и плачу. Жалко Николашу, ах как жалко.

Не могу сейчас больше писать.

29 июня. Москва

...Напишу о смерти Николаши.

В Малеевку он приехал 10 июня. Я выходил на мост его встречать.

Все время в Малеевке он кис. Жаловался, что нездоровится, не работает, не нравится новое место. Он набросал за семь дней черновичок только одной главки: «Гора Тельбесс». 17-го он хотел ехать в город. Написал родным, что 18-го будет в Москве. Как раз 16-го вечером из Малеевки шел грузовик прямым сообщением до Москвы. Он решил уже садиться, но в последний момент раздумал. «Что-то плохо себя чувствую. Что я такой в Москву поеду?» 17-го вечером он слег. Попросил меня достать термометр. Температура — тридцать восемь с хвостиком. Мы решили, что ему надо пропотеть. Я достал аспирин. Он здорово потел,— переменил несколько рубашек. Утром опять тридцать восемь. Что такое?

Вечером пришел доктор. Осмотрел. Говорит: грипп. Опять аспирин, опять потение. Аппетита нет. Курить перестал.

— Вот,— говорит,— будет польза от болезни. Отучусь курить и брошу.

Наутро — тридцать девять. Вечером — это уже 19-го — опять был доктор. Опять сказал, что грипп. На следующий день снова тридцать девять и вечером — сорок. Доктор выдвинул другую гипотезу: засорение желудка. Николаша ухватился за это.

— Ах,— говорит,— до седых волос дожил, а какого я маху дал. Конечно, жар от желудка. Как сразу не догадался!

Достали слабительного. Подействовало. Ну, думаю, к утру болезнь должна пойти на убыль.

Утром 21-го — опять тридцать девять. Я уже вижу, что дело не шуточное.

— Сейчас же, Николаша, надо ехать в Москву. Пойду попрошу до станции лошадь.

Дали лошадь. Оделся он и говорит:

— А ведь я умру, Бек. Как думаете?

Я говорю: ерунда.

Тут подвернулся Тарасов. Он собирался ехать в Москву на следующий день. Когда увидел лошадь, заявил: и я поеду.

Я, кажется, уже писал, что в обычных условиях добираться на станцию чертовски трудно, надо где-нибудь нанимать лошадь. Он взял Зину, сел сам, и двинулись они с Николашей на станцию. Для меня места не осталось.

...Сижу в Малеевке, работаю. У меня и мысли не было, что сыпняк. И никто не подозревал. Кто-то взял матрац, кто-то — одеяло с постели Смирнова: тут вообще всего этого нехватка.

Вдруг 23-го приезжает Ляшкевич, председатель горкома писателей, с известием, что у Смирнова сыпной тиф. Он специально из-за этого приехал. Страшно нагорело врачу, заведующему, экономке, что не было дезинфекции. Сейчас же произвели дезинфекцию в его и моей комнате, взяли вещи, его и мои, отправили в дезокамеру, и мне говорят: «Уезжай ты пока отсюда. Народ здесь мнительный, а ты все время был около него». А доктор меня не выпускает, пока я не пройду дезинфекции. Паника.

24-го вечером я уехал. Звоню на квартиру Николаши. Мне отвечает Оля, его жена. Она только что приехала из Харькова. Он ведь заболел без нее. Она числа 6-го уехала в Харьков. Там у нее умер отчим, осталась беспомощная мать. Туда дали две телеграммы. Оля приехала утром 25-го. Николаша был уже в больнице.

Я тут же поехал в больницу вместе с Олей. К нему, конечно, не пускают. Пускали только его сестру Лидию, потому что она врач и ведет в этой больнице научно-исследовательскую работу. Она к нему ходила два раза в день.

Мне она сказала по телефону:

— Плохо, очень плохо.

— Что, почему?

— Организм сопротивляется вяло.

Мы с Олей спрашиваем врачей: ну, как? Они отвечают более успокоительно. Привезли его, говорят, в ужасном состоянии, а сейчас лучше. Будем ждать кризиса.

Кризис бывает на 13—14-й день, самое раннее на 12-й. Идем с Олей к главному врачу. Просим, чтобы ее пропустили на свидание. Отказывает наотрез.

— У нас,— говорит,— допускают только к умирающим.

Просим положить его в отдельную палату. Я выступаю от имени горкома писателей. Тоже отказывает.

— Не можем. У нас есть несколько отдельных комнаток. Там лежат только гибнущие люди.

Больница — Басманная — очень хорошая, очень чистая, много персонала, прекрасные светлые палаты. Мы с Олей идем к окну той палаты, где он лежит. Николашу подняли, он минуту на нас посмотрел и снова лег. Я его не узнал — голова стриженая, оброс седой щетиной, усики в ней потерялись.

Потом он сестре сказал, что нас узнал.

Мы уехали. Оля очень огорчалась, что он в больнице. Угнетала бездеятельность. Она страшно любит что-то делать, трудиться, чем-то помогать. А тут — ничего.

На следующий день — 26-го — я созвонился с Авербахом. Был у него. Читал отрывки. Словом, связался. Результат очень хороший. Ему понравилось. Подробности в другой раз.

Иду от Авербаха, у меня заболела голова. Думаю, уж не сыпняк ли у меня во второй раз. Пришел домой, смерил температуру — нормальная. Решил уснуть. Часов в восемь лег и уснул.

В одиннадцать звонок по телефону. Меня спрашивает сестра Николаши.

— Бек, вспомните, в какой день вы с Колей были в пионерском лагере (около Малеевки)?

— А что?

— Да вот Коля говорил одному товарищу, что видел его сына в лагере, но тот не мог с ним разговаривать, потому что чувствовал себя плохо.

— А при чем здесь лагерь? Что случилось?

Оказалось, что у Николаши утром 26-го температура снизилась,— сначала тридцать восемь, потом тридцать семь.

У меня сердце так и упало. В Малеевке, когда узнали, что у Смирнова тиф, пошли разговоры о сыпняке. Кто-то рассказал, как умер от сыпняка Полонский (редактор «Нового мира»). Врачи боролись, но когда на девятый день температура поползла к тридцати семи, сказали, что все кончено. Оказывается, если температура падает, когда еще не наступил кризис, значит, организм перестал бороться и смерть неизбежна. Кто-то потом говорил, что иногда

удается снова поднять температуру и спасти человека, но в этот момент в голове пронесся только рассказ о Полонском. Сестра стремилась точно определить, какой день болезни. А вдруг двенадцатый? Тогда кризис и все хорошо. Слег он семнадцатого. Значит, десятый. Но в лагере мы были за два дня до того, как он свалился, так, может быть, он ходил с температурой и сейчас двенадцатый?

Я не верил в счастливый подсчет (правда, Николаша все время жаловался, но вряд ли ходил с температурой), однако старался обнадежить.

Лидия звонила из дому,— Оля там делала кофе для него, они собирались в больницу. Я сказал, что и я сейчас подъеду. Приехал я раньше их и встретил у ворот.

Сестра пошла внутрь, а мы с Олей — к окну, откуда раньше на него смотрели. Заглядываем, а няня открывает форточку и, как-то путаясь, говорит:

— Его здесь уже нету, его перевели в отдельную палату.

— Почему?

— Около него врачи, а тут это будет мешать другим больным.

— Ну, как он?

— Не знаю. Температура упала. Спросите у доктора.

И захлопнула.

Я понял одно: пришла смерть. Вспомнил, что говорил нам главный врач об отдельной палате. Мы с Олей идем, ищем окно этой палаты. Я молчу, тут нечего говорить.

Нашли окно. Видим,— комнатка; врачи что-то возятся, вливают физиологический раствор, что ли; сестра его стоит и держится руками за лицо. Уже эта поза ее мне все сказала.

Выходит она. Говорит:

— Прямо скажу, положение жуткое.

Выходят врачи и говорят другое. Пульс хороший, сердце работает. Олю к нему не пускают. Это единственная наша соломинка. Мы прохаживаемся, смотрим в окно.

— Поезжайте,— говорит доктор,— домой. Опасности пока нет. Пульс хороший. Приедете утром. Берегите себя.

И эдак весело говорит.

Выбежала нянька.

— Что вы здесь? Все хорошо. Поезжайте, поезжайте домой.

Оля не хотела ехать. Я ее уговорил. Признаться, они разговаривали так уверенно и весело, что я сам поверил: это двенадцатый день, это кризис, а потом выздоровление.

Было два часа ночи. Трамваи не ходили. Начинался рассвет. Где-то нашли такси и поехали. Прощаясь, я даже сказал:

— Ну, ничего, еще напишем с Николашей роман о Сибири.

Добрался домой и лег. Начал опять хладнокровно подсчитывать, и опять мне стало ясно, что это конец, что словами о двенадцатом дне я обманываю сам себя.

Из больницы обещали позвонить, если что-нибудь случится. Только я лег — звонок. Говорит его сестра: «Нам сейчас звонили из больницы, просили приехать».

Значит...

Я вышел. Было полчетвертого. Пошел пешком. Солнце всходило как раз там, куда я шел. Оказывается, Басманная на востоке. Думал, как мы будем без Николаши.

Пришел я раньше их. Опять заглядываю в окно. Меня увидел доктор и зовет внутрь — к нему. «Можете пройти»,— говорит. Я уже знал, что это значит. Я не пошел. Не хотелось идти туда первым,— показалось, что это будет оскорбительным для Оли, если кто-то чужой, а не она около него. Я вышел их встречать.

— Конец? — спросили они.

— Еще нет.

Оказалось, через полчаса после нашего ухода у него произошло кровоизлияние в мозг. Он начал корчиться, выгибаться. Пульс пропал. Началась агония. Врачи отошли, отступились.

Оля сидела около него. Я был там. Она сама поддерживала уже почти мертвого кислородом, камфарой, физиологическим раствором.

Потом я оставил палату, ходил около окна. В девять подошел к окну. Из-за стекла Оля кивнула головой, как будто говоря: «да». Она вышла и сказала:

— Он умер пятнадцать минут тому назад.

Ну, вот и все.

1933. ЕЩЕ ДВАДЦАТЬ ПИСЕМ ИЗ МОСКВЫ И МАЛЕЕВКИ В НОВОКУЗНЕЦК

29 июня. Москва

...Сегодня похоронили Смирнова. Был потом часа три с его семьей.

30 июня. Москва

Вчера я собирался резко говорить с Тарасовым. Оказалось, что резкого разговора не понадобилось и мои предложения они приняли.

Соглашение наше заключается в следующем.

Первое: кончаем книгу 16 партсъездом, конфликт с Кулаковым и далее передается во вторую книгу. В нашей книге, таким образом, получится всего две части, одна «доисторическая», другая — с 1929 года до 16 съезда.

Второе. Первую часть пишу я и несу за нее ответственность. Все Зинины главы, которые она дала или даст, использую как сырье, как тесто, которое леплю как угодно. Зина делает остальное — все, что написано для ее части мною и Смирновым, использует как сырье.

Третье. Срок 1 сентября сохраняется.

Таким образом, мы размежевались и на этой почве сохраним добрые отношения.

Да, еще вот что. Авторство каждого выделяется. В книге будет указано, что первую часть писал я, вторую она, причем главы, сделанные Смирновым, тоже будут указаны.

Таково примерно наше соглашение. Мы оформим это протоколом. Я его составлю.

Конечно, это выход из положения. Тарасов, к удивлению, сразу уцепился за это, Зина тоже воспрянула.

Раньше я предполагал, что вторая часть вряд ли у нее получится. Теперь думаю, что, может быть, мои скептические предположения неверны. Возможно, она сделает очень недурно и своеобразно. То, что в сравнении с нашими главами казалось у нее размазней, может выглядеть как стиль, как особенность, как своеобразие, если она напишет все сама от начала до конца.

Конечно, массу материала, «свежатин», много линий она не сумеет использовать и пропустит их. Например, у нее пропадет вся история переговоров с фирмой Фрейн

и вообще вся интрига с проектированием, пропадет и история перелома в 1930 году, как он проходил в Москве, в Ленинграде, в ЦК и т. д.

Что же, это останется для второй книги, и она очень обогатится. Я уже начинаю ее представлять, а раньше не представлял.

Буду подыскивать одного-двух писателей в бригаду для второй книги. Им бы уже надо изучать историю перелома 1930 года. Это страшно интересно. Вообще перспективы интереснейшие, работа замечательная. И нет, нет с нами Николаши!

Я живу сейчас в Москве. Пробуду здесь еще дня три-четыре. Да, не написал о встрече с Авербахом. Ну, про это в другой раз.

2 июля. Москва

...Проходят дни, а я еще не начинал работать после смерти Николаши. Послезавтра уеду в Малеевку, денек передохну и окунусь в работу.

Я обдумывал — как мне писать: то ли оставить в черновом виде главы до смерти Курако, сейчас к ним не притрагиваться, а прямо дописывать первую часть до конца, то ли эти первые главы обработать, перепечатать, послать в Кузнецк и дать Авербаху, а затем двинуться дальше. Я решил встать на второй путь. Надо показать что-то более или менее готовое. Это, конечно, тоже еще будут черновики, и к ним я вернусь (когда буду все перебелять), но уже похожие на окончательный текст, которые не стыдно предъявить. На это я кладу три пятидневки. Затем придется опять ехать в Москву, проведу там несколько бесед, потом обратно в Малеевку и к концу августа закончу в приличном виде свою часть.

...С Авербахом у меня установились неплохие отношения. Приехав в Москву, позвонил ему. Его нет дома. Звоню на службу. Тоже нет. Спустя час он звонит сам и назначает свидание у него дома.

Прихожу. Хочу ему почитать. Он говорит, что на слух не воспринимает. Даю ему читать при себе. Даю вступление. Прочел, говорит: «Очень интересно. Это сейчас же можно давать в печать».

Потом даю ему читать еще одну главу в карандаше. Это глава, которую я написал в Малеевке. Называется «Открытие Кузбасса». Он прочел, говорит:

— Добротная реалистическая проза. Что же? Значит, мы открываем в Беке беллетриста?

Потом я ему прочел еще главку вслух. Он говорит:

— Мне нравится.

Те главы, в которых идет речь о Курако, я ему не прочел, не успел, хотя это выигрышная вещь. В общем, восхищения с его стороны не было, но одобрение полное, безоговорочное.

Затем поговорили о Тарасове. Я рассказал все напрямик.

Он сообщил, что Тарасов ему жаловался, что у меня формалистические выверты.

Авербах просил дать рукопись скорее, чтобы показать Горькому.

3 июля. Москва

...Завтра еду в Малеевку.

...Мне очень хочется в дальнейшем написать роман, который мы задумывали с Николашей. Роман о том, как мы писали историю завода. Дать типы писателей, типы строителей, сброшенных жизнью, и тех, кто на коне, дать острый сюжет. Могла бы выйти замечательная панорама. Тема, тема хороша. Материалу, впечатлений масса. И Тарасова и Смирнова здесь показать, Франкфурта, Кулакова, Колгушкина, Бардина, черт-те кого. Дать массу неожиданностей. Стоит, ей-богу, стоит этим заняться.

...Полина, бедная, наверное, плачет о Николаше. Сердечный ей привет.

4 июля. Москва

...Сейчас я уезжаю в Малеевку. Пишу с вокзала. Еду с грустным чувством. Каждый день думаю о Николаше.

Вчера был у Бардина (он сейчас в Москве) и взял у него бумажку — ходатайство о пенсии дочке Смирнова. Каждый день я бывал в семье Николаши, а вчера даже ночевал там. Они прекрасные люди и любили его страшно.

6 июля. Малеевка

...Вчера приехал в Малеевку. Здесь меня ждали два пакета стенограмм и материалов из Кузнецка. Теперь не хватает лишь одной стенограммы Франкфурта и, кажется, чего-то еще.

Вчера же получил из Кузнецка два письма. Одно от Полины. Ужасно долог промежуток от написания до получения писем. Здесь все уже изменилось — умер Смирнов, я пережил все это, а из Кузнецка приходят письма еще как бы с другого этапа нашей жизни. Десять — двенадцать дней идет письмо, как много может перевернуться в эти дни.

Погода третий день сквернейшая — дождь, дождь, дождь.

Работать я еще не начал, хотя так и тянет к бумаге, к столу. Вчерашний и нынешний день я решил провести в безделье, в отдыхе, а с завтрашнего утра начну работать напряженно — по восемь часов в день.

Хочу довести свою часть до того, чтобы внимание читателя было приковано с первой строки и до последней. Мне очень много дал Николай Григорьевич, он обучил меня, собственно говоря, ремеслу писателя, передал мне секреты профессии. Но я далеко, далеко еще не овладел ею.

Здесь живет Ваня Рахилло. Он сейчас летчик и пишет роман из жизни летчиков. Он читал мне отрывки. И мне запомнилось вот что:

«Он летал десятки раз. Летал, как все, и никаких особенностей не было приметно постороннему глазу. Но только в сто двенадцатый свой полет — не двадцатый, не пятидесятый, не сотый, а именно сто двенадцатый — он вдруг почувствовал себя хозяином машины. Ее тайна, ее душа открылись ему. Наслаждение этим новым чувством овладения охватило его».

В общем, что-то в этом роде. У меня не было моего сто двенадцатого полета, и я жду, жду его. И знаю, что он придет.

11 июля. Малеевка

...У меня две просьбы.

Сейчас я обнаружил в стенограммах Бардина пробел — годы войны. Он рассказывал об этом — о своем пребывании на Енакиевском заводе, но без стенограммы, и у меня стерлись в памяти подробности. А мне теперь же надо дать в книге — хотя бы страничку — упадок южной металлургии во время мировой войны. Возьми Полину и проведите об этом с ним беседу. Пусть это опять будет в порядке личных воспоминаний. (Здесь такие моменты: Курако в Енакиево, главный инженер Шлюпп — зять директора бель-

гийца Потье, конфликт у «русской партии» со Шлюппом, Курако, кажется, съездил ему по физиономии, приезд «птичьей комиссии» — генералы Орлов и Соловьев, уход Курако из Енакиево.) Надо спросить и о забастовках военного времени, о причинах падения выплавки металла, о том, как показала себя русская металлургия в годы войны (война, как проверка). Мне об этом надо написать одну страницу, но я хочу иметь порядочно материалу. Вытягивайте живые детали, маленькие «свежатины». И высылайте стенограмму. Я ее использую при окончательной отделке.

Поделюсь, кстати, одной мыслью в связи с Бардиным. Я думаю, что было бы хорошо как-нибудь при случае написать о Бардине самостоятельную вещь примерно в таком жанре, как «Василий Иванов» Бориса Галина. Материал для этого — стенограммы Бардина и десятки высказываний о нем — у нас есть. Свою вещь Галин написал чудесно, не зря «Год XVI» открывался ею. И вот что интересно,— и мы и Галин, не сговариваясь, одновременно пришли к каким-то новым способам литературной работы. Значит, это жизненно. Но Галину принадлежит первенство, он первым вышел с этим в печать.

Следующая просьба — съездить с Полиной на Гурьевский завод. Описывать его придется мне, а я там не был. Мне хотелось бы убогостью этого завода подчеркнуть пустынность Сибири. Возможно, и даже непременно, вы найдете там людей, которые дадут интересные штрихи из истории этого завода и вообще из истории сибирской металлургии. Это было бы очень нужно.

...Беседу с Бардиным проведите поскорей, в первую очередь. Чтобы было понятно, почему для меня важно дать военное время на южном металлургическом заводе, сообщу композицию, на которой я остановился. Первая глава: «Курако». Она дает этого человека и историю южной металлургии — иностранный капитал и бешеная эксплуатация дешевых русских рабочих рук. Заканчивается глава пятым годом, арестом Курако. Концовка главы такова: «Идут годы — шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, перекатываются волны времени,— о Курако ничего не слышно на Юге».

Следующая глава: «Копикуз». Пойдет речь о Кузбассе, Тельбессе, Федоровиче, о поездке Трепова с иностранцами в Сибирь, кончается глава так: телеграмма относительно

объявления войны застает Трепова на Тельбессе, и все уезжают. Тельбесс брошен. Здесь о Курако ни слова.

Следующая глава: «С Югом кончено, барбосы!» Молочный брат Курако, возвращаясь из ссылки, встречает его на Юзовском заводе. Бардин. Мечты о заводе американского типа, и неосуществимость таких замыслов. Переход в Енакиево. Война. Не хватает металла. Забастовки. Бурная сцена на Енакиевском заводе. Курако уходит оттуда, и ему уже нечего делать в России. Телеграмма от «Копикуза» с приглашением строить завод в Сибири. Здесь придется рассказать, что правительство решило дать деньги на металлургический завод, что война обнаружила слабость русской металлургии (вот тут у меня пробел). Кончается глава Февральской революцией.

Следующая глава: 1918 год, советская власть, Ленин. И затем далее события по нашему плану.

14 июля. Малеевка

Живу тихо, мирно, погруженный в работу. Сегодня целый день читал материалы к главе, которую должен был писать Николаша: «Копикуз» при Колчаке». Составил план и завтра думаю взять этот барьер.

Здесь сейчас Перцов. Он издавна, еще со времен «Лефа», ценит очерк, документальную прозу. Теперь он и сам ступил на этот путь, сдал в «Историю заводов» книжку о заводе «Фрезер» — одиннадцать листов. Говорит:

— Не вышла последняя глава о реконструктивном периоде. Никак не могу написать.

— А большая глава?

— Три авторских листа.

Конечно, овладеть современной темой — это нелегкая и особая задача. Писать вторую книгу будет труднее и ответственнее, чем первую. Но, думаю, справимся.

17 июля. Малеевка

...Тут новость — Тарасов и Зина не будут больше жить в Малеевке. Они уехали уже неделю назад, а вчера приехала Зина за вещами.

Не знаю, как Зина совладает со второй частью. Она вчера мне сказала, что вторая часть составит четырнадцать листов (куда к черту!). Неужели она предполагает пустить все, что мы писали в Кузнецке, лишь слегка обработав?

По-моему, все это надо бы перестроить заново, переписать и сделать листов восемь.

Думаю все же, что у нее получится прилично. Не блестяще, но удовлетворительно. Я передал ей вчера главу о приезде в Кузнецк И. Коспора, это числилось за мной, и я добросовестно выполнил свое обязательство. Она должна была привезти главу о роговщине, но не привезла. Ну, и ладно. Обойдусь без Зины.

...Наверное, в конце месяца я вышлю в Кузнецк свои перепечатанные главы (первые восемь).

20 июля. Малеевка

...Я по-прежнему работаю утром и вечером. Послезавтра поеду диктовать на машинку,— первая половина моей части будет готова, кроме главы о роговцах.

...Сюда приехал Борис Агапов. Последнее время я следил за его подвалами в «Известиях». Думаю, что если уж привлекать кого-либо ко второй книге, то стоило бы пригласить Агапова. Это очень работоспособный человек, прекрасно знающий заводы, с хорошим стилем. У него можно кое-чему поучиться, хотя бы умению строить фразу, ловить детали,— правда, не детали характеров, но времени и обстановки. Это у него выходит крепко.

23 июля. Москва

...Вчера вечером приехал в Москву. Сегодня, завтра, послезавтра буду диктовать машинистке. Потом передам в главную редакцию для Горького и пошлю в Кузнецк. Чувствую себя усталым. Завтра напишу письмо Полине.

24 июля. Москва

...Сегодня продолжал диктовать. Вчера уже дал Шушканову три первых главы (Авербах уехал в отпуск, вместо него Шушканов). Завтра отнесу ему остальное.

Завтра или послезавтра вышлю главы в Кузнецк.

...Творческая работа здорово утомляет. У меня в Малеевке был такой режим — пишу четыре часа утром и три часа вечером. Потом вечернюю работу я сократил до двух часов. Даже и это трудно выдержать — начинается плохой сон, ночью в голове бегают Кураки, Федоровичи, фразы из книги и т. д.

...Я действительно прошел писательский вуз. Как будто специально послали меня учиться и даже репетитора взя-

ли — Николашу, который меня обучал ежедневно. Он таки меня выучил. Я уже чувствую, что в отличье от моего прежнего писательства обладаю некой школой, неким методом. Это сделала для меня «История Кузнецкстроя».

26 июля. Москва

...Заклеил, завязал и сейчас посылаю в Кузнецк первые восемь глав.

Над ними еще много нужно поработать. Трудно, конечно, судить о своем, но у меня вот какие сомнения.

В третьей главе плохо вводится Бардин. Бездейственно. А ведь каждый ввод нового лица — это особая задача. Можно заметить, что у меня хорошо удаются люди в сценах. «Пишите сценами»,— говорил мне Николаша. Напомню, что сцена — это не сценка. Сцена — это превращение одной ситуации в другую, противоположную (пример: мытарства Гапеева в Москве и вызов его в Кремль). Сцена — противоречье, коллизия, драма, действие. Вот написать всю вещь сценами — это искусство. К этому я стремился. Это самое трудное.

Плохо введен геолог Катульский. Сомневаюсь: нужно ли вводить жену Федоровича и давать ее смерть? Это очень рискованная страница, но, кажется, она проходит.

Как вообще пятая глава (1919)? Не слишком ли там много «прыгания»? То есть пестроты? Плоховато там сделан ответ Курако Груму. Затем нужна какая-то ремарка там, где сообщается, что Федорович давал ночевки подпольщикам. Вообще многое надо переделывать, доводить до спелости. Хочется, чтобы вещь была, как хороший кокс,— звонкой, легкой, спелой, серебристой. Сейчас она еще не такова. Потом придется над этими главами поработать еще месяц.

...Сообщаю: все написано мной, за исключением конца второй главы (Трепов на Тельбессе,— Смирнов), двух страниц о Кольчугинском восстании (использован черновик Крянниковой) и концовки восьмой главы (эту концовочку мне подарил Рахтанов на память о том, как мы вместе жили на площадке). Все это, конечно, пошло у меня в переплавку.

...Шушканов прочел три главы, которые я дал ему сначала. Говорит: очень интересно, оригинально, ни на кого не похоже. Спросил: верно ли все это исторически? Сегодня я ему дам все полностью для передачи Горькому.

27 июля. Малеевка

...Сегодня вернулся в Малеевку.

...Здесь встретил Паустовского и говорил с ним. Впечатление такое, что он, возможно, согласится участвовать во второй книге. Дал ему читать свои главы, и через три дня будем говорить окончательно.

28 июля. Малеевка

...Мирно живу в Малеевке. Идет дождь. Топится печка. Время от времени подкидываю полешки (буквально, а не фигурально). Вспоминаю, что означало у нас с Николашей выражение «подкинуть полешко». Впрочем, мы лишь изредка себе это позволяли.

Вчера отдохнул, сегодня опять взялся за работу. Тружусь над следующими главами. Очень жду, каков будет отзыв из Кузнецка. Само собой разумеется, я готов по нескольку раз переделывать свои главы. И даже независимо от замечаний редколлегии я в сентябре буду их переделывать, улучшать. Николаша считал, что самая настоящая работа начинается, когда вещь написана до конца.

...Сейчас веду переговоры (или, скажу проще, разговоры) с Агаповым и Паустовским.

Паустовский только что перенес тиф. Это человек низенького роста, в морщинах (это, наверное, после болезни), скромно одетый. Его глаза становятся лукавыми, в них загораются огоньки, когда он начинает рассказывать. И тогда испытываешь к нему не только симпатию, прямо нежность. Талант. А у меня есть какое-то чутье на талант, слабость к таланту. Может быть, мое писательское качество — быть певцом таланта. Паустовскому сорок один год. А по его вещам я полагал, когда не был с ним знаком, что он молод. Писать он начал совсем недавно. Правда, пробовал уже давно, все тянулся к этому.

Вот хороша была бы бригада — Паустовский, Агапов и я.

...Агапов не хочет порывать с «Известиями». Он теперь примерно раз в месяц дает туда заметные, большие,— на газетный масштаб — вещи, превосходно, классно сделанные. Я предложил ему взять во второй книге такую линию — параллель с Магниткой и «Кузнецкий завод строит вся страна», чтобы он мог разъезжать и раз в два месяца давать подвалы в «Известия» — о Кузнецке, о Магнитке,

о южных заводах и т. д. Возможно, он согласится. Тогда эта важнейшая линия была бы у нас обеспечена.

Паустовский говорит: «Мне надо три месяца отдыхать после тифа. Потом хочу сделать сценарий по книге «Кара-Бугаз». Я высказываю предположение, что он сможет это сделать в Кузнецке. Он отвечает: «Нет, когда я чем-нибудь занимаюсь, я ухожу в эту работу весь и ничего другого делать не могу». Мне это понравилось. Я ему говорю, что можно выехать в Кузнецк первого декабря. Это как будто его устраивает. Мои главы он прочтет через два дня, тогда будем говорить более конкретно.

...Мне работать хочется. И хотя я устал от первой книги, готов сразу же броситься на вторую.

31 июля. Малеевка

...Поработал несколько дней, набросал главку и чувствую — устал. В голове утомление, сажусь за стол с трудом. Решил два, а может быть, и три дня ничего не делать. Это даст мне потом возможность взять хороший темп и с охотой сесть за новые главы.

Сегодня провел утро на реке, на солнце. Но в голове по-прежнему вертится книга и, главное, вертится уже написанное. Сейчас я почему-то обращен не столько к будущим главам, сколько к уже пройденным. Вероятно, это объясняется тем, что написанные восемь глав уже представляют собой нечто законченное, некую целостную повесть. За два-три дня я должен выветрить это из головы, чтобы форсированным маршем двинуться вперед.

Я сразу ошарашу читателя (это советовал Чехов: бейте читателя по морде), дам 1925 год, ура, подъем, строим, строим, и вдруг Усов — «руды нет». И как только я это скажу — вещь покатится сама в хорошем быстром темпе. Надо так остро построить, чтобы вещь, как говорится, писала бы сама себя. Это тоже из уроков Николаши.

...Паустовский отказывается ехать. Он прочел мои восемь глав и очень, очень хвалит. Уверяет, что Горькому обязательно понравится.

4 августа. Малеевка

...Мне продлили путевку до 24-го. Здесь я опять хорошо работаю. И теперь твердо уверен, что к 24-му я свою часть кончу. Если бы я переехал в Москву, это было бы сомнительно. Пришлось бы думать о хозяйстве, о чае, об обеде,

черт знает о чем. Тем более что за хлебом очереди. А здесь все готовое, думай только о работе.

Да, 24-го я уеду отсюда с законченной рукописью. Представляю себе это: все дела упакованы, материалы уложены,— к ним я больше не прикасаюсь. Какое счастье! Первого сентября — отдыхать в Крым! Блаженство! Вот что творит усталость.

7 августа. Москва

...Вчера приехал из Малеевки в Москву. Завтра — обратно до 24-го.

...Сейчас утро. Сегодня у меня такие дела. Загляну к Тарасову, вручу ему рукопись, которую выслал на площадку и дал в главную редакцию. Потом зайду в особняк Горького. Вчера вечером я звонил Шушканову, спрашивал: прочел ли Горький? Он не знает. Он передал мои главы Авербаху (оказывается, Авербах под Москвой), а тот должен передать Горькому. Сегодня все это выяснится.

Я спросил Шушканова, как ему понравилось. Он ответил: «Хорошо, очень хорошо». Очевидно, таково же мнение и Авербаха. Иначе Шушканов ответил бы уклончиво.

Если Горький прочел, постараюсь добиться с ним свидания. Одним словом, к вечеру все выяснится.

8 августа. Москва

...Можешь поздравить с победой, с полнейшей победой.

— Виктория! Виктория! — как закричал бы Петр Первый.

Только что пришел от Авербаха. Всю дорогу от Покровки до Тверского бульвара шел пешком — переживал.

Авербах со мной говорил, как с настоящим писателем. Комплиментов масса.

Авербах сказал, что он с Горьким проговорил два с половиной часа об этой вещи. Горький хорошо оценил ее. Он считает, что материал исключительный, но еще надо работать, дорабатывать. Как я понял, его не удовлетворяет краткость. Он даже высказал мысль, не привлечь ли крупного писателя, чтобы помочь мне доработать, но Авербах поручился, что я справлюсь сам.

В общем, положение таково. После сентября, после того как я вернусь из Крыма, главная редакция дает мне средства, и я еду к Федоровичу в Караганду, затем в Ленин-

град, собираю недостающие сведения и еще месяца два работаю над своей частью. Авербах непосредственно будет руководить.

Я буду сидеть с тобой, говорит, над каждой страницей. Эта книга, мол, может произвести переворот в литературе.

Конечно, Авербах любитель таких слов, я это понимаю. Но, видимо, он увлечен искренне.

Потом вещь сразу пойдет в альманахе «Год XVII». Они закрепляют ее за собой. Это превосходно.

Авербах передал слова Горького: главное — не торопиться, не спешить. Когда я заикнулся, что на последующую книгу понадобится не менее полутора лет, Авербах сразу согласился и одобрил.

В общем, отношение ко мне изменилось в корне. Авербах говорит:

— Я читал главы Киршону, Сутырину. Все хвалят. А потом объявляю, что это писал Бек, и никто не верит.

И еще наговорил много разных разностей.

Сказал: дадим денег, Горький сам напишет в Кузнецкстрой, что вещь такая-то — такая-то, и надо еще работать, нельзя в незрелом виде давать драгоценный материал и т. д. и т. д. В общем, говорит, ни о чем не думай, думай только о работе.

10 августа. Малеевка

...Как тяжело, как тяжело приниматься за работу.

Сейчас утро, позавтракали, надо садиться писать — и не хочется. Сегодня опять была бессонная ночь. Устал, здорово устал.

...Рад телеграмме о твоем выезде в Москву. Это последнее мое письмо из Малеевки в Кузнецк.

...Вследствие усталости новые главы получаются очень, очень сырыми. В них мало находок. Но все-таки я допишу. Когда текст лежит на бумаге, даже самый черновой, видишь слабости и провалы.

Я вижу, что у меня нет образа Эйхе. Эйхе есть, появляется тут и там, а образа нет. Я и раньше это как-то понимал, но сейчас это режет глаз. А ведь Эйхе — одно из центральных лиц в дальнейших главах. Надо так же любовно его вылепить, как и Курако. А я почти ничего об Эйхе не знаю. Значит, надо работать, собирать материал, просить, чтобы о нем рассказали, идти к его жене, к его друзьям, к нему.

Меня очень интересует и образ Бурова — председателя Гипромеза (да и образ — собирательный — самого Гипромеза). Это тоже не доработано. Тоже не доведено до степени образа.

Но я не унываю, не страшусь. Верю, что дело мне по силам. Нужно только время, время, время.

Меня здорово подбодрил Авербах. Вот у них правильная установка — не торопись, доработай до спелости. Как я за это благодарен! Мне самому этого хочется больше всего — доработать, довести,— и я боялся, что не позволят. Авербах предлагал мне взяться одному за писание всей истории Кузнецкстроя. Надо обдумать. Но об этом поговорим, когда приедешь.

ПРОЩАЙ, ИСТОРИЯ КУЗНЕЦКСТРОЯ

1934. Февраль

Следующая пачка писем относится уже к 1934 году. Ее открывают листки, датированные февралем.

Кратко изложу некоторые события моей жизни начинающего писателя-прозаика, что произошли за месяцы, не отмеченные письмами.

В октябре 1933 года я съездил по командировке главной редакции в Караганду к бывшему директору-распорядителю «Копикуза» Федоровичу. Встреча с ним обогатила мои главы неизвестными фактами, новыми подробностями. В ноябре эти главы были отшлифованы, готовы для печати.

Авербах, замещавший А. М. Горького и в редакции альманаха «Год XVII» (сам Алексей Максимович в это время жил в Крыму), сдал мою рукопись в набор. Она называлась: «Главы истории Кузнецкстроя». Сверстанный номер альманаха — надо ли говорить, какие чувства возбуждает в авторе вид уже оттиснутых на станке листов его первого произведения? — был послан Горькому.

Некоторое время спустя меня вызвал Авербах. Блистая своей лысиной, которая чуть ли не с юности сделалась его отличием, он без дальних слов перешел к делу:

— Садись. Сегодня от Горького прибыла верстка. А также получено его письмо. Вот что он пишет о твоей вещи.

И я выслушал горьковские строки, прочитанные мне Авербахом. Содержание, как мне помнится, было приблизительно таким. Моя вещь Горького не удовлетворила. Она, как и прежде, показалась ему конспективной, рваной, скачкообразной, не плавной. Эти строки о необходимости плавного повествования мне точно помнятся. Указывались, наверное, и другие недостатки. Были, кажется, и приятные для меня слова, но, не полагаясь на память, о них я умолчу. Так или иначе, Горький посоветовал переработать, развить вещь.

Авербах небрежно сказал:

— Если бы я с ним повидался, все в пять минут было бы улажено. Я уговорил бы. И напечатали бы. Но у меня нет двух дней, чтобы съездить в Крым.

Действительно, Авербах тогда был поглощен организацией огромной коллективной книги «История Беломорско-Балтийского канала». Это варево уже кипело. Великолепный пароход, уже поданный к причалам московского Северного порта, ожидал пассажиров-писателей. Я, еще не опубликовавший ни одного абзаца прозы, порой лишь поглядывал со стороны — и, возможно, не без зависти — на эту притягательную кутерьму в главной редакции.

— Сейчас ничего нельзя поделать,— заключил Авербах.— Приходится тебя выкинуть из альманаха.

Мне и теперь больно вспоминать эти минуты. Но надобно было хоть что-нибудь спасти. Я сказал:

— Однако верстка у нас все-таки есть. Что ей пропадать? Давай тиснем тысячу экземпляров на правах рукописи.

Читателю надо пояснить, что подобные издания практиковались в те времена главной редакцией «Истории заводов». Авербах согласился.

И вот неделю-две спустя я привез из типографии увесистые связки моей книжки. На обложке значилось: «А. Бек. Главы истории Кузнецкстроя (1913—1920 гг.). На правах рукописи для обсуждения. Государственное издательство «История заводов». На обороте так называемой титульной страницы можно было прочесть: «Подписано к печати 17 декабря 1933 г. Тираж 1000 экз.».

Завалив этими связками багажную полку в купе, оставив запасец и в Москве, позабыв горечь,— напротив, испытывая удовлетворение своей маленькой авторской победой,— я отправился в Кузнецк. На вокзале в Новосибирске

купил свежий номер «Сибирских огней» и... был ошаращен неожиданностью. Номер открывался отрывками из моей рукописи, которые редакция озаглавила «Доменщик Курако (Из материалов по истории Кузнецкого завода)». Мне было одновременно и радостно и неприятно. Редакция использовала, не спросив меня, ранний, весьма сыроватый, вариант моих глав, что были посланы на площадку несколько месяцев назад. Подумалось: ладно, это все же признание, и не малое!

Но не тут-то было. Уже в следующем номере журнала редакция сообщила читателям, что считает ошибочным помещение моей вещи и, назвав ее — благодарю покорно! — вредной, обещала в ближайшем номере дать — ох! — развернутую критику.

Пришлось вновь пережить проработку, на этот раз сибирскую. О ней можно судить по заметке в газете «Литературный Сталинск». «23 января,— гласила заметка,— состоялось заседание редколлегии «Истории Кузнецкого завода» с участием бригады краевого оргкомитета Союза писателей, местных писателей и литкружковцев... О работе московской писательской бригады рассказал тов. Бек. После сообщения развернулись оживленные прения. Центральным вопросом прений была книжка — первые главы истории завода, написанные тов. Беком. Книгу критиковали за то, что она содержит ряд явно политически неправильных положений, ряд исторических неточностей. Тов. Бек героями истории Кузнецкстроя вывел людей, ни в какой степени не являющихся ими, и умолчал о подлинных инициаторах и организаторах этого величайшего строительства. Редколлегия предложила тов. Беку коренным образом переработать брошюру».

Затем меня пригласили в Новосибирск и там на собрании писателей разнесли или, как говорится, изрубили в капусту мои главы. Я лишь покряхтывал.

И все же решил не бросать дело, договорился с редколлегией, что буду еще и еще изучать реальную историю, разыщу в Сибири и в Москве большевиков, причастных к истории Урало-Кузбасса, выспрошу их.

На этом порешили, хотя мои предчувствия были мрачными. Мне дали командировку в Новосибирск и в Москву.

Кажется, чуть ли не в день моего отъезда на площадке был получен из Новосибирска для опубликования документ под заглавием «Резолюция». На двух страницах ма-

шинописного текста содержался нещадный разнос «Доменщика Курако». Тут же сообщалось, что резолюция была принята такого-то числа собранием новосибирских писателей. Но я и сам присутствовал на этом собрании. Никакой резолюции оно не приняло.

Как же работать дальше? С тяжелым сердцем я сел в поезд.

12 февраля 1934 г. Новосибирск

...Второй день я в Новосибирске. Вчера отправил телеграмму Авербаху. Вот ее текст: «Столковался редколлегией по всем вопросам но ввиду поведения краевого оргкомитета напечатавшего в припадке восторга черновики без разрешения автора ныне припадке раскаяния начавшего кампанию проработки категорически заявляю отказе дальнейшей работы заявление высылаю почтой днями буду Москве Бек».

Заявление я составлю окончательно завтра утром (вчера и сегодня весь день — беседы для книги).

Немедленно послать телеграмму заставило меня следующее обстоятельство. В крайкоме встречаю В.— это бородач, член здешнего оргкомитета, претендующий на роль идеологического вождя в Новосибирске, заявляющий себя участником больших революционных событий в Сибири,— встречаю В. и говорю:

— Вот мне с вами надо провести беседу.

Он отвечает:

— Никаких бесед я с вами вести не буду, никаких материалов не дам, я не считаю вас способным писать историю завода.

Добавляет:

— Разговаривать с вами не стану, выскажусь в печати.

И все это нервно, брызжа слюной, задыхаясь.

Как хорошо, что я заранее решил, как буду реагировать на подобные афронты. В душе я даже обрадовался вспышке В.— внесена ясность: работать нельзя. Пишу телеграмму и иду (по совету Андрея Кулакова, с которым я встретился и поболтал) к культпропу крайкома Колотилову. У него на столе как раз лежит перепечатанное на машинке письмо в главную редакцию по поводу моей книги, которое принесено ему на подпись. Уголком глаза вижу: «Культпроп возражает против издания...»

Я даю ему свою телеграмму (копию) и в возмущенном тоне рассказываю про резолюцию. У меня осталось впечатление, что резолюция была согласована с Колотиловым (он ее защищал по существу), однако он сразу сказал:

— Я первый раз слышу, что вещь напечатана без вашего согласия. Это меняет все дело.

И тут же позвонил в «Сибирские огни». Итина — ответственного редактора — не было, его зам Коптелов ответил, что он слышал об этом, но точно не знает.

Я заявляю, что на собрании не было принято никакой резолюции.

— Значит, это подлог? — спрашивает Колотилов.

— Безусловно.

Рассказываю про В. Прощаюсь, оставляя Колотилова в некотором смущении.

Потом я зашел в редакцию «Сибирских огней». Там Итин и кто-то еще. Итин пытается кое-как выпутаться, сваливает все на Кудрявцева (которого в городе нет). Расстаемся так: я ругаюсь, они виновато молчат.

Но, в общем, все это пустяки, мышиная возня, которая, признаюсь, мало меня трогает. Все идет так, как нужно. Мой поступок приостановит кампанию в печати, а там посмотрим.

В Новосибирске провел несколько интереснейших бесед,— об этом в другой раз.

13 февраля. Новосибирск

...Новостей никаких не произошло. Через три часа уезжаю в Москву.

...Я удивительно спокоен, и вся происходящая история совершенно не отражается на моем рабочем настроении. Стремлюсь в Москву, к работе, хочу вцепиться в новое произведение, мечтаю, что оно будет прекрасным.

15 февраля. Свердловск

...Подъезжаем к Свердловску. До Москвы еще двое суток. Нынешний день я решил поголодать,— ничего нет полезнее одного дня полной голодовки для человека, который ел много мяса (такого мнения придерживался Билл Хейвуд). А вагон самое подходящее для этого место — ни двигаться, ни работать.

18 февраля. Москва

...Приехал вчера в Москву.

...Побывал на гражданской панихиде по Багрицкому...

...Там издали раскланялись с Авербахом. Он не выразил во взгляде ни малейшего удивления,— очевидно, телеграмму получил и знал, что я приеду.

Поговорить с ним и даже созвониться пока не удалось,— домашний телефон у него испорчен. Вероятно, увижусь сегодня.

Работать хочется,— прямо горят руки. Начну деятельность завтра с утра — только подавай. Начну устраивать беседы, сидеть в читальне, докапываться до тайн 1918 года.

...В главной редакции тактика моя будет такова: решительно, категорически стоять на своем (на отказе).

20 февраля

...В моих делах по-прежнему неопределенность. С Авербахом до сих пор не встретился,— он по каким-то делам целыми днями пропадает... Впрочем, одно то, что он не пригласил меня к себе, а предложил прийти на службу, показывает, что я сейчас у него не в фаворе, что ветер дует не в мою сторону.

Ко всему этому я отношусь довольно равнодушно,— весь поглощен работой. Сейчас я похож на рыболова, который раскинул свои удочки и ждет, где клюнет. Ловлю таких людей: Кржижановский, Ломов, Милютин, Осинский, Бонч-Бруевич, Вениамин Свердлов и т. д. Все они должны поделиться со мной воспоминаниями, я обязан этого добиться. Каждому передана моя книжка (часто приходилось давать две книги — одну для высокого лица, другую секретарю: очень важно заручиться секретарским расположением). Через секретарей всем подробно объяснено: в книге бегло, бледно показаны большевики, а надо сделать их центральной силой, без воспоминаний самих большевиков этого не сделаешь.

Завтра-послезавтра жду первых результатов. Надеюсь, дня через два начнутся беседы. Порой хочется воскликнуть: «Не будь я Бек, если, товарищи хорошие, к вам не пробьюсь!»

22 февраля

...Я заболел, грипп меня зацапал. Впрочем, болезнь протекает легко, температура тридцать семь с десятыми, са-

мочувствие хорошее. Возможно, завтра или послезавтра встану.

Сейчас лежу и позваниваю секретарям — проверяю свои удочки.

Успех пока наметился только в двух местах: у Кржижановского и у Савельева. Секретаршам того и другого книга понравилась, и они (то есть секретарши), по всему видно, оказывают мне всякое содействие. С Осинским у меня провал — через секретаря наотрез отказал в беседе. Придется охотиться на него какими-нибудь окольными тропами. От Ломова и Милютина пока не имею ничего определенного: ни согласия, ни отказа. Завтра опять буду всем названивать.

Лежу, обдумываю план новой книги. Возможно, это будет отличная вещь, если смогу иметь достаточно времени, чтобы ее написать. Там будут скрещиваться и пересекаться три линии, банкиры, большевики центра и рабочие Кузбасса. Рисуются три главных героя: Прокл (или Прошка, его так называли) Батолин, едва ли не самый богатый человек в России, «русский Стиннес», затем Франц Суховерхов, рабочий Кузбасса, большевик, и неясно, кто еще из крупных людей партии. Думаю о Ленине.

24 февраля

Вот я и здоров. Вчера и сегодня нормальная температура. Сегодня провожу две беседы.

С Авербахом не виделся. У меня был Рахтанов. Принес груду листков, испещренных крупным его почерком. Это кусочки его детской повести, которую он пишет для журнала «Пионер». Читал мне с пылу с жару. Потом, между прочим, рассказал, что Авербах увлечен сейчас новой идеей — дать коллективную книгу о тихоокеанской проблеме (в связи с Японией). К участию в книге привлекаются американцы (Драйзер, Дос Пассос и др.), китайцы, японцы — вообще бум на весь мир.

Я надеюсь организовать свою работу помимо Авербаха, исподволь выясняю такую возможность. Это было бы самое лучшее.

О Власове ни слуха ни духа. А ведь он уже должен быть в Москве.

В столовой Дома Герцена я ежедневно получаю комплименты по поводу моей книжки. Особое впечатление произвела на меня похвала Митрофанова. Он, как и прежде,

щеголяет с вечно расстегнутым воротом. Странно, бывший типографский рабочий усвоил небрежность одежды и прически российского интеллигента. Оригинален в суждениях. Я его ценю как настоящего художника. Он теперь подвизается в качестве редактора в издательстве «Советская литература».

Примечание. Приведу здесь с разрешения моего адресата ответное письмо с площадки, грустное и не лишенное резонов.

«...Ты пишешь: «Это будет отличное произведение, если смогу иметь достаточно времени». Ну, а если времени ты не получишь? Думаешь ли ты о реальных перспективах? Ведь, заметь, эти реальные перспективы очень не блестящи. Где твоя опора? В главной редакции? Нет. В Крае — против. На площадке сам Франкфурт может, того и гляди, прекратить кредиты истории завода.

...Ты пишешь «мировые» произведения. Их хвалят за чашкой чая и за тарелкой щей, но не печатают и в печати ругают.

Прости мое малодушие, но не могу всего этого не высказать. Не утешайся, не придавай значения литературной болтовне в Доме Герцена. Тот же Митрофанов не напечатал бы книгу в «Советской литературе».

...Здесь я готовлюсь к новым бедам. Хотелось бы только, чтобы не очень много было позора. Писания Зины никуда не годятся, и если подведешь и ты, то скандала не миновать. Пойдут разговоры и о полученных деньгах, и тому подобное (будь спокоен — это будет).

Сейчас тяжело здесь. Никто больше и не спрашивает, как дела с историей. От столовой и распределителя меня открепили. Говорят, сам Франкфурт вычеркнул. Потом дали пятый магазин и двадцать седьмую столовую. Это ничего. Как бы совсем не вычеркнули».

Без комментариев перейду вновь к своим письмам.

Лети дальше, почтовая повесть.

26 февраля

...Я хожу сейчас словно в чаду — в чаду работы.

Чертовски интересное дело выясняется с этой группой «Стахеев», где главным воротилой был Прошка Батолин.

Необыкновенно интересно. Это действительно был русский Стиннес — овладел колоссальным количеством предприятий и все гнул одну линию: на восток, на восток.

И каждый день мне приносит новости. Позавчера узнал, что эта группа «Стахеев» имела свои департаменты, наподобие министерств, сугубо тайные. Во главе горного «департамента» стоял директор Геологического комитета Богданович, во главе железнодорожного — товарищ министра путей сообщения Борисов и т. д. Вчера узнал, что они вели Бухарскую железную дорогу и эмир бухарский был у них в руках. И все это было тайно, тайно, сугубо законспирировано.

Словом, что ни день — свежатина! Какое это наслаждение проникать в исторические тайны! И какое нетерпение — скорее бы проникнуть! Я прямо рою землю.

В общем, по линии капиталистической я продвигаюсь вперед, а вот по линии коммунистической нет еще ни одного успеха; ни с кем из моего списка не было еще ни одной беседы. Никак не пробьюсь к большим работникам, политикам. А ведь я с полной искренностью, от всей души написал во вступлении к «Истории Кузнецкстроя»: «И прежде всего и больше всего будет рассказано о партии, великой партии коммунизма, шестнадцать лет назад взявшей власть в измученной разоренной стране». И я стучусь, стучусь в двери политиков, деятелей партии. Мечтаю наговориться с ними. Но пока безрезультатно. Как бы им объяснить, что писатель не может ограничиться лишь документами, старыми газетами, что ему нужны личные впечатления, живой рассказ. Душа раскрыта, чтобы узнать, полюбить таких людей, увлечься ими, но пробиться, встретиться с ними я еще не смог. Здесь нужна невероятная настойчивость. И выдержка. Я ежедневно жму и жму и верю, что на днях все же начнутся встречи, разговоры, и потечет, потечет совсем новая река свежатин. Как это было бы великолепно!

Ну, теперь о делах. Вчера у меня были Власов с Тарасовым-Родионовым. Они не застали меня и сегодня вечером придут опять. Моя тактика — не отказываться наотрез, но и не брать заявления обратно, пока не будут даны какие-то реальные гарантии нормальной работы. Какие же это гарантии? Одернуть оргкомитет Новосибирска, осадить В. (чтобы это было сделано Эйхе, чтобы были какие-то письменные следы и т. д.). Очевидно, вопрос останется

пока открытым, я буду продолжать работу, не связывая, однако, себе рук.

Сегодня, возможно, увижусь с Авербахом. Я ему приготовил тонкий крючок, на который он должен клюнуть. Буду рассказывать о группе «Стахеев» и намекну, будто невзначай, что здесь один из ключиков к дальневосточной проблеме. Он навострит уши, и я, возможно, приму участие в тихоокеанской книге.

Кое-кто мне советует: никому не рассказывай! А я не боюсь, что перебьют материал: он настолько труден, настолько покрыт тайной, что, наверное, никто, кроме меня, его не раскопает.

28 февраля

...Я весь завален новостями, сижу по горло в новостях.

Ну-с, начать с того, что от «Истории Кузнецкстроя» я свободен, освобожден. Этому рад.

Позавчера, как я писал, ко мне пришли Власов и Тарасов. Не застали меня, оставили записку: придут-де на следующий день в шесть вечера. А тут, как нарочно, в пять часов мне звонит... угадай, кто? — Валерий Иванович Межлаук и спрашивает: не могу ли я к нему сейчас заехать? (Я ему раньше послал книгу.) Я, конечно, еду. О свидании с ним потом. В шесть часов приходят Власов и Тарасов и узнают, что меня пригласил В. И. Межлаук. Они ждут до семи.

Я приезжаю оживленный, рассказываю, что Межлаук очень хвалил книгу (очень хвалил — это действительно так; подробности ниже). Они сидят печальные. Потом Власов говорит, что мое заявление произвело свое действие и с первого марта я свободен. Он был очень угнетен и расставался со мной с болью душевной. Он сказал: своим заявлением вы поставили всех в такое положение, что все должны или стать перед вами на колени, или отказаться от вас. Созданное положение мог бы поправить только Эйхе, но Эйхе поправлять это не захотел, книга ему не понравилась и вмешиваться он отказался.

Ну, поговорили. Все шло очень сердечно и мило, но расставание испортил один инцидент. Тарасов потребовал, чтобы я сейчас же, не выходя из дома, сдал все стенограммы (очевидно, пока-де не успел припрятать). Я запротесто-

вал,— ведь в Кузнецке имеются копии, Тарасов поднял шум, я вынул стенограммы и отдал.

В общем, была нехорошая сцена. С особым сожалением я выложил все стенограммы по АИКу. Ведь этот сюжет — история аиковцев — моя тайная любовь. Я лелеял эту тему, подбирался к ней исподволь, без спешки, зная, что когда-нибудь,— возможно, очень не скоро,— напишу вещь об АИКе. Но, слава богу, по АИКу у меня есть несколько тетрадей моих личных заметок.

Тарасов собственноручно составил под копирку опись и акт передачи. Потом все было увязано, получились два тяжеленных тюка. Поднимая, Тарасов крякнул. И тут — буквально в последнюю минуту — я сказал:

— Товарищи, оставьте это мне во временное пользование. Я сам доставлю все стенограммы на площадку. Все до единой по описи.

Представь, разрешили. Одним словом, я подписал обязательство доставить стенограммы в Кузнецк или сдать по первому требованию в Москве.

И вот еще что. Власов усиленно просил меня писать роман о Кузнецкстрое в личном, так сказать, порядке, предлагал даже заключить договор, дать деньги, но я сказал, что сейчас ничего обещать не могу.

Они мне сказали, что Тарасов подыщет писателя, который в три месяца напишет первую часть.

Конечно, «Истории Кузнецкстроя» — конец.

И вообще неизвестно, что будет с «Историей заводов». Авербах получил назначение — секретарем горкома ВКП(б) Нижнего Тагила (постройка крупнейшего вагонного завода). Сегодня он пригласил меня к себе, был очень любезен. Не подуло ли опять каким-то благоприятствующим мне ветерком?

Теперь о встрече с В. И. Межлауком. С виду это человек европейской складки: отлично одет, свежевыбрит, причесан. И располагающе приветлив, мягок, приятен. Ох, как хотелось бы узнать, постигнуть скрытый за светскостью внутренний мир этого крупного работника, члена ЦК. Он просил меня исправить одну дату в нашем плане «Истории Кузнецкстроя» (я ему послал вместе со своей книжкой номер «Большевистской стали», где напечатан этот план). Его разговор со Сталиным о металлургии был не в 1928-м, а в 1929 году. Собственно, из-за этого он меня и вызвал в таком экстренном порядке.

Книжку он прочел, ему понравилось. Федорович очень похож, сказал Межлаук, Курако великолепная фигура и т. д. Приглашал заезжать, звонить. На днях еще раз буду у него.

Мои намерения, перспективы? О них в другой раз.

«КУРАКО» ИДЕТ В «ЗНАМЕНИ»

1934. Март — апрель

1 марта. Москва

...Вероятно, в апреле буду на площадке,— дорога в Кузнецк ведь у меня оплачена. Надо отдать отчет в командировке и очиститься в денежном отношении.

...Вчера был в МХАТе, встретился с Межлауком, познакомился с его женой. Он опять приглашал зайти.

2 марта

...Итак, о планах. Прежде всего, я хочу написать книгу, которую уже ношу в себе,— Прокл Батолин, ВСНХ, Франц Суховерхов. Не пропуская ни одного дня, веду работу по этой книге, нахожу, опрашиваю людей.

Как же с финансами? А вот как. Я хочу включиться в коллектив по дальневосточной проблеме (принимают меня туда очень охотно). Эта книга будет писаться, несмотря на безначалие в «Истории заводов» в связи с уходом Авербаха. Я в этой книге возьму именно главку о группе «Стахеев»,— главку, которая будет и некоторой исторической новинкой. Ведь они — я имею в виду прежде всего Прошку Батолина — вели Южно-Сибирскую магистраль, охватывающую влиянием Монголию и Китай, вели Бухарскую железную дорогу, овладели Кузбассом и вообще шли на восток, на восток. Их сибирский уполномоченный Остроумов, строитель Юж-Сиба, стал после Колчака управляющим Китайско-Восточной ж. д.— представителем китайской стороны. Словом, точек соприкосновения с тихоокеанской темой много.

Эта работа будет, очевидно, хорошо обставлена (поездки, стенографистки).

Кроме того, на днях начну переговоры в Наркомтяжпроме о собирании стенограмм интересных, крупных людей нашей индустрии. Быть может, придется попросить субси-

дию у Орджоникидзе. Свою книжку я ему послал. И написал, что в дальнейшем хочу дать историю ВСНХ первого периода.

...Предполагаю напечатать «Копикуз» (то есть главы в виде повести под таким заглавием и без всякой ссылки на «Историю Кузнецкстроя») в «Красной нови» у Ермилова. Подробности об этом завтра.

3 марта

...У меня завязывается совершенно неожиданный альянс с Ермиловым. Борис Левин, Митрофанов, Перцов настойчиво советуют мне напечатать мою работу (она же вышла лишь на правах рукописи). Где? Конечно, в «Красной нови». Этот журнал самый солидный, там ценят художество, он дает марку.

Хорошо. Звоню Ермилову. Он чрезвычайно любезен, разговорчив, обрадован. Книжки еще не прочел, много слышал о ней, и беглый просмотр его очень заинтересовал. Говорит:

— Я хочу обязательно привлечь тебя к работе в «Красной нови».

...В общем, Москва сейчас встречает совсем не так, как полгода назад. Чувствую дружелюбие, мне говорят много приятного.

...Через месяц, числа десятого апреля, я буду на площадке,— ведь мне надо сдать отчет по командировке. Хорошо бы взять с собой стенографистку и провести сотню бесед — по две в день. Если я заключу договор с Наркомтяжпромом, мне надо будет взять воспоминания Курчина, Ровенского и других ветеранов металлургии кузнечан. Может быть, у меня будут дела и в других местах Сибири (даже наверное), придется поездить. А пока проводи беседы, пополняй собрание стенограмм, используй Полину, сколько сможешь.

4 марта

...Получил твое письмо с вырезкой из «Литературной Сибири». Гроза, как вижу, разразилась уже в ослабленном виде. Резолюции как бы и не было, только отзыв Ансона, и то не очень кровожадный. Для компенсации перепечатали, однако, ядовитую заметку из «Лит. Сталинска».

...Трудно дается мне моя работа. Ужасно тяжело добиваться свиданий с большими работниками. Больше двух

недель веду осаду, и пока пробита лишь одна брешь — В. И. Межлаук. Был еще раз у него, он рассказал много интересного. На послезавтра я приглашен к Бурову (на дом), он мне порасскажет и об Урало-Кузбассе и о Гипромезе.

Вот, собственно, и все мои успехи. А к Ломову, Милютину, Кржижановскому и пр. и пр. я все еще не могу проникнуть и проникну ли — не знаю. Я убедился, что книжку с моим замыслом (особенно Ленин, внутрипартийная борьба, ВСНХ и т. д.) вряд ли сумею написать,— не могу добраться к материалу, к людям. А Прошка Батолин, взятый сам по себе, вне борьбы капитализма и коммунизма, для новой литературы малоинтересен. Во всяком случае, его биографом я быть не намереваюсь.

4 марта

...Сегодня виделся с Авербахом. Со мной он мил. Известие о том, что я вольная птица, принял совершенно спокойно и даже чуточку с одобрением. Его дух уже отлетел от «Истории заводов». Он откровенно говорит, что здесь дела застынут. Мне он сказал:

— Редакция «Истории заводов» будет тебя рекомендовать на любую работу, какую ты захочешь.

Я поблагодарил. Думаю использовать «Историю заводов», чтобы взять там соответствующую бумажку куда-либо, а работать самостоятельно, без редколлегий.

5 марта

...Пожалуйста, возьми в библиотеках на Верхней и на Нижней колониях отзывы о моей книге. Бюллетень «История заводов» хочет дать обзор. Я обещал им представить отзывы.

...В письмах я сообщал о всех новостях, но так как это письмо идет с оказией и, наверное, обгонит почту, я вкратце повторю.

Сейчас я держу курс на то, чтобы 1) напечатать в журнале свою вещь просто как повесть, а не как историю Кузнецкстроя и 2) найти новую работу, которая совпадала бы с моими замыслами и давала бы примерно такие же материальные средства, как и Кузнецкстрой.

Насчет продвижения в печать начал разговоры с Ермиловым («Красная новь»). Он рассыпался в любезностях — это на него действует общественное мнение,— но книжку

еще не прочел. Надеюсь, что сегодня-завтра буду иметь с ним обстоятельный разговор.

Что касается работы, держу пока курс на участье в дальневосточной (тихоокеанской) книге. Если это дело будет застопорено, напишу, возможно, одну-две мелких вещи. Пока неопределенность.

7 марта

...Вчера мы назначили в Оргкомитете «свидание друзей» — Паустовский, Рахтанов, Софья Виноградская и я. Это приблизительно состав бригады, которую я — пока суд да дело — сколачиваю для поездки на Петровский забайкальский завод. Видишь, влечет, влечет меня Сибирь!

Пленум Оргкомитета был, однако, перенесен (по просьбе Горького) на сегодня. Вчера наша встреча не состоялась.

У меня бродят такие мысли: не запустить ли мне сейчас в работу тот роман, который был у меня в плане — именно «история домны», если называть условно. Сюжет его примерно такой: группа доменщиков-куракинцев, сторонников больших печей американского типа, и группа так называемых «антиамериканистов» (Свицын и др.). Их давняя борьба. Ее этапы: до революции, затем Гипромез, борьба течений и, наконец, решение строить заводы американского типа. Ученики Курако ведут воздвигнутые домны, зима, кризис, домны не идут. Свицын потирает руки («я-де говорил»), Жестовский чуть не стреляется, и, наконец, победа. Сюжет прекрасный, полный действия, драматизма. (Сюда бы еще американцев ввести, представителей капиталистического мира.) Это была бы повесть, и вместе с тем по ней можно было бы сделать сценарий.

Насколько я понял Власова, Кузнецкстрой стал бы такую работу финансировать. Тогда я смог бы проводить на площадке беседы, моя поездка в Кузнецк стала бы деловой.

Видишь, сколько у меня планов, проектов, сюжетов, и ни на одном я пока не остановился. Это не есть разбрасывание, я в себе не волен, для любого плана нужна солидная финансовая база,— я же ничего не могу выдать без огромнейшего изучения,— без серьезной базы нельзя и начинать, а где ее найти? Где я ее добьюсь, там и заработает инструмент. А потом — мне, конечно, надо писать такую вещь, которая безусловно бы прошла, нельзя же, чтобы каждое мое творение продиралось сквозь колючки.

8 марта

...Действительно, сейчас наступает какой-то новый этап литературы, ищут новых форм и вообще нового (вот мы, например, нашли же новую методику и, наверное, подобных изобретений не мало), и страшно нужен новый тип критика — критика-организатора, критика-созидателя. А таких людей почти нет.

...Мне все больше нравится мысль написать повесть «Кризис домны», но на площадке об этом никому ничего не говори. Я не хочу навязываться, хочу, чтобы Власов сам пригласил меня, когда я буду в Кузнецке. Конечно, можно сделать великолепную и вместе с тем не слишком острую — пишу это со вздохом — вещь.

...Пленум Союза писателей очень интересен. Дан, очевидно по инициативе ЦК, новый лозунг, который я приемлю всей душой. Лозунг таков: за высокое художественное качество, за овладение техникой литературного мастерства. Это центральный пункт, гвоздь докладов. При этом сейчас отметаются старые разговоры об отставании от темпов и т. д. Наоборот, дается четкая директива: работай год, два, три над произведением, но добейся отличного качества, первоклассного мастерства.

Очевидно, сейчас будет равнение на мастеров (и Панферову придется туго, его и критикуют в связи с этим поворотом).

Думается, настает благоприятное время для выношенных, сделанных надолго вещей. Возможно, и моя попадет в точку. Впрочем, не сглазить бы,— с Ермиловым и с Фадеевым еще разговора не было, будем толковать после пленума.

9 марта

...Кажется, дело с бригадой, которая поедет на Забайкальский завод, вытанцовывается. Соня Виноградская, очевидно, будет бригадиром. Она скромный, приятный человек — не мажется, не жеманничает, работает над книгой «Портреты инженеров», уже написала Рамзина, Винтера, хочет писать Бардина.

Мы, очевидно, поедем как бригада Оргкомитета по Бурятско-Монгольской республике для подготовки к съезду писателей. Республика маленькая, писателей не много, так что оргработы почти не будет. Вероятно, я за-

еду сначала в Кузнецк, потом догоню бригаду в Забайкалье. И снова вернусь на площадку.

11 марта

...Думаю, что призывы к умеренности, к тому, чтобы не делать большой ставки, не писать мировых произведений, неправильны. Я, конечно, рисковал, но все же чего-то достиг, какой-то серьезный рубеж переступил. Переступил, если даже все останется так, как оно есть сегодня: книга не издана, с Кузнецкстроем и Сибирью порвано и т. д. Я уже признан писателем, со мной хотят вместе работать, меня привлекают.

Только с такой — отличной или хотя бы заметной — работой можно было показаться в люди. Средняя, посредственная работенка не перекрыла бы в литературной среде прежнее отчуждение.

Сейчас я собираюсь ехать в Сибирь с Соней Виноградской, Рахтановым и, возможно, Паустовским. Виноградская хорошо относится ко мне. У этой маленькой женщины, которая так много повидала (начиная еще с 1918 года, когда она была секретарем Марии Ильиничны в редакции «Правды»), есть настоящая литераторская устремленность, волевой заряд. Вчера я пригласил Соню с собой на одну беседу, в инженерский дом, куда и сам пошел первый раз. Там меня (мою книжку) так хвалили, что Виноградская сказала: вот настоящий успех. Потом начали беседу. Когда она увидела методы моей работы, она была потрясена (прошу извинения за сильное слово). Тем более что сама она работает над схожими темами — портреты инженеров и т. д. Я, по ее словам, открыл ей новый мир — мир настоящей работы, понимания того, что и документальная проза — это истинное, настоящее искусство.

14 марта

Я хочу до отъезда подготовить к сдаче в набор свою книжку. Она нигде еще определенно не принята, но, по всей вероятности, этот вопрос решится в ближайшие дни. А пока я не теряю времени и начинаю править, делаю вставки и т. д.

...Вчера я был у О. Ему очень понравилась книжка. Он дал мне хороший совет: назвать повесть не «Копикуз», а «Курако». Здесь-де просто попытка дать портрет доменщика. Конечно, все это казуистика, но совет правильный.

...Меня грызет какое-то беспокойство и разбивает настроение. Может быть, это из-за неопределенности моих дел. Много думаю: за что мне взяться?

Очень, очень не хочется порывать с Кузбассом, с Кузнецкстроем. Что ни говори, все мои главные темы здесь — Урало-Кузбасс, АИК, история домны и т. д. Пожалуй, не буду заниматься Петровским заводом — да и поездка туда, кажется, срывается,— а возьмусь за роман о Кузнецкстрое. Эх, если бы еще месяца на три в моем распоряжении была бы стенографистка на площадке. Не знаю, рассчитывать ли на обещания Власова. Реальна ли такая помощь? Я же к этому склоняюсь все больше и больше.

15 марта

...И сегодня определенности в моих делах еще нет. Виноградская ведет переговоры в Оргкомитете о поездке, выясняет: едем ли? Хорошо, что она взяла это на себя, она собранный, дельный человек. Сейчас звонил ей — нет дома.

Относительно печатания повести «Курако» тоже пока неясно. Ермилов обещал прочесть к завтрашнему дню.

...Провожу беседы, главным образом о том, каковы ошибки и упущения в моей книге. Очень хочется взяться уже за какую-нибудь определенную работу и форсированно — в моем стиле — двинуть ее.

16 марта

...У меня некоторые неприятности.

До сих пор мне подчас влетало за то, что книга недостаточно хороша или вовсе не хороша, теперь попадает за то, что она хороша, слишком хороша, чрезмерно хороша. По Москве ходят слухи, что сию книжку написал не Бек, а Смирнов. Да-с! И что будто бы об этом заявляет вдова Смирнова.

Вчера позвонила Соня Виноградская очень тревожно:

— Я что-то узнала в Оргкомитете о вашей книжке, приходите ко мне сейчас же, я хочу вас предупредить.

Я заволновался. Оказалось, Соня дала книжку Кирпотину,— тот взглянул и сказал:

— Я слышал об этой книге. Говорят, замечательная книга, а написал ее не Бек, а Смирнов!

Вот такая неприятность! Вчера вечером я хотел подавать заявление в Оргкомитет или в горком, но решил прежде всего съездить к Ольге Владимировне (жене Смирнова).

Она расплакалась, сказала, что никаких слухов не распространяла, никому ничего не говорила, что этот вопрос уже стоял в «Истории заводов», был разрешен и с тех пор она никому ничего не говорила и т. д.

Сегодня утром я зашел к С. и Л. Они категорически отсоветовали мне поднимать какое-либо дело, надо игнорировать все слухи и писать следующую книгу. К этому и я склоняюсь.

18 марта

...У меня много новостей, как всегда. Прямо какой-то поток новостей,— как только нервы выдерживают.

Вчера мне сказали в журнале «Знамя», что они приняли мою книгу. Ее недавно попросил у меня Вашенцев,— он зам. редактора, любит, лелеет свое «Знамя», на нем, как мне кажется, держится журнал. Сам попросил, и вещь была прочитана в редакции буквально за два или три дня. Вот так и надо работать. Повесть они хотят печатать в майском номере (конечно, это пока секрет, не надо никому говорить) и просят все поправки сделать в десятидневный срок. Я им сказал, что ходят слухи о том, что книгу написал не я, а Смирнов, предупредил их об этом. Они отнеслись к этому как к пустякам и предложили завтра подписать договор. Ермилова я никак не могу поймать по телефону и решил: бог с ним, с «Красной новью», пусть повесть идет в «Знамени», журнал хороший.

Итак, в «Знамени» отнеслись к слухам как к пустякам, но я продолжал ломать голову: как же поступить? И сделал сегодня отличный маневр.

Было так. Вчера я позвонил Агапову, чтобы посоветоваться с ним. Разговариваю, и вдруг выясняется, что он-то и является первоисточником этих слухов. Он говорит:

— Я виноват перед вами, Бек. Мне позвонила жена Смирнова и сказала, что авторские права Смирнова затираются, что его роль в книге Бека очень велика и т. д. И попросила поговорить об этом с Авербахом. Я с Авербахом поговорить не успел, но о разговоре с женой Смирнова начал рассказывать. И вот пошло...

Агапов выразил готовность как-то исправить свою вину передо мной (если я прав) и вообще держал себя как безусловно порядочный человек.

Сегодня утром мне пришла мысль пригласить его и заставить потратить два-три часа на просмотр черновиков,

на задавание мне всяких казуистических вопросов, вообще на то, чтобы у него создалось какое-либо определенное впечатление об этом деле.

Я позвонил ему, он согласился. Тогда я еще обратился к Виктору Шкловскому, попросил и его в порядке товарищеской услуги прийти ко мне и заняться тем же, а также вызвал и Рахтанова (в качестве свидетеля событий и ассистента).

Все пришли. Я разложил черновики по главам, на каждую главу пришлось четыре-пять черновиков, и предложил:

— Выбирайте любую главу.

Шкловский взял первую главу («Курако»), Агапов — последнюю («Партбилет»). Они просматривали первые варианты, потом вторые, третьи, видели, как вырастал литературный текст. Шкловский на прощание сказал:«Когда я взял самый ранний черновик, я ужаснулся, до того это ни к черту не годно (ведь ему попали самые первые мои попытки, теперь при всем желании я не смогу написать таких черновиков). Потом,— говорит Шкловский,— из этой дряни от одного варианта к другому вырастает произведение».

Я показал им черновики второй главы («Открытие Кузбасса»), где есть пометки Смирнова.

Обилие черновиков поразило их. Затем я предложил следующее:

— Открывайте книжку на любой странице, давайте любую фразу, и я укажу, откуда она взята, где ее основание, укажу или свою личную запись, или стенограмму, или книгу и т. д.

Шкловский открыл книгу на той странице, где рассказывается биография Свицына. Я достаю свою тетрадку, в которой записана моя беседа со Свицыным (она шла без стенографистки), записаны мои впечатления, и начинаю читать. Эффект замечательный.

Открывает страницу Агапов. Он читает фразу: «Федорович стал председателем временного правления «Копикуза». Я достаю стенограмму бухгалтера «Копикуза», нахожу там подобную фразу и показываю. От дальнейших проверок они отказались.

— Теперь о роли Смирнова,— говорю я.— Я написал об этом.

И достаю свои наброски примечаний к повести. У меня был такой замысел: дать в конце повести комментарии к

каждой главе. Там, в этих набросках, имелась страница о Смирнове. Агапов прочел эту страницу и сказал:

— Кто мог написать такую страницу, тот может написать книгу лучше этой.

— Что, хорошо написано? — спрашивает Шкловский.

— Отлично.

Прочел и Шкловский. Я знаю: страница в самом деле хорошая.

Все выразили полное убеждение в том, что ни тени подозрения на меня не может упасть.

Шкловский сказал Агапову:

— Вы должны пойти к Кирпотину и сказать, что от вас исходил слух, абсолютно неверный.

Агапов ответил:

— Да, это мой долг. Я это сделаю.

Я попросил его сегодня же позвонить Виноградской. Он исполнил мою просьбу. Вечером я с ней говорил по телефону. Она сказала, что Агапов ей звонил, все подробно рассказал и заявил, что абсолютно убежден: книжка моя от начала до конца.

— У меня сейчас сидит Рахтанов,— сказала Виноградская,— и тоже подробно обо всем рассказывает.

Примечание. К сожалению, я не смог отыскать в моих бумагах страничку о Николае Григорьевиче Смирнове, которая упоминается в этом письме. Она не была опубликована и, как я полагаю, находилась по-прежнему в папке, где хранились наброски примечаний к повести «Курако». Эта папка погибла во время войны вместе с рукописью моего вчерне написанного романа «Инженер Макарычев», вместе со всеми материалами к этому роману,— все это сгорело в 1941 году на даче под Москвой.

20 марта

...Чувствую себя счастливым. Да, прямо-таки счастливым. Все клеится, все ладится, жизнь полна, планы прекрасные.

...Книжка (она будет называться «Курако», подзаголовок — повесть) идет в «Знамени». Сегодня будет готов договор. (Пока еще не составлен, поэтому опасаюсь, что все пойдет насмарку, ведь со мной это бывает.)

...Только что мне звонил Ермилов. До него, очевидно, дошла весть, что книга принята в «Знамени», и он спохва-

тился. Извинился, что еще не прочел и просил подождать два дня и не решать с печатанием где-либо, кроме «Красной нови». Я не обещал ему этого. Говорю:

— Вы долго чешетесь, а у меня, возможно, сегодня дело будет закончено.

Потом говорю:

— Мне интересно твое личное мнение и вообще хочется с тобой поговорить независимо от печатания.

Сейчас я занят некоторой переработкой вещи, чтобы не раздразнить слишком разных гусей. Да, история у меня не вышла, а повесть получилась.

21 марта. Телеграмма

Подписал договор журналом Знамя выезжаю третьего.

Примечание. В ответ я получил телеграмму: «Поздравляю реально смотри будущее Власова не надейся ищи базу опору Москве».

21 марта

...Договор со «Знаменем» вчера подписал,— по 550 рублей за лист, шесть листов, полторы тысячи получил на руки.

...С издательством буду заключать договор после появления вещи в журнале,— так будет верней.

23 марта

...Вчера мне звонил Тарасов, закидывал удочку: не соглашусь ли я снова взяться за «Историю». Наверное, ему не удалось найти ни одного писателя. Я сказал, что не могу дать никакого ответа.

24 марта

...Мои дела идут так хорошо, что я начинаю побаиваться. Ведь во всяком деле бывают приливы и отливы. Сейчас у меня идет такой прилив, что поневоле думаю: не достиг ли он предела и не начнется ли завтра отлив? Ведь мы так привыкли к коротким приливам.

Договор со «Знаменем» есть. Я в редакции сказал, что Тарасов против моей вещи, они расхохотались.

Вчера получил письменный отзыв на свою книгу от Савельева, председателя Комакадемии. В 1918 году он был председателем горно-металлургического отдела ВСНХ, вел все дело по Урало-Кузбассу, я с ним часа два побеседовал.

В своем отзыве он очень хвалит книгу и делает незначительные, мелкие поправки.

Московское товарищество писателей, неважнецкое, правда, издательство, предлагает заключить договор.

Да, в «Литгазете» пойдет статья (подвал) о моей книжице — статья Перцова, одобрительная.

Одним словом, все нашему козырю в масть. Спрашивается: использовать ли успех сейчас или подождать появления вещи в «Знамени»? Тогда можно будет вместо «Московского товарищества» разговаривать с «Советской литературой», получить лучшие условия и т. д. Нормальный расчет говорил бы: обожди! Опасения пуганого Бека говорят: лови момент, все может пойти прахом. Придется, пожалуй, ловить.

Работаю над подготовкой повести к набору, кое-что исправляю (не порчу). Разыскал людей, знающих историю АИКа. Беседую с ними. Это золотая тема.

26 марта

...Сижу, исправляю вещь. У Федоровича яснее проступает характер.

Сегодня ко мне приходил Тарасов, опять предлагал включиться в «Историю». Я ответил, что согласен быть только собирателем материала. Он сказал:

— Я гарантирую, что тебе будет предоставлена эта возможность и работа будет оплачиваться.

28 марта

...Кажется, на площадку я опять приеду не болтуном, а дельным человеком. Сегодня в «Литгазете» похвальная статья Перцова. Это редкий случай: статья о книжке, вышедшей на правах рукописи. Перцов сделал как раз то, что надо: он не превозносит до небес, но дает полную политическую и художественную апробацию.

Выслал пять экземпляров газеты,— обязательно дай в горком Петрову, чтобы попала Хитарову, и дай секретарю Франкфурта, чтобы прочел и тот. Это хороший ответ Новосибирску.

...Итак, выезжаю третьего. Привезу с собой стенографистку, которая сможет быть и организатором-секретарем. Хотелось бы сразу послать ее в Прокопьевск, она разыщет там старожилов рабочих и осевших в Прокопьевске аиковцев, подготовит почву для бесед, затем туда поеду я. Это

разрешено мне в принципе Власовым и практически Тарасовым,— он даст мне соответствующее письмо.

Я знаю, что на Власова нельзя надеяться, нетвердый человек, ну что же,— на месте посмотрим.

3 апреля

Предполагал сегодня выезжать, но заболел. Болезнь пустяковая — ангина, но температура высокая, лежу. Билеты пришлось перезаказать на одиннадцатое.

...Подумай, как дорого достается успех вещи: тут и недовольство Сибири, и подозрение в литературной краже и т. д. Нужно было на все это пойти, все это встретить грудью.

...Мне хотелось бы, живя на площадке, выезжать в Кузбасс и гнать АИК. Я решил с АИКом так: разделить эту работу на две части. Первая будет заканчиваться провалом идей Ай-Даблью-Даблью (Индустриальные Рабочие Мира) и отходом Хейвуда от АИКа. Вторая часть — до конца, до смерти Бронки. Первая часть, возможно, так и будет называться: «Хейвуд». Я узнал здесь, что Бронка ультимативно потребовала его ухода, была большая борьба, и он ушел с трагедией. Трагедия Хейвуда страшно интересна — гигант, истинный революционный вождь, оказался ненужным, неспособным, когда надо было строить. Его взгляды (синдикалистские), которых он так и не преодолел, потерпели крах. Вообще я чувствую, что смогу написать АИК, и вряд ли кто другой сделает это. Верю, эта вещь будет лучше, чем «Курако».

...Перед сдачей в набор я много поработал над текстом повести. Показал Федоровича в отношениях с рабочими, с местными большевистскими организациями Кузбасса. В последней главе председатель томской Чека предлагает его расстрелять, рассматривая засылку денег, одежды, оборудования в далекую пустынную Осиновку как контрреволюционный акт, вспоминая, что Федорович участвовал в формировании карательного отряда (раньше я ввел эту сцену не грубо, а мягким показом, как это я люблю). Читатель поймет, воспримет это требование расстрела как некую закономерность. Вениамин Свердлов отстаивает жизнь Федоровича, спасает его. Это тоже закономерно. И думаю,— тут более высокая закономерность. Крупный капиталистический организатор, инженер с большим размахом,— разве такой должен быть отринут, уничтожен нами? Мож-

но и нужно ему многое простить (разумеется, не затушевывая при этом правды). В новом обществе есть для него место, применение его силам.

Редакция «Знамени» одобрила переработку, и вчера повесть уже отправлена в набор. Она появится вся целиком в майском номере.

Я сделал маленькое вступление от автора, где сказал, что на площадке Кузнецкстроя работал писательский коллектив. Написал о смерти Смирнова, о его значении для нас и в заключение выразил горячую признательность всем, кто с нами поделился воспоминаниями.

10 апреля

...Черт возьми, опять пришлось перезаказывать билет.

Идет счастливая полоса. Как я досадовал, что надо вылеживать и отложить отъезд, но вдруг и это обернулось удачей.

Вчера вечером мне позвонили из редакции «За индустриализацию» и просили приехать, захватив с собой два экземпляра моей книжки. Я, слава богу, был уже здоров,— сразу оделся и помчался.

Меня повели прямо к зам. редактора. К нему собрались и еще несколько работников. С места в карьер я получил предложение: сейчас же, не выходя из редакции, подготовить для газеты отрывки из книги — три-четыре подвала, то есть, собственно говоря, всю линию Курако.

Слово за слово — и мне сообщили, что книжку прочел Серго Орджоникидзе. И в тот же вечер, когда он прочел (или, может быть, на следующий), к нему пришли металлурги — Орджоникидзе постоянно общается с ними,— он стал расспрашивать о Курако и чуть ли не два часа слушал о нем. Как раз тут в кабинете Орджоникидзе появился Таль (редактор «За индустриализацию»), Серго похвалил ему мою книжку, посоветовал дать в газете выдержки.

И вот в трех номерах пойдут подвалы.

Конечно, я сделал монтаж отрывков не в редакции, а сегодня утром дома. И уже отвез. И все уже прочитано, сдано в набор.

А вчера у зам. редактора мы долго и славно поговорили. Кстати, секретарем редакции оказался мой давний товарищ по гражданской войне, по 9-й армии. Мы вспомнили те времена, когда он работал в армейской газете «Красное

знамя», а я выпускал маленький листок — газетку 22-й дивизии.

Вообще народ в редакции «З. И.», кажется, подобрался превосходный. У меня впечатление: они любят свою газету, очень инициативны, знают и любят индустрию. Я им рассказал о методах своей работы, о том, как мы у постели Бардина из вечера в вечер слушали и застенографировали повесть его жизни, рассказал и о множестве других бесед. Не скрыл и своих затруднений. Представь, они очень заинтересовались. Сказали, чтобы я ни с кем не договаривался, а вел бы такую работу при редакции «З. И.». Иначе говоря, возникла мысль создать в «З. И.» собрание стенограмм.

Конечно, это пока лишь первые наметки,— может быть, ничего и не получится,— но они отнеслись к такой мысли горячо. Возможно, это будет моя база. Я обещал не задерживаться на площадке, а поскорее вернуться в Москву.

Первый подвал пойдет послезавтра,— вот какие темпы! Сделано коротенькое вступление от редакции. Вот такое: «Помещаем отрывки из книги А. Бека «Главы истории Кузнецкстроя» (издание «Истории заводов» — на правах рукописи), посвященные характеристике интересной и своеобразной личности М. К. Курако — одного из лучших русских металлургов, создавшего целую школу «доменщиков-американистов».

Снова скажу: я счастлив! Разумеется, не могу уехать, пока не пройдут подвалы.

12 апреля. Телеграмма

Газета «За индустриализацию» печатает отрывки трех номерах сегодня напечатан первый выезжаю пятнадцатого.

ПРОБЛЕМА ВТОРОЙ КНИГИ. «КАБИНЕТ ЗАПИСЕЙ» В ГАЗЕТЕ «ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ»

1934. Июнь

На площадке Кузнецкстроя я сдал стенограммы и денежный отчет. Была, что называется, подведена черта.

Опять я думал над вопросом: что же дальше?

Перечитывая ныне письма, с которыми уже знаком читатель, я предвижу его недоумение. Он вправе спросить: ведь у вас была масса впечатлений, огромный материал,

множество сюжетов, неужели вы не могли избрать, облюбовать какой-нибудь из них и погрузиться в следующую повесть, вверившись, хотя бы до некоторой степени, творческому вымыслу, воображению?

Думается, в моих колебаниях, поисках сказалась прежде всего естественная трудность, которую, как я теперь знаю, испытывает почти всякий писатель, приступающий ко второй книге. Как-то от одного умного литератора я даже слышал выражение: «проблема второй книги». Кроме того, в те времена я упрямо не доверял своему воображению, опасался заполнять воображением «белые пятна», которые еще зияли в каждом моем сюжете, не позволял этого себе.

Я так и сяк рассматривал всякий свой замысел, книгу, которая возникала в уме,— в ней для меня еще как бы не хватало то здесь, то там многих страниц, еще не отысканных, не прочитанных мною.

Как же заполнить эти провалы?

Я отвечал себе твердо: только изучением — изучением людей, моих будущих действующих лиц. Поэтому я стремился не только отыскивать характеры в реальной жизни, в реальной истории и впечатляться ими, но и, как тогда в уме я выражался, «отпрепарировать» каждый свой сюжет. Я был убежден, что, если не смогу продолжать изучения, доводить его, имея в виду ту или иную определенную историю, так сказать, до насыщенности, меня постигнет неудача.

Но где же найти средства для такого изучения? Кто их даст?

Вырисовывалась, как знает читатель, некая новая возможность в редакции газеты «За индустриализацию».

В мае 1934 года я вернулся из Кузнецка в Москву.

2 июня. Москва

...По возможности, уделяй время каждый день для работы над АИКом. Вот некоторые советы. Воспользуйся ими, проводя беседы.

Выясняй мельчайшие подробности быта колонистов,— что они ели на завтрак, на обед, как проводили день, что делали по вечерам, как развлекались, вопрос о женах, о ревности и пр. и пр. У меня в стенограммах этот вопрос выяснен плохо. Поработай над этим.

Еще и еще вытягивай все из Чарли Шварца. Он был в Кемерово как раз в тот период, который охватывает первую часть. С ним осталась непроведенной еще одна беседа (тема — взаимоотношения с русскими), но разных мелочей из него можно вытянуть еще очень, очень много.

Теперь общее замечание о методике бесед. Я делаю обычно так: пусть человек сначала расскажет в хронологическом порядке все, что он знает, здесь я сравнительно мало перебиваю его вопросами, а возникающие у меня вопросы записываю для памяти, чтобы поставить их потом. Следующий этап — более подробное выяснение разных интересных *эпизодов*. Следующий — ты просишь обстоятельно рассказать об интересующих тебя *лицах*, выспрашивая разные подробности, случаи, черты характера, штришки, причем непременно добивайся конкретизации. Например: «он скупой», ты спрашиваешь: в чем это выразилось, какие случаи привели вас к этому заключению? И наконец, следующий этап — твои вопросы касаются разных *проблем*: вопрос быта, организации труда, организации общественной жизни, взаимоотношения с русскими и пр. и пр. И обязательно опять эпизоды, штришки, детали, детали и детали.

Таким образом, ты переворачиваешь, перелопачиваешь весь материал несколько раз и получаешь все, что человек может дать. Во время беседы *обязательно* подбадривай рассказывающего выражением заинтересованности, изумления, восклицаниями: «вот как!», «эге!», «это интересно» и т. д. Конечно, подоплекой таких восклицаний служит неподдельный интерес. Фальшивить не надо, неискренностью можно все испортить. Пусть будет удивительна хотя бы лишь крупица, но непременно как-то ее отметь. И, глядишь, твой собеседник разойдется, одолеет смущение или какие-то другие свои тормоза, рассказ польется свободней, интересней.

Да, вот еще что. Если человек мнется, не решается что-то выложить под стенограмму или говорит: «это не записывайте», ты оборачиваешься к стенографистке и произносишь: «Напишите: не для печати». Эти три словечка почти всегда действуют магически, как-то сразу успокаивают рассказчика, и беседа продолжается. Но если что-то действительно не пришлось застенографировать, это надо в тот же вечер или на следующее утро хотя бы кратко записать: потом это в памяти стирается.

Кстати, порасспроси у Чарли о тех людях, о которых рассказывал Нелсон (рядовые аиковцы) — они очень интересны. В книге обязательно должна быть отлично подобранная галерея вторых ролей.

3 июня. Малеевка

...Приехал на недельку отдохнуть в Малеевку. Второй день льет дождь. Скучновато.

Продумываю свои сюжеты, перебираю их. Хочется дать пересечение нескольких линий, столкнуть капитализм и социализм. Смогу ли дать в романе «Доменщики» остроту такого столкновения? Очень хотелось бы написать о Прошке Батолине, взяться за эту нитку,— тут и капитализм, и Ленин, и борьба левых коммунистов, и рабочие Кузбасса. Это, конечно, самый замечательный, наряду с АИКом, из моих сюжетов.

В общем, еще неясность. Буду работать, изучать материал,— все это потом войдет в роман.

Примечание. В этом письме впервые появляется заглавие: «Доменщики». Читатель, однако, не должен смешивать этот лишь обдумываемый мною в ту пору роман «Доменщики» (которому затем я дал название «Инженер Макарычев»), роман, погибший в дни войны, о чем я уже говорил, и книгу моих повестей «Доменщики», включившей, кстати сказать, и повесть «Курако».

5 июня. Малеевка

...Вот и подходит к концу мой недельный отдых.

...Надо знать, что в творческой работе *обязательно* будут моменты — и, быть может, длительные — сомнения в своих силах, будет казаться, что ты не способен справиться с темой, не сможешь написать и т. д. Это будет обязательно, и у всех бывает. Самое важное при этом — не прерывать работу. Это вообще главнейший принцип: каждый день что-нибудь делать для своей будущей книги.

...Если я узнаю, что проведены новые беседы по истории АИКа — беседы с Чарли, с Чезари, с Ригманом, с Казарновским,— это будет для меня самая большая радость.

7 июня. Москва

...Только что приехал из Малеевки.

...Приехал и побежал проверять дела на своих фронтах. Зашел в «Знамя»,— там приятнейшая весть: уже есть кон-

трольный номер с моей вещью. Очень, очень я рад. Представь, в последние дни в Малеевке меня все время, даже ночью, томило беспокойство: вдруг задержат журнал, вдруг снимут повесть и т. д.

...Сейчас пойду проверять другой свой фронт — «За индустриализацию».

8 июня

...В «З. И.» я вчера не застал человека, который должен со мной договариваться. Надеюсь, что сегодня дело выяснится окончательно.

...Вчера был на совещании очеркистов, встретил там Итина, он мне сказал, что в «Советской Сибири» была о моей книге статья под заглавием «История лжи и клеветы».

Разумеется, я взволновался, отправился в читальню, прочел эту статью и успокоился. До чего она пуста! И, главное, содержание совершенно не соответствует заглавию. Нет ни одного указания на то, что я сообщил что-либо ложно. Буквально нет даже попытки опровергнуть какой-либо факт или все в целом. Просто зубоскальство, главным образом насчет жены Федоровича и «мелодраматических эффектов» повести. Очень нестрашная статейка.

Но опять в душе всплыло все, что я пережил во время сибирской проработки. Какой парадокс! Обвинили во лжи и клевете меня — человека, который предан изучению жизни, отыскивал и нашел немало нового, выверял разными путями каждую свою находку, каждый факт. Мои обвинители отрицают художественное (да и историческое) исследование, открытие. Ведь о Курако до моей вещи и до выступлений Бардина, которые родились из его стенограмм, то есть опять-таки при нашем участии, еще ни словечка никем не было написано. А в Новосибирске с ним разделались сплеча: не тот герой! Несовременно! На деле же Курако,— мой Курако,— оказался настолько современным, что авторитетнейшая боевая газета отдала свои подвалы, чтобы познакомить читателя с этой фигурой.

А ведь достаточно было бы мне проявить слабость, малодушие, и меня бы подмяли товарищи новосибирцы (как, наверное, с иными уже это сотворили).

9 июня

...В «З. И.» — небольшая задержка. Там я (то есть «Кабинет записей», он будет пока существовать в одном моем

лице плюс стенографистки) уже включен в смету, и остановка только за тем, чтобы утвердил Таль, причем он дал уже свое разрешение и не хватает лишь его подписи. К завтрашнему дню мне обещали все это провести. Моя первая командировка будет в Сибирь, в Кузбасс. У меня есть дерзкая мысль: не тащиться поездом, а вылететь.

...Два дня провел на совещании очеркистов. Очень хвалили мою книгу в личных разговорах Михаил Кольцов и Борис Галин. Кольцов сказал: «Мне очень, очень, очень понравилось». Однако с трибуны о ней никто не говорил. Лузгин делал доклад об изданиях «Истории заводов» и ничего не сказал о моей книге. Рахтанов крикнул ему с места:

— Почему вы ничего не говорите о книге Бека? Это замечательная книга!

Ей-ей, он меня растрогал, верный Рахташа.

Лузгин ответил:

— Книга Бека очень интересная работа, но она выходит из нашей области, в ней есть недостатки, но у меня сейчас нет времени о них говорить.

Вот и все. Как ни странно, меня это удовлетворило. Главное, чего я боялся,— разгрома. Раз этого нет — ну и слава богу.

11 июня

День моего отъезда еще окончательно не выяснился. В «З. И.» — некоторая проволочка. Таль смету утвердил, но перед заключением договора я должен составить список людей, с которыми предполагаю проводить беседы. Сегодня я этим занимаюсь. Возможно, заключим договор 13-го или 14-го.

Так или иначе вопрос в днях, и «Кабинет записей» начнет работать.

...Вчера я проводил беседу с Котиным об АИКе. Проговорили три часа. Очень интересно. Котин из рабочих, серьезный, вдумчивый человек, был одно время управляющим треста Кузбассуголь, сейчас — управляющий Дальуглем. Он очень хвалит аиковцев.

И вообще чрезвычайно интересно, как говорит об АИКе русский. Он замечает, ему бросается в глаза то, что сами аиковцы совершенно не видят, для них это нормально и привычно. Наоборот, американцы удивляются тому, что для нас обыденно.

Например, Татьяна Герштейн (переводчица мистера Вейла) сказала мне о его воспоминаниях: «Там много неинтересного для нас,— он на целой странице объясняет, что такое телега».

Но в этом-то как раз и интерес. На этом надо очень тонко играть на всем протяжении произведения. Трудная задача. Ничего, вывезем.

12 июня

...Сегодня провожу в одиночестве вечер выходного дня. Мог бы пойти в театр, но не захотелось. Буду печь оладьи, пить чай с вином, читать Мериме (вот у него можно учиться сюжетной прозе, мне теперь, после «Курако», становятся ясны его приемы. Читаю, словно зрячий).

...В «З. И.» подпишу завтра договор и на днях выеду.

ВЫБОР СДЕЛАН

1934

После длительных раздумий я, как говорят военные, принял решение: буду писать роман о доменщиках, прообразом центральной фигуры романа станет Бардин. Позже, уже работая над произведением, я назвал его, этого нового моего героя, инженером Макарычевым.

У меня сохранился набросок, в котором содержалась попытка наметить на нескольких страницах этот характер, как бы выделить самое существенное в Бардине. Позволю себе познакомить читателя с этим наброском.

Январская ночь

Из заграничной командировки Бардин вернулся в день смерти Ленина.

В пути из-за мороза лопнул рельс. Поезд опоздал на несколько часов и прибыл в Москву вечером на следующие сутки.

На улицах пылали костры, с окраин по тротуарам и по мостовым шли люди, свет костров и фонарей вырывал из темноты двигающиеся над толпой траурные знамена и венки.

Москва не спала в эту ночь. Не спал и Бардин. Сумрачный, угрюмый, сутулясь от пронизывающего холода сильнее, чем обычно, бродил он близ Дома Союзов, предаваясь нерадостным думам.

Тысячи и тысячи людей, простоявших много часов на морозе, медленно проходили в раскрытые двери Колонного зала. Молчаливо было это нескончаемое шествие; стоявшие цепью конные милиционеры говорили вполголоса, если приходилось что-нибудь сказать.

В тишине Бардин вдруг услышал отдаленный грохот динамитных взрывов. Звук донесся глухо, многие его не уловили, но Бардин мгновенно угадал на слух, на особый слух инженера, что это именно динамит, что динамитом рвут землю. Он непроизвольно насторожился, ожидая, что вот-вот пальнет запоздавшая бурка, и секунду спустя действительно ухнул едва слышный одиночный взрыв.

Бардин тяжело вздохнул. Точно такие же удары глухо рвущегося динамита раздавались в Енакиеве, когда он, начальник доменного цеха, взрывал фундамент отслужившей сломанной домны, очищая место для новой, самой большой в России печи, спроектированной им под руководством Курако. К весне семнадцатого года новая печь была готова, ее загрузили дровами и коксом, но из-за разрухи, затем из-за начавшейся гражданской войны она, его детище, его создание, так и осталась бездыханной. Как ему хотелось бы вновь строить, особенно теперь, после того как он побывал в Бельгии и в Англии!

Ноги уже несли его туда, к Красной площади, к Кремлю, откуда слышались подземные удары.

На площади перед заиндевевшей зубчатой Кремлевской стеной строили ленинский Мавзолей, тогда еще временный, деревянный.

Длинные пучки яркого до голубизны света падали из прожекторов на развороченную мостовую: землекопы расчищали после взрыва котлованы, разбивая ломами и клиньями многопудовые глыбы остекленевшей земли; плотники торопливо обтесывали бревна; скрипели полозья саней, подвозивших лес из Замоскворечья.

Бардин провел тут всю ночь. Он продрог, густой иней навис на бровях. Время от времени он яростно тер перчаткой нос, щеки и уши и притопывал ногами в отвердевших, стучавших, как дерево, галошах.

Невдалеке пылали костры, Бардин туда не уходил. В пяти минутах ходьбы его ждала теплая комната гостиницы, но он не мог оторвать взгляда от того, что происходило в Москве на Красной площади в траурную ночь.

В отсветах прожекторных лучей смутно проступали кремлевские башни, каменная подвысь лобного места, памятник Минину и Пожарскому. В каждой пяди земли оттиснулись здесь судьбы народа. И вновь площадь принимала глубокую зарубку истории. Сознание возвращалось к действительности, к думам о стране, о Ленине.

В сердце инженера опять поднималась тоска, ни на один день не оставлявшая Бардина с момента закрытия завода. «Завод закрыт!» Эти слова он выкрикнул, вернувшись домой с заседания, в апреле 1923 года. В передней стоял стул, он в ярости ударил ногой по сиденью и продырявил насквозь.

Вместе с тремя тысячами рабочих, оставшихся от шестнадцатитысячного штата в голодном, разоренном Енакиеве, Бардин продержал завод на ходу все годы гражданской войны и разрухи. В 1920—1921 годах на Юге потухли все доменные печи, за исключением одной-единственной в Енакиеве. Эта историческая домна, самая маленькая среди шести енакиевских печей, снабжала газом силовые установки, что давали электрический свет, качали техническую и питьевую воду, двигали клети и насосы в угольном руднике завода. Погасни эта последняя печь, и Енакиево осталось бы без света, угля и воды.

Бардин, ставший главным инженером после бегства бельгийцев, которые ранее управляли заводом, вряд ли знал в эти годы хоть одну спокойную ночь.

Жизнь его сложилась так, что лишь на заводе он ощущал себя полноценным человеком. Ему, сыну сельского портного, обосновавшегося в Саратове, в Глебучевом овраге, близ свалки городских нечистот, не удалось попасть в гимназию. Сначала он учился в ремесленном, потом в земледельческом училище. При помощи добрых интеллигентных людей, встретившихся Бардину-подростку, он рано понял, что единственное его спасение — попасть в высшее учебное заведение.

В 1909 году он был выпущен из Киевского политехнического института с дипломом инженера-металлурга. Диплома, впрочем, он на руки не получил, ибо за эту бумагу следовало уплатить десять дублей, а у него, кормившегося случайными студенческими заработками, не было таких денег.

Он поехал по заводам искать места. Его нигде не приняли. Российская металлургия много лет пребывала в за-

стое, новые инженеры ей не требовались. Жизнь, словно нарочно, старалась оправдать мрачные его предчувствия. Нужда, черная нужда вытолкнула Бардина из России. Он уехал в Америку в поисках работы. У него были рекомендательные письма от профессора, но Бардин постеснялся их предъявить и поступил не инженером, не техником, не чертежником, а простым рабочим на завод Гэри Иллинойс — величайший в мире, с двенадцатью доменными печами.

Бардина взяли от ворот. На этом заводе, где все механизировано, где почти нет ручного труда, судьба сумела отыскать для него уголок, где люди, в большинстве негры, исполняли вместо машин изнуряюще тяжелую работу. Ему пришлось таскать клещами раскаленные обрезки рельсов. На этой жаркой работе он по неопытности пил слишком много воды, через год сердце стало пошаливать, порой Бардина охватывала внезапная слабость, он шатался, едва удерживаясь на ногах. Его состояние было замечено, и вскоре он был уволен без объяснения причин.

На последние доллары Бардин купил билет в Россию и бежал из Америки.

В 1912 году ему удалось поступить в чертежное бюро Юзовского завода. Начальником доменного цеха Юзовки был дерзновенный Курако, знаток не только доменных печей, но и человеческих сердец. Он разгадал Бардина, понял, что за его вечно хмурой, замкнутой наружностью, за мрачным взглядом таятся сдавленные силы, жаждущие применения. Вскоре Курако предложил мрачному чертежнику пойти сменным инженером в цех. Бардин согласился с радостью. Наконец-то, три года спустя после окончания института, он получил работу по специальности.

В лице Курако Бардин обрел человека, который поверил в него. Укрепленный этой верой, он испытал радость, самую большую за тридцать прожитых лет, когда убедился, что его слушаются люди и домны. Завод стал единственной точкой во всем мире, где бурно прорвались его затоптанные капитализмом силы. Там, у доменных печей, он превосходил всех, перед кем тушевался вне завода. Доменные печи стали его жизнью, его судьбой, его счастьем, он проявил исключительный талант инженера. Психологи называют это сверхкомпенсацией.

...И вот он стоит у могилы Ленина, томимый тоскою, главный инженер закрытого завода.

Ко дню смерти Ленина из сотни доменных печей металлургического Юга действовали только четыре, выплавка чугуна не достигала десяти процентов довоенной. Кому же нужен Бардин? Поездка в Бельгию, где там и сям развернулись индустриальные стройки, принесла Бардину новые терзания; на одном заводе он увидел точную копию своей непущенной печи, сооруженной по чертежам, увезенным бельгийцами из Енакиева.

...Начинался рассвет, прожекторные лучи побледнели, на истоптанном снегу стали заметнее комья разметанной взрывами земли, явственно проступили очертания Кремля, подъемный кран вздымал длинные бревна, работа кипела.

Вспомнилось, как на субботних сборищах Курако, сев верхом на стул, ораторствовал о новой России, откуда будут изгнаны заносчивые иностранцы и где никому не позволят топтать и мучить человека, о России, которая станет страною металла и доменных печей.

Бардин вздохнул и, понурый, поплелся в гостиницу. На площади у Дома Союзов сквозь морозный рассветный туман он опять увидел нескончаемые ряды людей. В этот час, как и всю ночь, народ шел сюда со всех концов Москвы. Среди людей, одетых по-городскому, виднелись большие группы крестьян в овчинных полушубках и тулупах. Некоторые были в лаптях.

Бардин подошел поближе к людям, и ему вдруг стало легче — поверилось, что народ, поднявшийся в эту ночь, не отступит, не сдаст, победит. Отыскав где-то за много кварталов конец непрерывно пополнявшегося траурного шествия, Бардин встал в ряды и, смешавшись с народом, медленно пошел вместе со всеми.

ПОЕЗДКА В ХАРЬКОВ И В ДОНБАСС

1934. Ноябрь — декабрь

В 1934 году мой адресат перебрался в Москву. Поэтому многие последующие письма я посылал в Москву из различных городов, куда меня влекла работа.

Пользуясь некоторой материальной поддержкой редакции «За индустриализацию», я энергично вел беседы.

Интереснейшим человеческим документом явилась объемистая, в несколько сот страниц, стенограмма моих бесед с Владимиром Ивановичем Гулыгой,— поразительная исповедь этого инженера-доменщика, побывавшего на своем ве-

ку и молодым казачьим офицером, и студентом-горняком, и сменным инженером у Курако, и проникшим в придворные круги дельцом, поклявшимся заграбастать миллион, чтобы выстроить доменную печь по чертежам Курако, и командиром бронепоезда в армии Деникина, и эмигрантом, принесшим покаянную советской власти, прощенным, возвратившимся в Россию и назначенным техническим директором завода в бывшей Юзовке.

Нить жизни Бардина, теперь ставшая моим путеводителем, привела меня вновь к Валерию Ивановичу Межлауку, некогда председателю Главметалла, а также к его брату Ивану Ивановичу, который в своем поезде члена Реввоенсовета 2-й армии приехал директором завода в Енакиево, где безотлучно находился Бардин. Далее И. Межлаук, в прошлом учитель латинского языка, организовал и возглавлял несколько лет трест «Югосталь». Повествование Ивана Ивановича, не однажды встречавшегося с Лениным, захватило меня.

Начались и встречи со Степаном Семеновичем Дыбецом — он некогда был заместителем Межлаука в тресте «Югосталь». Слушая рассказы Дыбеца, я, как это ни удивительно, опять подошел с какой-то новой стороны к притягательной для меня истории АИКа: в свое время Дыбец, юноша-рабочий, эмигрировал в Америку, примкнул там к движению Индустриальных Рабочих Мира, знавал Билла Хейвуда, а затем, став в Советской России коммунистом, имел некоторое касательство к АИКу.

Все эти люди,— а также и немало других, к которым я обращался за рассказами,— были необыкновенно интересны.

Тут, однако, выявилось некоторое недовольство редакции «За индустриализацию» моей, так сказать, добычей. Я стремился познавать характеры, их формирование, а для «Кабинета записей» газеты «За индустриализацию», куда я доставлял стенограммы, требовалось нечто иное: не юношеские искания Дыбеца или Межлаука, разные психологические кризисы, а организаторская деятельность командиров индустрии, дела, дела, дела. Мне были тесноваты эти рамки. Я объяснял, что изучаю характеры, добивался, чтобы меня поняли.

В результате какого-то очередного разговора было придумано следующее (кажется, эта идея принадлежала Верперу, заместителю редактора «За индустриализацию», че-

ловеку неистощимой инициативы, которому я навсегда благодарен за внимательное, теплое отношение ко мне, к моей работе): обратиться в объединение «Сталь», руководившее южной металлургией, с просьбой выделить мне, автору будущей книги о доменщиках Юга, некоторые средства для поездок и для оплаты нужных мне стенограмм.

Снабженный необходимыми бумагами, я поехал в Харьков, где находилось объединение «Сталь».

22 ноября. Харьков

Ну вот, я и в Харькове.

Здесь все чертовски дорого,— никаких льгот для командировочных, все по коммерческим ценам: и гостиница, и столовая, и т. д.

Завтра или послезавтра предприму атаку на Шлейфера (председатель объединения «Сталь»),— вот когда пригодится новый костюм.

Устроился в гостинице (отдельный номер), принял ванну, назначил на завтра беседу, в общем блаженствую.

22 ноября. Харьков

В Харькове у меня предполагаются беседы с Гепаком (председатель «Трубостали», когда-то работал вместе с Бардиным), с Луговцовым (соратник Бардина, с ним я уже виделся и договорился начать беседы завтра) и еще с тремя людьми. Завтра запущу машину на полный ход — по две беседы ежедневно — и плюс отыщу и начну обследовать архив «Югостали».

Затем предстоит решающий (денежный) разговор со Шлейфером. Я думаю просить у него 16 тысяч по такой смете:

200 стенограмм	— 10	тысяч	руб.
Разъезды (ж. д. билеты)	— 1	тыс.	»
Гостиницы	— 1	тыс.	»
Суточные (100 дней)	— 2	тыс.	»
Машинистка (перепечатка архивных документов)	— 2	тыс.	»
Итого:	16	тыс.	»

Получать бы в течение пяти месяцев по 3200 руб.! Вот мой скромный план. Интересно, что из него выйдет?

Харьков изменился здорово. Появился новый центр города, полчаса ходьбы от старого центра.

В этом новом центре и находится, между прочим, та гостиница, в которой я поселился. Рядом с гостиницей — Дом госпромышленности, знаменитое строение: десять десяти- или двенадцатиэтажных корпусов. И вокруг масса таких же огромных новых зданий — стиль пока старый, «железобетонный», вроде московского Дома правительства. Неподалеку строятся и еще здания. Вероятно, они будут повеселей. Впрочем, и «железобетонный» не плох, он впечатляет своей мощью, монументальностью.

Прошу извинения за слишком меркантильное письмо.

24 ноября. Харьков

...Спешу дать отчет о вчерашнем дне. В общем, можно поздравить меня с некоторой победой.

Прихожу к секретарю Шлейфера,— изящная дамочка Белла Яковлевна. Даю ей письма от «Знамени» и от Вернера. Она восклицает:

— Это вы товарищ Бек? Ах, я читала вашу повесть. Какая чудесная повесть! Илья Осипович здесь. Я сейчас же ему доложу.

Я остановил ее, поблагодарил («очень приятно» и т. д.) и говорю:

— Я не хочу идти к товарищу Шлейферу именно сейчас. Вы спросите, когда у него будет свободных полчаса. Я тогда приду, и мы с ним потолкуем.

Она уходит к Шлейферу, быстро возвращается:

— Знаете, у него как раз сейчас свободное время. Через пять минут он может вас принять.

Боже мой! А я в темной затрапезной рубашке. Неужели синяя шикарная рубашка не будет использована в решающий час?! И самое главное — я не захватил с собой папку стенограмм, которые должен был разложить, как образцы товара. Я говорю:

— Я сейчас побегу в гостиницу за материалами и через восемь минут буду здесь.

И побежал. Гостиница расположена довольно близко. Влетел в номер, сорвал рубашку, высыпал на стол запонки, надеваю перед зеркалом новую рубаху, задняя запонка не держит, воротник сзади отрывается, я хотел уж бросить ее, надеть старую, но сказал себе: «спокойствие, спокойствие», приладил еще раз, осмотрелся, схватил папку и помчался обратно.

Белла взглянула на меня с некоторой усмешкой (или это мне показалось). Интересно, заметила ли она мое переодевание?

Вхожу к Шлейферу. Благообразный человек с очень белым лицом и клинообразной, хорошо расчесанной рыжей бородой (очевидно, он ее любит и холит). Спокойный, тихий голос, подчеркнутое спокойствие жестов.

Я начинаю ему рассказывать о своей работе. Вынимаю стенограммы. Он придвигает к себе стенограмму Межлаука, пробегает несколько строк и... Представь, начинает читать. Читает страницу, другую, третью.

Я сижу, смотрю в потолок. Время идет, он читает, я молчу. Наконец он опомнился:

— Дайте мне, товарищ Бек, на выходной день почитать эти материалы. Помощь я вам окажу. Я уже написал Вернеру, что вся нужная помощь будет вам оказана.

Я говорю, что нужны деньги на стенограммы.

— Сколько, сколько? — торопит он.

Я отвечаю, подсчитывая вслух смету:

— Двести стенограмм по пятьдесят рублей — десять тысяч.

— Ого! — восклицает он.— Для этого мне нужно специальное разрешение... А сколько нужно до конца года?

— Две с половиной тысячи.

— Хорошо,— говорит он,— полторы тысячи вы получите от нас и тысячу от «Трубостали». Я отдам распоряжение, чтобы на эту сумму оплачивались счета.

На этом пока кончился наш разговор. Я считаю положение превосходным. Деньги на стенографисток обеспечены. Буду вести беседы, Шлейфер платит!

25 ноября. Харьков

...Вчера провел беседу с проф. Рубиным. Пришлось потратить много нервной энергии, чтобы убедить его рассказывать при стенографистке. Боится: как бы чего не вышло. Побеседую с ним наедине.

26 ноября. Харьков

...Ну, у меня машина завертелась. Провожу по две беседы в день, стремлюсь даже к трем.

Вчера начал беседы с Луговцовым, другом Бардина. Это человек маленького роста (он с детства был заморышем), с жидкими усами и прекрасными добрыми глазами.

Вот здесь я напал на золотую жилу — дед горновой, отец горновой, а самому ему, юноше, Курако помог стать инженером. Милый человек, изумительный рассказчик!

27 ноября. Харьков

...Работа у меня двигается удовлетворительно. Проведено шесть бесед, и на следующие дни назначено по две беседы ежедневно.

Узнал много о Межлауке (Иване). Оказывается, у него, когда он был директором Енакиевского завода, умерло двое детей — от голодовки, неустройства.

Особенно восхищают меня беседы с Луговцовым,— это как раз такой тип, которого мне не хватало, чтобы роман стал полноценным. Там, в той картине, которая складывается из разных судеб, мне не хватает народа, низов, страдания, проклятия капитализму. Все это есть в фигуре Луговцова. Его отец горновой, детство прошло в Юзовке, кругом смерти, страдания. С этого я и начну вещь. И потом он, Максим Луговцов, всюду идет вместе с Бардиным, как друг и помощник. Этим и линия Бардина укрепляется,— она у меня еще до сих пор слабовата.

Числа шестого декабря поеду в Мариуполь к директору «Азовстали» Гугелю, оттуда в Сталино, и 20—25 буду в Москве.

28 ноября. Харьков

...Сейчас я написал письмо Ивану Ивановичу Межлауку — рассказал, что делаю, как идет работа, предупредил, что приеду в конце декабря.

Мои литературные планы немного меняются. Я предполагаю довольно быстро написать «Доменщики», отделив эту вещь от «Югостали». Луговцов дал материал, который позволяет выделить из большого замысла отдельную первую повесть. Потом засяду за «Югосталь».

30 ноября. Харьков

...В этих письмах я будто говорю с самим собой.

Все дело сейчас в труде, в труде и в труде — только это нужно. Собирать материал как можно больше, прощупывать со всех сторон историю, которую надо изложить, изучать, изучать, не боясь уклониться в сторону. Ненужное потом отсеется, и вещь встанет перед тобой очищенная и богатая.

Главное, надо жить в этом мире —в мире своих образов.

...Мысль порой возвращается к АИКу. Нелегко будет дать американские главы... Следующий нетронутый пласт — враги АИКа (или, условно говоря, линия Федоровича). Этих людей тоже надо будет разыскать, поговорить с ними, понять их, одним словом, разработать и этот пласт.

...Мне здесь очень не хватает одной маленькой вещицы — часов! Когда же наконец я решусь на них потратиться? В таких поездках, когда беседы назначаются в точно определенное время, очень трудно без часов.

2 декабря. Харьков

...Работа идет у меня хорошо. Мне очень повезло с Луговцовым. Беседую с ним ежедневно часа по три. С фигурой Луговцова повесть «Доменщики» делается полноценной. Мне уже хочется ее писать. Я уже вижу первые главы. Они будут сильными.

Забота теперь в том, чтобы и последние были бы на такой же высоте.

3 декабря. Харьков

...На 6 декабря я заказал билеты и выезжаю со стенографисткой в Мариуполь, потом вернусь в Харьков. Со стенографисткой! Не удивительно ли?

Да, я тут комбинирую всячески. Денег у меня почти нет. В отдельный карман отложено то, что надо заплатить за номер (очень дорого, 12 рублей в сутки, за 15 дней 180 рублей. Ужас!), и, кроме того, на расходы осталось 20 рублей.

Посмотрю Никополь-Мариупольский завод, где зачиналась слава Курако, посмотрю Юзовку, через которую, по выражению Гулыги, проходит ось земного шара.

В Сталино познакомлюсь с Максименко (молочным братом Курако), начну беседы с директором завода Макаровым,— пробуду там дней семь-восемь.

Думаю попросить у секретаря обкома Саркисова следующее: чтобы он разрешил мне поселиться в Сталино месяца на два со стенографисткой за счет завода, и если это выйдет, в феврале туда поеду. И там же буду писать.

В общем, только я способен на такие штуки,— еду без денег, да еще со стенографисткой,— вести беседы, беседы, беседы. Наверное, привезу с собой приблизительно

сорок стенограмм. Так и написал моим шефам в «За индустриализацию».

5 декабря. Харьков

...Чувствую себя очень хорошо,— какой-то ровный творческий подъем. Хочется, хочется начать писать. Поездка уже дала очень много.

Повесть «Югосталь» (я уже писал: она отделяется от «Доменщиков») вырастает в нечто очень острое и волнующее. Мне И. Межлаук как-то вскользь сказал о Лобанове — дескать, это был мой главный враг. Этого Лобанова я разыскал и начал вчера с ним беседы. Интересная личность. Во времена «Югостали» он был председателем Южбюро металлистов. И вместе с тем одним из вожаков рабочей оппозиции,— он подписал и заявление двадцати двух в Коминтерн в 1922 году.

Он рабочий, учился в 1908—1909 годах у Горького на острове Капри (там была партийная школа с богдановскими уклонениями), много раз видался и беседовал с Лениным, словом, рабочий-большевик, впавший в синдикализм. Изобразить его, изобразить рабочую оппозицию, дать борьбу Лобанова против Межлаука,— каково? Не свежатина ли?

6 декабря. Харьков

...Вчера случилась со мной неприятность (маленькая катастрофа), которая страшно меня расстроила.

Представь, вчера первый и единственный раз в жизни сорвалась беседа по моей вине.

Это была беседа с Лобановым. Назначили мы ее на десять часов вечера. Часов в восемь я принял ванну (в порядке подготовки к отъезду), прихожу в номер, спрашиваю у коридорной: сколько времени? Пять минут десятого.

Ну, думаю, полчасика можно отдохнуть, подремать. Прилег. Сладко сплю, и вдруг — «шось вдарыло». Вскочил — и ничего не могу сообразить. Знаю, надо что-то делать, а что — сразу не припомню. Потом вспомнил — Лобанов! Выскакиваю в коридор: сколько времени? Мне говорят: без десяти одиннадцать. Не может быть! Бегу вниз, спрашиваю у одного, другого: одиннадцать. Боже мой! Что делать? Звонить? Решил лечь спать,— не звонить сразу, а утром спокойно подумать, как поправить дело. Всю ночь

ворочался. Проснусь и вспомню. Ругал себя, клеймил — действительно безобразие.

Сегодня утром пришлось выдумать, что у меня был приступ малярии.

До сих пор не могу успокоиться — как я допустил такую штуку?!

Вообще меня беспокоит моя склонность к сонливости,— сплю я ведь очень много, засыпаю легко, сплю после обеда. С одной стороны, это как будто хорошо,— я всегда сохраняю свежесть, бодрость и тот энтузиастический, полный энергии, тон, который мне постоянно свойствен. Усталости во мне нет. А с другой стороны,— быть может, это время надо бы затрачивать на чтение. Ведь читаю я мало. Главные силы я отдаю беседам, а на книги уже почти ничего не остается. Сейчас я собираюсь к Луговцову и думаю попросить у него с собой в поездку несколько книг.

Хорошо лишь, что не трачу время на ухаживание за женщинами, на разную рассеянную жизнь.

...Мое прегрешение немного облегчается тем, что сорвалась не первая, а вторая беседа с Лобановым. Первая прошла очень удачно. Эх, надобны часы, часы!

8 декабря. Мариуполь

...Сейчас поеду на завод, пойду на домны.

...Гугеля на месте нет, он приедет только завтра или послезавтра. Сегодня буду беседовать с Кравцовым — это главный инженер завода, работал несколько лет с Бардиным в Енакиево.

9 декабря. Сталино

...Пишу из Сталино. В Мариуполе Гугеля не оказалось,— он приедет лишь одиннадцатого,— и я решил, не теряя времени, ехать в Сталино, а потом обратно в Мариуполь. Это всего три с половиной часа езды.

Был на здешнем заводе. Тут меня знают, книгу читали. Сегодня же начну серию бесед с Максименко. Впервые я увидел этого своего героя (я ведь описывал его в повести) и весь дрожу от нетерпения: скорей бы услышать его рассказ.

Говорил с директором завода Макаровым, он меня встретил очень тепло. Его отношение ко мне похоже на отношение Дыбеца,— уважение и что-то вроде нежности.

Видел дом, где жил Курако, остановился в бывшей «Великобритании», теперь она называется «Металлургия».

11 декабря. Сталино

...Хочется рассказать о всех моих новостях: что я делаю, чем живу?

Сначала неприятности. У меня сложились очень скверные отношения со стенографисткой, которая работает со мной. И, пожалуй, в этом виноват я сам. Дело было так. Сначала, когда мы выехали из Харькова, я несколько за ней ухаживал, был чрезмерно любезен, в Мариуполе ходили по городу под ручку, разговаривали о современной женщине и современном мужчине.

На следующее утро я проснулся и решил, что из этого добра не будет, эти фривольные отношения надо кончить и стать на более официальную ногу. Тем более что и повод был для такой перемены,— она познакомилась с каким-то инженером и льнула к нему.

Сказано — сделано. Тон меняется, под руку не беру, отношения суше, официальнее. Соблюдаю полную вежливость и свойственную мне кротость: в Сталино встретил ее на автомобиле, на следующий день перенес ее чемодан из гостиницы в заводской Дом приезжих и т. д. Но одновременно мучаю ее работой, вожу черт знает в какие трущобы (вроде кузнецкстроевских, через ямы, бугры), к старикам рабочим, с которыми надо беседовать. Она — Крянникова в квадрате, беспомощная, боящаяся жизни. А я ее гоняю. И чувствую — она зла, как кошка. Потом она имеет дурную привычку приписывать часы — вместо полутора часов ставит в счет два, а то и два с половиной. Я прошу ее этого не делать, быть совершенно точной. В общем, приобретаю в ней врага,— человека, который может меня, кроткого из кротких, смертельно возненавидеть.

Вот как много написал о стенографистке. Но лишь потому, что это сейчас наиболее уязвимый участок на моем фронте (это меня заботит, беспокоит), и приходится думать, как бы здесь исправить дело и не нажить из-за собственной глупости или, может быть, мелочности врага в женщине, с которой я работаю.

Во всем остальном у меня дела очень хороши. Было свидание с Сергеевым, культпропом Донецкого обкома. Мне

удалось что-то в нем затронуть. Меня предупредили, что он очень занят, и просили пройти только на пять минут. А я просидел у него час. Как начал ему рассказывать о Бардине, Гулыге, Луговцове, Межлауке, Свицыне, Лобанове — он заслушался. Ну, просто увлекся. Я показал ему стенограммы, оставил их на денек у него. Мой метод, очевидно, показался ему очень интересным, он даже просил, чтобы я доложил о своей работе донецким писателям. И я, чувствую, говорил очень хорошо: с подъемом, с энтузиазмом.

Вероятно, я получу здесь полную поддержку — 14-го пойду к Сергееву для окончательного разговора. Моей повести он еще не читал, но я его так заинтересовал, что он сказал: «Я прочту ее в этот же вечер». Я вышел от него в прекрасном настроении.

С Макаровым бесед пока не начал. Веду беседы с рабочими — старыми доменщиками, с Максименко и др. Добрался-таки я наконец и до рабочих, с удовольствием слушаю их. Сегодня провел беседу с Сидоровым,— он учился вместе с Луговцовым в школе и вместе работал в химической лаборатории. Завтра беседа с матерью Луговцова и еще с одним его другом детства. Пока эти рассказчики дают мне немного — некоторые штришки. Мне это нужно, чтобы сразу по приезде в Москву начать писать первую главу.

13 декабря. Сталино

...Сегодня начну беседовать с Макаровым. Пока в Сталино особенно интересных бесед не было. Максименко оказался чертовски неразговорчивым, каждое слово приходится из него выжимать.

Зато есть ценнейшая находка. Оказывается, отец Луговцова, старик горновой (он умер в прошлом году), в последние годы жизни писал свои воспоминания — исписал несколько тетрадок. Теперь эти тетрадки у меня в чемодане. Ура! Ура! Ура!

14 декабря. Сталино

...Мне немного не повезло. Оказывается, сегодня вечером Макаров уезжает, и я проведу с ним только одну беседу. Жаль. Сегодня или завтра я уеду из Сталино. Затем несколько дней в Мариуполе, два дня в Харькове и домой в Москву. Вот мой план.

Со стенографисткой положение выправилось. Мы с ней как следует поругались и помирились. Полезно бывает поругаться.

15 декабря. Сталино

...Через два часа уезжаю в Мариуполь. Здесь, в Сталино, у меня дела очень хороши. Вчера начал беседы с Макаровым. Он очень неразговорчивый, но раскачался. Рассказывал два часа о своем детстве, дошли до одиннадцатилетнего возраста. Он вошел в колею, понял, чего я от него жду, и мы договорились, что придется провести еще бесед пятнадцать. Это очень хорошо.

Был еще раз у Сергеева (это, как я уже писал, культпроп обкома). Ему повесть понравилась. Я сказал, что мне надо приехать со стенографисткой месяца на два и на это потребуется тысяч пять, помимо денег, ассигнованных «Сталью». Он сказал, что я могу на это рассчитывать.

15 декабря. Сталино

...Сижу на станции, жду поезда, он опаздывает на два часа.

...Чувствую себя хорошо,— выпил в буфете две рюмки водки и готов обнять весь мир.

Ну, не молодец ли я? Целый месяц разъезжаю на четыреста рублей — билеты, гостиница, пропитание — и все-таки держусь на поверхности!

16 декабря. Мариуполь

...Вот я и снова в Мариуполе.

...Читаю записи старика Власа Луговцова. Вспоминаю, что мне рассказывали о нем его сверстники, его родные. Он будет прекрасным типом в «Доменщиках». Вечный труженик. Смирение и труд — его философия. Когда прорывается чугун и гремят взрывы, он сбрасывает горящую рубаху и бежит к печи — спасать чугун, направить его в канаву. Старый Юз сказал ему: «Вы самый лучший рабочий на заводе» — и этими словами всю жизнь гордился Влас. Прекрасный, колоритный тип. Находка.

У меня сейчас чешутся руки. Хочу сесть писать. Плод начинает созревать, опасно и неправильно дать ему перезреть.

Как только приеду в Москву, сяду писать первые главы. Первая глава у меня в голове ясна, вторая — тоже, третья — туманнее, но хотелось бы написать и ее. Тогда вся вещь прояснится.

Потом опять поеду добирать материал по линии Бардина. Енакиево, енакиевский период,— у меня слабое место. А все остальное, кажется, укреплено солидно. «Доменщики» будут второй проверкой метода,— должен же он дать результаты, и не простые, а поразительные, исключительные. Иначе зачем этот труд?

18 декабря. Мариуполь

...Хочется скорей в Москву. Но держит, не отпускает Мариуполь. Вчера провел первую беседу с Гугелем. Он не особенно интересный человек, дает не особенно много, и, пожалуй, я мог бы сейчас обойтись и без него.

Собственно говоря, повесть у меня в голове почти готова,— в крайнем случае я мог бы уже сейчас сесть и написать ее. Но хочется добрать кой-какой материал. Это «добирание» очень тягостное и скучное дело,— почти все, что рассказывают, уже более или менее известно, что-либо новое, свежее попадается уже крайне редко, и беседы становятся томительными. Это уже признак зрелости вещи. Но добирать все-таки надо, чтобы укрепить слабые места.

Очень хочется начать писать. Уже мечтаю о том, чтобы засесть за стол, прочесть все материалы и строчить страницу за страницей. Но надобно еще съездить в Ленинград к первой жене Бардина (кстати, я узнал, что его мать живет в Харькове), и хочется разыскать еще хотя бы одного хорошего рассказчика, который рассказал бы про Енакиево.

19 декабря. Мариуполь

...Ну, вот — в кармане билет до Москвы и плацкарта до Харькова.

...Вчера беседовал с Гугелем с девяти вечера до четырех утра. Представляешь? Он вынужден был дежурить на заводе (произошла авария), и мы этим воспользовались и в ночь закончили все. Беседа была более интересна, нежели я предполагал.

Встретился с Гольденбергом — он директор строительства Керченских рудников. Очень славно побеседовали часа два.

ЕЩЕ ОДНА ПОЕЗДКА В ХАРЬКОВ. НАЧИНАЮ ПИСАТЬ СВОЮ ВТОРУЮ ВЕЩЬ

1935. Январь — февраль

В январе 1935 года я вновь поехал в Харьков, главным образом затем, чтобы продолжить беседы с Луговцовым. Роль этого прообраза возрастала в моем замысле.

10 января. Харьков

...Приехал в Харьков и два дня устраивался. Вчера устроился окончательно и весьма неплохо. Живу я не в гостинице, а на частной квартире, как и предполагал. Эта комната арендована (или снята на год) газетой «За индустриализацию», сейчас она свободна и мне ее предоставили. Так что будет большая экономия на гостинице.

Эта экономия мне очень и очень кстати, ибо, вероятно, придется задержаться здесь дольше, чем я хотел бы. На Луговцова надо будет вести длительную осаду. В «Стали» сейчас нервная, напряженная атмосфера,— не до бесед. Эти морозы парализовали движение на железных дорогах, ударили по заводам, и вместо 19 тысяч тонн ежедневной выплавки «Сталь» дает по 12 тысяч. Все нервничают, днями и ночами сидят у телефонов.

Луговцов сказал мне:

— Езжайте в Москву, отложим до другого раза.

Но не на того напал. Я ему ответил:

— Не могу уехать.

И обрисовал свои стесненные материальные дела. В другой раз, мол, не сумею приехать, не наберу денег. И если сейчас не проведу с ним бесед, меня постигнет крах.

Такие доводы действуют на него очень сильно, и, вероятно, с выходного дня, с 12-го, мы начнем беседы.

Сегодня провожу три беседы — с матерью Бардина, с Красненко (он был директором Енакиевского завода при Бардине) и с Лобановым. Вообще мой конь не застоится — дела хватит.

В свободные часы пишу. Черновик запевки — рассказ Власа Луговцова — уже есть. На днях буду делать черновик всей первой главы.

11 января. Харьков

...Вчера провел три беседы, сегодня две и еще одна предстоит вечером.

Прекрасные беседы были с матерью Бардина. Она очень хорошо рассказывает — откровенно, подробно. Рассказывает о всех интимных вещах — как Ваня женился, как разошелся с женой и т. д. Завтра опять буду с ней беседовать.

Я в своей комнате обзавелся кой-каким хозяйством: купил электроплитку, большую кружку, чтобы кипятить в ней воду, стакан, нож, ложку.

12 января. Харьков

...Очень разумно провожу свои дни — позавчера три беседы и вчера три, даже можно считать четыре, потому что целый час сидел у Луговцова и болтал с ним.

Регулярные беседы мы с ним наметили начать с 15-го. Меньше, чем в десять бесед, мне никак не уложиться. Таким образом, я приеду в Москву 26-го или 27-го. В общем, просижу здесь, пока хватит денег.

13 января. Харьков

...У меня трудовая однообразная жизнь провинциала,— нигде не бываю, кроме как па беседах, ничем не развлекаюсь. Работаю, как пчела.

Вчера опять беседовал с Бардиной,— она дает много красок для моей картины. Образ Бардина наконец-то становится сочным и богатым.

15 января. Харьков

...Мне что-то не везет с Луговцовым. Вчера он уехал в командировку. Когда я узнал об этом, страшно расстроился. Не знал, что делать,— хоть подавайся восвояси.

Потом выяснилось, что он уехал только на два дня и завтра должен вернуться. Разумеется, я решил его подождать и, когда вернется, сразу взять в свои руки. Если это не удастся, тогда придется, не солоно хлебавши, возвращаться в Москву и назначить для встреч с Луговцовым какое-нибудь другое время.

Во всем остальном судьба мне улыбается. Особенно повезло со старухой Бардиной. Четыре беседы я с ней уже провел. Она действительно вбивала Бардину с малых лет в голову, что он никуда не годен, что из него ничего не получится и т. д.

Когда умер брат Бардина, мальчик, она билась и кричала:

— Ну, есть ли бог? Почему ты не взял этого, негодящего, недоноска, а взял здорового, любимого?

Каково было это слышать Ване?

...С сегодняшнего дня я приступил к писанию. Ох и тяжелое же это дело. Прямо каторжный труд! Несколько раз готов был бросить, но удерживал себя только тем, что должен просидеть от десяти до часа.

Чертовское напряжение требуется для того, чтобы написать первый черновик. И особенно когда только начинаешь, когда еще не втянулся в работу. Здесь может помочь лишь одно: сиди три часа — и баста!

Зато, когда пишешь, начинает прочищаться образ, проникаешь в смысл отдельных деталей, по-новому понимаешь то, что тебе было давно известно. Написал пятнадцать страниц.

Примечание. Видимо, в тот раз мне так и не удалось побеседовать с Луговцовым. Долг инженера-металлурга, к которому взывали расстроенные домны Юга, оказался для него сильней обязанностей перед литературой и историей. Что ж, это было тоже характерно.

Мои последующие письма адресованы в санаторий, марки погашены штемпелем Москвы.

8 февраля. Москва

...Я совершенно здоров, вошел снова в работу, пишу.

Вчера у меня был день сплошных неудач — очень мелких, но сплошных. Бывают вот такие дни: все подряд неудачно и неудачно.

Пошел получать деньги, которые мне перевели из «Знамени» (750 руб.). Бац — оказывается, причитается получить только 500. Что такое? Вычли 250 руб. за заем. Я взбеленился. Почему сразу? На всю сумму? Было много разговора,— в конце концов рассрочили на два месяца. И ведь, главное, срок займа еще не окончился, но бухгалтерия решила воспользоваться случаем: кто, мол, знает, когда вам переведут еще.

Оттуда пошел в издательство «Молодая гвардия», хотел предложить «Курако». Никаких разговоров,— план заполнен, можно будет говорить только через три месяца.

Оттуда — на беседу. Оказалось, мой рассказчик уехал в командировку.

После обеда я с горя решил пойти в Дом писателей — сыграть в шахматы или на бильярде. Прихожу — там все закрыто, готовится банкет в честь 15-летнего юбилея кинематографии.

Пришел домой, лег спать. Вчера, можно сказать, почти не работал.

С нынешнего дня начинаются трудовые будни,— всю пятидневку дома, утром четыре часа работы и вечером четыре часа. Прогулка, и все! Твердокаменный режим.

...Конечно, эти маленькие неудачи — сущие пустяки. Сообщаю о них только для того, чтобы описать свое времяпрепровождение. Решающие битвы идут у меня сейчас за письменным столом.

9 февраля

...Сегодня хорошо поработал. Набросал 16 страниц. Третья глава — центральная и самая трудная — вытанцовывается очень недурно. Возможно, за эту пятидневку я ее кончу. Пишу легко и с воодушевлением.

Вчера встретился с Соней Виноградской. Рассказала, что написала повесть о девушках метро. И хочет почитать.

12 февраля

Сегодня провел беседу с Дыбецом об Америке. Он рассказал только половину,— в следующий выходной будем заканчивать про Америку. Стенографировала Левицкая, я с ней сговорился, что деньги она получит в марте из Харькова.

...Сегодня выходной. Я играю и пляшу.

14 февраля

...Я работаю сравнительно хорошо — пишу каждый день приблизительно по пол-листа самого грязного черновика. Что такое черновики, всяческие наброски? Это своего рода распределение огромной нагрузки на ряд мелких тяжестей. Главная моя забота сейчас — построить сюжет, изложить весь материал в сценах. Это выходит довольно удачно.

Вечера использую слабо. Много отвлечений. То был на сеансе одновременной игры Капабланки, то у Сони Виноградской (был у нее вчера, она читала повесть, мне понра-

вилось, я очень похвалил). Хотелось бы работать вечерами регулярнее.

У меня дело двигается быстро. Вчера я закончил черновик первой части, три главы, приблизительно листов шесть. Сегодня взялся за вторую. Всего у меня будет три части по шесть-семь листов. Первая — «Юзовка», вторая — «Война», третья — «Бардин» (революция).

К концу месяца у меня, вероятно, будет набросана вторая часть. Затем поеду в Харьков к Луговцову.

К 1 мая я должен дать в «Знамя» (для просмотра, для обеспечения дальнейшего получения денег) первую часть в отделанном виде. Постараюсь это сделать.

17 февраля

...Уже мечтаю о лете... Буду где-нибудь под Москвой писать, размеренно работать и вместе с тем пользоваться лесом, солнцем, водой.

Летом у меня будет сравнительно легкая и приятная работа — отделка черновиков, превращение их в нечто полноценное. Теперь же я занимаюсь нудным, неприятным делом — гоню первый черновик. Через это надо пройти, как через самый тяжелый этап во всей работе. Сажусь за стол каждое утро без подъема, без вдохновения и пишу три — три с половиной часа, накидываю двенадцать — шестнадцать страниц. Каждый день, каждый день, как машина. Листов семь или восемь уже накарябано, но я еще не дошел до половины.

Композиция получается довольно стройная, три части по три главы. Каждая глава занимает два — два с половиной листа. Мечтаю о том времени, когда черновик будет весь написан и я начну вытачивать свою вещь.

19 февраля

...В выходной день я был в кино.

...После кино раздался звонок по телефону,— оказывается, приехал Гулыга, позвонил мне. Я сейчас же пригласил его к себе, купил печенье и лимон, угостил чаем и провел беседу по вопросам, которые у меня были заранее записаны.

Наутро под впечатлением беседы и потому, что как-то не хотелось браться за тяжелую работу, я позволил себе маленькую вольность: вместо того чтобы писать дальше, стал переписывать главу о Гулыге. Да, перебелка действи-

тельно приятная работа, ее делаешь с удовольствием, с увлечением, не замечаешь, как бежит время.

Сегодня я уже откажу себе в этом удовольствии, буду гнать дальше: главу о Бардине. Сейчас у меня половина черновика вещи уже готова, половина еще впереди,— но вторая половина легче первой, потому что есть разгон, инерция.

Гулыга

Примечание. Эта глава о Гулыге, написанная мною в те дни, как бы вобрала в себя его стенограмму-исповедь.

Вместе с различными заготовками и многими главами романа о доменщиках стенограммы Гулыги погибли во время войны, однако двадцать страничек моей рукописи, посвященные ему, волею случая уцелели.

1

Под звуки ресторанной музыки, под шелест карт, скользящих по зеленому сукну, под звон и стук золотых монет появляется новый герой нашего романа.

В черной казачьей черкеске до колен, с погонами поручика, он входит летним вечером 1904 года в игорный зал бакинского «Артистического клуба». У него юное лицо с голубыми глазами; стриженные наголо волосы не скрывают правильных круглых линий черепа без впадин и шишкообразных выпуклостей; высокая фигура, обтянутая в талии черкеской, поразительно правильна в своих пропорциях. Можно угадать, что этот отборный экземпляр человека создан поколениями, не знавшими ни упорной работы мозга, ни изнуряющего физического труда, поколениями, культивировавшими ловкость и силу тела; это были, судя по черкеске, поколения казаков, когда-то вольных птиц, проводивших полжизни на коне.

На груди офицера серебряный солдатский «Георгий», запястье правой руки обвито кожаной петлей, на ней покачивается стек.

Колыхаются слои папиросного дыма, игроки сидят вокруг столов, многие без пиджаков, некоторые верхом на

стульях, спинкой к столу; их обступают зрители, в зале много женщин. За центральным столом банк мечет горный инженер, засучив рукава форменной тужурки. Инженер видит офицера и кричит:

— А, поручик Гулыга! Давно ли с границы? Не угодно ли карту? В банке ровно тысяча для вас...

Офицер отвечает через зал:

— Выехал вчера. Сутки в седле, и готов к услугам всех милых дам города Баку.

Он идет к столу, разглядывая незнакомых женщин и улыбаясь им.

Инженер повторяет:

— В банке тысяча. Угодно карту?

Тысяча... Нет, это много для Гулыги. Шесть месяцев он провел на персидской границе, в пограничном кордоне, затерянном среди гор. Шесть месяцев копил он деньги, чтоб вырваться на неделю в Баку и пустить их по ветру. Тысяча рублей, пожалуй, у него наберется. Это шестимесячное офицерское жалованье плюс плоды мелких выигрышей в копеечной игре офицеров-пограничников, плюс подарок от отца — сто рублей ко дню рождения. Поставить сразу это все на карту? Если проигрыш — значит, снова в седло, сутки на коне и снова на границу, в пустыню, в безлюдные голые горы, где нет женщин и электрического света. Нет...

— Ну? — спрашивает инженер.

— Карту! — говорит Гулыга, и его голос, обычно звонкий, неожиданно хрипит.— Иду ва-банк...

Инженер небрежно бросает карты, Гулыга поднимает свои, играют в девятку, у него девять, это высшая карта, он выиграл. Шуршащая кучка бумажек и золота придвигается к нему. Он рассовывает деньги в карманы, и пальцы слегка дрожат.

Насмешливая улыбка появляется на лице инженера. Он спрашивает:

— Вы не торопитесь, поручик? Угодно на две тысячи?

Он еще выше засучивает рукава на мускулистых волосатых руках, будто перед ним молодой бычок, предназначенный к убою.

— Карту! — отвечает Гулыга.

Из соседнего зала, где расположен ресторан, доносятся заглушенные звуки оркестра; двухсотсвечовые лампы сквозь дым папирос льют белый свет на зеленые столы;

игроки и зрители молча следят за битвой между инженером и молодым офицером. Карты сданы.

— Шесть,— говорит инженер.

— Семь,— отвечает Гулыга, открывая карты.

Он выиграл. Инженер предлагает играть на четыре тысячи. Гулыге бешено везет, он выигрывает в третий раз. Инженер разводит руками, признавая себя побежденным, расплачивается и передает карты известному бакинскому адвокату.

— В банке сто рублей,— объявляет адвокат.

Взметнувшаяся на гребень игра скатывается к своему низшему уровню, чтобы снова взметнуться после нескольких схваток.

К Гулыге подбегает приятель, пехотный капитан.

— Пойдем скорей, все в сборе, ждем тебя.

Гулыга вспоминает, что по дороге в клуб сговорился с капитаном играть сегодня в винт. Он прячет деньги и отходит от стола.

Адвокат кричит вслед:

— Куда же вы, поручик? Испугались?

Гулыга мгновенно останавливается, подбегает к столу и вытаскивает из карманов кредитки и золотые монеты. Поверх кучи денег он кладет бумажник и еще раз обшаривает карманы, там не осталось ничего.

Вскинув голову, разъяренный, он кричит:

— Здесь восемь тысяч! Идет на все?

Секунда молчания. Все стихает около стола.

— Испугались? — торжествующе вырывается у офицера.

Не отвечая, адвокат сдает карты. Гулыга поднимает свои и швыряет открытыми на стол. У него девять.

— Ого! — раздается восклицание женщины.

Гулыга поворачивается и видит смущенное девичье лицо. Большие карие глаза смотрят на него восхищенно. Золотые волосы, взбитые и слегка растрепанные спереди, колеблются и дрожат, отражая свет. Очень темные густые брови, будто счастливо найденный художником неожиданный и решающий штрих, делают заметными и подчеркивают все детали лица: и светящиеся волосы, и широко раскрытые глаза, и замечательную розовую кожу, покрытую пушком. В волосах, в ушах и на шее сверкают бриллианты. Тяжелое бледно-сиреневое бархатное платье облегает высокую выпуклую грудь.

— Получите деньги, поручик,— говорит адвокат.

— Ты сумасшедший, Владимир! — шепчет капитан и под руку увлекает Гулыгу в соседнюю комнату, там их ожидают винтеры.

Партнеры знакомятся. Играют вчетвером — два офицера, инженер средних лет и старик, бакинский нефтепромышленник.

Во время игры в комнату вбегает вприпрыжку девушка в бледно-сиреневом платье. Она видит Гулыгу, от неожиданности приостанавливается и краснеет. Гулыга жадно глядит на нее. Смутное ощущение несоответствия между девичьей легкостью движений и тяжелым бархатным платьем коробит его.

Она подходит к старику нефтянику. Ласкаясь, она прижимает свою золотистую голову к его желтой щеке, исподлобья смотрит, улыбаясь, на Гулыгу и просит:

— Папочка, дай мне еще денег...

— Все проигрываешь, шалунья? На, держи, стрекоза...

Она протягивает сложенную горсточкой руку, он вынимает кошелек и сыплет золото на маленькую розовую ладонь. Она чмокает старика в блестящую лысину и убегает.

«Славный старикашка»,— думает Гулыга.

Партия в винт заканчивается после полуночи.

Гулыга поднимается.

— Господа! Сегодня я выиграл пятнадцать тысяч в девятку. Позвольте мне пригласить всех ужинать.

Обращаясь к нефтянику, он добавляет:

— И вашу дочь тоже...

— Простите, это не моя дочь, это моя жена.

Старик идет к дверям большого игорного зала и зовет:

— Ляля... Лялька... Лялечка...

Она вбегает в комнату.

— Знакомьтесь. Елена Николаевна... Владимир Иванович Гулыга.

Они смотрят друг на друга и одновременно опускают глаза. Гулыга повторяет приглашение. Нефтяник отрицательно машет рукой, он утомлен и поедет домой. Во время игры Гулыга не обращал внимания на руки старика, сейчас он замечает пожелтевшие длинные ногти, загнутые вниз, сухую дряблую кожу и темные, слегка вздутые вены. Замечает рот с выпяченной нижней губой.

— Ну, папка. Какой ты... Мне хочется остаться...

— Что ж, детка, оставайся... Поручик и капитан тебя проводят.

Нефтяник уезжает. Компания переходит в ресторанный зал. Там на подмостках играет женский румынский оркестр. Гулыга требует шампанского, фруктов и цыган.

Он вызывает метрдотеля, сует ему триста рублей и приказывает сейчас же среди ночи достать корзину цветов для Ляли. Он приглашает ее завтра вечером кататься верхом. Она подымает узкий высокий бокал с желтым прозрачным вином и восклицает, беспричинно смеясь:

— Выпьем за завтрашний вечер!

Вмешивается капитан:

— Позвольте, Елена Николаевна, ведь мы идем завтра с вами в театр.

— Нет, мне хочется кататься. Владимир Иванович научит меня скакать по-казацки.

Капитан мрачнеет и бормочет под нос:

— Конечно, он выиграл пятнадцать тысяч, у него больше денег.

Гулыга слышит. Не раздумывая ни секунды, он с размаху ударяет капитана стеком по лицу. Вдоль щеки ложится белая полоса, она мгновенно вздувается и наливается кровью. Капитан выхватывает револьвер, к нему бросаются сзади, гремит выстрел, пуля дырявит стену, легкое облачко белой пыли отделяется от штукатурки. Офицеры с соседних столиков держат капитана за руки.

2

Дуэль назначена на это же утро за Сураханами, на берегу Каспийского моря. По степи, поросшей диким кустарником, Гулыга скачет верхом к месту дуэли. Норд несет пыль, чуть пахнущую нефтью. Вдали темнеет неприветливое серое море.

На Стенькином кургане Гулыга останавливает коня, поворачивается и смотрит на город нефти, на сотни маслянисто-черных деревянных вышек. Мимо по дороге струится в город поток рабочих, в этот час они идут на работу. Как черное изваяние, как призрак, над ними высится всадник на вороном коне, в черкеске, в кубанке, с нагайкой в руке.

Гулыга смотрит на дорогу, на проходящих рабочих. Через двадцать минут в него будут стрелять, он думает о себе.

Год назад, в сентябре 1903-го, он видел лицом к лицу эту серую массу, взбунтовавшуюся, грозную. Промысла забастовали, к центру города направилась демонстрация, Гулыгу вызвал командир полка, приказал взять сотню, встретить демонстрацию оружием и пустить кровь для успокоения.

Развернув сотню в боевой порядок, Гулыга выехал навстречу многотысячной человеческой лавине. Он поскакал вперед с трубачом и предложил разойтись, необозримая масса людей надвигалась на него, он махнул рукой, тревожно пропела труба, и казаки карьером врезались в толпу.

Гулыга помнит — какой-то рабочий схватил за повод его лошадь, он едва не вылетел из седла и хлестнул нагайкой по темным рукам.

Рабочий выкрикнул:

— Собака, сколько тебе платят за это? — И плюнул на офицерскую черкеску.

Сколько ему платят за это? В месяц несчастных сто двадцать целковых. Он вспоминает «Артистический клуб», свои дрожащие пальцы и презрительный взгляд инженера с засученными рукавами. Они швыряют деньгами, эти люди, умеющие найти и взять нефть, они создали город черных вышек, на них работают эти тысячи рук.

А он? Как сторожевой пес, за сто двадцать рублей в месяц он охраняет властителей жизни от бунтов. Нет, черт возьми, он оседлает свое счастье, и пусть другие охраняют его самого.

Гулыга дает шпоры коню и несется с кургана к месту дуэли.

Там уже все собрались.

Гулыга равнодушно смотрит, как секунданты каблуками проводят две черты на песке. Рядом ревет море, сейчас они будут стрелять друг в друга на расстоянии двадцати шагов.

Капитан подходит к черте, тщательно и долго целится в голову Гулыги. Гулыга ждет, он уверен в своем счастье, капитану не попасть. Капитан стреляет. Мимо. Гулыга поднимает револьвер, спускает, не целясь, курок, пуля пробивает руку капитана. Подбегает доктор, капитана увозят в закрытой карете. Гулыга верхом, пустив коня шагом, возвращается к себе в номер гостиницы.

Дверь номера почему-то приоткрыта. Гулыга толкает дверь, навстречу бросается Ляля в простом белом платье.

Она пытается несвязно объяснить, что не могла ждать и пришла из дому сюда в тревоге за него.

Гулыга молча схватывает ее обеими руками, поднимает, целует в губы.

...Две головы лежат на одной подушке, голая женская рука обвивает шею мужчины.

— Зачем ты живешь с этим стариком?

— Живу с ним, а люблю тебя. Если захочу, разведусь в любой момент.

— Почему же ты не разводишься?

— Потому что никого не полюбила.

— А теперь?

— Теперь люблю тебя...

Пауза.

— Знаешь, Лялька, разводись и выходи за меня.

— За тебя?

Женщина начинает хохотать. Она хохочет всем телом и, чтобы удобнее смеяться, высвобождает руку из-под шеи Гулыги и садится на постель.

Гулыга краснеет, сбрасывает одеяло и тоже садится.

— Чему ты смеешься?

Они сидят рядом — весело хохочущая, изнеженная роскошью двадцатилетняя жена миллионера и оскорбленный казак-офицер, игрок и сорвиголова.

— Чему ты смеешься?

Ляля справляется со смехом.

— А на что мы будем жить? Подожди, он скоро умрет, я стану богатой, и тогда...

— Тогда я буду жить на твои деньги, да? Ты думаешь, я сам не сумею их добыть?!

Ляля отвечает с гримаской:

— Какие деньги могут быть у офицера?

Гулыга вскакивает, взбешенный и бессильный. Он выкрикивает:

— Слушай, если ты любишь меня, то разведешься со своей старой обезьяной, или... Или я завтра же уеду на японскую войну...

Ее забавляет рассерженный полуголый Гулыга. Улыбаясь, она вытягивается на кровати и говорит:

— Никуда ты не поедешь. Любим друг друга — и хорошо. Иди сюда, глупый...

— Не поеду? Посмотрим...

Он лихорадочно одевается, бросая по сторонам яростные взгляды, и выбегает из номера, сжав кулаки.

Выйдя из гостиницы, он шагает на почтамт и на телеграфном бланке пишет:

«Петербург Военному министру.

Покорнейше прошу направить меня в конную часть действующей армии».

Он расписывается и ставит номер полка.

На следующий день в штаб полка приходит телеграфный приказ об откомандировании поручика Гулыги на Дальний Восток, на театр русско-японской войны.

3

Прорезывая бесконечные равнины Сибири, поезд мчится в Маньчжурию. Гулыга сидит в купе международного вагона.

Четыре года назад, в 1900-м, он несся в таком же экспрессе очертя голову на Дальний Восток на подавление боксерского восстания.

Как имя той девушки в пестром сарафане? Он так и забыл спросить... Гулыга улыбается воспоминаниям. Четыре года назад в международном вагоне ехал только он один. Было скучно, он пошел курить на площадку соседнего вагона третьего класса. Там стояла молодая крестьянка в ситцевом сарафане, повязанная белым платком. Он, девятнадцатилетний юнкер в бескозырке, переполненный нерастраченной силой, жадно взглянул на ее свежее, румяное лицо. Они молча смотрели друг на друга полминуты.

— Служивый, хошь? — спросила она.

Он потащил ее в свое купе.

Только эти два слова были сказаны между ними. Роман из двух слов. Через пять минут она убежала, и он не мог разыскать ее в поезде.

«Служивый, хошь?» — к этому сводится история всех его многочисленных любовей, начиная с институтки-елизаветинки, которая забеременела, когда он был еще кадетом. «Любов» — Гулыга произносит это слово пренебрежительно, без мягкого знака. Он давно не верит ни в любовь, ни в бога, ни в царя, ни в человечество.

Веру в бога он потерял, будучи кадетом четвертого класса. Ученье давалось ему без труда, он шел первым по всем предметам, почти не уча уроков. Подвижным, острым умом он уловил противоречие между естественными науками и библейским сказанием о сотворении мира.

На уроке закона божия он спросил священника:

— Батюшка, мы учим, что вначале бог сотворил свет, а потом небо и землю, а по физике выходит, что свет есть колебание эфира. Как же мог быть свет без эфира?

— Кто это тебе сказал?

Кадет сослался на учебник физики Краевича.

— И ты болван, и твой Краевич болван. Захотел бог — и пустил свет без эфира, захотел — и эфир заколебал. Отвечай урок!

Уехав летом на каникулы, Гулыга в первый же вечер, глядя на одиннадцатилетнего брата Жоржа, вставшего на колени, чтобы помолиться перед сном, сказал:

— Знаешь, Жорж, возможно, что все это чепуха. Кажется, бога нет.

— Ну?

— Давай проверим. Я плюну на икону, что будет?

В изголовье кроватей у братьев висели иконки, у одного — святого Владимира, у другого — Георгия-победоносца. Володя велел брату настежь отворить все двери, чтоб был свободный ход на улицу.

— В случае чего успеем убежать.

Жорж открыл двери и в длинной ночной рубашке наблюдал за братом из соседней комнаты, заслонившись креслом.

Старший плюнул в своего святого и мгновенно присел, прячась за кровать. Мальчики напряженно ждали, замерши в своих убежищах. В комнате было тихо, ничего не случилось, с иконки стекали слюни. Володя встал, подошел к кровати Жоржа и плюнул в святого Георгия. С этого вечера он перестал верить в бога.

Гулыга вырос в потомственной казачьей семье на Кубани. Его дед был лихим казачьим офицером, участником суворовских походов, его отец — казачий генерал. Когда-то отец имел поместье на Кубани, потом прокутил и теперь жил на жалованье, командуя пластунской бригадой.

В корпусе и в юнкерском училище Гулыга много читал и видел из книг, что героем новой литературы является не офицер, а штатский. В романах Мамина-Сибиряка и Бо-

борыкина перед ним вставали фигуры золотопромышленников, фабрикантов и строителей железных дорог. Их жизнь была полна до краев делом и деньгами. Тысячи и миллионы рублей мелькали на страницах, деньги текли рекой. Еще мальчишкой Гулыга понял, что отец не имеет состояния, тысяча для него большие деньги, понял, что поток золота и кипучей работы несется где-то далеко в стороне, не касаясь отцовского дома.

В юнкерском училище Гулыга прочел Достоевского. «Преступление и наказание» ошеломило его. Достоевский стал его любимым писателем, не сравнимым ни с каким другим, добирающимся до сокровенных человеческих глубин. Романы Достоевского вызывали в нем острое мучительное наслаждение, будто писатель, обнажая человеческую душу, копался в нем самом. В эти моменты молодой офицер, удалец, шалопай и игрок, ощущал себя жалким героем Достоевского, загнанным в подполье и на задворки жизни.

Еще не зная жизни, сохранив невинное выражение мальчишеского круглого лица и голубых глаз, он успел усвоить взгляды Достоевского на человечество. Слегка рисуясь, он нередко повторял фразу из «Подростка»: «Человечество можно любить, заткнув нос и закрыв глаза».

Четыре года назад, прочитав экстренные выпуски газет о вступлении русской оккупационной армии в Китай для подавления боксерского восстания, Гулыга не раздумывая сел в тот же день в поезд и поехал добровольцем воевать с китайцами. Он сам не отдавал отчета, зачем это сделал. Его томила неудовлетворенность, надоело юнкерское училище, дисциплина, ежедневное однообразие, захотелось авантюры, захотелось каким-то скачком изменить свою жизнь.

Он ехал четырнадцать суток, утомительных и долгих. В Маньчжурии он увидел строительные работы. Под охраной русских солдат тысячи и десятки тысяч китайцев укладывали полотно дороги. Некоторые работали на лошадях, большинство таскало землю, песок и камень маленькими корзинками на коромысле.

Он помнит — его потрясло тогда ощущение грандиозности сооружения. Он ехал четырнадцать суток по столбовой дороге мира от океана к океану, позади лежало семь тысяч километров железного пути. Они, ему неведомые

люди, инженеры и дельцы, перебросили этот бесконечный путь через реки, пробили туннелями горы и нажили здесь миллионы. Вот она, река, по которой течет золото!

А он? В Маньчжурии он узнал, почему восставшие китайцы называются боксерами, их эмблемой был большой кулак. Везде и всюду, в Маньчжурии и в Баку, он, офицер, охраняет чужое золото от бунта этих согнутых фигурок, от их большого кулака.

При взятии Пекина он получил «Георгия». Было так. В предместье китайской столицы наступающая кавалерийская часть встретила упорное сопротивление из огромного здания арсенала, обнесенного высокой каменной стеной. Следовало подождать артиллерию, чтоб разбить снарядами тяжелые дубовые ворота и ворваться внутрь.

Командир не захотел ждать, он вызвал охотников, чтоб перелезть под огнем через стену и открыть ворота. Тому, кто перелезет первый, был обещан Георгиевский крест. Из строя вышло восемнадцать человек, среди них Гулыга. Они бросились к арсеналу взапуски, Гулыга обогнал всех. Чувствуя необычайную легкость во всем теле, он вскочил на стену и не оглядываясь прыгнул вниз.

Он смутно вспоминает Пекин, дворцы и молельные башни-пагоды с резными драконами на крышах.

Вместе с другими офицерами он разбивал и грабил ломбарды и ювелирные магазины, набивая карманы золотыми кольцами, ожерельями, часами и браслетами. Он помнит — в узкой улице, в подворотне, он выбрасывал из карманов золотые вещи в руки китайца-скупщика, мимо кто-то пронесся верхом; подняв голову, Гулыга увидел человека в русской инженерской фуражке с двумя молотками и перехватил презрительный взгляд.

Вечерами в Пекине офицерство кутило и дулось в карты. В ночь перед отъездом из Китая Гулыга выиграл в штос шесть тысяч рублей.

Он решил вернуться в Россию морем, поехать на выигранные деньги вокруг света. Он сел на пароход в ноябре 1900 года и прибыл в Москву в мае 1901-го. От шести тысяч осталось у него три рубля. Он кинул их извозчику перед юнкерским училищем и не взял сдачи.

В этом путешествии он швырял, не считая, деньги и от порта к порту растрачивал неистощимую силу на японских гейш, на баядерок с острова Цейлона, на маитянок, малаек, на одесских евреек, осевших в публичных домах

Порт-Саида, и на проституток Лондона. В каждом порту он приказывал гиду везти его в кабаки и притоны.

На Таити он поехал в глубь острова, в какой-то деревне купил шестнадцатилетнюю голую темнокожую девушку, трое суток они провели у океана, в тропическом лесу, как звери, не зная ни одного слова, понятного обоим.

В Сан-Франциско — столице Калифорнии — ему не удалось достать женщины. Это был город золота и мужчин, выросший на пустом месте в несколько лет. В ресторанах люди клали перед собой на столики рядом с вилкой и ложкой длинные револьверы, женщины здесь были редкостью, за них платили кровью.

Здесь, в Сан-Франциско, в городе золотой лихорадки, ему вдруг захотелось бросить все, Россию, офицерскую карьеру и остаться где-нибудь у ручья промывать золотоносный песок, ходить в длинных болотных сапогах на двойной подошве и класть около себя на столике револьвер. Предстоящий труд и скитания не страшили его, он чувствовал в себе силу пробиться и обогнать других. Его остановило смутное предчувствие, будто ему суждено нечто иное.

Он стоял на борту, когда пароход отвалил от мола, и смотрел на вечерние огни Сан-Франциско, которых, наверное, не увидит больше никогда. Не пропустил ли он случай, который мог перевернуть его жизнь и вознести на вышину? Ему захотелось прыгнуть в море и плыть к огням, он сжал медные поручни и удержал себя.

Через год он окончил юнкерское и был выпущен офицером в казачий полк на Кавказе.

И вот прошло три года, он волочился за женщинами, играл в карты, разгонял рабочих в Баку и скучал на границе.

Он вспоминает обед, который дали молодые офицеры-кубанцы в честь уезжавшего бригадного генерала. Генерал пробыл на Кавказе три года, жил далеко за городом на даче с молодой женой и два раза в год делал смотры в Баку.

Подвыпив, при прощании с офицерами генерал сказал:

— Молодежь, я вас очень люблю и всем желаю счастья. А счастье, по-моему, в безделье, потому что труд — это физическое страдание. Поэтому желаю каждому из вас стать бригадным генералом, то есть ничего не делать.

Вот и он, Гулыга, к пятидесяти годам станет бригадным генералом. Неужели судьба готовит ему это?

Он встает и подходит к окну. Навстречу поезду несутся однообразные скудные сибирские пейзажи. Он закрывает глаза. Бесконечная линия рельсов, стремящихся к океану сквозь необозримые пространства, бежит перед ним. Сколько здесь уложено железа, сколько здесь нажито миллионных состояний! И снова, как когда-то, его пронизывает ощущение грандиозности великого сибирского пути.

Поезд тормозит, Гулыга спрыгивает, чтоб промяться на станции, и ходит по шпалам вдоль рельсов, блестящих на солнце накатанными поверхностями. Он наклоняется, рассматривает рельс, словно никогда его не видел, и читает выпуклые буквы на железе: «Юзовский завод». Эти слова ему ничего не говорят. Три звонка, он вскакивает на подножку, поезд трогается и развивает скорость.

Может быть, там, на Дальнем Востоке, куда он мчится по рельсам, ему выпадет наконец какой-нибудь неожиданный и долгожданный случай?

4

Прячась в кустарнике, они лежат на вершине холма, полсотни спешенных казаков во главе с Гулыгой. Два заколотых японских солдата валяются рядом. Утренняя мокрая трава обрызгана свежей кровью, еще не успевшей почернеть.

Холм освещен первыми лучами солнца, а внизу, в долине, колыхается туманная дымка рассвета.

После четырехдневного Лаоянского боя в августе 1904 года русская армия отступала форсированным маршем, выполняя план Куропаткина. Ей удалось оторваться от японских частей. Нескольким кавалерийским отрядам была поручена разведка расположения неприятеля.

Одним из отрядов в полсотни всадников командует Гулыга. Всю ночь их вел через лес китаец-лазутчик. Перед холмом отряд спешился, оставив коней в лесу. Китаец пополз вперед и бесшумно приколол двух сторожевых японцев.

Солнце подымается выше, туман в долине тает, перед глазами Гулыги возникает множество белых палаток среди

зелени, на палатках флажки с желтым кружком в середине — символом восходящего солнца. В центре лагеря Гулыга находит артиллерию, он наводит бинокль и считает орудия. Перед ним на расстоянии четырехсот шагов японская дивизия, двенадцать тысяч солдат, он определяет это по количеству орудий, их тридцать шесть. Он наносит на карту месторасположение лагеря, потом оглядывает своих казаков, залегших цепью на холме. Две недели назад они, и он вместе с ними, так же лежали в цепи в дни Лаоянского боя. Он помнит свое тогдашнее отвратительное состояние. Кто-то другой управлял его волей, он не имел права без приказа двинуться ни вперед, ни назад, все четыре дня боя он молча бесился от тягостного ощущения обезличенности.

Сейчас он хозяин этой минуты. Перед ним двенадцать тысяч японцев, ряды палаток поразительно четки, будто прочерчены по линейке. Захочет он, Гулыга, и воздух наполнится грохотом и к черту взорвется спокойствие аккуратного лагеря. Нет, это глупо, пора уходить.

Гулыга еще раз оглядывает цепь и вынимает маузер. Полным голосом, далеко слышным в утренней тиши, он командует:

— Прицел шестнадцать... Взвод...

Казаки целятся, прижав приклады к плечам. Гулыга замирает на секунду и кричит:

— Пли...

Залп. Все изменилось в мгновение. Мечутся фигурки в желтых фуражках, раздаются беспорядочные выстрелы и крики, срываются с коновязей лошади.

Гулыга смеется от всей души, как ребенок. Потом снова командует:

— Пли...

Залп. Еще залп.

Суматоха в лагере принимает какие-то определенные очертания. Очень похоже, употребляя современное сравнение, на мультипликационный фильм, когда палочки и точки, будто брошенные небрежной рукой на экран и сталкивающиеся в беспорядочном движении, вдруг складываются в фигуры и буквы.

Пора уходить!

Гулыга командует, и отряд бежит с холма к лошадям. Наперерез из лощины вылетает конная японская часть.

До лошадей уже не добежать, китаец поворачивает на ходу и, пригибаясь, чтобы укрыться за низким кустарником, несется к лесу по другому направлению. Все следуют за ним.

Сзади стреляют, пули разрывают листья и срезают ветки, один за другим падают казаки, люди бегут к спасительному лесу, задыхаясь и не оглядываясь на упавших.

Остатки отряда ведет по лесу китаец. Люди растянулись цепочкой, впереди китаец, сзади Гулыга. Они пробираются без тропы, останавливаясь при малейшем шуме и не произнося ни слова.

Неожиданно, как молния, в тишине раздается залп и тотчас пронзительный предсмертный крик китайца. Они наткнулись на японцев. Лес гремит выстрелами. Гулыга кидается в сторону и бежит, как слепой, ударяясь о деревья. Ноги скользят, он проваливается куда-то, боль пронзает голову, сознание погасает.

Он приходит в себя ночью в полной темноте. Сверху падают капли дождя, он делает движение и вскрикивает от дикой боли в руке. Он лежит в яме, наполовину в воде, он упал сюда утром с разбегу, ударился головой о камень и сломал левую руку. Рука распухла, малейшее движение вызывает в ней нестерпимую боль. С закрытыми глазами он сидит в воде неподвижно, как одеревенелый, сверху капает дождь, он старается не думать, что надо вылезать из ямы, и ожидает рассвета. Вдруг проносится мысль: только по ночам он может пробираться к своим, днем его захватят японцы.

Корчась и мыча, ухватившись здоровой рукой за край ямы, вцепившись зубами в выступающий корень, он выволакивает себя наверх. Он один в лесу со сломанной рукой, мокрый, дрожащий и жалкий. Куда идти? Он вынимает светящийся компас и направляется на северо-запад, к своим. Он бредет, закусив губы от боли, и спустя несколько минут спотыкается обо что-то мягкое. Ногами он нащупывает труп. Здесь легли навсегда его казаки. Радость прорывается сквозь боль: как хорошо, что убили их, а не его!

В нем пробуждается голод. Он садится на корточки и обшаривает карманы мокрого мертвого казака. Схватив хлеб, он выпрямляется, по лицу текут слезы от непереносимой боли, он жадно жует и бродит вокруг, отыскивая по-

гами новые трупы. Надо бы еще взять хлеба, чтоб сделать запас, но он не решается нагнуться — слишком страшна боль при этом движении. Он уходит и бредет по компасу всю ночь, испуская протяжные громкие стоны и не присаживаясь ни разу.

Перед рассветом он спотыкается о корень и падает ничком. Острая невероятная боль пронзает его, ослепительный свет ударяет в глаза, он теряет сознание.

Спустя много часов, днем, он открывает глаза. Он лежит, уткнувшись головой в ствол дерева с темной шершавой корой. Он пытается встать на четвереньки, корчится и не может подняться.

Идиот! Зачем он ушел от японцев? Пусть придут они, подберут его и делают с ним, что хотят. Лишь бы остаться живым.

Кончено навсегда с этим миром: он, Гулыга, исчезнет и все исчезнет вместе с ним — солнце, женщины и деньги. Почему он не остался в Сан-Франциско? Идиот, идиот!

В бессильной ярости он впивается зубами в кору дерева, рвет и разбрасывает ее вокруг, рыча, как обезумевший зверь.

Сознание мутнеет, он ползет вперед, за ним на ремне волочится маузер. Рукой он достает револьвер, тянет к себе и из последних сил несколько раз нажимает курок. В лесу раздаются выстрелы.

Придите сюда кто-нибудь, русские, японцы,— все равно, спасите, спасите его!

Через час казаки генерала Ренненкампфа, привлеченные выстрелами, нашли в лесу Гулыгу.

На следующее утро в госпиталь приходит дежурный штабной генерал. В полусознании Гулыга передает записи разведки и карту.

Генерал что-то говорит раздраженным и крикливым тоном. До слуха доходит фраза:

— Вы погубили людей и коней!

— Идите к черту! — отвечает Гулыга и закрывает глаза.

Через месяц с рукой в гипсе он возвращается постаревшим, взгляд стал серьезнее и сосредоточеннее. Ночь в лесу изменила его, он вошел в нее мальчишкой, вышел взрослым.

— Поручик Гулыга, войдите! — говорит адъютант.

С забинтованной рукой на черной повязке, с Георгиевским крестом на груди Гулыга шагает в кабинет великого князя Константина Константиновича.

Константин, генерал, академик и поэт, покровитель офицерской молодежи, длинный, как все Романовы, исключая Николая, ласково встречает офицера.

— Здравствуй. Знаю твоего отца. И ты, вижу, молодчина... Что нужно? Проси смело.

— Рад стараться, ваше высочество! У меня небольшая просьба: хочу оставить военную службу.

— Как? Что ты? Твой отец генерал, твой дед вояка, брат прекрасный офицер, а ты?

— Ваше высочество, у меня сломана рука.

— Пустяки, вылечим. Об этом не стоит говорить.

— Ваше высочество, я решил испробовать свои силы в инженерной деятельности.

На Дальнем Востоке еще продолжается война, в военное время ни один офицер не может выйти в отставку без особого разрешения, Гулыга пришел просить об этом великого князя Константина.

Константин выходит из-за стола и начинает ходить по кабинету.

— Нет, господа! Офицер был, есть и будет первым человеком в России.

Князь выкрикивает эти слова с неожиданной горячностью и искренностью. Он ходит по кабинету от стены к стене и говорит, не обращаясь к Гулыге, а будто продолжая незаконченный спор:

— Кто создал империю, шестую часть земного шара? Мы, военные! Кто сохраняет ее цельность и могущество? Мы, военные! Величие России в офицерстве!

Гулыге хочется спросить: «А деньги у кого?»

Князь останавливается и сурово смотрит в упор на Гулыгу, как бы ожидая возражений зеленого поручика.

Гулыга протягивает прошение об отставке.

— Ваше высочество, разрешите просить вас об удовлетворении моего ходатайства.

Константин читает, зовет адъютанта и хмуро диктует ему: «Подлежит увольнению в отставку, прошу не чинить препятствий для приема в высшее учебное заведение».

Адъютант подает бумагу на подпись, князь смотрит на Георгиевский крест офицера, сокрушенно качает головой, бормочет: «Твой дед суворовский вояка»,— и размашисто пишет: «Константин».

Двадцатипятилетний Гулыга становится студентом первого курса Петербургского политехнического института. Он самый старый среди восемнадцати- и девятнадцатилетних первокурсников. Ах, как он опоздал, как он отстал от других в беге на длинную дистанцию к карьере и деньгам.

Он живет на пятьдесят рублей в месяц, которые присылает отец, дает зарок не пригубить вина, пока не получит диплома, не притрагивается к картам, не встречается с офицерской компанией, зубрит и зубрит в будни и по воскресеньям, не давая себе передохнуть.

Какую специальность ему выбрать? Электротехника, химия, производство стали, нефть —все манит его.

Решение созревает на лекции профессора Михаила Александровича Павлова. В тот день профессор читал об авариях в доменном деле. Картины работы с огромными огненными массами, заключенными в тонкую непрочную оболочку печи, картины потрясающих взрывов вставали перед слушателями.

Некоторые примеры особенно поражают Гулыгу.

Около доменной печи на песке несколько рабочих. Один внезапно замечает, что из-под его ног бьют маленькие фонтанчики песку, будто кто-то снизу дует сквозь землю. Испуганный, он с криком бежит прочь, товарищи смотрят ему вслед, ничего не понимая. Секунду спустя из-под земли вырывается жидкая лавина чугуна, разъевшего фундамент печи, прорывшего ход сквозь почву и скопившегося подземным озером глубоко под поверхностью. Кусок земли, на котором остались три человека, поднят волной чугуна, она понесла его, как река несет плот. Несколько мгновений люди видны сквозь дым и пламя и слышны их крики. От них не осталось ничего, не нашли даже пепла.

Доменное дело, говорит профессор,— самое крупное по масштабу и самое опасное в современной технике.

Самое крупное и самое опасное? Не стать ли ему, Гулыге, доменщиком?

После лекции он долго сидит, задумавшись и мечтая, потом выходит в коридор института и слышит, как кто-то у окна рассказывает группе студентов о молниеносной, похожей на легенду, карьере Свицына, который стал на-

чальником доменного цеха спустя три года после окончания института. Он получает сорок или пятьдесят тысяч в год. Рассказчика плохо слушают, это 1904 год, сегодня не Свицын кумир студенчества, а вожди близящейся русской революции.

Гулыга идет из института домой по улицам Питера, встречный ветер метет колючий, мелкий снег и раздувает полы его студенческой шинели.

Крутящиеся вихри снежинок напоминают ему о песчинках, взлетающих в воздух от неведомой причины, будто кто-то снизу дует сквозь землю. Картина аварии, о которой рассказал профессор, почему-то засела у него в мозгу. Красная волна чугуна, пышущая огнем и нестерпимым жаром, несущая на гребне пласт земли с людьми, настолько ярко вырисовывается в его воображении, будто это случилось с ним самим.

Нагнув голову, спрятав руки в карманы, он шагает против ветра. Будь он проклят, если не перегонит Свицына!

Кончается 1904 год. В стране назревает революция, студенчество бурлит. Гулыга сочувствует эсерам, у него чешутся кулаки, чтоб вмешаться в драку. Он ходит на сходки и участвует в философском кружке.

Однажды на собрании кружка докладчик-студент читает реферат о философии Шопенгауэра. Он говорит, что идея этой философии сформулирована Шопенгауэром в трех словах: «мир — это я».

— Как? — вырывается у Гулыги.

Студент повторяет.

— Значит, умер я и не станет мира?

Гулыга сидит изумленный.

«Мир — это я!» — повторяет он про себя.

Замечательно! Это его, Гулыги, философия выражена так коротко и просто — в трех словах.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПИСЬМА ИЗ МОСКВЫ

1935. Февраль

20 февраля

...Не кажется ли тебе, что в моих письмах почти всюду писательство рассматривается лишь как ремесло? Или, говоря иначе, лишь как технология? Все словно бы разложе-

но на простейшие составные части — вот-де способы изучения жизни, «перелистывания» людей, собирания множества подробностей.

Собрал, выбери ценные зернышки и складывай из них произведение. Но как же складывать? Для этого тоже имеется своя рецептура. Ты знаешь, я в значительной степени перенял ее от Смирнова.

В последние дни несколько раз вспоминал о нем. Пишу главу, вижу своих героев, и вдруг неведомо откуда встает перед глазами площадка Кузнецкстроя, милая улыбка Николаши. Он мягко, дружески наставляет меня:

— Пишите сценами. Валюта — это действие.

Мы ходим и толкуем, я учусь, схватываю секреты сюжетной прозы, которые мне раскрывал Смирнов.

Таким образом, в профессии, которая теперь стала моею, все как будто ясно, все доступно. А между тем в писательстве — я имею в виду настоящую большую литературу — содержится, помимо ремесла или технологии, и нечто такое, чему, думается, нельзя научить. Что же это?

Я люблю слова Родена: «В искусстве прекрасно характерное». Вот это чутье, чувство характерного, пожалуй, дается «божьей милостью». Перед тобой сотни людей, каждого можно изучить, но в ком из них отражен, ярко преломлен характер времени? Или, верней, где тот срез, тот поворот, который делает лицо характером?

Тобой собраны тысячи подробностей, но лишь чутье или талант позволит выбрать характерные — то есть опять же выражающие в чем-то малом и порой мельчайшем характер героя, обстановки, делающие произведение художественно сильным.

Когда-то я тебе писал, что маленькая искорка таланта, вероятно, во мне есть, писал, что на нее надежда, а то — дело пропащее. Да, пожалуй, мне дано,— хотя, кто знает, в какой мере,— чувствовать, схватывать характерное. Без этого вся технология, все ее тонкости,— безусловно, для меня нужные, необходимые,— немногого бы стоили.

И вот моя мечта: отдать годы труда роману о доменщиках, принести, подарить читателю этот еще неведомый литературе мир — мир новых характеров, рожденных новым веком.

Раз уж в этом письме я прибег к цитатам, то напоследок согрешу еще одной, теперь из Луи Пастера: «Удача приходит только к тем, кто к ней подготовлен».

Перечитывая теперь, много лет спустя, это письмо, не могу удержаться, чтобы не привести еще краткую выдержку — бесподобное изречение о таланте, которое я вычитал у артиста Л. М. Леонидова: «Чтобы приготовить рагу из зайца, надо иметь, по крайней мере, кошку».

22 февраля

...В Москве весна, все тает, некоторые тротуары уже сухие, тепло. Чудесно гулять в такую погоду.

Вот уже два дня, как я чувствую себя неважно, и работа двигается плохо. Достаточно однажды выбиться из колеи, и потом уже трудно опять ввести себя в ритм ровного труда. А я выбился, как дурак, по собственной вине. Соблазнился преферансом. Позавчера вечером меня пригласил Н., я согласился, вернулся домой в четыре утра, и готово — режим сорван.

Позор! Как мне не стыдно так безобразно относиться к своему «чудесному инструменту»! Зато теперь я решил — когда я занят творческой работой, в этот период никаких преферансов! Это отвлекает меня, засоряет голову. Два потерянных дня! Не скоро я их забуду.

Для отдыха у меня есть благородное увлечение — шахматы. Моя цель — достигнуть того, чтобы постоянно обыгрывать Ф.

А прогулки? Час прогулки — это отличный отдых. Иногда кино, театр — в общем, режим, режим.

...Пишу главу о Бардине. Пишется трудно, но выходит хорошо, и образ матери получается хорошим, не прямолинейным, жизненным.

24 февраля

...Опять я вошел в работу — хожу, ем, разговариваю, а думаю о своем. Это верный признак: мозг настроился, творчество берет сполна сок из организма. Это пришло только теперь — через месяц после начала писания. Собственно, так уже было неделю назад, но я сам сорвал это несчастным преферансом.

Сейчас все мысли у меня сосредоточены вокруг главы о Бардине. Эта глава получается жидковата по части событий, и я ломаю голову над тем, как сделать ее насыщенной, полной. Кое-что придумал. Можно будет ехать на Максиме Луговцове. Сейчас очень сказывается отсутствие дополнительных бесед с ним.

Несколько новых бесед с Луговцовым мне обязательно нужны. Без всех других можно кое-как обойтись. Числа десятого марта я непременно постараюсь съездить в Харьков. К этому времени весь черновик будет, возможно, кончен,— вот счастье-то!

25 февраля

...С главой о Бардине, которая меня мучила, кое-как справился. Иду дальше.

26 февраля

...Я живу скромно, нигде не бываю, днем и вечером сижу дома, по утрам пишу, по вечерам читаю. Пишу без увлечения, будто отбываю повинность. Кажется, так было и тогда, когда я начал писать «Курако». Воодушевление, вдохновение, любование написанным появляются у меня лишь тогда, когда я начинаю обрабатывать черновик. Это время скоро придет, я о нем мечтаю.

Никуда не денешься,— придется выпить эту горькую чашу: безрадостное, мучительное писание первого черновика.

28 февраля

Вчера звонил в Харьков Луговцову. Он опять отложил мой приезд,— теперь уже на вторую половину марта. Может быть, это и кстати.

...Мой план таков. Сегодня закончил черновик второй части — до Февральской революции. Писал так, как курица ляпает,— лишь бы выяснить построение и наметить сцены. Теперь осталась третья часть, одновременно самая легкая и самая трудная. Легкая потому, что небольшая, трудная потому, что там не хватает материала, и я боюсь, чтобы не было пустовато, легковесно и скучновато.

Две-три главы я сделаю до отъезда так, чтобы можно было бы прочесть их в Юзовке и в Енакиево. Очень хорошо было бы закончить набело (предварительно) всю первую часть и потом поехать. Может быть, я и сумею это сделать к началу апреля.

Таковы мои планы. Я уже предвкушаю сладость писания набело. Еще шесть — восемь тяжелых дней на черновики, а потом более приятная работа.

«КАБИНЕТ МЕМУАРОВ» ПРИ РЕДАКЦИИ «ЛЮДИ ДВУХ ПЯТИЛЕТОК». ЕЩЕ ОДНА ПОЕЗДКА В ХАРЬКОВ И ДОНБАСС

1935. Апрель — май

В апреле 1935 года по инициативе А. М. Горького была создана главная редакция серии сборников «Люди двух пятилеток». В моих бумагах сохранился такой документ:

АКТ

7 апреля 1935 г. Гор. Москва. Мы редакция «Люди двух пятилеток» в лице заведующего редакцией тов. Цейтлина М. А., с одной стороны, и тов. Бека А.А. — с другой, составили настоящий акт в приемке от тов. Бека следующих стенограмм...

(далее в перечне стенограмм, наряду с прочими, значатся):

Бардин	— 22	стенограммы	
Бардина (мать)	— 4	»	
Гапеев	— 3	»	
Гугель	— 4	»	
Гулыга	— 5	»	(первая папка)
	— 14	»	(вторая папка)
Дыбец	— 4	»	
Лобанов	— 5	»	
Луговцов	— 4	»	
Межлаук В.	— 2	»	
Межлаук И.	— 5	»	
Рабинович	— 10	»	
Рутгерс	— 6	»	(первая папка)
	— 8	»	(вторая папка)
Мартенс	— 3	»	
Свицын	— 5	»	

Всего было сдано 172 стенограммы.

Возможно, это и была закладка «Кабинета мемуаров». Я стал одним из его работников, которые именовались «беседчиками». Здесь уже не приходилось испытывать ограничений,— только производство, только дело,— которые налагал «Кабинет записей» при газете «За индустриализацию». Мы, работники горьковского «Кабинета», могли руководствоваться девизом: человек нам интересен целиком.

Профессиональный «беседчик», я теперь добывал стенограммы, нужные одновременно и мне, автору рождающегося произведения, и горьковскому «Кабинету», двери которого были открыты для писателей. Конкуренции

других литераторов я не опасался,— слишком богата была сокровищница стенограмм. К тому же мой замысел принадлежал только одному мне, а каждая деталь получала значение, характерность, лишь просвеченная замыслом.

По командировке редакции «Люди двух пятилеток» я в привычном качестве «беседчика» поехал в середине апреля 1935 года в Харьков и Донбасс.

17 апреля. Харьков

...Вчера благополучно прибыл в Харьков. В гостинице получил довольно приличный номер и хорошо устроился.

...Вчера же вечером читал Луговцову свою первую главу. Ему очень понравилась первая сцена — мальчика, говорит он, видишь перед глазами, как живого. «Жизнь Власа» тоже понравилась, но меньше — там, говорит он, повествовательно, мало картинности, не представляешь себе внешности людей, они не встают перед глазами. Это замечание надо учесть и учесть. Придется еще работать и работать над первой главой. Я сам сейчас очень остро чувствую ее недостатки.

Вообще мне думается, это очень хорошее чувство — неудовлетворение написанным. Оно движет вперед, заставляет совершенствовать вещь.

После читки к нам зашел Шлейфер. Луговцов меня похвалил. Я немного смутился, хотя мне это было очень приятно.

Сегодня и завтра буду, вероятно, беседовать с Луговцовым. Потом он уезжает. Я тогда поеду в Сталино.

18 апреля. Харьков

...Дела мои складываются невесело. Луговцов завтра уезжает, сегодня беседовать не может, и я опять остаюсь без бесед. Своими постоянными отлыниваниями он ставит под удар весь роман.

Сегодня уезжаю в Сталино. С Луговцовым назначили встречу на пятое мая.

19 апреля. Сталино

...Вчера приехал в Сталино и вчера же успел провести две беседы с Макаровым и Жестовским (Жестовский после Магнитки работает здесь). Это мой успех. Хочу ежедневно проводить по две беседы.

Здесь очень плохая погода. Четвертый день непрерывно льет дождь. Для меня это очень неприятно,— изрядно стесняет свободу движений, как-то не хочется шлепать по грязи. Впрочем, добрые люди одолжили мне галоши, и это меня спасает, а то ботинки полетели бы к черту.

...Сегодня утром думал о композиции своих «Доменщиков». Хорошо ли, что я начинаю биографиями,— в первой главе биография Власа и Максима, во второй — биография Гулыги? Не пресно ли это, не скучновато ли? Хочется перестроить — сразу дать действие, борьбу, сразу ввести читателя в сердце повествования. Пожалуй, самое логичное и правильное было бы начать со сцены проводов Гулыги, когда он уходит с Юзовского завода и отправляется сколачивать миллион. Это один из центров повести. Здесь, кстати, появляется и Бардин.

Если бы мне удалось ввести еще сюда Власа Луговцова и дать его жизнь в связи с историей Юзовки,— это было бы отлично. Не знаю, удастся ли это. Если нет — в таком случае отступить в 1910 год, дать сцену встречи Нового года в доменном цеху, Курако становится начальником цеха и т. д.

22 апреля. Сталино

...Наконец-таки сегодня первый солнечный день после непрерывных дождей. Я вздохнул радостно, а то опустился было, ботинки грязные, брюки грязные, пальто — мое изящное пальто — тоже. Сегодня я приоделся и почистился.

Только что был в обкоме партии. Сергеев (культпроп) сделал свою приписку на ходатайстве журнала «Знамя» насчет субсидии от Енакиевского завода. Дней через десять туда поеду.

Вчера провел три беседы — с сестрой и матерью Луговцова (это одна общая беседа), с женой Макарова и с Жестовским. Всего проведено пять бесед, это еще очень мало.

Интересная беседа будет в выходной день с профессором-хирургом, который делал операции (одинаковые) Макарову и Гвахарию (директору Макеевского завода).

25 апреля. Сталино

...Успехи у меня очень хорошие,— с Макаровым здорово продвинулись вперед. Вчера был выходной день,— мы начали беседовать в одиннадцать утра и кончили в один-

надцать вечера с двухчасовым перерывом на обед. Работали две стенографистки, сменялись через каждые два часа. Еще один такой день, и воспоминания Макарова будут закончены.

Это прекрасная фигура, изумительный характер, дикая непокорность Пугачева соединяется в нем с железной выдержкой и дисциплинированностью члена партии. Он войдет у меня в последнюю главу «Доменщиков» и безусловно будет украшением повести. Это очень, очень крупный («крупнятина») и радостный успех для меня.

Дело у меня сейчас налажено недурно,— каждый день провожу по две-три беседы. Ни о какой работе над рукописью не может быть и речи,— я занят только организацией бесед, приглашением стенографисток (а с ними здесь очень трудно) и т. д. Дни пролетают незаметно — в труде.

27 апреля. Сталино

...Я продумываю свой роман и отказался от мысли начинать с узла. Пусть первая глава останется такой, какова есть, иначе Влас и Максим пропадут, и, кроме того, Гулыга будет выпячен еще сильней, и весь роман может свестись к роману о Гулыге. Этого я не хочу.

Макаров будет прекрасным мощным заключительным аккордом книги,— действительно, в повесть войдет изумительная фигура рабочего-большевика. Материал для этого он мне уже дал. В общем, будут и рабочие, и инженеры, и большевики. Хочется писать.

Вчера опять беседовал с Макаровым,— дело двигается. Сегодня назначено свидание с Гвахария, жду от него машину.

29 апреля. Сталино

...Здесь я скомбинировал так, что провожу беседы сразу в двух городах — в Сталино и в Макеевке (расстояние между ними 20 километров). В Макеевку езжу беседовать с Гвахария — директором завода. В одиннадцать часов вечера приходит от него машина, я сажусь со стенографисткой, и в четыре утра машина доставляет нас по домам. Работали уже две ночи, сегодня вернулся на рассвете, и сегодня же предстоит третья ночь. А потом еще четвертая. Беседы изумительно содержательные, захватывающие, поражаешься какой-то полной раскрытости души и у Макарова и у Гвахария, когда они рассказывают. Эта рас-

крытость подарена не мне — истории. И хотя такие беседы волнуют, приносят радость, но от бессонных ночей сейчас чувствую себя довольно кисло.

Горжусь успехами — уже есть двадцать бесед очень хорошего качества с виднейшими металлургами. Отличная добыча для «Кабинета мемуаров».

4 мая. Енакиево

...Пишу из Енакиево. Приехал сюда вчера и мельком видел Пучкова, директора завода. По всей вероятности, у меня пока ничего здесь не выйдет. Оказывается, он не получил моей книжки, которую я оставил для него в Москве в номере гостиницы.

Разговор назначен на сегодня. Я решил сегодня ничего не просить, а дать экземпляр «Знамени», вручить бумажку с просьбой оказать содействие и отложить все дальнейшее примерно на месяц до тех пор, когда он прочтет мою повесть.

Вчера осматривал Енакиево, поселок и завод, места, где жили мои герои — Бардин, Курако, Луговцов. Видел знаменитую печь номер шесть, которая не останавливалась всю революцию и гражданскую войну.

Ах, как хочется месяца три непрерывно, не отвлекаясь ничем посторонним, живя в мире своей повести, посидеть над ней.

...Сегодня вечером уеду в Сталино, получу там расшифрованные стенограммы Гвахария, через несколько дней — в Харьков.

«Кабинету мемуаров» привезу знатную добычу.

СУДЬБА «КАБИНЕТА МЕМУАРОВ». НЕКОТОРЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ НАХОДКИ

Читатель вправе спросить: где же ныне находятся эти стенограммы, о которых вы так восторженно, так много пишете? Как с ними познакомиться?

К величайшему сожалению, богатейшее собрание стенограмм, хранившееся в несгораемых шкафах «Кабинета мемуаров», было, насколько мне известно, уничтожено в 1941 году. Подчеркиваю свою оговорку: «насколько мне известно», ибо ни акта, ни письменного распоряжения об

уничтожении видеть мне не довелось. Тем не менее полторы или две тысячи стенограмм, накопленных «Кабинетом мемуаров», сгинули.

Архив «Кабинета записей» при газете «За индустриализацию» тоже не разыскан. Не исключено, что и его постигла сходная судьба.

Я оставлял у себя копии всех стенограмм, где фигурировал в качестве «беседчика». Однако, как я уже упоминал, и это принадлежавшее мне собрание,— будто стенограммы преследовал некий рок,— сгорело в дни войны на подмосковной даче.

И все же теперь то тут, то там объявляются счастливые находки, обнаруживаются копии стенограмм (ведь они все печатались на машинке в четырех экземплярах). Недавно, например, в архиве «Истории Надеждинского завода» были отысканы невесть как туда попавшие шесть стенограмм Рутгерса, некогда сданные мною в горьковский «Кабинет». Известны и еще подобные находки. Верится, что они будут множиться.

Однажды — уже после Отечественной войны — мне позвонила стенографистка, которая когда-то, во времена «Кабинета мемуаров», бывала подчас моей напарницей, приходила со мной к нашим рассказчикам. Она сказала, что производит сейчас генеральную расчистку, уничтожает всяческую бумажную заваль, в том числе и случайно сохранившиеся свои тетради, заполненные стенографическими знаками. Несколько тетрадок заключают в себе рассказ Дыбеца, вернее, какой-то кусок этого рассказа. И ей подумалось, не позвонить ли мне, прежде чем рвать эти тетради, в свое время уже однажды расшифрованные.

Не буду описывать своей бурной реакции, радостных возгласов. Разумеется, я бил челом, попросил вновь расшифровать давнюю стенографическую вязь.

И был так взволнован всколыхнувшимися воспоминаниями о встречах с Дыбецом, что, отодвинув какую-то свою очередную работу, попытался набросать картину нашего первого знакомства. Этот отрывок так и озаглавлен: «Знакомство» [1].

---

[1] Подглавка «Знакомство» полностью вошла в рассказ «Такова должность» и поэтому здесь опущена. (*Прим. ред.*)

МОЙ ДНЕВНИК

1935. Сентябрь — октябрь

Среди прочих бумаг я отыскал и свой дневник, начатый в последних числах сентября 1935 года. В записях отражены размышления о работе, моя жизнь литератора. По стилю дневниковые строки примыкают к письмам,— это все та же скоропись, беглость и порой попросту, к моему сожалению, бледность пера. Тут не изводишь, если употреблять ходячую цитату, «единого слова ради тысячи тонн словесной руды».

У меня не раз возникало желание поработать над этими страницами, сделать их лаконичными, емкими, или, как мы, литераторы, говариваем, «густыми». Но я отверг такой соблазн,— была бы утрачена подлинность, пропал бы документ времени. Меж тем именно в подлинности, как мне сдается, заключены и сила и слабость этой книги. И сила и слабость — здесь их не отделишь.

Разрешив себе это излияние, перехожу к дневнику.

28 сентября

Работа над романом идет хорошо. Такова моя оценка. Какие же признаки? Пожалуй, главнейшим является то, что все время думаю о нем, роман торчит в голове. Утром просыпаюсь — в голове роман, иду по улице — роман, засыпаю — роман. Огонь горит непрерывно. Летом было не то или далеко не то.

Объективный показатель: пишу порядочно — четыре-пять страниц в день (на машинке это две — две с половиной).

Прихожу в библиотеку Ленина к десяти утра, занимаю столик, но раскачиваюсь не сразу, посматриваю на часы, читаю свежие газеты, в общем отвлекаюсь, напишу фразу и зачеркну, только ко второй половине рабочего дня получается некоторый разгон.

Сколь ни странно, я забыл, как я писал «Курако» (свое самочувствие). Надо бы посмотреть свои письма той поры. Больше ли я был погружен в произведение, чем теперь? Помню, что и тогда черновик писался очень трудно, иной раз было воистину физическое мучение. А кое-что написалось легко и неожиданно (например, Гудков в вагоне). Вот таких легких неожиданностей у меня пока нет (быть может, только ужин у Свицына).

Сейчас передо мной стоит такой вопрос: отделывать ли

первую часть («Ночь») и потом браться за вторую («Гулыга») или сначала закончить вчерне и ту и другую? Во второй части главная тема — разочарование Гулыги в профессии инженера, бессилье инженера в дореволюционной России.

Сегодня утром я склонялся к тому, чтобы отделать первую часть и дать ее в «Знамя», но теперь, после разговора с Вашенцевым, думаю иначе. Пусть удар будет крепче! Пусть вещь будет более весома! Возьму высоту с разгона. Мне потребуется приблизительно полтора месяца, чтобы, работая и днем и вечером, дать хороший черновик первой и второй части.

Затем месяца два отделки. Во всяком случае, надо писать с разгоном днем и вечером до 15 октября. Там уже придется по вечерам делать что-то другое для заработка.

Теперь проблемы первой части. Боюсь, не перегрузить бы вещь отступлениями. Их надо сделать очень хорошо, сжато, динамично. Очень ясные цельные характеры Курако и Власа. Еще не ясен Максим. Надо над ним поработать. Он не действует в первой части, а болтается. Надо прояснить, прочистить его характер. Пожалуй, его мотив — служение людям. Повторение отца на иной ступени. Все это надо продумать. Каждый его шаг, каждую реплику. Ввести его в действие я думаю так: сначала он увлекается Курако, потом отшатывается от него, потом готов «идти за ним по льду босым», когда Курако спасает Власа и клянется, что построит печь, которая не убьет ни одного человека.

У Максима тогда будет роль, будет игра, будет своя линия, а не поддакивание, не реплики. Это и у Власа сначала не было роли, линии, потом появилась.

Не вполне хорош Свицын. Я до сих пор не улавливаю в нем единого корня, цельного характера. А без этого мне люди не удаются. Как его характеризовали?

«Топчи всех, лишь бы самому было хорошо» (Гугель).

«Жонглер» (Бардин).

«Идеальный приказчик капиталистов» (В. Межлаук).

Все это вопрос, вопрос, вопрос.

Свицын для меня все еще загадка, и это очень плохо.

Человек, продавший свое первородство за чечевичную похлебку? Это, пожалуй, тема. Общечеловеческая тема. Тут есть о чем подумать. Тогда дать драму на этой почве. Его выбор? Возможные пути? Надо будет работать и работать

еще над этой фигурой. Поговорить о нем с горняками, его сокурсниками. С кем еще?

Хорошо бы ежедневно или время от времени записывать ход работы над произведением и свои мысли. Интересно будет сравнить замысел и исполнение.

29 сентября

Сегодня продолжал девятую главу. Находки: «Вот мой диплом» и речь-программа Курако в 1905 году. Писалось довольно хорошо, но когда стрелка стала приближаться к двум (я решил сегодня кончить в два, чтобы пойти в «Гудок»), я уже стал писать кое-как и стремился скорей освободиться. Так и не досидел четверти часа до двух.

...Записываю вечером. Было собрание в «Гудке». Возможно, придется поехать в командировку дней на десять.

Ставлю перед собой задачу:

1) в ближайшую пятидневку гнать вещь утром и вечером ежедневно,

2) если поеду, писать там.

Примечание. Поясню упоминание о «Гудке». В те дни при газете «Гудок» была организована редакция сборника «Люди железнодорожной державы». Намечалось, что сборник должен выйти в свет к двадцатилетию советской власти. Дело ставилось по образцу, что уже был заведен в редакции «Люди двух пятилеток»,— привлекались «беседчики», создавалось собрание стенограмм. Участвовать в этом был приглашен и я.

1 октября

Некоторые мысли: принцип сцен стоит применять и к беглому вставному изложению биографии. И там давать резкие повороты судьбы, «ударять читателя по морде». Потом стоит давать картинки, хотя бы немного,— я чувствую, что это лучше. Придется в этом направлении работать.

2 октября

Вчера вечером работал три часа, сегодня днем пять часов. Сейчас опять сажусь на вечерние три часа.

Работа идет хорошо, хотя нет особенно блестящих находок. Однако диалог Свицын — Курако лепится. Оглядывая в целом первую часть, я ею доволен.

Мысль, которая занимает меня сегодня: стоит ли ехать

по командировке «Гудка»? Рассуждения у меня такие. Без какой-то дополнительной работы ради хлеба насущного мне не обойтись. Так или иначе вынужден вечером делать что-то для заработка. Поездка привлекательна. Но меня смущает: смогу ли я там писать, не выбьет ли поездка меня из темпа? Все-таки много значит привычная обстановка, условный рефлекс обстановки. Вдруг я не найду там отдельной комнаты? Конечно, весь день отдавать беседам я не буду, займусь этим помедленней, чтобы сохранить силы для писания.

Вопрос о заработке всегда стоит у меня в голове. Мой идеал иметь в резерве тысячу рублей. Если поездка даст мне эту тысячу, то потом месяц я смогу писать спокойно. Поэтому она соблазняет меня.

8 октября

Днем закончил «Ночь под Рождество», то есть всю первую часть. Насчет Максима решил так: не надо с ним мудрить, пусть в «Ночи» у него будет второстепенная роль. Потом эта фигура разовьется.

Результаты вечерней работы сказываются, вчера долго не мог заснуть. Рад этому — значит, мозг всецело поглощен темой.

Сегодня вечером не хотелось писать. Полежал, подумал, решил поработать часа два. Если сегодня напишу хоть одну страницу новой части, завтра будет легче.

9 октября

На днях еду. Может быть, послезавтра. Во всяком случае, вопрос о командировке решен и деньги получены.

Вчера до меня дошло, как плохо, как безобразно я веду себя в денежных вопросах. Выгляжу каким-то рвачом. Говорю о деньгах с повышенной нервозностью, будто это самое главное, слишком быстро начинаю об этом говорить и слишком много говорю об этом.

Недипломатично, нетактично я себя веду в этих делах. Я прямо мучался вчера весь вечер, впервые это осознав.

Примечание. Далее следуют письма из командировки.

15 октября. Славянск

...Сейчас без четверти девять утра, а я уже сижу за столом и готовлюсь взяться за роман. Уже оделся, умылся, сделал гимнастику (это обязательно) и позавтракал.

Впрочем, все по порядку. Приехав, я отправился в Политотдел, а Вера Ивановна (стенографистка) с вещами осталась на станции. Оказалось, здесь поместиться нелегко. После долгих хлопот предложили одну маленькую комнатку в Доме приезжих, это для В. И., а мне пришлось бы обосноваться в общежитии, в комнате, где живут еще четыре человека. Это меня очень огорчило.

И мы придумали другое,— обратиться за помощью к нашим героям. В результате В. И. устроилась в семействе Кривоносов, а я в домике машиниста Рубана — это учитель Кривоноса, с ним тоже надо беседовать.

Приняли нас на редкость радушно. Вчера пришлось в гостях выпить (ничего не поделаешь, нельзя было отказаться), а сегодня с утра я один во всем домике и сейчас начинаю работать над романом.

Если мне удастся во время поездки ежедневно писать, уделяя для этого лучшие утренние часы, это будет чудесно.

...Здесь мы побудем дней шесть, потом двинемся в Красный Лиман.

17 октября. Славянск

...Дни проходят однообразно — по утрам четыре часа пишу, вечером провожу беседы.

...Беседы не особенно интересны, очень хороших рассказчиков я здесь не нашел, и часто приходится вымучивать, вытягивать слова.

Сегодня у одного машиниста будет вечер кривоносовцев (Кривонос, двадцатипятилетний машинист, и есть тот человек, которым я занимаюсь в Славянске).

...В общем, по две беседы в день — это моя вечерняя норма, и без особого напряжения я привезу «Гудку» 25—30 стенограмм и, возможно, стенограмм пять для «Пятилеток».

Так протекают мои дни,— работа и работа.

19 октября. Славянск

...Вот уже пятый день, как я в полдевятого утра сажусь за роман и в час поднимаюсь из-за стола. Пока не пропустил еще ни одного дня.

Первые дни было так: кончишь работу, и голова сразу наполняется другими мыслями. Теперь же после нескольких дней регулярного четырехчасового писания мозг самопроизвольно продолжает работу над романом. Мысли о

романе, разные сцены пробегают уже и перед сном, и во сне, и утром при пробуждении.

Беседы у меня здесь сложные. Человек, с которым и о котором я беседую, Кривонос, получил орден за то, что быстро ездил на паровозе. Это большое дело: ускоренный, форсированный темп. Кривоноса заметили, подняли, чтобы его пример стал достоянием всех. И теперь я выискиваю в нем оригинальный характер, сильную страсть, большую мысль, богатую душу. Но пока не отыскал. Он, окончивший среднюю школу, еще по-юношески розовощекий, взошел на иных дрожжах, чем увлекшие меня разнообразные мои герои. Политические страсти миновали его, от сего плода он не вкусил, душевных противоречий не знавал.

Это новый для меня тип,— возможно, новый и для всей нашей действительности. В нем все же ощутимо нечто крупное или, во всяком случае, основательное. Стараюсь это выявить, извлечь на свет. Победа в беседе тоже дается нелегко, вопреки двусмысленному комплименту, который однажды по моему адресу отпустил Шкловский: «Бек вскрывает людей, как консервные банки».

21 октября. Красный Лиман

...Вот мы и в Красном Лимане.

...Начинает сказываться утомление от поездки. Вчера и сегодня ничего не писал, это дни переезда.

Сегодня провели уже одну беседу с Цейтлиным, начальником станции. С ним беседовать легко, хороший рассказчик, умный, мыслящий человек. Не надо из него выжимать, сам говорит, развертывает панораму.

После большого напряжения в Славянске я теперь берегу себя для писания, живу как бы в полхода, не особенно оживленный, не очень остроумный, не напрягаюсь полностью во время беседы, берегу нервную силу для творчества, иначе буду слишком утомлен и опустошен.

22 октября. Красный Лиман

...Сейчас после двухдневного перерыва сел за роман. А писать не хочется. Тянет свалиться на постель, взять книгу, немного почитать и уснуть. Вчера очень поздно кончили беседу (в час ночи), лег в полвторого, спал неважно, и сейчас голова совсем не хочет работать. Но четыре часа я все-таки просижу за столом.

...Конечно, это не работа, а мучение, но вещь все-таки

движется. Это мой девиз — каждый день продвигаться хотя бы на вершок. До чего однообразны мои письма. Одно, наверное, похоже на другое.

26 октября. Красный Лиман

...Через два дня мы уезжаем из Лимана. Поедем в Артемовск. Там есть еще один человек, железнодорожник, с которым надо побеседовать для книги «Гудка».

Из Артемовска я, возможно, поеду к Гвахария. Я уже звонил по телефону на Макеевский завод. Выяснилось, что Гвахария в отпуску и вернется, сказали, двадцать пятого. Если он опоздает и двадцать восьмого его не будет, то из Артемовска еду прямо в Москву.

...Я понимаю, что новые порядки в «Двух пятилетках» очень тягостны.

Примечание. Для того чтобы читатель уяснил, о чем в данном случае идет речь, привожу с разрешения моего адресата выдержку из его письма.

«Не знаю, что станется с «Кабинетом мемуаров». Там сейчас очень плохо.

Девятнадцатого состоялась беседа с Озерским (это тот, который двадцать лет прожил в Америке). Он рассказывал сочно, интересно. Следующую встречу назначили на двадцатое.

В час дня двадцатого прихожу в «Две пятилетки» за путевкой. Но нет Цейтлина.

— Приходите снова в три часа.

Прихожу, мне начинают уже выписывать путевку, но вдруг Цейтлин заявляет:

— Как? А где первая беседа? Нет, мы не можем дать путевку, пока не прочтем первой беседы.

Сегодня же опять звонок оттуда.

— Приходите немедленно.

— Зачем?

— Нужно выполнить формальности, связанные с проведением бесед.

— Нельзя ли завтра?

— Нет, непременно сегодня.

Прихожу, и мне дают прочесть и подписать правила. Все. Вот как там гоняют людей. Проведя беседу, надо снова зайти, взять ее, выправить «в двадцать четыре часа» и получить подпись рассказчика. Ну, можно ли работать?»

Возвращаюсь к моему письму.

Мне тоже в последнее время не очень приятно бывать в «Кабинете мемуаров». Там сейчас, конечно, сидят сухари. Разве можно требовать, чтобы рассказчик подписывал свою стенограмму? Мы всех эдак распугаем. Беседы — это нечто душевное, интимное, формалистика тут все погубит. Можно лишь надеяться, что все обомнется, образуется. Ненужные формальности отметет жизнь,— конечно, если дело будет жить. Если же станет совсем невмоготу, надо спокойно отойти.

...Моя работа над романом хоть и черепашьим шагом, но все-таки движется, ползет. С нетерпением стремлюсь сесть в Москве за стол и гнать полным ходом, днем и вечером. Хочется сделать вещь, чтобы была как легкий изящный корабль, несущий в себе большой тяжелый груз.

28 октября. Красный Лиман

...Через несколько часов уезжаем из Лимана, едем в Артемовск, работа для «Гудка» подходит к концу, еще три беседы — и шабаш.

...Роман я продвинул. Писал не так много, как много думал. Все сцены в последовательном порядке живут в голове, все получается богато, даже радуюсь. Теперь хочется скорее сесть за стол, чтобы ничто не мешало, и проверить свои решения на бумаге.

Ведь бумага — это наша лаборатория. Появилась мысль, картина, на бумаге можно быстро проверить: верна ли она. Набросаешь, и будет тебе ясно: получается ли? Если да — закрепить. Если нет — отбросить. Хочется, как Максиму, скорей в лабораторию.

ЗАВЕРШАЮЩИЕ СТРАНИЦЫ. ВТОРАЯ ПОВЕСТЬ НАПЕЧАТАНА. СОМНЕНИЯ, ОТКЛИКИ, ИТОГИ

Дневник

15 ноября 1935 г.

... Наконец, после месячного перерыва, когда я работал над «Доменщиками» лишь отдельными рывками, сегодня снова сажусь вплотную за роман.

Месячный перерыв. Здорово все-таки он выбил меня из колеи.

1 декабря

Работаю хорошо. Роман торчит в голове. Сплю плохо, чувствую себя отлично.

13 декабря

...Некоторые размышления о Курако. Я показываю его несколько узко, почти исключительно как доменщика. Надо больше показать как человека — человека большого кругозора и большой души.

27 декабря

Давно не запомню такого тягостного состояния. Работа не идет, на душе тоскливо. Не дается глава о Свицыне!

...Все время думаю о Свицыне, концепция создалась, но не достигла простоты и ясности, когда испытываешь удовлетворение от решения задачи.

29 декабря

Вот уж действительно переход от уныния к восторгу. У меня был тот же материал, что и сейчас, и я томился, тосковал, ничего у меня не лепилось, готов был впасть в отчаяние.

А сегодня пишу и сам себя похваливаю. Все лепится, становится острым, интересным. Боюсь даже подходить к телефону, чтобы не сбить себя, не спугнуть свое состояние. А где причина? Работа, неустанная работа. Разве можно этого добиться, если работать не ежедневно, урывками, с прохладцей?

3 января 1936 г.

Сегодня мне исполнилось тридцать три года. А что сделано? Очень, очень мало. Но все же удалось «запустить пятерню в бочку жизни и посмотреть, что там находится». Так, кажись, говорил Гёте.

19 января

После небольшого перерыва вновь иду на приступ,— на этот раз, надеюсь, последний.

За эти дни у меня многое переменилось. Я решил писать не огромный романище в 50—60 листов, а 6—

7 сравнительно коротких вещей. Это, думается, очень разумное решение, и первый роман я надеюсь окончить через месяц.

2 марта

Ну вот, повесть (теперь уже повесть) «События одной ночи» готова. Остаются небольшие доделки, и послезавтра идет в машинку. Сейчас я ею доволен. Пожалуй, будет иметь успех.

А совсем недавно (жаль, что я не записывал) был период, когда повесть мне очень не нравилась, когда я тяготился ею, приближался к ощущению «бросить». И действительно дважды ее оставлял, давал себе несколько дней отдыха. Вещь мне казалась неправдивой. Я сомневался, способен ли Курако сложа руки допустить закозление домны, мог ли он пойти на это в борьбе с «горной породой». И вообще все казалось фальшивым, не настоящим. Чувствую, что остатки такого настроения сидят во мне еще и теперь. Но от них, вероятно, скоро не останется ничего, и я, возможно, даже забуду, что такие настроения были, потому что сейчас мне повесть нравится, она стала любимой. Вот я совсем забыл, появлялись ли у меня такие сомнения при работе над «Курако».

Как все-таки безобразно медленно я работаю. «События одной ночи» — шесть листов, и это за два года работы. Надеюсь, дело теперь пойдет быстрей, потому что материалу собрано на шестьдесят лет.

...Сейчас дует суровый ветер. В печати достается некоторым музыкантам, художникам, писателям. На днях выходит «Курако»,— боюсь, чтобы и мне не упал кирпич на голову. Пронеси нелегкая.

5 марта

Странное у меня отношение к «Ночи». Сегодня ее перепечатали на машинке, я выправил, принес в «Знамя». Вашенцев спросил:

— Вы уверены, что нам понравится?

Я не мог воскликнуть: «безусловно». Как-то смутился и только через минуту сказал:

— Думаю, что понравится.

Когда я о ней размышляю, вижу, что вещь хорошая, но где-то гнездится сомнение. Хочется, чтобы кто-

то уверил меня, что вещь действительно хороша. Тогда я и сам поверю.

14 марта

Так оно и случилось. Меня уверили, и я поверил. Вот как это было.

Отнес Вашенцеву, он прочел сразу и позвонил в тот же вечер: «Прочел не отрываясь». Но сказал, что все же впечатление смутное и предложил развить фигуру Максима и кончить Максимом.

Он попал в самую точку. Я сдал вещь седьмого, десятого она должна была идти в набор. Я сделал из черновиков главу «История Максима». Эти страницы у меня давно лежали, и я жалел, что они не входят, не влезают в повесть.

Оказалось, влезли. Да и влезли еще так, что дали равновесие, звучание вещи. Теперь она зиждется на противопоставлении Свицына и Максима, чего раньше не было. Все сразу изменилось, осветилось, приобрело новое чистое звучание. И Максим, который «болтался», для которого не было «роли», внезапно стал центральным и лирическим героем. Замечательная удача.

Мунблиту — он прочел рукопись — *очень* понравилась. Кажется, он ни о ком не говорит: «очень». И уже многие (Габрилович, Канторович, Фиш) мне говорят: «Я слышал, вы написали хороший роман». Это покатилось из редакции «Знамя». И сам я ходил все эти дни, как охмелевший. Вся повесть заново встала в голове. Я любуюсь ею, вспоминаю отдельные куски, фразы, хожу очарованный собственным творением. Ночью долго не могу заснуть, но это сладостная бессонница, в голове усталость, но приятная, вообще эти дни было ощущение полного, глубокого счастья.

Наверное, забуду, что считал повесть неудачной.

19 марта

Все яснее вырисовывается план повести для «Двух пятилеток». Пока это будет еще не «Югосталь». Выяснилось, что надо писать быстро, к ноябрю рукопись должна быть представлена.

В основу беру историю Бардина на Енакиевском заводе. В центре характер Макарычева (Бардина), ясный мне. Неудачник с самого часа рождения (недоносок), всюду ненужный, негодный, он лишь у доменных печей находит

единственную точку, где живет, творит в полную силу. Доменный цех — это его мир. Он выразитель домен, их мозг, их представитель, их сознание. В его лице производительные силы судят капитализм и коммунизм.

22 марта

...Позавчера беседовал с И. И. Межлауком. Довольно трудно было восстановить отношения. Вообще длительные перерывы в беседах действуют очень вредно.

Но постепенно Иван Иванович разошелся, разогрелся. Читал мне свой юношеский дневник. Там есть фраза: «Я честолюбив, как Фемистокл». Меня вновь поразила душевная раскрытость. Кремль, кабинет управляющего делами Совета Народных Комиссаров, серые умные глаза Ивана Ивановича, его чисто выбритое тонкое лицо (он всякий раз встает, когда ему звонит Чубарь или Молотов), и течет откровенный рассказ-исповедь. И звучит фраза: «Я был честолюбив, как Фемистокл».

10 мая

Из рассказа «Груньки» — так когда-то ее, свою первую жену, звал Иван Иванович. А она называла его «Алик».

— Алик, ты очень умный?

— Очень.

— Ты все можешь?

— Все.

— Стихи можешь написать?

— Могу.

И Межлаук пишет. Гекзаметром.

15 мая

Встретил Шкловского. Несколько дней назад он мне сказал о «Событиях одной ночи» лаконично: «Хорошая вещь».

Сегодня иначе:

— Дочитал вашу вещь до конца. Есть ряд возражений. Во-первых, у вас Курако — гений, он ходит на руках и прочее, все остальные перед ним ничтожества, у вас не два героя, а один. Во-вторых, некий антиинженерский дух. Дальше — красивость (дешевая), светские женщины, черная роза и т. д. Но хорошо то, что вы пишете о таких вещах, которыми искусство обычно не занимается.

19 мая

...Итак, не закрывая глаз на истину, надо признать: вещь получилась неудачная.

Вчера я был в Доме творчества в Голицыне и в этом убедился. Пилюля была позолочена, но преподнесена.

Вирта сказал: вещь хорошая, я прочел ее залпом. И продолжал: если быть откровенным, все говорят, что ожидали большего.

Рыкачев в мягкой и вежливой форме сказал, что не удался ни Максим (этой тривиальной истории он не мог читать, пропускал страницами), ни Свицын. Только Курако получился.

Итак,— неудача, правда, неполная, но разочаровывающая. Вот как будто общее мнение, общественное мнение писателей. Грустно, но факт.

Да, друг, ты утерял в этой вещи темп, быстроту действия, легкость, напряженность. Придется, возможно, разрушить эту повесть, чтобы в ином качестве вставить ее в роман.

Макарычева, друг, пиши иначе. Действие, действие, действие!

6 августа

Пришла «Литгазета» со статьей о «Событиях одной ночи». Вещь оценена чуть ли не на пятерку (во всяком случае, на четверку с плюсом). Мне было очень приятно прочесть.

Вот я и перевалил за вторую повесть. Теперь я действительно заработал репутацию настоящего писателя — надежного, основательного, не однодневку.

Ровно четыре года назад я уехал в Кузнецкстрой, мечтая стать писателем. Это осуществлено. Чего же еще желать? Только сил и спокойствия для труда.

11 августа

...Читаю роман Синклера Льюиса «Эроусмит». Сильная вещь. Не могу не выписать нескольких строк:

«У Мартина, хотя он и двигался ощупью, как любитель, была одна черта, без которой не существовала бы наука: неугомонное, пытливое, всюду сующее свой нос, негордое, неромантическое любопытство, и оно гнало Мартина вперед».

Глаз колет некоторая небрежность переводчика («пыт-

ливое... любопытство»). Но в остальном... Пожалуй, и о себе я тоже мог бы сказать так: всюду сующее свой нос, негордое, неромантическое (я бы добавил: непоучающее) любопытство».

14 августа

Работаю хорошо. Количественно делаю, правда, немного, но неплох рисунок. Макарычев выходит разносторонне, живо. Пришло в голову новое название: «Страсть». Это очень подходит к образу Макарычева — человека настоящей дикой страсти.

...Характерная штука. Сейчас я стараюсь вообразить, что чувствуют, что переживают мои герои. Кажется, в общем мне это удается. В «Курако» я принципиально отказывался от этого, давал только то, что досконально было мне известно (во всяком случае, сознательно придерживался этого принципа).

7 октября

На днях были две интересные встречи.

Первая с Иваном Катаевым. Сейчас он в трудном положении. Говорили о моих вещах. «Событиям» он дал высокую оценку. «Я, говорит, выделяю эту вещь из наших многих, нет, даже из немногих хороших произведений». Максим и Влас ему показались бледноватыми (где-то что-то вроде этого уже читано), но Свицына считает образом наравне с Курако. Нравится ему достоверность, ощущение достоверности. Вскользь отметил, что и сам стремится работать в этом же плане, то есть какую-то нашу близость.

Очень интересно он говорил о поэзии и прозе: «У вас нет поэзии, вы насквозь прозаик. Автор с поэтической жилкой может воображать, создавать образы из фантазии, прозаик обязан строго следовать действительности, иначе у него не получается».

Говорил о языке. Считает, что язык у меня невыработанный, не яркий. Нет красноречия, нет периодов, разветвленной фразы, как, например, это есть у Бальзака или у Толстого. В качестве попытки красноречья показал свое вступление к «Отечеству». Мне очень хочется с ним дружить.

Вторая встреча — со Ставским. Я пришел к нему в Союз писателей просить его содействия в получении денег под новую работу и несколько беспокоился, ибо знал, что

по старым рапповским воспоминаниям он относится ко мне плоховато. Он сразу начал:

— Это ты написал повесть в «Знамени»?

— Я.

— Отличная работа! То, что надо!

Его похвала очень мне приятна. И очень важна.

...Раньше меня хвалили «западники». Теперь они меня поругивают, но основное ядро, люди с корнями, люди, глубоко проникающие в жизнь, меня признают. Это хорошо, хотя еще лучше было бы общее признание.

16 октября

Вчера в Доме советского писателя был вечер пятилетия «Истории заводов». В афише — вступительное слово Ставского. Я предполагал, что он обязательно скажет и обо мне. Так и вышло, Ставский сказал:

— Вот, например, этот самый Бек. Он здесь сидит и пусть на меня не обижается. Ведь он болтался в литературе. А теперь написал вещь в «Знамени», вещь подлинной рабочей большевистской страсти. Ведь там все настоящие живые люди. Вот об этой вещи наша критика должна писать.

Это успех. Потом меня называли именинником и шутили: «Бек, ты на меня не обижайся, ты написал прекрасную вещь». Шушканов в конце вечера преподнес мне новые издания «Истории заводов». И я был так возбужден, что дома долго не мог заснуть и почти не спал ночь.

В своей речи Ставский перешел ко мне после следующей мысли:

— Вот будут говорить: какой талантливый писатель, а ведь он все взял из жизни, нашел в ней все свои образы.

Да, что касается жизни, я могу это лишь подтвердить. И, думается, здесь — основное для литературы.

После речи Ставского и Шкловский сказал мне:

— А вы, Бек, все-таки молодец! Поставили на своем.

Хочется написать Ставскому письмо, поблагодарить его.

20 октября

Кажется в нашей жизни, в нашем обществе что-то заканчивается. И что-то идет новое. Но что?

<1962>

Такова должность

Рассказ

ЗНАКОМСТВО

Помнится, это было в 1935 году. В воскресный день я впервые пришел к Степану Семеновичу Дыбецу. Он занимал квартиру в недавно возведенном у Москвы-реки, близ Каменного моста, многоэтажном доме, который назывался тогда Домом правительства.

Обстановка квартиры не запечатлелась в моей памяти, хотя впоследствии я не раз бывал у Дыбеца. По-видимому, никаких особенных, как-либо привлекающих внимание вещей там не водилось: на положенных местах находились более или менее обычные, не очень дорогие стулья, столы, радиоприемник, диван. Как я узнал несколько позже, квартиры в этом доме первым жильцам предоставлялись с мебелью. Пожалуй, несколько примечательной была книжная полка: наряду с корешками красочных твердых переплетов виднелось немало неказистых. Чувствовалось, что хозяин берег эти книги.

Сейчас он стоял, спокойно разглядывая меня, ожидая моих слов. В его одежде не замечалось никакой небрежности или, так сказать, солдатской нетребовательности, характерной тогда и для работников промышленности. Серый костюм был хорошо сшит, свеж, отлично выутюжен. Белейшую сорочку красил в меру яркий галстук. Легко было догадаться, что Дыбец находил время для парикмахера: темные волосы, уже чуть отливающие сединой, были аккуратно подстрижены. Слегка блестели безукоризненно выбритые щеки и широкий, с небольшой ямкой подбородок.

Представившись, я достал бумажку, адресованную этому плотному, моложавому, под пятьдесят лет человеку, начальнику Главного управления советской автомобильной и тракторной промышленности. В бумажке говорилось о задачах серии сборников «Люди двух пятилеток» и

содержалось обращение к Дыбецу: «Редакция убедительно просит Вас, уважаемый Степан Семенович, поведать свою жизнь, рассказать обо всем, что Вы пережили и повидали».

— Богатая идея! — произнес Дыбец.— Широко размахнулись.

Я поспешил это подтвердить.

— Широко размахнулись,— повторил он.— Надо полагать, что ничего не выйдет.

Дыбец не улыбнулся, тон был серьезен, но в карих глазах засветились искорки. Я понял, что передо мной человек с юмором.

— Возможно, что не выйдет,— согласился я.— Но давайте все же воспользуемся случаем, запишем ваши воспоминания для истории.

Глаза моего собеседника утратили юмористическое выражение. Сейчас Дыбец взвешивал: стоящая ли идея предложена ему?

— Тем более,— продолжал убеждать я,— говорят, что вы, Степан Семенович, несколько раз встречались с Лениным.

— Да, было дело.

— Ну вот... Грех не записать это для истории.

Дыбец не ответил. Мне показалось: он колеблется. Следовало усилить напор, проявить изобретательность.

— Степан Семенович, а не сохранилось ли у вас каких-нибудь памяток о встречах с Ильичем, каких-нибудь его записок?

— Сохранилось.

Из нижнего ящика письменного стола Дыбец достал большой, перевязанный бечевкой конверт, развязал, высыпал содержимое на стол. Я увидел не очень объемистую книгу в потрепанном, даже захватанном, картонном переплете. Заглавный лист был наклеен на этот картон. Я прочел название: «Основы счетоводства, коммерческой арифметики и исчисления себестоимости». Вместе с книгой в конверте хранилась некая толика бумаг. Я взглянул на голубоватый билет делегата на съезд профессиональных союзов в 1917 году. Чернилами было вписано «Дыбец» и строчкой ниже: «анархо-синдикалист».

— Степан Семенович, вы были анархо-синдикалистом?

— А как же? Записано пером.

— Когда же вы...

— Когда успел? Еще в Америке... По молодости лет, а

отчасти и по другим обстоятельствам была каша в голове... Первостатейная каша, как сказал мне однажды Владимир Ильич.

— Вы жили в Америке?

— Да, поскитался там десяток лет. Удалось после всяких мытарств обосноваться слесарем-сборщиком на фабрике киноаппаратов. А в тысяча девятьсот одиннадцатом году стал одним из основателей «Голоса труда», газеты русских анархо-синдикалистов в Америке. Потом все мы, участники «Голоса труда», стали членами Ай-Даблью-Даблью.

Держа записную книжку, я не подал и виду, что мне известно это произнесенное Дыбецом загадочное наименование. Хотелось услышать объяснение от него. На чистом листке Дыбец вывел три буквы по-английски.

— Ай-Даблью-Даблью,— повторил он.— Индустриальные Рабочие Мира. Свою красную книжечку, членский билет, я получил из рук в руки от Билла Хейвуда.

Имя Хейвуда Дыбец произнес не мягко — Биль, как обычно выговариваем мы, а твердо, на американский манер: Билл.

— От Хейвуда? Того, который похоронен в Кремлевской стене?

Дыбец ответил, что в Кремлевской стене замурована лишь половина пепла, оставшегося после кремации Хейвуда. Хейвуд завещал перевезти в Америку другую половину, захоронить рядом с могилами казненных чикагских анархистов.

— В прошлом году,— продолжал Дыбец,— когда я ездил в Америку заключать договор с Фордом, выкроил денек, съездил на чикагское кладбище, посидел около Билла. От Ай-Даблью-Даблью теперь ничего не осталось... Лишь воспоминания.

Дыбец помолчал. Я показал на книгу с сугубо прозаическим бухгалтерским названием, что лежала перед нами.

— А это вы, Степан Семенович, почему храните?

— Разверните.

Я откинул переплет и на титульном листе вдруг увидел надпись. Насколько помнится (конечно, я понимаю, что свидетельство памяти может быть и не вполне точным), все это вместе — крупный типографский шрифт заглавия и ниже несколько рукописных строк — выглядело так:

ОСНОВЫ СЧЕТОВОДСТВА, КОММЕРЧЕСКОЙ АРИФМЕТИКИ
И ИСЧИСЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ

Затем от руки:

Или, что то же
(как сие ни парадоксально),

ГОСУДАРСТВО И РЕВОЛЮЦИЯ
ЛЕНИН

И дата — какой-то день 1922 года.

Я недоуменно смотрел на эту надпись.

— Полистайте,— предложил Дыбец.

Развернув книгу, я прочел на случайно открывшейся странице: «У Маркса нет и капельки утопизма в том смысле, чтобы он сочинял, сфантазировал «новое» общество. Нет, он изучает, как естественноисторический процесс, *рождение* нового общества *из* старого, переходные формы от второго к первому».

«Нет и капельки...» Ленинский характерный оборот. Удивленный, я воскликнул:

— Позвольте, какое же это счетоводство?!

— Догадались? «Государство и революция» в невинном переплете. Этот экземпляр повидал виды...

Я стал перелистывать книгу, проглядывая подчеркнутые карандашом строки. Должен покаяться, в ту пору приемы профессионала, добывающего рассказы бывалых людей для горьковского «Кабинета», слишком в меня въелись. Я умел, что называется, «завести» собеседника, пробудить в нем дух противоречия, легко находил, пускал в ход маленькие ловушки. При этом бывал и легкомысленным. Впрочем, нужны ли оправдания?

Я простодушно сказал:

— Не кажется ли вам, Степан Семенович, что капелька утопизма все-таки туда проникла?

Еще не договорив, я уловил, что достиг цели: мое замечание затронуло Дыбеца. Спокойное, нелегко, по всей вероятности, выражающее внутреннюю жизнь лицо чуть изменилось. Подбородок стал упрямым. Дыбец ответил:

— Ленин этого не находил.

— Вы разве его спрашивали об этом?

— Спрашивал. Именно об этом. Собрался с духом и спросил.

— И что же?

Держа карандаш наготове, я глядел на Дыбеца.

— Долгая песня,— сказал он.— Начинать надо издалека.

— Вот и хорошо... Наша заповедь, Степан Семенович, не спешить, не комкать.

— Нет, это займет слишком много времени. Но в сокращенном виде я, пожалуй, мог бы рассказать.

Дыбец невозмутимо смотрел на меня. Смугловатое лицо вновь приобрело добродушное выражение. Я взволновался, запротестовал. В сокращенном виде? Нет, ни Дыбец, ни я не имеем права сокращенно излагать, сокращенно записывать историю его жизни, в которую вплетено столько событий, столько встреч. И о разговорах с Лениным тоже сокращенно? Я даже не допускаю этой мысли. Нам с вами, Степан Семенович, не простят этого будущие поколения. Если понадобится, затратим двадцать, тридцать вечеров, но запишем полностью всю вашу жизнь. Запишем даже то, что кажется будто незначительным, ничего не пропустим. Так, только так, Степан Семенович, нас приучают работать в горьковской редакции. В общем, я выложил лавину аргументов.

— Что ж, попробуем,— наконец согласился Дыбец.

Обрадованный, я предпочел промолчать. Дыбец взял книгу, положил ее в конверт, стал собирать и другие бумаги. Мое внимание привлекли две или три газетные вырезки. Невольно я спросил:

— А это что такое?

— Грехи молодости: некоторые мои газетные статьи...

— Так покажите же.

— Пожалуйста.

Я просмотрел вырезанные из газеты столбцы не очень отчетливой печати на плохо выбеленной, рыхловатой бумаге первых лет революции. И вдруг меня поразили строки: «Отметит ли когда-нибудь историк эту повседневную, кропотливую, не крикливую работу самих масс? Придет ли когда-нибудь к нам, участникам великого переворота, который совершается в самых глубинах жизни, попросит ли нас, пока мы живы: свидетельствуйте перед историей?»

Дважды прочитав эти строки, я в удивлении заглянул даже на обратную сторону: да, я держал небольшую статью Дыбеца, вырезку из «Правды» 1922 года. А он невозмутимо поглядывал на меня.

— Так вы, Степан Семенович, собственно говоря...

— Угадали... Поджидал вас много лет.

— Но почему же вы мне этого сразу не сказали?

Дыбец улыбнулся. Теперь улыбка была откровенно лукавой. Многое она сказала. Примерно вот что: если ты меня прощупывал, «заводил», то и я тебя взял на зубок — тот ли ты, кого я ждал?

Но взамен всех этих объяснений Дыбец лишь вымолвил:

— Такова должность.

Да, не зря, видно, ему вверили целую отрасль промышленности, и еще какую — автомобильную и тракторную. Не зря посылали заключать договор с Фордом. «Советский Форд» — так называли Дыбеца американские газеты.

Нет, это не Форд. Это один из тех, кого мы именуем людьми двух пятилеток. Мне, посланцу «Кабинета мемуаров», он сам расскажет о себе.

Так произошло наше знакомство, так начались встречи, во время которых Дыбец повествовал, а я слушал.

* * *

Пользуясь случаем, добавлю еще несколько слов о «Кабинете мемуаров». Мы, несколько молодых литераторов, были привлечены туда в качестве беседчиков — этим неуклюжим наименованием обозначалась наша профессия. Увлеченные делами своего времени, мы умели увлеченно слушать, допытываться, поощрять собеседника, что как бы дарил нам, современникам,— да и потомству — устную повесть своей жизни, нередко изумительную.

Так мы ходили по людям — творцам революции, творцам пятилеток,— приносили записи. Постепенно в сейфах «Кабинета» набралось несколько сот стенограмм. Помнится, это собрание называли стенотекой.

К сожалению, после смерти Горького многие предпринятые им начинания сошли как-то на нет. Прекратилась работа и редакции «Люди двух пятилеток», готовившей выпуск ряда сборников к 1937 году, к двадцатой годовщине Октября. Обидно погибли и материалы «Кабинета ме-

муаров» — их не поберегли. Доселе не вполне ясно, как, где они утрачены. Думается, следовало бы изучить обстоятельства этой пропажи — может быть, что-нибудь еще отыщется. Немногие записи, к тому же и не в полном виде, сохранились у меня. К ним принадлежит как бы вырванная из некой книги стопка воспоминаний Степана Семеновича Дыбеца.

Привожу эти уцелевшие страницы. Кое-где я опустил малозначительные эпизоды и сократил некоторые длинноты, кроме того, разбил этот сравнительно обширный текст на главы, обозначенные цифрами.

РАССКАЗЫВАЕТ ДЫБЕЦ

(Уцелевшая часть стенографической записи)

1

...В минуты душевных потрясений, пока я отчета себе не отдам, я ни с кем не разговариваю. Роза Адамовна — она, как я упоминал, тоже скрывалась со мною в Бердянске — изучила эту мою черту. Когда у меня внутри сумятица, я могу молчать месяц. Дам себе отчет — на моем языке это называется сбалансировал,— после этого могу разговаривать. А пока мучаюсь — все пуговицы застегнуты и никто лишнего слова не добьется.

Найдя приют в Бердянске, я, как сказано, работал ради хлеба насущного на кооперативном заводике, переехавшем из Америки в Россию. Он так и назывался: Русско-Американский инструментальный завод, или сокращенно РАИЗ. Но чем бы я ни занимался — стоял ли у тисочков, орудуя напильником, или исчислял кредит и дебет в бухгалтерии, которая была более укромным уголком,— своей чередой в голове шли размышления.

Вновь и вновь я себя пытал: чему же научила меня в Кронштадте и в Колпине моя деятельность анархо-синдикалиста? Каждое столкновение с большевиками отбрасывало меня в контрреволюционный блок, то есть к сторонникам такого социального устройства, которое всей душой я отвергал. Но опять я терзался необходимостью признавать государство. И лишь книга Ленина «Государство и революция», попавшая какими-то путями в Бердянск вот в этой безобидной обложке «Основы счетоводства», книга,

которую товарищи сунули и мне, покончила с последними моими колебаниями.

Примерно к осени 1918 года я пришел к выводу: революция есть революция, идеализировать рабочих и крестьян нельзя, революционными делами надо руководить и при этом придется применять силу, чтобы преодолеть всякие препятствия. А ежели сила — значит, государство. Пришлось уразуметь, что самое мощное орудие в общественной борьбе — это, конечно, государство, которое я по своему невежеству дотоле отрицал. И больше я к этому не возвращался. Я могу болеть долго, но, выздоравливая, излечиваюсь уж до конца.

В октябре я сказал некоторым моим товарищам большевикам, тоже работавшим на этом Русско-Американском заводе:

— Я, ребята, фактически сдал позиции. Расписываюсь в несостоятельности анархо-синдикализма. Готов перейти к большевикам.

Товарищи меня знали еще по Америке, знали, что я не случайный революционер, приняли мою протянутую руку. Однако в Бердянске, который в 1918 году был захвачен немцами, передавшими затем власть русским белогвардейцам, водворилась тогда такая реакция, что мы некоторое время ничего не предпринимали. Принесет кто-нибудь новость. Обсуждаем ее группой в пять-шесть человек. Другого дела, собственно говоря, не было, хотя в уезде, как я вам уже рассказывал, происходили крестьянские восстания, действовали партизанские отряды.

Примерно в январе или в первых числах февраля 1919 года у белогвардейцев в Бердянске началась паника. Они принялись грузиться на пароходы. Пулеметы трещат по всему городу, а они срочно грузятся с имуществом и лошадьми. И уходят в неизвестном направлении, оставив город совершенно без власти.

На сцену выплыла бывшая городская дума. Обсудив положение, мы, горстка большевиков — в эту горстку уже был включен и я,— решили так: к чему пренебрегать властью, если она плохо лежит? Надо ее поднять. И украситься хотя бы красным флагом, а там будет видно. Пока пулеметы трещали, мы собрали за городом фракцию, то есть главным образом рабочих, о которых мы знали, что они, как говорится, большевистски настроены. На собрании постановили, что, как только последний пароход отой-

дет, нужно хватать власть и создать ревком. Делегаты в ревком выбирались на заводах. Наш заводик делегировал меня, остальные большевики прошли в ревком от других заводов.

На первых порах мне было дико все согласовывать. Я не привык согласовывать. Если вопрос для меня ясен, я тут же объявляю решение. Но порой товарищи меня одергивали. Это было первое стеснение, которое я почувствовал как член партии. Впрочем, ребята хорошо меня знали и не крепко били за излишнюю самостоятельность, тем более что в ту пору — это нужно сказать — у меня был, что называется, непочатый край инициативы, то есть попросту бесконечная инициатива.

Как только мы сформировали власть и выпустили листовки, что вот волей рабочего класса организован ревком, которому принадлежит вся власть в городе, что рабочий класс принимал участие в выборах ревкома, делегировав от таких-то заводов таких-то товарищей, так тотчас же начали сколачивать и свою собственную вооруженную силу для поддержания порядка в городе. Вытащили у кого какие были ружья. Оказалось, что большая часть винтовок испорчена, без затворов. Самое досадное — не было патронов. Исправных винтовок сотни три все же набралось, но на каждую винтовку приходилось лишь по два-три патрона. Тем не менее все это было извлечено, взято на вооружение. Соответствующим проверенным товарищам поручили организовать боевой отряд.

А мне на заседании ревкома был выделен финансовый отдел, поручено вести финансовое хозяйство. Тут моя хозяйственная инициатива развернулась на полный ход. В банке я нашел три рубля бумажками, но тем не менее была по всем правилам произведена национализация банка. Далее я начал разрабатывать проекты, как жить дальше, как обложить имущую часть населения, чтобы получить деньги. Начал брать на учет и обнаруженные в городе различные ценные материалы: металл, кожу и т. д.

2

Примерно через неделю после того, как мы провозгласили власть ревкома, к городу подошли махновские отряды. Нестор Махно тогда был в такой ипостаси: командир

третьей советской крымской бригады имени батьки Махно. Эта бригада входила составной частью в регулярную армию наркомвоенмора и командующего Крымским фронтом товарища Дыбенко. Махно таким образом явился в качестве командира бригады Красной Армии. Нам ничего другого не оставалось, как его приветствовать: все же советские войска.

Каков он был из себя? Ну, что сказать? Был низенького роста. Носил длинные волосы, настолько длинные, что они свисали на загорбок. Признавал единственный головной убор — папаху, служившую ему и зимой и летом. Владел прекрасно всеми видами оружия. Хорошо знал винтовку, отлично владел саблей. Метко стрелял из маузера и нагана. Из пушки мог стрелять. Это импонировало всем его приближенным — сам батько Махно стреляет из пушки.

Тут надо упомянуть, что в 1905 году моя Роза (то есть в ту пору еще не моя, так как познакомились мы только в Америке) сидела в екатеринославской тюрьме, и тогда же в той же тюрьме сидел и Махно. Анархисты слыхали, что меня занесло в Бердянск, что я стал большевиком, членом коммунистической партии. А Роза еще оставалась анархисткой. Встреча ее с Нестором — это встреча старых бойцов. Затем Махно подходит ко мне.

— Здравствуй, Дыбец. Значит, ты ренегат теперь?

— Здравствуй. Значит, ренегат.

— Выходит, совсем большевик?

— Выходит, совсем.

— Да, многие продаются большевикам. Ничего не поделаешь.

— Значит, продаются. И я продался.

— Но гляди не пожалей.

— Гляжу.

Такой примерно разговор, не в дружеских, как видите, тонах, но и не на высоких нотах, у нас произошел. Я держался с ним спокойно. Мы друг другу не подчинены. Хожу я тут с достаточным авторитетом.

Здесь надобно сказать, что Бердянск отличался от других городишек тем, что там подвалы были полны вина. Махновская бригада вошла к вечеру, а наутро мы увидели, что если армия постоит в городе еще два-три дня, то никакой армии не останется — просто перепьются.

Наутро, когда мы в ревкоме получили сведения о том, что делается в городе, я связался с махновцами и сказал, что мне нужно поговорить с Махно. Махно явился. Другие большевики, члены ревкома, как-то меньше с ним имели дело, а мне по наследству, как бывшему анархисту, главным образом и приходилось вести с ним переговоры.

Я ему сказал:

— Ты войсками город занял зря. Если хочешь спасти свои войска, надо их немедленно выводить на фронт. А город будет вас снабжать обмундированием, продовольствием. В пределах возможности поможем. Судя по сводке, которую я имею, твоя армия перепилась вдребезги. А присосавшись к вину, она не уйдет, пока все не высосет. Однако вина здесь столько, что твоя бригада будет пить целые месяцы.

Махно мне ответил, что в таких советах не нуждается. Сегодня его приказом будет назначен комендант города. Этому коменданту мы обязаны подчиняться, ибо когда армия занимает город, то все учреждения подчиняются армии, город переходит на военное положение.

Я ему заявил, что мы на это не пойдем, что мы собственными силами гарантируем здесь порядок. Он как командир бригады может предъявить нам требования. Все его требования мы постараемся удовлетворить. Но самоустраняться от власти мы не собираемся. Так что ему придется арестовывать весь ревком. (Это я не согласовал с товарищами, но был уверен в их поддержке.) Махно повторил, что назначит своего коменданта.

— Мы не возражаем насчет коменданта, однако и у ревкома есть свои права. Если желаешь, будем об этом договариваться.

Должен сказать, что если бы я имел дело с обычным командиром красноармейской части, то все равно воспротивился бы хозяйничанию такого военного человека. Ну а что касается Махно, то тут, как говорится, нам сам бог велел ему власть не сдавать.

Наш разговор ничем не кончился. Я отправился в уездный комитет партии, или, как тогда мы говорили, в уком. Собрали бюро и начали обсуждать нашу линию поведения. Пришли к заключению, что власть не уступим. Превратить ревком в некое безличное учреждение, подчиненное Махно,— это не выйдет, тем более что слава про Махно идет не совсем ладная. Поговаривают, бандитству-

ет. А нам нужно укреплять советский порядок, советскую власть. Так что не выйдет. Мы должны отстаивать свои права как революционная советская организация. Городом и уездом мы должны управлять. Махно может оставить своего коменданта, поскольку это касается военных нужд, военной защиты города. А для поддержания порядка надо довооружить патронами тот батальон, который мы создали, и у нас будет своя надежная военная сила для охраны города с тем, чтобы, если ворвется грабитель или разложится какая-либо воинская часть, мы могли бы твердой вооруженной рукой водворить порядок.

К вечеру Махно действительно вновь к нам приехал. Мы выступили с нашей декларацией. Он заявил, что ему такая декларация ни к чему. Он человек военный и признает только военную власть.

— Эдак не пойдет. Тогда арестуй нас сразу. Город мы не уступим никому. Тем более что надо насаждать советскую власть в селах. Что же, ты и в селах будешь военную власть организовывать, туда ставить комендантов? Смотри, тебе это невыгодно.

Такие аргументы на него подействовали, он пошел, что называется, на попятный:

— Да, зерно и фураж уездная власть должна нам дать. Поэтому черт с вами, оставайтесь, будете нас снабжать. И надо найти контакт.

Было ясно, что ссоре с нами он предпочел компромисс. Мы, однако, понимали, что, несмотря на такой компромисс, он все же будет грабить город.

Тут надо сделать небольшое отступление. К моменту, когда махновцы пришли в Бердянск, вероятно, именно в эти же дни подъехала группа коммунистов, которые работали здесь раньше, были организаторами первого Совета, а потом в разное время покинули город, когда оккупанты-немцы, а затем и отечественные белогвардейцы чинили в городе расправу. Эта группа состояла из таких товарищей: Могильный — теперь он работает в Совнаркоме, Волков — теперь член Московской контрольной комиссии, Кулик — теперь в «Главсоли», и некоторые другие. Названные товарищи были наиболее опытными, закаленными в разных передрягах коммунистами. Вот из них-то и из выдвинувшихся местных коммунистов и организовался уком. Да, с ними еще прибыл Яковлев — питерский рабочий. Его вскоре выбрали секретарем укома.

В эти же дни мне поручили быть председателем ревкома. Моим заместителем стал Волков. Могильный был назначен уездным военкомом, Кулик — уездным комиссаром продовольствия. У Кулика работал заместителем Журков, болгарин, очень энергичный человек. Хорошо работали, как я уже сказал, и несколько местных товарищей. Таким образом, коммунистические силы у нас были. Тут я уже был оформлен как член партии, получил партийный билет. Меня ввели и в члены укома.

Так начали мы совместное жительство с махновцами.

3

Махно был из тех анархистов, которые принципиально отрицали всякую организованность. Такие люди или, вернее, лучшие из них идеализировали движение масс и в особенности крестьянский бунт. Они не понимали, что среди крестьянства есть кулак, середняк, бедняк, рассуждали о крестьянстве вообще, будто оно являло собой что-то сплошное.

Махно запутался в своих политических воззрениях. Не раз доводилось мне спорить с ним на эти темы. Спрашиваю:

— Какая же у тебя программа?

— А вот свергнуть сначала белых, потом большевиков.

— Ну, а дальше?

— Дальше народ сам будет управлять собой.

— Как управлять? Дай ты себе отчет.

В ответ он туманно излагает анархические идеи о безначалии, о крестьянских коммунах, не подчиненных никакому государству, никакому организующему центру.

— Наша же деятельность,— говорит он,— только агитация и пропаганда. Народ сделает все сам. Этого мы придерживаемся и в военном деле. Сама армия собою управляет.

— Чепуха. Полнейшая чепуха.

Но Махно твердит:

— Вот посмотришь. Разделаемся сначала с белыми, потом с большевиками.

В его ближайшем окружении находилась разная шантрапа, представители анархо-бандитизма. К нему слетелись

разоруженные анархисты из Москвы и Петрограда, некоторые вырвались из тюрем, ушли от чекистских пуль. Были и попросту уголовники-грабители, всякие дегенераты — Никифорова Маруся, Черводымский и другие. Позднее к Махно примкнул и такой анархо-синдикалист, как Волин, человек доктринерского ума, не умевший и не желавший видеть действительной жизни, лично мне известный еще по Америке. Он мог бесконечно разглагольствовать, но всегда терял нить мысли. По любому вопросу готов выступить с докладом или с лекцией, начнет, растекается, говорит по три часа.

— А какие же выводы?

— О выводах побеседуем завтра.

В политотделе махновской армии Волин был, пожалуй, наиболее чистой личностью.

Сам Махно не отличался высоким уровнем развития. Он, как анархист, читал кое-что Кропоткина, Оргияни, а также, может быть, Бакунина, но этим и ограничивался его багаж.

Думается, Махно обладал недюжинными природными задатками. Но не развил их. И не понимал, какова его ответственность. Ему льстило, что вокруг него собралась такая большая армия. Но что делать завтра — этого он себе не представлял.

Предотвратить грабежи, которыми то и дело занималась его армия, тем самым отталкивая от него крестьянство, он был не в силах. Иногда он карал грабителей, расстреливал десяток-другой своих приближенных, но затем опять давал волю стихии, поднявшей его на гребень, и грабежи возобновлялись. Он не мог систематически с этим бороться, будучи противником организованности.

Около него группировалась еще и кучка его родственников и земляков по Гуляй-Полю, которые снабжали его выпивкой, шелковым бельем и тому подобным.

Пил он несусветно. Пьянствовал день и ночь. Развратничал. Ему, отрицателю власти, досталась почти неограниченная бесконтрольная власть. И туманила, кружила голову.

Свою военную деятельность Махно начал как батько-атаман небольшого партизанского отряда. Совершил несколько лихих набегов в тылы белых. Проявил в этом дерзкую изобретательность. И постепенно в селах распро-

странилась слава о нем. Может быть, тут была вина и молодой советской власти, когда ему создавали популярность как герою. И пошли даже на то, чтобы его войско, уже многотысячное, звалось бригадой имени батько Махно.

А он плыл по течению, которое несло его неведомо куда.

Случалось, я опять разговаривал с ним с глазу на глаз, снова спрашивал:

— Что ты будешь делать завтра?

— Будет народная коммуна. Анархическая республика.

Однако, толкуя о будущем, он обнаруживал полное невежество, особенно в таких вопросах, как экономика, промышленность. Знал лишь, что завод — это такая вещь, которая должна выпускать изделия, а во всем остальном — откуда брать сырье, каким образом осуществлять хозяйственные связи, хозяйственный план — оставался совершенно темным. Повторял свое:

— Коммуна.

— Посмотри ты на свою коммуну. Ты даже не знаешь, что она выделывает. Твои войска грабят кругом.

— Подойдет время — перестанут.

— Да они завтра же повернут винтовки против тебя, если ты их попробуешь прижать. Неужели ты этого не видишь, слепой ты человек!

Мои аргументы были настолько весомы, что Махно лишь говорил:

— Ренегат.

Это был его самый убийственный довод против меня. Другими возражениями он не располагал.

4

Махно оставил в Бердянске начальника штаба своей армии — Озерова. Озеров был военным по профессии, родом из кубанских казаков, некогда командовал конной сотней. Позднее я близко узнал этого довольно интересного человека. Он уверял, что принадлежит к левым эсерам. Однако, по-моему, это был политически мало развитый вояка. В гражданскую войну он успел получить несколько

ранений. Кисть правой руки была совершенно раздроблена. Но каким-то образом он ухитрялся носить в этой руке нагайку, которой стегал направо и налево, наводя дисциплину в махновской вольнице.

К Махно его направил Дыбенко, балтийский матрос-большевик, который в ту пору был командующим советской крымской армией. Озеров, как начальник штаба, чувствовал, понимал свою ответственность, но все его усилия навести порядок в войсках Махно оставались тщетными. Никак не удавалось превратить бригаду батьки Махно в регулярную воинскую часть.

Надо сказать, что вся эта бригада имела весьма своеобразное строение. Ни полков, ни батальонов в ней не имелось. Были отряды. Отряд такого-то, отряд такого-то. При этом численность отрядов все время менялась.

Если, скажем, в отряде Щуся насчитывалось, по его словам, две тысячи человек, то, когда мы с Озеровым пошли проверять, оказалось, что сегодня в отряде налицо триста бойцов, завтра — пятьсот. Спрашиваем:

— Откуда появились двести человек, которых вчера не было?

— Подошли из деревни.

— А куда девались остальные? Ведь у вас числится две тысячи.

— Ушли в деревню.

Более или менее постоянное ядро в этих отрядах состояло из командира и его штаба, а все остальное — текучий состав. Как набиралась эта армия? Объезжая уезд, я однажды в каком-то селе стал свидетелем следующей сцены. Пожилая крестьянка срамит парня, своего сына:

— Ты же ни черта не делаешь, да и делать сейчас по хозяйству нечего. Шел бы к Махно. Посмотри на ребят из нашего села. Вот Николай, вот Иван Федорович пробыли у Махно три месяца, привезли по три шубы, пригнали по паре лошадей.

Так крестьяне и шли к Махно. Вступив в отряд, можно было пограбить. Потом вернуться восвояси. А через некоторое время снова пойти на войну. Из-за этого в отрядах происходила непрестанная текучка.

Были исключения. Крепко сколоченным являлся отряд села Новоспасовка. Там подобралось несколько требова-

тельных, твердых военных людей. И завели настоящую воинскую дисциплину.

Но почти все остальное представляло собой некие таборы, то разраставшиеся, то внезапно тающие.

Озеров метался из отряда в отряд, переживал свое бессилие. Не однажды наедине со мной он плакал, называл себя мучеником, трагической фигурой, предрекал себе роковую участь.

Мне, как председателю ревкома, полагалось бы заниматься лишь, так сказать, гражданскими вопросами и не вмешиваться в армейские дела. Я бы и не занялся изучением махновской армии, если бы ко мне не пришел Озеров и не заявил, что, по сведениям его разведки, сосредоточиваются офицерские войска генерала Шкуро. Озеров при этом заявил, что если я не отдам ему своего батальона, то он не сможет отстоять город. И не исключено, что уже через сутки, а то и через два часа сюда войдет Шкуро и вырежет нас, как кур. Мне было очень жаль расставаться с батальоном. Как мог ревком лишить себя вооруженной силы, когда в городе то и дело происходили грабежи? Я заподозрил Озерова в том, что он норовит нас разоружить и даст таким образом свободу рук своим махновцам, любителям пограбить.

— Поедем,— сказал я,— посмотрим твой участок, а после этого будем решать, как быть.

Он согласился. Мы поехали. Это был мой первый выезд в махновские войска. Фронт пролегал между Бердянском и Мариуполем. Мы поехали от края к краю по всему этому фронту. Я уже говорил, что не было ни полков, ни батальонов — только отряды неопределенной переменной численности. Наконец среди этого разброда встретился отряд, который представлял собой действительно боевую единицу. Бойцы, как ранее я упомянул, были новоспасовцами, жителями большого села Новоспасовка.

Там, в Новоспасовке, мы обнаружили интересный порядок. Во-первых, мы познакомились со всеми лидерами села. Настроения махновские, однако народ организован. И даже отряд, который они выслали на фронт, назван батальоном. В батальоне четкие подразделения: роты, взводы. В селе — штаб тыла. Штаб этот регулярно изо дня в день снабжает своих фронтовиков продовольствием, ежесуточно получает сводку о наличии бойцов в ротах, не сбежал ли кто. Если сбежал, никуда дальше не уйдет, как

к себе домой. Секут за самовольную отлучку. Двадцать пять — пятьдесят нагаек — это норма, если парень ушел без разрешения командира.

Побыли мы и в новоспасовском батальоне на фронте. Увидели настоящий военный порядок: окопы, сторожевое охранение, часовые, связь. Командиром батальона был двадцатитрехлетний парень Куриленко, военная косточка, лихой кавалерист. Он, крестьянин из середняков, не очень развитой, тоже разделял махновские воззрения. Но управлял твердо.

В батальоне имелась кавалерия. Для нее были взяты лучшие кони из села. Обзавелись и пулеметами.

— Кто вам дает оружие?

— Да вот разживаемся у белых. Сколько отберем — все наше!

Новоспасовцы заранее разведывали через крестьян, где и какие обозы находятся у белых, затем совершали налет, захватывали пулеметы, патроны и таким способом довооружались. И хороший запас держали. И в продовольствии не нуждались: снабжались из села. Новоспасовка мобилизовала и соседние селения. Оттуда тоже шло подспорье. Сапоги, например, были новыми у всех бойцов. Но уж если какой-нибудь боец отнял лошадь у крестьянина, получай пятьдесят — сто нагаек.

— Стрелять не буду,— объяснил Куриленко,— а шкуру спущу.

На каком-то другом отрезке фронта, ближе к Мариуполю, мы нашли греческий отряд. В греческих селах офицеры-каратели учинили беспощадную расправу за революционные дела. Греки возненавидели белых. Так возненавидели, что только прикажи — пойдут в бой. Железная дисциплина была введена в греческом отряде. Таким образом, на всем фронте дисциплинированными, боеспособными были только эти два формирования.

Во всех остальных — ералаш, если не употреблять более крепких выражений. Никакой связи по фронту. Никакого правильного командования. Приказы Озерова, в которых требовалось сообщить о том, где расположена данная часть и с кем держит связь, не выполняются.

Тут мне довелось видеть, как Озеров своей искалеченной рукой перепорол командиров.

— Приказ получил?

— Получил.

— Связь с кем держишь? С кем по приказу должен держать связь?

— Да я позабыл.

— Как так позабыл? Ты знаешь, кто я?

— Так точно. Озеров.

— Озеров... Не Озеров, а начальник штаба!

— Так точно, знаю.

— А с кем связь держать — не знаешь?

— Да позабыл, товарищ Озеров.

— Так я тебе напомню.

После этого Озеров командует:

— Сейчас же разошли связь. Свяжись с такими-то участками.

Этот наш объезд фронтовых частей многое показал Озерову, а еще больше мне. Я впервые собственным глазом посмотрел, каков этот фронт, какова эта армия, бригада Махно, которая грудью защищает подступы к Бердянску.

Кстати тут надо заметить, что в детстве я ездил верхом, а теперь, проехав в седле первые сорок километров, едва мог ходить. Пришлось пересесть на тачанку, а Озеров ехал на коне. Однако я изо дня в день тренировался и недели через две, к концу нашей поездки, стал неплохим кавалеристом, в тачанку больше не садился, не отставал от Озерова на своей верховой лошади.

5

Возвращаясь с фронта, мы с Озеровым пришли к твердому убеждению, что, если войска держать в бездействии, не продвигать дальше, они совсем разложатся. Озеров обратился в штаб Дыбенко, просил разрешения перейти в наступление на Мариуполь, просил дать хоть сколько-нибудь патронов.

С этим своим рапортом он пришел ко мне.

— Прочти. Отправлю нарочным. Но Дыбенко моему рапорту вряд ли поверит. Ты же теперь большевик. Добавь от себя несколько слов. Подтверди мою бумагу.

Я приписал, что положение на фронте Озеров охарактеризовал правильно.

Озеров затем продолжал:

— Вы, коммунисты, здесь на месте сами видите: я делаю все, чтобы бригада стала организованной боевой силой, но я не могу из песка без цемента слепить что-то крепкое. Дайте мне коммунистов в армию.

Мы и без его просьб уже пробовали давать. Однако нередко случалось, что в махновских отрядах коммунистов резали. Коммунист не позволял грабить. А раз так, значит, это враг. Чик — и поминай как звали.

Вместе с тем махновцы разводили демагогию: как воевать — так большевиков нет, не сыщешь их на фронте, а как город взят — они тут как тут, сразу объявляются, хватают власть. Зная эти настроения, я, когда мы объезжали фронт, везде и всюду представлялся: председатель уездного ревкома и большевик.

Озеров затем снова просил передать ему батальон ревкома.

— Ты же убедился,— говорил он,— что мы висим на волоске. Разве мы можем удержать город этой армией? Стукнут —и я не даю тебе никакой гарантии. Мне нужен ваш батальон со всеми командирами и политработниками, чтобы закрыть любой прорыв.

Условились, что батальон остается в нашем распоряжении, а в крайности выступит на фронт.

Вскоре Озеров получил приказ Дыбенко о переходе в наступление. С этим приказом он опять пришел ко мне.

— Едем на фронт. Поведем армию в наступление. Тебе, Дыбец, это выгодно. Наживешь политический капитал в войсках. Посмотришь, как наступают, и будешь мне помогать.

Я об этом доложил в укоме. Товарищи высказались так: мне следует ехать, надо показать, что большевики не страшатся идти в бой, делят судьбу фронтовиков. Я, таким образом, получил разрешение вновь ехать на фронт в качестве председателя ревкома.

Со мной снарядили несколько подвод белья, сапог. Это предназначалось бойцам, которые дерутся. Если самоотверженно дерешься, получай пару белья, чтобы тебя, боец, не ела вошь.

Под Мариуполем расположено село Шарог. Там обосновались белые. Наши части изготовились захватить это село. Патронов у нас было маловато, примерно восемна-

дцать — двадцать на бойца. Причем под давлением Озерова Куриленко поделился своими запасами. Больше неоткуда было взять.

Новоспасовский батальон должен был наступать с правого фланга. Озеров и я приехали туда. Рядом с новоспасовцами заняли исходные позиции и три-четыре отряда — довольно ненадежные отряды. Озеров, как умный вояка, одну новоспасовскую роту расположил в тылу. И приказал:

— Если кто побежит обратно — пристреливать!

Цепь, которой предстояло атаковать, залегла против села. Озеров верхом поехал вдоль цепи. Рядом с ним трусил на своем коне и я. Белые окатили нас, двух всадников, ружейным и пулеметным огнем. Для меня это было боевым крещением. Уши ловили неприятное посвистывание пуль. Но Озеров оставался спокоен, не пригибался к гриве, не убыстрял ровного аллюра. Конечно, и я следовал его примеру.

Бойцы нас провожали взглядами. Вон под огнем начальник штаба Озеров и председатель ревкома большевик Дыбец.

Артиллерийской стрельбы белые не вели. Позже выяснилось, что у них не было снарядов.

Наши двинулись перебежками к селу. Белые лежат, стреляют. Пулеметы строчат по нашей цепи. Там-сям пуля срезает бойца. Но наши все сближаются с противником. Наконец приходит критический миг. Белые так близко, что надо или броситься в штыки, или...

Белые уже прекратили пальбу. Значит, к чему-то готовятся. Вероятно, только ждут, чтобы наши поднялись, и встретят пулеметами, встретят таким огнем, которого не одолеть. Здесь я имел случай увидеть, сколь необходим в решительную минуту какой-то психологический толчок. Не знаю даже, как это назвать — военная демагогия, что ли. Мы с Озеровым уже спешились. Он мне тихо говорит:

— Пожалуй, вперед дальше не пойдут. Скомандуешь: «Вперед!» — а побегут назад. Надо принимать меры.

И Озеров вскочил на коня, ударил нагайкой. Конь рванулся. Я, разумеется, поспевал за Озеровым. Он подлетел к командиру передовой цепи:

— Встать!

Командир вскочил. Озеров сплеча огрел его нагайкой.

— Я тебе, сволочь, говорил, чтобы держать интервалы! Учил тебя, дурака, соблюдать интервалы в три-четыре шага между бойцами! В каком порядке цепь? Почему нет равных интервалов?

И нагайка действует без устали. Бойцы глядят: Озеров лупит командира, у того уже лицо в крови, кричит об интервалах. А белые все выжидают, не открывают пальбу.

— Цепь, вперед! — во все горло орет Озеров.

И цепь поднялась, ринулась вперед. Пулеметы белых ее не остановили. Наши ворвались в село, вышибли противника, забрали восемь пулеметов, пятьдесят — шестьдесят подвод с патронами, три пушки, что стояли без снарядов.

Вот как решается иногда бой.

Озеров потом целовал избитого командира:

— Не тебя я бил! Я всю твою цепь лупцевал! Надо было психологически воздействовать.

Это сражение, в котором меня по всему фронту видели рядом с Озеровым под огнем, создало мне среди махновцев славу: Дыбец, бывший анархист, а ныне коммунист, пуль не боится, будет драться вместе с нами, привез белье,— значит, наш брат, к нему можно апеллировать, ходить к нему как к своему коммунисту.

6

Пробыв на фронте три-четыре дня, я верну[illegible]дянск и опять взялся за свои обязанности пре[illegible]ля ревкома. Обозначим, кстати, дату: подходил к концу март 1919 года.

В Бердянске пришлось решать неотложные задачи. Махновцы продолжали грабить город. И из волостей все чаще поступали жалобы: махновские отряды самовольничали, забирали зерно на ссыпных пунктах, кормили пшеницей лошадей. Из-за этого срывались наши продовольственные заготовки. Следовало что-то предпринимать.

Между прочим, в эти же дни обнаружились настойчивые поползновения махновцев вывезти различные запасы из Бердянска в Гуляй-Поле, где располагалась, так сказать, ставка батьки Махно. Особенно они покушались на главное наше богатство — кожу. Дело в том, что к момен-

ту ухода белых из Бердянска в городе оказалось вагонов двадцать отлично выделанной кожи, принадлежавшей различным спекулянтам. Мы ее реквизировали, открыли большую мастерскую, где шились и шились сапоги. Этими сапогами мы прежде всего наделили наш батальон. Давали и войскам Махно.

Само собой разумеется, нам не хотелось выпускать кожу из Бердянска. Я решил, что уж если нас вынудят расстаться с этой кожей, то отошлем ее только в Москву, не иначе. Тем временем представители Махно учинили нам скандал и категорически потребовали, чтобы мы направили кожу в Гуляй-Поле. Они берут на себя снабжение своей армии. Они нами недовольны: ревком плохо их снабжает. Армия воюет без сапог.

Под конец, после долгих словопрений, я делаю вид, что отдаю махновцам эту кожу. В их присутствии погрузили двенадцать вагонов.

На пути из Бердянска в Гуляй-Поле находится узловая станция Пологи. Там переформировываются поезда. На станции Пологи работал мой старый друг еще по 1905 году Ваня Гончаренко. Этого парня я вызвал в Бердянск. Мы с ним договорились, что вагоны с кожей будут прицеплены к любому пассажирскому поезду, идущему в Москву. Сие и было проделано в наилучшем виде. Своих сопровождающих махновцы не догадались послать. Вагоны проскочили Гуляй-Поле. Таким образом удалось переправить в Москву под охраной наших людей главные запасы кожи. Кое-что по соглашению с махновцами мы оставили у себя. Наши мастерские работают, выпускают сапоги.

Получив шифрованное сообщение, что вагоны благополучно проследовали, я с недельку выждал, а потом, когда махновцы обращались ко мне за сапогами, говорил:

— Адресуйтесь в Гуляй-Поле. Туда отправлено столько-то вагонов.

И возразить нечего. Все видели, как шла погрузка кожи. И вагоны ушли по назначению в Гуляй-Поле: так гласили железнодорожные документы.

Далее я стал этой кожей козырять на всех собраниях, когда там участвовали махновцы. Вот мы такие-сякие, недобрые люди, а отправили двенадцать вагонов кожи по требованию вашего штаба. Видимо, Гуляй-Поле будет крепко снабжать вас сапогами. Махновцы растерялись. Где же все-таки вагоны? Исчезли.

А мы наседаем, нас не остановишь:

— Эх вы, не могли вагоны получить. Двенадцать вагонов на глазах людей были погружены. Вот, значит, как у вас поставлено снабжение. Вот, значит, какая у вас организация. А если нет организации, не беритесь за дела, с которыми не способны справиться, предоставьте это людям, умеющим работать.

Дело приняло настолько скандальный оборот, что в Бердянск приехал Махно. Мне он говорил:

— Не знаю, где кожа. Если бы я знал, кто украл кожу, тут же своей рукой бы расстрелял. Но пойми, Дыбец, мое положение. Кожу сперли, а ты кричишь: двенадцать вагонов! Бога ради, перестань кричать об этой коже, а то войска начинают меня трепать.

Кожа долго оставалась моим козырем. Толкуем, препираемся с Махно, и чуть что — я непременно ввертываю:

— А кожа?

Это был убийственный аргумент при переговорах. Когда у нас опять пытались отобрать какие-нибудь запасы, мы неизменно отвечали:

— Ну, это опять — кожа. Лучше мы сами вас снабдим.

О том, куда девалась эта кожа, знали только два-три человека из укома.

Нам, коммунистам-организаторам, приходилось проделывать большую работу. Следовало заготовить и вывезти хлеб. В уезде было очень много хлеба. Но ревком не имел денег, чтобы расплачиваться за этот хлеб. Мы наложили на буржуазию города контрибуцию в пять миллионов рублей.

Скажу несколько слов о том, как мы взимали эти деньги. Махновцы тогда уже завели свою контрразведку. И первый попавшийся гражданин, который имел деньги, запросто оказывался узником этой контрразведки, где его пороли нагайкой. Сию операцию проделывали в номере девятнадцатом гостиницы, и весь город знал о мрачном номере девятнадцать. Мы боролись с такой практикой, сколько хватало сил, но в вооруженные столкновения не вступали. У Махно — армия, а у нас только один батальон для внутренней охраны. И мы не могли ввязаться в драку против махновцев, драку, которая заведомо кончилась бы не в нашу пользу. О махновских безобразиях, о вымогательствах, грабежах, избиении граждан мы не однажды говорили самому Махно, он кое в чем с нами соглашался,

но был бессилен утихомирить своих молодцов. Он не мог регулировать их поступки, для этого ему надо было бы свернуть знамя анархии и перестать быть батькой Махно.

Итак мы обложили буржуазию города на пять миллионов рублей. Технику этого дела мы провели следующим образом. В Бердянске, как и во всяком другом городе, была купеческая биржа. Когда мне поручили взыскать контрибуцию, я созвал биржевиков и заявил:

— Городу нужны деньги. Необходимо в город подвозить хлеб. У нас денег нет. Если сбором контрибуции займется Махно, то несколько человек будут расстреляны совершенно зря. В наши планы не входит расстреливать зря людей.

Я сказал, что сбор контрибуции надо провести в организованном порядке.

— Мне трудно знать, насколько состоятелен тот или иной гражданин, а вы, биржевики, всех знаете. Составьте мне списочек, с кого сколько можно взять. Я полагаюсь на ваше благоразумие. Если вы этой работы не проделаете, мы ее сделаем сами, но, конечно, с ошибками. А если передадим Махно, то вам совсем плохо придется.

Мои слова возымели действие. Биржевики представили мне через неделю хорошо проработанный список. Мы, насколько могли, постарались его тщательно проверить, утвердили и получили пять миллионов довольно безболезненно. Далее после длительной словесной перепалки со штабом Махно мы ему уступили три миллиона, два взяли себе. Армия тоже нуждалась в деньгах, хотя махновцы никогда не расплачивались, если что-либо забирали у крестьян или горожан.

Полученных денег нам хватило ненадолго. И заготовлять хлеб мы снова не смогли. Под конец приходилось брать у крестьян хлеб под какие-то расписки. Заготовленное зерно мы отправляли в Москву, однако вагонов постоянно не хватало.

Вскоре назрела необходимость созвать уездный съезд Советов и избрать уездный исполком. Агитацию за уездный съезд уже усиленно вели левые эсеры, блокировавшиеся с анархистами. Несколько раз в городе на митингах выступал Махно. Он не однажды давал волю языку и изрекал, что коммунистов надо вырезать. В связи с одной из таких его речей я имел с ним очень неприятное объяс-

нение. Он выступил в совершенно пьяном виде. И может быть, искренне, а может быть, неискренне на следующий день сказал, что совсем не помнит, о чем говорил. Я заявил:

— Нам от этого не легче. Если ты будешь травить большевиков, мы готовы уйти и предоставить тебе полную свободу действий. Пожалуйста, управляйте сами. Но ты уже убедился, на что вы способны как организаторы. Возьми случай с кожей. Такой сумбур будет у вас всюду. А без четко работающего тыла воевать нельзя. Так не мешайте нам организовать тыл. Давай по-серьезному подойдем к этому. Иначе мы, большевики, освободим для вас все наши посты, снимемся отсюда и уедем в Киев.

Когда мы этак ультимативно поставили вопрос, Махно понял, что дело действительно серьезное. Ему в то время не улыбалось разорвать с большевиками. Мы настаивали, чтобы махновцы не разъезжали по уезду, не грабили крестьян, не восстанавливали их против себя и против советской власти.

— Все заготовки,— говорил я,— мы будем вести в организованном порядке. И организованно же будем вас снабжать. Давайте установим нормы. Определим количество едоков. Введем порядок.

В этом споре принял участие весь штаб Махно и весь наш уком. Долго их уламывали, повторяли угрозу, что мы уйдем, оставим их и пусть хозяйничают, как хотят. Далее покрывать их грабежи мы не согласны, так дело не пойдет.

Эти словопрения закончились договоренностью. Был издан приказ за совместными подписями председателя ревкома Дыбеца и командующего батьки Махно о том, что никто из командиров не имеет права что-либо забирать ни у крестьян, ни у горожан, что все требования командиры направляют в свой штаб. Штаб, в свою очередь, предъявляет эти запросы уездному ревкому, который обязан, придерживаясь выработанных норм, удовлетворять требования. Этот исторический приказ сохранился до сих пор у одного из моих товарищей по Бердянскому ревкому.

Но приказ приказом, а грабежи не прекратились, ибо Махно не мог контролировать как следует свои отряды, не мог держать в руках своих командиров.

Тем временем продолжалась война. Наше наступление приостановилось. Кое-где белые продвинулись. Бердянск по-прежнему в опасности. Я еще раз ездил на фронт и снова видел разброд в махновской армии.

Случалось, какой-нибудь отряд вдруг уходит с фронта верст на восемьдесят в тыл на отдых. И оставляет фронт открытым. Белые могут завтра же ворваться в город.

Такие отряды, срывающиеся со своих позиций, нередко отдыхали под Бердянском. Они облюбовали эти места потому, что тут было много вина. Разбивали бочки в винных подвалах, напивались до потери человеческого облика.

Это заставило меня собрать виновладельцев. Я сформулировал им такой ультиматум:

— Или вы в три дня все вино обращаете в уксус, или я выливаю вино в море.

Потом связался с Екатеринославом, предложил:

— Мы можем прислать вам два эшелона вина.

Ответ был такой:

— Ты с ума сошел. И у нас ведь будут пить, пока не выпьют все. Да и по пути начнут взламывать вагоны, вскрывать бочки. Хочешь, чтобы остановилась железная дорога? Никуда не вывози. Власть на местах. Распоряжайся.

Я заявил, что вылью в море.

— Выливай. Действуй в зависимости от обстановки.

И вот я вылил тысяч тридцать ведер хорошего дорогого вина в море. Люди пили из канав это вино. Жуткая картина.

Но дело кончено. Нет больше бердянского вина. Махновские отряды стали отдыхать где-то в других местах.

К этому времени нам пришлось все же отдать наш хорошо сколоченный рабочий батальон, потому что такой-то батька ушел с отрядом отдыхать в неизвестном направлении и на фронте образовалась брешь. Мы сформировали другой батальон для охраны города.

Тут кстати прибыли двадцать пять красных командиров. Зеленая молодежь, красивая молодежь, окончившая какие-то курсы. В большинстве они были выпущены командирами взводов, некоторые годились в командиры

рот. Их прислали для укрепления махновской армии. Однако Махно в этом усмотрел подкоп против него со стороны большевиков и не принял командиров. Мы забрали их себе.

Фронт оставался неустойчивым. Белые большими силами перешли в наступление от Мариуполя, махновские части отступали. Сейчас не вспомню всех событий.

Однако, так или иначе, мы имели собственные сведения о делах на фронте, ибо махновский штаб и даже Озеров не сообщали нам об изменениях военной обстановки. И вот однажды в четыре часа утра меня разбудил телефонный звонок. Мне названивал Озеров. Он объявил:

— Армия отступает. Оставляем город и переходим на новые позиции у Мелитополя. Предлагаем вам эвакуироваться.

Только благодаря тому, что мы располагали собственными сведениями, сообщение Озерова о сдаче города не застигло нас врасплох. Использовав весь наш авторитет, мы сумели быстро мобилизовать сотни три-четыре крестьянских подвод и вывезти из Бердянска наши главные богатства — немалые все еще запасы кожи и другое имущество. Потянулся наш обоз на Мелитополь.

Здесь надо сделать вставку, иначе обрисовка времени будет неполной. Более богатой картины самодеятельности масс, чем мы имели в гражданскую войну, нельзя себе представить. Тома можно написать и не исчерпать всей инициативы, которую проявляли люди, творившие революцию. Они, как пчелы, несли и несли капли своего вклада. И так как уездный ревком, затем ставший исполкомом, пользовался исключительным авторитетом (в отличие от Махно, который ни у рабочих, ни у сельчан не завоевал авторитета), весь этот прибой инициативы устремлялся в уездный исполком.

Приходит, например, ко мне матрос. Несколько матросов достали трехдюймовую пушку и хотят установить ее на катерочке. А этот катерочек сам еле держится и в хорошую волну может просто развалиться. Вызываю инженеров. Те говорят, что на этом катере нельзя ставить пушку. Со второго-третьего выстрела он от сотрясения даст течь и пойдет ко дну.

Матросы утверждают: «Ничего подобного!» Настаивают. В конце концов они все же смонтировали на катерочке эту пушку и разъезжают, патрулируют.

Позднее эта пушка сыграла свою роль. Произошло следующее. В какой-то день на рейде Азовского моря появились миноносцы. Наши знатоки дела объявили: французские. Один, другой, третий. Не помню, кажется, никакого ультиматума мы от них не получали. Или, возможно, они просили разрешения войти в порт, а мы не разрешили. Так или иначе, но они довольно нахально подошли и стали обстреливать город. И вот тут пригодилась пушка наших моряков. С этого несчастного катера они ухитрились попасть двумя снарядами в миноносец. Наши наблюдатели зафиксировали эти попадания. Миноносцы отошли подальше и оттуда обстреливали город. Выпустили сотни две снарядов, убили нескольких человек. Чем был вызван обстрел? Вероятно, французский адмирал и сам этого не знал. Тем не менее Франция расписалась в том, что в нашей гражданской войне она помогает белым.

И еще вот о чем попрошу вас. Приходится в этом рассказе о своем пути слишком часто повторять: я, я. Но если вы подумаете, что Дыбец — гениальный человек, если в таком духе будете рисовать его портрет, выйдет чепуха. Моя жизнь — жизнь обыкновенного рабочего. Обыкновенный рабочий, кое-что прочитавший, думающий. Его увлекает революция. Она его лепит и лепит. Потом он закаляется и становится способен руководить десятками тысяч людей.

В чем моя сила? Революционный инстинкт внятно мне подсказывал, что большевики правы. И я шел в их рядах, шел вместе с массой. Мне верили, меня растили и всякий раз корректировали, выравнивали. И я имел влияние не как Дыбец, некая особенная личность, а как человек ленинской партии, как работник, обретающийся в гуще масс. Всего этого я не охвачу. Необходим такого рода корректив к моему рассказу.

8

Итак, мы покинули Бердянск. Эвакуацию провели организованно. Вытянулся наш обоз — больше трехсот подвод с разным добром. Мы полагали, что оставляем город не надолго — на неделю, на две, пока Москва даст подкрепления. Махно не может сдержать наступление белых. Это было ясно всем.

Значит, подойдут регулярные советские войска. И хотя мы верили, что вскоре вернемся, все же решили подчистую эвакуировать город. Ушли все пекаря, чтобы лишить белых печеного хлеба, ушли моряки, ушли рабочие. Город опустел. Остался только обыватель.

Рабочие и моряки организовали боевые отряды. Где-то раздобыли винтовки. Откуда винтовки, кто снабдил винтовками — ведь централизованного снабжения не было — понятия не имею. Но факт остается фактом: рабочие и моряки вооружены. И патроны у них есть. Таким образом сформировались два новых батальона. Они выступили с нами. Мы вынесли решение: подчиняться штабу Махно не будем, наши вооруженные силы нужно объединить в полк, а уездному исполкому взять командование.

Без каких-либо происшествий вся наша колонна прибыла в Ногайск. Тут мы развернули свои боевые силы, которые заняли береговую линию и окопались под Ногайском. У нас уже насчитывалось больше тысячи бойцов. Войска Махно расположились левей.

Так постояли два-три дня. Неожиданно ко мне является крестьянская делегация — с рыжей по пояс бородой крестьянин Голиков и другие представители ближайших сел. Поздоровались. Спрашиваю:

— В чем дело?

— Разрешите, товарищ Дыбец, от вашего имени сформировать полк.

— Гм... Надо обдумать.

— Да нет, нечего думать. Вы только дайте ваше согласие. Мы же ничего не просим. Винтовки есть.

— Откуда?

— В земле были схоронены. И кони есть. Все села дают коней. Даже по секрету скажу: найдутся пулеметы. Поняли?

— Хорошо. Соберем исполком, вы подождите.

— Да нет. Зачем собирать? Вы только дайте согласие. А уж остальное мы сделаем. Будет полк в шесть тысяч бойцов.

Это предложение мы обсудили на фракции. Не к чему, разумеется, называть полк именем Дыбеца. Не станем подражать в этом Махно и другим батькам. Однако надо ли формировать полк? А почему нет? Обзаведемся серьезной военной силой. Тогда и Махно не очень разнуздается. И белым по зубам дадим. Я предложил назвать полк Бердянским. Фракция поддержала. Совещание длилось не-

долго. Я вышел к крестьянским делегатам и объявил решение:

— Можете формировать от моего имени: вот Дыбец призывает крестьян организовать полк. Называться полк будет Бердянским. Красиво. Все будут знать наш Бердянский полк. Только, товарищи, я никогда не командовал.

— Если не скажем, кто командир,— ничего не выйдет. Тебя крестьяне знают. Ты только дай разрешение твоим именем пользоваться. Без тебя скомандуем.

— Ладно, пользуйтесь. Согласен.

Действительно, крестьяне сформировали полк: четыре батальона, по четыре роты в каждом, все как следует. И свою полковую конницу. Села дали отличных кавалерийских лошадей. И седла и сабли откуда-то взялись. Мы, уездный исполком и уком, принимали первый парад этого полка. Конечно, не очень стройными рядами он прошел походным маршем. Все шесть тысяч бойцов были вооружены винтовками и патронами.

Тут, правда, выявилась одна беда: винтовки были неоднородными. Попадались и французские, и австрийские, и японские, и старинные русские берданки, и обычные наши трехлинейки. Мы решили, что будем постепенно вооружать полк одинаковыми винтовками. Но, так или иначе, силенок стало у нас больше.

В эти же дни выяснилось, что новоспасовцы, отступившие с махновской армией — их батальон уже вырос в полк,— находятся близко от нас. Ко мне приехал командир Новоспасовского полка Куриленко и намекнул, что, зная нас как солидных людей, он охотнее бы работал с нами, чем с Махно.

Я, как председатель исполкома, объехал боевой участок, занятый нашими силами, то есть теми, которые мы сформировали, заглянул и в Новоспасовский полк, проинспектировал войска.

В этом мне помогал Озеров. Он после сдачи Бердянска был вызван телеграммой в штаб Дыбенко. Однако Озеров сообразил, что ему придется держать ответ за потерю города, за недисциплинированность, неразбериху, разложение в махновской армии и его, наверное, в два счета расстреляют. Он пришел к нам и сказал, что к Дыбенко не поедет, а хочет остаться с нами, берется быть, если мы не возражаем, начальником нашего штаба при исполкоме.

Мы не возражали — взяли такой грех на душу. И Озеров прижился у нас.

— Я же сторонником Махно никогда не был,— объяснял он.— С какой же стати пойду отчитываться за всю махновщину, будь она проклята. Пусть Дыбенко приведет в христианский вид махновские войска. Их надо переформировать, перетереть с песочком, а самых отъявленных бандитов наградить пулей в лоб для примера прочим.

Мне пришлось стать командиром наших исполкомовских вооруженных сил. Никто меня командиром не назначал. Никаких приказов обо мне не было издано. Но как-то вышло само собой, что я сделался командующим боевого участка. Ординарцы являлись ко мне с донесениями, у меня спрашивали распоряжений. Причем все мои приказы исполнялись. Так волей-неволей я вышел в полководцы. Обстоятельства заставили. Никуда не денешься. Уйти нельзя. А тут еще нужно и кормить всю эту армию. Значит, баб надо сагитировать, чтобы пекли хлеб. Да и молоко и мясо надо дать бойцам. А войск набралось до десяти тысяч: уже и Новоспасовский полк перешел под наше крылышко.

На подступах к Ногайску исполкомовские части выдержали стычку с белыми, стукнули им по зубам, заставили отскочить. Наши в азарте боя ударились преследовать. Я, посоветовавшись с Озеровым, отдал приказ вернуться на свои позиции, чтобы бойцы не зарвались, не угодили в ловушку. У нас все еще не было связи с командованием регулярных соединений Красной Армии. По-прежнему мы занимали свой участок. Главное, чего я добивался: не стрелять зря. Требовал, чтобы каждый патрон был на учете. Озеров ввел в крестьянских полках правило: кто выстрелит зря — двадцать пять нагаек. Приходилось закрывать глаза на это. Полк, сформированный из рабочих и моряков, конечно, в таких методах дисциплинарного воздействия не нуждался.

9

В какой-то день меня срочно вызвал к себе председатель Мелитопольского уездного исполкома Пахомов (теперь он народный комиссар водного транспорта). Уже началась осень. Дождь. На дорогах месиво. Автомобилем нельзя было проехать. Сел на тачанку. Крестьяне дали

мне таких лошадей, что это змеи, а не лошади. Никогда еще таких хороших лошадей я не видал.

Приехал я в Мелитополь. Пахомов проинформировал меня, что делается на белом свете. Во-первых, Дыбенко скомандовал отступление и вывел свои войска из Крыма. По дополнительным сведениям, его армия займет фронт по берегу Днепра.

Далее Пахомов сказал:

— Дыбенко сообщил нам, что надо вывезти из уезда все имущество.

С Пахомовым мы обсудили, какую дорогу избрать для отступления. Наш общий обоз составит не меньше тысячи подвод. Да и племенной скот мы вовсе не собираемся оставлять белогвардейцам. Как будем гнать гурты? Как прикроем войсками отход всей этой махины? Наконец, нужно обеспечить переправу.

Кроме того, я узнал у Пахомова, что Махно объявлен вне закона и на его место назначен опытный, энергичный командир Корчагин, который должен покончить с махновщиной, привести к повиновению махновские полки, наново их переформировать. Мне по приказу Дыбенко следовало связаться с Корчагиным, доложить ему, на какие силы он может опереться, и действовать в дальнейшем согласованно.

На обратном пути я заехал к Корчагину. Его штаб находился на станции Федоровка. Корчагин произвел впечатление серьезного человека. Высокий, широкий в плечах, он отличался военной выправкой, был в свое время эскадронным командиром в старой армии.

Я подробно изложил ему фронтовую обстановку. Здесь вот стоят такие-то части, на которые он может рассчитывать. Тут Новоспасовский полк, в котором усилилось наше влияние. А далее — левее — махновские отряды.

— Как хочешь, так и приводи их, товарищ Корчагин, в божеский вид.

Потолковали и о наших нуждах. Корчагин сказал:

— Насчет снабжения патронами сделаю все, что в моих силах. Но не очень-то полагайтесь на меня. Дать много не смогу. Что отобьете у белых, то и ваше.

Вернувшись в Ногайск, я сообщил своим товарищам о новостях, об указаниях. Мы стали готовиться к отходу, отправляли постепенно обозы с грузом.

Махновские войска, как уже я говорил, находились

левее нас. Белые собрали около Большого Токмака сильный кулак и решили, видимо, расправиться с махновской армией. Махно чувствовал, что решается его судьба. Или он докажет советской власти, что он сила, и тогда найдет дорогу к примирению, останется в какой-то командной роли, или будет окончательно разбит, раздавлен. И он сконцентрировал все свои наиболее сильные отряды (за исключением Новоспасовского полка, который уже не исполнял его приказы).

В течение целой недели шло сражение в районе Большого Токмака. Дольше Махно выдержать не мог.

Белые расколошматили Махно, хотя и у них погибли лучшие полки. Но они одержали верх, потому что были лучше вооружены, да и воинская выучка сказалась.

Исход этого сражения заставил нас не медлить с отступлением. Я получил указание от Корчагина оттягивать свои части на Мелитополь и быть готовым отходить дальше.

В боевом порядке мы постепенно отступали, занимая все новые позиции. День отдохнем, потом покроем тридцать километров, снова дневка и опять — тридцать километров. У нас хватило времени для этой организованной эвакуации. Отступали мы вместе с мелитопольцами.

10

Предстояло переправляться через Днепр. Пахомов предложил мне:

— Съездим посмотрим, что за переправа. Как бы там не застрять. А то не успеем переправиться, и белые нас сбросят в Днепр.

Поехали в обгон наших обозов. Переправа была слабенькой, еще более ненадежной, чем мы предполагали. Наши грузы уже двигались на другой берег — лошади, повозки. Но образовался изрядный затор. Грузились на ветхий паром. Дело поневоле шло медленно. Это было у села Малая Лепетиха. Мне сопутствовала Роза. Я выставил там караул из своих бойцов и поручил Розе поддерживать порядок и наладить связь. А сам вернулся к своим главным силам.

Я распорядился сбавить скорость нашего марша, потому что, если поторопимся, увеличим лишь толкотню у парома. Связался с Корчагиным. Он мне заявил:

— Ты поезжай, бери в свои руки переправу. А я тут покомандую и правым флангом. Ты нужней на переправе.

Переночевав, я опять помчал в Малую Лепетиху. Здесь я увидел неотрадную картину. К этому времени основная часть подвод с бердянскими грузами была уже у берега. Их начали теснить подводы мелитопольцев. Подошли к переправе и матросские броневые автомобили. Этих броневиков я насчитал у Днепра до тридцати штук. Братишечки-матросы требуют очистить им дорогу, кричат, что должны сохранить свои боевые машины и переправиться в первую очередь. На берегу я застал и кавалерийский полк. Эти конники тоже требовали для себя первоочередности. Появился и пехотный полк. Беспорядок отчаянный. Гурты скота. Волы, кони, коровы. Вопли. Рев. Повозки трещат, ломаются. Жуть, ужас на берегу. Нужно навести какой-то порядок, иначе все это может очутиться, несомненно, под водой.

Я убедился, что совершенно беспомощен в этом хаосе. Однако я знал, что неподалеку, в Никополе, находится Дыбенко. Решил пробраться к нему. Переправился с невероятными усилиями. Два раза меня чуть не сбросили в Днепр. Но все же добрался к Дыбенко. Это был высокий здоровенный человек в кожаной куртке. Во взгляде, в повадке чувствовалась воля. Он спросил:

— Ну как твои бердянцы? На когтях?

«На когтях» — это значило бегом, то есть рвут когтями землю. Я ответил, что мы отходим в полном боевом порядке.

— Что же тебе нужно?

— Вы, видимо, не знаете, что тут у вас творится.

— А что такое?

Я обрисовал дела на переправе. Дыбенко внимательно слушал. Я сказал:

— Там нужна крепкая воля. Может быть, туда следует бросить батальон моряков, иначе все будет в Днепре, а имущество ценное.

— Гм... Котов, взять пулемет, взять двадцать бойцов. Сейчас поедем на ту сторону Днепра.

Я поехал вместе с Дыбенко. Интересно, как же он сумеет навести порядок? Уже в то время он был легендарной личностью. Словечко «храбрый» не подойдет для его характеристики. Храбрый — это каждый из нас. Ему была свойственна ошеломляющая храбрость.

Между прочим, именно он с тремя-четырьмя сопровож-

дающими прискакал незадолго до этого в штаб Махно и объявил там Махно вне закона. И, не стесняясь в выражениях, облаял весь штаб Махно. Приказал ему явиться в ревтрибунал армии. Заявил:

— Я тебя, подлец, расстреляю, если не выполнишь моего приказания.

Отчитал, как только мог, приспешников Махно, повернулся и уехал. Когда Махно узнал, что Дыбенко приезжал чуть ли не в одиночку, тогда как около штаба находились две или три тысячи махновцев, то с досады кусал ногти. Не мог себе простить, как это он выпустил Дыбенко. И потом при встречах со мной всегда жалел, что не схватил Дыбенко.

Итак, еду с Дыбенко. Перебрались на ту сторону Днепра. Десятка два матросов, которых он взял с собой, проложили ему дорогу. Дыбенко, в бурке, строгий, высоченный, с нагайкой в руке, выходит на берег. У причала уже сгрудился кавалерийский полк на лошадях.

— Командир полка, ко мне! — Голос у Дыбенко такой, что перекрывает весь рев у переправы.— Смирно! Где командир кавалерийского полка?

Слышу, как по скопищу пошло:

— Дыбенко... Дыбенко...

Это имя всем было известно.

Появляется командир полка — смуглый, цыганского типа, подтянутый кавалерист. Дыбенко выпрямляется во весь свой мощный рост.

— Командир полка?

— Так точно.

— Ты зачем тут оказался?

— Переправляться, товарищ Дыбенко.

Дыбенко вытаскивает наган. Раз! На месте ухлопал командира. Водворилась мертвая тишина. Казалось, даже быки перестали реветь.

— Помощник полкового командира, ко мне!

Все застыли. Тишина. Слышен лишь зычный голос Дыбенко:

— Где помощник полкового командира? Прячешься, гад!

К Дыбенко идет ни жив ни мертв помощник командира.

— Возьми свой полк, выстрой, как положено. И отсюда убирайтесь. Выступай на шестьдесят километров прикрывать отступление. Понятно?

— Понятно, товарищ Дыбенко.

— Кругом марш!

— Есть!

Заиграли трубачи. Кавалерийский полк тотчас выступил в полном порядке. Но тут еще и броневики. Опять Дыбенко вызывает командира. Появляется молодой матрос в черном бушлате, в бескозырке. Нелегко ему шагать. Встал перед Дыбенко.

— Командир броневиков?

— Так точно.

Вокруг замерли. Но Дыбенко ведь тоже матрос. Какникак — братишки.

— Ты чего тут околачиваешься?

— Мы, товарищ Дыбенко...

— Какой я тебе товарищ? Тикаете! Позорите армию! Немедленно выступить отсюда на сто верст навстречу белым. Понятно?

— Понятно.

— Ступай, выполняй.

— Есть!

Броневые автомобили покатили в степь. Подводы заняли свои места в длинной обозной череде.

Так удалось в порядке переправиться.

11

Еще будучи на левом берегу, мы созвали наш уездный исполком и поставили вопрос: как существовать дальше? Уезд потерян. Значит, и уездному исполкому приходится складывать полномочия. Поручили двум товарищам — один из них страдал костным туберкулезом, другой был стариком и очень износился в этой нервной обстановке,— поручили ехать в Киев и сдать там дела уездного исполкома, в том числе и денежный отчет. Далее решили, что все остальные члены исполкома пойдут в Красную Армию.

Все вместе мы отправились в политотдел армии. Начальником политотдела был уже Пахомов. Мне он предложил стать комиссаром боевого участка, которым командовал Корчагин. Я спросил:

— А инструкция? Я же не военный. Какие обязанности у меня будут?

— Голова на плечах у тебя есть. И, судя по твоей деятельности, она варит неплохо. Впрягайся в пару с Корча-

гиным. Работы там непочатый край. Сообразуйся с обстановкой. Ясно?

— Более или менее ясно.

— Все. Получай мандат. Езжай.

Я поехал в имение какого-то великого князя — не то Николая Николаевича, не то Михаила Александровича,— в Грушевку на Днепре, где отыскал штаб Корчагина. Его боевой участок протянулся от Грушевки до Херсона. Сюда я постарался перетащить Бердянский и Новоспасовский полки как наиболее дисциплинированные части. И перешел на военную службу.

Махно, как сказано, был объявлен вне закона, скрылся в неизвестном направлении. Командование потрепанными его войсками перешло к Корчагину.

Примерно неделю я присматривался к работе штаба и к самому Корчагину. Высокого роста. Широкий в плечах. Лихой рубака. Прекрасный наездник. Несколько раз он демонстрировал обученных им лично лошадей, которые при определенных понуканиях танцевали или становились на дыбы и ходили на задних ногах со всадником в седле. Это создавало ему определенный ореол.

Был он беспартийным. Командовал в царской армии взводом или эскадроном. Офицерский чин у него был там небольшой. Революцию встретил где-то на румынском фронте и оттуда вернулся на Кубань, где стал командиром красного партизанского отряда. Участвовал в тяжелейшем отступлении красных войск через безводные астраханские пески, где, по моим сведениям, проявил уйму инициативы, мужества, энергии.

Но подготовлен ли он к командованию таким количеством войск? Одно дело командовать лихим эскадроном, иное — когда у тебя тысяч пятнадцать войск. Я начал донимать Корчагина вопросами.

Мои вопросы были таковы: правильно ли расположены у нас на боевом участке силы, правильно ли вооружены наши части, известно ли нам с тобой их вооружение? У меня уже имелся опыт: все виды винтовок в исполкомовской армии. Каков план снабжения наших войск оружием, боепитанием? Как это организовано? Ведаем мы этим или не ведаем?

Все это оставалось неясным.

Вскоре вместо Озерова нам прислали начальника штаба. Молодой красный командир, недавно окончивший

высшую военную советскую школу, товарищ Седин. Этот молодец был потолковее. От него я впервые услышал некоторые военные термины, например «естественное препятствие». Такого рода естественным препятствием, которое могло прикрыть наши войска, служил в данном случае Днепр.

Прибыли и еще несколько человек с военным образованием. В общем, сформировался штаб боевого участка.

Штаб Дыбенко по-прежнему был расположен в Никополе. Однажды Корчагин, Седин и я были туда вызваны. С нами разговаривал Федько — начальник штаба. Это был молодой начинающий штабной работник, когда-то имевший профессию столяра, коммунист и, что называется, дельный мужик, умница. Он выдвинул перед нами требование: отобрать лучшие боевые части и направить под Екатеринослав. Группа белых, которая разгромила махновцев, теперь устремилась к Екатеринославу. Федько говорил:

— Под Екатеринославом надо дать генеральный бой. Поэтому все, что у вас имеется здоровое и лучшее, немедленно передайте нам. Мы заменим некоторые крестьянские необученные части. Иначе не сможем дать белым отпор у Екатеринослава.

Пришлось отдать несколько наших лучших полков,— в том числе и тот, что был составлен из бердянских рабочих, и другой, сформированный, если вы помните, от моего имени. С грустью я расставался с ними. Дыбенко забрал эти полки и двинулся под Екатеринослав давать сражение.

В беседе с Федько, естественно, всплыл и вопрос, о котором я уже говорил Корчагину: надо знать, чем мы обладаем. Федько предложил нам такое решение: Седин и я должны объехать весь наш фронт, расположенный по берегу Днепра от Грушевки до Херсона, и произвести переформирование войск. Инструкций никаких. Действовать на месте в зависимости от обстоятельств. В виде напутствия Федько дал несколько советов. И наделил меня военной кожаной сумкой через плечо. В сумке я обнаружил так называемую полевую книгу, которой еще не касался карандаш, и копировальную бумагу. На бланках из этой книги можно было писать распоряжения и приказы.

Вернувшись в свой штаб, мы с Сединым взяли единственный в нашем боевом участке автомобиль и выехали на фронт.

Прибыли прежде всего в третью Крымскую бригаду, которая отошла сюда из Крыма. Командовал бригадой бывший поручик Маслов. Из двухчасового разговора с Масловым мне стал ясен его облик. К белым он не перейдет. Свою судьбу он связал с красными. Какой случай заставил его воевать на стороне красных против белых — господь ведает, но к белым ему дороги нет. Идеология, коммунисты — это у него постольку поскольку. Комиссар — неизбежное зло, а война — увлекательный спорт. И он был спортсменом войны. Боевые действия, вооружение — все это являлось для него предметом спорта. Он охотно рассказывал о всяких военных эпизодах, о том, как, имея шесть тысяч человек, гнал шестнадцать тысяч, как нажимал, выбрасывал конницу наперерез, не давал опомниться. Эти случаи он расписывал увлекательно, словно охотник, рассказывающий, как он настиг лису. Война для него была своего рода искусством для искусства.

За ним приглядывал спокойный, деловитый комиссар. Фамилию сейчас трудно вспомнить. Кажется, Губин. Очень дельный коммунист, умница, расторопный. Он, как мы заметили, пользовался авторитетом серьезного политического руководителя, незаметно правил и Масловым, направлял Маслова на путь истинный.

Проконтролировали мы эту бригаду. Войска в порядке. Вооружены довольно бедно. Винтовки разнокалиберные. Посоветовали командованию провести некоторую реорганизацию: создать роту французских винтовок, роту таких-то винтовок, чтобы знать, как эти роты снабжены патронами. Маслов и Губин приняли наши указания.

Пробыв дня два в этой бригаде, мы двинулись дальше в своем автомобиле. В дороге потек радиатор, мы его кое-как залатали.

Проинспектировали еще одну бригаду. Далее по фронту располагались так называемые крымские полки. Федько, напутствуя нас, сказал, что эти полки вызывают у него особенные опасения. Там надо потщательнее присмотреться. И поступать решительно. Расформировать и, если будет возможность, разоружить.

Крымские полки действительно не могли внушать доверия. Они точь-в-точь напоминали махновскую армию, мне достаточно знакомую. В полку можно было насчитать лишь четыреста — пятьсот бойцов. Нам сначала говорили: в нашем-де полку шесть тысяч человек. Мы требовали вы-

строить полк, и в наличии оказывалось лишь несколько сот. К тому же они отнюдь не были похожи на бойцов. Не умели подравняться. Команду «смирно» не признавали. Стояли в строю вразвалку, поплевывали, покуривали.

Но вооружены были богато. На четыреста — пятьсот бойцов приходилось двенадцать пулеметов, обильный запас патронов. Таким полкам всюду сопутствовали тысячи голов скота и бесконечное количество возов. На возах располагались женщины. И полк больше беспокоился о безопасности своих женщин, своих овец и волов, чем о выполнении боевого задания. Распущенность тут заразила каждого. Мы пытались говорить о дисциплине. И выносили из таких разговоров самое отвратительное впечатление.

От нас требовали еще пулеметов. И пушек-де у них нет. И боевые задания они не выполняли из-за того, что не имеют пушек. И патронов они от нас не получают.

Эти сетования заставили нас более тщательно проверить наличие вооружения. Обнаружили еще уйму патронов. И выявили арсеналы винтовок. Подсчитали. На каждого бойца пришлось десять — двенадцать винтовок.

Спрашиваем командира:

— Зачем тебе столько? Почему не доносишь, что лежит мертвое имущество?

— Это трофеи. Мы их кровью добывали!

В общем, постепенно картина прояснилась. Однако мы решили так: пока не закончим объезд, никаких мер не принимать. Все организационные мероприятия будем проводить на обратном пути.

Последним пунктом этого нашего объезда стал небольшой город Берислав. В тот раз до Херсона мы не добрались. У нас была уверенность, что Херсон обладает сильными коммунистическими кадрами. По нашим сведениям, на участке, что прилегал к Херсону, был сосредоточен достаточно крепкий кулак. Там стояла бригада. Относительно нее и Корчагин и Федько имели заверения из Херсона, что это проверенная боевая единица и на нее можно положиться. Не доехав до нее, мы повернули обратно в крымские полки, чтобы начать их переформировку.

Это, как вы понимаете, оказалось делом не простым. Сразу же вышло столкновение с полковым командиром. Он стал горланить, развел демагогию насчет штабов. Мы вновь убедились, что эти полки нельзя даже свести в бригаду. Слишком уж озабочены они своей самостоятель-

ностью. И я и Седин не сомневались, что от увещеваний тут толку не будет. И мы начали действовать по-другому. Вызывали к себе батальонных и ротных командиров. Поговорили с каждым. Нашли время ознакомиться с их биографиями. Наметили лиц, которые, по нашему впечатлению, обещали быть сравнительно дисциплинированными. И я писал распоряжение: полковой командир сдает командование такому-то. Этому имяреку приказывается принять полк и выступить со всем вооружением в определенный пункт и там влиться в полк такой-то. Мы уже загодя продумали, какую сделать передвижку, чтобы расформировать, рассеять крымские полки.

Приказ встречали криком, руганью, угрозами. Грозились нас тут же расстрелять: «Мы кровью завоевали...» — и так далее.

Атмосфера настолько накалялась, что всякий из отстраненных командиров мог действительно застрелить тебя на месте. Но оказалось, что власть есть власть, и если твердо и умело ею пользоваться, то можно и вдвоем быть сильнее толпы горлопанов.

Полевая книжка — подарок Федько — мне тут пригодилась. Вынимаю ее, строчу — получается внушительно. Спокойно вывожу слова приказа, подписываем вдвоем: начальник штаба и комиссар боевого участка. В книжке остается копия.

Предлагаю отстраненному командиру выбор:

— Не выполнишь распоряжения — объявим вне закона. А подчинишься, сдашь командование и вооружение, то отправляйся потом в штаб боевого участка, там получишь новое назначение.

— Какое?

— Там будет видно. То ли тебе полк дадим, то ли батальон. Я сейчас этот вопрос не могу решить.

Вам я излагаю это в довольно милых тонах. Но человека, который обладает тысячной ватагой, пулеметами, обозами, скотом, нелегко уговорить. Впрочем, мы и не уговаривали:

— Мы приехали не спорить, а вами командовать. Понятно?

Неохотно откликается:

— Понятно.

— Не донесешь об исполнении — считай себя вне закона. Вышлю чрезвычайный отряд и разоружу. Понятно?

— Понятно.

— Вот думайте и обсуждайте. И вот тебе срок, чтобы прибыть в штаб боевого участка.

Так от полка к полку и двигались. Автомобиль накопец вовсе отказал. Добыли коней, пересели в седла. В очередном полку опять проделывали свою работу. Опять нами возмущались, обступали нас толпой, орали, что не будут подчиняться.

— Что же, не подчиняйтесь. Я приказ отдал. И неужели вы думаете, что я буду тратить время на разговоры с вами? Буду убеждать, что дисциплина в армии нужна? Если не знаете этого, сдайте оружие. Если знаете, исполняйте приказ высшего командования.

— Мы кровью доказали. Не позволим нас расформировывать!

— Не позволите — сдавайте оружие. Война — это значит слушаться приказа. Не нравится — уходите на ту сторону. Мы будем знать, кто с нами и кто против нас.

Аргументы убийственные. Тон спокойный, будто за мной отряд. И хотя никакого отряда не было, я иногда о нем упоминал.

— Не подчинитесь приказу — прибудет отряд и всех вас разоружит.

— На нашу голову комиссаров сволочей сюда нагнали!

— Сволочи или не сволочи, а комиссары. И им даны права, которые извольте признавать. Иначе не выйдет. Надо воевать. Надо быстро привести части в порядок, пока мы отделены от белых естественным препятствием — Днепром. Если бы этого естественного препятствия не было, то, пока вы на меня орете, белые бы уже сюда нагрянули. Нам предстоят серьезные сражения. Надо знать, какими силами мы располагаем. Не можем воевать — так нечего позориться. Можем — так нужен порядок, учет сил.

Спокойный тон производил чуть ли не гипнотическое действие.

Полки выступали в указанные им места, сдавали запасы оружия. Таким образом более здоровые части, но слабо вооруженные были подкреплены вооружением. Сразу появился авторитет нашего штаба. Штаб вооружает! Почувствовалась железная рука, которая начинает шерстить. Почувствовалось армейское строгое устройство. Что, собственно говоря, и требовалось доказать.

Мы вернулись в штаб из первой своей инспекционной поездки. Доложили обо всем, что нами проделано. Узнали, что наши лучшие полки, которые от нас потребовали под Екатеринослав, были там разбиты. Почти полностью в бою погиб и наш Бердянский полк. Белые заняли Екатеринослав. Фронтовая обстановка становилась все серьезней.

Вероятно, неделю мы еще спокойно простояли, вели свою работу, устанавливали связь с бригадами и отдельными полками нашего участка, проверяли, как исполняются отданные нами распоряжения, и т. д.

В эти дни к нам прибыли на переформирование некоторые части, разбитые и потрепанные под Екатеринославом. Это были главным образом кавалеристы, совершенно деморализованные и разложившиеся. Уже по первому впечатлению было видно, что никакой боевой стойкостью они не обладали. Среди них распространились открыто бандитские настроения. Едва эти полки появились в нашем расположении, тотчас же крестьяне стали жаловаться: грабят, жгут огнем пятки и вымогают деньги.

Пришлось круто воздействовать, применить власть.

Как-то привели ко мне четырех грабителей. Три человека — явно уголовный элемент, переступивший последнюю черту морального падения. Лишь глянешь — это видно сразу. Четвертый — мальчишка лет шестнадцати. Он плачет.

Я их поочередно допросил. Из короткого допроса (на долгие нет времени) установил, что первые трое заведомо промышляют бандитизмом, и решил тут же их участь. Потом взялся за подростка.

— Как тебя звать?

— Шурка.

Стало его жаль просто как мальчишку. Я учинил ему самый жесткий допрос с пристрастием, выясняя обстоятельства, при которых он попал в компанию уголовников. От этого Шурки я узнал, что он вырос без отца, жил у матери, познакомился с тремя кавалеристами. Они научили его играть в карты и, конечно, обыграли так, что он задолжал им сотни тысяч. И поэтому занялся для них разведкой, указывал богатых крестьян. Он и разведывал, и участвовал в ограблении.

Их жертвой был крепкий мужик, хозяин, кулак. Схватили его, потребовали денег. Тот отдал деньги, где-то спрятанные. Тут же находился и Шурка. Это уже был не первый их налет. Когда мужик уперся и больше денег не давал, они его связали и принялись горячим железом калить пятки. За этим прекрасным делом их застала очередная облава нашей комендантской роты.

Пока я продолжал допрашивать Шурку, ворвалась его мать. Она рыдала, как рыдала бы и всякая другая мать. Пощадите ее ребенка. Пожалейте. И я еще сильней ощутил жалость. Прочел мальчишке лекцию, что и его надо было расстрелять. Но так как тебе только шестнадцать лет и ты не совсем испорчен, то, если дашь слово искупить свои грехи, поверю тебе, прощу. Он с ревом обещал. Я еще добавил:

— Ты увидишь, как расстреляют этих твоих приятелей.

Действительно, мы расстреляли этих трех бандитов перед строем полка в присутствии Шурки. Полку я объявил, что и мальчишку следовало бы расстрелять, но этого не будем делать.

— Думаю,— говорил я,— что он еще может вырасти честным бойцом, если попадет под хорошее красноармейское влияние. Если же влияние будет вредным, он пропадет. Поэтому оставляю его при штабе. Сам послежу за ним.

С тех пор Шурка очень привязался ко мне. Исполнял самые рискованные, самые отчаянные поручения. И не покидал меня в труднейшие моменты, о которых дальше расскажу.

Еще один эпизод можно отметить. Мне стало известно, что у командира одной из растрепанных частей, которые к нам были присланы, имеется сестра, которая разлагает и его, и весь комсостав полка, достает спирт, доставляет проституток и т. д. Я ее вызвал:

— Предупреждаю, если ты будешь спаивать командиров и заниматься прочими своими зловредными делами, не посчитаюсь, что ты женщина,— расстреляю перед строем.

Она ревела, каялась. Я ее отпустил. Но потом довелось снова с ней столкнуться. Она была самым отъявленным моим врагом. Хотела выцарапать мне глаза, когда махновцы меня арестовали. К этому мы скоро подойдем.

Однажды меня разбудили среди ночи:

— Товарищ комиссар, срочно к телефону.

Беру трубку:

— В чем дело?

— Прорыв фронта.

Ушам не верю. Может быть, со сна померещилось? По телефону докладывают:

— С правого фланга полк такой-то и с левого фланга полк такой-то не могут установить связи с мелитопольским полком, который расположен между ними.

— Куда же он делся?

— Неизвестно.

Ничего не пойму. Пытаюсь выяснить:

— Может быть, было сражение, противник ворвался, погнал?

— Никаких выстрелов никто не слышал.

По-прежнему ничего не понимаю. Приказываю выслать усиленную разведку в оголенный промежуток фронта. Разведке пройти всю эту местность до соединения с ближайшей воинской частью, донести к утру, что по фронту восстановлена живая связь. Разузнать в селах, куда делся исчезнувший полк.

Часов в восемь нам в штаб доносят: мелитопольский полк ушел на хутора. Отступил километров на пятнадцать в тыл — и вся недолга! Это был крестьянский полк с махновскими замашками. Зная, что в полку есть такой душок, мы вплоть до переформирования не давали туда пулеметов.

Обсудили в штабе происшествие. Приняли решение: Дыбецу и Седину выехать в мелитопольский полк, вернуть его на место, а в случае неповиновения разоружить.

Опять выехали с Сединым. К этому времени нам удалось отремонтировать свой автомобиль. Но бензина не было, двинулись на чистом спирте. Путь лежал к Херсону. Прикатили на нашем вдребезги разбитом, скрипучем автомобиле в городок Берислав. Далее линия фронта прерывалась, тянулся покинутый, опустевший промежуток.

В Бериславе нам рапортовал начальник гарнизона Лунин, подтянутый, волевой командир. От него мы узнали, что мелитопольский полк действительно отошел в тыл и расположился отдыхать.

Взяв с собой Лунина, мы втроем на конях поехали к командиру мелитопольского полка. Нашли его где-то на хуторе. Типично бандитская рожа. На бритой башке чуб. Сам здоровенный, откормленный, потянет, пожалуй, пудов на семь. При нем лихой начальник штаба.

— Кто разрешил отступать?

— Да вот народ эдак надумал. Нужно и переформироваться, и одеться, и помыться.

— Значит, помыться захотелось. Но вы же стояли на Днепре. Воды для вас там не хватило?

— Горячей воды надо.

— Что же, может быть, и надо. Но кто разрешил? Кто позволил уйти с фронта в баньки? Разрешение ты спросил?

— А у кого спрашивать? Никто о полке не заботится. Полк доведен до такого состояния, что патронов нет, пулеметов нет, обуви нет...

Он в повышенном тоне стал перечислять свои нехватки. Наконец выговорился.

— Дело серьезное. Ты же военный человек?

— Военный.

— В старой армии ты служил?

— Служил.

— Так чего же тебя учить? Командир взвода вместе с бойцами оставил фронт. Что с таким взводным сделает командир полка?

— Я же не сам. Теперь армия народная.

— А в народной армии, по-твоему, нет приказов? Ну, был бы ты на моем месте начальником или комиссаром боевого участка. И у тебя в боевой обстановке полк самовольно снялся и ушел. Что с таким полком и с таким командиром делать?

— Я же вам говорю: народ.

— А ты донес?

— Не донес.

— Что же ты думаешь? В солдатики мы тут играем? Это потешный полк или воинская часть? Если думаете играть, так и скажите. Оставьте оружие, а мы дадим тем, кто может носить оружие с честью.

Сидит, молчит, закурил трубку.

— Что замолчал?

— А что говорить? У меня народ.

— Так кто же ты? Сельский председатель? Или командуешь боевой единицей? Раз ты командир, для тебя обязателен приказ.

— А народ не слушает.

— Относительно народа мы еще рассудим. Но сначала с тобой. Ты что думаешь — награду тебе за это дать? Или как?

Потягивает трубку, молчит.

— С твоим полком мы поговорим. А тебе вот предписание: сдать командование заместителю, а самому направиться в распоряжение начальника боевого участка в штаб. Ясно?

Достаю из сумки полевую книжку. На чистой странице появляется из-под моего карандаша приказ. Отрываю лист. Вручаю. В книжке остается копия.

— Распишись.

Это всегда очень сильно действует. Он нехотя расписывается.

— Должен тебя предупредить: если не явишься, мы это расценим, что ты перешел к белым. Понял? Командование сейчас же сдай. Пиши приказ. А полк пусть выстроится на митинг.

Отстраненный чубатый командир, прищурясь, обращается к своему начальнику штаба:

— Собери полк.

Тот, видимо, уловил какой-то знак.

— Есть. Слушаюсь.

В окно видим: начальник штаба вскочил на коня, помчался.

Мы тем временем еще нажали, заставили командира подписать приказ о том, что он сдает командование.

14

Затем на конях отправились на митинг. Семипудовый исполин, которого мы сместили, тоже сел в седло и поехал с нами.

Полк уже был выстроен замкнутым квадратом. Пехотный полк. У всех винтовки. Такого приказания — построиться с оружием — мы не давали. Очевидно, главари полка пытались оказать психологическое воздействие на меня, Седина и Лунина. Мы переглянулись. Седин был горячим

парнем. И в минуты опасности бесстрашным. Лунин — более спокойный, выдержанный, но тоже решительный. У нас — лишь по нагану, даже сабель не было.

Переглянулись мы и, не сворачивая, не приостанавливаясь, врезались лошадьми в строй. Бойцы расступаются, дают дорогу. Но вслед за нами строй смыкается.

Въехали в центр. Всем мы видны. Приказываю полковому командиру:

— Открывай митинг, давай мне слово. Я объявлю, зачем приехал.

Со всех сторон — несусветный галдеж. Командир призывает к порядку — ни черта не выходит. Явно был умысел нас припугнуть: вот-де какая масса непокорная, как ею командовать? Я шепнул Седину:

— Бери председательствование и гаркни «смирно», чтобы все услышали.

Седин подождал минуты три и как гаркнет:

— Смирно! Слушать меня! Или вы полк — и тогда стойте смирно, или вы попросту толпа — и тогда с вами разговаривать нечего. Открываю митинг. Слово предоставляется комиссару боевого участка товарищу Дыбецу.

Все это он произнес громко, отчетливо, по-военному. Шум схлынул. Я начал свою речь:

— Полк самовольно ушел с фронта. Все другие полки боевого участка требуют разоружить вас.

В ответ:

— Долой! — И угрожающий рев: — А-а-а-а!..

Седин опять зычно скомандовал:

— Смирно! Что это за выходки? Слушать начальника!

После нескольких «смирно» установилась тишина. Я продолжал:

— Можно ли воевать, если каждая воинская часть будет по собственному усмотрению оставлять фронт? Как командовать такой армией? Партизанские отряды могут передвигаться на свой риск, но вы же являетесь полком регулярной армии. И обязаны исполнять законы армии.

— Мы народ! Почему сместили командира? Он ни при чем.

— Если вы народ, а не полк, сдайте оружие. И мы будем знать, что вы не полк.

— Не сдадим!

— Кровью себе добыли оружие!

— Не посмеете забрать оружие!

И винтовки уже взяты наперевес, строй ощетинился штыками. Меня это мало смутило. Если эти парни набрались нахальства поднять винтовки, то озлился и я. И повел речь по-другому:

— Я думал, что вы красноармейцы, а вы просто пособники белогвардейцев.

Ух как зашумели! Винтовки еще грознее поднялись.

— А как же вас назвать, когда вы направляете винтовки против красных командиров? Вы себя позорите! Опустить винтовки! Иначе ни слова больше не скажу.

Гляжу, винтовки опустились.

— Что, испугать меня хотели? Думаете, я правду говорить не буду, если винтовки на меня уставлены? Дураки!

Стали меня слушать, не перебивая.

— Я имею решение командования, чтобы вы снова заняли свой фронт. Откровенно говоря, я не уверен, можно ли вас послать на фронт. Кто вы, если подняли винтовки на своих командиров. Можно ли на вас положиться как на боевую часть? Я лично в этом сомневаюсь. Но сомневаюсь или не сомневаюсь, приказ боевого участка я обязан выполнить. Предлагаю в трехсуточный срок занять прежние позиции. Полкового командира мы сменили. Вместо него назначен такой-то. Если приказание, которое вы от меня слышали, не будет в срок исполнено, мы вас разоружим. Имейте в виду, что у советской власти хватит сил на это. Клянусь — в случае неповиновения я вас разоружу!

И ничего больше не прибавил. Тронули мы своих коней. Строй перед нами раздвинулся, мы втроем выехали. Затем спокойно, легкой рысью двинулись по степной глади. Никакой погони, ни одного выстрела вослед. Вернулись без помех в Берислав в штаб Лунина.

15

Стали мы судить-рядить, что же будет дальше? Так или иначе, какой бы оборот дело ни приняло, надо быть готовым применить силу.

Не возложить ли на полк Лунина эту задачу? Нет. Мелитопольцы там, мелитопольцы и здесь.

Надо где-то в другом месте отыскать надежную, крепкую часть. Покатили мы с Сединым в Новоспасовский полк. Там по старому знакомству мне обрадовались. Мы

приняли рапорт, расспросили про фронтовое житье-бытье, про дисциплину. Нас с гордостью заверили, что новоспасовцы исполняют приказы лучше всех, что дисциплина в полку строгая. Никто без разрешения командира не только лошадь, но и хотя бы полпуда овса не заберет у крестьянина. Действительно в полку был виден порядок.

Здесь следует сказать, что Куриленко уже не командовал новоспасовцами. Несколько ранее произошел инцидент, о котором я не упомянул. Изложу коротко эту историю.

Однажды, еще до отхода за Днепр, Дыбенко инспектировал наши войска. С ним ездили Корчагин и я.

В ту пору Дыбенко наведался и к новоспасовцам. О полковом командире Куриленко он был наслышан, знал о его причастности к махновщине. И с места в карьер по своей горячности начал пушить командира новоспасовцев.

— У тебя полк не в порядке.

— Укажите, в чем же беспорядок.

— Сам об этом знаешь. Тебе была поставлена задача ударить по белым, когда они перли на Токмак. Ты ее не выполнил.

Куриленко заявил, что в тот момент, когда он получил задание, в полку было лишь по двенадцать патронов на бойца, о чем он немедленно донес, и в том же донесении просил дать патроны.

Я в то время не очень ясно разбирался в подобного рода делах. Возможно, Куриленко схитрил, не хотел идти туда, где дрались махновские отряды,— он тогда, как уже говорилось, все решительней разрывал с махновщиной,— и, по-моему, не дал полка, рассудив так: ничего не выйдет, кроме того, что полк будет разбит.

Дыбенко в присутствии многих новоспасовцев продолжал честить их командира, не считаясь с его самолюбием. Не менее горячий Куриленко под конец довольно дерзко отвечал. В итоге, когда мы выехали из полка, Дыбенко отдал такой приказ: снять Куриленко с командования и направить к нему в Никополь.

Это распоряжение Корчагин не мог выполнить до отхода за Днепр. Да и потом не стал трогать Куриленко. Я тоже не ворошил этого дела. Полк очень крепкий, наша опора, так пусть Куриленко остается.

Однако Дыбенко не позабыл о своем приказе. Однажды он просматривал перечень полков, занявших линию

фронта по Днепру, и увидел фамилию Куриленко. И вновь подтвердил прежнее распоряжение.

Эту операцию пришлось проводить мне. Такого рода неприятные вопросы Корчагин неизменно взваливал на мою комиссарскую спину. Я послал Куриленко телеграмму: сдать командование полком заместителю, а самому прибыть к нам в штаб.

И вот явился Куриленко с эскадроном кавалерии. Я к эскадрону не вышел. Ведь был вызван Куриленко, а не эскадрон. Этак каждому захочется в разговоре с начальником иметь под рукой свой эскадрон. Хороши же мы тогда будем!

Требую к себе Куриленко. Он входит с восемью делегатами. Говорю:

— Я звал одного Куриленко, а вас, товарищи, не приглашал.

— Товарищ Дыбец, с тобой хочет эскадрон поговорить.

— Эскадрону тут не место. И вам здесь делать нечего, можете идти. Мне нужен только Куриленко. Поговорю с ним, а затем подумаю: может быть, буду разговаривать с эскадроном, а может быть, не буду.

Новоспасовцы хорошо знали меня и не ожидали такого афронта. Всегда их хвалил, много раз выступал перед бойцами, и вдруг такая резкая перемена.

— Мы, товарищ Дыбец, конечно, выйдем. Но ты нас потом прими.

— Если найду время, может быть, приму.

— Нет, ты уж, пожалуйста, прими.

— Хорошо, приму. А пока что до свиданья.

Ушли, оставив меня с глазу на глаз с Куриленко. Я напустился на него:

— Как ты выполняешь распоряжение? Зачем привел сюда эскадрон? Если каждый полковой командир станет выкидывать такие номера, что же это будет? Армия или что?

Он выслушал, не потеряв внешнего спокойствия. Кажется, раньше я его уже обрисовал. Это был действительно красавец воин двадцати четырех лет, белокурый, лихой. Не знаю, скольких усилий ему стоила в ту минуту сдержанность. Но он собой владел.

— Товарищ Дыбец, не я вел эскадрон, а эскадрон привел меня как арестованного.

— Брось эти сказочки.

— Хотите — верьте, хотите — нет. Полк меня иначе не отпускал. Я готов, товарищ Дыбец, выполнить любое распоряжение. Но об одном тебя буду просить. К тебе я приехал, а дальше не поеду. К Дыбенко не явлюсь. Мне несдобровать. А ты знаешь, что я делал, всю мою боевую деятельность видел. И я смею думать, что в Красной Армии пригожусь. Я честно служил и честно дрался с белыми. Все боевые задания исполнял за исключением одного, которое выполнить не мог.

Он говорил стоя. Плечи были по-военному развернуты, руки держал по швам.

Обдумывал я, обдумывал: как тут поступить? Нет, не отдам этого воина. Он же действительно дисциплинированный хлопец.

— Ладно. Подумаем. Ты иди к своим ребятам, успокой их, скажи, что за эскадрон тебе влетело. А я тут в штабе посоветуюсь.

Пошел я к Корчагину, вызвали мы Седина и стали держать совет. Я предложил попросту спрятать Куриленко у нас в штабе. Оставить его во главе полка нельзя, ибо полковые командиры на учете у Федько и у Дыбенко. Снимем и, пока суд да дело, приютим у себя в штабе. Корчагин упирался. Седин хмыкал, не сразу высказал свое суждение. Но он сам горячий парень, сам может надерзить. А я рассказал всю историю, как она фактически произошла. Ведь разнос, который учинил Дыбенко, был не очень обоснованным. Ты, Корчагин, там присутствовал. И все знаешь. Если бы мы бросили на Токмак новоспасовцев, которые действительно нуждались в патронах, то сегодня мы не имели бы этого полка.

Седин принял мою сторону. Корчагин поколебался-поколебался и внял моим уговорам:

— Черт с тобой. Спрячь где-нибудь под свою ответственность.

Получив такое разрешение, я вышел к новоспасовцам. Позвал делегацию из восьми человек к себе.

— Вот что. Приказ штаба остается нерушимым. Куриленко должен сдать своему заместителю командование полком. Если вздумаете ослушаться своего нового полкового командира, расформируем полк, разбросаем роты по другим полкам. Вы уже нарушили дисциплину, явившись с эскадроном. Это по закону военного времени строго карается, но так как я знаю ваши боевые заслуги, то из этого

факта не делаю выводов, которые требовали бы предать вас суду.

Вот такую декларацию я им объявил, хотя все мои симпатии были на стороне этих уже закаленных воинов. В делегации были опытные, уважаемые новоспасовцы, некоторые с бородами. Принялись они меня усовещивать:

— Мы помним, как ты приезжал к нам в Новоспасовку, как ты нам помогал. Хорошая молва о тебе идет. Тебе мы верим. Большевик и коммунист. Это знаем. И доверяем тебе нашего командира. Ты понимаешь, Дыбец, угроза тут неуместна, мы люди военные, но если что-нибудь с ним случится, с тебя будем спрашивать. Ты не обижайся. Но только таких, как Куриленко, у нас мало. Имей в виду, что твои приказы будут выполнены. Но не дай бог выйдет какой случай с Куриленко. Не дай бог его нам потерять.

Я сказал:

— Вы угрожаете? Думаете, что Дыбец трус и из трусости не решится поступить с Куриленко по закону? Или считаете, что вообще военного закона нет? И революционного закона нет?

— Ты не сердись. Ты подойди по-человечески. Ей-богу, жалко Куриленко.

— Не надо меня в этом убеждать. Мы знаем цену Куриленко и его побережем. Теперь забирайте свой эскадрон, чтобы этой демонстрацией и не пахло. Понятно? И не вздумайте еще когда-нибудь нас припугнуть. Так легко вам это не сойдет. Возвращайтесь в полк. А Куриленко останется в штабе.

На этом покончили. В дальнейшем я сообщил Федько, что Куриленко находится при штабе. Федько это санкционировал:

— Держи у себя. А там будет видно.

16

Итак, приехали мы с Сединым к новоспасовцам. Потолковали с командиром полка насчет разоружения мелитопольцев. Он покрутил головой:

— Не подниму этого дела. Мы бердянцы, они мелитопольцы. Соседи. Свои люди. Тут, товарищи, будет осечка.

— Но ты же командир!

— Не хватит моего авторитета. Вот ежели бы Куриленко...

— Что Куриленко?

— Если он встал бы во главе, за ним пошли бы... А без него лучше не лезть в такую кашу. Только смутим бойцов.

Вернуть Куриленко в полк мы, конечно, не могли. Что делать? Доводы командира были вескими. Побыли мы еще в полку и пришли к выводу: да, посылать новоспасовцев — это рискованный шаг. А рисковать нельзя! Переплет такой, что действовать следует наверняка.

Где же найти силу, которая без колебаний разоружит ушедший с фронта полк?

Стали мы прощупывать дальше по фронту — нет ли надежных частей, которым можно поручить разоружение. Добрались почти до Херсона, в бригаду, расположение которой захватывало и этот город. Командир бригады доложил, что имеется одна воинская часть, вполне пригодная для предстоящего нам дела. Она стоит в Херсоне, сколочена из моряков и спартаковцев-немцев. Херсонский ревком о ней заботится, держит ее под своим влиянием. Этот отряд сильно вооружен, отлично дисциплинирован, выделяется сознательностью.

Тем временем, пока мы ездили туда-сюда, истек трехдневный срок, что был дан мелитопольцам. Полк на фронт не вернулся. И смещенный командир не сдал командования. Что же, надобно применять силу.

Выехали в Херсон. В дороге, ак назло, наш автомобиль вовсе отказал. Пришлось опять двигаться на лошадях. В Херсоне мы сначала явились в уком. Нас направили в ревком. Пришли к Кириченко, председателю ревкома. Он созвал заседание.

Я выступил с речью. Во-первых, предъявил членам ревкома свой мандат. Вот, товарищи, я комиссар боевого участка Грушевка — Херсон включительно. По закону военного времени все гражданские власти и все воинские части, независимо от их назначения, подчиняются командованию, несущему ответственность за боевой участок.

— Как, товарищи, правильно я понимаю свой мандат или неправильно?

— Правильно, но мы подчинены Одессе как укрепрайон.

— Без наших войск вашему укрепрайону грош цена. Если мы левым флангом начнем отступать и прикажем сдать Херсон, ничего другого вам не останется, как ухо-

дить. Сила ваша в том, что наш боевой участок имеет столько-то тысяч войск. А что у вас? Один отряд особого назначения и десяток пушек. Ненадолго этого хватит. Мы держим бригаду под Херсоном. Если придется вести бой за Херсон, мы бросим сюда еще одну бригаду. Или вы думаете защищаться этим отрядом? Чепуха, несерьезно.— Далее я сказал: — Я приехал осуществить здесь свои права. Отряд моряков и спартаковцев нужен нам для одной операции. Сообщу вам по секрету: у нас начинается разложение фронта. Если фронт разложится, то и вам здесь делать нечего. Мне нужно разоружить полк. И для этой операции я беру этот отряд как наиболее надежный. Понятно?

Херсонцы начали со мною спорить. Отряд — это их единственная вооруженная опора. Я понимал ревкомовцев, но говорил твердо:

— Я приехал не спорить, а объявить приказ штаба боевого участка. От этого приказа я не отступлю.

— Мы должны снестись с Одессой.

— Одесса нами не командует. Мы получаем распоряжения от Федько. И все войска в пределах нашего боевого участка нам подчинены. Благоволите выполнить мое приказание добровольно. Не выполните — введу в город бригаду и заставлю выполнить.

Председатель ревкома заявил, что он еще посовещается в укоме и потом даст ответ.

— Никаких ваших ответов ждать не станем. Вам приказ объявлен. И мы будем действовать.

Пока шло заседание, мы заметили, что по городу бегает несколько прекрасных автомобилей «пирс-эйлау». Седин мне шепнул:

— Я буду не я, если один автомобиль не отниму, а то обратно не на чем ехать.

На другой день к нам прибежали наши шоферы:

— Тут шесть автомобилей, а мы мучаемся. Ей-богу, берите один автомобиль.

Грешным делом, и я склонился к тому, чтобы взять у херсонцев один автомобиль. Но пока послал шофера к командиру отряда особого назначения:

— Разыщи его. И скажи, чтобы немедленно ко мне явился.

Пришел матрос — командир отряда. Я подал ему свой мандат. Парень долго и внимательно читал.

— Понял,— сказал он.

— Что же ты понял?

— Понял, что нахожусь в вашем распоряжении. Ваши приказы для меня обязательны.

Я вздохнул с облегчением. Порадовала дисциплинированность.

— Теперь ты мне вот скажи, брат. Предстоит такая-то операция. Как отнесется твой отряд? Пойдут твои ребята на это дело?

— Мои ребята пойдут в огонь и в воду.

— А спартаковцы?

— И они тоже.

— Сколько у вас пушек?

— Четыре трехдюймовки, две гаубицы и две шестидюймовых.

— Пулеметов?

— И пулеметов достаточно. Есть и «максимы», есть и кольты.

— Хорошо.— Я вынул свою полевую книжку.— Так писать тебе предписание? Но писать я буду только в том случае, ежели ты выполнишь. А то зачем зря марать бумагу.

— Выполню.

— Вот тебе письменное приказание комиссара боевого участка и начальника штаба. На рассвете выступить в таком-то направлении. Боевое задание тебе устно передается, на бумаге не фиксируется, потому что это секретно. Собери командиров, объясни задачу. Бойцам объявишь лишь перед началом операции. Выступи со всем вооружением.

— И с пушками?

— И с пушками. Ясно?

— Ясно. Но вопрос в том, что надо бы отряд перебросить на подводах. А лошадей у меня нет.

— Скверно. Тогда мы вот что сделаем.

В городе был уездный военный комиссариат. Его возглавлял военком. Вызвали мы этого товарища.

— Военком?

— Да.

— Познакомься с моим мандатом. По уставу ты подчиняешься командованию боевого участка.

— Так точно.

— Вот тебе задание: мобилизовать до рассвета всех тяжеловесных лошадей у возчиков и передать командиру отряда.

— Времени осталось мало.

— Что значит времени мало? Действуй энергичней! Это боевое задание. Находимся в боевой обстановке.

— Я должен снестись с Одессой.

— С кем хочешь. Дело твое. Распишись, что получил предписание мобилизовать к утру столько лошадей, сколько требуется командиру отряда. Всё. Идите.

Военком и командир-матрос ушли. Конечно, ревком всполошился. Что же вы делаете? Забираете всех лошадей. Забираете все пушки. Опять я заявил:

— Всю ответственность за город беру на себя. Не будете выполнять моих распоряжений — займу город бригадой. Я же, товарищи, приехал сюда не дискуссию разводить, а дело делать. Не дадите к утру лошадей — самые крутые меры утром примем.

Эти споры закончились часа в три ночи. Мы с Сединым легли на столах спать. Но и долго спать на столе неудобно, и времени в обрез. Проснулся я с рассветом. Разбудил Седина.

— Идем к военкому проверять, что он успел сделать.

В военкомате обнаружили только дежурного. По телефону вызываем военкома. Нет его, и только. Соединяемся с командиром отряда.

— Пришли мне шесть бойцов в мое распоряжение.

— Есть. Сейчас пошлю.

Приходят шесть матросов. Спрашиваю:

— Знаете, где живет военком?

— Знаем.

— Приведите его под конвоем сюда.

И вот через полчаса уездный военком под конвоем матросов явился в свое учреждение. Матросов мы отпустили.

— Где лошади?

— Не было времени. Мы же с вами до трех ночи заседали.

— Лошади где?

— Товарищи, что вы от меня хотите? Я же не мог исполнить.

Тут мой горячий Седин размахнулся и влепил бы оплеуху, если бы я его не придержал. Посадили мы военкома рядом с нами и начали его руками управлять городом. Как

и у каждого военкома, у него была какая-то воинская часть.

— Вызови командира.

Явившемуся командиру приказали:

— Мобилизуйте всех тяжеловесных лошадей города. Понятно?

— Понятно.

— Через час доложи, сколько собрал лошадей.

Через час нам доложили, что смогли мобилизовать только пятнадцать или двадцать лошадей. Все коновозчики узнали, что забирают лошадей, и сбежали из города.

— Значит, не можете дать больше двадцати? Хорошо же вы исполняете приказ боевого участка. Взять лошадей из всех пожарных частей города!

Прибегает председатель ревкома.

— Караул! Что делаете? Оставляете город без пожарных лошадей!

— Да. Чего же вы моргали, вместо того чтобы исполнять мое распоряжение? Садись, помогай раздобыть лошадей!

Тут мы, кстати, узнали, что военком располагает новым очень хорошим «пирс-эйлау». Седин настрочил записку: «Мой автомобиль передаю в полное распоряжение начальника штаба боевого участка Седина и комиссара Дыбеца. Военком такой-то». Пришлось военкому поставить свою подпись.

— Ваня!

Ваня, наш шофер, из-под земли явился.

— Получай записку, принимай автомобиль и подавай сюда!

Через полчаса Ваня на новом автомобильчике к нам катит и облизывается, как после сладкого. Запас горючего такой, что можно ехать хоть до Мелитополя, хоть до Бердянска. Все в полной исправности. И шины и камеры запасные — все Ваня прихватил.

Примерно к часу дня отряд особого назначения смог выступить. Сначала ряды бойцов прошли передо мной и Сединым. Моряки и спартаковцы. Хорошая боевая выправка. Вооружены единообразно трехлинейками. С ними пушки, пулеметы, двуколки, груженные боеприпасами.

Дали им подводы. Мы с Сединым уселись в наш новый автомобиль, обогнали отряд.

Приехали в Берислав к Лунину. Он нам сообщил, что мелитопольский полк на фронт не вернулся, по-прежнему отдыхает и распевает украинские песни. Вместе с тем мелитопольцы что-то затевают, посылают свои делегации в ближайшие полки, агитируют, чтобы те их не разоружали. Две делегации Лунин перехватил и арестовал.

Обсудив положение, мы с Сединым решили объявить по фронту, что из Херсона идет чрезвычайный отряд, который разоружит неповинующийся полк. Штаб боевого участка шутить не будет.

Наш херсонский отряд двигался довольно медленно. Прождав сутки, мы выехали ему навстречу. Взяли с собой в автомобиль матроса, который прекрасно владел ручным пулеметом. Выехав за город, мы увидели, что мелитопольцы цепь за цепью занимают позиции на холмах, готовятся дать бой нашему отряду. Значит, и до них уже дошла весть об отряде.

Никто не остановил нашего автомобиля. Примерно через десяток километров мы встретили отряд. Сообщили командиру обстановку. По моим расчетам и по расчетам Седина, можно было ехать полным ходом еще восемь километров, а потом следовало спешиться, идти боевым строем. Командир с нами согласился.

Часам к десяти утра мы подошли к мелитопольцам на расстояние ружейного выстрела. Залегшие на холмах цепи были ясно видны. Матросы уже знали, на что они идут. Спартаковцы-немцы тоже это знали.

По количеству бойцов преимущество было у мелитопольцев. Отряд насчитывал лишь шестьсот — семьсот человек, а в полку числилось несколько тысяч. Но нашу сторону усиливали сознательность, решительность, железная дисциплина, лучшее вооружение.

Командир отряда спросил нас: желаем ли мы командовать сами или это предоставляется ему? И я и Седин во избежание каких-либо недоразумений отказались от командования. И решили так: мы пойдем в цепи. И немцы и матросы шли прекрасно, без малейших колебаний. Было ясно: это твердо спаянный отряд.

Тут мне явилась мысль: подойдя ближе к мелитопольцам, залечь и применить психологическое воздействие, устрашить. Для этого надо, чтобы загрохотала наша артил-

лерия. Продемонстрируем свою мощь. Седин одобрил. Командир наше предложение принял с великим удовольствием. Он даже поторопился схватиться за эту мысль. Мы его охладили, сказав, что психологическое воздействие следует обрушить перед самым столкновением, с чем он тоже согласился.

Дальше произошло следующее. Мелитопольцы выслали делегацию для переговоров. Делегатов принял командир отряда. Они повели такую речь: мы тоже красные бойцы, зачем же проливать братскую кровь, не идите против нас, вас натравили. Командир выслушал и заявил, что вы-де не бойцы, а гады, которые предали Красную Армию.

— Вам предлагали вернуться на позиции, которые вы бросили. Но вы не вернулись. Теперь вас нужно только разоружить!

Переговоры длились минут десять. Наши цепи двигались, не останавливаясь. Мы двигались еще без перебежек.

Минут через двадцать мелитопольцы выслали вторую делегацию. Ей было сказано:

— Никаких переговоров. Ни на какие уступки мы не идем. Сдавайте оружие.

Делегация обещала, что мелитопольцы немедленно выступят на фронт. Командир ответил:

— Не уполномочен принимать ваши обещания. Сдавайте оружие.

А наша цепь шагает. Затем, когда до противника осталось полкилометра, мы залегли и стали продвигаться перебежками. И вдруг ахнули наши орудия. Сначала шестидюймовые, потом гаубицы, потом трехдюймовки. И в заключение залп из всех этих пушек.

Далее случилось именно то, чего я ожидал. Полк был ошарашен, парализован нашей неожиданной пушечной пальбой. И раньше, чем кто-нибудь из мелитопольцев успел опомниться, матросы рванулись вперед, подбежали вплотную к цепям полка и заорали:

— Сдавайте, гады, оружие!

Мелитопольцы не приняли боя. Они бросали, отдавали винтовки. Мы складывали их оружие грудами. А обезоруженных погнали в город.

Надо отметить и такой эпизод. Когда белые на другом берегу Днепра услышали, что у нас началась артиллерий-

ская стрельба, они в свою очередь стали обстреливать нас из пушек. Это вызвало азарт. Ко мне подлетел спартаковец-артиллерист:

— Разрешите выпустить по белым двадцать снарядов. Мы двадцатью снарядами остановим их огонь. Больше не надо.

В армии бывают такие случаи, когда вопреки вашему здравому смыслу нужно разрешить даже явную глупость, иначе это сделают без позволения. В данную минуту было глупо бухать двадцать снарядов, ибо каждым снарядом приходилось дорожить. Но если бы я запретил, мое приказание не было бы выполнено. Тут властвовал азарт, и поэтому ради сохранения дисциплины лучше разрешить. Это нужно улавливать чутьем. Я дал разрешение. И ровно на двадцатом снаряде наш огонь был прекращен.

Вся операция по разоружению была закончена к семи часам вечера. Полк как организованная сила перестал существовать. Мелитопольцев, как я уже сказал, приводили в город. Однако ввиду того, что белые довольно густо шлепнули шрапнелью, я приказал распустить обезоруженных, велел им спасаться кто как может, а утром вновь собраться.

Огромное количество винтовок, которые мы отняли, надо было как-то охранять и куда-то отвезти. Мобилизовали крестьянские подводы и под специальным конвоем отправили это оружие к нам в штаб в Грушевку.

На следующее утро мне пришлось терпеливо поджидать, пока наконец мелитопольский полк был выстроен поротно. Прежние бородатые командиры вместе со своим чубатым главарем поубегали. Их замещали какие-то молодые командиры. Я понял, что на этих молодых командиров полагаться никак нельзя, и приказал их арестовать порядка ради. Арестованных тотчас увели.

Иду вдоль строя. Рота стоит, вытянулась. Выбираю наиболее подходящую физиономию, по которой можно угадать старого солдата. Подхожу к нему:

— В старой армии служил?

— Так точно.

— Сколько времени служил? В каком чине?

Если чин был невелик — скажем, ефрейтор или младший унтер-офицер,— то мне как раз это и требовалось.

— Фамилия?

Записываю фамилию.

— Имя, отчество? Село, деревня?

Опрашиваю других:

— Верно ли он говорит?

— Все верно.

— Так назначаю тебя командиром этой роты. Если хоть один человек убежит, спросим с тебя. Задача состоит в том, чтобы доставить в полном порядке всю роту в Грушевку.

— А подводы будут?

— Никаких подвод.

В те дни уже шла уборка урожая.

— О подводах и не думайте. Дай бог только ваше оружие довезти. Поведешь роту походной колонной. Понятно?

— Понятно.

И так от роты к роте. Они поочередно уходили в стодвадцатикилометровый марш на Грушевку. Требовалось загодя организовать кормежку и ночлег на их пути. Не уйдешь от такой заботы. Парни еще будут воевать. Следует только взять их в хорошие руки — и станут достойными бойцами Красной Армии.

Арестованных молодых командиров мы отправили под конвоем в штаб боевого участка. Они уже пустили слезу, плакали: зачем-де согласились занять места командиров. Мы решили: приедем — разберемся.

Таким образом операция по разоружению мелитопольского полка была закончена. Я составил приказ, оповещающий об этой операции все наши фронтовые части: «Политработникам проработать приказ в ротах с тем, чтобы положить решительный конец всякой недисциплинированности, всяким партизанским настроениям. Начальник штаба боевого участка Седин, военный комиссар боевого участка Дыбец».

Выехали в Грушевку. Останавливались по дороге в наших бригадах и полках и с удовлетворением констатировали, что разоружение мелитопольцев возымело превосходное оздоровляющее действие на весь наш фронт. В истину вплелись фантастические слухи: каждые десять бойцов чрезвычайного отряда имеют на вооружении пулемет, пушек видимо-невидимо, моряки и немцы-спартаковцы знают приемы психической атаки. Спортсмен войны Маслов мне сказал:

— Ну, кулачок нашелся. Дисциплинка теперь будет.

В Грушевке мы расквартировали около себя разоруженные мелитопольские роты. Укрепили эти роты командирами, которые, окончив военные школы или курсы, прибывали к нам. Дали и политработников. Задача была в том, чтобы расхлябанные роты превратить в боевую силу.

Недели через две мы выстроили всех мелитопольцев и объявили: полк расформировывается, роты передаются таким-то полкам. Я держал речь:

— У вас имеется два выхода: или честно заслужить доверие советской власти и смыть позорное пятно, которое на себя вы наложили, или кто с этим не согласен, тот должен знать — он будет беспощадно раздавлен как дезорганизатор и враг Красной Армии.

После такой не очень-то приятной речи мелитопольцы все-таки кричали во всю глотку «ура». Мы отправили их маршевыми ротами на пополнение других наших частей.

Прошла еще неделя или дней десять. Наведался к нам Пахомов. Это было уже накануне отступления. Возник вопрос: что делать с арестованными командирами? Пахомов сказал мне:

— Решай сам.

Ну, раз «решай сам», мы в штабе обсудили это дело. Попались же не главари, а случайные люди, невинные ребята. Привели эту молодежь ко мне — их оказалось, помнится, двадцать шесть человек,— поставил я их перед собой и начал читать мораль. Опозорили Красную Армию, стали пособниками контрреволюции! Довел ребят до слез. Затем спрашиваю:

— Какое наказание вас должно постигнуть в любой армии?

Они с ревом отвечают:

— Расстрел.

— Верно, измена воинскому долгу, неповиновение в любой армии карается расстрелом. Но советская власть не кровожадна. Мы считаем, что расстреливать вас не нужно. Вы только подставные фигуры, темные люди. Вашей темнотой воспользовались враги. Не будем вас расстреливать. Слушайте наше решение. Идите, вы свободны. И те из вас, кто искренне захочет искупить свое преступление, пусть придут через три дня ко мне в кабинет. Я пошлю вас туда,

где вы действительно сможете послужить революционному делу, и сам прослежу, чтобы из вас выработались настоящие, преданные воины Красной Армии. А теперь идите на все четыре стороны.

Ровно через три дня они все как один явились ко мне. Я оказал им доверие, они мне ответили доверием.

Надо сказать, что к тому времени у нас установились надежные связи с нашими людьми, которые находились по ту сторону Днепра, в расположении белых. Каждое утро к нам приходили пятнадцать — двадцать человек с той стороны, подробно информировали, как расставлены белые полки, какое вооружение. Отсюда получали задания, литературу и по ночам возвращались за Днепр.

Роза имела немалый опыт во всяких конспиративных делах, и по предложению Корчагина она возглавила разведывательное управление боевого участка.

Всех этих молодцов, явившихся ко мне, я ей целиком передал. Тут опасные поручения. Можно искупить свою вину. Роза прекрасно их использовала. Не было случая, чтобы кто-нибудь из ребят отказался выполнить самые отчаянные задания. Они приносили исчерпывающие сведения. У них за Днепром были большие связи. Там пролегала их родная степь. Им было достаточно перебраться на другой берег, чтобы сразу найти земляка. А Роза тщательно инструктировала каждого своего посланца. Она двадцать раз переспросит: как ты будешь вести себя, если попадешь в такой-то переплет, как сумеешь вывернуться? И человек чувствовал, что его не просто посылают, а о нем заботятся. И они все уцелели на этой работе.

Да, позабыл рассказать о Куриленко. Он мучился бездельем, умирал с тоски. Наконец он как-то пришел ко мне:

— Больше не могу. Или расстреливайте, или давайте дело.

Ну, если человек сам просит — «расстреливайте», значит, дошел до точки. Обсудили в штабе. Мы не имели ни одного дисциплинированного кавалерийского полка, а у Куриленко конники всегда были дисциплинированными. Снеслись с Федько и с Пахомовым: нам разрешили дать Куриленко командную должность. Я его вызвал:

— Вот тебе боевое задание. Формируй кавалерийский полк. Лошадей нет, седел нет, сабель нет, ничего нет. Но ты старый партизан, старый фронтовик. Выполнишь задание.

Куриленко со слезами сжал мою руку.

— Спасибо за доверие. Через неделю полк в конном строю пройдет перед тобой.

— Но имей в виду, Куриленко. Нам придется отступать, и память о себе мы должны оставить добрую. Если твои люди начнут отнимать лошадей у крестьян, не пощажу.

— Клянусь, Дыбец, ни одной жалобы не будет. Конечно, вначале соберу полк небольшой — человек четыреста — пятьсот. Потом постепенно вырастем.

И вот через неделю ко мне опять входит Куриленко и просит принять полк. Вышли мы к его полку. Всадники сидят верхом без седел. Вместо седел какие-то мешки. Стремян нет. Лошади далеко не первоклассные — захудалые одры. Вооружение разномастное: у кого пика, у кого сабля, у кого и вовсе лишь дубина. Одеты — кто во что горазд. Но все же полк в пятьсот бойцов уже существовал, был налицо. И настроение у хлопцев было бодрое.

Куриленко заявил:

— Вы видите, что полк наш, так сказать, не совсем довооружен. Лошади тоже не блистают качеством. Поэтому к вам просьба: дайте такой участок, где мы могли бы у белых достать лошадей, достать сабли. А мы клянемся, что все достанем. И не будет ни одного задания, которое мы не могли бы выполнить.— Затем Куриленко выложил мне еще одну свою просьбу: — Дай в полк такого комиссара, который мне в работе не вязал бы рук. И притом кавалериста.

— Кавалериста сейчас у меня нет. На первый случай пошлю такого, какой есть. Потом подменю.

И действительно, я потом нашел для него подходящего комиссара. Хороший партиец. Кавалерист. Послал я его к Куриленко. Мы уже отступали к Кривому Рогу. Примерно через неделю этот комиссар заехал ко мне и рапортовал, что принят и даже выдержал экзамен.

— Какой экзамен?

Комиссар рассказал следующее.

— Дело было так. Прибыл я к Куриленко с мандатом и с твоей запиской: это-де тот военком, о каком ты просил. Куриленко прочел и сказал:

— Что же, товарищ, очень хорошо, что Дыбец тебя прислал. Мы тебе рады. Ну, а в войсках ты понимаешь? Поедем посмотрим, как расположен полк.

Поехали, побывали в эскадронах.

— Может быть, у тебя, комиссар, есть замечания?

— Нет, обойдусь без замечаний. Ты же опытный полковой командир. Поработаю, позабочусь о бойцах, чтобы они бодро жили.

— Правильные слова. Теперь еще одно к тебе дело. Прикинь-ка, какое тут расстояние до следующего села?

— Черт его знает. Пожалуй, верст пять-шесть.

— И это правильно. Глаз у тебя хороший. В бинокль на село хочешь посмотреть?

— Давай.

Он дал бинокль, я приложил к глазам. Рассмотрел на улице села конный разъезд белых.

— Казачий разъезд видишь?

— Вижу.

— И я видел. А теперь едем туда молоко пить.

Куриленко стегнул свою лошадь. Мне ничего не оставалось, как ехать за ним. Подъехали к ближайшей хате — а казачий разъезд был в другом конце села,— попросили у бабы молока. Куриленко сунул ей керенки — эти деньги тогда всюду еще ходили. Баба моментально притащила молоко. Подскакивает казак.

— Откуда вы? Какой части?

— А ты какой части? Вижу, что донец.— Разговаривая, Куриленко попивает молоко.— Много вас тут? Сотня где стоит?

— Там-то.

— А кто командир сотни?

— Такой-то.

— Ага, так я и думал. Поворачивай и доложи своему командиру, что приезжал в гости молоко пить красный полковой командир Куриленко. Понял, что я тебе говорю?

Казак с места не может двинуться, оцепенел. Это же нахальство... Покончив с молоком, Куриленко вытаскивает свой маузер.

— Если не поедешь докладывать, стреляю.

Казак — вихрем от него. А мы хорошей рысцой возвращаемся к себе.

— Теперь вижу,— сказал Куриленко,— что ты настоящий военком. С таким работать можно.

Вот вам бывший махновец Куриленко во всей своей красоте. Смельчак! Это создавало ему славу. И весь полк

по нему равнялся в лихости. Самые дерзкие налеты удавались куриленковцам.

Новый военком еще доложил:

— Лошади в прекрасном состоянии. Отличные седла. И бойцов уже не пятьсот, а свыше тысячи.

Мы крепко опирались на полк Куриленко. Двадцатичетырехлетний командир, которого я как-то назвал старым партизаном, старым воином, ввел и примерную воинскую дисциплину. Если где-нибудь обнаруживалась неустойчивость, мы перебрасывали на подмогу этот полк. И не было случая, чтобы Куриленко не выполнил приказа.

Вспомнился сейчас один штришок нашей политпросветработы. К нам приехал целый поезд артистов. Там имелась и кинопередвижка. Впервые мы этаким красочным способом просвещали бойцов. Артисты привезли и новую песенку: «Эй, ребята, не тужите по сторонушке родной, выше головы держите, за Советы идем в бой!» Неплохая песенка. Дня три-четыре прививали ее нашей комендантской роте. Так и не привилась. Но как-то артист московской оперетты выступил с одесской ерундовой песенкой: «Алеша, ша, возьми полтоном ниже и брось арапа заправлять». На другой день повсюду раздавалась эта песня. «Алеша, ша» вошла в обиход. Бывало, так и кричат на кого-нибудь: «Алеша, ша!»

Вскоре всех артистов и весь свой культотдел я направил в поездку по фронту. Выступления имели большой успех. И участились перебеги к нам из белой армии. У нас на правом берегу музыка, кино, а у них там ничего.

19

Моя работа в штабе протекала вот как. Не позже пяти часов утра кто-нибудь обязательно ко мне вламывался, поднимал с койки. До пяти караульный уговаривал:

— Недавно лег. Имейте совесть, дайте, черти, ему поспать.

Приходили командиры и комиссары полков, бригад. У каждого дело. Начинаю прием. С каждым поодиночке разговариваю. Принимал по пятьдесят — шестьдесят человек в день, до обалдения. Еле-еле выкроишь перерыв на обед, поешь борща и опять на место. Вечером сводку получаешь. Прочтешь, проанализируешь. Обсудим в штабе. По-

том сам составляешь сводку для передачи в армию. Рабочий день кончается в два, в половине третьего ночи. И постоянно недосыпаешь при такой нервной, напряженной работе.

Мы уже с некоторого времени знали, что придется еще глубже отходить. Наконец получили приказ отступать левым флангом от Днепра. Правый фланг оставить в Херсоне, а левым отойти на Кривой Рог. Сзади нас белые войска стремились сомкнуть кольцо, вырисовалась опасность, что нас могут отрезать, и надо было отступать на соединение с главными силами. Штаб перенести в Кривой Рог, занять такие-то позиции, установить связь. На подготовку к отходу нам предоставлялось сорок восемь часов.

Приказ мы получили ночью. Собрали штаб и стали обсуждать, как быть. Тут проявилась инициаторская жилка Седина. Парень действительно был полностью предан нашему делу. И опыт у него имелся, и военный нюх. Он сказал, что если мы попросту скомандуем отход и начнем откатываться, то рискуем не остановиться. Может быть, задержимся у Кривого Рога, а может быть, белые на наших плечах ворвутся в город. Не исключено, что при отступлении нас рассеют. Тем более что на левом фланге у нас ненадежный полк — весьма схожий с тем, который мы разоружили. Седин предложил: нужно в двух-трех местах перейти в наступление. Переберемся на тот берег и сделаем демонстрацию наступления. Застигнем противника врасплох. Белые отступят. После этого мы сможем перегруппироваться и отступить в порядке.

— Поверьте моей практике. Я отступал. Я знаю, как это делается,— заключил Седин.

Долго спорили (долго — это часа полтора). Корчагин поддержал инициативу Седина. Связь с высшим командованием была уже прервана. Мы сами решили: лучше отсрочим начало отхода еще на сорок восемь часов, но отступим, будучи уверенными, что войска остановятся в указанных им пунктах.

Наметили самые удобные участки для переправы. От наших разведчиков мы уже имели подробнейшие сведения о том, как расставлены белые полки, какова их боеспособность. В эту операцию мы послали свои самые боевые части. Темные ночи благоприятствовали такой диверсии. Задание было блестяще выполнено. На лодках, на паромах наши полки переправились и застали белых спящими. За-

работок был приличным. Взяли пушки, пулеметы, патроны. Наша разведка потом доносила: наделали мы переполоху. «Большими силами большевики перешли в наступление». А мы только налетели в трех местах и забрали, что под руку попало.

Лишь в расчете времени немного мы ошиблись. Думали, что уложимся в добавочные сорок восемь часов, а простояли еще четверо суток. Нас задержала перевозка трофеев. Пушки, знаете ли, жалко было бросать.

Объявили войскам приказ об отступлении на Кривой Рог. Для них это было как снег на голову. Тут у противника паника, а мы вдруг отступаем. Чего же мы будем отходить, когда надо наступать? Всюду пошел ропот.

Все же отступили в порядке. Полки уходили и на подводах и пешим маршем. Прибыли мы в Кривой Рог. Наладили связь. Получили распоряжение не располагаться на длительную стоянку и готовиться к дальнейшему отходу.

Уже в те дни, когда наши войска занимали новые позиции у Кривого Рога, стало ясно: армия поддается разложению. Несколько полков нам заявили: не будем закрепляться, хватит отступать, надо идти в наступление, надо родные дома отвоевать. Опять сказались всякие партизанские настроения. Пришлось помитинговать, а кое-где и пригрозить.

Так или иначе заняли фронт, выровняли. Дня три-четыре бойцам дали отдохнуть. Разослали приказ: всем вымыться, следить за чистотой, чтобы не было болезней. А болезни начинались. Жара. Арбузы.

Несколько дней спустя мы получили новый боевой приказ: отступить дальше на линию Долинская — Николаев. Теперь отступали со скандалами. Войска начали явно колебаться, митинговали, не хотели отходить. Самые надежные наши полки стали разлагаться, терять дисциплинированность. Белые это учуяли, кое-где нас потрепали.

Полков пять или шесть отказались отступать. Пришлось опять действовать и добрым словом и угрозами. Еле-еле заставили их выступить. Тавричане тянутся в Таврию, мелитопольцы — на Мелитопольщину. А тут все дальше уходим, шагаем по херсонским степям. Подводы, скот, крестьяне, женщины — нет конца отступающему множеству. Обоз несусветный, и нельзя от него избавиться: семьи идут с полками.

И вот с этой армией мы отступили на рубеж Долинская — Николаев. Наш штаб обосновался в Новом Буге. Стали поступать сведения из частей. Слева расположилась бригада Маслова — довольно-таки крепкая. А как раз против штаба должен был заслоном стать 6-й Заднепровский полк. Проходит день, другой — не находим 6-го Заднепровского полка. Командовал им Калашников. Выслали туда-сюда конную разведку. Нет никаких признаков, что где-нибудь белые напали, истребили полк. Значит, где-то задержался. Наверное, отступая со скотом, с подводами, не управился вовремя прийти.

На третьи сутки установили телефонную связь с Николаевом, где находились Федько и Пахомов. Доносим о новых позициях, о состоянии полков — состояние-де очень дрянное. Что мог мне сказать Пахомов? Только то, что я уже и делал.

— Вливай в полки всех своих политработников, чтобы противостоять деморализации.

На заре следующего дня, часа в четыре утра, в комнату, где я спал, стучат:

— Просят в штаб. Экстренная телеграмма.

Открываю дверь. Вваливаются человек восемь. У меня в углу стояла винтовка. Отрезают меня от винтовки.

— Пожалуйте в штаб.

Все это мне показалось подозрительным. Но рожи наших — не из белого офицерья.

— Как Заднепровский полк? Пришел?

— Пришел.

Иду в штаб с этой гурьбой. Входим. И вот:

— Возьмите еще одного арестованного.

Вслед за мной привели и Розу. Выяснилось, что в ночь в Новом Буге появился 6-й Заднепровский полк и арестовал нас — весь штаб боевого участка. Калашников, принадлежавший к тому типу командиров, который был порожден махновщиной, решился на такое дело. Когда-то он командовал отрядом в махновской армии. Выходец из крестьянской семьи. Его полк вместе с другими махновскими частями, оставшимися без Махно, попал в наше подчинение. И дрался-таки против белых. Он дожидался своего часа. Этот час пробил, когда мы отступали от Кривого Рога. Калашников арестовал всех своих военкомов, всех политработников и объявил, что большевики изменяют. Доберем-

ся до штаба и арестуем изменников. Это и было проделано.

Меня втолкнули в комнату, охраняемую караулом. Седина тут не было. Еще не сцапали и Корчагина. Но в числе арестованных уже находились политотдельцы, военкомы и некоторые работники штаба. Уже было известно, что штаб занят полком и Калашников взял на себя общее командование.

Вскоре привели, впихнули к нам раненого Корчагина. Оказалось, он отстреливался, когда за ним пришли. И нескольких человек ухлопал. Потом его рубанули саблей по руке. И приволокли в штаб.

Постепенно комнату набили арестованными. Коммунисты, которым удалось избежать ареста, постарались скрыться. В том числе и Седин как-то вырвался, но его поймали и, по сведениям, которые впоследствии мы получили, пристрелили.

Маслову стало известно, что началась заваруха в Новом Буге. Не будучи уверенным в своих полках, где тоже распространилась махновская зараза, он собрал все, что было здоровым, надежным, сколотил эти силы в батальон и на подводах, на тачанках перебросил к штабу Федько. Наш отряд моряков и спартаковцев не смог пробиться ни к нам, ни к Федько и был истреблен махновцами. Полк Куриленко, а также и новоспасовцы очутились в махновском окружении и объявили, что придерживаются самостоятельной политической линии.

Обо всем этом мы, разумеется, узнали позже. А в Новом Буге события развивались так. Калашников вместе с разными анархистами, которые вдруг выплыли, созвал митинг и во всеуслышание сообщил, что штаб боевого участка арестован за измену.

— Давно нам казалось непонятным, почему мы отступаем. Теперь ясно. При аресте Корчагина и Дыбеца мы нашли у них миллион рублей золотом. Они продали фронт за миллион рублей.

И ни одному умнику не пришло в голову спросить: где этот миллион золотом, покажите его нам.

Так или иначе, митинг подлил масла в огонь. Калашников подыгрался к массе, не желавшей отступать.

— Пойдем на соединение с Махно,— провозгласил Калашников.— Махно поведет нас в наступление.

Спустя день каким-то образом заработала связь с

Федько. Оттуда вызвали Дыбеца по прямому проводу. Меня повели, чуть ли не тыча в бок револьверами.

— Говори, что мы тебе прикажем.

Выползает лента. Читаем:

— У аппарата Пахомов. Дыбец, ты?

— Я.

— А я не верю, что это ты. У нас сведения, что тебя убили.

— Нет, я жив.

— Если это ты, скажи, при каких обстоятельствах мы с тобой встретились.

Я произношу несколько слов, из которых он понимает, что с ним разговаривает действительно Дыбец.

— Теперь я уверен, что это ты. Расскажи, какая у тебя там обстановка.

Тут диктуют телеграфисту без моего участия. Пахомов отвечает.

— Это не твой язык и не твое построение доклада.

А вожаки заднепровцев от моего имени потребовали, чтобы сюда слали снаряды, пулеметы, лошадей. Я доволен. Пахомов, значит, уясняет, что тут происходит. Далее он спрашивает:

— Передай, каково состояние полков.

Эти архаровцы отвечают, что полки в полном порядке.

— Где шестой Заднепровский?

— Шестой Заднепровский занял указанную ему линию.

Пахомов передает:

— Видимо, штаб захвачен шестым Заднепровским. Тебя не расстреляли, а держат под арестом. Сводка о состоянии войск не твоя. Ты, должно быть, в плену.

Кричат мне:

— Отвечай, сукин сын, что ты болен!

Телеграфист выстукивает:

— Болен.

Пахомов заключает:

— Обстановка мне понятна. Кончаю разговор.

В руках Калашникова оказались различные наши части численностью до двенадцати тысяч бойцов. Он увидел, что снабжать такую армию нелегко, и двинул ее на соединение с Махно. Штаб Махно находился где-то близ Одессы.

Всем нам, рабам божьим, Калашников заявил, что пока расстреливать нас не будет, а довезет к Махно.

Нас везли на подводах под конвоем. В какой-то момент появилась женщина, сестра командира одного кавалерийского полка, которую когда-то я обещал расстрелять.

— Где Дыбец? Дайте мне Дыбеца, я его растерзаю. Дайте я ему глаза выцарапаю!

А к нам была приставлена рота мелитопольского полка, того самого, который мы разоружили и расформировали. Калашников рассчитывал, что на эту роту он вполне может полагаться, ибо мелитопольцы, как он понимал, числили за нами особенный должок. Между прочим, в эту роту были направлены и молодые командиры, которых я не расстрелял, а передал Розе в качестве разведчиков. Им, пострадавшим, махновцы во главе с Калашниковым полностью доверяли. Однако разведка Калашникова тут проморгала. Эти ребята уже были нам преданны, признавали, что мы с ними справедливо обошлись. Рота никого к нам не подпускала. И эту озверелую бабу прогнали прикладами. Были и еще случаи, когда нас пытались растерзать, но рота никому не позволила тронуть арестованных. И оскорблять не разрешала. Должно быть, ребята рассуждали следующим образом: «Он нас держал под арестом, но с нами обращались правильно, не издевались. И наше обращение с теми, кого мы сейчас везем, будет таким же. Это же свой брат, не белогвардейцы».

Я получал немалое душевное удовлетворение, поглядывая на конвоиров. Как-никак, а мы уже сумели переиначить, переделать этих мелитопольцев. И не случись такая катастрофа, они были бы образцовыми красными воинами.

Калашникову пришлось считаться еще с тем, что некоторые полки, хотя и двигавшиеся с ним к Махно, оставались в той или иной мере нашими. Полк Куриленко был за нас, новоспасовцы тоже. Они открыто заявили Калашникову, что если на пути к Махно что-либо произойдет со штабом, то перестреляют весь 6-й Заднепровский. И, как я приметил, новоспасовцы даже выделили своих делегатов, которые наблюдали, чтобы ничего с нами не стряслось.

Кроме того, некоторые анархисты, сгруппировавшиеся вокруг Калашникова, тоже противились возможной расправе над пленными. Среди этих анархистов был Уралов, которого я знавал еще по Бердянску. Он отличался постоянной взвинченностью, даже истеричностью, случалось,

споря, хватался за револьвер, и все же запомнился мне как наиболее здравомыслящий из всех махновцев в Бердянске. Он пробирался к Махно по железной дороге Долинская — Николаев, узнал, что в Новом Буге учинен этакий переворот, и явился туда. Он был известен и Калашникову. Облеченный теперь званием начальника гарнизона, он нам обещал, что никаких эксцессов по дороге к Махно не допустит, и тщательно следил, как нас охраняют.

На всем пути в ставку Махно меня сопровождал Шурка — парнишка, которого я спас. Он, как вы знаете, был моим ординарцем, но остался на свободе. Его заботой был продовольственный вопрос. Каждую остановку Шурка использовал для того, чтобы всех нас накормить. Он доставал молоко, жарил яичницу, мясом нас кормил. И всегда, ночью и днем, старался быть около меня, как верный ординарец.

Итак, везут меня, Розу, Коргачина, еще некоторых работников штаба. Тут же на подводах — арестованные военкомы полков и батальонов.

В селе Доброволичковке Махно на белом коне встретил эту армию, которую вел к нему Калашников. Расцеловался с Калашниковым. Тут же остановились и наши подводы. Калашников указал на нас:

— Вот доставил на твое усмотрение штаб боевого участка.

Махно в нашу сторону даже не взглянул.

— Что же, всех расстреляем.

В разговор вступил Уралов:

— Как же расстрелять, когда там Дыбецы? И он и она.

— А, Дыбецы... Ну-ка, дай его сюда!

Подвели меня к Махно.

— Здравствуй, Дыбец.

— Здравствуй, Махно.

— Как же, Дыбец, ты сюда попал?

— Твоя доблестная армия везла меня к тебе, как зверя в клетке.

Он ухмыльнулся:

— Известно ли тебе, что я теперь коммунистов расстреливаю, так как объявлен вне закона?

— Известно.

— Ну так вот что. Рука у меня не поднимается на этого старого ренегата. Может быть, это моя слабость, но я его

не расстреляю. И приказываю, чтобы волос с его головы не упал в расположении моих войск. Кто на него руку поднимет, того лично расстреляю. Слыхали?

— Слушаемся.

— Отпустить Дыбеца с женой на волю, а остальных держать до моего распоряжения.

Так мы с Розой оказались на свободе среди скопища махновских войск. Уралов нашел нам комнату в Добровеличковке.

Там, в этом селе был отчаянный кавардак. Поезда остановились. Бродили пассажиры. Получилась каша. Здесь же обретался Щусь со всей своей кавалерией. Щусь — это правая рука Махно. Расквартировались в Добровеличковке и другие махновские части. Все войска разложены. Горланят спьяна песни. Не разберешь, где обыватель, где армия, какого полка бабы на возах.

21

Отсиживаясь в нашей комнатенке, я постарался спокойно обдумать, что же теперь делать. И задался целью собрать партийцев, каких найду, и, если удастся, выйти из Добровеличковки, чтобы пробраться к частям Федько, которые находились где-то поблизости. Тут, кстати, я встретился с Андреем Могильным, большевиком из Бердянска, где мы вместе поработали в ревкоме. Могильный ехал из Одессы в Киев, но из-за того, что железную дорогу перерезали махновцы, застрял в Добровеличковке. Меня с ним связал Уралов.

Значит, собрать партийцев и уходить к Федько. Однако мои товарищи, штаб и военкомы боевого участка оставались арестованными. Я не терял надежды, что смогу как-то им помочь, использовав свои старые связи с анархистами. Достаточно близко еще по Америке, а затем по Питеру мне был знаком Волин, пребывавший у Махно в роли литературно-идейного вдохновителя. В свое время я был, как вам известно, одним из основателей анархо-синдикалистской группы «Голос труда», сотрудничал в газете, которую издавала эта группа, и мое имя было известно анархистам. Роза тоже кое-кого знала по своим тюремным мытарствам в пятом, шестом и седьмом годах, даже и самого Махно.

Прошло, вероятно, дня два-три. Как-то я вышел на улицу и встретил Щуся. Он поздоровался очень любезно, радушно.

— Что, Дыбец, делаешь?

— Ничего не делаю.

— Тебя Махно хотел повидать.

— Если Махно хочет со мной увидеться, он мог бы мне это передать.

— Так он и просил передать, чтобы ты к нему зашел.

— Ладно, зайду.

— А то пойдем сейчас вместе к нему.

Приглашает меня с такой улыбкой, прямо вся рожа расплылась. Я подумал, подумал:

— Пойдем.

Зашагали рядом. Привел меня Щусь в какое-то помещение и скомандовал:

— Примите арестованного.

И я вновь оказался под стражей.

Здесь, пожалуй, будет уместно вкратце обрисовать Щуся. Он мечтал быть народным героем. И я с ним познакомился еще в свою бытность председателем бердянского ревкома. Мы с ним ехали в автомобиле, когда я впервые выбрался на фронт. Щусю, видимо, порассказали обо мне: влиятельный, мол, деятель и даже литератором в «Голосе труда» работал. Щусь начал расписывать свою личность. Был когда-то матросом Балтийского флота и прославился там как непобедимый в спортивной борьбе. Знает приемы французской борьбы, бокса. Смыслит и в японском джиу-джитсу. Может собственными руками без напряжения удушить человека. Язык у того вываливается, а он давит на горло. Щусь с таким вкусом живописал, изображал эту операцию, что меня взял ужас. И омерзение.

Носил он, как и Махно, длинные волосы, но черные. Высокий, здоровый, статный детина. Одевался в какой-то фантастический костюм: шапочка с пером, бархатная курточка. Сабля, шпоры. На пирах у Махно Щусь сидел, как статуя, и молчал. Он всерьез мечтал, что будет увековечен в легендах и сказках. Однажды он показал мне стихи какого-то украинского поэта о том, что батька Щусь один уложил наповал десять полицейских. Я, по своей бестактности, высмеял и Щуся и стихи. Этого он, очевидно, не забыл. Отряд его был сугубо бандитский. Конники Щуся

без зазрения грабили, могли тут же и прирезать, и пятки калили горячим железом.

Сдал меня Щусь своим подручным. Однако, как после я узнал, за мной в некотором отдалении следовал Шурка. Он побежал к Розе и затем к Уралову, дал знать, что я арестован Щусем.

Никаких обвинений сначала мне не предъявляли. Держали меня в одиночном заключении. Сижу день, другой. Потом приходит ко мне Белаш, анархист из штаба Махно, и говорит:

— Вас обвиняют в том, что на митингах вы заявляли: махновцы играют на руку белогвардейцам, открыли белым фронт и тому подобное.

— Что же, это для меня не новость. Я же выступал на митинге, а не шептал. Да и теперь скрывать свои взгляды не намерен. Я с махновщиной боролся, это верно. Так что я не собираюсь защищаться. Мою линию вы знаете. Кто я — тоже вам известно. Вот и все.

Парень замялся:

— Не знаю, что будет, но только твое дело плохо.

— А разве я ожидал от вас чего-нибудь хорошего? Я был даже удивлен, что Махно меня освободил. Плохо так плохо. Принимаю это к сведению.

Началась длинная музыка. Пошли допросы. После я узнал от Розы следующее. Она кинулась в штаб, а затем и в своего рода политотдел махновской армии. Там, как выяснилось, было два течения. Калашников требовал расстрела. Его поддерживала группа Щуся. Щусь, как было уже сказано, командовал всей кавалерией. А кавалеристы жаждали отмщения, помнили, как я за грабежи круто расправлялся. И было такое настроение, что пора Дыбеца убить. Но, с другой стороны, часть анархистов высказывалась за то, чтобы Дыбеца не убивать, а дать ему возможность мирно уйти. Старого революционера расстреливать неудобно. В анархическом движении его знают, организатор, не изменник. В чем дело, за что же убивать? Поэтому тянулась волынка следствия. Предстоял какой-то надо мной суд.

Неделю меня тягали на допросы. Как я потом узнал, это была тактика того крыла, которое хотело меня освободить. Идиотские допросы меня утомили, но я разговаривал.

— Выступал против Махно?

— Выступал.

— Говорил, что махновцы — пособники контрреволюции?

— Говорил.

— Так что ж, ты же против нас?

— Всегда был против вас. Я же не скрываю.

— Полк разоружил?

— Разоружил.

— Людей расстреливал?

— Расстреливал. Если освободите, опять буду расстреливать всех грабителей. Меня расстреляете — ваше дело.

Такие разговоры продолжались изо дня в день. Предъявляли мне свидетелей моих преступлений. И затем снова:

— Ты же враг наших идей.

— Ваши идеи — болтовня. Все равно, как ни верти, нужна организация. Весь вопрос в том, какова будет эта организация. На сей счет взгляды у меня определенные. Я коммунист. Если вам угодно, расстреливайте меня за это.

А обстановка в эти дни была такая. Махно со своими отборными частями куда-то выехал в разведку и где-то давал бой. И пока он не вернулся, допросами тянули время.

Наконец Махно опять появился в Добровеличковке. И хотя его охраняли несколько барбосов, которые могли зарубить всякого, кто пытался подойти к Махно, Розе удалось пробиться сквозь эту братву.

— Нестор, выслушай меня.

— Здравствуй, Роза. Слушаю.

— Дыбеца арестовали. Собираются расстрелять. За что?

— Да, мне доложили, что он арестован. Говорят, он против меня выступал, заявлял на митингах, что я открыл белым фронт.

— Ты сам с ним поговори. Ты знаешь, он врать не будет. Скажет, где выступал, о чем говорил.

— Да я наизусть все знаю, что он мне будет говорить. Ну ладно, обсудим.

И вот Махно созвал у себя своих присных. (Это я рассказываю по сведениям, которые к нам дошли позднее.) Он поставил на голосование вопрос о моей участи и большинством я был приговорен к смерти. Когда проголосовали, Махно долго молчал, а потом сказал:

— Нет, не дам его расстрелять. Таких людей нельзя расстреливать.

Думаю, на Махно тут повлияло еще и следующее обстоятельство. Несколько ранее Федько соединился с ним по телефону и сказал:

— Если расстреляешь штаб боевого участка, пусть ни один махновец не ждет от нас пощады.

Потом Федько передал трубку Куриленко. Тот со своим конным полком сумел где-то оторваться от махновцев и примкнул к частям Федько.

— Махно, слышишь меня? Говорит Куриленко.— Он подтвердил предупреждение Федько и еще добавил несколько слов насчет меня.— И Дыбеца не тронь. Иначе, кого ни встретим из махновцев, будем резать беспощадно. До сих пор церемонились, а теперь всех вас предадим анафеме.

Это повлияло. Но и самому Махно, видимо, не хотелось меня расстреливать. Политически ему это было невыгодно. Многие анархисты высказывались против расстрела, протестовали и эсеры (существовала в махновском стане какая-то эсеровская фракция). Кроме того, некоторые полки из тех, что привел с собой Калашников, тоже вступались за нас. Вероятно, Махно все это учел.

А я в одиночестве сидел под арестом и ничего не знал о борьбе течений, не знал, кто за меня, кто против меня.

22

В один прекрасный вечер меня переправили в какую-то хату, которую сделали арестным домом. Народ в хате менялся: кого-то приводили, кого-то уводили. По ночам расстреливали. Я ждал своей очереди. Для меня это было уже решенным делом: отсюда я не вырвусь.

Однажды мой Шурка принес — он все время считал своей обязанностью меня обихаживать, оставался начальником моего «продовольственного отдела»,— принес вареные яйца и молоко на ужин. Я поглядел на Шурку. Чем-то он сильно взволнован.

— Что с тобой, Шурка?

Он вдруг заревел.

— Чего ты?

— Уралов сегодня рассказывал, что весь штаб тебя приговорил. Нынче ночью тебя будут стрелять.

— Ну что же. Тут ничего, брат, не поделаешь. Не один революционер погиб. Бывает, что надо умереть революционеру. Чего ты ревешь?

— Жалко. Я не могу. Я соберу человек десять, мы придем с винтовками. Мы вас освободим.

— Бросьте, ребята. Не выйдет. Как ты освободишь, когда здесь двадцать тысяч вооруженных? Не надо твоей головой рисковать. Это просто глупо.

— Нет, я не могу. Давайте бежать.

В представлении Шурки побег из нашей кутузки — дело легкое.

— Иногда, Шурка, вредно убегать. Революционер должен уметь и расстаться с жизнью. Я никуда не убегу. А ты успокойся. Иди к Уралову и передай, чтобы он пришел ко мне часиков в десять. (На расстрел выводили в полночь.) Я напоследок с ним поговорю.

Ревет мой Шурка. Я стараюсь быть собранным, владею собой. Весь разговор слышит и Роза. Я забыл сказать, что ее во избежание недоразумений тоже арестовали, и уже три-четыре дня мы сидим вместе.

Затем Шурка по своей наивности начал настаивать, чтобы я поужинал. Как же — он днем усердствовал, добывая эти яйца! Я пытался его уговорить, чтобы хоть горшок с молоком унес, потому что сегодня нет аппетита. Но он настаивал, что самое главное — поужинать. Действительно, во всякой трагедии проглянет что-то комическое. Я улыбнулся его наивности.

— Оставляй, поужинаю. А ты обязательно поймай Уралова. Это тебе боевое задание.

Шурка вытер слезы и отправился.

Потянулись часы ожидания. Мое настроение, как вы понимаете, было не сильно повышенным. Но твердым — ибо я заранее приготовил себя к тому, что не спасусь. Так что вопрос заключался только в том, когда, где и как выгоднее умереть. Смерть — это тоже политическое дело. Пусть и она послужит борьбе. Такой расстрел сорвет с Махно остатки его ореола. Вся его армия меня знает. Уберечь свою шкуру — нет, это меня не занимало. Вопрос о собственной шкуре передо мной не стоял. За все время революции я никогда не думал о том, что и мне угрожает пуля.

Может быть, именно поэтому я и влиял на людей, что презирал смерть. Я давно понял: революция требует жертв.

В хате находились не только мы с Розой. Сидели там два-три спекулянта. Какой-то кулак был тоже ввергнут в это узилище за то, что сопротивлялся, когда его грабили. Кто-то шепотом молился.

Кажется, я уже упоминал о том, какой у меня характер: в самые критические моменты не люблю разговаривать. Надо дать самому себе отчет, привести себя в порядок. И я как бы остаюсь наедине с собой, наедине со своими мыслями.

Немного походил от стены к стене. Роза знала, что, пока я молчу, со мной лучше не заговаривать. Водворилось тягостное молчание на час или полтора.

Вдруг тишина прерывается звяканьем шпор, бряцанием сабель. Чей-то голос спрашивает:

— Дыбец здесь?

— Здесь.

Отворяется дверь, Махно со всем своим штабом входит в нашу темницу.

— Где же тут Дыбец? Спит?

Отвечаю:

— Не до сна. И ты бы на моем месте не заснул, ожидая участи.

— Это верно. Так вот, Дыбец, в чем дело. Мой штаб приговорил тебя к смерти.

— Что же, дело ваше.

Говорю совершенно спокойно, бровью не шевельнул. Глядит на меня Махно и продолжает:

— Звонил мне Куриленко по прямому проводу. Клянется, черт его не видал, что, если тебя казним, он будет расстреливать каждого из моих войск, кто ему попадется в руки. И Федько твой грозит. Но на это я плюю.

Пауза. Я не отвечаю. Махно спрашивает:

— Они еще дознавались про коммуниста такого-то. Ты не слыхал, где он?

— Не знаю.

— Вот и я ни черта о нем не знаю. Они считают, что он расстрелян. А я его не видел. Будь они прокляты, твои коммунисты! Десять раз объявляют меня вне закона и обещают расстрелять.

— Но не расстреляли же...

— Не расстреляли. Руки коротки.— Он выругался.— Мать-перемать, режут друг друга, а я за все должен отвечать.

Снова пауза. Молчим.

— Ну вот что, Дыбец. Я уже своему штабу объявил. Не поднимается у меня рука на такого старого революционера, как ты. Правда, ты ренегат, давно не анархист, и черт тебя знает, во что ты превратился. Но рука не поднимается. Я решил тебя освободить. Комендант!

— Я.

— Чтобы волос с его головы не упал, пока он находится на территории моих войск. Я тебя лично застрелю, если с ним что-нибудь случится. Повтори.

Комендант, запинаясь, повторяет:

— Лично вы меня застрелите, если с ним что-нибудь случится.

— Заруби это на носу. Ну, все. До свидания.

Подает мне руку. Что сделаешь? Протягиваю свою. Рукопожатие. Его штаб почтительно стоит, наблюдает эту сцену. Все они, кто с ним сюда вошел, обряжены в кавалерийскую форму с саблями, со шпорами. Махно тоже носил шпоры.

Спрашиваю:

— Что передать, если я выберусь к своим?

— Ничего не передавай. Десять раз вне закона объявляли. Не буду больше с большевиками работать.

— Что ж, тебе видней.

Этим встреча закончилась. Махно повернулся и вышел со своей свитой. Комендант остался в нашей горнице-тюряге, едва освещенной каганцом. Стоит бледный, чуть ли не полуживой. Не знает, как поступать дальше. Я говорю:

— Ты, парень, не журись, а пошли ординарца к Уралову с моей запиской. Дай клочок бумаги.

Пишу записку Уралову: Махно меня освободил, приходи и забери из арестного дома.

Не прошло и пятнадцати минут — явился Уралов. Я рассказал ему подробности. Комендант обрадовался, что может кому-то меня передать. Он, конечно, опасался, что сюда ворвется какая-нибудь бесшабашная ватага и зарубит меня тут. А ответит он собственной головушкой.

Смотрю — Уралов не торопится. Мне хочется поскорей уйти, но он удерживает:

— Не спеши. Надо обождать.

И поглядывает на часы. Наконец говорит:

— Пойдем.

Вышли втроем — Роза, Уралов, я. Ночь темная. Уралов свистнул. Поблизости раздались ответные свистки. Оказывается, он расставил роту мелитопольцев, под охраной которых мы, арестованные, двигались к Махно. Теперь они вновь нас охраняли на случай, если нападут кавалеристы Щуся или другие мои знакомцы.

Мелитопольцы провели меня к себе. Я пока там приютился. Роза пошла к Могильным. Добралась она туда. Стучит. Те оба спали или, быть может, просто затаились. Ночной стук в Добровеличковке дело не из приятных. Роза настойчиво добивается. Наконец Могильный откликнулся:

— Кто там?

— Откройте. Это Роза.

Могильные узнали от Уралова, что я приговорен к смерти. Им подумалось: меня расстреляли, и Роза присутствовала при расстреле. Они близкие наши друзья. Тяжело пережить такое. Онемели, не шевелятся. Роза требует:

— Откройте же, черт вас побери!

Наконец Андрей зажег лампу и открыл. Роза глянула на чету Могильных и расхохоталась. У них был такой трагический вид, что это ее рассмешило. А им показалось, что Роза сошла с ума. Степку расстреляли, и Роза лишилась рассудка. Она долго убеждала, что я освобожден, долго уговаривала прийти и проведать меня.

Наконец Андрей прибежал удостовериться, что Роза не сумасшедшая, что я действительно выпущен на волю. Обнялись. Затем он сразу обратил внимание на мои сапоги. Дело в том, что я привез из Америки красные сапоги. Они были очень приметны. В этих сапогах я ездил по фронту, выступал перед полками.

— Сапоги скинь, а то они тебя выдадут.

Нашлась для меня пара армейских сапог. Переобулся.

— И нужно тебе спасаться.

Но загвоздка была в том, как же спасаться. Уралов взялся наметить путь, по которому мы с Розой могли бы

пройти к частям Красной Армии. Однако через два-три дня он выяснил, что нигде никакой связи с нашими частями нет. Кругом махновцы. Везде рыщет кавалерия Щуся. Эти молодчики при первой же встрече со мной меня зарубят. Мы посовещались и решили: лучше идти в ту сторону, где местность занята белыми, и прорываться к своим сквозь белый стан.

Выработали нам маршрут. Уралов раздобыл для нас подводу. Роль возницы мне пришлось взять на себя. Переоделись мы с Розой в крестьянскую робу и на рассвете выехали. Нас снабдили и деньгами. В тех местах ходили и николаевские кредитки, и керенки, и украинские карбованцы, так что надо было запастись разными деньгами. Нам дали тысячи две рублей. Но это и деньги и не деньги. Они дешевели со дня на день. За пятьдесят пшеничных рублей (какие-то ассигнации были выпущены под обеспечение пшеницей и звались пшеничными) нельзя было купить буханку хлеба.

Ехали до глубокой ночи. Наверное, уже километров шестьдесят осталось позади. Ночевали в какой-то школе. Я, конечно, добросовестно позаботился о лошадях: разжился для них сеном, подкормил. На следующий день опять ехали. Ночь провели у какого-то бедняка. А утром покинули наш выезд на его попечение и ушли пешком: подвода вызывает больше подозрений, чем пара пеших.

Надо сказать, что я получил от Уралова бумагу, которая гласила: такой-то (фамилия моя) был задержан махновскими войсками, снят с поезда и, по его заявлению, у него отобраны все документы. Следовала подпись: начальник караульных частей махновской армии Уралов. И пришлепнута печать. А дальше я уже мог врать напропалую. Этот документ был нужен на случай столкновения с белыми.

Расставшись со своей подводой, мы шли пешком, делая приблизительно по тридцать километров в день. Научились шагать. Избрали путь на Киев, рассчитывая, что там застанем красных.

В каком-то городишке увидели наконец и беляков, местечко было только что занято разъездом белой армии. И сразу же стал восстанавливаться обыкновенный дореволюционный порядок. На улицах уже торчали полицейские. Мы разыскали базар. Потолкались на базаре. Узнали,

где помещается полицейское управление. Евреи, конечно, ожидают погрома.

Мы с Розой твердо решили идти прямо в полицию и прописать свой вид на жительство.

Приходим. Полицейский надзиратель — очевидно, из прежних, недорезанный,— красуется в мятых погонах и изображает индюка. Я объяснил, что я такой-то и сякой-то, ездил с женой в Одессу, лечиться на лимане, потом возвращались поездом в Киев, где работаю на заводе главным бухгалтером (это самое безобидное занятие). Поезд остановили махновцы, ограбили. Вот в каком виде уносим от них ноги. Вынуждены идти в Киев пешком.

Полицейский смотрел-смотрел на нас и отказался подписывать мой документ. Дал сопровождающего и велел нам обратиться к военной власти. Сопровождающему приказал сдать нас под расписку.

Добрались к военному начальству. Там нами занялся молодой офицерик. Я опять плел ту же историю: вот-де я главный бухгалтер, ездил на лиман, лечился от ревматизма и так далее.

— Ограбили махновцы. Обобрали дочиста. Единственно, что дали,— эту бумажку. Возвращаюсь на свою службу в Киев. Жить-то надо.

— А я при чем?

— Полицейский к вам направил. Я его просил, чтобы он подписал мой документ.

— Идите вы, куда хотите. Некогда мне с вами возиться.

— Но дайте записку, чтобы полицейский как-то узаконил наш документ.

— И записки не буду давать. Убирайтесь вон.

А рядом стоят два унтера. Рожи такие звероподобные, что хоть пиши картину. Один в казачьей фуражке, другой в жандармской.

Мы вернулись к надзирателю. И с нахальством, которое я могу проявить, когда это необходимо, говорю:

— Начальник войск отослал нас к вам обратно и приказал, чтобы вы обязательно прописали мой документ.

И мы выцарапали у этого полицейского чина надпись на обороте моего липового удостоверения. Он всего-навсего черкнул: прошу содействовать в посадке на первый отходящий поезд. Но по всей форме приложил какой-то полицейский штампик и печать. Ну, теперь живем.

Потопали мы на железнодорожную станцию. Комендант станции проявил, конечно, подозрительность, но раз записка с печатью, позволил сесть в товарный поезд. Мы втиснулись в теплушку и отправились на Киев. В дороге узнали, что Киев — у белых. Черт возьми, вот незадача! В Киеве мы знали лишь единственного человека — сестру жены одного моего приятеля по Русско-Американскому инструментальному заводу. Девичью фамилию этой женщины я помнил. Но она вышла замуж, а фамилия мужа нам неведома. Припомнилось, что она живет на Кузнецкой улице, а номер дома, хоть убей, не знаю.

23

Часов в пять утра поезд прибыл в Киев.

Побрели мы на Кузнецкую улицу, прочесали дом за домом, называли девичью фамилию этой нашей знакомой. Не нашли.

И так устали, ничего не евши, что Роза уже едва шагала. Приплелись на Еврейский базар и сели. Дальше просто не можем двигаться.

На Еврейском базаре торгуют кто чем попадя. Воистину толкучка. Тут надо сказать, что эта знакомая, которую мы тщетно искали, приезжала в Бердянск со своим братишкой лет двенадцати — тринадцати. И вот мне показалось, будто промелькнул этот мальчишка. Кинулся я за ним, но ноги были ослабевшими и догнать я его не смог.

Разочарованно вернулся, сел в изнеможении. Положение отчаянное. Можно было бы переночевать за городом, просто в степи. Но нет сил выбраться туда. Ну, безвыходное положение. Деньги, правда, есть, но нужна какая-то зацепка.

Просидели мы, вероятно, еще с полчаса. И бывает же такое: идет этот мальчишка с кувшином воды. Он торгует самой обыкновенной водой. Продает по десять копеек стакан. Я ринулся к мальчишке. Он меня узнал. Спрашиваю:

— Где вы живете?

— Да вот напротив.

То есть буквально в десяти шагах от нас — лишь пересечь улицу — находилась квартира единственного человека, к которому мы могли прийти.

Наша знакомая встретила нас гостеприимно. Мы сначала сказали ей немного: так и так, вырвались от Махно, теперь нужно здесь как-то прописаться. Посидели, поговорили. Потом мы с Розой взглянули друг на друга: почему мы должны скрытничать? Я сказал:

— Мы пробираемся к красным.

Женщина ответила:

— Надо обдумать, как это сделать.

Она повела нас к своей сестре. Та замужем за каким-то мастеровым-немцем, специалистом по настройке пианино. Он успевал и торговать. Продавал пианино. Весь Киев, казалось, жил только торговлей. Трудом в то время в Киеве не прокормиться.

Объяснили мы все начистоту. И выяснилось, что первым делом нужно добыть паспорт, а потом с паспортом можно уйти с территории белых, ибо до красных не очень далеко. Жена настройщика сказала, что у них дворник на все руки мастак и она с ним поговорит. Дворник объявил цену: столько-то керенок. Цена оказалась сходной: керенки у меня были.

На другой день мы пошли с дворником в полицейское управление к приставу. Дворник собрал подписи своих собратьев и сам удостоверил, что знает меня со дня моего рождения, что я никогда не был причастен к революции, что я действительно ездил в Одессу на лечение.

Мне и Розе выдали паспорта. Стали мы обдумывать, как быть дальше. Надо умеючи выйти из Киева и умеючи пройти деревнями. Но точных сведений не могли заполучить. Самые темные слухи. Вот красные в десяти километрах. Вот красные в ста километрах. Вот красные в Гомеле. Все, что хотите. А белая газета сообщает, что враг разбит, Москва окружена, Ленин улетел на аэроплане из Москвы,— такая белиберда, что уши вянут.

Миновало еще несколько дней. Ночуем, чтобы не вызывать подозрений, то у одной сестры, то у другой, которая обитала на Бибиковском бульваре.

Однажды просыпаюсь там — на Бибиковском. Что такое? Идет стрельба по всему бульвару. Выбегаю, оказалось — красные ворвались в Киев, гонят белых.

Ну, тут наше спасение! Однако на улицах стреляют так, что ходить рискованно. Э, была не была, надо же связаться со своими. Но подступиться к ним не просто. Это же регулярная армия в бою. Я все-таки подошел.

— Здравствуйте, товарищи.
— Здравствуйте.
— Какая это часть?
— А тебе какое дело?
— Не Федько ли командир?
— А ты откуда знаешь?
— Полагается мне кое-что знать.
— Смотри, будешь много знать — голову не сносишь.
— Это ничего. Где же Федько-то?

Нет, не отвечают. Народ неразговорчивый. Я с удовольствием отметил, что красноармейцы начеку. И продолжал допытываться:

— Федько, видимо, не скоро приедет. А где у вас штаб полка? И какой это полк?
— Тебе зачем?
— Нужно для связи.
— Ты что, подпольный?
— Да вроде так.
— Ну, так полк наш пятьдесят второй.
— Лунин у вас командир?
— Да.
— А где штаб Лунина?

Раз я назвал фамилию командира, красноармеец уже отнесся ко мне с доверием.

— Тут Федько должен проехать. Жди.

Гляжу — катит по улице автомобиль. Красноармеец подсказал:

— Ага. Это автомобиль Федько и есть.

Я вылетаю на середину улицы и вздымаю руки, чтобы остановить машину. Но, во-первых, я оброс бородой за это время. Во-вторых, на мне была довольно дрянная шинелька. Все же автомобиль остановился.

— Здравствуй, Федько.

Он на меня уставился.

— Черт побери! Дыбец?
— Дыбец.
— Как же ты сюда попал?
— Еле-еле вырвался из махновских лап.
— А жинка где? Жива?
— Жива. Мытарствуем вместе.
— Беги за ней. Тащи ее сюда. А я поеду на Крещатик, посмотрю, как мы там воюем. Буду проезжать обрат-

по через полчаса. А ты с жинкой стой на этом же месте. Я вас подберу.

— Понятно. Бегу.

— Погоди. — Федько сунул мне пачку николаевок. — Денег небось ни черта нет. Наверное, живешь у бедняков. Расплатись. И возвращайся сюда с жинкой.

Автомобиль тронулся. Я опрометью бросился на Кузнецкую улицу — минувшей ночью Роза спала там. Прибегаю. Розы нет. Куда-то отлучилась. Наконец отыскал ее. Спешим к назначенному месту. Но пока мы туда подоспели, белые уже оттеснили наших, захватили улицу. На всякий случай огрели и нас пулеметной очередью. Снова мы отрезаны. Разочарование такое, что только силой воли себя сдерживаешь.

24

Ну, что же делать? Еще терпеть уже невмоготу. Единственное спасение — убираться по Днепру.

К этому времени мы уже знали, что из-под Гомеля, находившегося на территории красных, люди ездят в Киев на лодках, закупают в Киеве соль и везут обратно. И это занятие очень прибыльное. И таких лодок очень много.

Стали ходить на берег присматриваться. Действительно, именно так дело и обстоит. Подошли к одному дядьке:

— Пассажиров вверх будете брать?

— Каких пассажиров? С тобой хлопот не оберешься.

— Обыкновенных граждан. Паспорт в порядке.

— Тогда ничего. Можно.

— Сколько возьмешь?

— Николаевские есть?

— Есть.

— Хорошо. Цена такая: сотенную с носа.

Пришлось поторговаться. Он согласился за сто рублей перевезти двух человек. Потом вновь оглядел меня.

— Ты так не езди. Во-первых, возьми пуда два картофеля. А то чем будешь кормиться? Ехать ведь десять дней по Днепру. Во-вторых, купи соли. А то спросят: зачем едешь?

— К родственникам.

— Не поверят. Ты скажи, что будешь торговать солью. А мы скажем, что ты наш крестьянин.

Внял я благому совету. Купили мы с Розой около пуда картофеля. Загнали ее последнее кольцо, которое она получила от матери. Загнали ее часы. Я не любитель обременяться большим грузом, но, кроме картофеля, приобрел и полпуда соли.

Однако дядьку, с которым я условился, мы упустили. Он уехал без нас. Договорились с другим. Тоже бородатый мужик. Тут я был уже умудрен опытом: еду-де с солью.

— Ладно, за сто рублей царскими двоих возьму.

И мы отчалили. Этих лодок было множество. Называются они дубы. Многие десятки таких дубов всякий день уходили вверх из Киева. Поднимает эта лодка пудов двадцать пять — тридцать. А условие такое: сел, бери весло, греби. Грести против течения — чертова работа. У меня моментально вздулись мозоли. Но все-таки гребу. Плывем.

Двигаемся день, другой. На пути — пограничная охрана белых. Проверка паспортов. У меня все оказалось в порядке. Никаких подозрений.

— Зачем едете?

— Как зачем? Соль везем.

— Ишь ты, спекулянт.

— А чем жить? Надо же кормиться.

Офицер спрашивает:

— Где же твоя соль?

Я неопределенным жестом показываю на лодку. Она полна мешками с солью. Не разберешь: где моя, где не моя.

— Ну, ладно, иди.

Охрана у кого-то водку отняла, у другого продукты отобрала. У нас с Розой отнимать нечего. Словом, дуб был проверен. Мы отъехали.

Бородатый хозяин дуба долго на меня смотрел.

— А я хотел тебе сказать, что у тебя солишки маловато. Но ты сам сообразил, показал на лодку. Видать, парень с головой.

— Не бойся, твоя соль мне не нужна.

— Да я не к тому. Я к тому, что котелок у тебя работает.

Плывем дальше. Это была, как сказал наш бородач, последняя белая стража, особенно опасная, а дальше путь

свободен. Но на дубе мы еле продвигались. Кое-где нужно было брать веревку, впрягаться по-бурлацки и вытаскивать на себе этот проклятый дуб.

А уже шел октябрь. Ночи холодные. На ночь останавливаемся, разжигаем костер из тальника. От такого топлива больше дыма, чем огня. Около костра и спали. На мне шинелишка, на Розе синий больничный халат, который не спасал от холода. Брюки мои окончательно приняли неприличный вид, протерлись на заду от непрестанной гребли. Но днем я опять упорно греб.

Дня через два встретили бронепароход под красным флагом. Ох, наконец свои! С парохода дали команду: лодкам подъехать! Подъехали. Командир спрашивает:

— Что там в Киеве? Какие пароходы у белых?

Я в ответ кричу:

— У них три парохода.

— А пушки установлены?

— Устанавливаются.

— А, значит, додумались.

Я сообщил общие сведения о войсках в городе. Рассказал, что Федько врывался в Киев.

— Это знаем без тебя. Ну, отваливай. Чего ждете? Отчаливай, а то будем стрелять.

Мы отчалили. Гребем, удаляемся от парохода. Дядька на меня посматривает:

— А глаз у тебя хороший.

— Что же, человеку глаз дан для того, чтоб видеть.

— Оно верно. Ну, ребята, навались, греби.

Снова и снова работаю веслом. А по ночам все холодней. Злющая осень. Неожиданно выпал снег. Это уже была беда. В наши с Розой планы вовсе не входила такая ранняя зима. Мужики стали говорить, что утром, может быть, реку схватит лед. Всю ночь от холода не спали. Натянули крестьяне шатер. Внутри развели костер. Ну, мочи нет — один дым. Тальник сырой, кое-как тлеет. Выйдешь из палатки — холод, войдешь — дым. Промучились всю ночь.

Наутро мужики посоветовали:

— Лучше идите пешком. Часто бывает, что лодки вмерзают в лед среди Днепра, а потом мы сами на подводах выбираемся.

Мы с Розой подумали-подумали, решили идти пешком. Привязал я свои полпуда соли на спину, туда же взвалил

и мешок с остатками картошки, и двинулись мы в путь. В первый день сделали около двадцати километров. Такие концы нам уже были не внове. У какого-то крестьянина переночевали. Ужинали картофелем. Поделились и с хозяином.

25

На следующий день прошли еще километров двадцать пять. Опять падал снег и тут же на земле таял. У нас целыми днями мокрые ноги. Но когда идешь, ничего, ноги не стынут. А ночью забираешься в крестьянскую избу и отогреваешься.

Утром мы увидели на реке другой бронепароход под красным флагом. Днепр все-таки не замерз. Вот он, пароход, рукой подать, но как к нему подойти? Он стоит на середине Днепра. Зашагали мы в ближайшую деревню. Прокрутились до вечера. День-то короткий. Искали, у какого мужика есть лодка. Вечером никто не решился ехать. Переночевали. А рано утром подрядили парня, чтобы он довез нас на лодке к бронепароходу. К нашему счастью, пароход подошел к берегу и набирал дрова. Значит, лодочник нам не понадобился.

Мимо часового я вбежал на пароход. За мной проскочила Роза.

— Ведите к капитану! — потребовал я.

Однако капитан оказался не военным человеком. К нам вышел военный комиссар. Я представился:

— Так и так, я такой-сякой, бывший военком боевого участка Красной Армии.

— А документы?

— Какие же документы, когда я прошел пешком столько-то верст сквозь расположение белых? Вот паспорт, выданный белыми.

— Ничего не выйдет. У меня жесточайший приказ: никого не брать на борт. Я не могу ослушаться.

— Как хочешь, но меня только силой снимешь.

— А нам недалеко ходить за силой. Сбросим, и точка. Приказ для меня не шутка.

Разговор идет на высоких нотах: я ругаюсь, он ругается. Подходят матросы. И вдруг возглас:

— Товарищ Дыбец! Здравствуй!

Кто-то меня обнимает. Я его не помню, а он меня узнал.

— Ты что, военком? На кого напал? Да ты знаешь, кто это такой! Он у нас богом был. Иди, товарищ Дыбец, с женой в кубрик. Никому тебя в обиду не дадим.

Комиссар сделал вид, что чем-то занят, и ушел. Нас провели в кубрик. Сидим, отогреваемся. Входит комиссар.

— Сейчас будем отчаливать. Вы лучше сойдите.

— Нет, не сойду, брат.

— Тогда договоримся по-хорошему. Мы через два часа должны остановиться около плавучей базы. И вас пересадим на базу. Дайте слово, что перейдете на базу, и я прикажу отчаливать.

— Ладно, даю слово. Но ты уговори, чтобы база нас взяла, а то, если и она откажет, придется нам только прыгать в Днепр.

Пароход отчалил. Мы с Розой сидим среди матросов. С нами наша картошка и соль. Поделились с братишками. Кто-то вскипятил чаек, и за кружкой чая этот матрос, который меня узнал, расписывал мои подвиги. В такой беседе время, как вы понимаете, для меня пролетело незаметно.

Действительно, часа через два пристали к плавучей базе. Я пошел к капитану базы. Тот говорит:

— Это не мое дело. Я тут по сути только лоцман.

— А с кем разговаривать?

— С военкомом.

— А где он?

Капитан показывает на человека, который стоит ко мне спиной. Я обращаюсь:

— Послушайте, товарищ. Я Дыбец, военком такого-то боевого участка.

И вновь повторяется прежняя сценка. Человек быстро оборачивается, обнимает, целует меня. Этого-то парня я узнал. Когда-то в Бердянске он был одним из тех, что с моего благословения устанавливали на катерке пушку. Я помнил его простым матросом, теперь встретил военным комиссаром плавучей базы. Тут подошли и еще наши бердянские матросы. Все честь честью: обнимаемся, жмем руки.

— Немедленно тащи сюда свою робу.

— Какая там роба? У меня остались единственные полпуда соли.

— Тащи. Пригодится и соль хорошим людям.

Я притащил Розу и соль. База должна была передать продовольствие двум бронепароходам и потом возвратиться в Гомель.

Тут в каюте на плавучей базе впервые за много-много дней я увидел наконец советскую газету. Это был небольшой листок, издаваемый политотделом. И к нашему восторгу, мы прочли оперативную сводку за 20 или, может быть, 21 октября 1919 года: Орел взят красными войсками, Красная Армия перешла в наступление на Южном фронте.

Не могу тут миновать одного характерного маленького эпизода. Надо вам сказать, что в последние две недели мы с Розой питались так скудно, что буквально готовы были волка съесть. Бердянцев на пароходе было человек восемь. Они радушно нас устроили. Мы отогрелись. Испытываешь такое чувство, что в родную семью попал. Теплынь. И возле тебя лежит газета с сообщением о победном ударе Красной Армии. Какого еще счастья желать после всех наших передряг, всех переживаний?

И, вообразите, подают большой казанок супа с картофелем и мясом. Мы с Розой вооружились ложками, сели за этот казанок и пришли в себя только в ту минуту, когда он оказался пустым. Я посмотрел вокруг, увидел вытянувшиеся лица. Выяснилось, что мы съели паек всех восьми человек. Этого я никогда не забуду. Мне стало так неловко, что готов был провалиться на дно речное. Вслух я сказал:

— Ребята, мы увлеклись. Теперь опомнились, но поздно.

Бердянцы, однако, не обиделись, договорились с военкомом, чтобы позаимствовать от ужина толику мяса. И суп был восстановлен.

База снабдила два бронепарохода продовольствием и повернула на Гомель. Все было бы хорошо, но погода злилась. Мы уже вошли в реку Сож. Пароход идет только днем. Ночью он стоит. Легли мы спать. Проснулись утром — пароходу нет дальше пути: реку сковал лед. До Гомеля осталось пятьдесят — шестьдесят километров. Сообразили мы с Розой, что на базе нам делать нечего, надо двигаться на Гомель. Попрощались с военкомом, с братишками-бердянцами и снова — в который уже раз — обратились в пешеходов.

Идешь по снегу. Проваливаешься. Ветер, холодно. Переночевали у одного крестьянина, переночевали у другого с таким расчетом, чтобы утром 7 ноября — в годовщину революции — прийти в Гомель.

И действительно, 7 ноября часов в десять утра мы оказались в Гомеле. Народ выстраивается на парад, а у нас ботинки разевают пасть, одна видимость осталась от подметок. А тут еще и оттепель, под ногами вода и талый снег. Последние двенадцать километров вдобавок ко всем прелестям нас поливал дождь. Шагаем, ботинки чавкают. Но Роза мужественно выдерживала эти невзгоды. Удивительно выдержанный, спокойный человек. Я больше нервничал от всяких лишений.

Так или иначе, прибыли мы в Гомель, расспросили, где городской партийный комитет. Явились туда. Как и следовало ожидать, из членов партийного комитета никого не застали — все пошли на парад. Дождь дождем, а парад парадом.

Нам сказали:

— Вот талоны. Идите в столовую. А потом придут секретари, поговорите.

Отправились мы с Розой в столовую. Невредно было нам поесть. Затем перебрались к натопленной голландке. Стали сушиться. Тут тоже обнаружилась газета. Мы узнали, что на Южном фронте наше наступление развивается вовсю. Был взят Воронеж, белые отступали к Курску. А на Украине, на фронте 12-й армии, к которой в свое время принадлежал и наш боевой участок, красные войска тоже двинулись вперед и как раз к празднику завладели Черниговом. В сводке говорилось и о боях под Петроградом. Там совершился перелом в военных действиях, войска Юденича были отброшены. В наши руки перешли Красное Село и Гатчина. Упоминалось и Колпино. Там, у стен Ижорского завода, наши прорвали фронт Юденича.

Многое, наверно, в этот час промелькнуло в мыслях. Ровно два года назад в день Октябрьской революции колонна бронеавтомобилей, изготовленных Ижорским заводом, вышла в Питер в распоряжение Военно-революционного комитета. Я, председатель завкома, тоже находился в одной из этих боевых машин. Кое-где пришлось столкнуться с юнкерами, пустить в дело пулеметы. К Смольному мы подошли ночью, когда уже открылся Второй съезд Советов. И не опоздали к той исторической мину-

те, когда на трибуну вышел Ленин, ранее скрывавшийся в подполье. Раскаты аплодисментов не давали ему говорить. Это, видимо, его смущало. Он обеими ладонями оглаживал свою лысую голову, будто на ней еще обретался парик, который он смог наконец сдернуть, придя в Смольный.

Да, было о чем вспомнить! Однако говорю Розе:

— Нам с тобой надо явиться в штаб Двенадцатой армии. Нас или там оставят, или пошлют в дивизию. Попросимся к Федько, к своим ребятам. И вообще уходить из армии я не собираюсь.

— Правильно, Степа.

Стали расспрашивать, где находится штаб 12-й армии. Выяснилось — в Новозыбкове.

— Далеко это отсюда?

— Три-четыре часа поездом.

— А поезда часто ходят?

— Не то два раза в неделю, не то один раз какой-то поезд ходит.

Погрелись-погрелись мы у печки, Роза предлагает:

— Знаешь что, Степа, идем на станцию. Поезда не ходят — это сказки. Наверное, товарные воинские ходят. Как-нибудь пристроимся.

— Пойдем.

Сказано — сделано. Пришли на станцию. Отыскали коменданта. Расспросили, ходят ли пассажирские поезда.

— Пассажирский — раз в неделю.

— А товарные?

— Вон стоит товарный. Но это товарный воинский. Там стреляют, если к ним полезешь.

— Все-таки попробуем.

Зашагали к поезду. Паровоз был уже прицеплен. Значит, действительно состав скоро отправится. Попытались влезть в теплушку. Нет, не пускают: «Отойди, будем стрелять». Тогда мы взобрались на тормозную площадку. Решили — три-четыре часа как-нибудь протерпим.

Поезд тронулся, и мы стали замечать, что оттепель сменяется морозом. Ноги у нас мокрые. Они сразу дали нам знать о морозе. Стоим, коченеем па открытой площадке. Ну, бывает такое состояние, что нет мочи. Зубы выбивают дробь. Я уже решил, что мы пропали. Но человек — такое существо, что все выдерживает. Поезд остановится — бегаем около вагона.

Промучились несколько часов и прибыли наконец в Новозыбков. У семафора остановился проклятый поезд. От семафора добежали к станции, на бегу согрелись.

Дальше — политотдел армии. Там встретились с Пахомовым. Нас обмундировали, выдали ватные телогрейки и австрийские ботинки, такие, что Роза обе свои ноги в один могла засунуть. И отпустили на месяц отдыхать в Москву.

Ровно через месяц мы с Розой опять явились в свою 12-ю армию...

* * *

...На этом обрывается сохранившаяся запись.

<1969>

На своем веку

Роман-записки

Принимаю тебя, неудача,
И удача, тебе мой привет!

А. Блок

Исподволь привожу в порядок свой архив. Поднял, если употребить это словечко хранилищ, всякие свои заметки, наброски, записи предвоенного времени. Они и сейчас лежат передо мной на столе — стопки потертых конвертов, где сохранилась моя переписка, пачка тетрадей, куда я заносил впечатления и думы, штабелек папок, посвященных той или иной моей поездке.

Надо бы все уже увязывать, убирать, я, однако, медлю. Не предложить ли читателю некую подборку этих страниц, не дать ли их такими, как они когда-то родились, ничего в них не меняя, не отделывая, лишь порой при необходимости скрепляя нынешними своими пояснениями? Не поведать ли историю своей неудачи — историю создания задуманного романа, который я в свое время так и не осилил, выдав лишь сравнительно небольшую работу «Записки доменного мастера». А материал был огромный.

* * *

Первое упоминание о работе, за которую я тогда взялся, нахожу в бумажке, отстуканной на издательском бланке: «Издательство поручает писателю А. А. Беку написать повесть о семье доменщиков Коробовых». Над текстом поставлена дата: 19 января 1938 года.

По договору я взял на себя обязательство представить ровно через год готовую к печати рукопись.

Предстояло несколько поездок. Сперва, конечно, в Макеевку, к Ивану Григорьевичу Коробову, то есть к Коробову-отцу, обер-мастеру доменного цеха.

С Иваном Григорьевичем, как, впрочем, и с его сынами, я еще не был знаком. Да и Макеевку почти не знал. Говорю «почти», ибо в 1935 году мне случилось вести там

ночные беседы с директором завода Георгием Виссарионовичем Гвахария.

Моя, так сказать, штаб-квартира командированного в Донбасс «беседчика», трудившегося для «Кабинета мемуаров», что возник под рукой Горького, находилась тогда в областном городе Сталино (некогда Юзовке). Гвахария, с которым я заранее, еще в Москве, договорился о встречах, присылал в Сталино к десяти часам вечера машину за мной и моей стенографисткой; мы отмахивали двадцать пять или тридцать километров до Макеевки, а после очередной беседы, что происходила, сколь помню, в его домашнем кабинете, где настольная лампа под зеленым колпаком, оставляя комнату слабо озаренной, бросала круг света на тетрадь, на вооруженную перышком руку,— после беседы та же машина в час или в два ночи увозила нас обратно.

Вижу и теперь легкую полуулыбку Гвахария, то и дело проступавшую в заостренных уголках губ, обращенную неведомо к кому,— скорей всего к дням недавней еще молодости. Мы с ним были одногодками, оба родились в 1903-м. Он рассказывал, сняв очки и, вероятно, лишь смутно меня различая.

Кстати, беглый портрет Гвахария нашелся в одной моей незаконченной рукописи, где главным лицом является Серго Орджоникидзе. Приведу этот отрывок.

СЕРГО ЕДЕТ В ДОНБАСС

Октябрь 1933-го. Народный комиссар тяжелой промышленности Орджоникидзе, или, как его все называли, товарищ Серго, выбрался в большую, почти двухнедельную поездку по заводам юга. В его маршрут входило и посещение рудников Кривого Рога, где пролегали, как по укоренившемуся словоупотреблению говорилось, тылы металлургии.

Миновав Харьковщину, поезд вторгся в испещренную ложбинами, или, по-местному, балками, знакомую с давних пор Серго землю Донбасса. Шел двенадцатый час ночи. Зинаида Гавриловна, сопутствовавшая мужу почти во всех его поездках, уже улеглась, затихла. Серго тоже прилег, но все медлил, не раздевался. Следовало бы соснуть, ибо рано утром предстояло прибыть в Сталино и от-

дохнувшим, на ногах встретить брезг рабочего завтрашнего дня.

Вытянувшись на одеяле, Серго смотрел то на зашторенное плотно окно, то на фиолетовый ночник в потолке. Потом без шума встал, натянул сапоги, поправил на Зине одеяло, погладил кончиками пальцев ее по-крестьянски широкое, округлое плечо и тихонько ступил в коридор. Мягко задвинул дверь. И в неизменном военном костюме — в кителе и брюках защитного цвета — зашагал по коврику в салон-столовую, где чуть ли не каждую трапезу разделяли с ним и гости, большей частью заводские работники, которых он по ходу поезда, начиная с Тулы, вызывал в вагон на один-два перегона.

В пустом, слабо освещенном салоне окна не были завешены. Сквозь стекла виднелась бескрайняя россыпь электрических огней, кое-где изреженная, в других местах сбежавшаяся светящимися гнездами.

Были времена — тьма окутывала ночной Донбасс. В 1918 году Серго, чрезвычайный комиссар района Украины, а затем и всего юга, ездил здесь на паровозе. Где-то в пути ему передали записку Ленина. Серго и поныне помнил дословно эти взывающие к нему строки: «Ради бога, принимайте самые энергичные и *революционные* меры для посылки *хлеба, хлеба и хлеба!!!* Иначе Питер может околеть. Особые поезда и отряды. Сбор и ссыпка. Провожать поезда. Извещать ежедневно.

Ради бога. *Ленин*».

Всей душой, всей пылкой натурой Серго тогда воспринял эту записку-крик. Здесь, в рабочих поселках Донбасса, в Краматорке, Юзовке, Дебальцеве, формировались продотряды, а Серго уже мчался на обильную Херсонщину, созывал там крестьянские съезды, собирал большевиков, телеграфно требовал денег, хлебом, хлебом, десятками, сотнями вагонов хлеба отвечал на ленинское «ради бога».

Далеко ушли те годы. Огнями сияет Донбасс. Вон впереди край неба смутно зарделся. Это, наверное, зарево домен Краматорки. Одно из множества заводских зарев Донбасса.

Да, многое с тех пор совершено, не стыдно было бы дать отчет Ленину, и все же... Все же металлургия то и дело сбивается с ноги. Форсированный и вместе с тем ровный марш не удается.

Почти всех своих самых способных, неутомимых сотрудников, которых Серго особенно ценил, он отдал из наркоматовского штаба предприятиям: немногословного, тяжеловесного Макарова отослал в Юзовку, стремительного Гвахария — в Макеевку, обрусевшего мадьяра Бирмана — в Днепропетровск, въедливого Трахтера — в Криворожье на руду. Медленно, нестерпимо медленно, с откатами, со срывами ползла вверх кривая выплавки.

Поезд плавно притормаживает. Да, станция Краматорская. Серго опускает оконную раму, высовывает голову, смотрит вперед, на старые, обветшалые доменные печи Краматорки, обозначенные рвущимися ввысь язычками пылающего газа. Весенний влажный ветер треплет густую, хотя не столь буйную, как в молодости, уже с примесью седины шевелюру Серго.

Остановка. Серго переходит к противоположным окнам, откуда можно взглянуть на другой завод, детище первой пятилетки, соперник Уралмаша,— машиностроительный многокорпусный Ново-Краматорский.

Вдруг слышатся чьи-то шаги в коридоре. Кто это? Серго оборачивается. В дверях салона — неожиданный гость, высокий, статный, в легком пальто, в роговых очках, директор Макеевки Гвахария. Кепку он держит в руке, открыв большой выпуклый лоб и черные вьющиеся волосы. Уголки губ слегка приподняты его постоянной улыбкой.

Серго давно знал рано повзрослевшего Жоржа (так в кругу близких звался Гвахария), отдал ему привязанность, близкую к отеческой. Подошли сроки, привлек его в свой аппарат или, хочется сказать, дружину. Наделенный талантом организатора, не останавливающийся перед риском, Гвахария в любое порученное ему дело вносил энергию, темп, не раз выезжал на стройплощадки как уполномоченный Наркомтяжпрома. Там он, словно на неких ускоренных курсах, приобретал знания строителя, набирался опыта. Далее был брошен в Макеевку перестраивать металлургический завод. Молодой строитель и тут проявил организаторскую хватку, сумел в темпе, с размахом повести дело. И остался директором этого завода, в сущности, воздвигнутого вновь, оснащенного по чертежам учеников Курако печами-великанами и уже не уступавшего в технической вооруженности Магнитогорскому или Кузнецкому.

— Здравствуйте, товарищ Серго,— произносит Гвахария. Ясней прорисовывается прирожденная его улыбка.

— Здравствуй. Как ты сюда попал?

— Это мой секрет.

— Раскрывай свои тайны Рокамболя.

— Что же, винюсь. Попросил стража-проводника, чтобы он вызвал вашего секретаря. И доложил, что вы велели мне сесть в Краматорской в ваш вагон.

Серго не сердится.

— Авантюрист, авантюрист... Ну, ежели пришел, садись. И говори сразу, чего от меня хочешь!

Поезд меж тем трогается. Гвахария не садится.

— Сразу так сразу. Товарищ Серго, на соседней станции ждет машина. Прошу вас к нам в Макеевку.

— Не беспокойся, я и без приглашения все равно к тебе заеду. Какой нетерпеливый!

— Товарищ Серго, попадем на завод в ночную смену. Никакая свита за вами не увяжется. Все будет вам виднее. Пройдете по цехам только со мной.

— Нет, если уж на завод пойду, то без тебя. Но ничего не получится. Ведь в Сталино меня встречают. Наверное, выедет и секретарь обкома...

— Ну, выедет, и ему скажут: Серго уж на заводах. Неужели, товарищ Серго, вы уже так...

— Хочешь сказать: так обюрократился?

Орджоникидзе смеется. И тотчас обрывает смех. И заговорщически прикладывает палец к губам. Смеются лишь его блестящие черные глаза. Окно по-прежнему раскрыто. Сияют огни, огни. Он поглядывает туда. И признается:

— Знаешь, ей-ей, я сам этого хотел. Надел сапоги и думаю: зачем? А вдруг, черт побери, какая-нибудь оказия подвернется... И подвернулась! Но погоди...

Он опять предостерегающе поднимает палец. Этот жест ребячлив.

— Погоди,— повторяет Серго.— Надо оставить записку Зине.

Директор Макеевки мгновенно извлекает из кармана ручку-самописку. Следом за нею — и блокнот. Присев, Серго выводит строки, выговаривая их вслух: «Зиночка, меня умыкнул Гвахария, приезжай в Макеевку. Серго».

Далее в отрывке выведен заголовок новой главы. «Гвахария». И следуют лишь две строки:

...Выхватывая фарами полосу то асфальта, то булыжника, машина, везущая Серго и Гвахария, идет по ночному Донбассу к Макеевке.

И ничего более не сказано...

Получив теперь задание издательства, я перво-наперво отправился знакомиться с жившим в Москве одним из Коробовых-сыновей — Николаем Ивановичем. Он вел курс металлургии чугуна в Промышленной академии и два-три месяца назад, не оставляя преподавания, стал также начальником технического отдела в наркомате. Поговорил я и с женой Николая, Марией Ивановной, которая тоже получила образование металлурга и работала в исследовательской лаборатории.

Нахожу в тогдашнем своем блокноте несколько скупых заметочек.

...М. И.: Все Коробовы сутулые, но Ольга Митрофановна (жена Ивана Григорьевича, мать его детей, умершая в 1930-м) не была сутулой. Николай Иванович тоже сутулится, но в лице много материнского. У Ольги Митрофановны волосы темные, брови густые, ресницы тоже. Кожа у глаз темная. Серые глаза выделяются. Смуглое лицо без румянца. И Николай таков же. У отца кожа розовая, как у всех рыжих. Его в Макеевке называют дедом, уж очень давно он там работает. А сам дед о себе говорит: «Мне думается, что я еще молодой, еще малец». Непосредственный. Что на уме, то и на языке.

К тому времени я, державшийся методики, созданной немногочисленными авторами «Истории заводов» и родственных горьковских изданий, приучил себя схватывать, вносить в записную книжку такого рода как бы малозначащие, мелкие подробности из рассказов собеседника, потом тоже попадавшие в мозаику вещи.

Серые, ясневшие средь темноватой природной подгрунтовки глаза Николая Ивановича взирали на меня доброжелательно, тепло. Нижняя челюсть была увесистой, характерно коробовской, как я в дальнейшем при

встречах с другими членами семьи мог убедиться. Ему были известны, нравились мои опубликованные в «Знамени» повести о доменщиках («Курако», «События одной ночи»).

Чувствовалась его, видимо, издавна укоренившаяся скромность, рискну даже сказать, философия скромности. Слава, которая в те дни выплеснулась на семью Коробовых, в том числе и на Николая, оставила его — так я ощутил — спокойным.

Вот что в ходе нашей первой беседы я занес в блокнот:

...Отец мой горяч, шумлив. Когда идет с завода, еще от калитки слышен его крик: «Что за беспорядок: кур распустили, собаку отвязали» и т. п. Еще маленьким я думал: не буду таким. Он горячится, а я стараюсь быть спокойнее. Эту черту я в себе выработал, хотя иногда срываюсь...

И далее:

...У меня стремление оставаться в тени.

Вышло так, что вскоре Николай Иванович был командирован в Донбасс. Мы поехали вместе.

Теперь трону связку писем, которые я из этой поездки посылал домой. Прочитаем первое:

30 января 1938 г.

Пишу в поезде. Подъезжаем к станции Харцизск, где будем вылезать. Билет удалось достать, хотя с большим напором.

Интересна была встреча с Николаем Ивановичем. Он с женой приехал за десять минут до отхода поезда и стоял у вагона, высматривая, не видно ли где меня.

Я сидел в своем вагоне и его не видел. Он так и сел, уверенный, что я не достал билета.

Уже на ходу поезда я прошел в его вагон и вижу, он стоит в коридоре. Он узрел меня и расхохотался. Это был такой искренний и радостный смех, что сразу почувствовалось: хороший человек. Действительно, как говорил Твардовский, по смеху видна душа человека. Этот смех, эта радость (был рад за меня) показали мне, что он ко мне очень хорошо относится.

Вечером я посидел часа полтора в его купе, где оказались и еще инженеры, немного поболтали.

Чувствую себя хорошо, поездке рад, горю желанием работать, работать.

По неостывшим следам этой поездки я написал одну из глав книги о Коробовых.

В МАКЕЕВКЕ

Поезд несется на юг. Николай Иванович сидит с книгой у окна, вдвинув в угол широкую спину. Вокруг разговаривают попутчики, а он читает. Виден склоненный над книгой смуглый, без румянца профиль. Шевелюра слегка вьется. Подбородок массивен. Николаю Ивановичу свойственна медлительная манера чтения, не скоро переворачиваются страницы.

Он замечает, что я наблюдаю, поднимает голову и смотрит со сдержанной ласковой улыбкой, такой странной на грубо вылепленном лице.

— Полезная книга,— говорит он.— Тут и о писателях кое-что есть. Вот посмотрите-ка, неплохо сказано, а?

Он протягивает книгу, указывая пальцем понравившееся ему место. Я читаю:

«Виктор Гюго написал пятьдесят томов. Этого он достиг тем, что всю свою жизнь в семь утра был уже на ногах, выливал себе на голову кувшин холодной воды и принимался за работу. Его произведения полны вдохновения, но он сумел подчинить вдохновение привычке и трудился ежедневно от семи до двенадцати, подобно чиновнику или конторщику».

Книга потрепана, обложка оторвалась, и лишь на корешке сохранилось заглавие: «Методика умственного труда».

Я уже раньше просматривал ее, интересуясь, что взял с собой для чтения в дорогу мой герой.

Предисловие помечено 1924 годом, тем самым годом, когда Николай был принят в институт. Он покупал в то время много подобных книг, поглощенный мыслями о выработке качеств, создающих полноценного работника и счастливого человека.

Лучшие из этих книг он сберег со студенческих лет; они хранятся у него в книжном шкафу; он их любит перечитывать.

Интересная, трудная для пера личность. Как-то он сказал, что не нашел еще в советской литературе образа, в котором мог бы узнать себя.

— Зачем вы столько раз к ней возвращаетесь? — спрашиваю я, отдавая книгу.

— Шлифую себя,— отвечает Николай Иванович.— Прочтешь какую-нибудь истину и думаешь: а ты как?

Поезд несется и несется. Вот, наконец, и Донбасс. Из Москвы мы выехали в морозный день, а здесь оттепель, обычная неустойчивая зима Донбасса.

Мы одеваемся, готовясь выходить.

В меховой шапке-ушанке, низко посаженной на лоб, в черном кожаном пальто на вате, стянутом поясом, Николай Иванович кажется тяжелее и толще, чем обычно. Захватив вместительный портфель, он направляется к выходу. За ним следую и я. В раскрытую наружную дверь врывается сырой ветер с запахом талого снега.

Поезд замедляет ход, пути раздваиваются и раздваиваются. На шпалах снег растаял, а меж ними еще лежит.

Показалось белое здание станции Харциск. В Донбассе хорошо знают эту станцию, отсюда ходят автобусы в Макеевку.

На мокрой асфальтовой площадке, вглядываясь в бегущие вагоны, стоял сразу мной узнанный по фотографиям Иван Григорьевич в высокой шапке обезьяньего меха и демисезонном пальто.

Наш вагон проскочил мимо, и Иван Григорьевич, заметив сына, кинулся вдогонку, разбрызгивая лужи. Но, видимо, на ходу сообразив, что в данном случае негоже торопиться, резко застопорил и двинулся шагом.

Поезд мягко сдерживал ход, проводник нашего вагона спрыгнул и шел рядом с поездом. На лице Ивана Григорьевича выразилось нетерпение. Сдвинув рыжие брови, он сердито взглянул на сына. В этом взгляде можно было прочесть: «Чего валандаешься, почему не соскочишь?» Но Николай выждал, пока затухающее движение не оборвалось окончательно. Лишь тогда сошел на платформу и неторопливо двинулся навстречу отцу.

— Шибко вы бегаете,— улыбаясь, сказал Николай.

— Давай любого, с кем хочешь потягаюсь! — ответил отец.

Они обнялись и поцеловались.

Поздоровавшись со мной, Иван Григорьевич опять обратился к сыну:

— Давай хоть сейчас наперегонки. Вот человек посмотрит.

Николай отрицательно качнул головой. Отец ухмыльнулся и скосил глаза на меня: заметил ли я его торжество?

— Насчет Павла что слыхать? — спросил Иван Григорьевич.— Как у него план?

Николай ответил, что в Магнитке очень плохо с доставкой угля, выплавка резко съехала, доменные печи дали в январе около 80 процентов плана. Иван Григорьевич недовольно сопел, слушая эти невеселые вести.

Отец и сын шли рядом по асфальтированной платформе, но, как только мы, пройдя через здание вокзала, ступили на мостовую, покрытую жидкой грязью, так Николай отстал. Дед шагал напрямик, а Николай обходил лужи, переступая с камешка на камешек.

— А Илья как? — спросил Иван Григорьевич, оглядываясь через плечо.— Тут болтают, что его в Енакиево начальником цеха перебрасывают. Правда или брешут?

— Разговоры были, но... Меня спросили, я не посоветовал. Куда ему спешить, пусть на одном месте посидит.

— И я так думаю. Надо его попридержать, а то парень задается.

— Работает он действительно лучше вас...

Эти слова вызвали бурную реакцию обер-мастера. Он круто повернулся и, остановившись среди пристанционной площади, заговорил:

— А какую руду вы нам даете? Одна пыль, четырнадцатый, пятнадцатый класс, да и той нет. С такой руды ни собаки толку не выйдет. Пускай Илюшка сюда заявится, дай ему печь и мне печь, поглядим, кто свое доказать сумеет.

Жестикулируя, отец напирал на сына, словно пытаясь заставить его попятиться. Но Николай не отступал.

— Илье не создано никаких специальных условий,— возразил он.

Иван Григорьевич не слушал:

— Давай сюда академика с тремя головами, и каждая голова во какая, поглядим, как он из рыбы мясной борщ сварит. А ваших головотяпов половину поразогнать надо к свиньям собачьим.

— Каких головотяпов?

— А таких, у кого голова не тяпает. Одну пыль гонят, не знаю, где они ее такую и берут, должно, старые свалки разгребают.

Мы подошли к машине марки М-1, черной и блестящей, как огромный жук.

Иван Григорьевич достал ключ, открыл переднюю дверцу, заглянул внутрь и сердито повел носом:

— Всю машину провонял, будь он неладен.

— Кто? — спросил Николай.

— Да подвез тут одного. Сел в машину и папиросу в зубы. Пришлось сказать, чтобы бросил эту привычку...

Он оглядел блестящие приборы, свежую, нигде не испачканную обивку песочного цвета:

— Погляди, Никола, ты ее еще не видел. Новенькая. Ход великолепный. Сам в Артемовск за ней ездил, а то пошлют какого-нибудь тюху, он пока доедет, разобьет.

Сев за руль и наблюдая, как мы рассаживаемся, он продолжал говорить о достоинствах своей новой машины.

Николай разместился рядом с отцом, я — сзади.

Слегка прогрев мотор, Иван Григорьевич вывел машину на шоссе и покатил, постепенно набирая скорость.

— Три дня в Москве загубил, а выбил это дело,— доносилось до меня.

Николай молчал, но по вздернутым плечам, по напряженной шее было заметно, что он сидит не в свободной, не в безмятежной позе.

Шея, говорят скульпторы,— второе лицо. По шее Николая можно было догадаться, что ему неприятны разглагольствования отца о том, как тот «выбивал» машину, что он стыдится этой бесцеремонной откровенности. Но еще выразительнее была шея деда. Это была настоящая рабочая шея — темно-коричневая, просеченная глубокими морщинами, словно разъеденными потом, принявшая на себя печать сорокалетнего труда у доменных печей.

Машина шла бесшумно и мягко по гладкому шоссе, но Иван Григорьевич следил, чтобы стрелка скорости не переходила за цифру 30, потому что еще не закончился период обкатки.

Он скоро умолк, почувствовав молчаливое неодобрение сына.

— Получили телеграмму о комиссии? — спросил Николай.

Оказывается, дед ничего не получал. Николай расстегнул кожаное пальто, достал бумажник, нашел среди документов распоряжение, подписанное замнаркомом, и прочел вслух:

«Для установления причин недопустимой скверной работы доменных цехов завода им. Ворошилова и завода им. Дзержинского командировать комиссию в составе:

1. Коробова Николая Ивановича (нач. технического отдела ГУМПа, председатель комиссии).

2. Коробова Ивана Григорьевича (обер-мастера Макеевского завода им. Кирова)».

Далее был назван еще один член комиссии.

— Что же, дело доброе, поедем,— сказал дед.

Машина взлетела на гребень, и перед нами открылась Макеевка.

Первое впечатление — пелена дыма, в которой просвечивают множество труб и четыре фигуры доменных печей, возвышающихся над всем. Это самые большие печи Донбасса, выдающие четыре тысячи тонн чугуна в сутки, десять процентов выплавки всей страны.

Секунду спустя глаз различает заводские корпуса, рудничные копры и белые многоэтажные здания школ.

Мы въезжаем в город через поселок шахтеров, который раньше назывался Шанхаем. Там и сейчас много грязи на улицах, кажутся закопченными низкие деревянные домишки.

Пружиня на выбоинах, машина медленно проходит по этой неприглядной улице. Но через несколько минут мы уже в центре города, в новой, асфальтированной Макеевке. Главная улица украшена цепью больших матовых шаров-фонарей, подвешенных на кронштейнах вдоль трамвайных рельсов.

Иван Григорьевич придерживает машину у «Гастронома», мы делаем некоторые покупки к обеду, затем усаживаемся на прежние места и опять трогаемся.

Иван Григорьевич сворачивает с асфальтовой дороги за угол.

— Куда вы? — спрашивает Николай.

— Обождите, а я моментом на базар смотаюсь. Анюта кой-чего просила.

Он вылезает с плетеной корзинкой, которую я раньше не заметил. Николай Иванович остается в машине, я иду вслед Ивану Григорьевичу.

Базар в двух минутах ходьбы. Уже схлынул утренний наплыв продавцов и покупателей, но в рядах под навесом еще продолжается торговля.

Иван Григорьевич идет вдоль рядов, прицениваясь к маслу, сметане, яичкам, к луку и картошке. Он шутит с колхозниками, крупный, добротный товар вызывает у него одобрительные замечания, он не удерживается, чтоб не пощупать. Ему отвечают, с ним пересмеиваются, некоторые его узнают, называют по имени-отчеству, его лицо расплывается тогда в довольной улыбке, он любит, чтоб его узнавали.

В мясном ряду он задерживается, выбирая кусок свиного сала.

— Иван Григорьевич, пожалуйте! — раздается возглас.

Эти кричит мясник государственного магазина, издалека заметивший рыжего мастера.

Иван Григорьевич приподымает свою высокую шапку и степенно направляется на зов.

Мясник ухаживает за прославленным доменщиком. Зная его вкус и спрос, мясник находит и отвешивает брусок толстого мягкого сала, называемого «хлебным», потом предлагает взять мяса.

Иван Григорьевич отказывается, но мясник все же отрубает такую ладную часть с мозговой косточкой и с жирком, что дед соблазняется. Он любит, не скупясь, принести домой вот такой большой и красивый кусок мяса. Мясник укладывает покупки в корзину и расспрашивает, как работают доменные печи, на сколько процентов будет выполнен январский план.

Коробов бурчит:

— На девяносто восемь вытянем...

Но к машине он возвращается, довольный удачной покупкой.

— Анюте никогда так не купить,— говорит он,— теперь и домой можно заявиться. Там уж поди нас ожидают.

Корзинку он устраивает рядом с собой, в ногах, на ре-

зиновом коврике, Николай пересаживается назад, и мы едем дальше.

Завод скрыт за высокой каменной оградой, но отовсюду, с любой точки города видны доменные печи. Мы приближаемся к ним, по ходу машины они медленно поворачиваются перед нами, давая возможность рассмотреть с разных сторон наклонные мосты и причудливые сплетения железных труб, огромных даже на расстоянии.

Пройдя несколько кварталов, машина поднимается на мост, ведущий из города в заводскую колонию. Открывается вид на завод.

Совсем близко внизу паровоз тянет ковши со шлаком, подернутым шершавой коркой.

А на другом конце завода, в двух-трех километрах, виднеется на фоне серенького неба ажурная стрела подъемного крана, поднимающая раскачивающуюся связку каких-то железных изделий.

Глаз схватывает все это сразу, всю территорию, от края до края,— с доменными печами, с десятками кирпичных и железных труб, извергающих дым разнообразных оттенков, с множеством переплетающихся железнодорожных линий, по которым двигаются составы в разных направлениях.

Металлургический завод — всем заводам завод: ни один иной не имеет столь обширной территории.

Через несколько секунд мост остается позади, каменная ограда опять заслоняет завод.

Иван Григорьевич неожиданно тормозит, останавливает машину, поворачивается к нам:

— Давай, Никола, через завод проскочим, а потом обедать, ладно?

— Зачем? Всему есть свой порядок.

— Мы и вылезать из машины не будем. За двадцать минут управимся проехать. Печи показать тебе охота.

— Всему свой порядок,— повторяет Николай.— У нас еще и пропусков нет.

— Достанем, минутное дело.— Иван Григорьевич уже организует, распоряжается.— Давайте командировочные и паспорта. Вы сидите, а я один слетаю, у меня дело горячей пойдет.

Однако сын проявляет твердость, не дает документов.

...В ранних зимних сумерках, сквозь которые блекло просвечивает полоска заката, подъезжаем к дому обер-мас-

тера. Остановив машину, он соскочил, побежал отворять ворота.

Мы тоже вышли.

Маленький каменный домик, где живет семья Коробовых, расположился на склоне, круто сбегающем к заводскому пруду.

Из-за оттепели пруд растаял, и видна была черная, неподвижная вода, в которой отражались первые вечерние огни с того берега.

В одном месте вода густо парила: там проходила горячая струя заводского сброса.

— Здесь я учился плавать,— сказал Николай,— а теперь знаю, сколько миллионов надо на очистку.

Он вздохнул, помолчал и продолжал:

— Смотрите, какая вода неживая. Загадили отходами с Коксохима. Теперь вычистим все. Коксохиму другой сток дадим. На днях смету проверял, хотел на благоустройство сократить, но рука не поднялась. На следующее лето ребятишки сотнями тут будут прыгать.

Раскрыв ворота, Иван Григорьевич ввел машину во двор, залитый асфальтом, где близ дома стоял гараж с окнами, забранными решеткой. Гараж был выстроен по плану самого Ивана Григорьевича: стенка разделяла помещение на две части — большую, куда ставился автомобиль, и малую, с отдельной дверкой, там уместился курятник.

Окинув двор быстрым взглядом из-под бровей, Иван Григорьевич сразу заметил непорядок: дверь курятника была плохо прикрыта.

Ворча по этому поводу, он снял пальто, повесил на забор, открыл водопроводный кран и, взяв резиновый шланг, направил сильную струю на заляпанную грязью машину.

На крыльцо вышла Анна Никитична с непокрытой головой, накинув пальто сверх белого платья.

— Что же вы не идете? Здравствуйте, Николай Иванович, с приездом. Я слышу, машина пришла, а никто не идет. Оставь, Иван Григорьевич, после...

— У вас все после... Дверь тоже после будешь закрывать? Гляди, как бросила! За это ребятишкам дают нагонку. Надо, Анюта, по-хозяйски относиться, каждое дело до краю доводить.

Не возражая ни единым словом, Анна Никитична лег-

ко, несмотря на полноту, сбежала с крыльца, плотно притворила дверь курятника и сказала:

— Я сразу вижу, когда у него на доменных плохо.

— Ничего не плохо, а надо знать порядок.

— Пойдем, Иван Григорьевич, там ожидают.— Явно для меня Анна Никитична добавила: — Это у нас первый хозяин, что дома, что в заводе.— И опять обратилась к мужу: — Пойдем. Машину Миша вымоет.

Еще не улыбаясь, но уже гораздо мягче Иван Григорьевич сказал:

— Ну, посылай Михаила. И кошелку возьми в машине. Там поглядишь, разберешься...

Мы вошли в прихожую. Николая там встретили родственники и друзья, собравшиеся ради его приезда, повлекли было в столовую, но Анна Никитична, едва мы разделись, повернула нас сперва в кухню — умыться после дороги.

Подавая мне полотенце, она радушно говорила:

— Вы еще здесь не были? Посмотрите, как мы живем. Это кухня, здесь мы в будни и обедаем. Здесь вот спальня, там у нас и радио и телефон. Никогда не дадут Ивану Григорьевичу спокойно поспать.

Она отворила дверь, показывая комнату. У стены стояла кровать, застланная белым покрывалом с кружевными оборками; рядом столик, на котором лежала раскрытая книжка и на ней синее стеклышко доменщика в металлической оправе.

Книжка меня заинтересовала. Это была инструкция по управлению и уходу за автомобилем М-1. Анна Никитична сказала, что теперь это самая любимая книжка мужа: ложась спать, он обязательно ее читает, рассуждая вслух по поводу каждого пункта.

— И я уже затвердила: картер, карбюратор, газ... Хочет, чтоб я все понимала, чтоб было ему с кем рассуждать.

Над постелью висели три увеличенных фотографии в деревянных рамках.

Портрет, расположенный в центре, изображал Ивана Григорьевича, снятого лет двадцать пять назад в крахмалке и в галстуке бабочкой, с нафабренными и закрученными вверх усами.

К портрету Ивана Григорьевича примыкали по краям две женские фотографии: его первой жены,

покойной Ольги Митрофановны, и второй — Анны Никитичны, стоявшей рядом со мной в эту минуту.

Я смотрел на портреты, когда в комнату ступил Иван Григорьевич, уже без пиджака, в жилетке, вытирая полотенцем руки. Поглядел на фотографии.

— Она, покойница, очень здесь похожа,— сказал он.— Душевная была женщина, настоящий ангел, за мной ухаживала, как за малым дитем, я ее считал за родную мать. Двадцать восемь лет прожили, ни разу ни дурой, ни чернаком не обозвал. Когда померла, был в уверенности, что другую такую не найду. А все-таки посчастливило...

Его лицо засветилось, стало смущенным, он неловко обнял Анну Никитичну за плечи, но она высвободилась.

— Да, я на жен счастливый,— продолжал Иван Григорьевич.— Раз в цеху мы заспорили за жен. Один заявляет, что жена скандальная, другой тоже жалится, а я говорю, что лучше моей нетути.

— Ладно, Иван Григорьевич. Как начнет о женах, так может до ночи проговорить. Все равно как о доменных. Пойдем обедать, уж люди затомились.

Мы направились в столовую.

В ожидании хозяев еще никто не присаживался к большому столу, покрытому белой скатертью, на которой среди множества блюд с покупными и домашними закусками стояли два прозрачных графинчика и бутылка вина. Гости сгруппировались у дивана, куда уже поместили Николая. Среди собравшихся были две женщины — дочери Анны Никитичны, похожие на нее округлыми лицами и плавными движениями.

Обе пришли с мужьями, один из которых, Михаил,— рабочий-электрик доменного цеха,— сейчас обмывал во дворе машину. Муж другой сестры, Сергей, инженер-доменщик, работал начальником смены. У него суровое и усталое лицо.

Пришли отец и сын Антошечкины, тоже доменщики, друзья семьи Коробовых.

Отец, один из старых доменных мастеров Макеевки, был сухощав, длинен, с худым желтоватым лицом. Сын, наоборот, удивлял румянцем, здоровьем, широко раздавшейся грудной клеткой и сильными плечами. Он, как и Сергей, был инженером и тоже работал начальником смены.

Николаю задавали вопросы, а он сидел и лишь молча улыбался, потому что сами макеевцы, не ожидая, пока он соберется ответить, рассказывали о своих новостях.

Дед вынул очки, протер чистым платком, надел, оглянул угощение, пригласил к столу:

— Садитесь, садитесь! Встретим Николу, не часто приезжает. А Михаил где?

И, не дожидаясь ответа, удивительно легкий на подъем, быстро пошел во двор, ничего не накинув поверх жилетки. Через две-три минуты появился с Михаилом, смуглым, похожим на цыгана парнем.

— Копотно работает, неразворотный,— сказал Иван Григорьевич.— Я три раза вперед его с машиной управляюсь. Пока доткнется, пока почешется, э... Ну, садись, садись. Наливай, Анюта.

Разговор незаметно соскользнул к доменным делам, ко всяким заводским случаям. Конечно, я не все схватывал. И вскоре простился. Миша проводил меня к дому приезжих...

На этом обрывается глава.

Впрочем, нахожу несколько страниц блокнота, относящихся именно к тому застолью. По-видимому, я впервые попытался тогда усвоить речь деда, своеобразный ее строй.

...Он принялся рассказывать, как нынче утром обнаружил, что в ночной смене на одной из доменных перерасходовали кокс.

— Хотели на дурницу меня взять. Егор стоит, голову повесил, видать, стыдно, что соврал, и, знай, одно повторяет: печка подхолодала. Пускай бы заливал кому другому, а я работник оченно тонкий, издали еще усмотрел, что настроение печи великолепное. Мне шлак все открывает, погляжу на шлак и за полсуток назад вижу, как печка шла. Лучше чем по писаному прочитаю. Я знаю, чего Егор испугался. Увидел руду на фурмах: ох ты, сукиного сына, как бы печку не забурить. Побежал к Шибаеву, поглядели оба и струсили, давай коксу валить. А это на фурмы сошел «фермиер» (Иван Григорьевич произнес название тугоплавкого сорта руды, именуемого в разговорной речи по фамилии бывшего владельца рудника; доменщикам термин был понятен), он у нас на дворе с одного бока крупными кусками, грейфер с этого края захватил, вот на фурмы куски и приползают. Я не глядел, а знаю.

Потому что по двадцать раз в каждую дырку залезу, не буду у Шибаева спрашивать, касается меня это или не касается.

Мужчины перебивали деда вопросами, выясняя в точности картину хода печи.

— Я Шибаеву дал чесу,— продолжал Иван Григорьевич,— а он на дыбашки. Как пошел разоряться: не ваше дело, усматривайте за летками, и больше ничего. Работник бездарственный! Скоро ли от нас его наладят? Палец о палец для печей не тукнул, а я вилять хвостом не умею, что думаю, то и на стол. Его и Илюшка подсекал, когда здесь работал.

...Одной страницы не досчитываюсь. Как-то обойдемся без нее.

— ...Послушаем профессора,— вставил Михаил.

— Не люблю спешить с выводами,— медлительно молвил Николай и, по своему обыкновению, приостановился.— Но вот что думаю. Я в институте читаю о точности шихтовки, о новых методах, открытых в Кривом Роге...

— Ильей? — живо спросил кто-то из гостей.

— Да, но не в этом дело... А здесь у вас, как могу умозаключить, еще шихтуют на глазок, по пятнам на фурмах, по шлаку...

— У кого какой глазок! — воскликнул дед.

— Может быть, я и не прав. Знаю, у отца мне нужно учиться и учиться, но...

Николай примолк. Раздался спокойный голос Анны Никитичны:

— Расскажи, Иван Григорьевич, за Илюшу.— Явно направляя разговор по другому руслу, она поглядела на меня.— Вот приезжий человек послушает. Расскажи, как Илюша, еще маленьким, тебе лупки дать хотел. Сколько раз от тебя про это слышала.

— Это пустое,— проговорил дед. Однако отнекиваться не стал.— Ну, ладно... Ему еще трех лет тогда не минуло, а ухватку добрую имел. Помню, за что-то крепко ему влил, а вечером гости к нам собрались, вроде как сегодня. Кажется, и ты, Фомич, был? (Дед обращается к старому Антошечкину.) Конечно, был. Сидим, за печи разговариваем. А он подкатился ко мне, встал вот эдакий и говорит: «Отец, я такой большой, как ты, вырасту?»— «Конечно, вырастешь».— «А руки будут такие большие?» — «Бу-

дут».— «А работать я в заводе буду?» — «А то как же, ну?» Он и говорит: «Получу деньги, куплю ремень и всыплю тебе шлепки». Перед всем народом оконфузил.

Дед засмеялся. И добавил, явно имея в виду уже нынешнее время:

— Но такой номер не пройдет.

...Больше не отыскалось страниц о застолье.

На следующий день Иван Григорьевич исколесил с нами завод.

По свежим впечатлениям я строчил, строчил... Вот несколько листков.

ЩЕДРЫ В РАБОТЕ...

Дорога ведет к доменному цеху, туда стремится дед, но около здания блюминга он все же придерживает машину. Ему не терпится показать сыну первый советский блюминг, изготовленный для Макеевки на Ижорском заводе.

— Пойдем взглянем,— говорит он.— Великолепно работает. По блюмингу выше Макеевки никто своей способности не оказал.

Мы входим в просторное, высокое здание, полное света, льющегося сквозь застекленную крышу. Куда ни посмотришь — вверх ли на перекрытия и подкрановые балки или по низу, где стелется, убегает вдаль дорожка роликов, по которой влекутся полосы раскаленной стали,— куда ни посмотришь, цех поражает прямыми, чистыми, геометрическими правильными линиями.

В центре высится, чернеет массив, называемый рабочей клетью блюминга. К ней по крутящимся роликам, слегка подпрыгивая и глухо постукивая, несся брус источающего жар металла величиной приблизительно с этажерку для книг, именуемый на заводах слитком, болванкой или просто штукой. Штука с разгону втиснулась во вращающиеся, чудовищной силы валки и сразу замедлила бег. Валки захватили и со скрежетом втянули ее. Кусками отваливалась окалина, обнажая сияющую плоть металла. Непрерывно бьющая вода не испарялась на раскаленной, розоватой поверхности, а скатывалась темными горошинами.

— Красотища! — восхитился дед, показывая рукой вокруг.

Но Николай отрицательно повел головой.

— К чему такие просторы, такая высота? Разве нельзя было все это сделать ниже, скромней? Здесь несколько миллионов выброшено на ветер.

Дед досадливо бросил:

— Не копеешнили!..

— Зря.

Блюминг продолжал свое богатырское дело. Людей словно бы вовсе и не было, лишь на площадке управления стояли у рычагов два человека в синих тужурках, отвороты которых не закрывали галстуков под темными воротничками. И вдруг очередная болванка застряла, еще не дойдя к обжимному зеву. Под ней крутились ролики; она, во что-то упершись, содрогалась, не продвигаясь. Управляя рычажками своего пульта, оператор отбросил ее назад, а потом вновь пустил к валкам, набирая быстроту. И опять штука застряла в том же месте, с разгону подпрыгнув и ударив по роликам всей своей семитонной тушей. Но прочность блюминга рассчитана на такие удары.

Дед нетерпеливо топнул.

— Будь ты неладен! — пробормотал он.

Около перил, ограждающих роликовый путь, показался человек, тоже в синей спецовке и в галстуке, и, подойдя к застрявшей болванке, обдавшей его красноватыми лучами, стал подавать оператору сигналы рукой. Болванка отъехала назад и спокойно, медленно — такой ход и тут зовется самым малым — благополучно прошла ролик.

Николай Иванович улыбнулся.

— Вот как надо! — одобрительно вырвалось у него.

Человек, только что подававший знаки оператору, повернулся к нам.

— Черноглаз! — внезапно с несвойственной ему живостью воскликнул Николай.

— Никола! — раздался радостный ответный возглас.

(В рассказах Николая, что были мной записаны, фигурировал, как мне тотчас вспомнилось, друг его юности Митя Черноглазов, центр полузащиты в футбольной команде СКЗ (сие означало: старая колония завода), команде, в которой Николай десять лет пробыл бессменным капитаном.)

Черноглазов ускорил шаг и почти подбежал к нам. Он казался моложе Николая. Светлая щетинка, наверное,

двухдневная, окаймлявшая лицо, не противоречила этому впечатлению. Рдел свежий румянец, глаза были голубыми, в них читалась радость. Руки уже протянулись к Николаю. И вдруг словно бы отдернулись. И выражение глаз переменилось. Теперь взгляд будто выяснял: кто же ты мне — по-прежнему дружище или неровня?

Николай рассмеялся. Заново довелось убедиться: в смехе проступает душа. Слов не потребовалось. Больше не раздумывая и лишь сильней покраснев, Черноглазов кинулся к своему капитану. Они обнялись.

— Кем ты тут? — спросил Николай.

— Главнокомандующий.

— Начальник блюминга?

— Да. Без году неделя.

— Э, я и не знал.

— А я про тебя все знаю. Читал во всех газетах. Профессор Николай Иванович Коробов назначен...

— Так точно. И прочее и прочее... А ты, гляжу, в директора метишь. По манере вижу.

— По какой манере?

— А болванку как вывел? Тихо, аккуратно. Не позабыл, как мы тренировались? Главное, не горячиться.

— Мне, Никола, наша команда на всю жизнь...

Опять Черноглазову не удалось договорить. Вмешался Иван Григорьевич, несомненно, обиженный тем, что начальник блюминга в волнении с ним не поздоровался.

— Болванки, Митя, у тебя все-таки застревают. Некрасивая история.

— Здравствуйте, Иван Григорьевич. Ничего особенного. Помнишь, Никола, как кончается учебник Тюфеля о прокатном деле?

— Не помню. Не прокатчик.

— Заключительные слова такие... Ивану Григорьевичу понравятся.

— Хм...— Обида испарилась, дед был доволен оказанным ему вниманием.— Ну, ну...

Черноглазов опять зарделся гуще и прочел наизусть:

— «Если штука не идет в валки, надо заставить ее пойти. Металлурги всегда были особенными людьми: скупы на слово, щедры в работе, тверды, как металл, который обжат в валках».

Он цитировал, стесняясь, проглатывая некоторые окончания.

— Ежели штука... Как ты сказал? — спросил Иван Григорьевич.

Черноглазов повторил. Дед, похохатывая, одобрил:

— Да, это по-моему! Ежели штука не пойдет, нашенское дело ее заставить. Добре сказано. Для меня это подходяще.

— Скупы на слова, заметьте,— улыбаясь, вставил Николай.

Мы идем к выходу. Друзья расспрашивают один другого о футболистах СКЗ, потерянных из виду, сговариваются о встрече на завтра. Иван Григорьевич садится за руль, нетерпеливо смотрит на Николая, все не кончающего разговор. И не выдерживает:

— Эдак-то вы? Скупы на слова? Щедры в работе? Никола, едем!

Николай садится возле меня и не успевает еще захлопнуть за собой дверцу, как машина трогается.

Вновь обращаюсь к своим письмам.

1 февраля 1938 г.

Пишу со станции Ясиноватая. Едем с отцом и сыном па станцию Алчевск, на первый из заводов, куда они командированы.

Мы пробудем в Алчевске дней пять-шесть, потом вернемся в Макеевку и лишь затем поедем на Дзержинку, оттуда опять в Макеевку.

Работа моя продвигается ни шатко, ни валко. Собственно, по-настоящему (проведение бесед и т. д.) работать еще не начал. Пока что близко общаюсь с Коробовым, и это, наверное, самое нужное из того, что я могу сейчас делать.

Старик очень интересен. Собственно, стариком назвать его нельзя. Он моложав, в соку, и подвижнее, легче на подъем, чем я или Николай. Вот, например, сейчас: мы выехали из Макеевки в три часа ночи на машине, мгла, туман, оттепель, дорога раскисла, и он, старый Коробов, раз восемь выскакивал из машины на переездах (смотреть, не идет ли поезд, или просто искать, где лучше проехать). А мы с Николаем преспокойно сидели.

Теперь пять часов утра. Поезд опаздывает. Сидим, пьем чай. Я пишу письмо.

3 февраля 1938 г.

Обосновались в Алчевске, лечим доменные печи.

Здесь жизнь наша протекает так. Устроили нас в двух громадных комнатах. Это какое-то парадное помещение, специально предназначенное для «высоких гостей». Живем тут только мы втроем, другие члены комиссии еще не приехали. Есть ванна, купаемся через день. Я провожу по две беседы в день со стариком. Работа двигается хорошо. Верю, что Коробов-отец получится у меня живым. Вылеплю его, как тип русского рабочего, русского мастера. Вообще, горю своей темой.

Я очень благодарен Николаю Ивановичу, что он пригласил меня с собой. Меня принимают наравне с Коробовыми, мне все доступно, никаких трудностей, обычных в командировках, не испытываю.

Наш день таков. Утром идем завтракать. Затем идем часа на три-четыре в доменный цех. Я хожу по пятам Коробова-отца. В полтретьего начинается беседа до пяти. Потом обед, отдых, и в восемь до одиннадцати вторая беседа. Бывают исключения, например, вчера были на заводском хозяйственном активе. В общем, пока очень доволен, очень рад.

Нашелся и отрывочек: наше первое утро в Алчевске.

...Приехали рано утром. На станции ожидала машина. Доставили в дом, где заранее были отведены для нас две комнаты. Мы умылись, посидели и вышли на улицу.

За ночь хватил мороз, и размокшая ранее земля заледенела. Каждая веточка на деревьях и кустах была во льду, словно обмакнули в сироп и дали застыть. Я не удержался, потряс одно дерево, оно зазвенело.

Мы шли в столовую, глядя под ноги, по скользкой мостовой: впереди Иван Григорьевич в своей высокой обезьяньей шапке, затем Николай в меховой ушанке и кожаном пальто и, наконец, я. Николай Иванович обождал меня, зашагал рядом.

— Гололедка! — сказал он.— Для нас, мальчишек, это было самое лучшее время. Наденешь конек, и пошел, везде тебе проезд, везде проход, вся Макеевка — сплошной каток. Только вот коньков у отца не выпросишь, я три года просил, пока он мне купил.

Старик, шедший впереди, прислушивался, вероятно, к словам Николая. И неожиданно остановился, повернулся, в лице выказалось огорчение.

— Ну тебя! Замучили они меня совсем. Вот Павел тоже: сидим в Москве, в «Метрополе», он говорит: сколько раз я тебя просил ружье купить. Эх вы! Ведь это был старый режим. Я, как всякий здравомыслящий человек, должен был прикидывать: выгонят, куда пойдешь? Зажимал деньги. Да и детей учить... Ведь за тебя надо было заплатить. Теперь-то я не зажимаю. Другое время.

Обиженный, он стоял посреди улицы.

— Пойдемте,— сказал Николай.

— Ну вас! Не пойду! Весь аппетит пропадет с вами. Или еще у них претензия, что давал им ремешка. Теперь-то хорошо Павлу рассуждать, у него кухарка, да еще и свояченица занимается детьми, да и по музыке ходит к ним учительница.

Дед наседал, пытаясь вырвать у Николая хотя бы словечко отступления, но тот молчал. Я пришел на помощь Ивану Григорьевичу, осудил старый режим.

— Вот, вот,— успокаиваясь, подхватил он.— Я вам расскажу. У нас тут время будет, расскажу.

Входим в столовую. Нас там встречает заведующий, он еще не брит в этот ранний час.

— Пожалуйста, вам ключик. Вы будете в отдельной комнате.

Усаживаемся. Иван Григорьевич надевает очки и по листочку, на котором отпечатано меню, тщательно выбирает блюда. Заказав, сдергивает очки.

— Да, я здесь бывал... Всей комиссии показал, где зарыта собака.

Он явно томится желанием рассказать, поглядывает на меня, ожидая, что я проявлю интерес. И я, конечно, проявляю...

Еще в Макеевке я завел отдельную тетрадочку, куда вписывал характерные выражения Коробова-отца.

Деревенское и заводское отложилось, перемешалось в его словаре, на диво своеобычном, и, кстати скажу, почти не впитавшем оборотов, что стали привычными в газетах и на собраниях. Подобную лексику уже вряд ли где-нибудь

встретишь. Ушла и не вернется, как и породивший ее кусок истории.

Проглядите же мой перечень:

...солнце взошло дуба на два.

...какой это начальник, двум свиньям корма не разделит.

...гуляют в карты, гуляют в шашки, в футбол.

...как будто кто под бок толк.

...из половы ничего не будет.

...попервости.

...в голову толкануло.

...я с ним на грудки взялся.

...справил одежу, обужу.

...неразвязный, пока за словом в карман полезет, пока повернется, пока промычит, можно десять раз в главную контору сбегать.

...у доменщиков у всех усы, без усов можно губы себе попечь, а то в усы искра попадет, запутается.

...настроение печей.

...песню себе подталдыкивает.

...туг на отдачу.

...нет совести отказать.

...лупки дал.

...что же ты его (молот) за горло взял, задавишь.

...гы и больше ничего.

...оказал свою способность.

...с начатья завода.

...через выпивку он пострадал.

...хотел нанесть неприятность.

...подшпиливал.

...заступил начальником.

...дал нагонку.

...свои собаки бранятся, а чужая не влипайся, они дадут клочки.

...(на митинге) аж волос шевелится, фуражка в гору лезет.

...народ уши поднял: что такое?

...кирпич полущился.

...я упорствовал против.

...мостов нетути.

...их отсюда наладили.

...кадры накованы.

...начальник очепно топкий.

...скучился за заводом.

...точил, точил его, выбил это дело.

...совесть давит, что я соврал.

...это дело я сварил.

...зачем скривлять?

...Какая моя обязанность? Встревать во все дела.

...Он — Дон-Кихот. Это такой богатырь, что с овцами воевал.

...пожмал руку.

...давай меня трусить.

...головотяп — это тот, у кого голова не тяпает.

В тетрадках, относящихся к нашей поездке, встречаю и попытки несколькими штрихами очертить Ивана Григорьевича, как он мне виделся в тот или иной момент. Вот два кусочка:

...В новом синем костюме с галстуком он, прежде чем надеть пальто, посмотрелся в зеркало, увидел там розовое рыжеусое лицо, нос с горбиной, маленькие глаза и, оставшись доволен, улыбнулся.

...У И. Г. в некоторые редкие моменты бывает особенное выражение лица. Чистое, детское, смущенное. Щелки глаз маленькие, вокруг масса морщинок, и, кажется, он будто стыдится своих чувств, которые живут в его рассказе. Такое лицо у него было, когда он говорил, как женился на Анне Никитичне. Такое лицо и вчера, когда заговорил о том, как любит Донбасс, его степи, его запахи.

Поездка сблизила меня с Иваном Григорьевичем. Помнится, я не стремился вносить в наши беседы какую-либо систематику, не препятствовал деду вольно покидать хронологическое русло. Знал, наступит срок, мы вновь еще пройдемся по всему пути моего легко возбуждающегося повествователя, охочего до восприимчивых глаз и ушей.

Нередко он перескакивал, следуя наплыву воспоминаний, с эпизода на эпизод, что были порой разделены десятилетиями, поворачивал в далекое прошлое, затем снова «вертался» (обязуюсь впредь не злоупотреблять этими неправильностями его речи) к чему-то недавнему. Заводские дела перемежались с семейными,— доверившись мне, он выкладывал волнения своей жизни. Своеобычие, неподогнанность к какой-либо колодке опять меня дивили; просту-

павшее при случае бахвальство самородка-мастера я легко прощал; оно вливалось в поток откровенности, которую наш брат-беседчик, пожалуй, больше всего ценил. И с негасающим интересом я слушал, записывал.

Возможно, тогдашние наши беседы начались рассказом деда о его предыдущей поездке в Алчевск, что произошла в 1933 году. Так или иначе этим был сделан почин нескольким моим тетрадям, озаглавленным

РАССКАЗЫ ИВАНА ГРИГОРЬЕВИЧА

В девять часов вечера мне звонит директор и говорит:

— Иван Григорьевич, по распоряжению товарища Серго вы должны выехать в Алчевск. Там никак не наладят новую печь. Я сейчас пришлю вам лошадей. Собирайтесь.

Собрался. Была, как и сейчас, зима, вьюга, пыль, и я отправился.

Приехали часа в четыре утра, толкнулись в гостиницу, номер мне был подготовлен, в восемь часов пошел в главную контору, получил пропуск на завод.

В Алчевске я застал целый консилиум ученых-доменщиков во главе с моим старым знакомым, который чуть ли не родился у печей, стал выучеником Курако, Максимом Власовичем Луговцовым.

Он мне обрадовался:

— Пойдемте, Иван Григорьевич, посмотрим доменную. Случай исключительно сложный. Мы сидим около нее уже целую неделю и не можем разобраться.

Я посмотрел. Печь механизированная, американского типа, такой же величины, как наша новая макеевская, девятьсот тридцать кубометров объема, должна давать около тысячи тонн чугуна в сутки. А выдавала она сто — сто пятьдесят тонн и один только брак. Так продолжалось уже около месяца, с самого пуска, и день ото дня дело становилось хуже.

Еще нашлись знакомые. Мастером работал наш макеевец Сорин. Я его увидел у печи, поговорили:

— Кто его знает, Иван Григорьевич, почему печь бастует. Не найдем концов.

Я походил внизу, посмотрел в фурмы: они еле-еле светятся — на глазах пропадает печь. Полез наверх, посмот-

рел загрузочные аппараты, там оказалось все в порядке. Осмотрел приборы — нагрев дутья хороший, давление достаточное. В чем же тут собака? По своему давнишнему опыту я знал, что такие длительные расстройства происходят главным образом из-за неправильностей в загрузке. Опять взобрался на колошник и опять не нашел там никаких неисправностей. Спустился в бункерное помещение, поглядел материалы, втиснулся в самое грязное место, где аппаратом «гризли» просеивают кокс, выпачкался, как трубочист, зато увидел: вот откуда взялась болезнь печи.

Пошел в гостиницу мыться. Навстречу Луговцов.

— Ну, как, Иван Григорьевич? Нашел, в чем дело?

— Нашел.

— В чем же?

— Собирай, Максим Власович, свою комиссию. Я сначала вас послушаю, а потом сам скажу.

После обеда собрался весь консилиум. Наши ученые-доменщики высказывают свои мнения. Один говорит, что внутри печи образовался холодный столб, его надо разогреть, и тогда печь пойдет. Другой говорит, что вся закавыка в химии, что химический состав шлаков не тот, что нужно. Потом выступает третий, четвертый.

Дошел и мой черед. Я говорю:

— Завтра же эта печь у меня даст не сто пятьдесят тонн, а пятьсот или шестьсот.

— Как так? Почему?

— Всего-навсего аппарат «гризли» надо немного подправить.

Максим Власович не соглашается:

— Что там подправлять? Там вся конструкция в точности такая, как в Макеевке.

— Да, такая. Только решетки круто поставлены, и потому мелочь и мусор не просеиваются, а скатываются в бункер и идут в печь. Доменная замусорена коксовой мелочью, в этом вся ее болезнь. Тут работы всего на два часа, и завтра же она поправится.

Взялись за «гризли», дали правильный наклон, и на следующий же день печь выдала пятьсот тридцать тонн.

Конечно, еще пришлось за нею последить. Я там прожил дней пятнадцать. Нас хорошо кормили, поили, ешь и пей, что душе угодно. Я поехал худой, а там пожил — поправился. Пришлось встревать и в ковшевое хозяйство, в

разливку. Допрежь мы уже и в Макеевке в таких делах хлебнули горя, добыли опыт.

Столько приключалось всякого — не пересказать. Как я заспорил с Косиором — про то вам еще не говорил? Тогда немного перейду назад.

Первую большую печь мы в Макеевке пустили в 1929 году. Как раз ее строил Максим Власович Луговцов. Ну, ладно, это мы пока пропустим.

В 1931-м выстроили еще одну такую же большую печь. Все сделано впритирочку, закончено, можно пускать, но разливочная машина лишь одна, ей не управиться с чугуном двух больших печей, а на ковши, на литейный двор возлагать надежду нечего: малы.

Собрали совещание. Мы говорим, что пускать нельзя, что неизвестно, куда будем девать чугун. Литейный двор не вместит, разливочная не заберет. Нам дают внушение: стране нужен чугун, хоть двести тонн в сутки будем выпускать, и то прибыток. Ну, а если так, нужно соглашаться.

Пустили печь, проработали неделю, две, нам объявляют: давайте программу. Мы поясняем: чугун некуда девать, нет емкостей. Не принимают во внимание: мол, забоялись трудностей.

— Давайте, никаких разговоров.

Исполняем, разогнали печь, а толку ни собаки (пусть тут исключения ради останется эта характерная приговорочка деда). Или литейный двор зальем, или что-нибудь другое. Слезы, а не работа.

Наконец, прибывают большие ковши, семидесятипятитонные, четыре ковша американских. Ну, думаем, добро. Выложили их огнеупором, высушили, повезли в цех — стоп! На старых печах низкие мосты, а ковши высокие, и проехать нельзя. За трое суток мы своими силами подняли мосты, протащили ковши, подогнали к печи и налили чугуном первый большой ковш. А паровоз не может стронуть его с места. Один паровоз не везет, два не везут. Вызвали третий паровоз, поставили сзади, чтобы подталкивал. Паровозы маленькие, наследство старой Макеевки — и вот три паровоза тянут один ковш. Пути под этим ковшом оседают, страшно смотреть: вдруг забурится. И мы во главе с Луговцовым вслед бежим на всякий случай.

Являлись к нам всякие комиссии. Наслушались мы обещаний. Дадим то, дадим другое. Одна комиссия называ-

лась «полевой штаб». Предводителем этого штаба был Иванченко — человек крупного сложения, грузный, прихрамывал, ходил с палкой, разговаривал с нами, допытывался, почему плохо идет дело. Мы его между собой окрестили: дядя Ваня. Он обещал нам и паровозы и еще многое, а уехал, поминай как звали, ничего не дождались.

Приезжал Косиор Иосиф опять-таки с комиссией. Из себя коротенький, лысый, на затылок сдвинута папаха, глядит строго. И как раз он видел: три паровоза один ковш везут, а мы трусимся сзади.

Созвали собрание инженеров и мастеров доменного цеха. Косиор сделал доклад и высказался так, что вы-де не хотите работать, ваша работа никуда не годная, еще добавил, что он и сам доменщик, его отговорками не проведешь. У него получилось, что все не хотят работать, только он один хочет работать.

После его речи предлагают:

— Товарищи, берите слово.

Все молчат. Опять призывают:

— Выступайте.

Нет, молчат. Я встаю:

— Дайте мне слово.

— Говорите.

Выхожу к столу, рассказал, какие комиссии у нас были. Приезжал Иванченко, человек большой, ходит с большим костылем. Насулил горы золота, а когда уехал, то и железа от него не видели. Приезжал Мышков, тоже насулил горы золота и ничего не дал. А у нас того-то не хватает, другого, третьего. Обрисовал я положение. И как задули печь, хотя чугун некуда было выпускать. И про ковши, про паровозы. Да вы и сами, товарищ Косиор, глядели, как мы бегаем следом за этими нашими паровозиками. Вот я выложил вам все, что есть, и считаю, что вы должны нам помочь.

Я на этом кончил. Спрашивают:

— Кто еще будет говорить?

Молчат. Опять вышел Косиор, да как взял меня в работу. Уж он крыл меня, крыл: ты разлагаешь дисциплину, ты подрываешь трудовой подъем. Прямо контрреволюционер, хоть сажай в тюрьму за такое дело. Правда, про тюрьму он не говорил, но расписал меня так, что дальше некуда. Кричал-кричал, разорялся-разорялся, а я сижу и молчу. Эх, думаю, попал впросак, будь ты неладен. Как идет,

пусть так уж и идет, обязательно мне надо было встрять. Раскромсал он меня, сел. И опять:

— Товарищи, берите слово.

Опять все молчат. Я говорю:

— Товарищ Косиор, дайте мне еще сказать.

Он дал. У меня кипит обида.

— Товарищ Косиор, после тех слов, которыми вы меня покрыли, чуть ли не контрреволюционером произвели, разлагателем дисциплины назвали, выходит, что я никуда не гожусь. Если я разлагатель дисциплины, то кто же у вас будет созидатель?

Говорю, а сам думаю: эх, жить так жить, а пропадать так пропадать.

— Я вам, товарищ Косиор, рассказал, как отцу родному, про все болезни, которые у нас имеются, а вы меня стоптали. После ваших слов — вот сидит здесь аудитория — кто вам скажет правду? Люди будут отвечать вам, как машины. И вы уедете и ничего не узнаете.

Я с гонором это сказал. Если хочешь, руби голову.

Потом еще несколько человек выступили. Глядим, он как-то стал потише.

На другой день приходит в цех, подзывает меня.

— Здравствуй.

— Здравствуйте.

— Как твое самочувствие после вчерашнего?

— Какое может у меня быть самочувствие? Паровозов нет. Везде нехватки.

— Так вот что. Паровоз ты выбил. Дам.

— Ну, спасибо.

Он уже отнесся ко мне дружески. Я, говорит, сам работал на горне, знаю, сколь солон пот доменщика. И верно. Косиоры были родом из Сулина, выросли на Сулинском металлургическом заводе.

Когда Косиор уехал, мы действительно получили мощный большой паровоз. Повеселели. Дело пошло немного в гору.

Почему немного? Не простая это была штука — освоить до тонкости большие печи. Бьемся, а коэффициент плохой, не даем высокой производительности. Взойду на колошник, сяду, гляжу, усматриваю, как работает аппарат засыпки. Вижу, материал ссыпается на одну сторону, нет ровной засыпки. Тут я придумал загружать воронку дополна. Раскроется — и материал посыплется ровно во все

стороны. У нас тогда Тустановский был начальником. Иду к нему с предложением:

— Георгий Александрович, давайте полную воронку засыпать.

— Да нет, это ничего не даст, конус малый оборвем.

Упорствую:

— Попробуем.

Не хочет.

Потом Тустановского перебросили на строительство третьей большой печи, а начальником цеха заступил Афанасьев. Твержу ему:

— Давай полную воронку засыпать.

А он:

— Никакого смысла в этом нет. Не забивай мне этим голову.

Опять, значит, нет ходу моему предложению.

В 1932 году снова сменился начальник. К нам прибыл Романько. Двадцать пять начальников доменного цеха сменилось на моем веку в Макеевке. Романько был самым толковым. В шесть часов утра он уже в цеху, а я приходил в пять. Идет он по печам, ни одного упущения без нагонки не оставит. Всем замечание сделает: и горновому, и мастеру, и начальнику смены. Только меня, обер-мастера, не укорял. Лишь один раз я схватил от него замечание, когда пришел в девять часов:

— Нужно, Иван Григорьевич, раньше приходить.

Я ответил, что ушел из цеха в двенадцать ночи, угорел, с доменной печью не ладилось. Но он не отступился:

— Угорел или не угорел, а надо раньше приходить.

Ну, это я к слову. Значит, хожу уже к Романько со своим предложением. Он тоже не соглашается. Я его и так и этак обрабатываю, не соглашается. Наконец разрешил попробовать. Я побежал, показал, как надо делать, потом занялся нашей обыденкой, прошел по печам. Возвращаюсь, а машинист вагона-весов мне говорит:

— Опять даем по-старому.

— Почему же?

— Да Романько приказал сыпать по-старому.

Бегу в кабинет Романько:

— Иван Николаевич, что ж это такое? Ведь никаких затрат не требуется. Давайте же попробуем.

Он говорит, что малый конус может оборваться, не выдержит полной засыпки.

— Не оборвется! Давай, Иван Николаевич, на мою ответственность. Пусть я буду отвечать, уплачу из своего оклада и за ремонт и за остановку, если оборвется.

— Такой обрыв, Иван Григорьевич, вы своим окладом не покроете, хоть год будете платить.

— Ну, гоните тогда меня с завода. Отвечу головой. Дозвольте на мою ответственность.

Уломал его. Начали работать, как я предложил, получилось прекрасно, и работаем так до сего времени. За это мне выдали семьсот рублей как за рационализацию. Теперь на всех заводах так работают. Когда воронка полная, материал ровно засыпается. Нынче каждому это известно. Но мне пришлось долго выцарапывать разрешение. Я парень настойчивый. Если возьму что-нибудь в голову, то, пока на практике не испытаю, не перестану говорить. Я такой, что, если меня в дверь выгонят, я в окно влезу. Вот и относительно полной воронки я пилил три года, но все-таки выпилил.

Разумеется, беседчик порой вставлял вопросы. Не хотелось вдаваться далее в специально производственные темы. Успеем когда-либо в другой раз поговорить о домнах. Или, может быть, не совлекать старого доменщика со стези вольного рассказа? Нет, отвлеку.

— Иван Григорьевич, а как вы познакомились с Орджоникидзе?

Отклик деда был, однако, неожиданным. Поневоле вспомнилось, как он только что себя рекомендовал: настойчивый парень.

— Орджоникидзе? Погодите, я вам еще положение с водой не обсказал.

Оставалось только покориться, внести в тетрадь историю о воде, что непрерывно струящимся потоком омывает, охлаждает печь, вместилище жаркой, расплавляющей камень стихии. Продолжу свою запись.

...С водой дело было так. Когда мы пустили первую, вторую, а затем в 1932 году и третью большие, полностью механизированные печи, то прежний, установленный еще при основании завода бак с аварийным запасом воды теперь мог нас обеспечить ровным счетом только на три минуты. Ударил гром, автоматы электрозащиты молнией выбило, насосы остановились, значит, через три минуты на

всех печах погорят фурмы. Как гром, так и ожидай аварии. Бывали взрывы,— фурмы погорят, водород соединяется с кислородом; это смесь сердитая, идет в трубы и там взрывается. Один раз бабахнуло в пылеуловителях, все там разнесло, печь стояла часов сорок. А случаев помельче — не сочтешь. Потом — это уже при Гвахария — поставили бак на две тысячи кубов, и воды стало хватать на сорок минут, а то только три минуты имели про запас, ну и вертись, как хочешь. И вертелись. Пожжешь и фурмы, и амбразуры, и бочки, а все-таки взрыва не допустишь. А дальше надо было все сгоревшее менять. Берись, ребята, разворотней! Скорей, скорей! От нас дожидают металла. Тяжелая лямка мне досталась. День и ночь находился в заводе. Приду домой, покушаю и опять в цех, застреваешь там до ночи.

Вот такое у нас было положение, когда в 1932 году весной приехал Орджоникидзе. Подчистились, подбелились. Нам уже было сообщено, что в Макеевку заявится народный комиссар тяжелой промышленности товарищ Серго.

Стою на литейном дворе, вижу: шагают со стороны газомотора большой группой люди. Директором завода в это время был Генак. Идет, значит, Генак, идет наш главный инженер Гулыга и еще многие, которые мне незнакомы. Какой же из них Орджоникидзе? Ну, лезть ему на глаза не буду. Отошел с ихнего пути, встал около летки. Кто-то мне показал наркома. Он одет был просто: длинная серая шинель, сапоги, защитного цвета фуражка без звезды. Сам небольшого роста, грузноватый, большие черные усы, нос крупного калибра, горбом. Меня подзывает Генак и обращается к Орджоникидзе:

— Вот, товарищ Серго, это товарищ Коробов, коренной макеевский доменщик. У него большой стаж по доменным печам, хороший практик. Имеет трех сыновей, все металлурги.

Орджоникидзе на меня глядит. Глаза большие, черные, блестящие, как черного налива владимировка вишня. Подает руку. Ладонь большая, пухловатая. Спрашивает:

— Как ваше здоровье?

Кавказец. Говорит с акцентом. Отвечаю:

— Здоровьем не обижен. Докторов пока не беспокою.

— Завидую. Не всем это удается.— И перешел на другое: — Не ваш ли сын работает в Енакиеве начальником доменного цеха?

— Мой, товарищ Серго. Павел.

— Знаю его. Крепко там взялся. Ну, а у вас как? Как дело? Как работаете?

— Неважно, товарищ Серго. Можно бы лучше работать.

— В чем же закавыка?

— Э, тут закавыка не одна. Если временем располагаете, могу вам пояснить.

— Располагаю.

Сунул под руку мне свою ладонь и повел с собой. Идем и разговариваем. Я ему все наши недостачи выложил. И про комиссии:

— Приедут, посулят горы золота, а уедут — железа не пришлют.

И про все наши аварии.

Он выспрашивал и выспрашивал, слушал внимательно, много смеялся, весело разговаривал. Потом пришли на домну, которую только что задули. Он меня все не отпускает. Сказал, что на Кузнецком заводе введена в действие печь такого же калибра.

— Пожалуй, товарищ Коробов, кузнечане вас побьют.

— Нет, ежели нам предоставят все, что требуется, никто нас не побьет.

— Ладно, постараюсь предоставить. А через год приеду посмотрю, как вы свое слово держите.

— Приезжайте. И мы поглядим, как свое слово вы исполните.

Он опять засмеялся. Я проводил его до конторы доменного цеха, попрощался и пошел назад к печам. А все шествие отправилось дальше по заводу.

Действуют, значит, у нас три большие печи. Разные недостачи постепенно изживались. Тем временем в начале 1933 года прислали нам нового директора, Гвахария. (Вставка беседчика: подмывало услышать мнение деда о Гвахария. Но я себя унял, не перебил повествования. Впрочем, Иван Григорьевич сам тут же обронил про него несколько слов. И опять своеобычных. Что же, до поры удовлетворюсь этим.) Человек сметливый, энергичный, удалой. Перестройка завода пошла шибче. Повеселели, обогнали Кузнецкий завод.

А в октябре нам объявили, что опять приедет товарищ Серго. Но сначала в цех пришла его жена. Меня с ней познакомили на второй печи. И препоручили показать ей

цех. Сама она белявая, полная женщина, выговор уральский или сибирский, что ли, на «о». Рука широкая, крестьянская. Одежда невидная: башмаки, пальто, голова повязана темной косынкой. Поводил я ее по цеху, все указал, объяснил, как женщине. Пусть поглядит на наше дело. Она кое-чем интересовалась, спрашивала, как получается чугун и насчет разных устройств. Я полную лекцию преподал.

А когда она ушла, то сразу сказали, что сейчас будет Серго. Мы ждали, что он с бункеров придет, а он появился с другой стороны. Шел опять в шинели, в сапогах, в военной фуражке без звезды. Рядом с ним Гвахария, а немного позади еще несколько человек. Серго увидел меня, подошел, пожал руку, спросил, как и в прошлом году:

— Как ваше здоровье?

— Ничего. О здоровье не тужу.

— Вы, товарищ Коробов, раньше выглядели староватым, а за этот год помолодели.

— Работа получшела, и я помолодел. Еще получшеет, еще помолодею.

Он весело сказал:

— Э, к лучшему нам тянуться да тянуться. И вам, значит, молодеть да молодеть.— Потом спросил: — Как зарабатываете?

— Зарабатываем много, но обманывают.

— В чем же обман?

— Есть у нас такая благочестивая братия. Отдел экономики труда. Там и обманывают. Вот полагается, согласно показателям, премия сто рублей, а дают двадцать пять. Должны отдать премию за месяц, а говорят: будем платить за квартал. Подходит квартал, опять не хотят платить.

Серго поворачивается к Гвахария:

— Слышишь? Так нельзя делать. Надо честно расплачиваться.— Потом снова ко мне: — А в работе не обижают?

— Повадка тут, товарищ Серго, такая: когда все хорошо, тогда они, а когда плохо — тогда мы.

Гвахария я тогда этим очень задел. Вижу, Гвахария свел свои густые брови, оскорбился. Серго говорит:

— Критикуйте его, критикуйте его, товарищ Коробов.

— Только потом не огрели бы по шее.

— Не огреют. Обещаю. Слышал, Гвахария, мое обещание? Смотри меня не подведи.

Дальше еще поговорили о работе. Затем Серго опять сказал:

— Молодцом выглядите.

— Я, товарищ Серго, еще по тридцать — сорок километров на велосипеде могу ездить.

— Неужели так далеко гоняете на велосипеде?

— Мой самый лучший отдых. Когда-то, товарищ Серго, у нас был один велосипед на четверых. Большой, первого выпуска Харьковского завода. Сыны катаются, а мне приходилось уже после всех. Теперь-то друг за дружкой они разлетелись из гнезда, пользуюсь один. Утречком в день отдыха выедешь в степь, любо-дорого, в обед вертаешься.

— Значит, соблюдаете дни отдыха?

— Теперь-то кой-как можно соблюдать, а раньше не выгадывалось. Полную неделю — все в заводе.

Серго уехал, а через некоторое время является работник наркомата и сообщает:

— Товарищ Серго назначил легковую машину вам в подарок. Вот вам документы.

С тех пор велосипед побоку, владею собственной машиной. Посажу с собой Анюту — вы ее знаете, вторая моя жена, и первая была чудесная, и со второй мне повезло,— посажу, значит, Анюту, сам за рулем, катишь и песню себе подталдыкиваешь. Что говорить, уважил меня Орджоникидзе.

А потом он дал распоряжение, чтобы я выехал в Алчевск, где собралась комиссия лечить новую печь. Дело было зимнее, метель, на машине не пробьешься, дали до Ясиноватой пару лошадей. Ну, об этом уже сказ был. Приняли мое наставление, подправили наклон решеток аппарата «гризли», и печь враз поздоровела.

Собрался в обратную дорогу и завернул по пути к Павлу в Енакиево. Мимо ехать да к сыну не наведаться — это каждый дураком назовет.

Павел был там начальником доменного цеха. Показал свою силенку. И день и ночь он на работе. Осунулся, обородател, но вытаскивал дело на гору. Это моя черта у него. Я требовательный и упорный. Как упрусь, не собьет никто. И он такой же. А от матери у него — скромность и отзывчивость. Он еще раньше, чем я, получил легковую машину от Серго. Заслужил. Вывел старые енакиевские печи на первое место по коэффициенту. Мы тогда — в 1933-м —

впервые узнали, что такое коэффициент. Раньше о нем и не слыхали. И только-только начали его усчитывать.

Приехал, значит, к Павлу. Рассказал, как меня командировали в Алчевск, какая там была история. Он говорит:

— У меня тоже одна печь больная. Очень много дает браку.

Решили ее завтра посмотреть. Переночевал я у него. Его жена Галя меня обихаживала, оказала уважение. Мы с Павлом вечером долго просидели. Когда я приезжаю, мы каждый раз долго разговариваем. Павел вообще хорошо ко мне относится, любит меня.

И вот какая нечаянность в тот вечер приключилась. Не зря говорится: кровь кровью отплатится. И это оправдалось. Был когда-то в моих молодых годах памятный случай. Приехал ко мне в Макеевку отец. Он тоже там работал у доменных печей, потом рассчитался, загулял, деньги разошлись — и подался в деревню. Через некоторое время — не то в апреле, не то в мае — опять прибыл в Макеевку ко мне. У него тут крестница была. И он собрался на «стрижки». Стрижки — это такая гулянка. Дитю исполняется год, сходится родня, конечно, и крестные, и младенца первый раз подстригают. Стал отец туда собираться, и хочется ему почище одеться. Надел мою рубашку. Он был здоровенный, шея толстая, а я молодой, тонкий. Напялил он, застегивал, и пуговица оторвалась. Тогда он рубашку повесил, пошел в своей. Являюсь вечером с работы, умылся, ряжусь в рубашку, ан — пуговицы нет. Спрашиваю кухарку (мы в бараке жили):

— Кто пуговицу оборвал?

Она говорит:

— Не знаю. Твой отец чего-то чепурился, собирался на стрижки.

Он тем временем уже вернулся выпивши. Я спросил:

— Зачем брал мою рубашку? Разве можно с овцы на верблюда надеть?

А он раскричался, полез на меня. Я его немного толканул, не в сердцах толканул, а так чуток пихнул от себя, а он как стукнется об дверь, об угол, и лицо себе рассек, и юшка потекла. Мне очень неприятно стало, я очень переживал, я же не с намерением его толкнул.

И вот в тот вечер, когда я приехал к Павлу, стали меня на ночь устраивать, выносить кровать из спальни в другую комнату. Двери там раскрывались надвое. Павел рас-

творил обе половинки, да как шлепнет меня углом двери в лоб, рассек до крови, потекла и у меня юшка. Ну, помазали йодом, обошлось, мы же неженками не росли. Я потом говорю Павлу:

— Знаешь, это за отца мне воздалось. Я отца эдак угостил, а нынче ты мне отплатил.

Наутро пошли в завод, осмотрели печь, которая дурила. Там наверху на завалочной площадке торчал железный столбик, мешал правильной загрузке. Я сказал:

— Вот эту вещь устрани, и все будет в порядке.

Он мой совет принял:

— Сегодня же сделаем.

И действительно сделал. Потом звонит мне в Макеевку и говорит, что печь пошла великолепно.

До этого был случай, когда у меня с Павлом не получилось душевного согласия. Тут придется затронуть вторую мою женитьбу.

(Беседчик уже замечал по разным признакам, что Ивана Григорьевича томит желание выговориться и о событиях личной домашней своей жизни. Он к ним перешел с присущей ему почти ребячьей непосредственностью, которая, пожалуй, особенно меня пленяла. Конечно, я никак не препятствовал новому извиву в его повести, лишь иной раз беглым вопросом извлекал какие-то подробности.)

— Сначала расскажу,— продолжал Иван Григорьевич,— как померла моя Ольга Митрофановна. Это стряслось летом тысяча девятьсот тридцатого года. Двадцать восемь лет я с ней любовно прожил.

Воспитание детей я себе не приписываю, я этому был чужд, занимался работой, а она за ними ухаживала. Из-за детей редко ссорились, только разве отлуплю кого-нибудь, а она скажет:

— Разве так можно? Надо потише.

Она руку на них не поднимала, лишь возьмет, бывало, полотенце, попужает. Дети боялись, когда она говорила:

— Отцу расскажу.

Если я другой раз осержусь на ребят, она меня успокаивает и сама смеется:

— Не надо, Ваня, дома быть таким ретивым. Ну, что хорошего с этого получится?

Я бурчу, но уже одумываюсь. И гроза рассеивается.

Лицо у нее было всегда доброе, всегда она ласковая, веселая. Глаза были темные, сама смуглая. Волосы зачесывала на прямой пробор. Плакала, когда провожала в отъезд того или другого из детей. А встречала — тоже плакала. Мать!

Иногда что-нибудь заметишь, что не так делается, скажешь:

— Эдак же нельзя. Нужно по-хозяйски смотреть.

Она на это обидится. Я уже вижу, что не с тем духом говорит. Помолчу, помолчу.

— Ты чего обиделась?

— Я не обижаюсь.

— А чего же ты?

— Я же не виновата, а ты укорил.

На этом и заканчивается перекор.

Как-то случилось, что я озлился и тарелку разбил. Это из-за ее брата. Пришел он к нам, я чем-то по работе был расстроен, он мне стал указывать. Я хватил тарелкой об пол и выскочил из комнаты. Только один и был такой скандал.

Если что плохо в заводе, она всегда знала — только глянет на меня и уже знает. Никогда у нас не было, чтобы она не приготовила вовремя обед, в любой час приду — обед готов. Я за нею жил, как малое дите за матерью. И я о ней заботился. Женщины в голодные годы ездили за хлебом, я ей этого не дозволял, усердствовал сам. И когда огороды копали, тоже к такому труду ее не допускал.

И всегда знал ее радение. Скажем, нужна мне какая-нибудь вещь, надо бы смотаться в город в магазин, но решаю отложить, говорю:

— Нужно бы сходить, но я уморился, пойду завтра.

А идти далеко, грязь. Ложусь отдохнуть, поднимаюсь, все уже сделано.

— Почему ты ходила?

— Да ты умаялся.

Она никогда не выпустит человека, не угостив, кто бы он ни был. Сколько выговоров я ей давал за это и выговаривал крепко:

— Что ты делаешь? Разве можно всех накормить?

Она отвечает:

— Как же быть, если у меня такой характер? Не могу не предложить: покушайте.

Она когда-то была религиозная, потом это бросила, потом опять стала религиозная. Грамоты не знала, ни одного года не ходила в школу. Детей мы выучили, а сама и по складам не обучилась.

Постепенно сыны уходили в самостоятельную жизнь, остались мы с Ольгой Митрофановной вдвоем, да еще с дочкой Клавой.

Однажды Павел с женой приехали к нам, переночевали у нас. И отправились к себе в Енакиево. Время было летнее, у нас жил Илья, он учился в Москве в институте, прибыл на каникулы. Значит, проводили Павла и Галю, а назавтра Ольга Митрофановна немного приболела. Говорит:

— Наверно, у меня грипп.

И еще:

— Ты от меня заразишься. Ложись в другой комнате.

Так и поступили. Утром я рано поднялся, часов в пять, как раз был выходной день.

Спрашиваю жену:

— Ты со мной не поедешь на базар?

— Нет, не поеду. Слабость. Езжай сам.

Она часто так прибаливала, но к докторам не обращалась. Один раз был у нее приступ: обедали мы, а она как хватится за сердце, дали воды немного, пришла в себя, полежала, и ничего. Потом сказала:

— Чуть-чуть не умерла.

Значит, поднялся я рано, разговариваем, спрашиваю ее:

— Что же купить на базаре?

— Масла, сыру, сметаны. Если попадется курица, тоже купи.

Присел около нее. Она говорит:

— Сегодня сон страшный привиделся. У нас полный коридор женщин. И гардероб на полу лежит, завалился. Тут же и Клава. Я к ней: «Клава, почему у нас так много народу?» А она мне: «Папа помер». Ну, если папа помер, то и я буду помирать. И вот чувствую: кончаюсь, вся застыла. Так страшно!

Отправился я на базар, всего купил, что она приказала, принес и курицу. Жена встала, семейно позавтракали. Илье нужны были брюки. Мы с ним собрались в город приобрести эту обнову. Ольга Митрофановна мне говорит:

— Зачем брюки? Купи ему целый костюм.

Костюма мы не нашли. Я купил кухонные ножи для дома и еще кое-что. И даю Илье наказ:

— Бери эти покупки, иди домой. А я еще тут займусь. Книжку хлебную зарегистрирую.

Кажись, совсем немного прошло времени, встречается знакомый:

— Что у вас, Иван Григорьевич, несчастье?

— Какое несчастье?

— Да слыхать, жена померла?

— Что ты?! Кому это взбрело?

Он понял, что я ничего не знаю, и больше ничего не сказал.

Я сел на трамвай, приехал на свой край, заглянул в кооператив в мануфактурное отделение. Опять со мной человек здоровается:

— У вас ничего не случилось?

— Ничего. Да вы о чем?

— Э, повторять брехню не буду.

Я встревожился. Прибегаю домой. Вижу на крыльце Илью. Он бледный, не в себе.

Вскакиваю в квартиру. Жена уже на столе. А в коридоре и в комнатах женщины.

Илья после рассказал. Он пришел, толканул дверь, она изнутри закрыта на крючок. Он ножиком поддел крючок, хотел к матери негаданно взойти, и вдруг кинулось в глаза: на сундуке утюг, на столе горка белья, а мать, как опрокинутая, лежит, раскинув руки, на кровати. Он ее приподнял, и будто вздох у нее вырвался. Он бросился в больницу. А там доктор не соглашается идти: у него прием. Илья его чуть не избил. Прибежал доктор, сделал два укола, не помогло, она была уже мертвой: закупорка сердечных вен.

Позвонил я Павлу в Енакиево.

— Мать умерла.

— Как умерла? Вчера же я ее видел.

— Померла, Павел, померла.

Говорю и плачу.

Похоронили. Илья двое суток не отходил от гроба, пока не проводил на кладбище. Клаву Павел взял к себе, она ни с кем не могла разговаривать, из своей комнаты почти не выходила. Дали телеграмму Николаю, он приехал, а мать уже похоронили.

И вот все поразъехались. Остался я один. Приду с ра-

боты — дома ни живой души, кругом только стены. Очень трудно оставаться одному.

А тут как раз самая заваруха, продуктов нет, все по карточкам, очереди, а мне некогда слоняться по очередям. Что будешь делать? Я взял одну монашку к себе за хозяйку. Вышло это так. Сказал одному человеку, что некого мне дома оставлять. Он и посоветовал:

— Возьмите мою сестру, она из монашек, очень серьезная, с ней будете благонадежны.

Привел он ее однажды. Я ей говорю:

— Хозяйничай у меня. Живи. Все в твоих руках.

Давал ей деньги на харчи, она мне готовила. Платил ей двадцать пять или, кажется, тридцать рублей в месяц. Она и по домашности занималась, и развлекала меня, разговаривала со мной. Внушала мне: дело безвозвратное, не надо убиваться.

Один раз собираюсь идти на кладбище, она спрашивает:

— Вы далеко собрались?

— Думаю пойти на кладбище. Хоть посмотрю на тот холмик.

— Извините, но не советую идти. Вы себя расстроите, будете там плакать. Не надо вам расстраиваться.

Молчу. А она свое:

— Не подумайте обо мне нехорошо, я вам душевно говорю, хоть день и ночь будете сидеть и плакать, она же не вернется.

Ну, я дома поплакал, поплакал и чем-то занялся.

Бывало, прихожу с завода в половине третьего или в три часа, обед готов, даст монашка мне пообедать, лягу, отдохну. Куда идти? Или опять ухожу в завод, или около дома что-нибудь делаю. А она все уговаривает, что нельзя так убиваться, так плакать, все равно дело конченое, назад не повернешь. Я и сам стал думать, что, хоть убейся, ничего этим не поправишь.

Жалко было, больно было. Пойдешь вечером в парк, посмотришь, люди с женами идут, и станет так горько, что не знаешь, куда и деваться. А монашка делает мне предупреждение, что вскорости должна от меня уйти.

— Или прислугу берите, или вам нужно жениться.

Отвечаю:

— Как это вы рассуждаете? Жена только-только померла, и уже жениться?

— Нанимайте тогда кого-нибудь.

И вот привела как-то прислугу, такую разодетую, с золотыми перстнями. Рекомендует:

— Женщина хорошая. Все будет у нее в сохранности.

А мне не понравилась. Я ей отказал.

Монашка опять объявила, что жить у меня не будет. И опять твердит, что мне исход один: жениться.

Я говорю:

— Жениться — не простая вещь. Ведь не сделаешь же так: идет какая-нибудь женщина, спросишь: «У тебя муж есть?» — «Нет».— «Ну пойдем, оженимся». Да и рано мне еще об этом думать.

А она:

— Вы хоть десять лет не женитесь, все равно из могилы не придет обратно.

Раздумаешься: верно. Жалко Ольгу Митрофановну, я и сейчас, как о ней начинаю говорить, так плачу, очень ее любил, и она меня любила. Но ничего не поделаешь.

Стали мне предлагать невест. Я всем отвечал, что мне еще рано о невестах разговаривать. Предлагали и с домами и вообще богатых. Насчет дома я говорил, что дворником не хочу быть. Это мне известно: если брать жену, а у нее дом, значит, заступай дворником.

Насчет женитьбы был разговор и с сынами, когда все они — Павел, Николай, Илья — после смерти матери оказались у меня в Макеевке. Думали они: как отцу жить, мы все разъедемся, как ему быть? Николай сказал, что, наверное, отцу надо жениться, а Павел не согласился, сказал, что если плохая жена отцу попадется, мы его потеряем. Пускай наймет прислугу и живет один. Перемолвились эдак — и дело с концом.

Проходит еще месяц-другой. Ко мне многие пристают: женись, и все. Я по-прежнему всем отказываю, отстраняю такие разговоры.

Анна Никитична в то время жила в Макеевке у одного своего родственника. Идет этот человек и встречается со мной.

Спрашивает:

— Как дела? Как жизнь?

— Жена умерла, остался один, никого нет.

— А как вы думаете жить? Холостяком оставаться? Или жениться?

— Об этом загадывать еще рано.

— А все-таки, какая у вас думка?

— Сам еще не знаю. От молодых ушел, к старым не пришел, серединка на половинку.

Он наседает:

— У меня есть невеста. Я бы посоветовал ее взять.

— Сейчас еще не будем об этом разговаривать.

Но он пристал:

— Это такая женщина, лучше которой не найдете. Она у свекрови двенадцать лет жила, а там восемь душ детей было, и могла угодить всем.

Пошел разговор дальше.

— Старая она?

— Тридцать шесть лет.

— Слишком молода. Если бы лет сорок, еще так-сяк. А откуда она?

— Из Таврической губернии. Сама-то она возросла в бедности, а попала замуж в семью крепких хозяев. Но тоже была вроде работницы, дела хватало, только поворачивайся. И вдруг эдакий всполох... Муж кинул хозяйство, подался вместе с ней сюда. Здесь заболел и умер. Теперь она живет у меня прислугой. Очень скромная. У нас мальчик разбалованный, но она с ним ладит, и он ее слушает. Приходите, познакомитесь.

— Нет, не лежит душа к знакомствам.

— Ну, сделаем так. Никто ничего не будет знать. Придете ко мне, посмотрите на эту женщину. Думаю, она вам понравится.

— Нет, слишком молода. Не пойду. Ей тридцать шесть, а я на двенадцать лет старше. Одену ее, обую, ей захочется погулять, а я до гуляний не охотник, и скажет она, что я старик.

И не пошел к нему.

А тут приснился мне сон: стоит моя покойная жена около нашей квартиры, погрозила мне пальцем, засмеялась и пошагала, пошагала вдаль.

Вот опять встречаю я этого человека. Его фамилия Пилипенко. Спрашивает:

— Ну, что же?

— Ладно, приду. Но только, чтобы никому не было вдогад.

— Не беспокойтесь. Все будет аккуратно.

Выдался свободный день. Я побрился, постригся в па-

рикмахерской. Выхожу оттуда, встретились ребята из доменного цеха, шутят:

— Э, как подмолодился! Может девку лет двадцати взять.

Пришел по адресу. Сидят женщины на лавочке. Спрашиваю:

— Пилипенко здесь живет?

— Здесь. Стучите вон в те двери.

Смотрю, на дверях написано: Пилипенко. Постучал, никто не открывает. Посмотрел в скважину, ключа нет. Повернулся и иду назад. Опять обращаюсь к женщинам:

— Пилипенки, наверное, ушли куда-то?

— А вот идет ихняя не то прислуга, не то родственница. Она вам скажет.

Гляжу, идет Анна Никитична. Круглолицая, пригожая, не худенькая. Однако мало ли пригожих? Я пропустил ее, на улице не стал разговаривать. Опять стучусь. Она отворяет. Говорю:

— Василий Трофимович дома?

— Их нет.

— А где он?

— Отправился с женою в город.

— Тогда до свидания. Зайду после.

— До свидания.

Я повернулся — и на улицу. Ходил, ходил, уже стало темновато. Думаю: наверное, он уже вернулся. Снова прихожу, стучусь. Меня впускает мальчик.

— Взойдите.

— Папа еще не приехал?

— Нет еще. Садитесь, дядя.

— А кто дома, окромя тебя?

— У нас есть тетя Анюта. Она пошла за водой.

Смотрю, входит она с полными ведрами. Несет легко, походка легкая.

— Что же, Василия Трофимовича-то до сих пор нету?

— Должен сейчас быть. Посидите.

Я сел. Она отнесла воду на кухню, вернулась. Глядим друг на дружку.

— Вы что, прислуга или родственница?

— Прислуга.

— Вдова или разведенная? (Я знал, что вдова, но нужно же говорить о чем-нибудь.)

— Вдова.

— Давно?

— Прошлый год муж помер.

— А дети есть?

— Есть две дочери. Одна замужем, другая живет у моей свекрови.

А Пилипенко все не является. Я попрощался и ушел.

Через несколько дней опять его встречаю. Он сразу:

— Ну как? Что о ней скажешь?

— Не мог рассмотреть. Как будто добрая, а там кто знает.

— Приходи в воскресенье. Я буду дожидать.

Настало воскресенье. Идти или не идти? Иду.

Пилипенко меня принимает, угощает чаем. Анюта собрала на стол, принесла самовар, он и ее усаживает. Она выпила с нами стакан чаю и тихонько вышла. Никакого разговора с ней я не завел.

Я думал, она не знает, зачем я понаведываюсь, но в действительности-то Пилипенко ей сразу все раскрыл, как только первый раз со мной поговорил. Она ответила: меня он не возьмет, я для него низкого сословия. Но Пилипенко убеждал: ты для него будешь самой лучшей.

Еще несколько раз я его посещал. Выпью чаю и удалюсь.

И вот однажды я решился. Встречаю Пилипенко:

— Завтра, Василий Трофимович, приду к вам и поговорю с ней. Можно?

— Можно. В добрый час.

Опять побывал я в парикмахерской. Гляжу в зеркало: рыжий, нос большой, горбатый, и сам горбатый, как верблюд. Образили меня, пошел.

Посидел с Пилипенко, выбрал минуту и говорю Анне Никитичне:

— Можно побеседовать с вами?

— Пожалуйста.

Вышли мы с ней вдвоем в столовую.

— Вы знаете, зачем я к вам хожу?

— Знаю.

— А как вы посмотрели бы на такую вещь, если бы я вам сделал предложение быть моей женой?

— Я на эту вещь смотрю так: во-первых, я материально бедная, у меня ничего нет. Вот что на мне, это все мое имущество.

— Я сюда хожу не за твоим богатством. Если у нас с тобой жизнь будет, все будет. А жизни не будет, на кой тогда имущество?

— А во-вторых,— говорит,— с моей сестрой получилось вот что. Она вышла за второго мужа, и он детей прогнал. А у меня дочь есть незамужняя. Как вы на это посмотрите?

Она, наверное, думала, я вдруг скажу: тебя возьму, а твою дочь не приму. Но я сказал:

— Как вы считаете, мне моих детей жалко?

— Жалко.

— Правильно. И судить-рядить тут нечего. Где ты будешь находиться, там должна быть и твоя дочь. Как же так: тебя возьму, а дочери от ворот поворот? Это же не почеловечески.

— Если так, то я согласна.

— Значит, даем друг дружке слово.

— Да.

На этом разговор закончили.

Ну, теперь, по моему соображению, надо съездить к Павлу. Сел я на велосипед и покатил в Енакиево. Ехать пришлось мимо дома, где жила Анна Никитична, она как раз в окно выглянула и меня увидела, я не остановился, только поздоровался и давай крутить педали дальше.

Приезжаю. Павел в обед пришел с завода. Поцеловались.

— Как живешь, отец?

— Плохо. Живу один. Дело никуда. Скучно. Никого возле меня нет.

Стали обедать, говорим о том о сем. Я помаленьку открываюсь:

— Не знаю, Павел, как ты отнесешься, но у меня есть думка, что мне надо жениться.

— У меня другое мнение. Не надо тебе приводить в дом новую жену. Дело неверное. Потом спохватишься, будешь сокрушаться.

Вечером сели ужинать и опять заговорили о том же. Я даю свои резоны:

— Дома, Павел, мне одному невмоготу. Тоскую.

Он отвечает:

— Ты имеешь возможность бросить этот дом, взять номер в гостинице, и жить там. Тебе номер дадут.

— Как ты рассуждаешь? Я прожил двадцать восемь лет семейной жизнью, а ты хочешь теперь меня посадить в одиночную камеру. Я пойду от стен и приду к стенам.

— Все равно, о женитьбе я тебе думать не советую. Возьмешь новую жену, и нам ты уже будешь не отец. Да и сам наплачешься.

Переночевал у них, садимся завтракать. Опять поднимаю свой вопрос, выкладываю впрямую:

— Стало быть, хочешь ты или не хочешь, а я дал одной женщине слово.

— Значит, ты приехал мнение узнать, а не совета просить?

— Да, значит, так.

Он расстроился.

— Я бы,— говорит,— ничего против не имел, но ты возьмешь женщину, нам совсем чужую, и мы тебя потеряем.

— Не потеряете. Я не прошибся в своем выборе. Женщина очень хорошая, работала очень много, бедовала, намыкалась, деревенская.

Павел заплакал.

— Ежели женишься, я к вам три года не приеду.

— А мне к тебе можно будет ездить?

— Можно.

— Ну, раз твои двери мне открыты, с меня этого хватит.

Тут еще и Клава за столом сидела — она все еще жила у Павла,— тоже заплакала, запечалилась, что отец женится.

Вывел я свой велосипед, держу путь в Макеевку. Хотел было отложить женитьбу, но в дороге подумал: если дал женщине слово, как же откладывать? Оттягивать не к чему. Иначе буду детям, и Анюте, и себе только сердце растравлять.

Вернулся к себе, иду к Анне Никитичне, рассказал ей без утайки про слова Павла, она еще больше нервничает:

— Как же так? Сыновья не хотят, отвертываются. Какая тут женитьба?

Я объясняю:

— Кому какое дело? Мы сами будем жить, а у сыновей жизнь отдельная. Род да племя близки, а своя доля ближе.

Как свободный вечер, так ухожу к Анне Никитичне. Моя монашка спрашивает:

— Куда вы ходите?

— В сад гулять.

Раз так, другой, третий. Она опять принялась твердить, что мне надо жениться. И вот в какой-то вечер я ей признался:

— Знаете что, я дал слово и хожу к женщине.

Ох, и монашка давай плакать. Я уже после сообразил: она хотела, чтобы я на ней женился. Наплакалась, стала говорить:

— Приведите ее. Посмотрю на нее, я сорт людей понимаю.

Эта монашка была чуть ли не игуменья, ей, кажись, сравнялось уже сорок лет. Уговорились, что приведу Анну Никитичну. И однажды говорю Анюте:

— Пойдем сегодня к нам домой. Поглядишь, как у меня дома.

— Не пойду. Робею.

Тут находилась и ее хозяйка. Вставила словечко:

— Раз дело идет к концу, чего робеть? Смело иди.

— Хорошо, пойдем, когда стемнеет. А то днем боюсь.

Я махнул в город, взял бутылку вина, пирожных, конфет, еще что-то,— как же, невеста впервой в гости придет! Монашка накрыла стол, красуются мои гостинцы, отправился я за Анютой. Опять она стесняется ко мне идти, потом собралась, пошли не по улице, вкруговую по стежке около ставка. Наконец являемся. Познакомил я монашку и Анюту. Показал Анюте комнаты. Она и стакана чая не выпила: не хочу — и все. Проводил ее, шли опять по-над ставком, где почти никого не встретишь. Вернулся. Допрашиваю монашку:

— Ну, как она вам глянулась?

— Если не притворщица, то женщина хорошая.

Не стала мою Анюту хаять.

Тем временем кругом слух пополз, что Коробов вскорости женится, а на ком — никто не знает.

Анюта каждое утро брала молоко у одной хозяйки, которая имела корову. Та хозяйка моей Анюте говорит:

— Вы у меня всегда молоко берете первая. Встаете очень рано.

— Спасибо вам на хорошем слове.

А та наливает молоко и вдруг спрашивает:

— Вы Коробова знаете?

— Немного знаю. Он вхожий к Пилипенкам.

— А я про него слышала, что он у кого-то берет женщину. Это не вы будете?

Анюта врать не умеет. Пожалась, пожалась.

— Да,— говорит,— я.

Та пожелала счастья, обо мне выразилась с одобрением:

— Нам Коробов известен. Труженик прилежный, семьянин хороший.

И с того дня еще усилилась молва, что я решил жениться. Однажды иду по улице. Гляжу, около магазина стоят два доменных мастера со своими женами. Поздоровались, остановили меня.

— Слушайте, Иван Григорьевич, кругом толкуют, что вы женитесь, а невесту никто не знает.

Тут как раз идет Анюта. Она стояла в очереди, взяла мясо и идет. Говорю:

— Хотите мою невесту посмотреть?

— Конечно, хотим.

Анюта поклонилась, намеревалась пройти мимо, но я позвал:

— Анюта!

Она приблизилась. Я объявил:

— Вот вам моя невеста.

Таким было наше оглашение. А через несколько дней мы с ней расписались. Никакой свадьбы не играли. К чему свадьба,— от слез да к гулянью, что ли?

Привожу Анюту насовсем женой, а монашка уже сложила свои пожитки.

— Прощайте. Ухожу.

— Да не спешите. Покажите Анне Никитичне где что.

— Хорошая хозяйка сама найдет.

И даже с нами не присела, оставила дом.

Началась моя жизнь с новой женой. Павел и Галя не заглядывают ко мне. Они поехали на курорт, побыли там месяц, и вот в какой-то вечер кто-то к нам стучится. Мы с Анютой только вдвоем дома. Иду к двери:

— Кто там?

— Папа, открой. Павел.

Входят Павел и Галя. Поздоровались. Анна Никитична стоит в коридоре. Павел к ней обращается:

— Здравствуйте, новая мамахен.

Анюта после говорила, что чуть в обморок не упала. Она занялась стряпней, все приготовила, подала ужин,

устроила гостям постели. А когда те легли, забрала ихнюю одежду, чулки, носки, обувку, постирала, отутюжила, вычистила и поставила им в комнату. Утром они поднимаются — все чистенькое, глаженое. С этого зародилось хорошее отношение к новой мамахен. Дальше и вовсе к ней расположились.

У нас с тех пор так и ведется: если кто из ребят приедет, Анюта его сразу обихаживает. Гость окружен вниманием.

Значит, зажил я вторично по-семейному. Сыны все взрослые, все обустроились на стороне. У каждого своя жена, семья. И обосновались по разным городам. По-моему, в эдакой отдаленности есть что-то свое милое. Только муж с женой должны быть всегда вместе, близко. Это два друга неразлучных, а сын, дочь, отец,— подходит пора, разъединяются. Мужа и жену никак нельзя разлучать, я против расставаний, хочу, чтобы жена всякий день была рядом со мной. И чтобы на завтрашний день — как будто только вчера поженились, на следующий — опять так. Все мои ребята тоже любят жен, как я. Если я уезжаю на неделю или на две, я уже скучаю. Если я пришел домой, а жены нет, посижу десять — пятнадцать минут, и уже не терпится, посмотрю в окно — не видать, иду к другому окну, высматриваю. Вместе с женой езжу и в отпуск, вместе были и в гостях у Орджоникидзе.

Возможно, эти рассказы Ивана Григорьевича были записаны не только в Алчевске, но и в нашем дальнейшем путешествии. Оно в некоторой степени отобразилось в моих письмах. Пожалуй, выборки будут тут уместны.

6 февраля 1938 г.

...Сегодня или, вернее, завтра (сегодня в ночь в четыре часа утра) мы уезжаем из Алчевска на Дзержинку. Поедем через Днепропетровск и вечером будем в Днепродзержинске. Помнишь, когда мы ехали по Днепру на пароходе, то видели огромный завод, родные моему сердцу домны на берегу. Туда мы и едем. Там с 1925-го по 1929-й работал Бардин. Оттуда его провожали в Кузнецк.

Там мы пробудем несколько дней, затем я поеду в Кривой Рог к младшему из доменщиков Коробовых — Илье.

Старик Коробов выехал на сутки раньше нас, чтобы заглянуть домой,— любит он свой дом, макеевские печи, жену Анну Никитичну, охотно про нее говорит, хотя это явно не для книги. К нам он присоединится в поезде.

Теперь отчитаюсь в сделанном. Провел в Алчевске восемь бесед с Коробовым-отцом. Кроме того, ходил с ним и с Николаем Ивановичем по доменному цеху, всячески их наблюдал, участвовал в совещании и много накопил того, что пригодится в будущем.

Поделюсь мыслями по существу работы. Ясно вижу образ матери. Это женщине, которая, по выражению старика Коробова, жила не для себя. Ее жизнь была отдана мужу, детям, семье. И даже умерла она тогда, когда семья разлетелась, когда свое жизненное предназначение, как ей казалось, она, мать и жена, уже исполнила. Ощущаю ее как обаятельный образ. Ясный, простой, прозрачный.

Со стариком сложнее. Пока могу сказать о нем одно: это талантливый русский рабочий, истинный выразитель талантов народа, русской смекалки. Он еще до революции поднялся на какую-то ступеньку, стал мастером. Надо дать тип мастера, его среду, его компанию, его противоречия. Но, впрочем, кажется, главное не в этом. Мне он нравится. Чувствую, буду писать его любовно. Конечно, до писания еще очень-очень далеко.

9 февраля 1938 г.

...Пишу это письмо с завода имени Дзержинского (г. Днепродзержинск).

Очень освежающе действует поездка. Просто поразительно. Чувствуешь жизнь, чувствуешь людей, узнаешь, чем они интересуются, чем живут, чем горят, и сам становишься как-то крепче, увереннее в себе. Вот что значит прикоснуться к «мать-сырой земле».

Хочется писать, писать.

12 февраля 1938 г.

...Прожили неделю на Дзержинке. Нас здесь устроили на квартире директора завода Хлебникова.

Это интереснейший человек, выдвинутый в директора прямо с должности начальника доменного цеха Кузнецкого завода. Я с ним почти не разговаривал, но видел его на хозяйственном активе, где он председательствовал и делал доклад.

Впечатление: очень сильный работник. Он по ухватке, политическому размаху, волевой нотке, по властности ничем не уступает самым блестящим из шеренги директоров, близко мне известных, которые сошли со сцены. Этот человек, видимо, далеко пойдет. Он их превосходит тем, что отлично знает технику, что за шесть-семь лет после окончания института прошел все инженерские доменные должности от самой низшей.

...На сон грядущий я здесь почитываю «Братьев Карамазовых», случайно подвернулась эта книга. И вот какое место хочется выписать:

«Апостол Фома объявил, что не поверит, прежде чем не увидит, а когда увидел, сказал: «Господь мой и бог мой!» Чудо ли заставило его уверовать? Вероятнее всего, что нет, а уверовал он лишь единственно потому, что желал уверовать и, может быть, уже веровал вполне, в тайнике существа своего, даже еще тогда, когда произносил: «Не поверю, пока не увижу».

Показалось, что это относится немного и ко мне. И тем не менее хочу все видеть, все ощупать.

...Завтра со стариком едем в Кривой Рог к Илье. Экое путешествие! Каждый день слушаю, записываю рассказы Ивана Григорьевича. И без особого порядка как бы складываю в кошелку. Потом буду разбираться.

В моих тетрадях, озаглавленных, как знает читатель, «Рассказы Ивана Григорьевича», далее снова идет речь о заводских делах. Какого-либо связующего звена не нахожу. Возможно, оно в моей записи пропущено. Или, быть может, новая беседа так и началась с какого-то моего вопроса, не зафиксированного на бумаге. Буду следовать тетрадным страницам.

...Романько к нам прибыл начальником цеха в 1932 году. О нем я уже вам говорил: это доменщик знающий, характером тверд, хозяин.

Работаю с ним. Пришло время останавливать четвертый номер на плановый ремонт. Я делаю, и он делает. Я людям приказываю и он приказывает. Иду к нему:

— Иван Николаевич, у двух нянек всегда дитя без глаза. Или вы мне не мешайте, или делайте все сами.

— Ладно, пусть, Иван Григорьевич, слушаются вас. Я вижу, вы ничего необдуманно не делаете, я вам доверяю.

И я стал один командовать, сделал остановку, а потом сам пустил. Все вышло превосходно.

По конкурсу 1932 года доменный цех Макеевки первый раз вышел наперед всех. Наши организации при распределении премий назначили мне патефон. В числе премий было трое золотых часов. Сменному инженеру Кочеткову назначили часы, а мне — нет. Как раз в Макеевку приехал от наркомата Макаров для вручения знамени и премий. Он осматривал завод, подошел в цеху ко мне, поговорили о работе. Я не сдержался, высказал свою обиду:

— Меня уже дедом зовут, а вы игрушку мне суете. На что мне ваш патефон?

— Не волнуйтесь, Иван Григорьевич. Подумаем.

Пришел я в театр, были речи, потом начали раздавать подарки. Когда оглашали, что́ кому, то объявили, что обермастеру Коробову — золотые часы. И тут же вручили. Мои часы были самые дорогие. Да не в рублях дело! Ты признай мои старания, мастерство. Ну, как вам пояснить? Еще в старые времена был случай, когда бельгийцы пригласили русского доменщика Курако на свой завод в Мариуполе наладить расстроенные печи. И Курако потребовал за свой труд удостоверение с гербовой печатью: русский-де мастер Курако привел в порядок домны. А насчет рублей не торговался.

И я парень таковский. Окажи почтение, а за длинной деньгой я не гонюсь. Конечно, некоторые заговорили: как так, назначили патефон, а дали золотые часы? Но им сказали: Коробов заслужил.

Это было еще до Гвахария. Он к нам заступил директором в 1933-м. Романько с ним не сработался. Романько — хозяин, и Гвахария нравом был хозяин. И сшиблись нравами.

Гвахария отличался решительностью. Конечно, он располагал поддержкой прежде всего товарища Серго, который близко его знал, полагался на него в работе, но и сам Гвахария был решительным. Что надумает, то будет сделано. С виду он был грозный, как глянет из-под очков — так человек может упасть.

И Романько тоже таковский. Помню, как однажды Романько ругал заместителя Гвахария. Этот заместитель спрашивает:

— Почему выдали мало чугуна?

Романько отрезал:

— Потому что заводской транспорт плохо нас обслуживает. Об этом позаботьтесь.

Тот говорит:

— Не разводите панику.

Романько как возьмет его в работу:

— Раз ты ничего не понимаешь, то и не берись судить. Иди отсюда!

Тот само собой пожаловался Гвахария. Наверное, бывали стычки у Романько и с Гвахария. Сошлись, как я уже сказал, два крутых характера.

А тут как раз побег чугуна на третьем номере. Я тогда был в Енакиеве у Павла — отпросился на два дня к сыну,— и вот отыскали меня по телефону: «Сейчас машина за вами придет, в доменном цехе неприятность». Привезли прямо в цех. Там чугун под леткой прорвало и все залито: и чугунные пути и шлаковые. Ну, пока с этим управлялись, доменная шесть суток простояла.

Когда ее пустили, Гвахария собрал совещание в доменном цехе. И перво-наперво обратился к Романько:

— Вы можете быть свободны.

Романько поднялся и вышел. И больше в цех не приходил.

Потом Гвахария вызвал меня к себе в кабинет:

— Так и так, назначаем Злочевского начальником доменного цеха.

— Что вы, Георгий Виссарионович? Злочевский слаб. Разве его можно сравнить с Романько?

— Никаких разговоров быть не может. Цену Злочевскому я знаю. Идите, и работайте, и создавайте ему авторитет. Смотрите за всем. Я с вас буду спрашивать больше, чем с Злочевского.

Злочевский был молодым инженером, особенными способностями не выделялся. Характер у него мягонький, несамостоятельный. Рабочих в доменном цехе наказывал Гвахария. Мастеров — Гвахария.

Я и тогда смотрел за всем цехом и сейчас смотрю. Где что неладно, Злочевский меня спрашивает:

— Что будем делать, Иван Григорьевич?

— Поглядим. Что нужно, то и сделаем.

Я и начальников смены гонял, они на меня обижались. Я делал так, как знал, но всегда докладывал Злочевскому. Хотя бы Анисья-кубогрейка начальником была, все равно я обязан доложить.

Гвахария основательно помогал доменному цеху, кривить не буду, доменный цех был его конек. Когда

он заступил директором, кокс стал поступать бесперебойно. Если получали плохой кокс, он сразу нажимал на это дело. Пустили аглофабрику. Он строго смотрел за материалами, и материалы шли хорошие,— богатая руда, ровно дробленый известняк. И скрап прибывал в достатке.

Навели мы порядок и в смысле чистоты. Были отпущены на это деньги. Давали людей из дворового цеха, брали и из нашего, и сделалась чистота в доменном цехе и по всему заводу. Вывезли тогда десятки тысяч вагонов лома и всякого мусора. Проложили асфальтовые дороги по заводу и в заводской колонии.

Работали мы действительно хорошо, аварий было очень мало, простоев мало, поднялся заработок и у рабочих и у технического персонала. Мы держали первенство среди советских доменщиков.

А еще раньше я побывал первый раз в Москве. Ездил через Москву в Липецк, куда меня звали работать. Клава меня встретила, она уже жила в Москве. Вышли мы с ней из вокзала, и мне показалось, что вся Москва крутится. Клава повезла меня на трамвае к Николаю. Потом они меня целую неделю водили по Москве, а через неделю я стал сам ходить. Но они все время беспокоились, как бы меня не задавило.

Значит, работаю в Макеевке. И вышла вот какая история. Анна Никитична уехала к Клаве, Клава тогда родила Танечку. Пришлось опять жить одному, скучаю. Как-то я об этом проговорился Гвахария. А тут как раз с Горловского завода к нам поступал замусоренный кокс. И не было с этим заводом сладу: то дают доброкачественный, то снова много мусора.

Вызывает меня Гвахария.

— Ты у нас, Иван Григорьевич, первый заводила насчет кокса. Поезжай в Москву, скажи товарищу Серго о коксе. Нажми своим авторитетом, мой маловат. Кстати, и с женою свидишься.

Улещать меня, конечно, не пришлось. Враз собрался и поехал.

Прихожу в наркомат, позвонил секретарю, чтобы мне выписали пропуск. Получил пропуск, поднялся в приемную Серго. Его секретарем был Семушкин, он тоже носил военную одежу, находился уже много лет под рукой Серго. Спрашивает:

— Что вам, товарищ Коробов?
— Есть поручение от завода. Хочу пройти к товарищу Серго.
— Посидите.
В приемной посиживали несколько человек, видимо, директора. Семушкин минут через пятнадцать пошел с бумагами к Серго. И вот снова дверь раскрылась, появляется Серго и говорит:
— Зайдите, товарищ Коробов.
Захожу, кланяюсь. Он смеется, подает мне руку, справляется:
— Как живете? Как здоровье?
— Ничего. Не жалуюсь. А у вас как?
— И у меня ничего. Только одной почки нет. Плохо без почки. Садитесь, товарищ Коробов.
Он сел за стол, а я в кресло у стола. Спрашивает:
— Зачем в Москву приехали?
— Жена бросила.
— Жена бросила? Как же это так?
— Да я в шутку. Дочь родила девочку. И жена уже месяц живет у них в Москве. Скучно, товарищ Серго, без жены. Приехал забирать.
— И я без жены долго не выдерживаю. Как приду домой, кричу с порога: «Зиночка, ты здесь?» И в поездках она всегда со мной.
— Значит, вы мою причину понимаете.
— Понимаю. А заодно поздравляю с внучкой. Как дочь перенесла роды? Как себя чувствует?
— Окрепла. Бегает. Только уж очень раненько выскочила замуж. Она у меня такая...
— Какая?
— Бедовая.
Я начал было рассказывать о Клаве. Росла одной дочерью у матери с отцом. Для нее все было предоставлено. Характером отчаянная. С любым парнем подерется. Если чего захочет — туфли, или шляпку, или пальто,— купи сегодня, и никаких разговоров. Завтра поздно будет, только сегодня.
Начал и спохватился:
— Товарищ Серго, я же к вам по делу. Поговорить надо о работе.
— Пожалуйста. Слушаю. По сведениям, вы хорошо работаете.

— Работаем неплохо. А можем еще лучше. Страдаем, товарищ Серго, от замусоренного кокса.

Выложил нашу обиду. Серго нажал кнопочку звонка. Является Семушкин. Серго велит:

— Раздобудь-ка к телефону директора Горловского коксового завода. Соедини меня.

Семушкин вышел. Я говорю:

— Вас много народу ожидает. Каждая минута дорога. Я, товарищ Серго, пойду.

— Ну, тогда сделаем так. Завтра в шесть приходите с женой ко мне обедать.

— Куда же? Сюда?

Он засмеялся.

— Семушкин вам объяснит.— Опять нажимает кнопочку. Опять перед ним Семушкин.— Устройте, чтобы товарищ Коробов с женой обедали завтра у меня в шесть часов вечера.— Потом спрашивает: — В Москве не нужно ли вам чем-нибудь помочь?

— Нет, товарищ Серго, спасибо.

Я уже зашагал на выход, но поворотился и сказал:

— Вот только одна есть просьба. Хотелось бы с женой, дочерью и сыном Николаем в Кремле побывать. Нельзя ли нам туда пройти?

— Можно.— И говорит Семушкину: — Устройте, чтобы Коробов с семьей посетил Кремль.

В приемной, когда мы вышли от Серго, Семушкин сказал:

— Приходите завтра в двенадцать часов дня к Боровицким воротам. А в половине шестого на дом к вам придет машина. Где вы остановились?

Я дал адрес Клавы.

На следующий день я, жена, Николай и Клава пошли в Кремль. У ворот ходит охранник. Мои остановились, а я подхожу.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте. Что вам угодно?

— Хотим пройти в Кремль. Посмотреть хотим, что там за стенами.

— Не полагается. Нельзя.

— Как же нельзя, когда мне сказали, чтобы я пришел?

— Ваша фамилия?

— Коробов.

Он пошел в будочку. Я поманил своих. Все подошли, приготовили паспорта.

Охранник вернулся, взял мой паспорт, сказал:

— А ваших, товарищи, паспортов не нужно. Он один за всех отвечает.

Дали нам провожатого, который повел в Кремль. Походили часа два. Были в Оружейной палате, в соборе, смотрели Царь-пушку, Царь-колокол. В Оружейной палате есть золотые блюда побольше этого стола. Они подавались на банкете у бояр. А скатерти такие, что величиной в две комнаты, и сплошь в золотом шитье. Раньше вилками не кушали, брали с блюда пальцами, и сальные пальцы об эти золотые скатерти вытирали. До сих пор засаленное видно. Там риза патриарха Никона висит — три с половиной пуда весит, тоже вся в золоте и в драгоценных камнях. И еще много всякого золота, не пересчитаешь. Стоят сани золоченые, громадное место занимают. В этих санях все есть, и уборная, и спальня, двадцать лошадей запрягалось. Воины стоят в латах стальных. В те времена высшие люди и детей своих приучали к войне, так что и дети стоят в латах и лошади в латах, чтобы не порубали. Царь-колокол громадный, ужас смотреть. Сейчас техника развита, а когда на него посмотришь, то думаешь, как же люди его лили, как они его поднимали? В нем двести тонн меди. Было в Москве пожарище, он упал, края полопались, и кусок отбился. Под этим колоколом можно на тройке развернуться. А на машине и подавно. Царь-пушка тоже медная. Я взбирался, чтобы на нее ближе поглядеть. Там несколько штук ядер сложены на конус, я на эти ядра становился и внутрь ствола смотрел. Внутри пушка необточенная, просто зубилом отбитая. Она не стреляла, только страсть на людей наводила.

В Грановитой палате какой-то ремонт производился, нельзя было пройти. Потом собор посмотрели. Там краску подновляли, или, верней, так: новую краску снимали, а старую оставляли, она оказалась лучше новой.

Ну, если все осматривать, за день не управишься. А ведь мне с Анной Никитичной надо быть в готовности, чтобы к шести часам ехать на обед к Серго. Накануне, когда я об этом сказал Анюте, она испугалась.

— Я же не буду знать, в какой руке ложку или вилку держать.

Но я дал ей наставление:

— Раз Серго позвал, то нужно ехать. И никаких рассуждений быть не может.

Прикончили осмотр, отправились на квартиру к Клаве. Она в Лубянском проезде жила. Анюта надела платье, которое было понаряднее, причесалась гладенько, я тоже обрядился в новый костюм, подправил гребешком зачес, усы.

И ровно в полшестого звонок у двери. Человек здоровается, рекомендуется:

— Я шофер товарища Серго. Он прислал за вами свою машину.

Сели, тронулись. Подъезжаем к Кремлю, катим в ворота, стоп! Караул видит: идет машина товарища Серго, а едет не Серго. Спрашивают:

— Ваш пропуск?

— Пропуска, товарищи, у меня нет.

— Как фамилия?

— Коробов.

— Езжайте.

Вкатываем в Кремль. Опять поглядываю туда-сюда. Вдалеке вижу: с кем-то идет Серго. Он по летнему времени был в белом кителе. Машина завернула в какой-то кремлевский проулок, остановилась у небольшого двухэтажного домика. Домик старый, невидный, окна маленькие.

Шофер повел нас на второй этаж. Лестница крутая, старинная, без всяких площадок. Думаю: если оступишься и полетишь, то и головы не найдешь. В комнатах мебель вся чистенькая, но простая. Ни одной вещи нет под золото.

Встретила нас Зинаида Гавриловна,— такая же крепкая, плотная, с густым румянцем, как я ее запомнил по Макеевке. Прическа простенькая, ровно бы моя Анюта, прямой пробор и сзади узел. Поздоровались. Говорю:

— Я с вами немного знаком. Не позабыли?

— Вас, Иван Григорьевич, не позабудешь. И объяснения ваши про доменное дело до сих пор помню. Если хотите, можете проверить.

Я, смеясь, спрашиваю:

— Какой же, Зинаида Гавриловна, главный враг доменного техника?

Она даже не запнулась:

— Мусористый кокс.— И рассмеялась.— Меня Серго еще вчера оповестил, зачем вы приехали.— Поглядела на Анюту: — Жену забрать и насчет кокса воевать.

Я только поддакнул. Сразу почувствовалось, что у нее с Серго жизнь идет душа в душу.

Пошли в столовую. Там стол уже накрыт. И еще один гость сидит. Зинаида Гавриловна нас познакомила:

— Это доменный мастер Коробов с женой. А это младший брат Серго, Папуля Константинович.

Он и сам тут же назвался:

— Папуля Орджоникидзе из Тбилиси.— И отпустил шутку: — Но там у нас папулей называют товарища Серго, а меня мамулей.

Вижу, человек веселый, подвижный, худощавый. Концы усов остренько закручены. Нос такой же горбатый и мясистый, как и у Серго. И глаза тоже большие, черные. Только после я узнал, как по-настоящему-то его имя пишется: Папулия.

Сидим, беседуем. Через минут десять является Серго. Поцеловал без стеснения свою Зиночку. Глядит она на него, и синие ее глаза вроде бы еще синее стали. Он раскинул объятия, будто хотел нас всех сгрести. Потом говорит:

— Одну минуту. Схожу помою руки.

Вернулся и зовет за стол. Я говорю:

— Товарищ Серго, мы еще не мыли рук.

Он:

— Извините, сам помыл, а вас не пригласил.

Повел нас коридором в ванную, там же супротив и кухня, мы помыли руки, возвратились в столовую.

Серго нас усадил. И говорит:

— Кто что будет пить?

Отвечаю:

— Я буду пить кахетинское.

А он:

— Разве с кахетинского начинают? — И брату: — Тамада, наливай.

Там стояли маленькие рюмочки для коньяка. Папулия Константинович стал наливать коньяк. Наливает Зинаиде Гавриловне, рюмочка наполнилась до половины, и Зинаида Гавриловна прикрыла ее рукой.

Вступил Серго:

— Людям глаза отводит, будто она не пьет. Наливай, тамада, до краю.

А себе плеснул нарзану. Зинаида Гавриловна сказала:

— Если бы не Коробовы, то Серго приехал бы обедать в десять часов, а сегодня он пообедает вовремя.

Папулия весело и складно предложил тост за здоровье доменщиков, на которых Серго и сердится и радуется, без которых ему жизнь не в жизнь.

Выпили по первой, и Серго говорит:

— Нужно вторую, одной там будет скучно.

И предложил выпить в честь Папулии. Сказал:

— Он заглазно участвовал в моем знакомстве с Зиночкой. Прислал мне из Тифлиса в ссылку разные теплые вещи и грузинские сладости. Этими сладостями я угощал детишек в одном доме, куда попал в качестве фельдшера. Угощал и доугощался, познакомился вот с ней.— Он показал глазами на жену.— И с тех пор мне крышка.— Засмеялся: — Спасибо, брат.

Выпили. Серго опять взял слово:

— Теперь тостов больше не надо. Пусть каждый пьет что хочет.

Стали закусывать. Конечно, мы стеснялись. Я-то не совсем стеснялся, уже немного привык вести знакомство с товарищем Серго, а Анюта страшно стеснялась. Серго это видел, старался, чтобы мы себя чувствовали свободней, сам накладывал то, другое нам в тарелки. Были черешни, он горстью накладывает мне и моей жене. Много было кушаний. Вот окрошка, вот горячий суп — выбирай, что хочешь. Подавала Зинаида Гавриловна, сама все приносила.

В разговоре серьезное шло вперемежку с шутками. Серго расспрашивал о работе, о людях. Вынь да положь ему свое мнение о Романько, о том, почему Романько и Гвахария не поладили. И про Злочевского ему скажи. И про других. Потом Серго стал рассказывать своему брату о моем сыне Павле, говорил, что многие профессора и академики советовали остановить Днепропетровский завод как совершенно устаревший, который всегда будет работать плохо, с большим убытком. А Серго послал туда моего Павла, и Павел показал класс, положил на обе лопатки этих советчиков, вывел завод в передовые.

Я сказал, что мне хотелось бы заехать к Павлу, давно его не видел. Серго говорит:

— Что же, загляните к нему. Думаю, это и для дела будет полезно.

— Но Гвахария, товарищ Серго, мне строго наказал, чтобы двадцать первого я был в Макеевке.

— А мы сейчас ему позвоним.

Встал, повел меня в соседнюю комнату. Там на столе несколько телефонов. Один из них вишневого цвета. Серго снял эту красную трубку, набрал номер и соединился прямо с Макеевкой. После я узнал, что это была специальная паркомтяжпромовская кабельная связь, проложенная к крупнейшим заводам и стройкам. Набрал номер и сразу же:

— Гвахария, ты? Это Серго... Нет, не буду с тобой разговаривать. Обещаешь, обещаешь поднять выпуск проката, а своего слова не держишь. Вот и не буду, пока не сдержишь...

Стою, слушаю, думаю: только своего близкого эдак наказывают. Серго продолжает:

— Сейчас поговори с товарищем Коробовым.

И передал мне трубку. Я говорю:

— Здравствуйте, Георгий Виссарионович.

Гвахария спрашивает:

— Где ты находишься?

— Дома у товарища Серго. Обедаем.

— Значит, насчет кокса дело двинул?

— А как же? Конечно. Теперь хочу попросить вашего разрешения съездить к сыну в Днепропетровск.

— Поезжай, но только чтобы двадцать первого был здесь. И ни на день позже.

Говорит строго, поблажки не дает, хотя и знает, где я обедаю.

— Прибуду, Георгий Виссарионович, в точности.

Мы с Серго вернулись в столовую. А через некоторое время — звонок по телефону. Подошла Зинаида Гавриловна. Я слышу:

— У нас гости, старый Коробов с женой. Приезжайте к нам.

Воротившись, объяснила, что разговаривала с женою Вестника. Вестник был тогда директором Криворожского завода. Вскорости она приехала — видная собой, дородной стати. Поздоровалась с Серго, с его братом. Поцеловалась с Зинаидой Гавриловной. Потом глядит на меня. Встаю:

— Я Коробов.

Она:

— Знаю, что Коробов. Вот закачу вам взбучку. Почему вы не откликнулись на мое обращение? Почему не приехали в Кривой Рог?

Она действительно писала в газете, сделала вроде бы приглашение, чтобы я наведался в Кривой Рог и посмотрел, почему не налаживается ход новой доменной печи. Говорю:

— Я человек подневольный. Куда велят, туда и еду. Один раз пробыл на Алмазнянском заводе три дня лишних, так за это чуть не влепили выговор.

— Хоть бы дали мне ответ в газете!

— Да мне легче сутки отработать, чем писать в газету.

Папулия Константинович с серьезным видом сказал жене Вестника:

— Берите меня в помощь. Нам это недолго. Был хороший доменщик. Сделаем из него скверного газетчика. Пустим и в ораторы.

Жена Вестника покачала головой.

— У вас острый язычок.

Но не обиделась. Села к столу. Завязался совместный разговор. Потом она играла, пела. Уделила внимание и моей Анюте. Стала расспрашивать:

— Вы участвуете в движении жен-общественниц?

— Не участвую.

— Как так? Почему? Что вам мешает? Муж не позволяет?

Анюта жмется, не найдет ответа. Ей помог Серго, окоротил жену Вестника:

— Вы моих гостей спугнете. Я в другой раз, пожалуй, их к себе не дозовусь.

Еще поговорили.

Я посмотрел на часы — уже десять. Там, в Москве, долго смеркается, поглядишь в окно, еще не стемнело, а на часах десять. Говорю:

— Товарищ Серго, я у вас много времени отнял. Четыре часа сидим у вас.

— Ничего. Я сам в охотку с вами посидел.

— Я, товарищ Серго, не могу найти слов для благодарности. Раньше я никогда и не мечтал даже возле стен кремлевских побывать, а вот пришлось в самом Кремле сидеть. Да у кого? Если по старому сказать, то у министра.

Серго обнял меня.

— У нас при советской власти сегодня я нарком, а завтра ваш сын может стать наркомом.

А Зинаида Гавриловна сказала Анюте:

— Вы завтра свободны? Я пошлю за вами машину, и мы поедем по городу. Я вам покажу Москву.

Серго вышел из квартиры вместе с нами, мы сели в машину, и он сел, велел ехать в наркомат, сказал, что сегодня еще будет работать. Остановились у наркомата, он выходит, и мы за ним. Он удивился:

— Куда вы?

Я говорю:

— Достаточно. Мы тут дойдем пешком.

— Сидите, сидите. Шофер вас довезет домой.

— Товарищ Серго, очень много чести.

И опять он засмеялся, стиснул меня обеими руками, и ушел работать. И мы двинулись к Клаве.

Павла через некоторое время перевели в Магнитку начальником доменного цеха. Неблизкий край, не съездишь туда, не посоветуешься. А потом, глядь, назначили главным инженером, а затем и директором Магнитогорского завода. Дело громадное, самый крупный комбинат в стране. Я был в уверенности: Павел одюжит, силенка есть, он, правда, молод, но, видать, идет такое время, чтобы впрягались молодые. Да и мне, старому обер-мастеру, еще раненько сбрасывать свою упряжь. Поработаю.

Этим заканчиваются записи, что я мысленно называл дорожными, сделанные в дни путешествия по заводам. Николай Иванович с нами расстался, направился в Москву А я продолжал сопутствовать деду. Он дал некоторый крюк в Криворожье, чтобы навестить младшего сына, начальника доменного цеха.

У меня сохранилась беглая, черновая зарисовка.

У МЛАДШЕГО

Мы сошли на станции Червонная. Оставался еще один перегон до Кривого Рога, однако от Червонной путь к заводу и к квартире Ильи короче.

Поезд доставил сюда нас в очень неудобный час — без малого в четыре утра. Ночная темнота еще обступала маленькую станцию, освещенную единственным фонарем. Я поглядел по сторонам, ища заводское зарево. Небо нигде

не розовело, но вдалеке виднелись две доменные печи, очерченные десятками электролампочек.

Кривой Рог! Когда-то, полвека назад, здесь, на Гданцевском, принадлежавшем французской компании, ныне заброшенном заводе, работал двадцатилетний Курако, легендарный русский доменщик. Из низкорослых печей в ту пору вымахивал на волю пламенеющий газ, ночное небо окрашивалось доменным огнем.

Теперь над огромнейшими домнами нет всполохов, надежно служат затворы печей.

Но где же Иван Григорьевич? Ведь только что был рядом. В который раз его проворство поражает меня. Куда он, если воспользоваться его словцом, ушился? Наконец из мглы донесся его зов. Оказывается, пока я глазел, он успел разыскать машину, ожидавшую нас, и теперь кликал меня.

Дорога от станции в Зеленый городок, на квартиру Ильи, вела сквозь заводскую территорию, вокруг которой пока нет ограды. Завод «Криворожсталь» еще строится, фары выхватывают в предутреннем мраке мокрое асфальтовое шоссе, бескрайние ровные пустыри, поросшие черноватой, побитой морозцами травой, и кое-где здания, остовы, фундаменты. Вот и две доменные, вблизи ярко озаренные множеством световых точек. (Надо бы дать еще несколько штрихов. Мокрые рельсовые пути вдоль доменного цеха, в которых отражается сияние электричества. Состав ковшей у стенки литейного двора. Из железной громады пылеуловителя в коробку-платформу сыплется пыль, наша машина проносится сквозь эту пылищу.) Иван Григорьевич обернулся к отдалявшимся от нас печам. Вместе с ним смотрел назад и я. Вот в небе опять высятся лишь контуры, очерченные лампочками.

В Зеленом городке все коттеджи были темными, лишь в одном в эту неурочную пору светились окна. Возле этих окон мы покинули машину.

Отец и сын расцеловались в передней. Илья стоял в нижней рубашке с открытым, вырезанным на косячок воротом. Разительный контраст являли легкая смуглота груди и темно-красная, будто обваренная, шея. Странный искрасна-кофейный загар подернул и горбоносое, в отца, лицо. Эдак доменщика красит въевшаяся рудная пыль. Иван Григорьевич с одного взгляда понял (он объяснил мне это потом), что Илья провел много часов внутри остановленной

на ремонт домны. Рудная пыль со стенок столь цепко впивается в кожу, что и после бани красноватые следы метят полотенце.

— Что, второй номер ремонтировали? — спросил отец.

Илья кивнул, не удивившись вопросу.

— Интереснейший был настыль,— сказал он.— На съезде доменщиков я попрошу, чтобы мне дали доклад о моем способе взрыва настылей. В двадцать четыре часа сорвал.

— Да ну?

Илья усмехнулся. Его губы были тонкими, нисколько не выдававшимися, хочется сказать, подобранными. В профиль губы не вырисованы, как бы лишены рельефа. Но очень похож на отца, похож, как орленок на матерого орла.

Здесь же, в передней, была и жена Ильи белокурая Шура. Тона кругловатого лица были почти кукольно нежными. Нет, не кукольно. Черные живые глаза не вязались с таким определением. Она произнесла:

— Ложитесь сейчас отдыхать до девяти. А потом все вместе позавтракаем.

Прошли в комнату, что была, видимо, столовой.

— Да, да, ложись, дед.— Илья называл отца заводской кличкой «Дед».— Вот я тебе начерчу, каким был настыль.

— И верно, спать надо,— откликнулся Иван Григорьевич. Он нацепил очки и смотрел на лист бумаги, где уверенными, быстрыми касаниями карандаша Илья изобразил разрез печи, в кото́ром уродливой лепешкой выпирал нарост.— Значит, от колошника он на три метра?

Склонившись над чертежиком, они продолжали обособленный свой разговор. Шура и я стояли возле, дожидаясь, пока они закончат.

— Ну, дед, иди,— заключил Илья.

— Пошли,— обратился Иван Григорьевич ко мне.

Илья спросил:

— А Николай что же с тобою не приехал? Не захотел удостоить?

Видимо, Илья был из обидчивых. Отец миролюбиво сказал:

— Да что ты! Ему напоследях уже слали телеграммы, требовали его в Москву.— Снова повернулся ко мне: — Пошли.— Взял лежавший на кресле свой коричневый портфель, оглянулся на Илью.— Хвалитесь вы, а на факте-то...

— Что?

— Мы тут проезжали, видели...

— Что? — нетерпеливо повторил сын.

— Пылюги очень много. Душите людей. Вот был я на Дзержинке. Там завели приспособление для смачивания пыли. Нужная штука. Я чертеж взял.

— А ну покажи.

Дед достал из портфеля так называемую синьку, развернул, выложил на стол. И стал объяснять, тыча в чертеж загрубевшим пальцем:

— Тут соединено муфточкой...

Сын опять усмехнулся и отвел его руку. Усмешка означала: чертеж говорит сам за себя, слова излишни. Дед, однако, продолжал:

— Сюда вогнан клин... Здесь перепад...

Илья прервал:

— Все понятно. Хорошая вещь. В Америке есть подобные.— Подойдя к полке, он снял кипу иностранных журналов, полистал, нашел схемы, фотоснимки, придвинул отцу.— Применяют, как видишь. Но у дзержинцев действительно конструкция решена лучше. Ладно, дед, спать.

Еще несколько раз то один, то другой произносил «спать», но они не могли оторваться друг от друга. Присев, я устало слушал, засекал обороты речи молодого инженера, которого буду изучать.

— Как работаете? — спросил Илья.

— О! — Рыжий обер-мастер обрел знакомый победоносный вид. Чудилось, распушились усы.— Знаешь, сколько мы дуем? Две тысячи восемьсот оборотов в минуту. Знаешь, какой вынос?

— Неужели вы до сих пор дутье меряете оборотами?

— А что?

Снова тонкие губы Ильи шевельнула усмешка. Употребляя лапидарные, точные выражения, он сказал, что каждый оборот машины дает воздуха в печь больше или меньше в зависимости от сопротивления столба плавильных материалов. Амплитуда колебаний составляет до пятнадцати процентов в ту или другую сторону. Надо измерить количество воздуха, действительно посланного в печь, действительно работающего на фурмах. Какой без этого может быть ровный ход?

— Да у нас и прибора такого нет,— озадаченно сказал Иван Григорьевич.

— И у нас не было. Сами сконструировали. Нашли довольно простое решение.

Сын быстро набрасывал схему прибора. Я впервые увидел пальцы Ильи (раньше смотрел, но не видел). Они были интересными. Подушечки как бы чуть расплющены и, видимо, не мягки, однако ногти не потеряли выпуклости, источали блеск. Опять надев очки, выдвинув усатую губу, из-за чего сейчас выглядел сердитым, Иван Григорьевич следил, как ложатся на бумагу отчетливо проведенные линии.

— Ну хватит же вам,— вмешалась Шура.— Ложитесь. Уже шесть часов.

— Шесть? — удивился дед.— А ведь, кажись, только поздравствовались.— Взял изготовленную сыном схему.— Захвачу это с собой.— Сложил, сунул в портфель.— И вправду надо отдохнуть.— Зашагал к двери. У порога остановился, обернулся: — У нас в Макеевке теперь опять дело наладилось. Знаешь, как я работаю? Утречком выйду, пройдусь по цеху, дам кое-кому нагонку...

И с красочными подробностями он принялся расписывать, как у него в Макеевке идет дело самоходом.

— А план как? — перебил Илья.

— Дали в прошлом месяце девяносто восемь процентов.

— Застыли вы в Макеевке, как студень. Позор в таком цехе план не выполнять. Там надо работать, а вы раскатываете. Портфелем обзавелись. Будь я начальником цеха, я бы вас заставил работать!

Сын выпаливал свои резкости, не стесняясь моего присутствия. Иван Григорьевич опешил:

— Ежели бы ты начальником?

— Да, через десять дней цех стал бы выполнять план. А через месяц я поднял бы выплавку на десять процентов. Подстегнуть вас надо, жирком заплыли, никто чёсу не давал.

Слова разили тяжело, ибо включали в себя весомость дела. Криворожские доменные печи, которыми командовал вот этот принесший и домой в порах шеи и лица буроватую краску руды инженер в белой рубашке, криворожские печи шли форсированным маршем, первенствовали средь цехов Юга.

— Ох, плохо кончите! — с той же резкостью продолжал Илья.— Только и знаете, что хвастаетесь.

— Чего ты раскричался? — мрачно кинул дед.

— А что же? Подшихтовки у вас нет, кокс пережигаете, застыли на том месте, где находились пять лет назад.

Горбоносый орленок по косточкам разобрал, раскромсал работу макеевского цеха, словно только что ее обследовал. Иван Григорьевич пытался было возражать, но под нещадными ударами смолк. Его и самого порой мозжила, как я мог заметить в многодневном с ним общении, жившая в нем неуспокоенность.

— Вы бросьте это свое катание на машине,— костил сын.— И хвалиться перестаньте. Отвратительно работаете. Дождетесь, погонят за такую работу.

Прославленный обер-мастер давно не получал такой трепки, какую пришлось сейчас выдерживать. Он неохотно уступал, согласился, что могучее оборудование Макеевки используется не с максимальной эффективностью. Опустив голову, ходил, выслушивал:

— У вас же не печи, а бронепечи... Э, мне бы туда!

Илья проговорил это с усмешкой. Но не с той, прежней, что дразнила превосходством. Иная, помягче, улыбка проступила в серых глазах, в уголках жестковатых губ. Да, было видно, его влечет Макеевка.

— Ну, а у вас? Чем ты берешь? — спросил отец.

Теперь и я присел к столу, вставил один-другой вопрос. Чем, в самом деле, побеждает этот русоголовый, с рыжинкой, серьезный не по возрасту, с косым шрамиком на лбу инженер? Он сформулировал:

— Анализировать и предвидеть — в этом главное.

За окном уже рассвело. Шура вздохнула:

— Уф... Будем завтракать.

И принялась накрывать стол, пошла на кухню, возвратилась. А Илья тем временем излагал свое «верую». Оно было вкратце таково. Лучшие доменщики прошлого славились умением бороться с расстройствами хода, оставались победителями в самых отчаянных аварийных условиях. Современный доменный техник не должен допускать печь до расстройства — в этом его доблесть. Теория доменной плавки, разработанная в последние десятилетия, новейшие механизмы, приборы — все это дает возможность уловить в зародыше и предупредить любой срыв форсировки.

Илья перечислил науки, что потребны нынешнему инженеру-доменщику. У меня вылетело:

— И вы этим вооружены?
Он спокойно ответил:
— Более или менее.— И, положив на расстеленную уже скатерть свои интересные пальцы, добавил: — Плюс физически работал у печей. Могу с достаточным основанием сказать, что владею техникой.
И опять заговорил о проникновении науки в цеховую повседневность, о контрольной аппаратуре, газоанализаторах, счетных устройствах. Я произнес:
— Но не теряет ли доменное дело свою прелесть?
— Наоборот! В этом инженерская страсть.
В уме я тотчас ухватил эти слова; мыслью я уже подбирался к такому определению, лишь сию минуту прозвучавшему. А Илья развивал свои идеи:
— Новый этап в металлургии. Этого еще не понимают. Вот Николай мне писал, что в своих лекциях поговорит о работе по графику. Да не поговорить на лекции нужно, а весь курс прочесть об этом! Вот и отец этого не понимает, идет переворот, а они застряли во вчерашнем дне.
На столе уже появились горячие котлеты, сковорода с глазуньей, вино.
— Выходит, я уже не нужен. Подавай только ученых,— грустно сказал дед.
— Учиться и в ваши годы не зазорно. Я от мастеров требую, чтобы они знали все приборы и вмешивались во все. Такими будут мастера нового типа.
— Да и я во все встреваю. А мне говорят: смотрите за своими летками.
— И дураки! Еще одно подтверждение: застыла Макеевка.
— Завтракать, завтракать! — объявила Шура.
Она разложила по тарелкам котлеты и яичницу. Илья всем налил вина. Шура взглянула на его бокал.
— Ведь тебе на завод...
— Ничего. Это вполне в пределах кондиции. Приехал отец. Как же не отметить? Ну, за жар в работе! За температуру дутья в две тысячи градусов Цельсия!
Иван Григорьевич откликнулся:
— Э, я парень рисковитый. Пьем!
Чокнулись, выпили. Разговор продолжался. Я в какую-то минуту сказал:
— Илья Иванович, меня поражает ваша увлеченность техникой.

Ответ был лишен категоричности:

— Раньше я думал, что техника — это все...

— Раньше? А теперь?

— И теперь думаю так же, но с поправкой.

— Какой?

Илья впервые прибег к шутке:

— Еще график не подошел, чтобы ее выдать.

В утреннем свете уже вовсе поблекли горящие лампочки. Мы разговаривали, и вдруг в столовую влетел босой, в трусах, со спутанными палевыми кудряшками малыш. Он бросился обнимать, целовать Ивана Григорьевича.

— А автомобиль твой, дедушка, уже сломался.

Илья вновь пошутил:

— Что ж, Славик, готовь ремонт. Составь дефектную ведомость, и в наркомате будем выбивать титула́.

Мальчик оставил без внимания реплику отца, льнул к дедушке, сообщал ему свои новости:

— Знаешь, я упал с кровати и не проснулся. Один раз во сне видел тебя. Давай бороться.

Выплыла в ночнушке Олечка и, еще сонная, не обнаруживая особых эмоций, подошла к деду. Шура за ручонки потянула детей одеваться. Славик воззвал:

— Деда, пойдем с нами.

Просиявший, щурящийся — щелки глаз искрились, улыбка снова распушила усы — обер-мастер, похохатывая, влекся вслед внукам.

Не скоро в то утро он лег.

Среди дня Иван Григорьевич и я поехали на завод. По внешнему виду доменный цех «Криворожстали» не представлял ничего разительного. У печей не было того блеска, чистоты, той вылощенности, какой достиг Иван Григорьевич в Макеевке. Но факт оставался фактом: коэффициенты, характеризующие работу печей, здесь были куда лучше.

Далее несколько страничек, к сожалению, потеряны. Однако сохранился заключительный кусочек наброска.

...Вечером мы провожали Ивана Григорьевича. Опять темнота вкруг маленькой станции. Сын и отец расцеловались. Поезд увез старого Коробова. Я остался с Ильей.

Мне, как и вчера, припомнился дерзновенный Курако, родоначальник школы русских доменщиков.

— Илья Иванович,— спросил я,— чей же вы ученик? Павлова? Бардина?

И в неясном, скупом излучении фонаря скорей угадал, чем различил, усмешку собеседника.

— Деда,— сказал он.— Моего отца. У него я взял все. Какой это великолепный доменщик! О, если бы мне сюда такого обер-мастера!

Нашлось и мое письмо из «Криворожстали».

15 февраля 1938 г.

...Видишь ли, для меня все больше выясняется, что «Семья Коробовых» будет означать целый период в моей жизни, займет несколько лет работы. Тема замечательно благодарная, люди интереснейшие, исторический материал ценнейший, никем еще не тронутый.

Ильей Коробовым я прямо-таки увлечен, как Твардовским. Это таланты нового поколения. Илья Коробов — первый человек, которого мне хочется назвать наследником Курако.

Каждый день беседуем два-три часа. Знакомлюсь пока бегло, вчерне, чтобы охватить общую картину. Он рассказывает с увлечением. Опять испытываю знакомое мне чувство: мы будто нашли друг друга,— рассказчик и беседчик.

И для меня ясно, что сразу, с налета овладеть всей темой, поднять весь материал не по силам. Видимо, придется сначала написать первый роман из серии «Семья Коробовых», закончить, быть может, смертью матери. Действие будет происходить в Макеевке.

Там, в Макеевке, живет буквально сотня (или больше) людей, близко связанных с Коробовыми. Старые мастера, соработники отца, родственники, друзья сынов (каждого в отдельности) и т. д. Надо бы поселиться в Макеевке на полгода, на год, чтобы исподволь все изучить.

Во всяком случае, в апреле или мае поеду к Ивану Григорьевичу в Макеевку. Оттуда к Павлу на Магнитку. Вот какие у меня мысли.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

...Почти двадцать лет спустя, в 1958-м, я вновь много раз беседовал с Ильей Ивановичем Коробовым. И, конечно, вспоминал, как мы впервые встретились. Вот несколько страниц, написанных в пятьдесят восьмом.

...Пора наконец и прощаться. Я собираю свои карандаши, закрываю толстую тетрадь, уже пятую по счету, заполненную в эти дни, проведенные с Ильей Ивановичем. Еще раз оглядываю комнату, где лежит больной директор. Над кроватью во всю высоту стены висит ковер; он тоже стал участником наших бесед, послужил Коробову для того, чтобы наглядно объяснить мне строение настылей в доменной печи. На столике у изголовья телефон, рядом большая ваза с фруктами. Сливы и груши на удивление крупны: в нынешнем году здесь, на Днепропетровщине, выдался особенно щедрый август. Из раскрытого окна видна зелень городского парка, широкая сверкающая гладь Днепра, залитый солнцем, уже клонящимся к закату, песок на противоположном берегу.

Где-то в глубине обширной директорской квартиры настойчиво звонит телефон.

— Подойти? — спрашиваю я.

— Не надо. Там у нас светский телефон, а здесь,— Коробов указывает на аппарат, что поблескивает у изголовья,— а здесь религиозный.

Я понимаю эту шутку. Телефон в изголовье заводской. Лишь на его позывные откликается Илья Иванович.

— Вам повезло,— говорит он.— Если бы я был на ногах, то не смог бы уделить вам и одной десятой того времени, что мы вместе провели в эту неделю.

Да, поездка в Днепропетровск к младшему из сыновей покойного обер-мастера Макеевки, рыжеусого главы семьи доменщиков Коробовых, пожалуй, и впрямь оказалась удачной. Именно в день моего приезда врачи уложили Илью Ивановича в постель: где-то подхваченный грипп осложнился болями в области сердца. Разговоры со мной были дозволены лишь при условии, что мы оба будем подчинены ограничителю. Надо ли разъяснять, что роль этого ограничителя принадлежала жене Коробова?

— Возможно, из нашей встречи выйдет что-то стоящее,— продолжает Илья Иванович.

Ему надоело лежать. Одетый в темно-синюю пижаму, он присаживается на постели, улыбается. Смугловатое лицо сразу меняется. Без улыбки оно слишком упрямо. Нижняя часть тяжела; кости, что в просторечии именуются салазками, мощны; это характерная коробовская, передан-

ная отцом черта. Горбинка на носу тоже отцовская. Илье Ивановичу не раз говорили: «Приставить бы усы, и был бы вылитый Иван Григорьевич». Пожалуй, это верно. Не хватало бы лишь огненного оттенка в шевелюре — каштановой, густой, к которой еще не подкралась седина,— да розового, как обычно у рыжеволосых, цвета кожи. Впрочем, и глаза не карие, какие были у отца, а материнские, серые.

— Возможно, выйдет что-то стоящее,— повторяет Коробов.— Если спервоначала повезло, то... В этом хороший знак для будущего.— Он оживляется, встает: — Наш брат охотник верит в приметы, предзнаменования. Вышел утречком с ружьем, перед тобой незатуманенная, открытая дорога, значит, быть удаче. Если с первого выстрела промазал, придешь домой пустым. А тут у нас с самого начала дело пошло на лад. Удалось основательно потолковать.

Слышатся женские шаги. Оглядываюсь. Александра Владимировна стоит в дверях, укоризненно смотрит на меня. Мать взрослых детей — старший уже инженер-доменщик, младший на днях выдержал экзамен в Днепропетровский металлургический институт, заполучил звание студента,— белокурая, полная, с мягко очерченными крупными губами, бледноватыми, когда на них нет помады, она все еще красива. Муж называет ее мамой. Сейчас он усмиренно садится, прислоняется к подушкам. Я спешу сказать:

— Уже закончили, Александра Владимировна. Осталось только попрощаться.

— И напишете все, как было?

— Попытаюсь.

Александра Владимировна подходит к мужу, садится рядом с ним. Говорит, вздохнув:

— Если бы он уступил, если бы сумел бы сдипломатничать, если бы не был таким несгибаемым...

Подхватываю:

— То не был бы самим собой, Ильею Коробовым.

С минуту мы молчим. На водную гладь за окном легли первые розовые отблески. Я продолжаю:

— Наверное, и ваш, Александра Владимировна, рассказ я как-то использую в будущей книге.

— Мой рассказ? Какой? Ведь все эти дни вы говорили только с ним. Я лишь немного дополняла.

— А двадцать лет назад? Помните, еще тогда вы мне рассказывали, как встретились, как полюбили. А я записывал.

— И у вас целы эти записи?

— Все цело. Все пойдет в работу.

Да, с Ильей Коробовым и его женой я познакомился двадцать лет назад.

...Февраль. Предрассветный час. Снег слизан оттепелью. Сырой ветер. Темно. Покинув вагон, стою на асфальтовом перроне станции Червонная. Низко стелются дымки маневровых паровозов. Ноздри ощущают легкий запах серы. Откуда он сюда донесся? Из паровозных топок? Или, может быть, пахнуло газком коксовой батареи? Мутна пелена ночи. И вдруг вдалеке различаю обрисованный электролампочками, почти призрачный силуэт доменной печи. Верней, лишь ее вершину — угол наклонного моста, устремленные в небо четыре свечи. На миг кажется, что домна плывет, прокладывает путь во мгле. Без расспросов понимаю: это завод «Криворожсталь», где недавно пущена первая очередь.

Давно прозвучал гудок отправления, поезд ушел, а я все стою, вглядываюсь во взброшенный ввысь светящийся пунктир. Сколько раз за последние три-четыре года мне доводилось вот так же выходить то среди дня, то ночью из поезда на незнакомой станции. Думается, не будет нескромным повторить — об этом я уже писал,— что нас, молодых литераторов-беседчиков, преданных своему ремеслу, поднимала с места, гнала за тысячи километров от столицы сила мощней, чем задание редакции: страстный интерес к тому, что совершается в стране, желание познать ее героев.

В те февральские дни Илья Коробов, начальник цеха в «Криворожстали», рассказал мне свою жизнь. Исписанные мною тогда сотни страниц не претворились в книгу: эдакое случается в писательской судьбе. В последующие годы я порой кое-что слышал о нем, следил за ним как бы со стороны. И вот в июле 1958-го прочитал в газете: сто сорок восемь металлургов удостоены звания Героя Социалистического Труда. Среди них был и Илья Иванович Коробов. Многое всколыхнулось, вспомнилось. Отложив свои прочие замыслы, я сел в поезд, поехал к нему...

Еще один набросок рисует Илью, каким он стал к 1958 году. Думается, отсветы оттуда, из времен зрелости, сообщат некую свою окраску и его молодости.

— Илья Иванович, мне хотелось бы,— сказал я,— познакомиться с вашими записными книжками.

— Пожалуйста,— ответил директор «Петровки».— Они все у меня здесь.

Из ящика письменного стола он выгреб груду записных книжек, затем сильней выдвинул ящик, достал еще две или три. Все они были приблизительно одинакового формата, такие, что удобно умещаются в кармане. Плотные обложки различных цветов — зеленые, синие, красные — почти в равной мере почернели, были захватаны, впитали с пальцев директора заводскую пыль. В каждой книжке на первом листе значилось: «Металлургический завод имени Петровского. Принадлежит И. Коробову».

Я тут же, на столе, расположил эти книжки в хронологическом порядке. Каждая охватывала примерно один год. Записи, как правило, были сделаны чернилами и, видимо, не на ходу: почерк неизменно оставался ясным, совершенно разборчивым, почти не встречались сокращения. Наряду с деловыми заметками попадались и краткие выдержки из книг, из статей. Впрочем, цитатам было отведено и свое постоянное место: последние страницы книжек.

Здесь же, при Коробове, я наскоро заглядываю в конец то одной, то другой книжки, туда, где собраны разные выписки.

Вот некоторые:

Мухтар Ауэзов «Абай».

«След — мать дороги».

Владимир Ильич Ленин (в апреле 1917 г. в «Письмах о тактике»):

«...необходимо усвоить себе ту бесспорную истину, что марксист должен учитывать живую жизнь, точные факты *действительности,* а не продолжать цепляться за теорию вчерашнего дня, которая, как всякая теория, в лучшем случае лишь намечает основное, общее, лишь *приближается* к охватыванию жизни».

Гете: Суха, мой друг, теория везде,
А древо жизни пышно зеленеет.

Гете: Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой.

«Фауст» писался более шестидесяти лет.

Крылов (из басни «Цветы»):

Таланты истины
На критику не злятся,
Их повредить она не может красоты,
Одни поддельные цветы дождя боятся.

Иван Петрович Павлов:

«Что ни делаю, постоянно думаю, что служу этим сколько позволяют силы, прежде всего моему отечеству, нашей русской науке. И это есть и сильнейшее побуждение, и глубокое удовлетворение».

Л. Толстой. Мысль Кутузова: «Велико качество командира — воздерживаться при сомнениях».

Максим Горький: «Без спора скоро, но не крепко» (слова писателя Гарина).

На какой-то странице встретилась и такая запись: «Изречение Леонардо да Винчи». Далее следовал пропуск. Я спросил:

— Илья Иванович, а где же изречение?

Коробов взял книжку, посмотрел:

— Забыл вписать... Оставил место и забыл. Но, конечно, смысл помню. Он приблизительно таков: ни один враг не может принести человеку столько вреда, как друг, который не выскажет критическое замечание.

Перевернув страницу, он воскликнул:

— А тут из Маяковского!.. Вы, должно быть, это знаете.

И с чувством (я вновь подивился этой молодой свежести чувств) прочел общеизвестную строфу:

Поэзия —
　　　　та же добыча радия.
В грамм добыча,
　　　　в год труды,
Изводишь
　　　　единого слова ради
Тысячи тонн
　　　　словесной руды.

Оглядев штабелек записных книжек, директор «Петровки» повторил:

— Тысячи тонн словесной руды.

И, разумея Маяковского, неожиданно добавил:

— Вот какой был металлург!

Не дать ли Коробовым вымышленную фамилию? Не свободнее ли тогда буду писать? Уже при первой, так сказать, попытке я делал эдакие пробы, чтобы избавиться от стеснений сугубо документальной прозы.

Знаю, читателю потребуется некоторое внутреннее усилие, чтобы привыкнуть к новым именам знакомых уже ему героев. Пусть он будет к этому готов.

Прочтем же сохранившиеся страницы. Они нас переносят в двадцатые годы.

...Пуск доменной печи — всегда дело опасное. Газ, выделяемый воспламенившимся коксом, устремляется в систему трубопроводов, во все полые пространства. Любая неосторожность, непредусмотрительность — и будет взрыв.

Рыжеусый обер-мастер много раз на дню обходил, обегал все закоулки цеха, давал нагонку, не сдерживая природной вспыльчивости, не щадя ничьего самолюбия, и газовщикам, и горновым, и инженерам,— его верховенство всеми молчаливо признавалось.

По ночам он ворочался в постели, кряхтел, не мог уснуть, обдумывал пуск. Нетерпеливый, он не дожидался рассвета, уходил в предутренней мгле в цех, чтобы снова и снова ощупать глазом и рукой каждую мелочь.

И наступил миг, когда струя раскаленного воздуха воспламенила в печи кокс.

На литейном дворе была сколочена трибуна; красовались кумачовые плакаты; чуть ли не вся Андриановка сошлась на торжество — начался митинг. Слово от пионерского отряда было дано сыну обер-мастера, ученику седьмого класса Петру Прохорову. С трибуны он звонко прочел коротенькую речь, заранее написанную дома. Награжденный щедрыми аплодисментами, он отодвинулся, освобождая место новому оратору. На тесной трибунке подросток оказался прижатым к недавно назначенному главному инженеру Андриановки Макарычеву. Длинный, костлявый, в изношенной, выгоревшей коричневой кепке, Макарычев опирался красноватыми, запыленными руками на деревянные перильца, никому не аплодировал, его запавшие глаза прятались в глубоких провалах под встопорщенными кус-

тами бровей. Так они, горбоносый мальчик в красном галстуке и словно нахохлившийся главный инженер, и простояли рядом до окончания митинга, простояли, не ведая, сколько еще раз их сведет жизнь.

ЮЛЯ

Читатель помнит.

— И у вас целы эти записи? — воскликнула Александра Владимировна.

Я подтвердил:

— Целы.

Однако в своих первых наметках, что ныне извлекаю и которыми вовсе не удовлетворен, я ей дал иное имя. И переменил наружность: превратил из блондинки в чернокудрую. Этим в какой-то степени высвободил воображение. И уже вольнее, слабо ли, удачно ли, рисовал свою героиню — нет, нет, не Шуру,— свою Юлю.

Осенью 1928 года она приехала с родителями в Андриановку из Краснодара. Отец, бывший банковский служащий, принял приглашение стать заведующим отделением Государственного банка в Андриановке. На станцию, заброшенную в пустую степь, поезд прибыл дождливой ночью. Ни один фонарь не освещал станционного крыльца. Со ступенек нога сразу погрузилась в месиво раскващенного чернозема. Где-то вдали неясно багровело зарево, будто от пожара. Не без усилия выдрав ногу, Юля отступила на замызганную крыльцовую твердь. Неужели вот здесь, в безвестной Андриановке, в глуши, потекут ее дни? Стало жутковато. Она мечтала, что ей предназначена большая жизнь, большое дело, деяние. И необыкновенная встреча, встреча навсегда. Еще никогда Юля никого не поцеловала, ни с кем не ходила в обнимку (хотя в Краснодаре распространилась такая манера, считавшаяся передовой, чуть ли не комсомольской), хранила себя для большой любви. Глубоко врезались, запали строчки, которые она как-то прочитала: «Еще любимого не встретив, она ему уже верна». Где же ей, пока лишь ученице, перешедшей в предпоследний класс школы-десятилетки, суждена эта любовь? Здесь? В этой неприютной мгле?

Стиснув ладонью железный холодный поручень, она со ступеньки крыльца глядела на мутнеющее вдалеке заре-

во. И внезапно в той стороне ярко разлилось розовое сияние. Что это? Юля не знала, что в эту минуту на отвале из опорожняемых ковшей полился, побежал доменный шлак. Все озарилось, проступили близ крыльца деревья, трава, ожидающие кого-то запряжки. Стали видны на пристанционной площади люди в плащах, в сапогах, неторопливо шагавшие по размокшей земле, наверное, привычные к здешним дорогам.

Ей припомнилось детство, когда она, вопреки запрету, босиком, в озорной компании носилась и плясала под дождем, шлепала по лужам... Сняв косынку, она и теперь смело ступила под хлещущую крупную капель. Ступила и увязла. И шагнула дальше. И, раскинув руки, подставила дождю ладони.

— Юля! — встревоженно крикнула мать.— Сумасшедшая, куда ты? Папа сейчас пойдет за лошадьми.

— И я с ним.

— Зачем? Галоши тут посеешь.

Юля промолчала. Она стояла, протянув навстречу косохлесту руки и вскинув голову. Такой и озарил ее новый огненный разлив.

В Андриановке Юля вступила наконец в комсомол. Этого ей не довелось сделать в большом городе, с которым она распростилась,— там регулировали прием, чтобы не снижать так называемую рабочую прослойку, сохранить пролетарское лицо комсомола. А тут... Тут, в заводском городке, ее приняли быстро.

Раньше она не имела права носить красный значок, на котором золотились буквы КИМ — маленький нагрудный вымпел Коммунистического интернационала молодежи. А теперь такой значок всегда был приколот к ее платью. Новая жительница Андриановки девятиклассница-комсомолка Юля, темнокудрая и кареглазая, охотно и легко несла множество общественных нагрузок, стала в своей школе членом редколлегии стенгазеты, пионервожатой, участницей спектаклей «Синей блузы».

Родители завели знакомства в среде андриановской интеллигенции, вечерами в их квартире появлялись гости. За Юлей, рано сформировавшейся, веселой, остроумной, начали ухаживать молодой сослуживец отца и вдовец-врач. Сердце ее оставалось незатронутым.

ИХ ПОЗНАКОМИЛ БАЯН

Продолжаю приводить страницы, в которых как-то преобразованы рассказы моих младших героев.

...В нашем повествовании о юноше Петре нельзя обойти его четвероногого друга.

Даже и много лет спустя, когда я опять и опять выспрашивал Петра, перебирал вдоль и поперек нити его жизни, он, неожиданно уходя от своей стихии, своей страсти — профессии инженера-доменщика, вспоминал Баяна, вспоминал, какие штуки вытворял спутник его юности, забавный милый пойнтер.

В Андриановке их привыкли видеть вместе — сосредоточенного, со строгой ранней складочкой над переносьем Петра Прохорова и весело скачущего, черного, в белых крапинах, вислоухого Баяна.

Петр заполучил его в тот год, когда, выпущенный из школы ФЗУ (фабрично-заводского ученичества), поступил газовщиком в доменный цех и лишь мечтал о собственном охотничьем ружье, копил деньги на эту заветную покупку. В цехе работал инженер Бухов, здоровяк, хохотун, оригинал. Он водил голубей, держал породистых кур, ангорских кошек, охотничьих собак. Однажды он сказал подростку-газовщику:

— Прохоров, окажи услугу. Есть у меня маленький щенок. Вчера дверью — экая незадача! — я переломил ему заднюю лапу. Найди человека, который бы взял собаку. За это дам тебе пару лучших голубей.

Не долго думая, Петр взял щенка себе. Он осторожно подхватил живой, теплый комок, доверчиво посматривающий на своего нового хозяина, и явился домой с этим приобретением.

— Мама, давай вы́ходим!

Мать мыла крыльцо. Сколько Петр себя ни помнил, он всегда видел занятыми смуглые, порой слегка опухшие от стирки руки ма́тери.

Сейчас она их вытерла и, невысокая, толстенькая, с извечным прямым пробором, разделявшим гладко причесанные, уже седеющие волосы глядела с улыбкой на своего младшего.

— Что там у тебя, сыночек?

У матери были такие же, как у Петра, ясные серые глаза, такие же, словно подобранные, губы. Она говорила на-

распев, постоянно употребляла ласкательные выражения: «голубушка», «светик», «сыночек».

Не выпуская щенка из широких ладоней, Петр показал сломанную лапу. Мать погладила черную мордочку, розовый язычок лизнул загрубелую женскую руку.

— Как его зовут? — спросила мать.

— Ян.

Под этой кличкой бедолага пойнтер был вручен Петру.

— Ян? Назовем его, сынок, Баяном.

Так был принят в дом под звонким новым именем будущий друг Петра.

Перебитая косточка вскоре срослась, Баян забегал на всех четырех. Обзаведшись наконец ружьем (разрешение пришлось взять на имя отца, ибо Петру еще не стукнуло шестнадцати), юноша газовщик стал также обладателем необыкновенно смышленой собаки. Баян был и необыкновенно потешен.

В поле он непрестанно подавал охотнику сигналы обо всем, что чуяли влажные ноздри. Быстро-быстро задвигался хвост — значит, схвачен волнующий запах. Еще одно судорожное движение — и Баян замер, окаменел: ни дать ни взять чугунная статуэтка, обрызганная нечастыми каплями белил. Дичь — в одном шаге от него. Перепела не выдерживали собачьей стойки, поднимались. Петр стрелял влет.

Бывало, Баян учует и певчую птаху. Ему строжайше запрещалось выслеживать, гонять такую птицу, равно как и домашнюю живность. В подобных случаях он начинал выделывать свои штучки — крался, двигал хвостом, воспроизводя все признаки волнения, а сам лукаво косился на Петра, чуть-чуть не говоря: это не взаправду.

Как ни странно, комик пес был болезненно самолюбив. Петр знал и в себе подобную черту, умел с нею считаться. Разговаривать с Баяном следовало только по-хорошему. Грубый тон, ругательства делали его невосприимчивым, тупым. Из-за этого не сладились отношения между пойнтером и Прохоровым-отцом, обер-мастером доменного цеха, взыскательным, хозяйственным главой семьи. Приходя домой с завода в старой кепке, на которой неизменно блестели чешуйки графита (такими чешуйками оборачиваются, остывая, стреляющие из жидкого чугуна искры), в брезентовой, кое-где прожженной, почерневшей спецовке, Афанасий Дмитриевич еще издали покрикивал:

«Почему отперта калитка? Кто бросил лопату?» Негромогласная, обходительная толстушка жена всегда находила умиротворяющее слово, успокаивала вспыльчивого мастера. Вымывшись, переодевшись, пообедав, он выходил в нижней рубахе на крыльцо. Ярко-рыжие, еще вьющиеся волосы были расчесаны, столь же яркие длинные усы задорно топорщились. Афанасий Дмитриевич любил сам присмотреть за хозяйством, наблюдал, как клюют куры, захаживал к теленку, собственноручно ставил клизму занедужившему поросенку.

К появлению в доме щенка редкой породы он отнесся хмуро, поворчал, но уступил, согласился терпеть его присутствие. Однажды Афанасий Дмитриевич увидел, что щенок подкрадывается к курам. Баян шутил. Однако рачительный рыжий хозяин не признавал эдаких шуток. Схватив мягкий стебель подсолнуха, он поучил, постегал собаку. Баян обиделся. Он не зарычал, не показал зубы, а лег черной лепешкой во дворе. Жили лишь осуждающие, строгие глаза. Казалось, из них вот-вот выкатятся слезы. Петр выбежал из дома, взял на руки своего питомца.

— Отец, зачем ты его тронул?

— Ничего, будет умней.

— Смотри, как ты его обидел.

— Всыпал за дело. Сегодня посерчает, завтра простит.

Но Баян не простил. Получив порку, он с этой минуты игнорировал главу дома, делал вид, что не замечает усатого Прохорова. Как Афанасий Дмитриевич ни подзывал, как ни приманивал черного песика, тот держал себя так, будто Прохоров-отец не существует. Ни разу к нему не подошел, не прикасался к самым вкусным косточкам, если их кидал обидчик.

Отец возмущался:

— Ты что же, хочешь, чтобы я просил у тебя прощения? Чтобы плясал перед тобой? Врешь! Иди сюда.

Баян не вел даже и ухом, будто не слышал. Так он и хранил свою обиду.

Зато между Баяном и Петром установилось удивительное понимание. Случалось, Петру достаточно было подумать: «Где же мой Баян?» — и песик тотчас представал, точно поймав мысль каким-то неведомым приемником.

Все лето, что предшествовало поездке на экзамены в Москву, Петр упорно занимался. Единственным раз-

влечением, которое он позволял себе в воскресные дни, была охота.

Гонимый страстью, которую вряд ли кто поймет, кроме охотников, он выходил со своей собакой и с ружьем еще до света, часа в два ночи, чтобы встретить зорю в дальних бурьянах, где водились вальдшнепы и перепела. И затем весь день шагал, спускаясь в балки, в заросли терновника, вновь поднимаясь на пустоши, крытые серебристой высокой полынью, потом опять забираясь в кустарник. В пору охоты на зайцев он кружил и кружил по ровным открытым местам, вымеривая и вымеривая километры. Присесть? Да, бывало, он присаживался, вынимал захваченные из дома хлеб и сало, но тут же, словно взброшенный тугой пружиной, поднимался и шел дальше, на ходу жуя и угощая своего друга. Закат заставал его на полях охоты. Вымотанный, с грузом трофеев, нелегко добытых в донецкой скупой степи,— чаще всего это был десяток-другой перепелов, но доводилось влачить на себе одного, а то и двух увесистых зайцев — он возвращался в Андриановку. Баян приноровлялся к его изнуренной походке, плелся у ноги, свесив язык. Сколько километров Петр отмахивал за день? Чуть ли не сто! Читатель сам может это высчитать: восемнадцать — двадцать часов кряду, подхлестываемый кнутиком неистовства, парнишка не давал себе присесть.

Его приятель слесарь-электрик Ваня Омельченко, франт и добряк, тоже решивший — была не была! — держать в компании с Петром осенью экзамены, однажды тоже за компанию пошел с ним на охоту. И потом клял этот денек, долго повторял: «Давайте мне хоть десять тысяч, я больше на охоту не ходок».

Да и сам Петр, в изнеможении вваливаясь домой, подумывал: «Теперь, наверное, с месяц не пойду».

Но уже спустя два дня его снова тянуло к ружью. Он готовился к экзаменам в Институт стали, перед ним лежали учебники, тетради, вечером предстояли занятия на подготовительных курсах, а в воображении возникала степь, переливы стелющейся по ветру полыни, черное изваяние замершего в стойке Баяна.

Вислоухий песик, дремавший на полу, мгновенно оживлялся, хотя Петр ни словом, ни знаком себя не выдавал. Это поистине было изумительно! Наделенный необъяснимой чуткостью, пойнтер уже вертелся рядом, клал лапы ему

на колени, заглядывал в глаза, поворачивался к висевшему на стене ружью.

— Нет, Баян, нельзя. Надо заниматься.

Баян не унимался, молил. Петр отрывался от тетрадок.

— Нельзя, нельзя. Пойдем, друг, быстро искупаемся и опять засядем.

Не ожидая повторных приглашений, Баян мчался в сени к велосипеду и, нетерпеливо двигая хвостом, прислушивался, как отодвигает стул, встает, идет хозяин.

А в очередное воскресенье — как всегда, затемно — Петр и его черненький спутник снова шли охотиться. Опять выпадали минуты, когда песик поднимал дичь, Петр стрелял влет, Баян приносил в зубах трофеи.

Однажды взлетела пара перепелов. Один пошел низом. Вот-вот он скроется в траве. Петр выстрелил. И вдруг заслышался отчаянный визг Баяна, нет, даже не визг, скорее крик. Петр кинулся к собаке. Он стрелял самой мелкой дробью, часть заряда угодила в черную мордочку Баяна. На носу кровь, уши в крови. Капли крови на траве. Из глаза выкатилась и повисла слеза. В слезе плавала дробинка. И раздавался почти человечий плач:

— Ай-ай-ай...

Юноша-охотник взял собаку на руки. Баян дрожал. В ушах, гладких, висячих, засели дробинки. Их можно было прощупать, они катались под пальцами. Застряли, не пробив ушей. Ударившая в мордочку дробь была уже на излете. Петр вытер кровь носовым платком. Осмотрел раненого.

— Ну, Баян, ничего... Ничего серьезного. Это легкое ранение. Это пройдет.

Баян уже не кричал, а лишь скулил на его руках. Поскулил и, как говорится, оклемался, принялся бегать.

...До отъезда на экзамены оставалось лишь несколько дней. В предвечерний час Петр возвращался с купания. Вся его пока коротенькая жизнь прошла возле заводского пруда, или, по-местному, ставка, откуда насосы непрерывно поднимали воду для охлаждения доменных печей и прокатных станов; омывшая раскаленную кладку, уносящая с собой плавильный жар, она сбегала по трубам обратно, образовывала в пруду теплое течение, излюбленное мальчуганами. Ставок был равно притягательным и летом и в морозы, когда на изрезанной коньками глади вдалеке от окутанной паром полыньи вдруг поутру представали взгля-

ду большие, мохнатые, неведомо откуда взявшиеся кристаллы инея. Теперь-то Петр, готовый встретиться с московскими экзаменаторами, разумеется, мог без затруднения объяснить физическую сущность этой тайны.

Однажды он прочел, что знаменитый Гаус находил отдых в решении математических задач. И с тех пор следовал примеру этого ученого. Велосипедные педали легко двигались под сандалиями Петра, руки спокойно держали никелированную параболу руля, а в уме четко, будто на листе бумаги, возникали уравнения. Задача была сложной, не решалась, хотя он и за столом уже ломал над нею голову. Глубоко сосредоточившись, увлекшись поисками недающейся разгадки, он машинально направлял велосипед.

Вот и деревянный мостик, перекинутый через ставок. Петр плавно затормозил. В это мгновение задача вдруг решилась. Стоп! Он соскочил с седла, ощущая радостную дрожь. Бежавший впереди маленький четвероногий друг, еще лоснившийся, не высохший после купания, тотчас остановился, оглянулся на Петра, завилял хвостом. Баян, ты тоже радуешься? Да, загвоздку мы нашли. Все ясно. Теперь надобно сызнова проверить ход решения.

По-прежнему погруженный в себя, в алгебраические выкладки, он повел велосипед на мостик. Кто-то шел навстречу. Под чьими-то быстрыми шагами доски чуть вибрировали, эту вибрацию рассеянно уловил Петр. Он заметил белые носочки на девичьих длинных ногах, затянутую на затылке небрежным узлом красную косынку, из-под которой виднелись крутые кудри.

Посторонившись, приблизив велосипед к перилам, Петр пропустил девушку. Еще секунда — и они разминутся на узком мостике.

Говорят и пишут о роковых встречах, таких, когда внезапно затрепещешь, будто под ударом вдруг заструившегося тока. Нет, Петра не ударил магический ток. Однако забавный черный пес неожиданно выказал чрезвычайное волнение. Дважды негромко пролаяв, он этим как бы окликнул Петра. Потом опередил девушку, стал ластиться к ее ногам в белых носочках, загородил ей путь. Петр обернулся.

— Баян, как тебе не стыдно? Что ты пристаешь к чужим?

— И отвлекаешь,— подхватила девушка,— от глубоких дум своего мудрого Петю. Действительно, как тебе не стыдно?

Его серые с голубизной глаза выразили удивление. Ей известно его имя. Странно. Он пригляделся. Бледноватое удивленное лицо. Впрочем, не совсем так. Одна щека бледна, а другая рдеет. Ну, и удивительная же асимметрия. Он еще не встречал подобной. Асимметрия цвета. И, вероятно, капилляров. Ведь, согласно закону Архимеда... Впрочем, Архимед, пожалуй, этого не объяснит. Да, нежно горит левая щека, та, что поближе к таинственной штуковине — сердцу, а правая словно бы бесстрастна. Большущие карие глаза. Заостренный тонкий нос. Синяя блузка в продольных мелких сборках; они, эти ниспадающие параллельные, скрадывали, как повелевала оптика, выпуклость груди. Над сборками алел комсомольский значок. Такой значок Петр надевал лишь в особых случаях: на собрания, на демонстрации, на субботники,— а она всюду носила свой комсомольский вымпелок.

Розовые пальцы поглаживали шерстку Баяна, удовлетворенно и не без лукавства косившегося то на девушку, то на Петра.

— Баян, у тебя завелись непонятные знакомства.

— В самом деле, Баян, разве можно здороваться с особой, которая...— Девушка наконец рассмеялась.— Которая лишь три или четыре раза побывала в доме, где живет твой очень наблюдательный Петя.

— В доме?

— Да, у вас и у ваших соседей. И, кроме того, тебе, Баян, известно, что эта же особа каждый день проходит к пруду и обратно мимо окошка твоего Пети.

Хм... Она употребила неместное словцо. Вместо «к ставку» сказала «к пруду». Приезжая, что ли? Три-четыре раза побывала в доме... Должно быть, это какая то новая подруга его младшей сестры Лены. Наверно, как и Лена, в будущем году закончит десятилетку. Этим девочкам-школьницам, порой появлявшимся во дворе и в доме Прохоровых, Петр не уделял ни малейшего внимания. Как, впрочем, и иным юным жительницам Андриановки. Некогда! Не до того! Сейчас он хмуро выговорил:

— Если я Петр, то как же зовут вас?

Она снова рассмеялась.

— Вы очень строго спрашиваете. В точности, как ваш отец. Извольте, дяденька Петя, отвечаю: Юля. Итак, будем считать, что Баян представил нас друг другу?

В турнирах острословия Петр никогда не побеждал. Ответил:

— Ну, до свидания.

Так окончилась встреча на мостике.

Вновь вскочив на велосипед, Петр не счел нужным еще хоть на минуту задержаться мыслями на этом своем мимолетном знакомстве. Вернулся домой, взялся за тетради, за учебники. Но дело почему-то не пошло. Он даже выставил из комнаты Баяна:

— Иди во двор. Мешаешь. Иди, иди. Ты все натворил.

Песик не обиделся, весело выбежал. «Натворил...» Экая чушь! Подумаешь, она сострила: «Твой очень наблюдательный Петя». Скажите пожалуйста, нужны ему эти наблюдения. Розовые пальцы, полные у основания и узенькие на концах, прикрытых выпуклыми продолговатыми ногтями, поглаживают влажную шерсть. У корня пальцев явственно проступают ямочки. Таких ямочек он еще ни у кого не примечал. Разве только у очень маленьких детей. Однако к чему, собственно говоря, это тут, за учебниками, ему привиделось?

Суровый муж науки — нет, верней, ее юный послушник — склонился, помнится, над упражнениями по теоретической механике. Но так и не смог погрузиться в мир отвлеченных величин. Злясь на себя, решил пройтись.

Хотел крикнуть: «Мама, дай чистую рубашку!» С детства он привык, что рядом существует мать. Возвращаясь из школы, еще у крыльца подавал голос: «Мама, дай поесть!» И, почти ее не замечая, глотал наскоро обед и уносился за калитку.

Но зачем ему сейчас чистая рубашка? На свидание он, что ли, собирается? И все же достал галстук, висевший на гвозде, подвязал у ворота. Вынул из стола комсомольский значок, повертел, приколол к рубашке. Пожалуй, она правильно делает, что всюду ходит со значком. Этот огнистый трапецоид — вызов болоту, рутине, старью! Если придется снова встретиться, то... «Снова встретиться...» Что за чепуха? О чем он думает?

Рывком развязал галстук, кинул на стул. Но значок не снял. И пошел на волю. Баяну приказал:

— Оставайся дома!

...Куда же направить шаг? У Петра были излюбленные маршруты вечерних прогулок. Узенькая тропка выводила к недалекому краю Андриановки. Миновав черту поселка, Петр обычно мимо огородов, мимо пашни уходил в нетронутое поле, где слабо пахли травы.

В тот августовский вечер его туда не потянуло. Признаться, он и сам не знал, куда шагает, чего ищет. Зачем его принесло сюда, на эту улицу, что пролегла вдоль заводской ограды?

Над вершинами доменных печей, что были видны отовсюду, с любого конца Андриановки, стлался бурый дым. Из второго номера тянулась расходящаяся в небе черноватая дорожка, свидетельствующая, что в печь задали несколько коксовых или так называемых «холостых» калош. А домна номер первый выметывала густые, плотные, словно бы отформованные гигантской ложкой шарообразные клубы. Эти влекомые ветром тяжелые шары лишь медленно теряли очертания, расплывались. Спервоначала в них можно было отличить то изжелта-белые, то как бы ржавые, то почти черные прослойки или полосы, потом эти оттенки постепенно смешивались.

Будущий студент-металлург уже ясно понимал и физическую природу этого, как выражаются доменщики, «выноса» — сильный восходящий ток дутья выбрасывает в газовой струе рудную, коксовую и известковую пыль. Эта мельчайшая взвесь рассеивается в воздухе, оседает, ложится рыжим налетом на крыши, на землю, на деревья.

Нет, он не любуется выбросами пыли. Еще в бытность фабзаучником Петр несколько месяцев овладевал чертежным искусством в конструкторском бюро завода, куда стянулись выученики славного русского доменщика покойного Курако, и там воспринял их верования, был убежден, что новые могучие бронированные печи, которые рано или поздно встанут взамен этих, не будут выбрасывать в атмосферу газ и пыль, за ними не будет волочиться дымный хвост.

И все же Петру мил пропитавший Андриановку сернистый запашок доменного выноса. Лишь недавно минули времена разорения, когда домны не курились. Два или три раза в те годы андриановцы пытались раздуть доменное пламя, но из-за нехватки угля — нехватки угля в самом центре Донбасса: так глубоко зашло омертвение,— печи угасали. Рабочие занимались огородничеством, засевали

хлеб, кормились собранным своими руками урожаем. Многие разбрелись по деревням. Прохоров-отец долго раздумывал, ворочался бессонными ночами на кровати, советовался с женой, со старшим сыном Алексеем, уже поступившим в доменный цех после окончания школы, и наконец твердо сказал: «На пепле будем жить, а никуда отсюда не уйдем».

Теперь, в 1929-м, все три домны Андриановки — старенькие, выстроенные давным-давно — непрерывно, днем и ночью, извергают газ и пыль.

Как же не любить этот стелющийся над печами бурый полог? И как же его не отрицать?

ВЕЧЕРОМ ВСТРЕТИЛИСЬ ВНОВЬ

Петр и самому себе не мог впоследствии объяснить, почему, зачем ноги понесли его к городскому саду. Любитель дальних прогулок, что позволяли побыть наедине с природой, он не жаловал тесного парка Андриановки, звавшегося до революции директорским.

Неожиданно в глаза бросилась красная косынка. Но разве это та, та самая косынка? Мало ли в Андриановке таких?

Да, это Юля! Ее круто вьющиеся кудри, синяя, в сборках блузка. Стоит у входа в парк, отмеченного двумя чугунными литыми вазами, в которых посажены цветы, видимо, только что обрызганные вечерней поливкой. Поникшие днем белые головки табака раскрылись, приподнялись, будто внимая.

Кому же она улыбается? И даже смеется. Кто вызвал этот смех? Ваня Омельченко, ты?! Небрежно опершись на раму велосипеда, сдвинув на затылок щегольскую кепку, он, верный товарищ Петра — товарищ по дракам детских лет, по школе, по заводу, по вечерним курсам — вел с ней разговор.

Мрачноватый, нагнув голову, похожий в эту минуту на бычка, Петр приблизился.

— Петро? — весело воскликнул Ваня.— Какой магнит затащил тебя сюда?

Разумеется, Омельченко не ведал, что называется, ни сном, ни духом, сколь меток был его вопрос. Тотчас он вспомнил о галантности.

— Вы не знакомы?

Ответа не последовало. Петр смотрел в землю. Длинный нос Омельченко, чуть свернутый на сторону, что, однако, не мешало балагуру-слесарю считать себя неотразимым, еще не расчуял чего-либо необычайного.

— Знакомьтесь,— продолжал он.— Это Юля. Девушка, брат, не простая — золотая. Все сокровища в ее руках. Банкирша.

— Банкирша? — переспросил Петр.

Он наконец на нее взглянул. Опять рдела ее левая щека, правая оставалась бледной.

Ваня объяснил: Юля — дочь заведующего отделением Государственного банка в Андриановке.

— А это,— он театрально простер руку в сторону Петра,— краса и гордость Андриановки Петя Киселев.

Теперь для Юли пришла очередь быть озадаченной.

— Киселев?

— Так точно! — отчеканил Ваня.— Поручик Киселев.

И, смеясь, рассказал, что в школе ФЗУ преподаватель математики прозвал Петра Прохорова Киселевым. Согласно программе, полагалось иметь учебник геометрии Давыдова, а Петр обзавелся Киселевым. И не хотел сменить учебник, требуя логического обоснования: чем Киселев хуже? Преподаватель был нетерпелив, упорство школьника раздражало его.

— Киселев, садитесь! — нередко кричал он.— Вы ничего не понимаете.

И не однажды отпускал заезженную шутку: «Вся рота шагает не в ногу, один поручик Киселев, изволите ли видеть, идет в ногу».

Беспечно вышучивая товарища, Ваня вдруг осекся. Под скулой Петра явственно проступил желвак. И заходил туда-сюда... Э, дело неладно. А ведь прежде Петр пропускал мимо ушей эти подтрунивания. Да и голенастая «банкирша» не смеется. Блестят ее глазищи. Черт побери, еще только что, пока не появился этот схимник, они так не блестели. Э, Ваня, Ваня, как бы тебе не попасть впросак. Друг Петька, не журись! На Ваню можешь положиться: сейчас все будет в порядочке.

Артистически разыграв непринужденность, он выпул карманные часы.

— Опаздываю, опаздываю! Прошу меня простить.

Развел руками, сорвал кепку, отвесил нижайший поклон. Еще миг, и, разогнав велосипед, он вскочил в седло и покатил по мостовой.

Этот вечер они, Петр и Юля, провели вместе, расхаживая по аллеям парка. Скрылось солнце, Андриановку заволокла темь, вспыхнули редкие фонари, а они, не решаясь придвинуться друг к другу, оставляя меж собой обязательный просвет (или зазор, как, возможно, выразился бы Петр), вышагивали до поворота и назад, кружили близ центральной клумбы меж других гуляющих.

Небо было подсвечено заревом доменных печей. Иногда на минуту-другую возникал далекий розовый свет, резко прорисовывающий листья на деревьях и чуть склоненный профиль Юли.

Петр стеснялся поглядывать на нее, длинноногую, глазастую, губастую. Эдакое несколько ироническое описание принадлежало ей самой, мелькнуло в какой-то истории, что она рассказала о себе. Он, разумеется, даже в уме не посмел бы назвать ее губастой. У него были свои определения, он в те времена всюду применял математические термины: на пересечении двух кривых — так он запросто мог выразиться про уголки рта — не однажды в этот вечер подмечал не собранное в фокус свечение улыбки, обращенной неведомо к кому.

К Юле раза два подходили какие-то ее знакомые, но она, тотчас вновь становясь насмешливой, поворачивала в сторону, уходила от них. Уходила рядом с Петром.

Вышагивая со своей спутницей вдоль редкой шеренги фонарей, он иногда различал нимб выбившихся нитей вокруг ее подстриженных, не достигавших плеч вьющихся темных волос. Иной раз на поворотах ощущал щекой легчайшее прикосновение волосинок и отодвигался. И совал руки в карманы, машинально пощелкивал кнопкой кошелька. Она уже поведала ему свои школьные клички, казалось бы, взаимоисключающие: «мировая гармония» и «чертики в глазах». И рассказала, как ровно год назад приехала сюда из большого города. Как ей стало жутковато, когда ночью в дождь они сошли на станции, заброшенной в пустую степь. И как внезапно в вышине разлилось розовое зарево: завод давал о себе весть.

Она шутила, заочно знакомила его с домашними, со школой, не открывая пока свой тайный мир.

Он неожиданно тоже разговорился. Странно, никому он так свободно, так много не повествовал о себе, как этой темнокудрой девушке, которую лишь нынче впервые заметил.

Юле запомнилась минута, когда его речь, прежде отрывистая, затрудненная, потекла живей. Было так: показав на его лоб, она спросила:

— Откуда у вас этот шрам?

— Это мое боевое ранение номер первый.

— А сколько их у вас было всего?

— Только шрамов? Или плюс большие шишки?

— Да, плюс шишки.

Она различила улыбку Петра. Кажется, он еще не улыбался в этот вечер.

— Не перечтешь.

— Ну, начнем с первого номера.

Чувствуя ее внимание, порой опять улыбаясь встающим мальчишеским воспоминаниям, он незаметно оставил скупую манеру, обрел неосознанное красноречие и свободный жест. Впрочем, временами связанность снова охватывала его, рассказ утрачивал плавность и, как ведомо читателю, молодой герой нашего исследования совал руки в карманы, машинально пощелкивал кнопкой кошелька.

ШРАМ НОМЕР ОДИН

Не буду пытаться восстановить рассказ Петра в его стилистическом своеобразии — своеобразии того вечера. Перескажу своими словами историю меточки на лбу.

...Лето 1919-го. Петру шел десятый год, он звался Петькой, слыл отчаюгой, как выражался про него отец. Завод в Андриановке, к которому приросла семья Прохоровых, остановился еще прошлым летом. Лишь котельная держала пар, гудок продолжал действовать. По гудку отец и старший брат уходили на завод, по гудку возвращались.

В Андриановке там и сям поднялся бурьян, знак запустения. Для мальчишек эта буйная зелень, нередко скрывавшая их с головой, была вольной прерией. Подростки, обитавшие около ставка, считали своей собственностью всю сорную траву, все заросли бурьяна на прибрежном взгорке. Там развелось множество птиц — щеглы, синицы,

чижи. Ребята научились их ловить на обмазанные клеем палочки.

Мальчишеское сообщество берегового пригорка обороняло свою вотчину от набегов с верхних улиц. Постоянно возникали драки между малолетним войском первоселов и ватагами пришельцев. Дело по традиции начиналось с перебранки, потом следовал первый тычок, первая затрещина. И сшибка врукопашную. Далее по местному обычаю схватывались «на камни». В драке «на камни» побеждают «отчаюги», смельчаки, необузданно бросающиеся на врага. Однажды ребята нижнего края погнали налетчиков. Девятилетний Петька Прохоров, один из самых младших в своем лагере, мчался впереди товарищей. По пути он подхватил трофей; поднял потерянный кем-то из удиравших ободранный кусок линолеума. Прикрываясь этим щитом, Петр в азарте погони, в упоении вскочил на земляную насыпь у заброшенной траншеи шинного туннеля и... И вдруг зашатался. Кругом все стало красным, все поплыло, он тронул рукой лоб, увидел кровь. Кто-то из неприятельской армии угодил ему в лоб камнем-кругляшом, так называемым пиритным яйцом, очень тяжелым, иногда попадающимся в горной породе, отсеиваемой от угля.

Кровь полилась за рубашку. Подскочил друг-сверстник Ваня Омельченко, у которого в тот год еще не был свернут нос, повлек Петьку к водопроводной колонке. Там обмыли лоб, Ваня отвел пострадавшего домой. «Отчаюга» зажимал рану руками, но кровь пробивалась, отмечала крупными каплями каждый его шаг.

Отец в нижней рубахе сидел на перилах крыльца. Вечернее солнце будто еще добавило огня, огневого цвета в его волосы. Грозно встопорщив усы, он смотрел на приближающегося сына. И наконец крикнул:

— Опять ты, барбос, затеял драку?

— Я не затевал.

— Знаю, всегда ты зачинаешь.

Легко сбежав с крыльца, Афанасий Дмитриевич закатил раненому две оплеухи. Мать, наверное, вступилась бы, но в этот час ее не было дома. Расправившись по-отцовски с забиякой, мастер сказал:

— Веди, Иван, его в больницу.

Рана оказалась глубокой. Иглой хирурга был наложен шов. Две или три недели Петр ходил на перевязку. След остался навсегда.

«ПАЛОЧКА-СТУКАЛОЧКА»

Многое было рассказано на той прогулке-маршировке в городском саду. Всего мы не изложим. Задержимся на случае с «палочкой-стукалочкой». Поведем про это речь опять-таки по-своему, не языком Петра.

...Время действия — тот же год, 1919-й. К осени завод вовсе замер, тут и там в ограде зияли проломы, перепадали дни, когда даже гудок не подавал голос. Заботы посутулили отца. И все же каждый день он и Алексей выходили отбыть смену, охраняли наряду с другими рабочими завод. Приквартирный участок стал похож на крестьянский двор, там высились стога сена и соломы, вырос коровник, раскинулись грядки.

Однажды под вечер сыны Афанасия Дмитриевича привезли в двухколесной тачке (каждая семья рабочей Андриановки к тому времени обзавелась такого рода собственным выездом) остатки картофельного сбора — ворох привядшей ботвы. Отец в синей, с засученными рукавами рубахе бондарил, ладил кадки под капусту.

В прогулке собралась компания соседских мальчишек, уже тоже наработавшихся по хозяйству. Они затеяли играть или, как говорят в Донбассе, гулять в «палочку-стукалочку». Братья, свалив у коровника ботву, оправив кучу вилами, побежали со двора.

Впрочем, Алексей, войдя в юношеский возраст, уже чурался ребячьей беготни. Он лицом выдался в мать, соединил деятельную жилку и мечтательность, писал стихи, был в свое время, в начале революции, первым председателем ученического комитета единственной в городке прогимназии и организатором школьного литературного журнала. Свободные часы он отдавал учебе на вечерних курсах, подготовке в институт. Там, на стороне, протекала его особая, несколько таинственная жизнь.

На волю кинулся и младший, влекомый мальчишечьим гамом. Отец крикнул:

— Петро!

— Ну...

— Не нукай! Почему брошена тачка средь двора? Прибери к месту.

Послушно исполнив отцовский приказ, Петр опрометью устремился к калитке.

— Стой! Про вилы тебе надо особо говорить? Вернись. Поставь откуда брал.

Пришлось снова возвратиться, потерять еще одну драгоценную минуту. Наконец Петр вылетел к мальчишкам.

— Примите меня! — на бегу воззвал он.

Однако ребята уже поконались, игра разгорелась, крепкая кленовая палка лежала на каменной, вросшей в землю глыбе. Сколько Петр ни просил, его не взяли в коп.

— Тогда я вас разгоню! — пригрозил он.

В шуме, в треволнениях игры никто, наверное, и не расслышал угрозу Петьки Прохорова. Не раздумывая, он схватил батожок-стукалочку и во власти безрассудной смелости ринулся на тех, кто его отверг. В неистовстве, в самозабвении он раздавал удары во все стороны. Ребята убегали, не решаясь схватиться с исступленным мальцом. Уже не доставая их палкой, Петр стал швырять камнями. Так он и гнал к ставку, к кустам бурьяна гурьбу подростков, среди которых считался еще малышом.

— Разбойник! Что ты делаешь? Иди сюда!

До Петра не сразу дошел отцовский окрик. Потом он оглянулся, увидел отца, вмиг отрезвел, выронил палку и поплелся к дому.

Вечернее солнце будто пламенем отблескивало в волосах Афанасия Дмитриевича, озаряло его розовую кожу, усеянную крупными веснушками.

— Теперь я видел,— сказал он,— кто у вас зачинщик. Ах ты, задира, буян! Подойди!

Петр молча приблизился. Тяжелой рукой доменщика отец замахнулся, хотел отвесить сыну плюху, но передумал.

— Ежели снова начнешь драться, заработаешь ремня. Ступай.

Петька вприпрыжку понесся к ребятам. Кленовая дубинка уже опять стала безобидной «палочкой-стукалочкой», мальчишки наново конались. Отчаюга-малыш был принят в коп.

ШРАМ НОМЕР ЧЕТЫРЕ

Ветер шумит в кустах акации, чернеющих по обеим сторонам парковой дорожки. Уже высоко взобралась луна, в саду поубавилось гуляющих, а Юля и Петр, будто пара сторожей, продолжают свой обход. Дойдут к чугунным ва-

зам, над которыми высятся два фонаря, льющие резкий свет, поворачивают назад и через несколько минут объявляются тут снова. И, дружно повернув, опять удаляются в глубь сада. Он повествует уже о шраме номер четыре, пролегшем на левой ладони.

— На левой? — восклицает Юля.— Покажите. Там же линия жизни.

— А вы что, хиромант?

— Немножко есть. Горе-хиромант. Но что-нибудь, возможно, предскажу.

Он послушно протягивает ладонью вверх левую руку. Юля не может не отпустить шутку:

— Разрешите, товарищ будущий студент, вас проэкзаменовать по физике. Скажите, что требуется для успешного гадания?

Он недоуменно молчит. Она смеется.

— Колебания эфира, именуемые светом. Правильно я формулирую?

— На троечку,— отвечает он.

И вот они вновь под фонарями у чугунных ваз. Петр демонстрирует свою левую ладонь. Юля осторожно берет мягкими пальцами его протянутую кисть. Впервые соприкоснулись их руки.

Она вглядывается в переплетение черточек на жестковатой ладони. От края до края пролегает глубокий рубец, перерезавший и круто изогнутую линию жизни, и почти прямую, неразветвленную линию любви.

— Что же вы мне предречете?

— Вас кто-то поранил?

— Не угадали. Сам.

— Расскажите, как же это вы?

Петра не надо уговаривать. Он охотно выкладывает историю распоротой ладони. Эту рану он заполучил зимой 1921 года, когда в Андриановке задули одну домну. Она, правда, опять вскоре потухла, но в тот февральский день, торжественный день пуска, он, одиннадцатилетний мальчуган, прибежал на коньках в доменный цех, чтобы впервые увидеть, как из печи хлынет чугун.

В цехе распоряжался отец. Приметив своего младшего, он крикнул: «Петро, айда ко мне!» — велел снять коньки, прошел с сыном на рудный двор, устланный чугунными плитами, очищенными от мусора и льда,— там катали-загрузчики возили свои железные тележки,— показал кран,

весовую будку, легко, будто без груза лет, взобрался по крутым стальным лесенкам на колошник, победоносно оглянулся на отставшего Петра, поводил его вокруг страшноватого, дымящего жерла, объяснил, как идет загрузка, постоял на ветру в своем ватном удобном пиджаке, в рабочей кепке, нахлобученной по самые уши, необычно красные от волнения и от стужи, тяжелой рукой привлек сына к себе, с высоты оглядел всю Андриановку. Спустившись, он указал Петьке безопасное место на огражденной железными перилами площадке и по литейному двору зашагал к печи.

Петр перебивает вопросом свой рассказ:

— Юля, вы когда-нибудь бывали у печей?

Нет, еще никогда она не заглядывала в завод.

— Жаль! — говорит Петр.— Там так интересно.

Он старается найти слова, чтобы нарисовать доменный цех, опасную работу доменщиков. Это отважные люди, смельчаки! Вместе с тем они необыкновенно упорны, терпеливы в своем тяжком труде. Вот, представьте, домна. Он вскидывает руки, задевает нечаянно плечо спутницы, отодвигается. Вот в самом низу горна чугунная летка. Она, эта скважина, забита, затрамбована глиной. Из летки польется, побежит чугун. Уже приготовлены, сформованы канавы из чистого мелкого песка. Все сделано вручную. Сделано, можно подумать, игравшими детьми, кое-где заметен след лопатки. Подходит время открывать летку. У доменщиков издавна выработаны определенные приемы, приспособлен инструмент. Берется бур — длинный, толстый лом весом пудов в десять. Он заправлен, заточен по-особому, как говорится, на перо. Долгими годами практики отыскана геометрия этого пера — наилучший угол атаки на глину. Восемь человек — горновые и подручные — в лад ударяют этим буром. Сила удара равна,— Петр это высчитал,— примерно 200 килограммам на квадратный сантиметр. Боек пневматического молота не дает больше. После каждого удара осыпается немного закаменевшей глины. Совсем немного, ну, будто щепотка порошка. А дыру надо пробурить на глубину 800 миллиметров. До чего нудное дело! Ударяют со всей силы, громко выдыхая «гох», «гох», а бур словно бы ничуть не продвигается, отскакивает со звоном. Какое терпение! Какое упорство! Особенно у первого горнового, который направляет бур.

— Юля, ясно ли я говорю?

Петр не спрашивает, не скучна ли тема, у него не может возникнуть такой мысли, он лишь сомневается, наделен ли способностью популяризатора. Однако Юле и впрямь интересно. Ей и раньше объясняли, что такое домна, вели речь о руде и коксе, о химических реакциях, а сейчас впервые она слышит про доменное дело иные слова, открывающие потаенный жар души. Мгновениями ей даже странно — и странно и приятно! — что этот обычно необщительный, строгий, поглощенный учебниками горбоносый газовщик может так говорить. Правда, для нее остались не вполне понятными «геометрия пера» и «угол атаки», но это совсем-совсем неважно.

Не отвечая, она попросту кивает, просит взглядом: «Дальше». Этот взгляд, блеснувший в полутьме, на миг его смущает.

— О чем же я?.. Да, в тот день это место впереди всех занял отец.

Снова увлекшись, он продолжает.

Взявшийся за бур отец уже натянул свою когда-то немало послужившую спецовку из брезента. Не боящаяся искр, широкополая войлочная шляпа сменила его кепку. Не утирая пот, он бил, бил, задавая ритм ударам. И опять каждый удар отделяет от засохшей глины лишь щепотку пыли. Кажется, это напрасный труд. Нет, вот большой бур отброшен, взят бур поменьше. Но острее. Это значит, что уже встретились с краснотой. Краснота поддается легче.

Вскрытие летки продолжают те же восемь человек, крепыши, здоровяки. Как саданут, как саданут! И вдруг летка выплевывает первую, тонкую струйку чугуна. Тотчас чугунная корочка закупоривает прокол. Горновые пускают в ход новый инструмент — лом, который зовется «карандаш». Он действительно похож на огромный острый карандаш. Его вгоняют трамбовкой. К ударной части, то есть к набалдашнику трамбовки, прикреплена веревка. Двое передовых — одним из них опять же был отец, подававший короткие команды,— берутся за веревку. Трамбовка с разгона вбивает, вбивает карандаш. Изредка снизу из-под лома выбрызгивает струйка чугуна. Но летка еще не открыта. Карандаш задерживается, приваривается, пригорает. Предстоит еще одно тяжелейшее дело: надо выбить лом обратно. Для этого применяют клин-кольцо. Вот отец склоняется над красной круглой прорезью, которая, того и гля-

ди, плюнет чугуном, ловко насаживает кольцо и клин на торчащий конец лома. Теперь в дело идет огромной длины, огромного веса крюк. Тут на подмогу горновым приходят и чугунщики и формовщики. Крюком орудуют, выдергивая, выбивая лом, уже человек пятнадцать.

— Эти операции, Юля, неимоверно тяжелы и поразительно красивы. Красота в слаженности, в необыкновенном единении... Пройдет десяток лет — и новое поколение доменщиков уже не будет знать ни этих буров, ни крюков, мы все это выбросим вместе со старыми печами, но красота сплоченности, единения, хотя уже другая, сохранится. Вы понимаете? И не померкнет никогда!

Да, она понимает, понимает его воодушевление. Разные забавные школьные истории, которыми она с ним поделилась, выглядят ничтожными. Ей опять и опять чудится, что заветная жар-птица — большой мир, большая жизнь — касается ее своим крылом. На языке уже не вертятся остроты, она тихо спрашивает:

— А как же шрам?

— Шрам! Чуть про него не позабыл.

Случилось так. Крюком вытащили оплывший, сиявший белым калением лом. Чугун пробрызнул, но все же не полился, не пошел. Тут нельзя медлить, надобно действовать, пока тонка новая корочка. Отец яростно командовал. Почти мгновенно в летку был всажен второй карандаш. Опять в руках горновых трамбовка. Отец, быстрый, как молния — таким Петр еще его не видывал,— поставил на лом ногу. И в эту секунду из летки вдруг рвануло. Вымахнувшее пламя заслонило горн, скрыло отца. В огне, в коричневом клубящемся дыму ничего не разглядишь. Петр испугался. Он стоял у лестницы, шагнул назад и оступился. Схватился рукой за лист железа и распорол ладонь. Хлынула кровь. Он зажал рану и продолжал смотреть. Коптящее рыжее пламя улеглось. По песочной канаве бежал, стреляя звездочками-искрами, молочно-белый, ослепительный поток. У горна, озаренный отблесками, игрой этого потока, высился как ни в чем не бывало отец. Раскрасневшийся, усталый, довольный он отыскал глазами сына, тронул рыжий ус, кажется, чуть подпаленный. Войлочная шляпа, сдвинутая на затылок, открывала потемневшие от пота волосы, витками прилипшие ко лбу.

А Петр стискивал порез, кровь пробивалась, падала частыми каплями. Он досмотрел выпуск и лишь тогда ушел.

Опять потребовалась помощь больницы, хирург очистил рану, наложил шов. Этот-то след и пролег самой глубокой бороздой среди линий ладони.

Так ему и не погадав — «вы сами себе все предрекли»,— она вдруг сказала:

— Как вы думаете, можно ли судить о человеке по его ногтям?

Петр не имел об этом мнения, промолчал.

— А по-моему, можно,— заявила она.— Бывают ногти, которые заросли пленкой. Они словно ни к чему не стремятся, от них нечего ждать. Встречаются ногти недалекие, глупые, злые.

Петр не спросил: «А у меня?»,— почувствовал, что нельзя этого спрашивать. Вновь сунув руки в карманы, он в смущении опять заиграл кнопкой.

— Чем вы там трещите?

Он извлек свой тощенький кошелек, протянул ей. У нее, как он смог еще раз убедиться, были постоянно, будто наготове, остроты и шутки. Она мигом воскликнула:

— Нет, давайте лучше жизнь!

Только в половине двенадцатого, когда пробасил гудок, созывающий ночную смену, они покинули затихшие аллеи. Он проводил ее под родительский кров. В каменном двухэтажном домике все окна были уже темны. Она обошлась без звонка или стука. Шепнула ему: «Я тоже «отчаюга»!» Тоже... Откуда она это знает про него? Он же ни полсловечка ей не сказал про «отчаюгу». Шепнула и ловко вскарабкалась по столбику, обвитому деревенистыми, крепкими побегами плюща, на терраску второго этажа. И бесшумно исчезла в растворенной двери.

А он, повернув домой, у первого же фонаря посмотрел на свои коротко обрезанные ногти. Они были твердыми, широкими, поблескивали, отливали синевой. Красоты в них не отыщешь. Но лунки глубоки, ни одна не поросла неживой белесой пленкой.

РАЗЛУЧИЛИСЬ

На следующий вечер они снова встретились у тех же чугунных ваз, у входа в парк. И пошли в кино.

Сидя в темном зале рядом с Юлей, Петр минутами терзался: какое он имеет право снова терять вечер, если через три дня уже надо ехать на экзамены? И все же испытывал

пьянящую радость. В какой-то миг он тронул ее пальцы. Она не убрала руку. Он сам отнял свою.

И, выходя вместе с ней из кино, сказал:

— Какие у вас пальцы! Мягкие, точно у Машеньки.

Машенька была дочерью старшего брата, тогда лишь шестимесячной. И продолжал:

— Вы мягкая.

Она не согласилась:

— Я и мягкая и твердая. Посмотрели бы вы, как вчера ночью я давала родителям отпор!

— И мягкая и твердая?

— Да. А также и отчаянная и трезвая. Я же мировая гармония.

И тут же, словно проникнув в его душу, проявила эту трезвость:

— Завтра мы не встретимся. И послезавтра тоже. Вам надо готовиться.

Затем добавила, что после-послезавтра, когда Петр будет уезжать, она придет к соседям Прохоровых и... Со своей характерной улыбкой, как бы слабо мерцающей или трепещущей в уголках губ, Юля закончила:

— Словом, явлюсь вас провожать, если не прогоните.

И она действительно явилась заодно с одноклассницей — подружкой, троюродной сестрой Петра. Взбудораженный предотъездной лихорадкой, да и смущаясь, он почти не смотрел на Юлю и лишь напоследок, уже подхватив свой легкий фанерный чемоданчик, распрощавшись со всеми, сунул ей руку.

ПОЧТИ СТУДЕНТ

1929 год. Вторая половина августа. За полдень. Тесноватая, со сводчатым невысоким потолком раздевалка-вестибюль Московского института стали. Занятия начнутся лишь через полторы недели, однако здесь, в этом преддверии факультетов, уже толчея. Выделяются те, что весной окончили рабфак,— многим уже за тридцать, попадаются и сорокалетние — они, уже и раньше владевшие одним крылом этого здания, ныне зачисленные без вступительных экзаменов на первый курс, не понижают голоса, ходят уверенно под вековыми сводами. Но несравненно больше юных лиц. Преобладают приезжие. Сюда, к этому дому с колоннами близ Калужской площади, стянулись, съехались

с разных сторон, главным образом из горняцко-металлургических краев, несколько сотен молодых людей, исполненных решимости держать конкурсные испытания. Конкурс суров: всего десяток мест на всех экзаменующихся. Они толпятся и во дворе и тут, в мрачноватом вестибюле около факультетских досок с расписаниями экзаменов, делятся наблюдениями, новостями, слухами.

Уже вернулись после каникул и профессора и аспиранты, ассистенты. Действует с полной нагрузкой так называемая студенческая канцелярия, отомкнуты и двери общественных организаций, запертые летом.

На стене против входной двери вывешена большая афиша:

«ТОВАРИЩИ! ВСЕ НА СУББОТНИК!»

Далее шрифтом помельче сообщалось, что для института прибыли дрова, которые необходимо срочно выгрузить. «Добровольцы труда! Сбор завтра, в субботу, в три часа дня».

Где-то неподалеку — возможно, здесь же, в раздевалке,— находится и один из героев этой хроники.

Уже неделю назад, в первый же день испытаний его можно было тут увидеть. В молодой толпе, заполнившей коридоры института, он, пожалуй, ничем не выделялся. Скользнешь взглядом и потеряешь. Впрочем, может быть, вновь взглянешь. И опять потеряешь. Даже по перечню примет отличишь его не вдруг.

Год рождения — 1910-й. Таких здесь большинство, восемнадцати- и девятнадцатилетних.

Тонкая шея, тонкий стан, обрисованный новенькой, еще не стиранной, сшитой материнскими руками косовороткой из черного сатина.

Русые, слегка вьющиеся волосы, небольшая горбинка на носу, серые глаза... Э, мало ли здесь русых голов и серых глаз?

Неразбитная, стеснительная повадка человека, еще ни разу не покидавшего далекий родной угол, впервые попавшего в Москву. И почти не поддающаяся определению серьезность в складе губ, в морщинке-черточке над переносицей. Почти не поддающаяся. Трудновато опознать человека по такому признаку.

На лбу белеет шрамик, знак давних драк, след удара

камнем. Быть может, это и есть отличие Петра Прохорова — светлеющий на боковой выпуклости лба косой штришок, неизгладимая метка драчуна.

Уже прошло более недели, как он расстался с Донбассом, с Андриановкой. Сутки пути — и вот Москва, поле предстоящего ему испытания. В трамвае, направляясь с вокзала к институту, сотоварищи-донбассовцы, с которыми вместе он приехал, разглядывали Москву.

— Петро, а ты почему не смотришь?

Да, Петр не мог созерцать столицу. Москва для него не существовала. Добавим, и Юля тоже. Он был сосредоточен на одном: экзамены.

В институте все казалось странным. Даже студенческая столовая с ее запахами. Петр до тех пор не имел понятия, как можно есть в такой толчее среди массы незнакомых. Что подали, что проглотил,— этого так и не заметил.

Наконец первый экзамен,— письменная по математике. На взгляд Петра все было обставлено торжественно. Удивило ступенчатое — колизеем — расположение рядов в аудитории. На стенах были развешаны портреты знаменитых металлургов: Мартен, Каупер, Сименс, Бессемер, другие. И только один русский — Чернов в военном мундире. Курако в те годы еще не включали в этот ряд, наука еще не почтила признанием покойного бунтаря-доменщика.

Роздали экзаменационные карточки с фотографиями, проштемпелеванными круглой печатью института. Предъявляя эти карточки, ребята получили листы для письменной работы, опять-таки меченные круглой печатью. На листах уже были вписаны задачи, каждому особые.

Петр прочитал условия: совокупная математика, требующая знаний и алгебры, и геометрии, и тригонометрии. Прочитал вновь. И сразу возникли решения всех задач. Он даже испугался, не легкомысленно ли подошел, не заложен ли там более серьезный смысл. Попридержал себя, заставил еще и еще подумать. Нет, как будто не обнаруживалось никаких подвохов. И стал писать. Заполнял страницу за страницей. Оглянулся. Все еще решают, а у него готово.

Нервное напряжение было столь неимоверным, что он не мог заставить себя проверить решение. Физически не мог еще раз просмотреть все с начала до конца. Был уверен, что ход решения правилен. Выждал, пока кто-то сдал лист первым, поднялся и положил свой.

Наутро, в девять часов, открылась, как всегда, студенческая канцелярия. Там выдавались листы с отметками. Петр взял лист, отметка — 98%. В те времена успехи на экзаменах оценивались в процентах. Оказалось, где-то он допустил описку, в буквенном уравнении вместо одной буквы написал другую, далее снова решал правильно. За описку сбросили два процента.

Он продолжал экзаменоваться. Позади оставались устная математика, химия, литература. Написал сочинение. Всюду получал отметки не ниже 90%. А по устной математике заработал сто.

И вот последний решительный — физика.

Экзаменовали двое: сравнительно молодой, лет тридцати пяти, преподаватель в пенсне на бледном хрящеватом носу по прозвищу «Хрящик» и пожилой желтолицый профессор. Петр вытянул билет: «Из какого металла можно сделать сердечник магнита?» Без запинки ответил:

— Из железа.

— Из какого?

— Любого.

— Почему?

Петр усмехнулся. Из всех элементов таблицы Менделеева он лучше всего знал железо, любил читать о нем. Усмешка не укрылась от Хрящика. Он недовольно оттянул двумя пальцами свою нижнюю пухлую губу.

— Что вы в этом находите смешного? Ну-с!..

Не извинившись, Петр кратко и четко ответил на экзаменаторское: «Почему?» Ему было задано еще несколько вопросов. Он ни разу не сбился, показал знание предмета.

— Думаю, достаточно,— сказал пожилой профессор.— Я удовлетворен.

Хрящик не согласился.

— Подождите. Мы еще не прощупали у него оптику. Выведите формулу света, отраженного от сферической поверхности.

Петр опять усмехнулся. Подумаешь, отражение света от сферической поверхности! Эта формула приводится во всех курсах физики, нельзя ее не знать. Он мелом ее вывел на доске. Хрящик повертел его экзаменационную карточку, где проставлялись отметки, полученные на испытаниях.

— Что ж, итоги неплохие,— сказал он.— Можете считать себя студентом.

И поставил высший балл.

Кровь прихлынула к искрасна-загорелому юному лицу, глотку что-то стиснуло. Петр все же выговорил:

— Могу... считать себя?..

— Уточняю: почти. Почти студентом. Решать будет приемная комиссия. И очень вам советую, молодой товарищ,— голос Хрящика стал строгим,— в будущем воздерживаться от своих усмешечек.

...Студент! Почти студент! Не вытерев испачканных мелом рук, Петр как на крыльях влетел в вестибюль. Радужный туман застил ему взор. С кем-то он столкнулся, отошел к окну. Наконец возвратилась зоркость, мир заново стал четким.

И внезапно Петр совсем новым взглядом окидывает все вокруг. Видит по-новому своды, люстру темной бронзы, насечку на железных ступенях витой лестницы, ведущей в подвал, где расположена столовая. Отныне это его дом! Несколько лет он проведет здесь. Таким взглядом он еще не решался тут посматривать. Стены до этой минуты были еще чужими. Сосредоточенный на одной цели, он не мог — такова его натура,— не мог ничем больше интересоваться. А теперь все вдруг стало необыкновенно интересным. За окном прошумел трамвай. До сих пор Петр даже не приметил его номер, а сейчас захотелось знать: куда он идет, откуда, какие еще трамваи проходят здесь, у его, Петра, нового пристанища.

Он узрел и объявления. Субботник. Дрова. Конечно, он пойдет! Конечно, надо загодя обеспечить институт и общежитие топливом. Вспомнилось: сегодня утром Ваня, давний друг-приятель, с кем вместе Петр приехал на экзамены, говорил что-то о субботнике. Кажется, он уже чуть ли не сколачивает бригаду из донбассовцев. Утром Петр почти ничего не воспринимал, выслушал в пол-уха, а теперь потянуло поработать, размять мускулы, выложить силушку, устать.

Из-под гулких сводов Петр выходит на крыльцо. Под августовским солнцем смолисто сияет свежеокрашенная ограда института. Лучатся мельчайшие кристаллы кварца на усыпанной песком главной дорожке. Вдали в городском мареве трепещут крыши. Петр оборачивается. Даже и здание института источает блеск: каменных дел мастера примешали в гранитную крошку облицовки бутылочное толченое стекло, что вспыхивает на солнце. Тяжелые входные двери тоже сияют старой медью и пооблупившей-

ся давней полировкой. Возле дверей лоснится почтовый ящик.

Петр достает из тетради открытку — он захватил ее утром, чтобы после экзамена тотчас написать домой,— садится на каменную теплую ступеньку. И вдруг видит свои вымазанные мелом руки. Он едва сдерживает счастливый смех. Носовым платком вытирает пальцы,— длинные и вместе с тем широкие, как бы слегка расплющенные, умеющие уверенно, ловко ухватить и кизиловую ручку пудовой кувалды, и нежный чертежный инструмент.

...Сидя сейчас на тесаной каменной ступеньке, Петр посматривает на свои коротко обрезанные ногти. Красоты в них не отыщешь. Но лунки глубоки, ни одна не проросла пленкой.

Хватит вспоминать! Тетрадь на колене, в пальцах карандаш. Петр намеревается вывести: «Дорогие родители!» Однако на желтоватом прямоугольнике открытки вдруг из-под карандаша возникает: «Мировая гармония!»

Что с ним творится? Вслух он еще никогда к Юле так не обращался. А теперь написал то, что не слетало с языка. Но смеет ли он? Хотя... Это же прозвище. Школьная смешная кличка. И не рвать же в конце концов открытку!

«Мировая гармония». Что ж, пусть помчится к ней первая, самая первая весть о его победе.

НЕОБУЗДАННЫЕ НАМ НЕ НУЖНЫ

Следующая главка представляет собою даже не набросок, а скорее заметки к наброску. Пусть она такою и останется.

Обращение к Петру. Ты счастлив, возбужден. Мечта исполнилась: студент. Несколько слов о поколении. (Эпоха! Эпоха! Надо, чтобы она чувствовалась.) Поймут ли люди будущего эту жажду учебы, познания, обратившуюся в страсть, что обуяла поколение, к которому принадлежишь и ты? Время такое. Время вас делало восторженными техниками. У тебя эта черта еще усугублена неукротимостью. Но ты еще не знаешь, что готовит тебе завтрашний денек, не подозреваешь, что завтра же настанет минута, когда твоя победа пойдет прахом, кувырком...

...Еще раз дать Петра у объявления о субботнике. Конечно, конечно, он пойдет разгружать дрова, хотя испытуемых вроде бы не приглашают. Что ж, обойдемся и без при-

глашения. Твердые плечи под сатиновой черной косовороткой сладко ноют, как бы просят физического долгого труда.

Общежитие. Ваня Омельченко в итоге экзаменов набрал 50%; эта цифра означала: удовлетворительно; с такой отметкой не было надежды поступить в институт. Ваня все же не унывал:

— Ничего, мы повоюем, у меня большой рабочий стаж.

Он уже побывал в ректорате, в бюро партячейки, в других организациях института, убедительно доказывал, что убыстренные темпы роста металлургии (темпы — словечко эпохи!) требуют кадров и кадров, поэтому нужен подготовительный курс. Такая идея встретила поддержку.

Инициатор подготовительного курса, щеголеватый, с чуть свернутым на сторону носом, слесарь из Андриановки Омельченко продолжал развивать деятельность. Он, кстати, сколотил для участия в субботнике бригаду экзаменовавшихся молодых донбассовцев. К этой бригаде присоединился и Петр.

На следующий день, в субботу, к зданию института были поданы трамваи; в их чрево весело набились добровольцы труда. Пункт назначения — станция Москва-вторая Киевской железной дороги.

Вначале не все пошло гладко. Фронт работ на нагрузке дров не вместил некоторую долю прибывших. Однако организационная сметка не подвела, никто не остался без дела. Две бригады, в частности, были двинуты разгружать вагоны, заполненные мешками с сахаром.

Одна из этих бригад — наши донбассовцы, самые здесь юные, еще не облеченные званием студента. Другая — самые старшие, под тридцать и даже частью за тридцать. Туда подобрались главным образом уже окончившие институт, оставленные в аспирантуре. А ну, дядьки, мы, молодежь Донбасса, вызываем вас на соревнование! Посмотрим, кто кого обгонит!

Молодые взяли себе урок потяжелей, вагон на двадцать тонн; старшим достался шестнадцатитонный.

И пошла, разгорелась работа. Взвалить на плечи придавливающий к земле мешок, быстро прошагать с этой ношей на неблизкий склад, уложить под крышей в штабель, быстро вернуться, вновь взгромоздить на себя груз...

В бригаде старших оказался заехавший к кому-то в гости и отправившийся на субботник бывший парторг

института, теперь инженер-металлург. Кратко его описать: невысокий, узкоплечий, несильный на вид, в кожаной потертой куртке, которую не снял, хотя день был знойным. Работа не разрумянила бледно-матовое лицо. Он задавал в бригаде темп. Вносил не только азарт, но неутомимость, не сникавший напор. Иногда улыбка приоткрывала верхний ряд белых зубов, среди которых — заметные острые клычки.

А Петр стал душою у своих; слаженный физический труд ему был люб. (Каким-то поворотом фразы снова ввести мотив красоты ручного труда у доменной печи. Напомнить: отрицание этого и восхищение этим.)

Бригада старших раньше молодежи разделалась со своим вагоном. Дядьки обрадованы, соревнование выиграно! Нет, извините, верх еще не ваш! У нас ведь двадцатитонный вагон. Скорее, товарищи, скорее! Мы еще подсчитаем расход времени на единицу веса. Еще поглядим, каков будет итог.

Потный, раскрасневшийся, расстегнувший ворот косоворотки, Петр, сжав зубы, почти бежал, сгибаясь под тяжестью мешка. Неожиданно в воротах склада кто-то преградил ему путь. Здоровенный, мордастый, распаренный гонкой-работой. Не пропуская Петра, он благодушно, даже, пожалуй, покровительственно выговорил:

— Остыньте, ребята, остыньте.

— Убирайся! — крикнул Петр.

— Не спеши, угомонись. Дураков работа любит.

— Пошел прочь с дороги!

Здоровяк, однако, не уступал пути. Омельченко кинулся к Петру, чтобы шепнуть: не связывайся, это председатель Исполбюро (так именовалась студенческая профсоюзная организация). Но было уже поздно. Не владея собой, Петр выпаливал:

— Убирайся! Дрянь! Шпана!

На миг все будто замерли. Даже Омельченко оборвал бег, застыл. Петр, по-прежнему держа на плечах груз, и уже понимая, что сам себе вредит, все-таки еще раз прокричал:

— Шпана!

Где-то неподалеку стоял в своей кожанке невеликий ростом бывший парторг института. Оставался спокоен, не вмешался в стычку.

Завершающий этап работы был испорчен. Уже никого

не потянуло заняться итогами, расчетом времени на единицу веса.

Два или три дня спустя Петра вызвали на заседание институтской приемной комиссии. Такой порядок был установлен для всех, кто прошел по конкурсу. Приемная комиссия окончательно решала: зачислить в студенты или не принять. Петр сразу ощутил некое холодное веяние. (Двумя-тремя штрихами обрисовать комиссию.) Вопросы:

— Сколько земли было у отца?

— Какой земли? Природный доменщик.

— Мать чем торговала?

— Мать жена рабочего. Ничем не торговала.

— Почему же вы позволили себе хулиганские поступки?

— Никаких хулиганских поступков себе не позволял.

— Вы оскорбили председателя Исполбюро.

— А зачем он мешал нам работать?

— Как вы осмелились назвать его шпаной?

— Да я раньше и не знал такого слова. В Москве первый раз услышал. Смысл его, как я понимаю: дрянной человек.

— Признайте, вы поступили необузданно.

— Да, поступаю необузданно, когда сталкиваюсь с несправедливостью.

— Необузданные нам не нужны.

— Но я и сейчас про него скажу: дрянной человек.

— Вам следовало бы извиниться.

— Сначала пусть он извинится.

— Комиссия еще раз предлагает вам извиниться.

В нем опять взмыла строптивость.

— Нет, не извинюсь.

— Тогда можете идти. Наше решение вам сообщим.

Петр ушел. Назавтра в студенческой канцелярии ему сказали:

— Поезжайте домой. Решение мы вам вышлем.

Он уехал. Никакого решения, никакого сообщения из института не присылали.

Разговор с Юлей.

— Зачем вы так себя вели?

— Не мог иначе. Ничего не мог с собою сделать.

И наконец четырнадцатого сентября, когда уже мино-

вали две первые недели учебного года, Петру принесли телеграмму: выезжайте, вы приняты в Институт стали.

Петр лишь много позже узнал, что бывший парторг института, тот, кто как бы со стороны невозмутимо наблюдал за столкновением, все же вмешался, вступился, и решение приемной комиссии — отказ — было пересмотрено.

МАТЬ

Нашелся и отрывок, в котором речь идет о матери.

...Мать. Петру помнились ее рассказы. Не однажды она пересказывала соседкам свою жизнь: как ей плохо жилось в детстве, как отдали ее замуж. Она обвенчалась с человеком, которого до смотрин никогда не видела. И ни словом с ним не перемолвилась до свадьбы. Так в ту пору в крестьянстве полагалось. Муж увез ее на завод в Андриановку, бил ее, пьянствовал. Года через два заболел и умер. Осталась она в Андриановке одна. Стряпала в бараке на артель. И приглянулась Афанасию Дмитриевичу — тогда его еще звали Афоней и рыжим Прохоренком,— молодому, быстроногому подручному у доменных. Это было стыдно, нехорошо: она же старше его на несколько лет. И все-таки он поставил на своем, она за него вышла.

И вот как хорошо зажили. Муж не пьянствует, большой труженик, исправный семьянин, выросли сыновья и дочь — и в этом вся ее жизнь, все ее счастье. Всем, кто наведывался в гости или даже случайно заходил, доводилось выслушать ее историю. Улыбаясь глазами, она своим певучим голосом с каким-то особым красноречием повествовала о прожитом. Петр, наверное, раз сто слышал эти ее были и мог бы слово в слово повторить.

— Эх, кумушка (или родная моя),— говорила мать,— когда я была в малых годах, жили мы в избе по-черному.

И несведущим рассказывала, что такое изба по-черному. Печь там без трубы, дым выходит в раскрытую дверь, что-то клейкое, вроде колесной мази, капает с закопченного потолка. А какие были зимы, метели! Подростком она уже стала зарабатывать: собирала землянику в торфяных болотах, помещики платили по две копейки за кувшин, нянчила младших.

Рассказывая, мать многое изображала в лицах. И добиралась до второго замужества.

— Ну-у,— протяжно говорила она,— родная моя, теперь-то нечего бога гневить, муж у меня хороший, меня любит, детей любит, не пьет, работает, не ленится. Живем дружно.

В общем послушаешь ее: не жизнь, а масленица. А эта масленица состояла в том, что пошли дети, что работала дома с утра до ночи, никуда со двора не уходила, всю тяжесть домашнего хозяйства выносила на своих плечах. И это казалось ей счастьем.

В апреле 1930 года Петр, студент-первокурсник, приехал домой на весенние каникулы. Из Москвы он писал Юле. На бумаге высказывал то, чего не решался, не мог выразить лицом к лицу.

Она отвечала.

Теперь много времени они проводили вместе, нередко Петр сажал Юлю на раму велосипеда, сам вскакивал на седло, вдвоем на одном велосипеде они выезжали в зеленеющую весеннюю степь. В какой-то вечер обменялись быстрым, робким поцелуем.

В воскресенье пошел с отцом в город за покупками. Выбрали, купили ботинки. Отец решил зайти еще и на базар. А Петр один зашагал к дому. Мать в последние дни недомогала, полеживала, тут же опять поднималась, что-то делала.

Пришел, взбежал на крыльцо, постучал в дверь. Никто не открывает. Постучал еще. И опять — никакого отклика. Ножиком поднял крючок. Переступил порог. Тихо. Показалось, что мать прислушивается. Хотел пошутить, подкрался. Мать в клетчатом линялом платье лежала навзничь поперек кровати. Петр на миг обмер. На столе громоздилось приготовленное для глажки белье. Стоял на железном поставце утюг, был еще теплым. Петр кинулся к матери. Ее губы были белыми, как известь. Схватил ее, поднял. Услышал мертвый хрип. Только один вздох, и снова тишина. Он опустил маму на кровать, укрыл одеялом и побежал в больницу.

Ворвался в кабинет врача.

— Идемте!

— Я никуда не хожу. Принимаю только здесь.

Петр, кажется, стиснул спинку стула. Что-то страшное, наверное, мелькнуло в его бледном, перекошенном лице. Врач предпочел не испытывать судьбу, надел кепку.

— Иду.

На полпути им встретилась испуганная, заплаканная Лена, тоже побежавшая в больницу. Несчастье уже притянуло в дом людей, в растворенных комнатах собирались соседи. Врач приложил ухо к груди бездыханной хозяйки. И произнес:

— Кончено дело. Я здесь не нужен.

Лена зарыдала, заметалась, кинулась к Петру.

— Умерла! Умерла!

А он словно окаменел:

— Ну, умерла, что же такого? Жила, жила и умерла.

Прибежал отец.

— Умерла?

И ему ответил, как бесчувственный:

— Да, умерла.

Всхлипывая, отец поцеловал мертвую. Петр не проронил слезинки. Увидел Юлю — она тоже пришла к Прохоровым. Увидел и даже не повернул к ней головы. Ходил мимо нее и будто не замечал. Она поняла, что делалось в его душе. Зачем, к чему наши чувства, когда нет матери? Любое проявление нежности теперь для него было бы кощунством. День-другой продолжались похоронные хлопоты. Опять появлялась Юля. Он опять с ней держался отчужденно.

После похорон, когда провожавшие пошли вместе с Прохоровым отцом помянуть покойницу, Петр и Юля отстали. Петр к ней подошел.

— Юля, теперь ты у меня осталась самым близким человеком.

Она вспыхнула. Краска быстро схлынула, но левая щека так и продолжала нежно рдеть.

Вдвоем они пошли далеко-далеко в степь.

УКЛАДКА МАТЕРИАЛА

Далее идет начерно сделанная зарисовка, еще требовавшая разработки, некой стороннему уху незаметной подсказки воображения, а пока что являвшаяся лишь укладкой материала (в писательской технологии законен такой термин).

...Ему было тяжело, физически очень тяжело. Комнаты, где вырос, опустели, стали вроде чужими, причиняли боль. Дней через десять после похорон он уехал в Москву.

Пережитое сказалось на нервной системе. Много занимался. Но все равно — подавленность. Скучал по Юле. Писал: «Тоскую по тебе». В августе опять приехал на каникулы.

— Юля, надо решать. Мне тяжело без тебя.

Ее родные против:

— Ты веселая, а он сухой человек.

— Какой же сухой? Вы его не знаете.

— Подождите. Проверьте себя.

Решили подождать. Петр уехал. Второй курс института. Увлекался высшей математикой, теоретической механикой, курсом сопротивления материалов. Но письма мрачные, тоскующие.

В письмах и поссорились. Придрался к какой-то фразе из ее письма, к кому-то приревновал, потребовал объяснений. Она оскорбилась, не стала давать объяснений. И переписка оборвалась.

Зимой в группе студентов Петр поехал в Мариуполь, где строился новый металлургический завод. Жуткие морозы. Вьюги. Юля объявила дома: поеду к тетке в Мариуполь. Не отпускали. Все-таки настояла. Открытый грузовик довез ее до Сталино. Дрожала, промерзла. Ночевала у сестры. Поезд на Мариуполь отходил в четыре часа утра. Не разбудили.

Ощущавшая себя несчастной, она уныло брела по Первой линии (так звалась здесь, в бывшей Юзовке, главная улица). Взгляд опущен. И вдруг чуть не столкнулись: Петр! Перемерзший, посиневший, почти лиловый. Оказалось, он вчера из Мариуполя прикатил домой, узнал, что Юля поехала в Мариуполь, и пошел пешком в Сталино, чтобы ее догнать, перехватить. Всю ночь он слонялся возле станции, поджидал поезда на Мариуполь, поджидал, выискивал Юлю. Но поезд отправился, а ее не было.

И вот негаданная встреча на улице. Кинулись друг к другу. Несвязно о чем-то говорили. На попутных розвальнях двинулись домой. Приехали к родителям Юли. Петр прислонился к печке. Он так продрог, что его кидало чуть не до потолка. Решили больше никогда не ссориться. И еще одно решение было ими принято: в мае распишемся.

Снова весенние каникулы. 12 мая свадьба. И вдруг в этот день Юле стало плохо; у нее от волнения отнялись ноги. Не могла ходить, шагу не могла ступить. Петр:

— Повезу на велосипеде.

Взял на руки, вынес, усадил на велосипедную раму и, обнимая, повез свою нареченную в загс.

Ей полегчало. Об руку с Петром вошла сама. Но и тут препятствие. Отказались расписать. Юле было лишь семнадцать лет. Она — дело прошлое, чего греха таить — сделала подчистку в паспорте. Год рождения 1914 превратила в 1912. Четверку переделала на двойку, прибавила себе два года. Заметили.

— Нет, мне девятнадцать.

— Хорошо. Идите к судебному врачу. Пусть он удостоверит ваш возраст.

Молчание. Свадьба рассыпается.

— Ну что же молчите?

— Не пойду к судебному врачу.

— Не пойдете, тогда ничего сделать не можем.

И все-таки Юля нашлась:

— Я возьму удостоверение у другого врача.

Согласились. Уже и Юлины ноги были ожившими, заработали. Быстро сбежала во двор вместе с Петром. Опять вдвоем оседлали велосипед. Юля наведалась к знакомому врачу и раскрасневшаяся, торжествующая, встрепанная принесла нужную справку.

Наконец расписаны. В паспортах штампы. Можно праздновать свадьбу. Первый вечер гуляли у родителей Юли, второй — у Прохоровых.

В институт Петр явился с женой. В общежитии для них отыскался закуток. Петр преобразился, канули в прошлое его тягостные настроения, мрачность, тоска. Восторгался: «Какой у меня друг!»

Оба комсомольцы. Петр будто создан для своего времени; исповедовал девиз пятилеток: не склоняться перед обстоятельствами, одолевать, ломать препятствия. Внес в записную книжку строку Пушкина:

Учуся в истине блаженство находить...

В уголке Петра и Юли ведро постного масла: все сокурсники отдавали талоны на постное масло. Петр его пил. Жарили на всех оладьи, картошку.

Юля выдержала конкурсный экзамен, поступила на юридический (или, как он тогда именовался, правовой) факультет Московского университета.

В истории, которую нам сейчас предстоит изложить, некоторая роль принадлежала профессору (ставшему позже академиком) Михаилу Александровичу Павлову, заслужившему прозвание «отец русской металлургии».

Студент Московского института стали Петр Прохоров, выросший у домен, уже приобретший в Андриановке специальность газовщика, порой непростительно со старшими дерзкий, преклонялся перед Павловым. И неизменно испытывал наслаждение, слушая лекции старого профессора.

Павлов выходил на кафедру и, опустив, или, что называется, сбычив, седую, коротко стриженную голову с небольшой бородкой, в которой седина еще не совсем заглушила рыжеватый оттенок, начинал быстро-быстро говорить, словно читал по писаному. Но на пюпитре, куда он уставлялся, бумаг обычно не было. Даже при желании Михаил Александрович не смог бы пользоваться какими-либо записями: он страдал такой близорукостью, что и сквозь стекла очков, очень толстые, делающие большими его молочно-голубые стариковские глаза, лишь с трудом мог бы отыскать на бумаге нужную справку. Петру доводилось видеть, как, знакомясь с книгой или рукописью, Павлов подносил страницу к самому носу. На лекциях все формулы, цифры, даты, имена он называл наизусть. Искусством дикции он не отличался — бубнил скороговоркой, не задерживаясь на точках и тем более на запятых.

Студенты порой жаловались, что Павлов слишком быстро говорит и поэтому трудно следить за его мыслью. Петр не присоединялся к таким нареканиям. Все теоремы металлургического производства, содержавшиеся в лекциях Павлова, ход доказательств, привлекаемый обильный материал русый юноша из Андриановки с морщинкой-черточкой над переносицей свободно уяснял, слушал с интересом, с удовольствием. Как ни странно, подобное удовольствие он испытывал в театре, следя за развитием какой-либо глубокой волнующей пьесы,— а Петр очень любил театр. Как выразить это ощущение? Казалось, у тебя тоже бродили такие же мысли, но лишь тут они обретали отчетливость. Тебе прояснялось то, что ты уже и сам поднакопил, угадывал, представлял в неких зыбких очертаниях. Позже

Петр нашел и еще сравнение: у тебя спутанные волосы, а Павлов их расчесывает.

Отличительная черта лекций Михаила Александровича заключалась еще вот в чем: трактуя любую проблему, он делал обзор всей литературы, всех мнений по данному вопросу. И со строжайшей объективностью эти мнения разбирал. Критическому анализу подвергались самые большие авторитеты. Он высоко ценил некоторых классиков металлургии, но и они не были избавлены от его не знающей снисхождения критики. Поражала его исключительная прямота. Никакие привходящие обстоятельства не влияли на Павлова: ни личное знакомство, ни высокое положение разбираемого автора в научном или административном кругу — бормотуна-профессора занимала только суть дела. И ничего больше.

Основу, или лейтмотив, павловских лекций Петр определил для себя так: видеть натуру, физику явления, а не повторять попугайски высказывания светил. И, внимая Павлову, нередко ловил себя на том, что вспоминает не покидающего Андриановку отца — своего первого учителя, необразованного, но обладающего именно этой способностью видеть натуру.

Преподнося решительно все мнения, Павлов разбирал и высказывания советских авторов, порой и малоизвестных заводских металлургов. Не пренебрегал и студенческими дипломными проектами, извлекал оттуда самостоятельные суждения и с той же обстоятельностью, научной строгостью анализировал.

Едва различая лица сквозь толстые стекла очков, Павлов запоминал студентов скорее по голосам. Однажды на лекции Петр решился подсказать Павлову. Тот искал в своем атласе, изданном еще в 1905 году, чертеж и расчеты засыпного аппарата «Пари». И из-за близорукости не мог сразу найти таблицу. Петр проговорил:

— Таблица номер три.

Михаил Александрович удивленно вскинул голову:

— Алексей Афанасьевич, откуда вы взялись? И снова мне подсказываете?

По голосу он принял Петра за Алексея, старшего из братьев Прохоровых, который тоже в свое время тут учился. Петр вынужден был это объяснить.

В другой раз Павлов, оговорившись, сказал «окислительный» вместо «восстановительный», то есть нечто про-

тивоположное по смыслу. Петр с места негромко его поправил. Павлов воскликнул.

— Алексей Афанасьевич, до каких пор вы меня будете преследовать?

— Михаил Александрович, я вам вторично говорю, что я не Алексей.

— Ах, простите, простите...

И снова уставившись в пюпитр, бормотнул:

— Но, как можно полагать, от Алексея не отстанете.

Пришла пора заканчивать институт. На государственных экзаменах студент-выпускник Прохоров по всем предметам заработал высшие отметки. И защитил с отличием дипломную работу «Рациональный профиль современной механизированной доменной печи». Разбирая ряд профилей действующих и проектируемых домен большого объема, дипломант-андриановец отдавал предпочтение только что пущенным истинно богатырским печам Андриановки. Когда-то он и сам практикантом-чертежником провел несколько месяцев в доменной будке, где обосновалась конструкторская группа и шли почти непрерывные дискуссии. Туда, в эту будку, к чертежным столам, часто забредали мастера, в том числе отец, непременный участник обсуждений. Наезжая потом на каникулы домой, Петр вновь встречался с этими печами, уже превращавшимися из чертежей в сооружения. Затем видел их в работе, приходил к ним днем и по ночам. Ему не терпелось: скорей бы, скорей бы явиться сюда инженером!

Павлов предложил ему остаться в институте аспирантом при кафедре металлургии чугуна.

— Буду рад, если останетесь,— бурчал профессор.— Возьмите тему: новые большие печи.

— Благодарю, Михаил Александрович. Но пойду на завод. Хочется вести самому такие печи.

— Тянет, как теперь выражаются, на фронт? Что же, не стану отговаривать. Смело, сударь, беритесь за большую печь. К этому вы, думаю, подготовлены. Конечно, поначалу набьете себе шишек. Молодому человеку это полагается. Ну, с богом...

Так бородатый профессор благословил выпускника.

Далее, однако, случилось непредвиденное.

Еще переживая волнение, счастье той минуты, когда он впервые был назван инженером, Петр в безоблачный июньский день, подставляя солнцу непокрытые, чуть с

рыжинкой волосы, пошел в Главметалл, где распределяли по заводам выпускников Института стали. Его принял заместитель начальника, пожилой осанистый металлург В., некогда профессорствовавший, изредка выступавший и ныне в научной периодике. Небольшие отеки набрякли под его светлыми глазами. Он просмотрел поданный Петром диплом, сплошь содержавший отличные отметки.

— Слышал о вас,— сказал В.— Вы, кажется, кончили первым? Поздравляю. И, если не ошибаюсь, отказались от аспирантуры?

— Да, Михаил Александрович Павлов предлагал остаться, но меня тянет на завод. Я хотел бы в Андриановку.

— Правильное решение! — пробасил В.— Михаил Александрович далек от практики. Витает. Многому ли у него научишься?

Только тут Петру припомнилось, как однажды Павлов, обозревая литературу по вопросу шлакообразования в доменной печи, разобрал и статью В., показал ошибки автора, назвал статью никчемной. Петр и сам как-то читал этого В. Да, бузина на постном масле, выражаясь по-отцовски. Васильковые глаза вчерашнего студента мгновенно изменили цвет, стали темновато-серыми. И нижняя челюсть слегка выпятилась. Он резко ответил:

— Не могу с вами согласиться. Если у кого-либо учиться, то лишь у Павлова. И ему не страшны шпилечки тех, кто в науке по сравнению с ним только пигмей.

Именно с этакой дерзостью, крайней нетерпимостью, что, по присловью, не лезла ни в какие ворота, Петр, бывало, и тогда и позже разговаривал.

В. помолчал. Потом, решив, видимо, быть снисходительным, продолжал беседу:

— Однако где же Михаил Александрович работал? Ничего, кроме захолустных уральских заводов, он не знает.

Это тоже была шпилька. Противники Павлова всегда уязвляли его тем, что он поработал инженером лишь на затерянных в глуши, отсталых заводах. Петр возразил.

— На своем захолустном заводе он рассчитал тепловой баланс доменной печи, по которому и сейчас мы учимся.— Наверное, Петру этой репликой и следовало бы ограничиться. Но он, как сказано, края не знал. И выпалил: —

А некоторые и на больших заводах и даже в центральных управлениях остаются пустомелями.

В. опять будто пропустил мимо ушей и эту дерзость. Лишь глаза, под которыми набухли отеки, холодно прищурились.

— Очень приятно,— сказал он,— что у вас такие взгляды. Ваши желания мы учтем. Завтра сможете получить направление на работу.

На следующий день Петр, все такой же улыбающийся, яркоглазый, действительно получил в Главметалле приготовленную для него бумагу. Развернув, прочел и... И, помрачнев, кинулся к В. Бумага гласила, что он, Петр Прохоров, послан работать на завод «Свободный сокол» вблизи Липецка, ветхий, захудалый, карликовый в сравнении с мощными комбинатами юга и востока.

В. и на этот раз был отменно вежлив:

— К сожалению, ничего не могу сделать. Это решение комиссии по распределению.

— Но я же просился в Андриановку.

— Я так и доложил. Однако в Андриановке нет свободных мест.

— В таком случае я могу быть там пока рабочим.

— У нас, товарищ Прохоров, это не положено. Зачем же вас учили? Кроме того... Откровенно говоря, вы удивляете меня. Почему вас пугает маленький, старый завод? Ведь в свое время на подобном заводе был разработан тепловой баланс доменной печи, по которому мы и доселе учимся.

— Не издевайтесь! — вскричал Петр.— В наше время передовые методы связаны с механизированными, большими печами. Я имею право и желаю работать на таких печах, а вы...

— Еще раз сожалею, но помочь вам ничем не смогу. Если угодно, обжалуйте решение комиссии. Пишите заявление, мы рассмотрим.

Несдержанный, рубивший сплеча питомец Института стали еще походил по разным кабинетам, писал заявления, но уткнулся как бы в стену. Кому только он не объяснял, что в студенческие годы и практически и теоретически изучал новую доменную технику, большие печи, этому же посвятил и свою дипломную работу. Его порой слушали сочувственно, но все же следовал лишь один ответ: нельзя

нарушать государственную дисциплину, решению комиссии он обязан подчиниться.

Так действительность, то есть в данном случае служилая братия Главметалла, преподала ему урок. Петр, однако, не смирился. Возмущенный, взбешенный, он был уверен в своей правоте. Но куда же еще пойти? К товарищу Серго? Нет, стыдно с этим мелким, личным делом обращаться к наркому.

Отнюдь не убежденный в необходимости покориться безглазой, безликой, бесчувственной комиссии — ох, как он ее костил и вслух и про себя! — упрямец Петр все же поехал скрепя сердце на липецкий завод.

«НЕДАРОМ НАЗЫВАЕТСЯ ТЯЖЕЛОЙ, ЧЕРТ ЕЕ ПОБЕРИ...»

Эти слова произнес с трибуны в 1932 году нарком тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе.

Среди моих заготовок имеется подборка кусочков из его выступлений в эту пору, подборка, что характеризует и самого Серго и время или — воспользуемся тут лексикой Петра — служит координатной осью, с какой соотнесен и он, наш младший герой, выпускник Института стали.

Ограничусь лишь кратчайшими выдержками преимущественно о металлургии.

...Мы сосредоточили на своих металлургических заводах огромнейшую передовую технику. Овладеть теперь этой техникой и заставить ее служить Советскому государству — вот задача.

...Подналечь надо на это дело зверски.

...У нас имеется пафос строительства, это очень хорошо, но нет пафоса овладения производством.

...Мы должны прямо сказать, как бы это ни было горько и для меня лично, который уже два с лишним года бьется над металлургией, и в особенности для товарищей металлургов — коммунистов и беспартийных, хозяйственников и техников: пятилетку по черной металлургии в четыре года мы не выполнили.

...Нынешние металлургические заводы не похожи на те заводы, которые были четыре-пять лет тому назад. Возьмем, например, Макеевский завод. Что мы там имели? Ста-

ренькие домны, давали они все вместе около 200—300 тысяч тонн чугуна. Сейчас мы имеем три громадные печи, которые дают в два раза больше чугуна, чем раньше... Это не похоже на тот старый завод, который был раньше. В чем наша беда? Заводы быстрее растут, чем наши кадры.

...Надо решительно и смело выдвигать наших молодых техников и инженеров! Кое-кто из них уже начинает выползать, им надо очень сильно помочь.

...Вот вчера я слушал в Макеевке одного молодого инженера. Да, в нем дьявольский запас энергии, непочатый край цельной крепкой силы! Какая разница была между его выступлением и выступлениями других инженеров. Те говорят в таком роде: трудности, мол, препятствия будут встречаться, нужно их преодолеть, конечно, да не знаем, справимся ли. Этот же молодой парень замечательно говорил, для него ничего невозможного нет. Это надо сделать? Сделаем! В какой срок? Сделаем! Трудности? Преодолеем! Нет ничего такого, чего преодолеть нельзя! Вот таких бы инженеров нам и надо побольше!

...Нужно перестроить все заводские организации, чтобы они не занимались пустяками, а каждый день, каждый час, каждую минуту устанавливали дисциплину, ибо без дисциплины ничего не выйдет... Дисциплины нет — вот в чем несчастье.

...Как обстоит дело на наших новых заводах, на этих домнах-уникумах, прекрасных мартенах и прокатных станах? Нечего греха таить, надо прямо сказать: мы еще не сумели овладеть техникой этих гигантов. Порой преступно калечим их благодаря нашему неумению организовать уход и технически грамотную эксплуатацию этих агрегатов.

...Мы люди сами по себе неплохие, большевики, ленинцы, стоим за советскую власть. Многие из директоров себя не жалели во время гражданской войны и, если завтра нужно будет, пойдут и завтра драться. Но этого мало. Мы не можем уподобляться тем гусям, которые говорили, что наши предки Рим спасли. Не выйдет это! Предки-то Рим спасли, а вам хворостина нужна,— так сказал Владимир Ильич на одном из партийных съездов.

...Хорошая техника требует хорошего работника, хорошего, грамотного инженера, хорошо воспитанного рабочего. Очевидно, без этого ни черта не выйдет из хорошей машины. Выйдет буквально то же самое, что вышло у мар-

тышки с очками, когда мартышка очки то на нос надевала, то на хвост, а все-таки ни черта не выходило.

...Чего у нас не хватает, в чем мы слабы? Мы слабы людьми, кадрами, которые могли бы стать у этих машин и заставить их работать на все сто процентов на пользу диктатуры пролетариата Советской страны. И вот этот вопрос о кадрах, их подготовке, их правильной расстановке есть важнейшая, первоочередная задача нашей партии, нашей промышленности. Правильно поставить на свое место того или иного работника — это важнейшая задача сегодня.

ОТПУСТИТЕ МЕНЯ!

В те годы из Москвы в Липецк еще не ходили прямые поезда или хотя бы вагоны. На узловой станции Грязи-Воронежские Петру предстояла пересадка. Он там протомился почти половину суток.

В художественной литературе уже не раз были описаны взбаламученные, словно вернулась война, и все же иные, другого обличья людские сборища в вокзалах времен первой да и второй пятилетки. Мы удовольствуемся скупыми штрихами. И в станционном зале, и под открытым небом на перроне шумел табор пассажиров. Сидели, лежали не только на скамьях и на полу, но даже и на буфетной широченной стойке, давно, видимо, не служившей для торговли: страна снова, как и в военную пору, жила на пайке, были введены продовольственные карточки, преследовалась вольная торговля, лишь с опаской, с оглядкой на станции продавали отмеряемую стаканами махорку, неочищенные вареные картошины, крутые яйца, кусочки сахара и невесть откуда взявшиеся леденцы.

Подходили, отправлялись поезда, но человеческая гуща, заполонившая зал и платформу, словно и не убывала. Петр то без цели слонялся, то присаживался на свой крепкий фанерный чемодан. Легко завязывались мимолетные дорожные беседы. Петр не стал тут исключением, готовно откликался, если его спрашивали, а случалось, заговаривал и сам. Вон его вокзальные знакомцы, плотники, завербованные Кузнецкстроем, везущие обвязанные мешковиной длинные пилы. Он все туда посматривает: едут в Сибирь к кузнецким новым домнам. Пройдет год-другой — и, воз-

можно, сами станут доменщиками. Эх, и ему бы туда, в Кузнецк!

Пожалуй, только станционный швейцар, оповещающий о прибытии поездов, сохранил в этой скученности, толчее былую степенность — потускневшие галуны темной форменной одежды и распушенные седеющие бакенбарды. Вот и сейчас под сводами гудящего зала разносится его густой, без малого дьяконовский бас:

— Вышел с соседней станции поезд на Сталинград.

И тотчас же в разных местах поднимаются люди, целые семьи, артели, проталкиваются на платформу с сундуками, узлами, чемоданами.

Отсюда едут и на Урал, и в Приднепровье, и в Донбасс. Наверное, здесь найдутся и такие, которые завербовались в Андриановку.

И лишь он, только что окончивший инженер-доменщик, сдавший все выпускные испытания на «отлично» — в этом первый среди однокурсников,— рвущийся к большим печам, туда, где совершается технический переворот, должен, подчиняясь недоброй чьей-то воле, отправиться на глухой, старый заводик.

Наконец-то среди дня — впрочем, так и следовало по расписанию — был подан на какой-то дальний путь поезд местного сообщения Грязи — Липецк. Унылый, злой, Петр сел в этот отнюдь не атакованный пассажирами состав, забрался в вагоне на верхнюю полку. Тронулись. Поезд шел медленно, с долгими остановками на полустанках. Возле Петра на нижних лавках несколько женщин судачили о каких-то домашних мелочах. Казалось, тут и не веяло стройкой, индустрией, духом технического перевооружения. Укачиваемый тряской, Петр порой забывался в неглубоком сне, но и дремля ощущал себя несчастным, пробуждался с тем же чувством накипавшей досады.

Вечерело, когда он уже под самым Липецком, на станции Чугун, распростился с поездом. Невдалеке над степью нависал полог бурого дыма. Можно было не расспрашивать: конечно, это и есть завод. Тщетно поискав какого-нибудь возницу или попутную автомашину, одетый еще по-студенчески — в поношенное драповое пальто, служившее ему для всех сезонов и уже, признаться, узковатое, Петр решительно взвалил на плечо свой твердый фанерный чемодан, содержавший и белье, и запасные брюки, и несколько книг, и тетради-конспекты, то есть все его иму-

щество, и зашагал к дымам, к месту, где хочешь не хочешь начнется его инженерская судьба.

Дома приезжих при заводе не было. Наведывавшиеся на короткий срок командированные останавливались, конечно, в городе. Тетя Дуняша в теплой косынке, обмотанной вокруг головы,— ночной страж главной конторы, куда явился Петр,— поахала, засуетилась и, навесив тяжелый замок на дверь доверенного ей помещения, повела тропкой инженера-юношу в село, разбросанное в получасе ходьбы от завода. Там, в избе тети Дуняши, Петр и нашел себе приют.

Поднявшись по-летнему ранним рассветом, Петр сразу же пошел на завод. В ветхом деревянном заборе, кое-где подпертом бревнами, были там и сям проломаны лазы. Не требовалось идти к воротам, чтобы ступить на заводскую территорию. Петр медленно шагал по ней, поглядывая из-под нахлобученной кепки. Дымили две приземистые, старинного образца — допотопные, как он мысленно выразился,— не взятые в броню доменные печи. Несколько железных обручей скрепляли потрескавшуюся кирпичную кладку, по которой струилась вода. Рабочие, впрягшись в железные тележки, называемые «козами», подкатывали шихту. Верховые на колошниковых площадках вручную забрасывали сырье в примитивные, еще прошлого века, засыпные устройства. Что он тут мог бы изменить? Внести свое?

— Ничего.

Так с обезоруживающей откровенностью ему сказал в то утро главный инженер завода Елочкин, который одновременно был и начальником доменного цеха. Молодой, всего на пять-шесть лет старше Петра, но уже с изрядными залысинами, открывающими шишкообразные выпуклости черепа, Елочкин повторил:

— Ничего. Только придерживаться рутины. И предоставить это обер-мастеру старику Севостьянычу. А иначе... Иначе вовсе развалятся наши горемыки печи.

— Ну что же как инженер я здесь буду делать?

— Терпеть. Следовать моему примеру. Не век же будем тут сидеть. Дождемся, куда-нибудь переведут.

— Завидный же у вас характер. Я так не смогу.

— Сможете: никуда не денешься. И придется выбирать одно из двух. Или выть волком...

— Или что?

— Или относиться к своей незадаче с юмором. Мне, например, только это помогает.

— Я, к сожалению, юмора лишен.

— Ну, может быть, у меня его хватит на двоих.

Елочкин повел Петра к директору — пожилому, сумрачному Егорошвили. Без дальних слов прибывший был назначен начальником смены доменного цеха.

Юля еще задерживалась в Москве: она сдавала выпускные экзамены и защищала дипломную работу на правовом факультете.

Томительно тянулись дни. Петр честно работал у карликовых, примитивных домен. Здесь тихая заводь — Петр, впрочем, выражался резче: отжившее старье, дыра, разбитое корыто,— а где-то рядом проносилась, бурлила современность. В газетах корреспонденции, словно с поля боя, с фронта, о новых печах, новых заводах.

Петр списался с начальником доменного цеха Андриановки. Тот, ученик Павлова и Челышева, знал Петра; не однажды с ним — студентом-андриановцем, приходившим на каникулах в цех,— вел разговоры, интересные обоим. Теперь пригласил на работу: «Приезжайте. Место вам найдем. Возьму вас с удовольствием».

Захватив это письмо, Петр пошел к Егорошвили. Этот кряжистый, хмурый человек когда-то побывал директором большого завода, расположенного близ Андриановки, но в новые времена, что называется, не потянул и, снятый оттуда, директорствовал на глухом заводике.

— Прошу, товарищ директор, меня отпустить.

— Куда отпустить? Зачем?

— Вот письмо из Андриановки. Меня туда берут.

— Какой быстрый! У меня тебе не нравится?

И опять младший — в который уже раз на своем, еще коротеньком веку — заговорил недопустимо резким тоном:

— Во-первых, я привык к настоящему заводу, а не к какой-то развалюхе...

— Легче на поворотах, дорогой. Я тоже привык к масштабу, но, видишь, сижу здесь.

— У меня, товарищ директор, дипломная работа о большой, механизированной печи.

— Ничего. Не погибнут без тебя большие печи. Поработаешь со мной.

— И кроме всего прочего, моя жена беременна.

— Ох... Что же, по-твоему, здесь женщины не беременеют? Не рожают?

— Но в Андриановке у нее родные. Она боится сюда ехать. Разве с этим нельзя посчитаться?

— Это все у тебя отговорки. Будешь со мной работать.

— Не буду я с вами работать!

— Те-те-те... Какой странный человек! Как же ты не будешь, если советская власть тебе сказала, чтобы ты работал здесь?

— Нет, советская власть не так на это смотрит. Она не заставляет человека работать там, где он не хочет.

— Выбрось из головы эдакие бредни! Никуда я тебя не отпущу.

Егорошвили был упрям. Конечно, такая характеристика показалась бы нашему герою мягкой.

— Упрям, как осел! — восклицал он, рассказывая впоследствии мне про свою липецкую незадачу.

БЕЖАТЬ!

Юля тем временем окончила университет. Специальность была давно ею облюбована: адвокат, правозаступник. Где же суждено ей быть защитником? Какое дело станет для нее началом? Впервые беременная, она некоторое время после выпускной страды пожила в Андриановке у своих родителей.

Разлученные молодые супруги обменивались письмами два-три раза в неделю. Петр тосковал без жены, но все-таки не звал ее к себе, писал, что не намеревается задерживаться на глухом липецком заводе, а так или иначе переберется в Андриановку. Сквозь строки писем — сквозь строки, ибо Петр не давал воли жалобным ноткам,— угадывая его тоску, томимая сочувствием, любовью, а также хорошо зная неукротимый нрав своего Петра, его готовность действовать напролом, Юля в какое-то утро проснулась с решением: надо немедля к нему ехать. И в тот же день телеграфировала: «Выезжаю встречай».

И вот она, молодая женщина, готовящаяся стать матерью, сидит в обшарпанном, не густо населенном вагоне все того же — Грязи — Липецк — поезда. По оконному стеклу струятся капли мелкого осеннего дождя. Юля то

смотрит за окно на сжатые поля, на мокро чернеющие перелески, то, задумавшись, перестает туда глядеть.

Станция Чугун... Взяв свой небольшой нетяжелый чемодан, Юля в красной косынке, повязанной вокруг ровно обрезанных темных волос, непокорно загибающихся кверху, в синем жакете, на котором алеет комсомольский значок, осторожно сходит, оберегая чуть выпирающий живот, с вагонной подножки на устланную утрамбованным шлаком, возвышающуюся над путями, мокрую, в лужицах площадку.

Петр, поджидавший тут жену, просветлев, бросился к ней, благодарно взглянул на свою Юлю. Она уже в этом первом взгляде прочла: любит. Бережно отобрал у нее чемодан, повел к вознице, которого удалось заранее подрядить.

Комнатка Петра в селе. Напоил Юлю чаем. Впрочем, чаепитием да и другими домашними заботами сразу стала ведать Юля. Он еще ни на что не жаловался, но в его радости, в неловкой нежности она различала нотку скрываемой муки: ему здесь плохо, очень плохо.

Рано погасили свет, рано легли спать. Но, конечно, не уснули. И в темноте он выговорился, все ей рассказал:

— Ничего вложить, внести я тут не могу. Делу не нужен. Пропадаю.

Она приподнялась, оперлась о подушку, вымолвила:

— Бежать надо отсюда.

Мгновенно вспомнилось ее давнишее: «Я тоже отчаюга».

Привстал и Петр.

— Ты так считаешь?

— А что же еще? Что еще можно поделать с твоим ослом-директором? Только бежать! Но сделаем это поумней. Я буду твоим правозаступником. Буду защищать тебя перед государством.

Действуя по плану, что был разработан той ночью, выждав несколько недель, Петр вновь пошел к директору.

— Прошу дать мне отпуск на три дня. Как раз подходят праздники. Отвезу жену в Андриановку и вернусь сюда.

— Нет, дорогой, не отпущу. Пусть едет сама.

— Как же сама? Плацкартных поездов тут нет. На станции Грязи пересадка. Как же за месяц до родов женщина может ехать одна?

— Подумаю.

— Чего же думать? Я же прошусь всего на три дня.

— Подумаю. И вечером тебе скажу.

Вечером Егорошвили сказал:

— Ладно, езжай на три дня. Вот тебе — шестое, седьмое и восьмое. Иди оформляй удостоверение. Девятого должен выйти на работу.

Получив отпускной на три дня документ, Петр понесся к жене. Следующей ночью они сели в поезд на станции Чугун, уехали, чтобы больше сюда не возвращаться. Петр не снялся ни с комсомольского, ни с профсоюзного учета, не взял расчет — покинул завод, бежал.

Разумеется, эта история имела продолжение.

ВСТАВНАЯ ОХОТНИЧЬЯ НОВЕЛЛА

В рассказы Петра, завзятого охотника, то и дело замешивались всякие его охотничьи воспоминания. Некоторые я не восстанавливаю. Но этот вот эпизод, случившийся в день бегства, перескажу.

Друг-жена занялась сборами в дорогу. Скарб был невелик: два чемодана, узел с постелью — и вся недолга. Петр с утра ушел побродить напоследок с ружьем.

Холодновато... Наверное, пять или шесть градусов ниже нуля. Прибитая ранним морозцем трава шуршит под сапогами. У берегов попадающихся там и сям маленьких озер белеют закраины. Петляющая по луговине узкая, но глубокая Матыра — в ней водятся сомы — еще не схвачена ледком, вода кажется густо-черной среди всюду поблескивающего, не тающего на скупом солнце инея.

Совсем недавно, в прозрачные теплые дни бабьего лета, утки здесь вылетали прямо из-под ног. Петр бил навскидку и, тяжело обвешанный дичью, не зная устали, шагал дальше по лужам. А теперь ходи не ходи, нигде ни одной утки. Все улетели, всех прогнал мороз.

Да и сам охотник, ни разу за все утро не выстреливший, начал зябнуть. Отслуживший свое пиджак, купленный несколько лет назад, когда Петр был первокурсником, стал узок, коротковат, рукава не покрывают запястий. А ведь на глазок не скажешь, что Петр с тех пор вырос, раздался в плечах, с виду он все такой же легкий, тонень-

кий, однако объективное мерило — пиджак свидетельствует об ином.

Объективное мерило... Научная точность в ведении печей... В студенческие годы Петр провозглашал эти идеи, под таким знаменем неустанно воевал на семинарах, представил дипломный проект, проникнутый с первой до последней строчки убеждением, что современный инженер-доменщик — человек точной науки. За дипломный проект он получил премию — сапоги, эти вот прочные яловичные сапоги, под которыми сейчас похрустывает ледок застывшего болота.

К черту, к черту эту глушь! Последний раз он бродит здесь. Надежды на охотничью удачу уже нет, но все же надо метнуть камень в камыши: не застряла ли там припоздавшая отлететь утка? И он бросает камни, палки, мерзлые комья, тревожа укромные местечки, где еще неделю назад водилась птица. Напрасно. Сегодня ему, видно, не дождаться желанного шума хлопающих крыльев. Сапоги потяжелели. Почувствовалась усталость. Не хотелось бы, очень не хотелось бы возвращаться домой пустым — недобрый это знак в канун отъезда (как все заядлые охотники, Петр отдавал должное приметам),— но что сделаешь, солнце уже снизилось, побагровело, надо поворачивать восвояси.

Все-таки он покружит еще возле вот этого болотца, блеснувшего в низинке. Безрадостно сникла, склонила стебли к белесому ледку, к черной воде зеленая жесткая куга. Кстати, тут валяется и палка, примерзшая к траве. Что же, швырнем...

Переложив ружье в левую руку, Петр кидает в тростник палку. И внезапно оттуда поднимается великолепный кряковый селезень. Сверкнув многоцветным оперением, он летит прямо на диск садящегося солнца. Глаз уже не различает птицу, но, не теряя ни секунды, Петр бьет из ружья в багровый круг. Ура! С перешибленным крылом селезень падает в самую середку болотца. Из второго ствола Петр приканчивает подранка. На воде плавает отличная добыча. Но как до нее добраться, как взять? Полоса воды примерно метров в тридцать отделяет берег от трофея. Нет ни лодки, ни плота. А в одежде, черт побери, не полезешь!

Петр решает: разденусь донага и голым пойду в воду. Сказано — сделано! Не ощущая в азарте, в пылу ни холо-

да, ни ветра, он, обнаженный, сухощавый, проламывая босыми ногами прибрежный ледок, входит в болото. Тотчас вода обжигает его. Шут с ней, вперед! Невидимые иголки впиваются в тело, колют, режут, дерут. Вода жжет, как кислота. Ничего, надо стерпеть. Петр делает еще несколько шагов, погружается чуть выше пояса. И не вынеся пытки, так и не добравшись до убитой птицы, поворачивается, выскакивает со всех ног на берег. Побывавшая в ледяной купели кожа выглядит обваренной, грудь розовой, а ниже пояса Петр красен, как рак. Быстрыми, сильными движениями он растирается, не позволяя себе стынуть. На левом предплечье белеет давний шрам — след басшабашных детских драк: довелось выходить и против тех, кто вооружался вытащенными из шпал костылями.

Однако что же сейчас делать? Вот он, красавец селезень! Отступиться? Ни за что! Союзником Петра станет закон физики, сила инерции. Взять эту обжигающую полосу с разгона — вот где решение задачи. Да, только с разгона! Отбежав подальше, повыше, Петр стремглав, все набирая, набирая скорость, кидается к воде. Затрещал ломающийся под его тяжестью ледок. Дальше, дальше! Одолеть преграду с ходу! Тяжелая, плотная вода не хочет расступаться, но сила разбега, закон физики берут свое. Схватив наконец селезня, Петр одним махом выбрасывает его на берег. И, подгоняемый нестерпимыми щипками холода, выбирается и сам, мчится к одежде. Боже, какой у него вид! Ноги изрезаны острыми кромками льда, стекают красноватые струйки. Ничего, заживет. Он опять растирается, не обращая внимания на кровь. Затем, одевшись, укладывает селезня в сетку, удобно приторачивает и быстро-быстро шагает домой. Усталости нет и в помине. Сапоги, только что казавшиеся потяжелевшими, теперь, словно в сказке, стали самоходами, легко его несли. Быстрая ходьба согрела в несколько минут.

Никаких последствий для здоровья это купание не оставило. Ночью он вместе с женой сел в поезд, жареный селезень был припасен на дорогу.

Драматический узел, созданный бегством Петра, лег в основу набросанного мною отдельного рассказа.

Эта история ведет нас в квартиру наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе, расположенную на втором этаже старинного, с узкими на современный взгляд окошками, приземистого дома в кремлевском проулке близ Троицких ворот. Там, в этой квартире, как бы вытянутой, с коридорчиками, переходными площадками, ступеньками, в одно зимнее воскресное утро 1933 года произошел эпизод, который постараемся восстановить.

С некоторых пор Серго по выходным дням вставал поздно. Не столь давно он перенес операцию — удаление почки. Окрепнув, вернулся к работе. Однако врачи настрого потребовали, чтобы он слушался календаря, соблюдал единожды в неделю полный роздых. Теперь в воскресные утра он разрешал себе долго поспать или в полудреме поваляться, вставал к двенадцати, а то и к часу. Верный друг Зинаида Гавриловна, Зиночка, тихо ходила по комнатам, ждала, пока Серго поднимется. Так было и на этот раз.

Облачившись по-домашнему и вместе с тем по-праздничному — поверх свитера в широкую кавказскую чесучовую рубаху, подпоясанную красным витым шнуром с кистями, Серго без спешки попивал кофе, заодно уделяя внимание сегодняшним газетам, а то и поглядывая на Зину, разделявшую с ним эту позднюю утреннюю трапезу. Его черные большие глаза были отдохнувшие, свежо поблескивали. Безотчетная улыбка промелькивала под свисающими густыми усами, где уже завелись первые сединки. На только что выбритом, мягких очертаний подбородке явственно проступала ямочка.

После кофе Серго зашагал в кабинет. К обеду еще вчера позваны начальник Главзолота Серебровский с женой и приехавший в Москву директор Андриановки Перселени — по воскресеньям в доме Орджоникидзе без гостей обедать не садятся.

Сейчас можно полистать последние номера толстых журналов. Вон на письменном столе возле выстроившихся телефонов лежат стопкой «Красная новь», «Звезда» и «Новый мир». Там же чернеют, приминая зеленое сукно, две тяжелые плашки — первый чугун Кузнецка и Магнитки, плашки, на которых грубоватым рельефом выделены купол головы, бородка, сощуренный глаз Ленина. А на толстом, с ограненными краями стекле, которым в просторе

стола как бы означена собственно рабочая площадь, виднеется коричневатая папка, хранящая, как знает Серго, присланные утром ему на дом бумаги. В ней он, конечно, найдет и сводку о вчерашней работе предприятий тяжелой промышленности.

Удобно устроившись в глубоком кресле (не у прозрачной пластины, а по другую сторону), привалившись к спинке погрузневшим телом, Серго строка за строкой изучает сводку.

Черт побери, опять плохо на Магнитке! Вторая домна никак не выберется из полосы пусковых мук. Не позвонить ли туда Гугелю? В чем там теперь загвоздка? Нет, нет, Серго сегодня обязан утерпеть, будет названивать завтра.

Э, и в Андриановке — к этому донецкому заводу, перестроенному заново, Серго тоже испытывает особую привязанность, любовно, а подчас, впрочем, и гневаясь, называет его Магниткой юга,— в Андриановке новые могучие домны лихорадит. Опять на одной вчера упала выплавка, суточный план сорван. Ну, Перселени-то сюда сегодня явится. И пусть держит ответ!

Нынче придется разобрать и жалобу, касающуюся Перселени. Серго еще вчера прочел эти несколько стиснутых скрепкой бумажек, целое дело. Прочел и захватил домой, чтобы переговорить с Перселени. Вон торчат из-под блокнота. Трудный, черт побери, случай. Поневоле поскребешь затылок.

Серго поднимается, шагает к двери, гулко кричит в пустоту коридора:

— Где моя хозяйка?

Тотчас доносится:

— Иду-у!

Жена появляется из кухни. Подтянутые рукава не закрывают крестьянски широких запястий; тесемки ситцевого расцвеченного фартука стянуты вкруг нетонкой талии; жар плиты уже сделал пунцовыми щеки и скулы. Серго за руку влечет Зину в кабинет.

— Зиночка, садись. Тут, понимаешь, казус...

Она привыкла, что Серго говорит громко. Это вызвано его некоторой глуховатостью. Он и прежде неважнецки слышал левым ухом, теперь такая полуглухота усилилась. Зина присаживается на обитый иззелена-черной кожей диван, пристраивается так, чтобы Серго мог удобно обращать к ней правое ухо.

— Казус,— повторяет он.— Как ты поступила бы? Молодой инженер бежал с маленького завода в Андриановку. Теперь его требуют обратно. Директор рвет и мечет: вернуть живого или мертвого! И жалуется на Перселени, что тот укрыл бежавшего.

— Как же бежал? А документы?

— Видимо, на это плюнул. Задал форменным образом деру.

— С женой или от жены?

— Не шути. Я спрашиваю серьезно.

— И я серьезно.

— А шут его ведает. Не знаю.

В ее узковатых синего чистого тона глазах различим веселый укор. Серго мгновенно схватывает это сквозящее во взгляде, непроизнесенное нечто. Говоря по чести, у него и не было особой надобности совещаться с Зиной, просто минуты выходного дня очень длинны, он заскучал без своей милой, хотел опять с ней перекинуться словцом-другим. И все-таки сумела ему что-то подсказать. Это же собственное его правило: не знаешь — не суди! Почему бежал? Ради чего? Не знаю. И кто таков? Не знаю.

Серго смеется:

— Ну, Зиночка, спасибо.

— Я должна идти.

Он гаркает:

— Вернуть ее на кухню, живую или мертвую!

Призываемая предобеденными хлопотами, Зина уходит.

Он опять опускается в кресло и, привольно вытянув ноги, обутые в кавказские легкие чувяки, дочитывает суточную сводку. Какая-то строчка ошарашивает его. Что за дьявольщина? Да, завод качественной стали «Красный металлург». Что там стряслось? Прокатные станы не выдали вчера ни одной тонны!

Крупный свислый нос наливается багрянцем. Серго вскакивает и, позабыв о запретах, о своих обещаниях, перейдя по ту сторону стола, к рабочей кромке, склоняется на какие-то секунды к стеклу, под которым расстелены справочные телефонные листы, затем на диске одного из телефонов, выделенного вишневой окраской — этот аппарат напрямую связывает наркома с крупнейшими стройками и заводами страны,— набирает номер, принадлежащий директору далекого волжского завода.

— Слушаю. Главный инженер у телефона.

— Здравствуйте,— произносит Серго. И называет себя.— Что там у вас произошло? Почему вчера ничего не выпустили?

— Дело в том, товарищ нарком, что прокат остановлен.

— Авария?

— Аварии не было, работа могла бы продолжаться, но, подчиняясь приказанию...

— Не тяните. Какому приказанию? Что такое?

— Прокатку, товарищ нарком, мы остановили по распоряжению товарища Потапова.

— Из-за чего же? Потапов у вас?

— Позавчера уехал. Здесь находится его заместитель. Позвать?

— Да говорите сами. Что случилось?

— Дело такое... В цеху, товарищ нарком, конечно, грязновато, мы постепенно бы его очистили. Но товарищ Потапов распорядился прекратить прокатку, пока в цеху все не заблестит. Сказал: пока не вылижете. И таким образом мы...

— Директор где?

— Он ушел домой под утро. А то все был на очистке.

— И сейчас ее ведете?

— Да.

Еще несколько вопросов наркома касаются хода очистных работ. И опять он вспыхивает:

— Как допустили такую захламленность? Какого же черта вы смотрели?

Главный инженер молчит. Серго продолжает:

— Когда пустите цех?

— Надеюсь, завтра. Конечно, если получим разрешение товарища Потапова... Может быть, соединить вас, товарищ нарком, с квартирой директора?

— Не надо. Передайте ему, что если завтра цех не будет пущен, то... То вот тогда с ним поговорю. Да и с вами тоже. До свидания.

Серго с досадой кладет трубку. В телефонном справочнике Наркомтяжпрома, карманного формата книжке, что тоже неотъемлемо входит в оснастку стола, он отыскивает нужную страницу и звонит на дом Потапову. Оттуда, однако, сообщают:

— Дома его нет.

— Где же он?

— У себя.
— Что значит «у себя»?
— На работе. В кабинете.

Серго снова сверяется со справочником, снова вертит диск. Вот трубка лаконично откликается:

— Да.
— Потапов?
— Слушаю, товарищ Серго.

Серго не удивлен. Его голос, характерное грузинское произношение обычно сразу улавливаются. Он спрашивает:

— Что же ты по выходным дням ездишь на работу? А когда же отдыхаешь?

— Тут и отдыхаю. Никого нет. Никто не лезет.

— Это намек?

— Товарищ Серго, вас всегда рад слышать.

— Ой, всегда ли? Что ты наделал с «Красным металлургом»?

— Остановил, чтобы выгребли грязь. Нарастала там годами. Слова не действуют. Пришлось ткнуть носом.

— Ну вот что... Приезжай ко мне обедать.

— Спасибо. К какому часу?

— Если дела тебя не держат, то давай сразу ко мне. Тут потолкуем.

— Есть! Складываю дела.

Поднявшись, Серго снова зычно кричит в коридор:

— Ого-го! Зинуша!

И опять жена отзывается:

— Иду...

Он говорит, что пригласил к обеду еще и Потапова. Она отвечает готовным кивком. Серго оглядывает себя — свои чувяки, красные кисти пояска.

— Пойдем, Зиночка... Переоденусь.

— Да еще двадцать раз успеешь. Отдыхай.

— А кто его знает? Вдруг вот-вот нагрянет...

Спустя несколько минут Серго возвращается в кабинет, одетый теперь на военный лад, к чему привык, пристрастился уже, пожалуй, с семнадцатого года. Опрятно отглажены китель и брюки, свеж глянец сапог. Как же иначе? Приглашаешь гостей — не оскорбляй их небрежностью одежды.

Теперь можно и отдохнуть за книгой. Кстати, еще не дочитан в журнале роман Алексея Толстого о Петре Пер-

вом. Опять глубоко вдвинувшись в кресло, привалившись к спинке, он с удовольствием вбирает страницы. Сильное перо! Сочно пишет этот бывший граф. Что же, своим путем писатель-дворянин подошел к нам, принял нас. Принял, как и многие-многие другие из среды русской коренной интеллигенции. Разве он один нынче захвачен нашей ломкой и строительством, небывалой, увлекательной до чертиков индустриализацией!

Серго поглощен чтением. Ему не слышен задребезжавший в передней звонок. Но вот доносятся приближающиеся быстрые шаги. Стук в дверь. Легко, будто вовсе и не погрузневший, Серго взбрасывает себя, дает волю голосу:

— Входи, входи.

Скромно улыбающийся Потапов ступает в кабинет. Ему, малорослому, узкоплечему начальнику управления качественных сталей, исполнилось только тридцать два года. Голова не по росту крупна. Чисто выбрито точеное, смугловатое, без румянца лицо. Бороздка пробора, что, быть может, чуть повыбрана касаниями парикмахерского лезвия, сообщает особую аккуратность подстриженным, приглаженным каштановым волосам. Серго знает Потапова с давних пор — еще юношей, политработником одиннадцатой армии, затем секретарем одного из райкомов партии Баку. Девятнадцатилетний секретарь, славившийся и тогда строгостью, ходил кудлатым, носил косоворотку и вытертую кожанку. А ныне с некоторых пор — после того как, окончив металлургический факультет, провел два года в качестве практиканта-рабочего на сталеплавильных заводах Англии и Германии,— обрел сугубо европейский вид. Под пиджаком немаркого недорогого костюма накрахмаленный, твердый, блещущий белизной воротничок. Да, новые времена, новые поколения. Глядишь, и крахмальный воротничок — Серго-то он, черт побери, не подойдет — уже служит молодым.

Серго усаживает Потапова.

— Кажись, о здоровье тебя спрашивать нечего, если в делах находишь отдых.

— Кое-что освежал в памяти... А вы, товарищ Серго, как поживаете?

— Да, видишь, тоже ищу дела. Как раз подвернулся ты...— Серго смеется.— Так что давай отдыхать вместе.— Став серьезным, продолжает: — Расскажи о своих подвигах. Что ты там, на «Красном металлурге», учинил?

Потапов сжато и деловито объясняет, то и дело прибегая к специальной терминологии. На заводе издавна укоренилась болезнь — разболтанность технологической дисциплины. Ряд особо чистых сталей с заданными свойствами там не удается получить. Из месяца в месяц длятся непопадания в анализ. Сталь идет вторым или третьим сортом, а то и вовсе как рядовой металл. Даже годные плавки потом, при прокатке, в той или иной мере теряют свою сортность. Культура производства недопустимо низка для завода качественной стали. Потапов посылал туда своих контролеров, продержал там целый месяц известного московского профессора в паре со специалистом-немцем, получил от заводского руководства разные уверения, обещания, но дело, однако, не сдвинулось. Отправил туда еще одну бригаду инженеров, затем поехал сам. И увидел в цехах элементарнейшую грязь. Решил дать встряску. Приказал остановить производство, вычистить, вылизать завод. Далее муштровка пойдет легче. Выучим чистой отработке операций по всему циклу. Выморим разболтанность.

Серго произносит:

— Почему же ты не мог меня заранее известить? Так, мол, и так: останавливаю завод «Красный металлург». Гоже ли мне, наркому, узнавать об этом из суточной сводки?

— Товарищ Серго, вы мне доверили управление заводами качественной стали. Я перед вами за это отвечаю. И если уж несу ответственность, то не обязан испрашивать у вас разрешение, чтобы что-либо проделать на том или ином заводе.

Тон Потапова ровен. Слова не запальчивы, не вызывающи, но тверды. Не у всякого хватит решимости держать себя с эдакой твердостью перед наркомом. Крепкий, черт дери, мужик! Но такой и нужен, чтобы Русь навыкла выделывать, выпускать особенные, марочные стали. Найти такого, доверить ему — в этом, как Серго убежден, первейшая обязанность, а может быть, и первейшая из способностей наркома. Серго уступчиво говорит:

— Все же известить бы следовало... Не отрывайся.

— Если телеграмму вам отправили не вовремя, за это взгрею.

— Себя, брат, взгрей.

Потапов склоняет на миг свою большую голову.

— Есть! Будет исполнено!

Эта реплика вызывает улыбку Серго. К нему возвратилось превосходное настроение. Он принимается расспрашивать. Сотни фамилий цепко держит его память.

— Вот этот немецкий специалист — кажется, герр Пуппе, да? — что он сумел дать «Красному металлургу»? Чем оказался полезен? Мы не сумели? Давай случаи, примеры. Кто же вел плавку? Формула? Гони и формулу. Вот тебе блокнот. Ага, ага... Что же не нажал главный инженер? Робковат? Почему считаешь так? Не безнадежен, вырастет? А сколько там старых рабочих? Как они живут? Система зарплаты? Неужели ты там целую ночь просидел в бухгалтерии? Так, так... Провозглашаем, черт дери, одно, а на деле почти что уравниловка? Не пришлешь ли мне эти подсчеты? Да, а московский твой профессор? Не тяготится, что ты его вытащил из науки в практику? Чем его поощрил? Какая у него семья? Квартира? К чему скряжничаешь? Не мне ли о нем позаботиться?

Вот Серго спрашивает и про иное:

— А какая надобность повлекла тебя сегодня в управление?

— Я же вам сказал: никого нет, никто не мешает, можно сосредоточиться.

— Чем же занимался?

— Поднял старые свои отчеты из Англии и Германии. Мы теперь готовим технологические инструкции для получения разных марок стали. Вводим немецкое правило: каждая операция, каждая плавка только по инструкции. Никаких нововведений, отсебятин! Инструкция — единственный закон.

Пожалуй, впервые за все время, что они тут разговаривают, в тоне Потапова сквозит вдохновение. Серго давно ведом этот конек его питомца: технологическая дисциплина, неукоснительный строжайший порядок.

— Изволь действовать по инструкции! — увлеченно говорит Потапов.— Не угодно? Ударим по карману. Обучим уму-разуму.

Он не говорил: «уволим», «выгоним». Людьми он не разбрасывается. Директорам и главным инженерам заводов не спустит ни одну провинность — а провинностей по горло,— наказывает, «хлещет», но не смещает. Никакой чехарды. Серго ценит и эту его черточку.

Неожиданно Потапов тоже улыбается. Несколько впалая верхняя губа, вздернувшись, приоткрывает белые,

красивые зубы. Серго тотчас вопрошает взглядом: что-нибудь вспомнил интересное? Потапов поясняет:

— Спросишь, бывало, в Эссене, на заводе Круппа у старого мастера-немца: почему это, зачем то? И ответ один: так по инструкции.

Он рассказывает Серго некоторые истории из своей заграничной практики. Да, день отдыха. Часовая стрелка не подгоняет собеседников.

Вновь из коридора слышатся чьи-то приближающиеся шаги. Серго поворачивает голову правым ухом в сторону двери, восклицает:

— Наверное, Перселени!

И живо поднимается, не дожидаясь стука. Кстати, пора и щелкнуть выключателем: оконный свет уже стал скуповатым, далекое облако чуть розовеет.

Загоревшейся люстрой встречен вошедший Перселени. Блестки лампочек лучатся, поигрывают в слегка выпуклых стеклах круглых роговых очков. Высокими белыми бурками зима, мороз напоминают о себе. Нащипано стужей продолговатое, плавных очертаний лицо, которое, право, не знаешь, как назвать: то ли зрелым, то ли еще молодым,— Георгию Перселени, как и Потапову, минуло тридцать два,— так или иначе для Серго-то оба они молодое племя. Перселени он знал тоже еще юношей, вечно наэлектризованным, всегда с полным коробом придумок, как бы исторгающим искорки, готовым на любую опасность и одновременно исполненным серьезности, таким, кому можно было поручить требующее политического разума, гибкости, выдержки дело. У Георгия и теперь, как и тогда, слегка загнуты вверх в прирожденной улыбке кончики сочных губ.

В выразительных глазах Серго читается приязнь. Да, ему мил этот статный, большелобый, со слегка вьющимися волосами человек. А тот поправляет синеватый, в белых крапинах галстук.

— Что же ты за дверьми не позаботился о внешности?

Перселени не теряется:

— Но кто-то растворил передо мной дверь. Кто же это был?

Серго встречает смехом находчивый ответ:

— Ладно, невиновен.

Протягивает руку. Выказывает ласку крепким пожатием, не словами. В следующую минуту директор Андрианов-

ки кивает Потапову, который, вежливо привстав, коротко кланяется:

— Забирайся-ка сюда,— обращаясь к Перселени, Серго указывает на кресло.

Они садятся близ стола один против другого. Перселени вынимает свежий носовой платок, сдергивает, протирает очки. Лицо без очков выглядит мягче, моложе, завиток притаенной улыбки кажется мальчишеским. Явственно выделены густые, правильного изгиба брови.

— Ну, рассказывай о себе... Кариозные зубы удалил? Температура вошла в норму? Черт побери, нет?

— Прежняя. По вечерам тридцать семь, тридцать семь и два. Теперь хотят удалять миндалины.

— И не откладывай,— настоятельно говорит Серго.— Послушайся старого фельдшера.— Он при случае любит упомянуть о своем фельдшерском звании.— Я тебя прошу.

— Сам понимаю. Вот только проверну на заводе одну вещь. Приехал за благословением.

Серго, однако, гнет свое:

— В хирургическом мире у меня теперь завязались личные отношения. Воспользуюсь, черт дери, знакомством, устрою тебя в лучшие руки. Но не откладывай! — Изменив тон, живо продолжает: — Так какую же штуку ты удумал, директор с повышенной температурой?

— Но у меня... Нет, товарищ Серго, острить не буду.

— Почему? Начал — договаривай.

— Нет, припахивает нескромностью.

— Ну, обезоружил. Говори.

— У меня всегда останется повышенная температура, даже когда будет нормальной.

Шутка, видимо, нравится наркому. Эмоция немедленно выражается вовне, обнаруживает себя, пожалуй, даже в ямочке на подбородке. Серго бросает быстрый взгляд на молчаливо сидящего Потапова. Его точеное лицо кажется бесстрастным. Ни улыбки, ни поморщивания.

Очки Перселени возвращаются на место. Директор Андриановки опять по-директорски солиден. Серые, ударяющие в прозелень глаза снова глядят остро.

— Кстати, чтобы не позабыть,— говорит Серго.— Почему у тебя дурит, кажется, если не ошибаюсь, четвертая домна?

— Об этом, товарищ Серго, в цехе имеется едва ли не четыре мнения.

— Многовато.

— Знак времени. Здоровая, живая атмосфера интереса к технике. Споры интересны. Изложить? Или разрешите сразу перейти к корню?

— Что же, давай корень.

Перселени толково и пылко, не без красочности преподносит мысль, одну из директорских его находок. Нового типа механизированная большая домна — это внутренне завершенная основная единица производства. Это как бы броненосец с собственным машинным хозяйством в ряду таких же броненосцев в строю эскадры. А между тем громадина доменная печь до сих пор не имеет своего капитана, своего хозяина. Начальник печи — такой должности в наших штатных перечнях нет. И не только буква штатного расписания, а также и заводская практика не знает такого рода командира отдельной печи. Имеется начальник цеха, начальник смены, но начальника печи мы не завели. Тут и прокрадывается обезличка, функционалка и тому подобное. Взираем и не видим. Пусть же каждая большая домна обретет имя, отчество, фамилию инженера, который будет сполна ответственным за свою печь. Выдвинуть способнейших! Дать им права! Не стеснять инициативу! Имеешь свое понимание доменной плавки — пробуй, вводи, соревнуйся! И каждую печь — на хозрасчет! Холодные цифры покажут истинную цену твоего каления, начальник домны! Умей сплотить коллектив печи. Будем отмечать премиями, в должной мере ощутительными, коллективы лучших печей. Вот, товарищ Серго, моя идея!

Серго посверливает вопросами изложенное ему нововведение. Директору Андриановки этого только и надо. Он еще и еще развертывает аргументацию, его доводы продуманны, сильны. Потапов не вмешивается, большая голова чуть склонена набок, в скупых на мимику, правильных чертах не распознать ничего, кроме внимания. Начальник управления качественных сталей ограничивается лаконичной репликой:

— Доменные цехи мало мне известны. Не берусь судить.

Конечно, Потапову было бы нетрудно изречь какую-либо сентенцию, что-нибудь вроде «не пошла бы эскадра вкривь и вкось» или «лишь бы не развольничались», но ему претит подобная дешевка общих соображений, он либо выразит определенное мнение, либо помолчит.

Серго опять слушает, спрашивает Перселени. Да, два питомца — совсем разные. И оба сильные, хороши на своих местах. Обоих нарком одаривает доверием.

— Ты на заводе полновластен,— говорит Серго. И повторяет формулировку Перселени: — Пробуй вводи, соревнуйся! За руку тебя хватать не стану.

Директор Андриановки еще делится своими планами:

— Командирами печей назначу молодежь. Молодые инженеры как раз ко времени пришли на производство. Дело проверяет их, дает им опыт. Есть из кого выбрать!

— Слушай-ка, Перселени, ко мне дошло, что ты с других заводов подтибриваешь кадры. Обвиняют в некрасивом поступке.

— Прошу конкретней, товарищ Серго.

— Да ведь знаешь, о чем речь.

— Догадываюсь.

— Вот на тебя жалоба.— Серго берет со стола стиснутые скрепкой несколько бумаг, бегло просматривает.— Пишет Егорошвили со своего заводика. Обращается лично ко мне. Помоги, мол, товарищ Серго, найти управу. Сбежал от него молодой инженер Прохоров. Не взял расчета, не получил документов. Не понравилось-де — и удрал. А Перселени укрыл беглеца в Андриановке... Далее приложения. Приказ по заводу. Дезертир производства. Официальное обращение в наркомат: вернуть! И призвать к порядку укрывателя. Что скажешь?

Перселени ничуть не утратил бравого облика, ствол шеи над мягкой голубоватой сорочкой, как и раньше, прям, губы улыбчивы. Не убыстряя речи, не впадая в тон обвиняемого, он сообщает историю молодого Прохорова, знает, как охоч хозяин дома к рассказам о людях. Подавшись к Перселени, вслушиваясь, Серго роняет:

— Подготовился? — Оттенок скорее одобрительный, чем вопрошающий.

Перселени кивает:

— Подготовился.

И кладет штрих за штрихом, вырисовывая происшествие, главным лицом которого стал молодой инженер, младший сын обер-мастера доменных печей Андриановки.

— Рыжеусого? — вставляет Серго.

Получив подтверждение, продолжает слушать. Прохоров-младший родился и вырос в Андриановке. Поработал там еще в ученические свои годы и помощником газовщи-

ка в доменном цехе, и копировщиком в заводском проектном бюро, где создавалась, вычерчивалась конструкция нынешних могучих печей. И с тех пор влечется к ним. В институте шел первым среди однокурсников. Дипломную работу, тоже посвященную большой, механизированной доменной печи, защитил с отличием. Имел право первым выбирать место, когда выпускников распределяли по заводам. Избрал, конечно, Андриановку.

Серго не перебивает, не торопит, вникает в пространную повесть. Взглянуть со стороны — он вовсе не занят работой, обязанностью нечто решить, вольно проводит свой день отдыха.

Перселени сообщает дальнейшее. Молодой Прохоров не получил направления в Андриановку. Его с некоторым промедлением известили, что там нет свободных мест. А другие вакансии, товарищ Прохоров, к сожалению, уже распределены. Осталась лишь одна — на маленький завод с примитивными печами под начало директора товарища Егорошвили. И рвущийся к механизированным большим печам, то есть воистину на фронт, на передовую линию индустриализации, в самый ее жар, инженер оказался в тихой, глухой заводи. Оттуда он письмом воззвал к начальнику доменного цеха Андриановки. Тот ответил Прохорову: «Мы вас ждем. Приезжайте. Место вам найдется». Егорошвили, однако, не захотел отпустить томящегося молодого доменщика. Отказал и раз и два... Тогда Прохоров решился на побег. Действительно, у новых домен Андриановки ему место нашлось. Но отдел кадров его не зачисляет. И приказать я не имел права. И вот однажды заведующая отделом кадров, старая коммунистка Дорохова, родом из семьи коренных металлургов Андриановки, приходит ко мне: «Так и так, товарищ Перселени, всю историю Прохорова знаю. Не должна его оформлять без необходимых справок. Но я все-таки решила оформить. За это с меня голову не снимут?» Что же, товарищ Серго, мне ей следовало ответить?

— Наводящие вопросы задавать умеешь,— говорит Серго. Нотка, не в лад словам, раздумчива. Видимо, он еще не пришел к выводу.

Не обескураженный Перселени с прежней живостью дополняет свой рассказ. Получив место у броненосных домен Андриановки, Прохоров-младший на деле себя оказал способным, сильным техником. Мы его метим в команди-

ры одной из печей, если... Перселени и тут не прочь сострить:

— Если, конечно, не будет велено отправить его этапным порядком в распоряжение товарища Егорошвили.

Не улыбнувшись, будто и не восприняв острословия, Серго произносит:

— Каково же твое предложение?

Ответ быстр:

— Власти, товарищ Серго, у вас достаточно, чтобы отменить приказ Егорошвили.

Не переспрашивая, не выказав хотя бы видом ни да, ни нет, явно еще раскидывая мыслью, Серго поворачивается, подается к Потапову, который молчком просидел на диване, пока Перселени держал речь. Этим движением Серго как бы предоставляет слово обладателю твердого белейшего воротничка. Да еще прикладывает ладонь к плохо слышащему левому уху. Что же, маленький, крупноголовый сталепрокатчик уже составил свое мнение?

— Как же будем крепить дисциплину труда,— отчетливо выговаривает он,— строгость в технологии, ежели позволим себе подтачивать дисциплину государства, установленный порядок?

Перселени вскидывается:

— То есть если позволим себе исправить злоупотребление?

Потапова не собьешь:

— У молодого инженера имелись законные пути обжалования. Обратись в главк! Обратись даже к наркому! Дождись отпуска, поезжай в Москву, поговори в наркомате! А своевольничать, идти напролом, опрокидывая порядок, никакому обиженному не разрешено.

Пресекая спор, Серго встает. Глаза почему-то веселы. Он обращается к Перселени:

— Видишь, не могу отменить! — В знак невозможности разводит руками.— Этот твой удалец поступил анархически. Анархист по нетерпению. Есть у Владимира Ильича такое выражение.

Перселени успевает вставить:

— Есть у него и другое: анархист по недоразумению.

Возглас свидетельствует, конечно, об эрудиции статного директора. Однако Перселени, должно быть, и сам понимает, что на Серго сейчас уж не воздействуешь. Да, гулко разносится:

— А хотя бы и по недоразумению. Все же вместо государственных путей попер напропалую.

Серго обрел свойственную ему сочность языка, выражения энергичны. Почему же, однако, глаза веселы? И даже, пожалуй, посверкивают хитро. Или это, быть может, лишь кажется примолкшему Перселени?

— Не проси,— продолжает Серго.— Не уговаривай. Не могу отменить.

Твердым шагом огибает стол, садится к прозрачной пластине, какой означена площадка работы, снимает трубку одного из телефонов и, не заглядывая в абонентный, под стеклом, лист или в книжку-справочник, несколькими поворотами диска набирает недлинный чей-то номер. Эта цифирь ведет к дежурному по наркомату. Мембрана почти тотчас откликается.

— Здравствуйте,— приступает Серго.— Да, я... Вызовите мне, пожалуйста, по междугородной товарища Егорошвили.

В данном случае содействие дежурного понадобилось вследствие того, что к устарелому заводу-карлику не проложена прямая кабельная связь. Дежурный на военный манер повторяет задание наркома. Серго растолковывает:

— Если нет на квартире, пусть ищут на заводе или в городе. Проследите. Хотел бы скорей с ним поговорить. Да, да, пожалуйста... Я ожидаю.

Кладет трубку. Улыбается:

— Помню, в тысяча девятьсот седьмом году в Баку наш въедливый Егорошвили был сущим наказанием для меньшевиков.— Понижает голос, будто сообщая нечто по секрету: — Иногда и для нас тоже.

Видимо, Серго намеревается продолжить, поведать какой-то случай, но приотворяется дверь, входит нешумливая Зина, уже одетая в коричневое, теплого, что называется, цвета, выходное платье. Тонкий узор простроченной серебристой нити,— строгими нравами времени допускалось такое украшение,— вряд ли идет к широкоскулому лицу. Впрочем, яркая синева глаз все искупает. Ей, хозяйке дома, не приходится сейчас здороваться с Потаповым и Перселени, она уже их видела, когда того и другого впускала в квартиру.

— Серго,— говорит она,— Серебровские уже приехали. Я их провела в столовую. Имей в виду, у Евгении торжест-

венный день. Ей вчера дали звание профессора литературы. Защитила диссертацию о Белинском.

— Ишь! Придется, значит, поднять тост за жен.— О чем-то вспомнив, Серго оборачивается к Перселени.— Кстати, скажи-ка, не от жены ли этот твой Прохоров улепетнул?

— Нет, как раз с женой. Она была беременна, а теперь стала молодой мамой.

— Мальчуган?

— Сколь знаю, мальчуган. Обеспечен в Андриановке двумя бабушками и двумя дедушками.

— Смотри-ка,— изображая удивление, Серго прищелкивает языком,— а из тебя, кажись, и впрямь вырабатывается неплохой директор. Живьем знаешь своих людей.— И сразу выставляет перед собой обе ладони.— Отменить все равно не могу! Не властен!

Опять вступает Зина:

— Серго, зови же всех! Пойдемте.

— Пошли.— Он выбирается из-за стола.— Скажу в честь Евгении тост. Жена-профессор — дело хорошее, что и говорить! Но у нас много профессоров. И еще будут. А вот жену для Серебровского не так легко найти. Ты одна. И если уж взялась...

Требовательно громкий, протяженный звонок телефона заставляет Серго остановиться.

— Иди, иди, Зиночка, к ним.— Его пальцы коснулись Зининой руки, погладили нехоленую кожу.— Сейчас и мы присоединимся.

Еще мгновение он смотрит на жену. Затем двигается на призывы телефона. Берет трубку, не садясь:

— Давайте...— Поглядывает на задержавшихся Перселени и Потапова.— Да, у телефона. Егорошвили? Здорово. Да, Серго... Как ты живешь? — Некоторое время слушает.— Я-то? Перенес операцию... Тяну, силушка еще осталась. А ты как? — Опять слушает.— В Промакадемию? Рвешься в студенты? — Смеется.— Подумаю, подумаю... Теперь относительно твоего письма... Разобрался. Перселени меня уламывает, чтобы твой приказ я отменил. Да не волнуйся! — Слушает.— Ну, и я ему сказал: не могу отменить!.. Не могу, и баста! Да, анархизм, негосударственное поведение, недисциплинированность, мальчишество. Все ему выложил.— Опять дает выговориться собеседнику.— Не буду с тобой спорить.— Повторяет: — Да не вол-

нуйся. Объявил же ему: не отменю. Могу только обратиться к тебе с просьбой: отмени сам. Да, моя личная просьба. Прошу, а решение за тобой. Все в твоих руках.— Слушает.— Спасибо. Я так и думал, что ты мне не откажешь. Нет, нет, только ты сам. Благодарю и кланяюсь. Жму руку.

Закончив разговор, Серго уже не таит улыбки:

— Выручил я тебя, Перселени. И твоего доброго молодца. А вдруг бы Егорошвили уперся? Что тогда? — Не ожидая ответа, продолжает: — Ладно, делу крышка! Идем, товарищи, обедать... Первый тост, значит, в честь жен. Неисчерпаемая тема. Чехов в одной пьесе целый монолог посвятил качествам жены. А потом все вычеркнул и ограничился лишь тремя словами: жена есть жена! Сейчас последую его примеру... Но чокнуться могу только нарзаном.

Пропустив гостей вперед, Серго следом за ними оставляет кабинет.

ОТЕЦ И СЫН

В последующем куске не обнаруживаю ни начала, ни конца. Сохранились лишь немногие страницы, будто выдернутые из середины. Да еще краткая наметка-план.

1. Андриановка. 1934 год. Ночь. «Дед» мается, не может уснуть. Ищет себе занятие. Бродит по комнатам в голубой майке. Ему не терпится взяться за телефон, позвонить. Нет, он не звонит. Идет во двор, в гараж. Под ногу попадается ведро, отшвыривает. Сидит у гаража. Выходит жена:

— Чего мучаешь себя. Пойди на завод.

— Сами придут. Сами поклонятся.

2. «Дед» один. Все обиды припоминаются. (Найти интонацию.) Когда-то его обидел Макарычев. Снял с должности обер-мастера. Сказал:

— У меня свои работники... Я к ним привык.

Потом все-таки опять его поставил обер-мастером.

3. А разве дети не обижали? Вот и Петр нанес горькую обиду. Сказал, что сам будет выдувать печь. Такого еще не бывало. Всегда выдувкой командовал только «дед». А нынче:

— Обойдемся без тебя.

Когда-нибудь Петру это отмстится. Сын будет выдувать доменную печь и скажет: не приходи, ты мне не нужен.

4. Нет, не пойду. Но уже надел рубаху, надел спецовку.

Жена:

— Иди. Успокой сердце.

— Помогать не стану. Только издалека гляну.

...Суть: не пойду,— и пошел.

Теперь даю отрывок.

...А там, в доменном цехе, в этот глухой час,— уже после полуночного гудка, когда завод, непрерывно действующий, все же будто пустеет,— происходит выдувка домны № 6.

Выдувка — то есть освобождение печи от заполняющих ее раскаленных плавильных материалов,— обычно предшествует ремонту и считается труднейшей и, пожалуй, самой опасной операцией в доменном деле. Из раскрытой чугунной и шлаковой леток под напором рвущегося в шахту вихревого газа вылетают во все стороны, ослепляя сиянием, пламенеющие кочаны кокса и более темные, разогретые докрасна куски дробленого известняка и руды. Их тут же пригашают водой из брандспойтов; густой пар заволакивает домну; мощные электролампы проступают сквозь этот туман расплывающимися светлыми пятнами; а печь все извергает,— тоннами, вагонами,— кусковатый ворох. Уровень засыпи внутри печи постепенно понижается, обнажая раскаленные, как бы облитые розоватой глазурью, гладкие стенки печи.

Ежеминутная угроза взрыва — вот опасность выдувки. Достаточно малейшей оплошки, неточной команды, и в насыщенный доменным газом трубопровод может проникнуть атмосферный воздух, образуя гремучую смесь. Такая смесь в замкнутом пространстве взрывается с силой динамита.

Выдувкой командует молодой — двадцатичетырехлетний — инженер, начальник домны, горбоносый Петр Прохоров. Он стоит вверху на колошниковой площадке у разверстого сейчас жерла печи, излучающего розоватый свет. Оттуда пышет жаром, выносится теплый поток, невиди-

мый, как воздух. Нет, это не воздух. Это доменный газ. Здесь, будто на капитанском мостике, ничем не защищенном от ветров, от непогоды, закреплен у железных перилец рупор переговорной трубки, что уходит вниз. Тут же под рукой и телефон.

Худощавый, или, верней, еще юношески тонкий станом, загорелый начальник печи молча следит за ходом выдувки. Темная кепка, усыпанная блестками графита,— это чистый углерод, исторгаемый вместе с иного рода пылью восходящим током газа,— сдвинута назад. Мельчайшие пластинки графита посверкивают и на выбившихся русых волосах. Не опасаясь простуды, он стоит здесь в высоте под апрельским звездным небом в легкой парусиновой синей куртке. Из нагрудного простроченного черной ниткой кармана выглядывает алюминиевый стерженек: в алюминий оправлено круглое синее стекло — неизменная принадлежность доменщика.

Время от времени Петр прохаживается вокруг приоткрытого зева печи, посматривает то через синее стекло, то невооруженным глазом в ее жаркое нутро, в медленно обнажающуюся раскаленную шихту. Он уже наглотался газа, голова потяжелела, в висках ломит, однако, ничем не обнаруживая ни головной боли, ни волнения,— лишь порой поигрывая желваками,— продолжает выдувку.

В истории Андриановки еще не было случая, чтобы задувкой, а тем более выдувкой доменной печи командовал инженер. Всякий раз, как только наступал срок подобных, чреватых опасностью взрыва операций, инженеры молчаливо передавали управление мастерам, опытным практикам, наделенным и неким особенным талантом ясновидения, способностью наглядно представлять себе натуру, то есть скрытые, недоступные подчас и приборам явления, происходящие в сложной, разветвленной системе, что зовется запросто доменной печью.

В доменном цехе Андриановки таким самородком-ясновидцем по праву слыл отец Петра — рыжий обер-мастер Афанасий Дмитриевич, которого, несмотря на моложавый, даже молодецкий вид, называли на работе, как и дома, «дедом». Уже добрых два десятка лет только ему принадлежала власть при запуске и выдувке печей.

А ныне он заартачился, твердил, что домну выдувать не надо, Петр-де зря это затеял.

У «деда» имелся свой резон. Дело обстояло так. Будучи начальником печи, Петр решил выдуть ее не для ремонта,— новая, пущенная только год назад, она еще вовсе не нуждалась в каком-либо значительном, а тем более капитальном ремонте,— но лишь ради того, чтобы осмотреть стенки, прочесть, согласно крылатому среди доменщиков изречению, что же там написал огненный перст. К этому Петра побудили капризы печи. Механизированная, принадлежавшая, как и другие новые советские домны, к самым большим в мире, спроектированная учениками Курако, немало лет потрудившимися над ней, она пленила, очаровала молодого Прохорова, воплотила в себе, по его убеждению,— а он уже тонко понимал такие вещи,— самую передовую доменную технику. И вот поди ж ты,— с некоторых пор печь перестала его слушаться. В распоряжении Петра находилась мощнейшая, тоже новая, воздуходувка, можно было усиливать и усиливать дутье, форсировать ход, или, употребляя технический термин, марш, печи. Казалось бы, добавляй, добавляй дутья, и выплавка будет пропорционально возрастать. Однако увлеченные, соревнующиеся доменщики — те, которым были отданы новые домны-великаны,— вдруг повсеместно натолкнулись на сопротивление печей. Обозначилась как бы некая граница форсировки, переступишь ее, и печь словно упирается, идет неровно, с «подвисаниями», обрушениями, выбросами.

Выдача чугуна падала. Петр пытался переупрямить свою домну, но ход печи вовсе расстраивался. Так вынуждала она отказываться от форсировки, отступать. Петр ее заново настраивал, ход выравнивался, но, не смирившись, упорный, азартный, выдавшийся этим в отца, инженер опять пускал в дело неиспользованные ресурсы дутья, гнал домну быстрей и опять нарывался на какой-то неведомый барьер.

В дальнейшем появилась и еще одна странность в поведении печи. Она спокойно шла лишь, как говорят доменщики, «на неполноте». При полной же загрузке столб плавильных материалов, обычно плавно нисходящих, вдруг прекращал движение, замирал, будто заклиниваясь или во что-то утыкаясь. Петр напряженно, даже мучительно думал над этой загадкой. Почему вместо дальнейшей интенсификации возникает лишь расстройство? Каков механизм этого явления? Может ли быть, что уже достигнут

предел форсировки? Размышления приводили лишь к ответу: «Нет!» Он вновь пытался переломить капризы домны. Но в таком единоборстве лишь терял сотни тонн выплавки.

— Передуваешь! — не раз осуждающе говорил ему отец.

— Нет, логика требует другого вывода.

И сын в ясных, точных выражениях, принятых в металлургической науке, доказывал, что пропускная способность печи в единицу времени составляет величину, чуть ли не вдесятеро большую, чем та, которая ныне достигнута.

Отец раздражался, отмахивался большой, с толстыми ногтями рукой, усыпанной, как и усатое розовое лицо, крупными веснушками, не исчезавшими даже зимой:

— В единицу времени... На уме все писанина.

— Что же, мы тут не пироги с вами печем. Да и в хлебопечении есть своя теория, открывающая существо дела.

— Много она тебе открыла... Эвон сколько потеряли чугуна. Хватит нам терять из-за тебя чугун.

— Да, хватит. Нельзя дальше терять. Разве с такой производительностью можно мириться?

— А ты применись к своей печи. Дуй средственно, как ей по нраву. Силком ничего не сделаешь.

— Для меня это вопрос.

Молодой доменщик упорствовал. Вновь и вновь вспыхивали стычки с отцом, «уличные бои», как Петр однажды выразился.

— Вот, додулся! — восклицал отец, когда печь опять расстраивалась.

— Ну, додулся. Какой же из этого следует вывод?

— Полегче дуй!

— А я считаю, что надо отыскать причину, почему так получается.

— Ищи, ищи... Не нашел еще?

— Прихожу к мысли, что профиль печи где-то нарушен. В ней, по всей вероятности, есть настыль. И требуется хирургическое вмешательство.

Отец захохотал, показывая оправленный золотыми коронками нижний передний ряд зубов:

— Ха-ха... Я уж, слава богу, на своем веку повидал настылей. Ежели б наросла настыль, шло бы одним боком. Никакой настыли там нет.

— Не исключена и кольцеобразная настыль, которая сжимает живое сечение печи.

— Ха-ха... Кольцеобразная. Таких еще мы не видали. Петр усмехнулся. Ему была свойственна этакая дерзкая усмешка.

— Это, дед, не довод. Не видел, так, может быть, увидишь.

— Ты лучше мне скажи, сколько лет ты работаешь по доменному делу?

— Какое это имеет отношение к моей логике?

— Нет, ты скажи: сколько лет ты работаешь?

— К чему спорить? Выдую печь и посмотрю.

— И выдувать незачем. Опять только чугун будем терять. Сказано тебе, приноровись.

— Пока не убежден, не капитулирую.

— Ишь какой настойчивый! А толку ни собаки! — Речь золотозубого деда была прослоена подобными сочными оборотами.— И поимей в виду: я выдувать не буду.

— Пожалуйста. Обойдусь и без тебя.

— Ну, обходись. А я уйду домой. Тогда и поглядим, что ты натворишь.

Так и случилось, что Петр, получив разрешение директора, сам в глухой час апрельской ночи повел выдувку своей печи.

А разобиженный дед исполнил то, чем пригрозил: действительно ушел домой.

Молодой, не по годам серьезный начальник печи, сунув руки в карманы, машинально пощелкивая там кнопкой портмоне, похаживает по вскинутой к небу колошниковой площадке. Уже больше часа длится выдувка, загруженная в домну сыпь все опускается, обнажая розовеющие внутренние стенки. Они, однако, чисты. Нигде не заметно выпучин...

На этом повесть обрывается.

ЕГО СЛОВАМИ

Придерживаясь хронологической нити, дам попросту страницы из своей тетради беседчика, что заполнена со слов Ильи еще в нашу первую встречу в «Криворожстали».

Итак, рассказывает Коробов-младший.

...В дальнейшем я много работал над собой, старался изменить свой нрав, это удалось далеко не полностью. Однако резкость и запальчивость, которые, вероятно, подчас делали меня невыносимым, теперь в значительной степени сгладились и проявляются только в исключительных случаях.

Непомерная горячность свойственна и моему отцу. Возьмем для примера небольшой, но характерный случай.

В тридцать четвертом году в Макеевке мы осматривали межконусное пространство на моей печи. Я считал, что раз я начальник домны, то должен командовать всеми операциями. В осмотре принимали участие несколько человек из проектного бюро и ОКСа (отдел капитального строительства). Я все подготовил к работе, проинструктировал старшего газовщика, каким образом вести эту операцию, и пошел наверх вместе со всей группой.

И в последнюю минуту, когда все было готово для того, чтобы воспламенить газ в межконусном пространстве, появляется Иван Григорьевич. Его уже распирало: как это обходятся без него? Глянул и сразу же:

— Конус мало опущен.

Я сказал, что опускать не надо, потому что в таком случае получится хлопок. Незачем пугать народ сильным хлопком и пламенем.

Он аж побледнел, ощетинился:

— Пошел ты к свиньям...

— Потише, ты не дома. Здесь я начальник.

Он кричит:

— Колпаков, ты кому подчиняешься? Мне?

А тот не знает, что и говорить, кому подчиняться. Между прочим, все это мастеровое сословие было армией Ивана Григорьевича.

— Газовщики мне подчиняются,— кричит.

— Потише, потише.

Он командует:

— Опускай конус.

— Не опускайте.

— Пошел к свиньям.

— Хочешь, чтобы подпалило твои рыжие усы? Ладно, пусть подпалит.

Дед распоряжается, кричит:

— Яков, давай огонь!

Газовщик тогда сунулся с огнем, из домны полыхнуло. Отец не попятился, лишь прикрыл лицо рукой в брезентовой рукавице.

— Что,— говорю,— получил?

— Не стращай. Не страшно.

И смотрит победительно.

...В 1934 году мы, начальники печей, уже вполне освоились на своих постах, располагали всеми правами, чтобы самостоятельно вести ту или иную домну. Даже шихтовка, еще числившаяся, так сказать, за начальником цеха, была фактически передана нам.

Дело в цехе пошло в целом хорошо. Но печь, которая досталась мне, все время капризничала, причем никто в наших дискуссиях, которые средь доменщиков непрерывно возникают, не мог предложить убедительного объяснения, почему она капризничает. Я днем и ночью ломал над этим голову, лазил везде, куда можно было лезть, высматривал, подправлял, настраивал, пробовал то и это, чтобы заставить домну работать без капризов. Чего-то добивался, но не был удовлетворен: домна могла выдавать больше. И снова перелаживал, искал.

Гвахария надо мной подтрунивал. Не ругал, не прибегал к повышенному тону, не становился сух или холоден со мной, а именно трунил.

— Вот,— говорит,— не угодно ли, есть у нас человек, который прекрасно рассуждает, развивает умнейшие идеи и, судя по его идеям, может отлично руководить. Однако делом почему-то этого не подтверждает.

Я ему отвечал:

— Не буду оправдываться. Возможно, я впрямь такой никчемный человек, который не может заставить домну работать наилучшим образом. Но у нас есть тузы, фигуры куда более солидные и почтенные, чем я. Пожалуйста, поставьте их на мою печь, а я постою в сторонке. Может быть, из этого что-нибудь и выйдет.

— Когда надо будет, поставлю.

— А чего же ожидать? Пожалуйста, ставьте.

Гвахария поручил Ивану Григорьевичу понаблюдать за моей печью. Отец сидел-сидел, глядел-глядел, дал заключение:

— Много дует, надо меньше дуть.

Я говорю:

— Попробуйте.

Иван Григорьевич взял командование, повел печь по-своему, но вместо того, чтобы увеличить выплавку, дал показатели меньше моих. Опять домна перешла ко мне, опять я ладил, перелаживал ее ход.

Как раз в это время к нам на завод приехал Орджоникидзе. Весна. Хороший солнечный день. Снег уже сошел. Орджоникидзе начал обход цеха с северной стороны. Моя печь — крайняя с юга. На рабочей площадке было чисто. Мы подготовились к его приезду. Уже чуть вечерело, когда он наконец добрался к нашей печи. Шагал в длинной шинели, в защитного цвета фуражке. Проведя весь день на заводе, он, наверное, уже устал. Его кавказское с седеющими усами лицо мне показалось бледноватым. Видимо, несмотря на усталость, он считал нужным обойти все шесть печей. Его сопровождали несколько человек, в том числе Гвахария. На других печах нарком разговаривал с горновыми. Чугуновозные ковши, уже поданные к стенке литейного двора, ожидали выпуска. Орджоникидзе оглядел нашу механизацию,— пневматический бур, пушку Брозиуса, кран. Гвахария представил меня:

— Познакомьтесь, товарищ Серго. Это младший из сыновей нашего обер-мастера. Самый молодой у нас начальник печи. Достижениями еще не успел блеснуть. Все в будущем.— Он опять слегка надо мной трунил.

Орджоникидзе пристально на меня взглянул, как бы запоминая. Затем опять посмотрел в сторону горна:

— Подготовляете выпуск?

— Да.

— Выпускаете по графику?

— К сожалению, против графика запаздываем.

— Почему же?

— Печь идет неровно. Кое-что меняю в режиме выплавки. Возможно, приближусь к оптимальному решению. Печь пока реагирует некоторым затормаживанием. Через это надо пройти.

— А в Днепропетровске ваш старший брат добился соблюдения графика. Все у него по графику. Здорово работает.

— С ним еще померяемся. Соревнование не закончено.

А Гвахария сказал:

— Ты хоть план бы выполнял.

Орджоникидзе вдруг будто отбросил утомление, заговорил пылко:

— Да, это никуда не годится: план не выполнять. Это уж самое худшее. Поиски, опыты, дерзания я, черт дери, всегда готов благословить, но прежде всего ты при любых условиях обязан выполнять план.

Потом он еще зашел в контрольно-измерительную будку, осмотрел приборы, вернулся на литейный двор, где уже бежал, стреляя искрами, озаряя все вокруг поток выпускаемого чугуна. Постоял, любуясь. Лицо раскраснелось в жарких отсветах. На прощание он мне сказал:

— Ты подтягивайся, подтягивайся. Некрасиво не выполнять план. Особенно тебе, потомственному доменщику. План для каждого из нас закон!

Конечно, такое не забывается.

В результате поисков я пришел к заключению, что моя печь дает наилучшие результаты, если работать на ультракислых шлаках с высоким содержанием марганца и при весьма высокой температуре дутья. Установив эту закономерность, я добился плановой выплавки. И даже несколько превышал план. Но все равно был недоволен, не сомневался, что от моей печи можно взять гораздо больше.

В нашем внутрицеховом соревновании я уже занимал неплохое место. Первенство удерживал Волков — начальник печи № 4. Я почти не отставал от этого моего социалистического соперника, хотя и считал, повторяю, эффективность своей домны неудовлетворительной.

В этот период вся металлургия шагнула довольно далеко вперед. Гвахария в какой-то день впервые произнес слово «рентабельность». Собрал у себя в кабинете небольшое совещание и сказал, что надо добиться рентабельности в черной металлургии, добиться такого положения, чтобы завод не запускал руку, как он выразился, в карман государства, а мог бы маневрировать лишь оборотными средствами, которые нам выделены, да и не только оборачиваться, но и приобретать некоторые накопления.

Для обоснования такого шага, для обнаружения всяких источников рентабельности были от нашего цеха привлечены Волков и я. Требовалось дать анализ и решить, возможно ли в наших условиях с определенной напряженностью работать безубыточно. Я загорелся этим делом, вел подсчеты, пересчитывал и один и вместе с Волковым. У нас получилось, что при нормальных условиях, то есть соблю-

дая на всех печах режим ровного хода, а также проявляя строгость в отношении качеств агломерата, используя в шихте колошниковую пыль, мы сумеем не только избежать убытка, но и дать в год миллионы рублей прибыли.

Я так и доложил на следующем совещании у Гвахария. Наши подсчеты были выверены, детализированы в плановом отделе. Опираясь на это, Гвахария от имени нашего завода объявил в печати, что мы переходим на безубыточную работу и вызываем все другие металлургические предприятия на соревнование по рентабельности.

Нам оставалось только выполнять тот план, ту наметку, что мы сами составили. Был введен так называемый бригадный хозрасчет. Наш народ буквально пламенел, воодушевлялся тем, чтобы показатели Макеевки не оказались ниже, чем на других заводах. Я увлекался, опьянялся этим соревнованием, рентабельностью, хозрасчетом.

Наши хорошие дела всячески поощрялись. Несколько инженеров-макеевцев были командированы для изучения опыта в длительную — четырехмесячную — поездку по заводам Америки. Я тоже был одним из командированных. Это путешествие — знакомство с Америкой — оказалось немалым событием в моей жизни доменщика.

ПИСЬМО ДОМОЙ ИЗ КРИВОРОЖСТАЛИ

21 февраля 1938 года

...Беседы идут очень хорошо. Каждый день мой собеседник выкраивает для меня три-четыре часа. Рассказывает подробно, вдается иной раз во всякие проблемы техники (он по преимуществу техник, техника — его сила, призвание, любовь), отвлекается на рассуждения, в которых отражено нечто им выношенное. Мне это все интересно, все кажется значительным, я даю ему полную волю, не заставляю сжиматься, не поторапливаю.

Но меня самого, к сожалению, подхлестывает одно противнейшее, ну его к черту, обстоятельство: подходит конец деньгам. Через сутки-другие уже нечем будет платить ни за номер в доме приезжих, ни за еду, останется лишь неприкосновенный капитал на билет в Москву.

Задержусь до последней крайности, но все-таки придется вот-вот уезжать.

А жаль. Очень-очень жаль. Еще много нерассказанного. Вчера он начал говорить о своей поездке в Америку. И мне пришлось с тайным скорбным вздохом его прервать. Я объяснил, что Москва-де меня требует к себе (ох-хо-хо, сочинил что-то правдоподобное).

— Америку,— предложил я,— если не возражаете, отставим до следующей встречи. Я к вам обязательно приеду вновь, опять стану расспрашивать. А теперь, пока я еще пробуду здесь, хотелось бы как-то охватить целиком ваш путь.

Он, конечно, согласился.

Я счастлив, что мне встретился, или, так сказать, достался, этот молодой доменщик, которым я сразу увлекся (иногда я даже одергиваю себя: не идеализируй!), достался человек, который обстоятельно, с готовностью раскрывает свою жизнь, свои дела. Меня, как ты знаешь, всегда трогала и трогает такая готовность. Чем же могу на нее ответить? Только работой.

ЕЩЕ РАЗ У ОРДЖОНИКИДЗЕ

На листке, что отыскался среди прочих бумаг, перечислены вопросы, которые я, беседчик, загодя вписывал для памяти. Теснимый близящимся сроком отъезда, направляю беседу этими вопросами. Подошел черед и строчке: «Еще встречи с Серго Орджоникидзе». Сейчас опять перебеляю тетрадную давнюю скоропись.

...Не встречи, а только еще одна встреча. Это случилось в июле 1936 года, то есть уже после моего возвращения из Америки.

Наш завод был по-прежнему пионером хозрасчета. Я оставался рьяным участником этого дела, любил выразить рублями и копейками успех в соревновании.

Кое-какие связанные с хозрасчетом вопросы требовалось, что называется, трясти в ГУМПе (Главном управлении металлургической промышленности). Туда вместе с нашими заводскими плановиками был послан и я. Обсуждения, выверки оказались кропотливыми, мы долго в Москве прожили.

В какой-то день я в ГУМПе увидел отца, принаряженного, причесанного, веселого. Он мне объяснил:

— Привез ведро кокуса.— Отец всю жизнь говорил не кокс, а «кокус».— Поставил прямо на стол Гуревичу (Гуревич был начальником ГУМПа). Пущай видит, какой дрянной кокус мы получаем.

Вместе с отцом из ГУМПа пошли к Клаве. Сели обедать. И вдруг раздался необычно сильный, пронзительный телефонный трезвон. Трубку взял я. Слышу:

— Говорит Семушкин, секретарь товарища Орджоникидзе. Мне нужен Иван Григорьевич. Он у вас?

— Да.

— Попросите его. С ним будет говорить товарищ Орджоникидзе.

Каждое слово отчетливо вылетало из мембраны, слышалось на расстоянии. Отец забрал у меня трубку. Мы узнали голос Серго:

— Что же ты, товарищ, приехал в Москву и не позвонишь? Хорош друг.

— Вы же, товарищ Серго, заняты.

— Всегда звони, как приезжаешь. А то буду обижаться. Здоров? Семья как поживает?

— Все хорошо. Здоровы.

— Внучка подрастает?

— Уже ей годик. Ходит.

— Твоих рыжих усов боится?

— Спервоначалу забоялась, задичилась. А после дозволила взять себя на руки.

— Счастливый... Надо бы нам встретиться, поговорить. Когда ты сможешь?

— Я здесь, товарищ Серго, хожу без упряжи. Всегда свободен. Тут и мой младший.

— Приходи с ним. Давай встретимся завтра в наркомате в одиннадцать утра. Согласен?

— Будем, товарищ Серго, как вы сказали.

— Так до свидания. Приходите.

— До свидания.

Отец приподнял нос (именно такое выражение было употреблено моим повествователем), расправил усы, нас с довольством оглядел.

На следующий день он уже спозаранку не знал покоя. В наркомат мы с ним пришли к десяти часам утра. К кабинету Орджоникидзе примыкали две комнаты. В первой было совсем пусто, во второй сидел за столом один из секретарей наркома Маховер, молодой, аккурат-

ный, быстроглазый. Кому-то лаконично отвечал по телефону:

— Нет.

И снова:

— Нет.

Затем отрезал:

— Сколько раз вам повторять? Доложу. Позвоните завтра.

Потом по другому телефону опять с кем-то отрывисто, сухо разговаривал. Но нам выказал расположение, приветливо встал, улыбнулся, обратился к отцу по имени-отчеству:

— Иван Григорьевич, что же вы так рано? Товарищ Серго будет только к одиннадцати.

Усадил нас, подал свежие газеты и журналы, помогая скоротать ожидание.

Было примерно без четверти одиннадцать, когда в комнате появился директор Московского автомобильного завода Иван Алексеевич Лихачев. Уже тогда он пользовался широкой известностью. Серго раза два в теплых выражениях говорил о нем в печати. Маховер и его встретил приветливо. Плотный, с выпуклыми массивными плечами, одетый в военную, хорошего сукна гимнастерку, подпоясанную на немного выступавшем животе командирским широким ремнем, Лихачев, завидя Ивана Григорьевича, сразу к нему зашагал. И, не стесняя голоса, воскликнул:

— Тезка, здорово!

Они, сколь знаю, познакомились на отдыхе, на юге, там меж ними быстро завязалось что-то вроде приятельства. Теперь Иван Алексеевич обнял, стиснул Ивана Григорьевича. Они расцеловались. Лихачев оповестил:

— Дела идут. Уже выпускаем шестиместные ЗИСы.

— Это не для меня,— сказал отец.— Это, брат, для больших начальников.

— Ничего. Дорастешь, старик, до ЗИСа.

Они еще поговорили об автомобилях, о разных новшествах в моторе, в коробке скоростей, в шасси. Потом Лихачев подошел к Маховеру, стал о чем-то с ним шептаться. Тот отрицательно тряс черпявой головой. К нам доносилось:

— Не могу, Иван Алексеевич, не могу.

Но Лихачев опять что-то шепчет ему в ухо, нажимает, уговаривает. Чего он хочет — не улавливаю.

Вот какой-то шумок послышался в закрытом кабинете Серго. Шушуканье в приемной прервалось. Догадываемся — Серго вошел к себе через свою дверь.

Маховер вынул расческу, подправил блестящие черные волосы и отправился к Серго. Обождав минуту, туда прошел и Иван Алексеевич. Прикрыл за собой дверь. И вдруг сквозь затворенные створки мы услышали гневный выкрик Серго, потом дверь, наконец, распахнулась, побагровевший, вспыливший Серго вытащил за руку из кабинета в приемную здоровенного директора. За ними следовал смущенный Маховер. Серго кричал:

— Ты зачем его пустил? Что, он взятку тебе дал? Пообещал машину? А ты, любезнейший, фуксом не лезь! — Он проволок упиравшегося Лихачева до середины приемной.— Посиди-ка, подожди. Я тебя не приглашал. Я вот кого пригласил. Уважай моих гостей.

И, уже остывая, направился к нам, вспомнил любимое присловье моего отца:

— Экие, Иван Григорьевич, бродяги.— Рассмеялся. И опять повернулся к Лихачеву.— Посиди. И в другой раз веди себя приличней.— Пожал нам руки.— Идемте ко мне.

В кабинете он сел с отцом на диван, я устроился рядом на стуле. Серго сказал:

— Черт дери, влетел нахрапом...

Иван Григорьевич вступился за Лихачева:

— Так это же ради дела. В деле, товарищ Серго, и я парень таковский.

— Все еще парень? А сколько у тебя уже внучат?

— Пятеро.

Серго подзадорил отца рассказать о внуках. Иван Григорьевич любил эту тему, но тут стеснялся, сдерживал себя. Затем перешли к заводским делам. Серго спросил:

— Почему стали хуже работать?

— Плохой кокс, товарищ Серго.— Отец, как было уже сказано, выговаривал «кокус».— Горловский завод, сколько мы на него ни жалуемся, подает мусористый кокс. Я привез с собой ведро этого кокса, поставил товарищу Гуревичу на стол. Надо, товарищ Серго, чтобы вы подействовали на горловцев. А то мы замучились.

— А сами вы что сделали? Бывали в Горловке? Делегацию или бригаду своих доменщиков туда посылали?

— Нет, пока таким манером не встревали.

— Однако Горловка же у вас под боком. А вы вместо того, чтобы повоевать на месте, пишете жалобы в Москву. Эти бумажки да и твое ведро, если хочешь знать, есть не что иное, как примиренческое отношение к безобразию. Обратитесь к самим горловцам, съездите к ним, мобилизуйте, приложите свою руку, чтобы получить хороший кокс. Да и ты должен бы туда отправиться. Вот там и покажи, что ты парень таковский. А слезницы — штука нехитрая!

Отец кивал, соглашался, обещал «встрять». Потом Серго стал меня расспрашивать об Америке. Я рассказал несколько эпизодов, в частности про встречу с инженерами-доменщиками на одном крупном заводе. Им было известно, что американские фирмы Фрейн и Мак-Ки спроектировали доменные печи Кузнецка и Магнитки. Когда от меня они узнали, что эти домны выдают ежесуточно 1100—1200 тонн чугуна, кто-то даже привскочил: «Зачем же вы приехали?» Оказывается, на точно таких же печах они далеко не дотягивают до нашей выплавки.

Серго воскликнул:

— Э, они у нас еще не так будут привскакивать.

Я сказал, что мы, советские доменщики, ищем решения технических проблем, которые ставит перед нами задача форсировки, то есть ускорения хода печей. У американцев я новых решений не нашел. Там иные условия: имеется значительный резерв бездействующих домен, их попросту пускают в ход, если нужно увеличить выплавку.

— Что же тебе дала поездка? — спросил Орджоникидзе.— Чему-нибудь там поучился? Увидел у американцев какие-либо качества, особенности, которыми они нас превосходят?

— Да. Я бы, товарищ Серго, выделил прежде всего дисциплину.

— А ну-ка например?

Я взял обыденнейший случай. Иду, предположим, у нас по литейному двору, вижу, что какая-нибудь ненужная вещь, скажем, старое сопло, валяется. Говорю мастеру: «Куда смотрите? Это надо убрать». Прохожу там же через три-четыре часа и почти наверное натолкнусь на это же

неубранное старое сопло. «Почему не убрали?» — «Сейчас уберем». В Америке такая недисциплинированность немыслима.

Орджоникидзе воскликнул:

— Иван Григорьевич, сын-то у тебя выравнивается. Дело говорит! — И опять ко мне: — А еще чем превосходят?

Отец вставил:

— Ты покороче. Товарища Серго ведь ожидают.

— Не торопись,— сказал Серго.— И его не подгоняй. Когда еще с вами увижусь? Ну, так чем же?

Я ответил, что много раз был удивлен сдержанностью, невозмутимостью американцев во всяких житейских обстоятельствах.

Серго вдруг выговорил:

— Да, черт дери...

Вспомнилось, как он в ярости только что выволакивал Лихачева из своего кабинета. Лишь тут я сообразил, как его затронули слова о сдержанности.

— Черт дери,— повторил он.— И у англичан тоже есть правило: сначала сосчитай до десяти, а уж потом молви. Еще Владимир Ильич как-то говорил, что он этого придерживается. Думаю, и тебе полезно это знать.

— Я, товарищ Серго, именно себя имел в виду.

— Э, хоть до пяти,— он засмеялся,— научиться бы считать.

Иван Григорьевич сказал:

— Мы уже пойдем. Вам надо работать.

— Сиди, сиди... Тебе моя какая-нибудь помощь не нужна?

— Мне не совсем удобно. Но это моя слабость...

— Ну, ну... Чего же мнешься?

— Да вот машина, которую вы мне подарили... «Газик»... Теперь выпускают «эмочки». Гляжу на них, мечтаю... Хотел бы, товарищ Серго, поменять.

Я произнес:

— Эх, какой нахал у меня отец! Плохо работаем, а машину просит.

Моя реплика рассердила Серго:

— Нет, молодой человек. Он уже заработал двадцать машин. Ты на своем веку заработай столько.

Мы распрощались с Серго. Больше я его не видел.

На этом, собственно говоря, закончились тогдашние мои беседы с начальником доменного цеха Криворожстали. Дальнейшее пока мы отложили.

Однако как бы вне или промеж этих бесед, большей частью когда я уже складывал тетрадку или в иную вольную минуту, младший сын макеевского обер-мастера выкладывал разные охотничьи истории, возможно, и не сознавая, что в них тоже таится своя характерность. Я тут же или чуть спустя по неостывшему впечатлению делал заметки. Ныне в моих записях там и сям их обнаруживаю.

Вчетвером

1926—1927-й. Летом по воскресеньям мы ходили на охоту вчетвером с одним ружьем — Павел, Николай, я и жена Павла Галя. Павел был сменным инженером, Николай — студентом, я — школьником в фабзавуче. С нами собака Баян, необыкновенная умница.

Выходили в поле на перепелов. Условие такое: первым получает ружье Павел, промазал — отдает Николаю, тот не попал, ружье передается мне. Промажу — ружье опять идет по кругу. Галя была только сопровождающей, сочувствующей. С охоты приносили десятка полтора-два перепелов.

Вначале лучше всех стрелял Павел, потом первенство перешло к Николаю, он был выдержанным охотником, не горячился. А последний сезон, то есть летом 1927-го, я держал лидерство. И когда ружье попадало ко мне, то не скоро от меня уходило.

В 1928-м наши совместные хождения на охоту кончились. Павел и Галя уехали в Енакиево. Он там стал начальником цеха, завел себе новое ружье. А старое оставил на мое попечение.

Поохотились

Первая охота с женой. Первый день охотничьего сезона (1933). Мы молодожены. Поедем вместе на охоту. Будем вместе ходить, это так интересно.

В ночь на первое августа сели в отцовскую машину. Отец для такого случая дал свою машину. Проводил нас и пошел в завод. Едем вдвоем. С нами еще один спутник — Баян.

Отмахали больше полусотни километров, заехали за Ясиноватую. Чуть посерело. Рассветает. Вот хорошая обширная пустошь. Вдалеке пруд. Я поставил машину, надел патронташ.

— Ну, жена, пошли.

— Ой, не хочется. Холодновато. Я посплю.

Я подумал: в самом деле, провели ночь без сна, пусть отдохнет. Легла калачиком на заднем сиденье.

Мы с Баяном двинулись в поле. Первый заход. Настреляли перепелов. Вернулись к машине. Жена сладко спит, сквозь сон причмокнула. Будить? Посмотрел на Баяна. Он словно бы все понимает, зовет взглядом: пойдем.

Ну, будь по-твоему. Отправились с Баяном на второй круг. Дошли почти до самого пруда. Опять возвращаюсь с добычей. Время пролетело незаметно. Уже поднялось солнце. Женушка спит. Бужу.

— Вылезай. Пойдем охотиться.

— А может быть, я здесь посижу?

— Пойдем. Это так интересно.

Выбралась на волю.

— Мне тут не нравится. Жарко. Поедем в лесок.

— Да в лесу теперь никакой охоты.

— Там погуляем, посидим.

Опять зашагал только с Баяном. Убил еще несколько перепелов, коростелей. И поехали домой. Поохотились.

«Вот каков завод Криворожсталь!»

Расскажу еще одну веселую историю из моего житиябытия здесь, на Криворожском заводе.

Январь 1938 года. Все заводское руководство — молодые. Главный инженер Левин, директор Ивановский, я — начальник доменного цеха.

Как-то в субботу я приехал из цеха часов в шесть-семь вечера. Несколько позже звонит Ивановский, на редкость живой человек. Спрашивает:

— Как дела?

— Все хорошо.

— Ты завтра не собираешься на охоту на зайцев?

Отвечаю:

— Никуда не еду. Не до зайцев. Использую свободный день, чтобы заняться в цехе некоторыми делами, которые пока откладывал.

— Превосходно. А мы с Левиным решили вырваться завтра на охоту. Ты остаешься на заводе главным начальником. Бери бразды правления.

На другой день рано утром я принял по телефону рапорт заводского диспетчера. Попозже вызвал машину. Жена собралась в город, а я в завод. Прислали пикап. Жена села в кабинку, я забрался в открытый кузовок.

Морозный, ясный день. Едем укатанной дорогой. С левой стороны шапка густого пара над брызгальным бассейном, справа снежное поле без конца, без края. Вдруг примечаю: здоровенный заяц около брызгального бассейна — скок-скок. И лег — исчез. Стучу в крышу кабины:

— Тут притаился заяц. Назад! Возьму дома ружье.

Вернулись. Забрал ружье. Едем к брызгалкам. Стоп! Соскакиваю. Пробираюсь по глубокому снегу. Иду, иду, заяц не поднимается. Еще шаг, другой. И вдруг он как шарахнется, взвихрились комочки снега. Я, не торопясь, выцелил, трахнул, ухлопал. Подошел, сцапал его за уши. Опять домой. Оставили там зайца. И снова поехали.

В цехе занимался весь день делом. Вечером принял рапорт. Приехал домой. Ободрал зайца. Лег уже спать. И опять, как вчера, звонок Ивановского:

— Здравствуй. Ну, как правил заводом?

— Хорошо. Благополучно. План перевыполнен.

— А мы с Левиным застряли в сугробе на своем ЗИСе. Восемь часов прокапывали себе дорогу. И выстрелить не удалось. Слава богу, попали домой. Отдыхаем.

— Что же, случается.

Пожелали друг другу спокойного сна.

Рано утром, часов в семь, он опять звонит:

— Ты что же мне не сказал, что зайца в заводе подстрелил? Весь день на работе — и зайца убил.

Мой повествователь усмехнулся, заключил:

— Да, вот каков завод Криворожсталь!

ЕГО НЕКОТОРЫЕ РАССУЖДЕНИЯ

Эти рассуждения Коробова-младшего мне привелось выслушать тогда же, в Криворожстали.

...Если задать мне вопрос о том, кем я хотел бы быть, я ответил бы: человеком, прекрасно знающим свое дело, свою специальность.

В студенческие годы я исповедовал тезис: техника — это все. Однако потом мои понятия несколько изменились. Такие изменения заставила сделать сама жизнь. Я убедился, что техника — это только часть того, что мы называем «все».

Если я поглощен техникой, захвачен ею, то, конечно, уже представляю собой довольно ценного работника, но необходимы еще и другие качества, если ты хочешь достигнуть действительно отличных результатов. Ведь эту технику я насаждаю и осваиваю не своими руками. Все мои указания, инструкции, замыслы, схемы, проекты осуществляются рабочими, мастерами, то есть множеством людей, и если не будет таких предпосылок, как соответствующая дисциплина, сплоченность, понимание задачи, которую ты ставишь, то будь ты хоть семи пядей во лбу, твоя армия неизбежно так переврет, перековеркает твои указания, что от них останутся рожки да ножки.

Поэтому сама жизнь от тебя требует умения объяснить народу те намерения, которые ты хочешь реализовать, умения повести дело так, чтобы до полной ясности столковаться хотя бы с низовыми командирами, а потом не раз и не два это проверить, организовать систему такой проверки и дополнительного терпеливого труда, чтобы тебя уразумели. Это дело далеко не второстепенное. Я, например, знаю целый ряд неплохих техников, которые, однако, годами работают неважно именно из-за того, что их мысли, их знания при передаче, при трансляции искажаются, как в испорченном телефоне.

Таким образом, техникой надо владеть, быть неостывающе в нее влюбленным, но вместе с этим умей и организовать людей. Найди в этом свою прелесть. Надо им показать, где главное, почему главное. Надо, чтобы люди это поняли, усвоили, оценили, только тогда рождается атмосфера единства, единения и приходят хорошие результаты.

Перед студентом, перед молодым инженером, как звезда, сияет техника. А та истина, что развитие этой техники, каждый успех достигаются общими усилиями, научно не разрабатывается, остается в лучшем случае в тени. Молодой инженер над этим не задумывается. О технике мы можем спорить, толковать многими часами, а об искусстве управления людьми между инженерами разговоров не бывает.

Моего сына я буду воспитывать так, чтобы он пораньше понял роль человека, человеческих отношений в производстве. Не хочу, чтобы сын вырастал сугубым техником...

У ПАВЛА ИВАНОВИЧА

Ограничусь пока этими кусочками, которые как бы сами собой привели нас к Павлу.

До поездки к нему, директору Магнитогорского завода, я еще какое-то время пробыл в Москве. В одном тогдашнем моем письме нахожу следующие строки:

...Раздобываю деньги, чтобы ехать в Магнитку. Туго с деньгами, ох, ох, ох... И все эти дни работал, работал как черт. Лишь одно с утра до ночи занимает, поглощает меня: Коробовы, Коробовы, Коробовы.

Приезжал к Николаю Ивановичу к девяти утра, сопровождал его на службу, сидел у него в кабинете, бывал на его лекциях, вместе с ним отправлялся на заседания. Вечерами беседовал то с ним, то с Марией Ивановной (его женой), то с Клавой. Встречался, разговаривал и с Бардиным и с другими металлургами.

Хоть бы удалось написать хорошую книгу!

* * *

Вот наконец еду к Павлу Коробову. Записываю:

14 мая

...Только что приехал в Магнитку. Выслали за мной машину, приготовлен заранее номер в гостинице. Из моего окна вид на доменные печи. Я ни с кем еще не видался и не знаю, как пойдет работа. В вагоне отдохнул и чувствую себя в форме. Здесь вымылся, позавтракал. Сейчас по московскому времени семь часов утра, по местному — девять. Выхожу звонить Коробову.

15 мая

...Уже прошел второй день моего пребывания в Магнитке.

Первый день, то есть вчера, я с Коробовым не виделся. Оказалось, к нему неожиданно прилетел на самолете его

друг нарком внутренних дел Башкирии (ранее работавший в Магнитке), и Коробов провел с ним несколько часов. Встреча и работа начались, собственно, сегодня. Впечатление очень сильное.

Но об этом потом. Расскажу сначала, как меня устроили. Устройством ведает Галина Станиславна, жена Коробова. Она вчера приняла меня, извинилась. По манерам, по внешнему впечатлению это светская женщина, любезная, ловкая, воистину жена директора, занимающаяся многими необходимыми мелочами, на которые ему самому не стоит тратить времени. Однако чувствуется, что за этим ее обличьем таится что-то иное, значительное, интересное и, пожалуй, глубокое. Что именно, пока не знаю.

Как я уже писал, меня сначала привезли в центральную гостиницу, однако, по распоряжению Г. С., я был переведен оттуда в Березки (дачный поселок в пяти-шести километрах от завода, где живет и Коробов). Здесь мне дали комнату,— как видно, бесплатно или по несравненно более дешевой цене, нежели в гостинице. Подозреваю, что мое переселение было отчасти связано с тем, чтобы мне не платить за номер. Наверное, Г. С. откуда-то знает о моих трудных делах. В тот же день комнату начали белить и красить (меня временно перебросили в соседнюю). Для сообщения с заводом, для всяких поездок могу пользоваться машиной. В общем прием отличный, хотя светская любезность как-то сковывает. Не по мне.

...Итак, сегодня я первый раз встретился с Павлом Ивановичем. Провел с ним около семи часов. Сперва сидел у него дома, он занимался депутатскими делами, потом я поехал с ним на завод, ему везде сопутствовал. Впечатление, как я сказал, сильное. Внешностью он похож на Николая Ивановича, но лицо, пожалуй, более одухотворенное.

Что меня поразило? Его человечность. Да, да, человечность, внимание к человеку, даже любовь к человеку. Этого я еще не замечал в Коробовых. Он занимался, как депутат Верховного Совета, письмами, жалобами и т. д. Какая там бездна и горя, и страдания, и стремления осуществить что-то хорошее, и просто курьезов. И к любому заявлению он подходил с сочувствием, с готовностью помочь ощутимо и быстро.

И на заводе меня поразило, что он не ломает людей, не

подминает велениями, властью, а воспитывает. В нем чувствуется крупный человек. Хочется произнести: новый человек. Буду рад, если это действительно окажется так.

17 мая

...Положение на Магнитке замечательно интересное. Я уже в Москве знал, что нарком критикнул Павла Коробова. Выразился примерно так: «Мы вас очень уважаем, уважаем вашего отца, всю вашу металлургическую семью, но план выполнять надо». Эти слова обожгли Коробова и встряхнули всю Магнитку.

До сих пор здесь считалось так: получаем мы восемьдесят процентов запланированного для нас угля (из Кузбасса), а даем восемьдесят три процента чугуна, значит, все идет хорошо. Теперь магнитогорцы поставили себе задачу (это первым сделал Коробов): даже недополучая двадцати процентов угля, все же давать полностью плановую выплавку. То есть снижать, снижать, снижать расход кокса. И добьются своего, не сомневаюсь. Нехватка вызывает новый подъем заводского дела. Это мне рисуется как сюжет главы о Павле Коробове. Конечно, там необходима и иная, так сказать, внутренняя сквозная нить: его образ, характер, и похожий и не похожий на других Коробовых, его путь к тому человеку, каким он стал сегодня.

Работы предстоит очень-очень много: беседы с Коробовым, с магнитогорцами. Схватывание черточек, схватывание сути.

Приглядываюсь к Галине Станиславне. Я уже писал, что это тоже интересная личность. Возможно, следовало бы отдать ей не меньше внимания, чем самому Коробову. Боюсь, что для этого у меня не хватит времени.

Вчера целый день был с Коробовым на рудных разработках на горе Магнитной. Его неутомимость меня поражает. Мы карабкались по кручам, все устали, а он шел дальше и дальше. Мои ботинки здорово пострадали от этого путешествия. Сейчас сижу у сапожной мастерской, мне подбивают подметки, а я не теряю времени, пишу эти строки.

24 мая

...Работаю с упоением, с жадностью. Чувствую себя бодро, отлично. Не знаю, куда и делась московская усталость. Целые дни провожу с Коробовым. Куда он, туда и

я. Он после обеда не отдыхает, и я не отдыхаю. Он возвращается домой в два, в три, в четыре часа ночи, и я тоже. И не чувствую сонливости, не становлюсь мрачным,— наоборот, весел, доволен, оживлен. Вот что значит жадность к материалу, увлечение. Боюсь минуту пропустить без Коробова — а вдруг он в эту минуту скажет что-то значительное, что-то для меня важное.

Мне удалось установить с ним контакт, чувствую, он относится ко мне с доверием. Этого я достиг, очевидно, тоже преданностью своей работе.

Сегодня у нас состоялась первая беседа. Мы говорили всего полтора часа, но какой интересный внутренний мир приоткрылся мне. Оказывается, когда Павел окончил среднюю школу, то целое лето мучился над вопросом, кем быть, куда идти учиться — в литературный вуз или в технический. Я про это уже слышал от Ивана Григорьевича, но как-то не придал значения. А Павел, оказывается, мечтал о писательстве, много писал и серьезно к этому относился.

Меня уже тянет сделать какой-то набросок о нем, однако еще рано, рано. Я ведь пока лишь прикоснулся, лишь начал проникать в эту натуру. Впереди еще работа и работа. Иначе ничего не достигнешь.

* * *

ПОВЕСТВУЕТ ПАВЕЛ КОРОБОВ

Вот сохранившиеся у меня страницы, где я записывал рассказ Павла Ивановича.

...В самом раннем детстве был такой случай, о котором я даже не помню,— мать рассказывала. Я в то время был в семье еще единственным, другой ребенок ожидался. При этом мать не только занималась всякими домашними делами, но и к полдню носила отцу обед на завод. Отец работал по двенадцать часов в день с шести утра до шести вечера. Когда мать уходила с обедом на завод, я этим пользовался, чтобы удрать из дома. Не могу вспомнить сам, но из рассказов матери знаю: любил бродить.

Однажды я ушел очень далеко. Вернулась мать домой,— меня нет. Она туда, сюда,— пропал. Всю колонию обегала, не нашла. Побежала опять, а я, трехлетний странствователь, уже иду навстречу, держу путь к дому. Тут у

нее смешанное чувство: и выпороть хочется меня, и в то же время рада, что нашла. Привела, немного отстегала полотенцем, я сижу на крыльце, плачу. Она опять чем-то занялась. Потом хотела подметать, хватилась веника,— что такое, исчез веник. Оказывается, я на венике верхом опять куда-то уехал, и нашла она меня где-то на краю колонии.

В дальнейшем появился еще ребенок, и тут уж не до меня,— лишь бы пришел домой. Прибежишь, кусок хлеба схватишь, и опять из дома, да еще норовишь, чтобы тебя не видели, а то задержат дома. С утра и до темной ночи бегаешь без шапки, босиком. Придешь домой грязный, мать усмотрит — вымоет, а нет, грязным так и ляжешь спать.

...Я сейчас часто поглядываю на свою детвору,— если палец оцарапает или еще что, крик, йод... А у меня чуть ли не каждый день бывали порезы на ногах. Поскачешь, поскачешь на одной ноге и опять побежал дальше. Иногда эти раны нарывали, и вот ночью проснешься, больно, стонешь. Тогда мать встает, ворчит, ругает: добегался. Потом нажует хлеб с солью на тряпку и приложит. И все лекарство. Наутро встал и снова босиком в бега.

Я очень любил ходить купаться на пруд. Но дома мне грозили, особенно отец:

— Если узнаю, что бегаешь на пруд, лучше домой не приходи.

А как же удержаться? Товарищи с утра собираются, кто тут мне воспрепятствует, какая сила? И удерешь с ними, заберешься в ставок (так на юге именуют пруд, запруду). Была у нас игра на воде,— один ловит, а все врассыпную от него. Ныряешь, ныряешь, а он — за тобой. Часа полтора-два в воде пробудешь, закоченеешь, выскочишь на берег. Только оденешься, глядишь, идет другая компания мальчишек, ну, и опять с ними в воду.

Так с утра до вечера. Вся кожа сморщится. В таком виде идти домой нельзя, ведь меня чистым никогда не видели. И начинаешь специально маскироваться,— руки, ноги измажешь в пыли, и только тогда являешься домой.

Иногда меня все же уличали, обнаруживали следы преступления. Причем обнаруживали не на лице, не на руках, а на теле. Когда в пруду очень замерзнешь, то подбираешься поближе к горячей струе, которая идет с завода, а эта струя несет смолу, и смола попадает на тело. Оттираешь

полынью, песком, но всего не ототрешь, и дома заметят или через порванную рубашку, или как-нибудь еще, и тогда отец задаст самую основательную трепку. Мать редко била, она всегда пугала отцом: «Вот скажу отцу, он тебе даст». Но лишь в редчайших случаях она эту свою угрозу исполняла. Это происходило только тогда, когда я совсем из повиновения выходил. И отец со мною расправлялся.

...Еще несколько штрихов из детства, они как-то невольно всплывают.

Встанешь утром, никаких специальных завтраков нет, кусок хлеба в руки и поскачешь. Хлеб или с сахарным песком или с сахаром вприкуску.

Компания собиралась рано, так неумытый и бежишь. Макеевка была грязным-прегрязным поселком. Ни мостовых, ни тротуаров, ни зелени в те времена не водилось. Но человек, видимо, настолько привыкает к той обстановке, в которой он родился, и растет, что лучшего и не представляет. Я этой грязи не замечал. Не замечал ни копоти, ни дыма. Если летом долго нет дождя, так дорога становится невероятно пыльной, что-то жуткое, но для нас, мальчишек, это была самая благодать. Несемся по дороге гуськом да топаем так, чтобы пыль летела во все стороны. Сейчас грузовая машина не поднимет такой пыли, какую мы босиком взметывали, и эдак по нескольку часов бегали в пылевой завесе.

Большое удовольствие доставляли грабари, которые перевозили землю. Тут уж ребята вертятся целый день. Помогаешь землю бросать или лошадь держишь, а потом едешь вместе с грабарем в пустой грабарке.

...О моей бабке (по линии матери). Бабка приезжала к нам обычно тогда, когда матери предстояло рожать. Постоянно же бабушка жила в деревне.

Вот за столом слышу разговор отца и матери: письмо получили, бабушка должна приехать. На телеграмму нужно было много денег, поэтому никаких телеграмм в нашем обиходе не водилось, только письма. Никто никогда бабку на станции не встречал.

Помню,— в ненастную погоду идет бабка в лаптях, в белых онучах, в платке с синими и красными горохами, большой мешок за плечами, с палкой. Дома радость и волнение встречи,— мать плачет, бабка плачет. Праздник и у меня, от матери передавалось праздничное настроение. Бабка привозила гостинцы, это ржаные лепешки. Я их

любил. Лепешки такие, что о кирпич не разобьешь, круто замешанные.

Бабка ехала из деревни почти три дня (теперь часов восемнадцать нужно проехать). И начинаются ее рассказы: кто умер, у кого кто родился, у кого лошадь ожеребилась, у того несчастье, у того радость. Одним словом, разговоров масса. Сидишь, слушаешь, разнообразие в твоей жизни.

Внешностью мать была похожа на бабку. В молодости бабка, очевидно, была интересной. Как говорят в народе, statновитая. Она умерла, когда ей было девяносто с лишним лет, и до последних дней работала, не оставляла тяжелого физического труда: цепом молотила, мешки с картошкой таскала с огорода. Не знаю, сколько она еще прожила бы, но ее сыпной тиф подкосил, унес в 1921 году.

...Отдали меня в заводскую школу, отдали очень поздно, мне уже было девять лет. Я ни одной буквы не знал, никто со мной не занимался. Слышал одну-единственную сказку. Ее рассказывал отец. Это «Конек-горбунок», и всякий раз я ее слушал с увлечением.

Опять невольно сравниваю,— все детские книжки, которые у нас изданы, мой Вова уже перечитал, а ему только пять с половиной лет, я же девятилетним шел в школу и ни одной буквы не знал, ни одной книжки у меня никогда не было, и знал лишь единственную сказку. Придет отец с работы, просишь его, просишь рассказать сказку, начнет и на полсказке заснет. Я его будить, расталкивать,— ничего не сделаешь, пропало дело.

...Ребенком я был резвым, самобытным. Пойти в школу для меня было очень интересно. Ведь это что-то новое. Всякой работе я всегда радовался, брался в охотку.

Недалеко от нас находилась больница. Туда часто привозили посуду — разные банки, пузырьки, и вот мы, компания из пяти-шести мальчишек, брались разбирать эту посуду. Выгребали ее из ящиков, из соломы, и за это пятак или гривенник дадут. Но интерес был не в деньгах, а в том, что ты весь день этим занимаешься. И обязательно наберешь в карманы всяких пузырьков, колбочек, принесешь домой, и этого на неделю хватает,— свистеть и так далее.

Расскажу еще о водовозной кляче. Представление у меня о ней было такое: это что-то малоподвижное, медлительное, идет она из-под кнута. Водовоз любил разговаривать

с бабами, не столько дело делает, сколько лясы точит. Однажды я и мой приятель взобрались на бочку, с бочки перебрались на клячу, сели и сидим. Я говорю:

— Давай попробуем, чтобы она пошла.

Раз хлестнули, другой — не идет. Я притащил суковатую палку, снова уселись, я ударил, кляча как рванет — и вскачь. Я держусь за гриву, приятель — за меня. Если бы не вмешались взрослые, не знаю, чем бы кончилось,— быть бы нам под бочкой... Порка была мне мировая.

...Продолжу о школе. В школу я шел с большой охотой. Для меня это было что-то новое. Я не представлял себе, какую пользу она даст, но видел впереди какое-то новое занятие, новые приключения.

Учеба давалась мне легко, однако сидеть дома над учебниками я не хотел. Ходил в класс с удовольствием. С удовольствием же участвовал в драках, в играх, в борьбе, сам был затейщиком, но прийти домой и учить уроки — нет, это не по мне. Как пришел, книжки бросил, немного подзакусил и — на улицу. Или даже — кусок в руки, и помчался, ребята уже ждут.

Но какое-то беспокойство, какая-то забота во мне жили. Надо бы сделать уроки. Думаю: отложу до вечера. Сейчас погуляю, а вот вечером... А к вечеру набегаешься, придешь, хочется спать. Ладно, вот завтра,— сам себе говорю,— иначе сделаю. Но завтра опять интересная компания собирается, бегу на улицу.

В первом классе все это сходило без последствий, перешел во второй класс. И там такая же история. Вечно я на улице. Причем особая любовь была к этим компаниям, к ребятам,— весь горишь, если почему-либо тебя задержат дома. Все мысли, все желания — там с ребятами на улице.

Второй год учебы — дело более серьезное, чем первый. Придешь в школу, вызывают отвечать, того не знаешь, другого не знаешь, дома никто не проверяет, никто не контролирует, и вот конец года, подсчет успехов и неуспехов, и оставили меня на второй год во втором классе.

И тут наступает переломный момент. Меня это страшно огорчило, потрясло. Как же так,— все товарищи пошли вперед, а ты остался. Было неприятно, было стыдно.

Учусь, значит, второгодником. Что об этом помнится? Прежде всего, легко было учиться, многое приходилось лишь повторять, и кроме того, я уже начал относиться к учебе по-серьезному. Если употребить нынешний термин,

я стал отличником. Но так как остался на второй год, то получил только вторую награду — похвальный лист. А первая награда это книжка да еще и похвальный лист. И я поставил себе цель — обязательно в третьем классе иметь первую награду. И действительно ее получил.

По-прежнему со мной никто не занимался. Отец два на два еще помножит, а дальше уже как-то обходится без таблицы умножения. Мать, как я говорил, была совершенно неграмотной. Деньги всегда считала в уме. Придет с базара и считает: где сколько денег оставила. Деньги знала по окраске и по размеру. Как видите, дома помогать в учебе никто не мог. Сыграло роль собственное самолюбие. Но любовь к компании сохранилась.

В мои школьные годы, когда я подрос, мать старалась как-нибудь использовать меня себе в помощь, особенно на каникулах. Я был первенцем, старшим. Заставляла нянчить младших. Это был для меня нож острый. Качал я Илью. Ребята играют, зовут тебя, а ты сиди, нянчи. Вот будто Илья совсем в своей люльке затих, только от него шагнул, опять плачет: уа, уа, уа. А ребята кричат: «Пашка, иди!» Опять качаю. Только укачал, подался к двери, мать говорит: «Далеко не уходи, кликну, когда он проснется». Куда там, только бы улепетнуть! Забегаешься — и на душе неладно, чувствуешь, прошло уж много времени. Являешься домой и прямо с порога наталкиваешься па упреки матери: «Где это ты бродишь?» А Илья орет. Тут уж как бы скорее сесть и качать. Хоть до утра качать, только бы не ругали.

Во время каникул я часто носил отцу обед. Придешь на завод, обязательно с отцом походишь, смотришь вокруг. Меня всегда удивлял шум доменной печи, из-за шума ничего не слышно, надо кричать, чтобы тебя услышали. И еще поражало вот что: чугун, когда открывают летку, сначала идет спокойно, а к концу, когда весь вытечет, выбиваются языки огня, будто из летки кто-то дует. Страх тебя берет, когда отец идет в этот огонь закрывать летку. Потом смотришь, — пламя все тише, тише и вовсе пропадает.

Завод меня живо интересовал. Соберешь около домны какие-нибудь интересные куски руды и шлака, принесешь домой, отыщешь сифонный кирпич, сложишь во дворе печку, раздобудешь дровишек и начинаешь шуровать, изображаешь доменный цех.

Поиграл и должен за собой убрать. Не то чтобы мне приказывали, а такое чувство было: наигрался, надоест, все убрал, и душа на месте.

К воспоминаниям этих лет относятся и престольные праздники. Каждая деревня, каждое село Орловской, Курской или другой губернии имело свой престольный праздник. Я не помню, какой именно день праздновал наш старик,— давно уж это было,— но помню, что в такие дни стояла слякоть, то есть или на границе между зимой и весной, или поздней осенью.

Для меня это тоже был праздник. Мать притащит с базара коровьи ноги, орехи, конфеты, всякую всячину. Тут уж поешь всласть. Вечером сходится народ — горновые, газовщики. Полный дом набирается, все приятели отца, вместе с ним работающие. Когда напьются, начинают хвалиться: как летку закрывали на ходу, как разгоняли захолодавшую печь. Одним словом, «бойцы вспоминают минувшие дни»... У кого какие были случаи. За столом спор, шум. Была у доменщиков единственная песня «Ермак». Запоют в дюжину глоток, аж все гремит.

Интересно за всем этим наблюдать. Празднуют за полночь. Куда-нибудь в уголок забьешься, смотришь, слушаешь, и потом не знаешь, когда гости ушли, заснул.

Характерно, как рассаживаются гости,— мужчины с одной стороны, женщины с другой. У женщин свои разговоры: о детях, о том, как рожала — тяжело или легко,— и так далее. А у мужчин заводские темы.

На следующий день — особая прелесть. Остались конфеты, орехи, еще что-нибудь, расправляешься с этими остатками.

...Любил ходить в кино. Каждый раз надо было иметь десять копеек на билет. А кто даст? Я с матерью договаривался: помогаю ей по хозяйству — пол вымыть, обувь почистить,— а она дает гривенник на кино. Так я зарабатывал у нее деньги, и в воскресенье ходил в кино. Ни одной драматической картины я не запоминал, это, видимо, мимо меня проходило, не понимал, а вот Макс Линдер врезался в память. Я его Дурашкиным называл. Прихожу из кино и начинаю рассказывать про Дурашкина: он бежит, за ним гонятся, он прыгает прямо в чан с известкой. Никто не смеется, один я хохочу. Отец сидит, слушает, перебьет: «брось, надоел со своим Дурашкиным». А я не могу остановиться, хочу поделиться.

Отец с нами, ребятами, почти не разговаривал. После работы за столом рассказывает матери, как провел день, как шли дела. Сегодня было то-то и то-то, или с кем поругался, или его поругали. Я тоже был слушателем. И хотя не совсем понимал эту заводскую жизнь, но все-таки по-своему был в курсе дел.

...Моя роль в компании — не скажу, чтобы я был постоянно инициатором, но в отдельных проделках выступал зачинателем.

С ребятами был дружен. Приятелей много.

Зимой, если зима была снежной, любил на санках кататься или привяжешь деревяшки вместо коньков и пошел-поехал. Сколько раз просил отца купить коньки. Наконец, когда я был уже в третьем классе начальной школы, он мне купил. Одел я коньки с утра, катался, катался, устал, но не снимаю, жаль расставаться. Потом мать меня увидела, говорит: «У нас тут хлеба нет, есть на другой колонии, ну-ка сбегай туда в пекарню». Я покатил в дальнюю пекарню, оттуда еле плелся, но коньки все же не снял. А когда дома сбросил коньки, очевидно, тут же на месте и заснул.

...Начальную школу окончил я успешно. Чувствовал себя довольно грамотным человеком. Помню, писал на экзамене очень сложную диктовку и не сделал ни одной ошибки. Этот фундамент, полученный в начальной заводской школе, помог мне в дальнейшей учебе.

Как я попал в гимназию? Отец зарабатывал хорошо, а у матери было большое желание дать детям образование. Причем в ее понятии гимназия была чем-то недосягаемым. Она всегда очень сокрушалась, что в детстве ей не пришлось выучиться грамоте. Называла себя слепым человеком. Поэтому особенно настаивала, чтобы дети учились.

Как я поступил в гимназию?

Отец вечером сказал:

— Ладно, будешь учиться в гимназии, внесу за тебя плату. (Кажется, нужно было платить сто рублей в год.) Иди, возьми прошение у директора.

На следующий день я старательно умылся, оделся и, необычайно волнуясь, пошел в гимназию. В Макеевке была частная мужская гимназия Муромцева. Она открылась года за два до окончания мною заводской школы. Наверное, если бы не было под рукой этой гимназии, я так и ограничился заводской школой, никогда и мысли не возника-

ло о том, чтобы куда-нибудь ехать за гимназическим образованием.

Пришагал к гимназии, постоял, иду на второй этаж. А гимназия была самым большим зданием в Макеевке. Вижу длинные коридоры, двери, двери, обстановка какая-то необычная, даже страх берет. Спрашиваю с дрожью в голосе:

— Где кабинет директора?

Мне говорят:

— Вот там.

Иду. Еще раз спрашиваю:

— Где?

— Да вот сюда.

Открываю дверь и вхожу. В комнате несколько человек. Никого в волнении в тот раз не запомнил.

— Вы зачем? — спрашивают.

— За прошением,— говорю.

— Как же вы входите без стука?

Молчу, не знаю что ответить.

— Это нехорошо. Кто вам разрешил войти сюда?

Я совсем опешил: вот те на, какие строгости.

Спрашивают:

— Ты кто?

— Я заводской,— говорю.— Отец работает в доменном цехе.

— Как фамилия?

Сказал.

— Почему отец сам не пришел?

— Отец работает, занят,— а у самого невольно навернулись слезы.

— Ты чего плачешь?

— Я не плачу.

Дали мне бланк прошения.

— Только вот что. Пусть отец принесет прошение сам.

— Хорошо.

Мне бы только вырваться, взял прошение и выскочил оттуда. Вечером дождались отца. Даю ему этот бланк, отец читал, читал (он у нас никогда не был читакой) и говорит:

— Нет, мы не напишем этого прошения. Надо Ахтырскому дать, у него Катька в гимназии учится, он ее устраивал.

Ахтырский работал десятником на домне, красиво писал, был пограмотней, чем мой отец. И вот с этим проше-

нием, выведенным рукой Ахтырского, отец отправился в гимназию, оформил меня и дал напутствие:

— Это тебе не бесплатно учиться, сто рублей за тебя выложил, поэтому смотри учись по-настоящему.

Через месяц я уже стал гимназистом, был принят без экзамена. Уже и до этого случалось, что дети рабочих попадали в гимназию без экзамена. У меня была хорошая подготовка, и начальство гимназии, по-видимому, знало об этом.

Сшили мне форму. Опять затраты. Мать это всю жизнь вспоминала: вот сколько денег расходовать приходилось.

Началась учеба. Мне в первом классе легко было учиться. То, что начали проходить, я уже знал. По арифметике я шел лучше всех, по русскому письменному тоже был лучшим. Пошла жизнь сразу на пятерки. Старался вести себя хорошо, держал себя в руках. Я же теперь не в заводской школе. Если там что-нибудь вытворишь — это еще туда-сюда, а если здесь впишут в дневник замечание, отец даст чертей, не поцеремонится. Все-таки были огорчения. Требовалось, чтобы отец раз в неделю подписывал твой дневник. Если увидит четверку,— скандал. Хоть одну четверку получишь, ругает вовсю:

— За что я деньги плачу? Чтобы четверки получал?

И грызет, пилит меня.

Так первым учеником я и шел из года в год. В приготовлении уроков уже придерживался системы. Как только возвращался из гимназии, сейчас же обедал, а после обеда никуда не убегал, а садился заниматься, и, лишь сделав уроки, выходил гулять. Помню, первое время буквально насиловал себя: не уйти из дома, пока не управлюсь с уроками, какие бы интересные дела на улице ни происходили.

Но тихоней в гимназии я не стал. Расскажу один случай. Преподавательницей французского языка была у нас Каликина. Это дочь макеевского богача, которому принадлежал кинотеатр. Был в Макеевке и сад Каликина (теперь это городской сад). Еще на моей памяти босоногого мальца разбивали этот сад, огораживали, строили здание театра. Каликина где-то училась, пожила в Париже — была, на взгляд макеевцев, пикантной женщиной (тогда еще девицей). Однажды на уроке французского языка она позволила себе какую-то издевку над одним учеником. Сказала что-то вроде: «Если вы болван, то старайтесь этого не обнаруживать, помолчите». А парень был хороший, хорошо

учился. Это оскорбление было совершенно незаслуженным, весь класс возмутился, загудел. Она цыкнула на всех. Тогда я,— бог весть, какая сила меня вскинула,— поднялся и отчитал ее в полной тишине. Она фыркнула:

— Мне тут еще выговоры делают!

Бросила занятия и ушла.

И вот влетает Василий Алексеевич, наш классный наставник.

— Что это такое? Как вы себя ведете?

И на все корки нас честит. Я встаю. Это было для него совершенно неожиданно. Он на полуслове замолчал, смотрит с удивлением. Я спокойно заявляю, что преподавательница держала себя непозволительно, оскорбила нашего товарища, оскорбила грубо, незаслуженно. Классный наставник опешил,— как так, ученик, да еще я, первый ученик, разрешаю себе такую вещь: вступать с ним в пререкания. (Это было, очевидно, в 1916 году.) Он меня оборвал. Я уже не столь спокойно, а резко повторил, что безобразие допустила именно преподавательница. В общем, мы поцапались.

Эта выходка не повлекла для меня какого-нибудь особенного наказания, он мне только погрозил. И оставил весь класс на три часа без обеда. Сидим час — и он с нами сидит, другой час сидим, потом спрашивает:

— Ну будете буянить?

И отпустил нас.

Таков был первый инцидент в моей гимназической жизни. Далее случались и похожие: вступал в схватку ради восстановления справедливости. Такие вольности я совершал, возможно, именно потому, что учился лучше всех, а если бы был рядовым учеником, то, кто знает, может быть, держался бы иначе.

Это была пора резкой перемены, совершившейся во мне. Раньше, как вы знаете, я был очень общительным, не имел какого-либо одного близкого друга, а проводил время в компаниях, с которыми буквально сроднился: ни они без меня, ни я без них. Ну вот в гимназические годы перестал любить компанию. Трудно объяснить, почему это произошло. Может быть, это связано вот с чем — я перешел к довольно серьезному образу жизни, много читал, полюбил серьезную литературу. И одновременно начал весьма критически относиться к подбору товарищей. Скажем, всяких болтунов или особых забияк я уже чуждался.

Идешь, бывало, по улице, рядом шествует компания, проходишь мимо, обгоняешь,— как будто бы не замечаешь. Мои товарищи даже обвиняли меня в том, что я зазнался. Но из-за чего я мог зазнаться? Первый ученик,— невелика гордость.

Даже в тех случаях, когда волей-неволей приходилось быть в компании, я душой уже ей не принадлежал. Скажем, я любил играть в футбол. Входил в азарт,— азартностью, как и мой отец, я не обделен,— бывало, с утра до вечера увлечен мячом, не можешь уйти с поля. Играл в команде. Иногда мы выезжали поездом за двадцать пять — тридцать километров состязаться. И вот поведение ребят, разговоры, удальство, беспричинный хохот, все это уже казалось пустым, неинтересным. И мне было не по себе в этой компании, душу я ей уже не отдавал. Хотелось чего-то лучшего, чего-то содержательного. Если уж разговаривать, то о серьезном, полезном. Рассматривал все под углом полезности. И постепенно утихла, угасла футбольная страсть.

Думается, дело было в том, что свою внутреннюю жизнь я уже оберегал. У меня появилось желание писать. Откуда оно взялось,— сам не понимаю. Как-то возвращался я домой. Мы уже жили на Старой колонии, где отец получил квартиру. Значит, это случилось в пятнадцатом или в шестнадцатом году. Возвращался с ребятами из гимназии и вижу — недалеко от нашего дома собралась толпа. Горит домик, стены каменные, лишь крыша деревянная. Мы подбежали туда. Внутри квартиры остались дети. Когда загорелось, они, как выяснилось, легли под одеяло, притаились. Мы видели, как выломали окна и вытащили детей. Потом приехали пожарники, но техника у них была такая, что, пока не сгорела крыша, ничего не потушили. Разные сценки сопутствовали пожару.

По тем временам это было для меня необычайным событием, необычайным переживанием. И первым толчком к писательским моим попыткам. Помню, написал я маленький рассказ. Просто вот так — пришел домой, сел и написал. Потом несколько раз переделывал, старался отшлифовать. Дал заглавие: «Пожар».

С тех пор меня потянуло к писанию. Всякие необыкновенные случаи, которые что-то затрагивали во мне, я стремился отразить на бумаге. Необыкновенное — вот к чему я влекся. Впоследствии стал писать и стихи.

Что меня толкнуло к стихотворной форме? Помню, это случилось в первые дни Февральской революции. Уже шли митинги, и вот на одном из митингов наш гимназист,— он, между прочим, внешностью напоминал Пушкина: небольшого роста, подвижный, даже юркий, носил небольшие баки, голова была курчавой — прочел с трибуны стихотворение, посвященное революции. Это произвело на меня сильное впечатление. Не само стихотворение, а эта картина — гимназист читает с трибуны свои стихи. К тем дням относятся и мои первые стихотворные пробы.

С ребячьими компаниями, моими однолетками по-прежнему я не сближался. Компанию мне заменил единственный близкий друг Митька Кузнецов. Ничем особенным он не отличался. Каких-либо больших способностей не проявлял, но был серьезным парнем. Немного замкнутый, мечтательный. Наверное, это нас сроднило. Я делился с ним всякой своей мыслью, настроением. Лишь он один тогда знал мои стихи. Часто вдвоем мы бродили около пруда и дальше. Пробовали на каникулах вместе охотиться.

Я полюбил охоту. Готов был целыми днями проводить время на охоте. Один, никто тебе не мешает, можно размышлять о чем угодно. Отдаешься мимолетным впечатлениям, наблюдаешь, ищешь в уме слово, чтобы выразить, схватить что-либо поразившее тебя. Развилась мечтательность. Взглянуть на меня со стороны: замкнутый, дружит только с одним парнем, от других держится поодаль, однако внутренняя моя жизнь была насыщенной, кипучей.

При этом моей натуре свойственна еще одна черта, которая, очевидно, воспиталась, разрослась постепенно,— я не представлял себе, как можно жить без занятия, без дела, без работы. Каждая минута должна быть занята. Это и теперь во мне сидит. Иногда приходится болеть, и я все-таки, даже больным, не могу принудить себя к ничегонеделанию. Стараюсь, хоть и высокая температура, беседовать на какую-нибудь тему. А как только температура немного спадет, то уже не в силах оставаться без работы. Я должен или читать, или еще что-нибудь делать. Самое тяжкое для меня это безделье. Знаю, тут таится и опасность: не умею отдыхать. И нет-нет, меня страшит: не ударит ли

вдруг жизнь, не нарвусь ли на колоссальное переутомление, из-за чего попросту свалюсь. Правда, в последнее время я стал здесь приспосабливаться, нахожу отдушину в охоте. Хотя бы в выходные дни укатить с ружьем на несколько часов. На охоте я все забываю, мысль вырывается из круга ежедневных дел, целиком переключаешься.

...В 1916 году я целое лето работал на заводе. Просил отца обязательно устроить меня на время летних каникул на работу. Я ощущал в этом потребность. Чем ее объяснишь? Нужда на завод не гнала, семья наша не была нуждающейся, но хотелось поработать. Надоедал долго отцу. Тот говорил: «погуляй лето», но я приставал: «хочу работать».

И вот наряду с некоторыми моими товарищами-сверстниками поступил учеником слесаря в механический цех. Сразу же заинтересовался. Увидел, что как-то считают длину окружности. Стоит квалифицированный слесарь, подсчитывает окружность, вычисляет радиус. Дальше слышу разговор о шаге между зубьями. Одним словом, в моей жизни открывается необычный мир. Начинаю кое-что понимать, находит увлечение. Рабочий день — десять часов, да еще два часа на обед. С раннего утра до вечера ты в цехе.

Что еще впечатляло там? Приходит наниматься высококвалифицированный слесарь и должен сдавать пробы. Какие пробы? Дают какую-нибудь деталь и говорят: подгони другую точно к этой детали. Это работа пилой. Я смотрел, как замечательно эти люди опиливали металл, как достигали полной точности. Дома у нас были небольшие тиски (отец где-то достал еще до моей работы), я приносил с собой куски металла, напильник и еще часа два по вечерам совершенствовался в слесарном деле. Потом — на боковую.

Такой образ жизни мне очень нравился, все время заполнено, это доставляло мне особое удовольствие.

Летом 1917 года я опять работал на заводе. Но этот год, разумеется, особь статья.

...В Донбассе, как это часто бывает, зима лежала слякотная,— туманы, дожди, грязь. И вдруг в газетах стали появляться сообщения, что в Петербурге, в Москве начались волнения, демонстрации с плакатами: «Хлеба!», «Долой войну!», «Долой самодержавие!». События разворачи-

вались стремительно. Отречение Николая от престола. Падение монархии. Действительно, совершалось что-то небывалое. Я жадно следил по газетам за событиями. Читал и перечитывал «Русское слово» (отец с 1916 года стал подписчиком).

Причем я не только перечитывал, но и сохранял, прятал все газеты. В моем воображении рисовалось: я, видимо, в конце концов буду писателем, пройдет много времени, когда-нибудь я достану эти газеты, вспомню, как все происходило, и, летописец необычайных времен, расскажу о них в стройном повествовании.

Каков тогдашний дух нашей семьи? Отец не был революционером. Мать — то же самое. Вы знаете, она всю жизнь оставалась неграмотной. Однако какая-то радость, какой-то подъем, предчувствие чего-то нового, необычайного вселялось в нашу семью этими известиями. И так как семей, похожих на нашу, было очень много, то, очевидно, подобное настроение жило повсюду, захватывая даже всю обывательщину.

Мне сровнялось уже пятнадцать лет, я вымахал рослым, шагал неторопливой походкой. Той же весной в Макеевку хлынули всякие брошюрки, программы всех партий, какие тогда существовали. Эти программы я тоже собирал, внимательно читал и перечитывал. Помню, попалась мне книжка о французской революции, я, конечно, и это проглотил взахлеб. Еще раз хочу сказать: все, что я раздобывал, все, что так или иначе оказывалось в руках, я читал с жадностью.

К этому же времени или немного раньше,— да, пожалуй, раньше,— отец стал отходить от церковности и склонялся к баптизму. Он еще не зачислился в баптисты, но ходил к ним на собрания и рассказывал дома: вот-де как ведут себя честные люди — не курят, не пьют, не безобразничают, не дерутся, внушают: ближнего своего не обижай, не обманывай, возлюби труд.

Я вступал в спор. Мать слушала, помалкивала. Рьяным сторонником баптизма был наш сосед и частый гость, земляк и друг отца, товарищ по работе доменный мастер Антошечкин. Собственно, он и задавал в этом деле тон. Был красноречив, находчив, любил спорить.

А меня поддерживал мой дядя Михаил, брат матери, тоже доменщик. Политической грамотностью он не блистал, но брал чутьем. Он во всем отстаивал линию большевиков,

был, что называется, с головы до пят большевиком. Мы с ним давали бой баптистской стороне.

Какие аргументы я выдвигал? То, что люди не курят, не пьют, не обманывают, любят труд,— это, конечно, положительная вещь, спорить тут не о чем. Но вот если тебя обидят, ты не возражай,— таким христосиком не буду. Или не надо-де ходить в театр. И читай только божественные книги, Евангелие, Библию и больше ничего. Вся культура опорочивалась. Я поднимался на дыбки, лез в бой.

Были ли споры с отцом о самом понимании бога, существует ли бог, споры о сущности религии? Если порыться в памяти, то, по-моему, в спорах касались и этого, однако рассуждения были, видимо, столь примитивны, что не запечатлелись. Так или иначе, но еще до революции я стал критически относиться к православной вере, к церкови и вообще к религии. А потом, уже весной семнадцатого года, я бросил учить закон божий. В школе к моему голосу прислушивались: был передовым парнем, организатором литературно-художественного кружка, вожаком в своем классе. Влиял на одноклассников. И мы стали игнорировать уроки закона божья, собирались компанией и уходили из гимназии. Поздней, когда взяли власть большевики, уроки закона божья были отменены совсем.

...В Макеевке стояли какие-то казачьи войска. Им, противникам большевиков, противникам Октябрьской революции, некоторое время принадлежала у нас власть. Но где-то поблизости Красная гвардия вела бои с казаками.

Помню первый день рождества 1917 года. Мои старики пошли в город в гости к своим землякам. Я остался один с сестрой Клавдией. Илья и Николай умотали куда-то к приятелям. Клавдии тогда исполнился лишь год. Лежала в коляске. Я за ней приглядывал. Ко мне наведался Митька Кузнецов. Сидим, разговариваем. Вдруг какое-то бухание, какой-то двойной гром: бух-бух. И еще, и еще то же самое. Какие-то разрывы.

Мы выбежали наружу. И как раз над нашим домом разорвался снаряд. У нас над крыльцом был железный навес. Слышим: по навесу и по крыше грохочут осколки. Мы — обратно в дом. Я закрыл дверь, встал за простенок,

пе пойму, в чем дело. Лишь потом сообразил: очевидно, наступают красные.

Через некоторое время, запыхавшись, принесся Николай. А Илья где-то запропастился. Мы перебрались в заднюю комнату, сидим там. Страшновато. Матери и отца нет, а тут пальба, стреляют. Слышим сильный стук в дверь. Подбегаю. Ну, наконец-то,— отец и мать. Мать стонет. Думаю, ее, наверное, подстрелили. Нет, она, оказывается, испугалась за детей. Бросилась к Клаве. Увидела Николку. А где же Илья? Никто из нас не знает. Мать снова застонала, легла.

На воле по-прежнему бухают разрывы. Ну, думаю, началась война.

Только через час или полтора явился семилетний Илья. Выяснилось: он на улице с ребятами наблюдал пальбу. Мне на минуту стало завидно. Удалец! Не забился в домашний уголок, остался под обстрелом, навидался интересного. Отец на него прикрикнул:

— Отчаюга!

И хотел тут же задать выволочку. Но мать вступилась.

Жуткой была эта ночь (то есть в моем представлении жуткой). Завод света не дал, остановили электростанцию, что ли. Мы сидели впотьмах, потом зажгли маленькую керосиновую лампочку. За Митькой пришел брат и увел его домой. Еще позже опять кто-то застучал в дверь.

— Кто там?

— Открывай. Свои.

Это были два молодых рабочих, наши земляки (земляческие узы блюлись родителями), хорошие смелые парни. Они наведались: как у вас дела, все ли живы-здравы, не нужна ли какая-нибудь помощь.

Сели и стали рассказывать всякие страсти, были и небылицы,— там-де дом развалило, тому ногу, тому руку оторвало. Посидели и отправились домой. Постепенно пушки стихли, только пулеметы кое-где строчили.

Утром все узнали, что красные войска выбили казаков из Макеевки.

Мы с Митькой сейчас же — на коньки, и понеслись к пруду. Лед, помню, подтаивал, стояли лужицы. Катим, катим, и вдруг перед нами кровяные пятна. А дальше будто лежит кто-то.

— Митька,— говорю,— это, должно быть, убитый.

Подъехали. Оказалось, убитого нет, а валяется окро-

вавленная бурка. И рядом несколько патронов. Видимо, казак удирал.

Обстановка была какая-то суровая, военная, низко нависало облачное небо, словно бы предрекая что-то нелегкое.

...Вся дирекция завода и некоторые начальники цехов удрали вместе с белыми. Дальше — 1918 год. Это год консервации завода. Завод остановился.

Казалось, производство умирало естественной смертью. Не было угля, не было руды, не было денег для выдачи заработной платы. Нечем поддерживать предприятие, вот оно и закрылось. Оставили лишь самых необходимых потухшему заводу людей. Да и то им почти не платили, что-то выплачивали эпизодически.

Рабочим фактически предоставили свободный выбор: хочешь — живи, перебивайся здесь, хочешь — куда угодно поезжай. Впрочем, какие-то попытки сохранить костяк рабочих все же были. Однако каждому, кто оставался, приходилось заводить натуральное хозяйство,— приобретать корову, поросенка, птицу, пахать, сеять, огородничать, то есть рабочий должен был жить как крестьянин.

У отца зрели помыслы (это относилось, примерно, к весне 1918 года) уехать в деревню. Завод встал, еще неизвестно, как дело обернется дальше, поедем в деревню, займемся сельским хозяйством. Его тянул Антошечкин. Наши деревенские родственники узнали, что у отца такое настроение, и тоже стали улещивать: дадим тебе лошадь, дадим землю, освободим хату, приезжай.

Уже мы приготовились к отъезду. Были проданы все вещи, оставили самое необходимое, табуретки, стол, на котором можно пообедать. Даже кровати попродавали.

Проводили в деревню семью Антошечкиных. Вот-вот и сами тронемся. Что же помешало отцу уехать? Думается, привязанность, любовь к заводу. Ведь вырос на заводе, сроднился с заводом. И сколь ни манил переезд,— обоснуешься в деревне, там родственники, будешь иметь свою землю, будешь более или менее обеспеченным человеком, обеспечишь семью пропитанием,— но любовь к заводу пересилила. Возможно, как раз тогда кинули клич, что надо сохранить старые кадры и постепенно разогревать, пускать завод. Видимо, это его остановило, и мы не перебрались в деревню, продолжали жить в Макеевке.

...Потом Украину заняли немцы. Они продвигались к Донбассу. Были слухи, что в Макеевке большевики дадут немцам бой. Но никакого сражения не произошло. Красная гвардия без боя отступила. Ждем немцев. Представлялось, что из-за горы какой-то лавиной войдут немцы и, как саранча, все заполонят. Истек день — нет немцев, другой — опять же нет. В Макеевке — безвластье.

Помню, я проходил через завод, смотрю, идет бронепоезд по заводским путям, торчат пушки из бойниц. Останавливается. Выходят немцы. Не забуду первого впечатления: самодовольные. Озираются. Прибыли властвовать. А я словно бы сжался, замер. Это была первая немецкая разведка. Далее приехал целый штаб, занял покинутый директорский дом. Кругом расставили пулеметы.

...У нас, старшеклассников, учительницей русского языка или «руссичкой», как ее называли, была Бажанова. Я некоторую слабость к ней питал. Первая любовь? Не знаю, как обозначить мое чувство. В те времена ее муж был известным в наших краях большевиком. Никогда я его не видел. По всей вероятности, он постоянно находился в разъездах. И эвакуировался вместе с другими большевиками. А Бажанова осталась в Макеевке с маленькой дочуркой.

Я писал стихи, упорно интересовался литературой. Да и не только литературой, но и всем, что тогда происходило. «Руссичка» участвовала в разных начинаниях нашего литературного кружка. У меня с ней установилось, я бы сказал, единомыслие, единство интересов, некий контакт, сперва лишь в пределах школы, а затем я стал частенько бывать у нее дома.

Ее наружность была своеобразной. Небольшого роста женщина. Тип — смесь русского с татарским. Да, в смуглоте, в чертах лица было что-то татарское. Она и выросла в местах, что стали Татарией, где-то около Казани. Много рассказывала о Волге, о заволжской степи. Довольно мягкая натура, никогда не раздражалась, не повышала голоса, голос звучал успокаивающе. Женщина, что называется, душевная, несамоуверенная. Держалась со мною как с равным, не поучала, а как бы делилась знаниями, мыслями.

Приду к ней, разбираем то или другое произведение, иной раз читаю ей свои стихи. Она высказывалась, меня мягко направляла.

Порой я целый день проводил у нее. По тем временам, когда немцы водворились в Макеевке, это был для меня как бы просвет,— пойти к ней, рассказать что-нибудь, поделиться, услышать вновь ее ровный тихий голос.

И вдруг обрушилась новость, которую тогда я воспринял, как настоящую свою трагедию. Однажды Бажанова сказала:

— Я уезжаю.

С минуту я не мог ничего выговорить. Потом воскликнул:

— Куда? Кругом же немцы! Нужно проехать за Курскую губернию, чтобы выбраться.

Она ответила:

— У меня есть возможность. Я завтра уезжаю.

В тот день я с ней простился. Долго сидели, ходили куда-то гулять. Надо сказать, что я очень переживал ее отъезд. У меня будто что-то оторвали.

...Каково жилось под немцами? Что было у рабочих на душе? Я ведь все время общался с рабочими, вырос в этой среде, два лета поработал. Какие у самого были настроения?

Помню, как-то отец меня здорово выругал. Произошло вот что. Я пошел на пруд, хотел покататься. Беру лодку, весла, и вдруг появляется один мадьяр (в Макеевке расположились на постой не только немцы, но и мадьяры), хватает из моих рук весла. Я его отталкиваю. Он на меня с кулаками. Чуть не подрались. Отец узнал об этом и выругал меня:

— Не будь дуралеем! Веди себя потише.

— Почему потише?

— Да тебя могут ухлопать, и никто с этой нечисти не взыщет.

Тягостное неприятное ощущение. Подавлено твое достоинство, твое самолюбие. Постоянно чувствуешь, что ты унижен, что твоих соотечественников, твой народ считают нацией, которая гроша ломаного не стоит, какой-то мразью. Это угнетало душу. Ты живешь в своей родной стране, но она у тебя отнята, и ты находишься в каком-то плену, в каком-то необъятном становище для пленных.

Немцы обирали окрестные села. Устроили прямо в степи бойню, пригоняли, забивали скот и, вероятно, в холодильниках отправляли. Уходили туда же, в Германию, и эшелоны с хлебом. Продовольствие выкачивалось, выкачивалось. У нас в Макеевке уже началась долгая полоса не-

достачи хлеба. Помню, отец первый раз поехал в Чаплино за хлебом, это было еще при немцах.

Доходили слухи, что кое-где немцев стали крошить. Рассказывали про повстанческие отряды на Украине, которые внезапными налетами громили немецкие гарнизоны. Эти слухи действовали ободряюще.

И вот необычайное поворотное событие: немцы эвакуируются, уходят. Как и когда это в точности произошло — у меня в памяти не сохранилось. Помню лишь повсеместные разговоры: немцы уматывают. По-видимому, они не тянули с этим делом, быстро смылись.

Властью остались казачьи войска, одно из ответвлений русской белогвардейщины. Дальше в памяти — снова стрельба. Она длилась всю зиму до весны 1919 года. Палили за Ясиноватой красные и белые.

Что сказать о тогдашних настроениях, о духе нашей семьи и других семей, с какими мы общались? Это глухая ненависть к белогвардейцам, ко всему их кругу. Говорили о расстрелах, о том, что расстреливают каждого, кого в чем-либо заподозрят. Вообще, нужно было держать язык за зубами. Молодежь из среды торговцев и иных верхних слоев появилась в погонах, в шпорах, заблистала на улицах.

Народ помалкивал, но в то же время страсти разжигались близостью красных, которые находились буквально за горой. Бухали пушки. Выйдешь ночью и видишь, как сверкают зарницы артиллерийской пальбы. Была слышна и стрельба из пулеметов, когда красные придвигались к Макеевке. Макеевская знать всегда пребывала в напряжении или, что называется, на колесах. Иногда утром прокатывается весть — никого из властей предержащих не найдешь, уехали. Значит, скоро придут красные. Нет, господа снова привалили. И снова живут на чемоданах, на колесах. И эдак — целую зиму.

...Не дожидаясь лета, ранней весной 1919 года нас, учащихся (еще существовала гимназия), отпустили на летние каникулы. По-моему, это было в конце февраля.

В марте я поступил работать на завод в доменный цех чернорабочим. Делались какие-то попытки пустить завод, мы выгребали одну домну, ремонтировали кое-где кладку, подчищали цех.

Тут я повседневно, повсечасно общался с рабочими, хорошо знал настроения. Разговоры были откровенными, делились: кто где что слышал. Дух был единым — выгнать

бы поскорей отсюда эту свору. Как человек со средним образованием, я иногда читал вслух другим газету. Выищешь что-нибудь интересное — и прочитаешь. Далее вместе комментируем.

Однажды утром прихожу в весовую домны номер один, где мы всегда собирались. Смотрю,— народ сидит, а кругом по стенам развешаны какие-то листки. Кто-то читает вслух с листка, видать, не шибко грамотный, читает медленно, спотыкается. Подхожу. Оказывается, вывешаны прокламации. Я со стены снял,— они висели на гвоздиках,— прочитал всем одну, другую, третью. И опять на место повесил. Затем пошли работать.

В прокламациях говорилось, примерно, следующее: белогвардейцы обманывают народ, они на словах за родину, а в действительности устанавливают господство буржуазии и помещиков, которые эксплуатировали и будут эксплуатировать рабочих и крестьян. Рабочие должны это понимать, должны быть сплочены против белогвардейщины. В другом листке, помню, содержался обзор военных действий.

Эти прокламации впечатляли. О них и в этот день и дальше в цеху шли разговоры.

И вот однажды под вечер я прогуливался недалеко от своего дома. Смотрю, что-то странное: идет золотопогонник (я знал, что это начальник контрразведки) и с ним двое вооруженных казаков. Идут быстро. Спустились вниз по нашей дорожке. Смотрю, заворачивают к нашему дому. И входят прямо к нам. Я опешил.

Эпизод с чтением прокламаций не мог, как мне казалось, быть для меня угрожающим. Прочел вслух, повесил обратно, на работе поговорили, обменялись впечатлениями, и все. Но, видимо, в нашей среде был какой-то паршивец (я до сих пор не знаю: кто?), донес об этом.

Когда я увидел, что трое из контрразведки вошли к нам, я тоже направился домой. У нас было два хода: один с пруда, другой с улицы. Захожу от пруда. Вижу,— сидит в кухне здоровенный казак с винтовкой. Я покосился, прошагал мимо. Иду коридором. Глянул в комнату, где лежали мои книги и всякое писание, все мои тетради, а там уже шурум-бурум, все перевернули. Видимо, обо мне уже спрашивали, ибо, когда я вошел, отец сказал:

— Вот мой сын.

Золотопогонник буркнул:

— Оставайся.

Я опять пребывал в недоумении, но по телу пробежала дрожь. Ведь я все свои впечатления от разных событий, что происходили на моих глазах, а также от прочитанного в газетах или еще в каких-либо источниках, заносил в дневник, рассчитывая, что в будущем это пригодится для некой моей летописи. В этих записях я, конечно, не скрывал своих большевистских настроений, ругал белогвардейцев отчаяннейшим образом. Подумалось, вот возьмут дневник, прочитают, что тогда будет?

А еще раньше мне довелось — этот эпизод я упустил — убедиться в том, что террор идет на полный ход. Как только нас отпустили из школы, то есть буквально в тот же день, пошли мы с Митькой Кузнецовым гулять. Ушли в степь через плотину. Ранняя весна уже слизнула снег, только по ложбинам еще лежали невытаявшие косячки. Шли мы с собакой. Спускаемся в балку. Собака почему-то забеспокоилась, побежала вниз, стала кружить. Иду к ней, присматриваюсь, чего же она ищет. Гляжу — ручеек. Снег тает, и вода сверху стекает в этот ручеек. Сквозь воду замечаю кусок чего-то розового. У меня с собою была палка, потыкал палкой. Вода замутилась, ничего не видно. Тогда я пошарил в воде рукой и поймал прямо за кисть мертвую человеческую руку. Отшатнулся. Кричу:

— Митька! Подойди сюда.

Вместе вгляделись в промоину. Муть осела. Завиднелась скрюченная кисть. Несколько подальше локоть другого мертвеца. А вон — белеет ступня. Словом, не один и не два побитых.

Ушли мы от этого места, зашагали домой. Я рассказал о мертвецах отцу, еще кому-то. Все сошлись во мнении: это расстрелянные. По совету старших мы с Митькой сходили в контрразведку. Так и так, нашли мертвую руку и еще в воде проступают части тел, возможно, бандиты кого-нибудь убили. Нас выслушали и без особенных расспросов отпустили. Наверное, потом закопали глубже.

А в тот вечер, придя из контрразведки, сел я помыться в нашу жестяную ванну, и все мне эта рука чудится, тянется, хватает. Жутко подействовала на меня эта картина.

Теперь контрразведчики пришли к нам с обыском. Стою, и опять мне ясно представилась та водомоина, та мертвая рука. Вот, думаю, прочтут дневник, узнают мои думки и расправятся, сволочи.

Но посчастливилось. Я уже говорил, что один казак сидел в кухне, а другой с начальником контрразведки занимался обыском. Дневник мой попал к этому казаку. Видимо, в грамоте он был не силен. Посмотрел, повертел, почитал и говорит:

— Тут поэзия какая-то.

И отбросил. На сердце полегчало, но мысли все-таки грызут: неужели они удовлетворятся лишь перелистыванием моего дневника? Не возьмут ли к себе? У себя внимательно посмотрят, и тогда — каюк.

Однако моя тетрадь их не заинтересовала. Обыск был тщательным, каждую книгу встряхивали, ничего не нашли. Кончился обыск. Средь разворошенных вещей сидит отец. Сидит и начальник контрразведки. Он обращается ко мне:

— Вы знаете, из-за чего мы к вам пришли?

— Не знаю.

— Не знаете?

— Нет.

— Прокламации у вас есть?

— Нет.

— Вы читали прокламации на заводе?

— Читал.

— Расскажите, как это было.

Я рассказал: вижу, висят прокламации, прочитал, и все.

— А где они?

— Там и остались, где висели.

Говорю и думаю: судьба меня хранит. Вы знаете, я собирал всякие исторические документы, газеты, брошюры (теперь все это было вытряхнуто на пол), хотел взять и эти прокламации. Ушли мы из весовой работать, и меня все время точила мысль,— пойду возьму эти листки. Часа через два вернулся в весовую, а на стенах уже ничего нет. Видимо, снял кто-нибудь из охранителей. Это для меня тоже обернулось спасением.

Так это дело и кончилось. Все обошлось благополучно. Забрали только охотничье ружье. Тетрадь мою не тронули, и я ради осторожности, хотя и с душевным сокрушением, уничтожил ее.

Обыск, конечно, встревожил отца и мать. Беспокоясь обо мне, они хотели, чтобы я каким-нибудь способом выбрался из Макеевки. «Если придут красные и, не дай бог, снова отступят, ты обязательно должен уходить, иначе с тобой тут что-нибудь да сделают».

...В мае красные наконец заняли Макеевку. Этому предшествовал большой бой. С боем вошли красные.

Конечно, можно найти в каком-нибудь романе описания встречи красных и усомниться: так ли было или нет, не преувеличивает ли автор, но я сам был очевидцем, как радовалась рабочая Макеевка вплоть до мальчишек, а эта босоногая братва наделена особой чуткостью, как радовалась Макеевка, когда вступили красные. Идет первая цепь бойцов, а народ уже повысыпал на улицу, кричат бойцам:

— Товарищи!

Те отвечают такими же возгласами.

Пришли свои. Это ощущала каждая рабочая семья. Помню, в первый же день победы красных, я всюду ходил, смотрел. Где-то неподалеку стреляла батарея. Отыскал ее. Там тоже все свои — сидят рабочие, бегают мальчишки, выстреливают орудия, телефонист передает какие-то сведения от наблюдателя, командир выкрикивает приказ наводчику. Тут же и гармошка. Замечательная картина: идет война и рядом с бойцами-батарейцами народ, рабочие, мальчишки. Такой же народ, как и я, уже и не мальчишка, и не совсем взрослый.

...Красные пробыли в Макеевке лишь дней пятнадцать. Фронтовая обстановка принудила отступать. Некоторые ребочие семьи уходили с красными. Вели с собой поросят, коров, брели с детишками.

В этот вечер и я покидал Макеевку. Отца не было, он уехал раздобывать хлеб. Но мы заранее условились, что если красные отступят, то и я с ними уйду, буду пробиваться в деревню на родину отца и матери.

Мать собрала меня, я с ней простился. Проводы были тяжелые. Мать плакала. Она на судьбу не жаловалась, но я и без слов понимал ее переживания: муж поехал куда-то в тревожную даль, теперь без него ухожу я, не оперившийся парнишка шестнадцати с половиной лет.

Простился с матерью, с братьями, с сестренкой, уже спавшей. Моей поклажей был небольшой узел — харчи, смена белья и все. Дело происходило в конце мая. Выдалась темная на редкость ночь, тучи заволокли небо, не проглядывало ни одной звездочки. Кругом орудийная пальба, справа и слева стрекотня пулеметов.

На заводскую площадку были поданы вагоны, в эти вагоны грузились уезжавшие. Шли и шли семьями, впечатление такое, что в эту ночь рабочий класс Макеевки

тронулся уходить. Я зашагал дальше на станцию Унион. Там тоже толпа рабочих, и семьи и одиночки. Сел в поезд на открытую грузовую платформу. Двинулись на Ясиноватую. Дорогой все время можно было видеть возникавшие во тьме огненные языки пушек, то там, то тут сверкнет, доносился и стук пулеметов.

В Ясиноватой пересели на другой поезд. Вагон был уже более комфортабельным,— железный пульман, набитый соломой. Друг друга крепко предупреждали: «не курите, а то на полном ходу сгорим». А в остальном было удобно, зароешься в солому, тепло.

Проснулся я на станции Константиновка. Стрельба здесь уже не слышна. Ходят красноармейцы. Дымит походная на колесах кухня. На перроне людно. Рабочие, видно, тоже собираются уходить, поджидают состава.

Обстановка незнакомая, непривычная, тяжелая и вместе с тем какая-то подзадоривающая и интересная. В дороге свои наблюдения, впечатления я заносил в тетрадь,— как прошел день, где ехали, что видели. Привычка уже у меня образовалась,— все новое, картинки, которые поставляла жизнь, я старался записать. Прежний дневник, как вы знаете, я уничтожил, обстоятельства заставили, но все равно опять обзавелся записной тетрадью. Поверял дневнику и мысли. В эти дни в поездах невольно предавался размышлениям. Ведь это был момент, когда я впервые начал жить самостоятельно, никакой опеки нет, один — ни отца, ни матери. Что-то итожишь, строишь себе перспективу.

По мелочам, по крупинкам у меня уже сложились взгляды. Коротко сформулирую их так: идти с народом. Вот Красная Армия, она еще слаба, но это народ, в народе черпает она силу. И мне путь один: только с народом. Народ — это мощь, развязать народу руки, дать ему возможность, он горы перевернет.

Я вам и раньше говорил: мне нравятся события небывалые, даже скажу сногсшибательные, необычайные. Возьмите, например, индустриализацию. Это происходило уже дальше, в более поздний период, когда я был студентом. И хотя я еще оставался непартийным, все эти необычные мероприятия находили во мне отзвук. Это как-то связано с моей натурой. Люблю необычайные дела, они меня притягивают. Таким образом, тут два момента: один — посте-

пенное собирание по крупинкам всяких наблюдений, материалов, и второй — что-то гнездящееся глубоко в характере, в натуре. Это лежало в основе и лежит сейчас.

Вернемся в поезд или, верней, в поезда, ибо пересадок было много.

Уже в Константиновке пришлось расстаться с пульманом, пересаживаться на другой поезд. Устраивался то на крыше товарного вагона, то на буферах. Все прелести эти знаю. На крыше хорошо ехать, да если еще солнышко пригревает,— тепло, простор, все видно, сидим, разговариваем. А на буферах я все паровозные сигналы изучил. Сидишь, держишься за крюк. Вот паровоз дает сигнал — ту, ту-ту, ту, ту-ту. Машинист дает знать бригаде: тормози, большой уклон. Мчимся быстрей, вагоны бросает из стороны в сторону. Это самый неприятный момент, только держись. Потом слышишь продолжительный гудок. Он означает: все в порядке, отпускай. Тогда успокаиваешься.

И подпихивали поезд. Едем, едем и вдруг остановились среди перегона. Оказывается, паровоз не осилил подъема. Из вагонов все выбираются на полотно, остаются лишь какие-нибудь слабаки, и плечом помогаем паровозу. Уперлись, нажали, поезд сдвинулся, пошел.

Пересаживались и в Харькове. А дальше Курская губерния. Помню, рано утром я проснулся (уснул то ли на крыше, то ли на платформе), заря занимается, соловьи поют вовсю.

Вот наконец станция Поныри. Отсюда еще оставалось пройти километров семнадцать до деревни Афанасьевка, где родилась и выросла мать. Туда уже переселился из Макеевки дядя Михаил. И бабка моя была еще жива.

Попал к своим, все были мне рады, и я всем рад. Сейчас же начались расспросы: что в Макеевке, как наша семья, как доехал? Стал рассказывать: не знаю, как там будет дальше, отец поехал за хлебом, не случилось бы с ним чего-нибудь. Дома остались мать, Николай, Илья, Клавдия. Слушала, слушала бабка. И заплакала.

И я растрогался. Приятно было находиться среди родичей. Есть с кем поделиться, есть перед кем отворить сердце, и тебе ответят теплом. Эта новая обстановка, новые впечатления подняли настроение.

Значит, я теперь на месте. Что же буду тут делать?..

Теперь он, некогда записывающий юноша, жадный до штрихов поразительного времени, повествовал мне, человеку с тетрадкой. Вряд ли ошибусь, если скажу: меня он понимал.

Вот запись в моем магнитогорском дневнике.

...Вчера был на совещании у Коробова. Он собрал в своем кабинете командный состав мартеновского цеха — от начальника до мастеров. Совещание началось ровно в назначенный срок, в пять часов. А я опоздал на десять минут. И прошмыгнул к столу, стараясь быть незаметным. Один взгляд на Павла Ивановича — и я уловил обращенную ко мне добрую хорошую улыбку. Он понял мое стеснение, мои терзания и улыбнулся.

Докладывал начальник цеха Гурский. С Гурским я уже знаком, побывал у него дома. Он, как видно, хороший техник, хороший человек, весь отдается производству, но, пожалуй, чуточку размазня. Лицо круглое, глаза добрые, хромает (в детстве был туберкулез кости), нет подтянутости, подобранности. Мартеновский цех работает плохо. Какими-то величайшими усилиями плановое задание все же выполняется, несмотря на многочисленные аварии, несмотря на грязь, дикую захламленность литейного пролета, да и рабочих площадок. Месяца три назад Коробов сверх всяких планов мобилизовал, двинул туда транспорт и людей, они вывезли несколько составов грязи, а теперь снова цех замусорен, загроможден.

Гурский сообщил, что с завтрашнего дня в цехе вводится диспетчеризация. Самые сильные инженеры цеха становятся диспетчерами, то есть распорядителями движения.

У меня не было с собой ни записной книжки, ни бумаги (это из-за опоздания, слишком спешил). И поэтому я записывал лишь кое-что на клочке.

Вот некоторые реплики Коробова. Докладывая, Гурский говорил об изменениях в системе заработной платы: если сварил сталь не по заказу, не будет тебе премии.

— Это доходчивая вещь,— продолжал он.— Придет домой и старухе своей скажет.

Коробов вставил:

— А если у него молодая? Тогда как?

П. И. произнес это не сразу, а как бы промедлив полминуты. Это характерная для него реплика. Наверное, он очень ясно, картинно видит то, что скрывается за словом. «Старухе своей скажет»,— это для него не вообще старуха, а рельефно вырисовывающийся кусочек жизни. Может быть, целая сценка. Так в случайной реплике-шутке слышу, различаю его неразвившиеся задатки писателя.

Еще реплика. Получивший слово начальник станции «Сортировочная» не знает, что вагоны с какими-то материалами простояли в мартеновском цехе несколько дней неразгруженными. Лицо П. И. темнеет. Это ходячая затасканная фраза — лицо темнеет. Но как выражусь иначе? Кровь приливает к лицу, однако П. И. не краснеет, а именно становится темней. Вновь и вновь я в него вглядываюсь. Лицо кажется тяжелым,— недаром он сутулится, словно голова своею тяжестью изменила выгиб позвоночника. Подбородок устремлен вперед или, проще, выдвинут, губы не сжаты, а как-то подобраны, не распущены. На лбу поперечные складки. Он в эту минуту грозен, страшновато с ним заговорить, от него исходит нечто, от чего внутренне жмешься (сужу и по себе, хотя я ведь в стороне). Что же такое это нечто? Воля. Все чаще думаю о том, какую огромную роль воля, человеческая воля, ее напряжение играет в нашей действительности. Отпусти, ослабь — и дело повалится. Коробов человек воли, один из тех, кто напряжением воли подпирает, продвигает совершающееся. Впрочем, я отвлекся. Итак, вот его реплика:

— Вы, значит, такой большой начальник, что позволяете себе не знать? Директор знает, а вы не знаете.

И он внушает, что начальник станции обязан знать во всей реальности, со всеми нехватками и болями жизнь тех цехов, которые обслуживает. Сейчас вижу П. И. не только человеком воли, но и воспитателем. Он не орет — воспитывает. Такова его черта. Вообще замечательная фигура для книги. Надо лишь лепить его с натуры, во внешнем давать внутреннее.

Еще реплика. Кто-то сообщает, что в последней пятидневке сталевар Макаров дал сто процентов непопадания в анализ.

П. И.: Нет ли у него брата на прокате?

— Не знаю.

— Там тоже есть Макаров. У того тоже такие же отличные отметки.

Ирония. Переход из одного плана в другой. Из плана производственного, делового в план житейский. Это для П. И. характерно. В чем тут суть, я еще не раскусил. Пожалуй, опять наложила свой колорит склонность к образному мышлению.

Еще реплика. В мартеновском цехе плохо со стопорами. Мастер, отвечающий за это, заболел.

П. И.: Заболел стопорной болезнью.

Напоследок П. И. говорил заключительное слово. Отмечу лишь кое-что. Он высказался против отпускных настроений, против усталости.

— Я не верю в усталость,— заявил он.— Я три года не пользуюсь отпуском. Правда, здоровье иногда подводит: почки и так далее. Но как я пойду в отпуск, когда завод работает так плохо? Меня насильно не заставите отдыхать.

И еще сказал кратко, сильно о себе:

— Все отдам заводу.

В точности не помню его слов, но они были похожи на слова Дзержинского в его предсмертной речи: «вы знаете, я не щажу себя».

П. И. говорил и о работе по графику, о культуре труда, а также о том, что снаряды делаются из стали.

Знакомое желанное волнение пронимало меня. Смотрел, слушал, приникал к чему-то большому, животворному, это поднимало, возвышало меня самого. Надо написать страстную, правдивую, высокую книгу. Коробовскую книгу.

ДЕПУТАТСКИЕ ДЕЛА

Ранее было помянуто, что первые часы своего знакомства с Павлом Ивановичем я провел у него, когда он занимался (выделив на это, как я узнал, один день в неделю), обращенными к нему, депутату, письмами. Для первого раза я ничего не записывал, попросту внимал. Но, придя через неделю вновь на разбор писем, я, конечно, развернул тетрадку, озаглавил свежую очередную страницу: «Депутатские дела».

Опять перемежаются — читатель, надеюсь, этим не попрекнет — записи по существу и разные мелкие наблюдения, строчки о внешности, повадке.

...Большой домашний кабинет, огромный стол. Под рукой П. И. стопка квадратиков бумаги размером приблизительно в половину открытки. Подобные квадратики — своего рода знак времени: частенько ныне их встречаю. Других бумаг на столе не вижу. Лишь секретарша (в записях значится ее фамилия: Придорогина; облик, к сожалению, никак не характеризован, если не считать словца: серьезная) выкладывает из папки письмо за письмом.

...Просьба об увеличении пенсии. Инвалид.

П. И. *(прочитав письмо)*. Поговорить там, где он работал. Расспросить. Если добросовестный работник, напишем от себя, будем за него ходатайствовать.

...Где сменить справки на метрические выписки? Получаю 85 рублей в месяц, со мной шесть детей. Сторожиха на строительном участке. Трое школьники, босы. Без метрических выписок не выдают пособия на детей.

Придорогина. Написать ходатайство?

— Нет. Посмотрим, нельзя ли это сделать у себя. Может быть, у нас в управлении можно сменить. Если нельзя, надо найти пути, каким образом ей добыть эти справки.

...Крупный мясистый нос. Разница носов Ильи и Павла. У Павла русский и, рискну сказать, более добрый нос.

Волосы встрепанные. Тонкая нижняя губа. Руки сильные, волосатые.

...Письмо из Абдиллинского района Оренбургской области. Чувашская школа. Выпущено семнадцать человек, которые стали педагогами. Здание школы построили колхозники. Неприглядный жалкий вид. Крыша из соломы. Смета сокращена райисполкомом. Нет средств на ремонт. Обращаемся к вам, как к депутату. Данное письмо одобрено коллективом нашей школы. Директор такой-то.

П. И.: Молодец!

Смеется. Продолжает:

— Обратимся в Оренбургский областной отдел народного образования. Прошу удовлетворить. И в любом случае поставить меня в известность.

...Каждое письмо читает сам с начала до конца.

...О выселении из квартиры, как жены врага народа. Ее выселяют, прокурор дал отсрочку до 5 мая. Работает в Маслопроме в бухгалтерии.

Придорогина. Ничего о ней не знаю.

П. И. вздыхает. Вздох длинный: ху-у-у-у...

— Перестраховываются... Проверьте по месту службы. Если хорошая работница, трогать не будем, пусть живет. А если барахольщица...

После паузы:

— Если хорошая работница, дам команду не трогать.

...Пьет нарзан маленькими порциями, по четверть стакана. Игра мышц на скулах, на висках.

...Просьба принять ребенка в ясли. Отец и старший брат в тюрьме.

— Ох-хо-хо... С яслями скандал. Все перегружено. Ху-у-у... Детей-то надо ограждать от беспризорности. Дети ни при чем.

Придорогина. У нее пять человек. Трудно ей.

— Пишите просьбу Совету жен. Прямо моей жинке. Прошу ребенка определить в ясли. Это раз. Второе. Председателю горсовета Лапшеву. Прошу определить ребят в детсад.

...Телефоны на столе молчат, не отвлекают Коробова от депутатских дел, он установил такое правило.

...Письмо жены туберкулезника. У него третья стадия. Жена получает 120 рублей в месяц. Это весь бюджет. Трое детей — школьники. Профсоюз дал больному путевку в санаторий.

— А детвора как учится? Если хорошо, можно дать стипендию. Даже если только один отличник, взять их на стипендию. И еще. К Лапшеву обратиться: оказать единовременную денежную помощь.

— Я там была. Он спит на детской кровати. Кашляет, потеет, потом спят дети.

— Это безобразие. Надо врача послать. Собрал бы всю семью и разъяснил бы.

...Пенсионер, инвалид. Задолженность по квартирной плате. Семья шесть человек. Просит рассрочить.

П. И. *(берет письмо, читает)*. Начальнику города Магнитогорска товарищу Коробову... Ха-ха-ха...

Много смеется, часто улыбается.

— Вы с ним разговаривали?

— Нет, с женой. Трудно живут.

— Если пойти по этому пути, завтра будет тысяча заявлений. — Запускает пятерню в свои встрепанные волосы.— Бедный мой кавказский голова... Рассрочить!

...Протяжный низкий звук гудка.

— Ой, что такое? Двенадцать? Черт его знает, как сделать, чтобы иметь побольше времени?

— Может быть, немного отдохнете, Павел Иванович?

— Что вы? Давайте, давайте дальше.

...Прошу обменять жилплощадь, так как стена валится. Обследование: факты не подтвердились. Только штукатурка у подоконника осыпалась.

— Черт! Надо ей порезче ответить. Гражданке такой-то. Скажите мне, зачем вы занимаетесь обманом и отнимаете у меня время?

...Телефонный звонок все же раздался. Вскоре по ходу разговора мне стало ясно: позвонил секретарь горкома партии Смуров. Некоторые реплики П. И. я записал:

— Нет, сегодня в доменный не выберусь.

— Ты знаешь, помогаю им не нагоняями.

Слежу далее за разговором:

— Тут у меня тоже тысяча и одна ночь... Занимаюсь своей депутатской почтой. Куда денешься? Обязанность!

Придорогина. Здесь отвечает вам Чернушин.

— Это барахольщик. Видимо, я его тут растерзаю. Ну-ка... *(Читает.)* При сем направляю разъяснение наркомата об оплате машинистам.

Берет листок-квадратик. Пишет. Графит ломается, отбросил карандаш. И все же пошутил:

— Авария...

Пишет другим карандашом:

— Мне бюрократических ответов давать не надо. Учтите, что у меня нет возможности вместо вас работать, и этого я никогда никому не позволю. Разберитесь сами серьезно и учтите это на дальнейшее.

...О предоставлении жилплощади. Хотя бы в бараке.

— Ох-хо-хо... В печенках сидят эти бараки! Клянем всех, кто эти бараки строил, а сами тоже будем строить.

Постукивает по столу пальцами.

— Запросите производственную характеристику.

...Просьба переменить квартиру. Приговорен к двум годам заключения, срок отбыл, работает здесь. Прошу не отказать.

Опять постукивает пальцами.

— Гражданину такому-то. Напишите мне, за что вас посадили. Кроме того, адрес вашей семьи и последнее место работы вашей жены. И отзыв о себе или о ней... А там, может быть, чем-нибудь ему поможем.

...Потеряно письмо, которое с запросом Коробова было переслано в цех.

— Это безобразие!

Берет телефонную трубку, с кем-то соединяется.

— Вам было послано заявление такого-то о неправильном увольнении. И оно у вас потеряно. Это возмутительное дело... Да, заставьте своего Мосунова разыскать. Если не разыщет, в три шеи надо выгнать. Не сдали под расписку? Ну что ж, это же не Хитров рынок.

...Предоставили квартиру: одна комната на первом этаже, а другая на втором в конце коридора. Задолженность 400 рублей. Приняты репрессивные меры, взяли мебель, отрезали свет.

— Так... Интересная штука. Напишем. Предоставьте немедленно гражданину такому-то квартиру в одном месте, не заставляйте человека жить в двух комнатах на разных этажах. Свет включите. Плату надо взять. И ему напишем. Дал распоряжение предоставить квартиру в одном месте, а пока включить свет. Квартплату вы должны внести.

...Работники прокуратуры города Златоуста просят помочь в приобретении легковой машины.

— Надо для них выпросить машину... Так... Посылаю письмо работников прокуратуры г. Златоуста, в котором они просят меня, как депутата Верховного Совета, обратиться к вам с просьбой отпустить одну легковую машину для обслуживания района. Выполняя долг депутата, убедительно прошу дать указание. Прошу ответить.

Передает Придорогиной листок.

— Пусть попробует отказать.

...За разбором писем незаметно пролетали час за часом. П. И. вздыхает:

— Ну, хватит. Конец.— И еще как бы припечатывает это на немецком: — Шлюсс!

* * *

ЖЕНА

После этого «шлюсс!» обедал у Коробовых.

Любимые блюда Павла в молодости — окрошка (мать называла квас) с солониной, зеленые щи, гречневая каша с сливочным маслом, вареная картошка подсушенная с маслом.

П. И. вздыхает:

— Теперь все это уж не то...

Галина Станиславна:

— Не вздыхать! Я не позволяю дома быть мрачным. П. И. смеется:

— Вздохи, товарищ Бек, оставлю уж для вас.

...В один из ближайших дней я провел первую беседу с Г. С. В этот раз стремился схватить, оконтурить нечто целое, оставляя детали «на потом». Думается, несмотря на разбросанность и порой клочковатость записанного мною рассказа, в нем тронуто главное в личности, в жизни Г. С. и проступил силуэт.

Вот эта запись.

...В юности П. И. не был таким открытым. Не шутил. Постоянно замкнут. Его не тянуло то, что мы называем обществом.

Мы поженились в 1926 году. Еще лет пять он не признавал компании. Примерно с тринадцати и до тридцати лет оставался замкнутым. Теперь приветлив, шутлив. Шутит с общественницами, с заводскими людьми. Теперь иногда собираем гостей. И никто не чувствует себя стесненным в его присутствии.

Мне было восемнадцать, когда П. И. впервые сказал, что меня любит.Через год друг другу дали слово. Мы — соученики макеевских вечерних курсов. Мне его поклонение не новинка. Это я встречала часто. Он по натуре однолюб. Если любить, так любить.

Я более спокойно относилась к этому. Ничего, пусть подождет моего «да». Он настолько серьезно подходил, что я не боялась его потерять.

В то время он невзрачный юноша (не могу разобрать следующего слова), с красивыми глазами, с сильной волей. Поженимся лишь после того, как оба получим высшее образование. Это мое условие.

Обо мне. Черное платье, две косы, черный бант. Локонушка на лбу иногда бывала, иногда нет. Я сочетала в себе два качества: первой была или, во всяком случае, впереди других (не ниже третьей) на своем курсе и очень кокетлива. Кто видел меня во время развлечений, не верил, что я такая серьезная. Наши несогласия,— я хотела людей, нравилось побыть в кругу знакомых, нравились эти легкие разговоры, ухаживания, а П. И.: отдохнем вдвоем, одни. И хотя меня привлекали развлечения, я оставалась

равнодушной к поверхностным несодержательным людям. Натура, душа требовала иного, чем легкий сладкий стиль. Среди всей моей компании П. И.— резкий контраст. Я не влюбчива, даже, может быть, холодновата. У меня началось не с влюбленности, а с глубокого уважения.

Он уехал учиться в московский институт. Мы расстались чуть более близкими, нежели просто хорошие знакомые. Я очень самолюбивая и гордая (это польская кровь). Горда, как женщина. Не стремилась к замужеству, оттягивала.

На рождество он приехал жутко больным. Пожалуй, тогда испытала жалость. Однако была очень эгоистична. Была жестокой к мужчинам. В дальнейшем я сделала его живее, он меня — мягче.

Еще до замужества изводила его своими капризами. Идем кататься на лодке, что-то не понравилось.

— Не сяду.

И все. И уже не соглашаюсь из принципа. Это именно упрямство. Издавна считалось, что женщина подчиняется. Доказать, что это не так. Потребность подчеркнуть его поклонение. Это было что-то болезненное. Потом я от этого избавилась.

Двенадцать лет совместной жизни, четыре года жениховства.

Еще о себе. У мамы правило: дети должны уметь все делать. Девочкой я после стирки штопала, пришивала пуговицы. И вместе с бельем — книга. Очень быстренько исполню и потом читаю. Моим чтением руководила жена директора гимназии. Никто в библиотеке не менял так часто книг, как я. Очень любила науку, чтение. Получала огромное удовольствие из-за того, что это все мне легко давалось. Цель — обязательно высшее образование. Видела, как много мучений было в жизни матери. В доме вечные нехватки, старое на новое перешивается, постоянно эти неприятные мелочи. Это толкало меня высвободиться из такого быта. Буду жить иначе. Мать всегда зависела от отца. Потом без него бедствовала. Я не хотела для себя зависимости от мужчины. Это при моем самолюбии непереносимо. А чтобы стать совершенно равноправной, самостоятельной, надо получить высшее образование.

Я не помню, чтобы в молодости был бы хоть один случай, когда я не добилась бы цели, которую себе поставила.

Буквально, ни одного случая. Даже в мелочах,— захочу что-нибудь достать, достану.

Вот поездка на экзамены в институт. Вы думаете, легко было поехать? Я всем, от кого это зависело, головы прогрызла, чтобы убедить: женщина тоже может стать инженером, специалистом металлургии. И все-таки добилась. Послали в Артемовск в технологический институт. Там из четырнадцати человек, которых послала Макеевка, приемные экзамены выдержали всего двое. Среди этих двоих и я. История Запада, история германской социал-демократии — все это я знала, жарила наизусть названия, даты, имена.

П. И. заканчивает институт, и я заканчиваю. Дипломные проекты. П. И. прекрасно осознавал, но не умел выразить. Говорил мне: вот что я хочу сказать, помоги выразить. У нас с ним одна специальность: доменное дело. Он инженер-практик, я хотела стать научным работником. Поставила себе задачу получить кандидатскую степень.

Переезд из Енакиево в Днепропетровск. Он начальник доменного цеха, я сотрудник кафедры металлургии чугуна в Днепропетровском институте. Уже у нас ребенок. Добиться сдвига на заводе было безумно тяжело. П. И. выдерживает невероятную нагрузку. Цех становится неузнаваемым. Результаты прочные. И бац — его назначают в Магнитку. А мне требовалось еще лишь несколько месяцев, максимум год, чтобы стать кандидатом наук. Что же делать? Ехать с ним? Бросать свою работу? Я горько, горько плакала. Он дня три ходил унылый.

Мы решили: он уезжает, я остаюсь. Через одиннадцать дней он в Магнитке захворал. Его привезли в Москву в больницу. Съездила к нему. И когда он выздоровел, я все-таки выдержала характер, вернулась в Днепропетровск. Пять месяцев сидела без него в Днепропетровске. Он в Магнитке вновь свалился. Я перенервничала, перетрусила, бросила незаконченную свою работу, прилетела сюда. Мое упорное «я» сломилось перегруженностью П. И. Если бы мое упорное «я» восторжествовало, П. И. очень бы страдал.

Раньше он считал себя несокрушимо здоровым, не ведающим утомления. Это оказалось иллюзией. Теперь пришла утомляемость. Слишком не жалел себя.

Я не могла за ним угнаться. Жизнь определила мое

место. Жена. Председательница Совета жен. Я привыкла очень много ему помогать. В жизни завода нет ни одного обстоятельства, которое волновало бы П. И., и о котором я не знала бы. Это потому, что мне не скучно его слушать. Фразочка «ах, эти печи!» не из моего репертуара. Мне это интересно. Я могу вступить в разговор о заводе, забыв про обязанности хозяйки.

Быть хорошей женой. Быть другом, помощником, стражем здоровья. И хорошей матерью. Теперь в этом моя жизнь.

ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ

Исподволь я продолжал собирать в свою копилку черты и черточки П. И. Опять это были еще только первые, употребляя термин геологов, керны, то есть выбуренные тут и там пробы. Неожиданность, о которой сообщу далее, оборвала магнитогорские мои заметки. Пробежим их.

* * *

Стенографический отчет хозяйственного актива Магнитки. Речь П. И. В ней сформулирована, как сам он выразился, его программа. Вот этот кусок.

...Наша задача завоевать доверие, любовь у народа, у рабочих. Чем мы можем это завоевать? Искренней преданностью делу. И человеческим отношением к каждому, не только к лучшим, к прославленным, но и к самому незаметному, не блестящему, самому маленькому труженику на любом участке.

Такой преданностью, любовью к делу, к человеку, причем от идущего впереди и до последнего, лишь этим мы можем к себе вызвать ответное внимание, ответную любовь. Я рассматриваю это, как программу, как вехи нашей жизни.

* * *

О спецодежде. Жалуются, что на горе (то есть на рудных разработках) спецодежда быстро рвется, просят чаще выдавать спецодежду.

П. И. По-моему, в этом деле мы сами себе портим. Превратили гору в богадельню. Кончать надо с этой богадельней. Помню, отец, будучи горновым, имел кожаные рукавицы, колодки. Сам покупал. Берег. Выглядел у горна чистеньким. А сейчас иждивенческие настроения. Рабочий приучился думать: выдадут. И ходит рваный, как петух. Не смотрит за своей спецодеждой. Мы имеем колоссальный перерасход. С этим иждивенчеством надо кончать.

* * *

Вспышка гнева.

— Вы легкомысленный человек, черт вас драл.

* * *

Паровозо-ремонтное депо. Идет речь о том, что паровозы выходили из ремонта больными.

Реплика П. И. У вас ученые паровозы. Если даже выпустишь, вернется сам назад.

И далее:

— Есть такой тип врачей, лишь бы вынести из операционной. Лишь бы не умер в операционной, а что через минуту умрет — это не его дело. И у вас так.

Затем:

— Давайте старика заслушаем. Почему плохо работаете? Почему преступно работаете?

Старик-слесарь. Распустились. Раньше струнку крепко натягивали. Теперь струнка послабее стала.

П. И. Правильно. Пришел паровоз обратно, надо ни копейки не заплатить. Вот он пусть принесет семье расчетную книжку. Его спросят: что же ты наработал? Ни одного случая нельзя пропускать. Вы обязаны за этим следить. Вышел паровоз из ремонта, вы обязаны следить за опробованием.

* * *

О доме отдыха у озера Банное.

П. И. Развернем там городок выходного дня. Кто хорошо работает,— поедет. Кто плохо,— не обессудь, сиди на месте. *(Вздыхает.)* Согласно этому принципу мне никогда не придется ехать.

* * *

В мартеновском цехе.

П. И. Нет более важной задачи у нас на заводе, чем задача дать сталь для снарядов... Я начинаю разочаровываться в вашей работе, товарищ Гурский. Прямо при всех говорю. Слов много, дела мало. Честными болтунами окажемся. Больше ничего.

* * *

Недоделки в гвоздильной установке.

П. И. Черт знает, какое легкомыслие. Возмутительное дело! Разыщите его. Вот еще тоже герой из оперетки.

* * *

Разговор по телефону с начальником квартирного отдела.

— Почему вы до сих пор туберкулезнику не дали квартиры?.. Я хочу вас предупредить. Очень серьезный момент назревает в вашей жизни и работе. Я все ваши проделки знаю. Хорошая квартира отдана какому-то жилотдельцу. Судиться с вами не собираюсь, а вот под суд вас отдам. И вам не поможет, что вы заранее отремонтировали дом прокурора. Предупреждений от меня больше не ждите. В первую очередь ремонтировать бараки, в первейшую — детсады. Все другое — во вторую.

* * *

П. И. назначает нового начальника в квартирный отдел.

— Павел Иванович, мне там будет тяжело. Туда лучше бы подошел такой-то.

— Гм... Парень живой, но работает по регламенту. Боится переработать. И потом он не хозяин. Язык хорошо подвешен. Но хозяйской жилки нет.

— Рано мне еще.

— Что же, и мне рано быть директором. Время такое.

* * *

Диспетчеру.

— Вам надо позубастее быть. А то вы американский наблюдатель.

* * *

Разбор аварии на дробилке.

П. И. Значит, вам велели загрубить защиту?

Электрик. Да, сделал, как мне приказали.

П. И. А чем это угрожает, вас не касается? Вот вам прикажут: бросай с крыши кирпичи. И будете бросать на головы прохожих? А потом скажете, что вам так приказали? По-моему, эдакие рассуждения ведут вас на неправильный путь.

* * *

Радио-перекличка металлургов. Нарком обращается из Москвы к тому, к другому.

Смуров *(Павлу Ивановичу)*. Вот вызовут тебя. Что ты скажешь?

П. И. Важно не что сказать, а чтобы дела были хороши.

* * *

У П. И. маленькая записная книжка. Туда пишет мало, редко.

Кому-то сказал:

— Запишите себе в книжечку и до тех пор не вычеркивайте, пока не сделаете.

* * *

На собрании комсомольцев мартеновского цеха. Плакат: «Привет комсомольцу товарищу Оськину, который поставил новый рекорд — сварил плавку за 6 часов 05 минут». Рядом с плакатом портрет Оськина.

П. И. сидит не в обычном своем полувоенном костюме, а в пиджаке. Свежая белая рубашка, галстук. Стала как-то заметнее его худощавая шея, большая голова, большое лицо. Он кашляет, это я замечаю уже не первый раз.

Оськин. Мы исполняем обязательство, выдаем металл по графику, по качеству.

П. И. По заказу.

Оськин. Да, по заказу. Плохим металлом мы страну не укрепим.

Впечатление от Оськина: говорит твердо, ясно, знает себе цену, знает чего хочет, имеет ясное представление о технике и о политике.

П. И. обнял Оськина.

Из выступления П. И.:

— Я хочу сказать комсомольцам и старикам с комсомольской душой. Сегодня мы на празднике товарища Оськина. И я снял свой рабочий наряд. Хочу помолодеть... Начались замечательные дела в вашем цехе. Что основное? Стремление к культурной работе. Год назад — ничего хорошего, авария на аварии, говорили, это каторга, а не работа. Сегодня совершенно иная обстановка. Мартеновцы начали мыслить, технически мыслить, начали радостнее жить... Живем в замечательное время. Надо это время по особому любить.

Его искренность, пафос, волнение.

* * *

В кабинете.

П. И. *(по телефону).* Приезжайте ко мне через два часа.

Я. Вы же хотели сегодня смотреть кинокартину «Тихий Дон».

— Здесь свой «Тихий Дон». Своя постановка. «Поднятая целина».— И повторяет: — Поднятая целина.

* * *

Вечером П. И. собрал у себя проектировщиков.

— Ну, товарищи, засядем, и до петухов.

Знаю, он себя чувствует неважно. Сказал мне перед совещанием: «Ломит суставы. Это у меня бывает. Поломит несколько дней и пройдет». Около полуночи телефонный звонок от Г. С.

П. И. Нет, мамочка, нет... *(Улыбается.)* Что же, заезжай, поспишь тут на диване. Потом вместе домой.

* * *

НЕОЖИДАННОСТЬ

Павел Иванович болен. Он свалился через несколько дней после того, как публично провозгласил, что не верит в усталость.

Вот краткая история его болезни. В выходной день он был на Банном вместе с А. (фотокорреспондентом из Мо-

сквы). Погода скверная. Моросил мельчайший дождик, водяная пыль. Они охотились на лодке. П. И. к вечеру почувствовал себя плохо и приехал домой уже больным. С тех пор и до нынешнего дня не выходил из дома.

В первый день температура была нормальная, потом тридцать семь и два, потом тридцать семь и восемь, вчера снизилась до тридцати семи. Но кашель, кашель не прекращается. Кашель его душит. Приступ кашля через каждые полчаса. П. И. кашляет пять, десять минут и не может откашляться. Кашель не дает ему спать.

Вчера Аркадьев (его секретарь) к нему зашел.

— Как спали, Павел Иванович?

— Не спал. До двух дремал, а с двух и дремать не мог.

И не попросил сведений о производстве, не задал ни одного вопроса. Аркадьев молвил:

— Если товарищ Иванов будет заместителем, надо провести приказом.

— Да, надо, надо.

П. И. ничего больше не сказал. Это был, очевидно, самый тяжелый день болезни.

Сначала П. И. еще пытался управлять заводом по телефону, потом не смог или запретили. Наркому он дал телеграмму: «Заболел, управлять заводом из дома не могу, прошу назначить заместителя». В ответ пришла телеграмма с известьем о назначении Иванова.

Профессор из Свердловска определил капиллярный бронхит. Звонил из Москвы Николай Иванович. Справлялся: какой диагноз, какие симптомы. Повторял: «точнее, точнее». Сказал, что к П. И. вылетает профессор — терапевт Кремлевской больницы, надо знать точно, кого именно послать. Прилетел профессор Рабинович. Диагноз: астматический бронхит.

От П. И. скрывают аварии, была авария на ЦЭСе, от него скрыли. Не дают телеграмм, писем. Никого не допускают.

Сегодня улучшение. Аркадьеву влетело за то, что скрыл аварию. П. И. о ней узнал, кому-то позвонив по телефону. Газеты ему дают. Он прочел в «Магнитогорском рабочем» статью о заводе, всю ее расчеркал синим карандашом, четырем человекам по поводу нее дал поручения.

Из Москвы телеграмма от Правдухина: «Нарком разрешил выехать в Москву для лечения в санатории Барвиха». Подобную телеграмму получил и Рабинович с добавлением: «Просьба сопровождать больного». П. И. ответил: «До того, как Иванов войдет в курс дел, выезд считаю невозможным». Одновременно попросил две путевки в Барвиху. Хочет ехать с Г. С. Это будет их отпуск. Поедут они, вероятно, дней через восемь.

Рабинович сказал, что лечение затянется, вероятно, месяца на два. Приходится теперь вздыхать и мне. Только начал вбуриваться и... Ох-хо-хо... От сроков никуда не денешься. Как же быть? Как же писать?

* * *

Здесь же сообщу: истекло месяца два, и, уже в Москве, я вновь повидался с П. И. Он возвращался из отпуска в Магнитку. Вот кусочек моей записи.

...П. И. вызвал машину, поехали в Химки, оттуда на пароходе по каналу, затем на поезде к Николаю Ивановичу.

Купались, играли в футбол. П. И. горячий азартный игрок. Он стоял в воротах без рубашки, красный, потный, и все отбивал и отбивал мячи. Николай говорил:

— Довольно, завтра без ног будешь. Хватит.

Но мы не кончали. И главное, не хотел кончать Павел. (Тут различье между характерами братьев.)

Потом ужин, после ужина волейбол, потом сели у крылечка, и в сумерках, а далее в темноте разговаривали, рассказывали...

* * *

Книгу о семье Коробовых я тогда не осилил. Горько пережил эту свою незадачу. Выдал лишь сравнительно небольшую работу «Записки доменного мастера», напечатанную в предвоенный год.

И только много лет спустя — в 1958-м — стал опять наведываться к обосновавшимся в Москве двум сынам Ивана Григорьевича, съездил и к третьему, Илье, директору Петровки, провел с ним три недели, записал его рассказ о временах войны, о полосе восстановления, о борьбе за открытый им способ форсировки хода доменных печей,

способ, что составил веху, этап в развитии металлургии. Те мои записи в эту книгу не уместятся. Надеюсь, если хватит сил, особо над ними поработать.

Впрочем, еще одну зарисовку, относящуюся к 1958-му, хочется все же извлечь. В ней я опять, чтобы вольней писалось, прибегнул к вымышленным именам и названиям. Пусть она идет под уже знакомой рубрикой:

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Старик академик Макарычев сидит в одиночестве в кабинете министра, поджидает его. Удобно расположился на одном из кресел, вытянул длинные ноги.

Из приемной, куда дверь рукой секретаря была деликатно оставлена полуоткрытой, но уже не отверстой настежь,— такого рода половинчатость входила в неписаный этикет министерств, служила знаком, что, хотя министр и отсутствует, все же какой-либо уважаемый посетитель пребывает в кабинете,— из приемной доносится шумок, невнятный разговор.

Макарычев прислушивается, глядит в проем двери. На пороге появляется Прохоров-старший, первенец средь братьев-металлургов Прохоровых, Алексей Афанасьевич, с годами будто потяжелевший. Такое впечатление оставляла, пожалуй, походка, да и приветственный жест, утративший прежнюю живость. А лицо исхудало, углубившиеся продольные складки на щеках и от крыльев крупного, картофелиной, носа к углам рта, делали физиономию изможденной. Он так и не изменил полувоенному, защитного цвета, костюму. В серых глазах, устремленных на академика,— под ними заметны отеки,— светится привязанность, схожая с сыновьей. Алексея Афанасьевича сейчас красит и проступившая добрая улыбка. Дыша с астматической хрипотцой, он пожимает крепкую еще пятерню Василия Даниловича. Давно ли они приходили сюда к своему черноволосому министру, не дававшему поблажки ни другим, ни себе, всегда готовому приподнять коротковатую верхнюю губу, показать клычки, приходили, как его два заместителя, долгими часами здесь просиживали своими людьми, почти хозяевами, а ныне оба тут встретились гостями.

Обрадованный негаданной встречей, Алексей Афанасьевич объясняет свое появление:

— Ну, и дела... С родным братом не повидаюсь. Он приехал нынче утром. Позвонил с вокзала. Вызван-де в ЦК, наверное, по поводу своего письма. У него конек все тот же: повышенное давление газа на колошнике. Опять заявил, что на многих заводах это дело еле двигается. Ну, его и вызвали. Сказал, что покатит-де прямо в ЦК. А часа через три второй звонок. Победа, все предложения приняты. И сегодня же уезжает восвояси. Если хочешь повидаться, гони в министерство. Буду-де говорить там с Цихоней.

Алексей Афанасьевич прохаживается, не то гордясь, не то возмущаясь братом, директором старого, не раз обновленного, южного завода имени Курако, называемого в обиходной речи попросту Кураковкой.

— Я ему попенял,— продолжает Алексей Афанасьевич,— не совестно ли старшего эдак гонять? А он мне: такая эпоха!

Шагнув к академику, с интересом слушающему, Прохоров не без обиды восклицает:

— А у нас что,— была же эпоха?

Алексей Афанасьевич бросает взгляд на портрет Серго, писанный маслом, издавна украшающий одну из стен. Поседевший Серго чем-то доволен, улыбается, глаза-черносливины блестят, явственно видна ямочка на круглом его подбородке. Однако старик Макарычев не желает согласно кивнуть. Он еще с толком, со вкусом поработает, поживет и в новой полосе. Да и Алексей Прохоров ровно бы зря зачисляет себя в бывшие, еще тянет, ходит в упряжи, ведет в качестве главного редактора отлично поставленный двухмесячник «Металлургия». И все же разговор съезжает на болезни.

— Здоровье-то как, Василий Данилович?

— Ничего, скриплю. А вы как?

— Да вот только вчера был у профессора. Вы его, наверное, знаете. Фоменко. Тот самый. Известный. Бородатый.

— Пока бог миловал. Что же он вам преподнес?

Поощряемый этой живой заинтересованностью, Алексей Афанасьевич принимается рассказывать.

Раньше при случайных встречах у них, двух доменщиков, непременно возникал особенный разговор профессио-

налов, которому не было края. С силой мощного электромагнита обоих притягивали всякие удивительные случаи в доменном производстве, все еще даже и во второй половине двадцатого века сохраняющем некую таинственность, всякие непонятные расстройства, внезапные необыкновенные аварии. От теперешних времен они, бывало, уходили встарь к годам великой войны или первых пятилеток, а то и еще дальше, заново толковали происшествия, памятные старожилам Макеевки или Магнитки. А вот сегодня пошла речь об ином,— о здоровии, о болезнях не доменных печей, а человеческих.

Вчерашнее заключение профессора до сих пор радует, волнует Алексея Афанасьевича. Отныне он по всей форме признан годным. Говоря точнее, ограниченно годным, но он и этим доволен. Наверное, осенью сможет поехать вместе с Макарычевым в Донбасс на всесоюзное совещание доменщиков. А там, на совещании, надобно ждать бури.

Наконец-то беседа сворачивает в исконное, так сказать, русло. Два заслуженных металлурга говорят о новостях своей доменной епархии. Прохоров-младший,— его в разговоре с академиком Алексей именует попросту Петро,— обещал учинить разнос инженерам Загория, Новоуралстали, сибирякам, заявил в печати, что доменщики не берут от тамошних, да и не только от тамошних, печей того, что эти домны могут дать.

Макарычев бурчит:

— Пусть подерутся. Будет толк. Ваш Петро расшевелит публику.— И вдруг другим тоном добавляет: — Э, вот и он. Легок на помине. В старину в таких случаях говорили: зол.

Петр Прохоров шагает к столу, у которого в креслах устроились два ветерана металлургии и министерства тож.

Он улыбается. Некогда познакомившись с ним ближе, автор может засвидетельствовать, что улыбка,— меняющаяся, разная,— почти постоянно пробивается, играет на его отнюдь не выпирающих, скорей тонких, губах. Частенько она заметна лишь в чуть приподнятых уголках рта. Подобную улыбку, словно бы природную, автору доводилось встречать, рискну это сказать, у очень талантливых, или, выражусь, пожалуй, осторожней, у наделенных сильной способностью воображения, некой особенной жилкой людей.

Петру Афанасьевичу сопутствует тоже улыбающаяся, но весьма сдержанно,— в этом, вероятно, как-то сказывается отношение министра к Петру,— знающая во всех тонкостях кодекс учрежденской вежливости, в меру нарядная, в меру деловитая Валерия Михайловна. Директор Кураковки идет, будто без спешки, однако секретарше министра приходится все же поспешать, быстро семенить, чтобы не отстать. Он, видимо, приоделся для поездки в Москву,— верней, за этим последила жена,— светло-коричневый с красноватой искоркой костюм выглядит чуть ли не щегольским. Но волнистые вьющиеся волосы, в которых отливает унаследованная у отца рыжинка, с утра, разумеется, приглаженные, успели растрепаться. С виду Петр словно бы легок, но вместе с тем и тяжеловесен: мощна нижняя челюсть, да и вся стать, особенно сзади, с сутуловатой спины, кажется такой же медвежьей, как у брата. Нос, однако, не круглый, а тонкий, горбатый, тоже переданный Петру нетерпеливым, упрямым, теперь уже покойным, отцом.

Младший на ходу внимательно всматривается в черты брата. Алексей Афанасьевич отвечает засветившимся взглядом,— присущее ему обаяние нередко выказывается в этой своеобразной улыбке глазами. Глаза у братьев схожи,— того цвета, что народ называет голубым, не лазоревые, ярко-небесного оттенка, а скорей пепельные, синевато-серые. Впрочем, у обоих этот тон не постоянен: в минуты усталости, раздражения, гнева, глаза темнеют, приобретают блеск свинца или исчерна-серого сланца, а хорошее настроение, радость, подъем делают радужку почти васильковой.

Вот и сейчас глаза Петра засинели ярче: брат, видимо, окреп, поздоровел за те несколько месяцев, что они не видались.

Откликаясь на словцо Макарычева, Алексей произносит:

— Зол? Зол на работу.

— Не только,— возражает Петр. И словно для того, чтобы ни у кого не оставить сомнений, еще определенней повторяет: — Не только!

Его почти всегдашняя непроизвольная улыбка видоизменяется в усмешку,— уверенную, свидетельствующую о полной убежденности в своей правоте. Она, эта характерная усмешка Петра, считалась еще с мальчишеских лет

дерзкой, нередко приводила в ярость тех, кому он противоречил. Впрочем, сейчас она только мелькнула.

Пока совершается обряд рукопожатий, Валерия Михайловна проходит к телефонному столику.

— Петр Афанасьевич, соединяю вас с Кураковкой. Кого просить? Главного инженера?

— Если можно, лучше бы начальника доменного цеха.

Валерия Михайловна вращает диск аппарата, отличающегося от других темно-красноватой окраской. Это телефон прямой связи с заводами. Еще в середине тридцатых годов нарком тяжелой промышленности Орджоникидзе включил в число других строек, пустил в эксплуатацию и этот невидный, но (воспользуемся жаргоном времени) трудоемкий объект,— на юг в Донбасс и в Приднепровье, а также на восток, разбегаясь по Уральскому хребту, пролегли траншеи, куда был зарыт кабель, связавший напрямую кабинет Серго с крупнейшими предприятиями первых пятилеток. Далее это телефонное наследие еще было приумножено.

Петр опять вглядывается в оживленное возбуждением, светом глаз лицо старшего брата.

— Как со здоровьем, Алексей?

— Новостишки есть. Хорошие. После расскажу. Сначала выкладывай о себе. Ты же у нас нынче творишь новости.

Петр вновь усмехается:

— И раньше не чурался этого.

— Подписываюсь, согласен. Так что же у тебя теперь?

— Да вот сейчас об этом сообщу своим по телефону. Заодно услышите и вы.

— И тут, значит, рационализация? Сразу дашь две нормы?

— Если нужно, и двумя не ограничимся.

Тон директора Кураковки категоричен; чисто бритое загорелое лицо, глаза, возле которых заметны немногие еще морщинки,— Петру, скажем кстати, миновало сорок семь,— выражают ничуть не приподнятую, для него, видимо, обычную решительность. Неожиданно он спрашивает:

— Читали сегодняшнюю «Правду»?

Старик академик и Прохоров-старший переглядываются. Разумеется, они читали. Но что же сегодня там особен-

ного? Кажется, ничего экстраординарного. Или, может быть, чего-то они оба не приметили? Алексей высказывает вслух недоумение:

— Ты, собственно, про что?

Принадлежащая Петру газета торчит из кармана его пиджака. Он вытаскивает ее, развертывает, кладет на стол. Кладет не без торжественности. Алексей удивлен: Петру отнюдь не свойственна торжественность. Наоборот, он обычно подвергает критическому рассмотрению любой авторитет. Странно, что же он нашел в этой газете? Петр, однако, не успевает объяснить. К нему обращается Валерия Михайловна:

— Петр Афанасьевич, можете поговорить со своим заводом. На проводе, как вы просили, начальник доменного цеха.

Петр проходит к телефону, подносит к уху темно-красную трубку. Его коротко стриженные ногти удлиненны к суставу, не тускловаты, ясно поблескивают.

— Дмитрий Николаевич? Здравствуйте. Вас слышу хорошо. А вы?

И Макарычеву и Алексею Афанасьевичу известны наперечет выдающиеся граждане своеобразной доменной республики,— ее составляют разбросанные по разным краям, обитающие близ больших печей доменщики,— известно и имя Дмитрия Николаевича Мартынюка, начальника домен Кураковки. Не следуя традиции, что подчинила себе и металлургов, Петр разговаривает на «вы» с этим едва перевалившим за юношеский возраст инженером (как, впрочем, и с иными, заметим это в скобках, своими подчиненными).

— Скажите, как наша красавица?

Таков первый деловой вопрос горбоносого директора. Словечко «красавица» узаконено у доменщиков. Когда-то и Курако называл красавицами печи, которые он вычерчивал, мечтал выстроить. Красавицами и для Макарычева были в свое время домны Новоуралстали. Теперь Петр Прохоров эдак же ласкательно именует печь, только что сооруженную, в которую он, директор-изобретатель, выдержав почти непосильную борьбу, ввел немало исподволь выношенных собственных новшеств, пущенную недели две назад.

Слушая вести из Кураковки, он вдруг протяжно вздыхает. Этот долгий вздох поразительно похож на те, что

свойственны и старшему брату. Видимо, Петр сейчас чем-то недоволен. Под скулой появляется, ходит желвак.

— Не привыкайте к устарелой терминологии,— резко произносит Петр.— Печь не идет, а ее ведут. Она будет идти так, как ее поведут.

Он продолжает слушать. Затем, отбросив резкость, терпеливо растолковывает:

— Нет, менять режим не надо. Стабильность режима это главное. Поддерживайте строжайший порядок. Не допускайте никаких нарушений технологии. Основное — строгость в исполнении писаной технологии.

Помолчав,— его далекий собеседник в эту минуту, очевидно, делится своими соображениями, вероятно, и сомнениями,— Петр и тут усмехается:

— Каждому настоящему мужчине, Дмитрий Николаевич, надлежит иметь твердый характер и выдержку. Будьте же строгим мужчиной. Чтобы каждый мастер по струнке ходил. И неуклонно исполнял писаную инструкцию. И не механически, а понимая.

Тем временем Прохоров-старший, не упуская реплик брата, берет со стола «Правду», водружает на нос очки в темном массивном ободке,— они словно прибавляют ему еще пяток годков,— пробегает ее вторично в этот день. Что здесь так затронуло Петра? Алексей проглядывает передовую, несомненно, дельную, посвященную значению новаторства в промышленности и сельском хозяйстве,— он, редактор «Металлургии», еще утром сосредоточенно ее прочел, но, право же, ничего поражающего или, что называется, выходящего из ряда вон, в ней и тогда не обнаружил. Вот известия из заграницы,— тут тоже все, как будто, идет обычной колеей. Угол отдан сообщениям о том, как ширится подготовка ко всемирному фестивалю молодежи в Москве. Ей-ей, не понять, чем взволновался Петро.

А тот продолжает расспрашивать о заводских делах:

— Еще два ковша? Придерживаетесь той же технологии? Набивка выстояла во всех случаях? Превосходно. Очень рад.

Директор Кураковки, который только что был жестковат, теперь сияет. И улыбка становится мягкой. Ему, как и старшему брату, свойственно это сочетание жесткости и мягкости.

— Навестите, Дмитрий Николаевич, его в больнице. Сегодня же, сегодня. Расскажите ему, как пошла в ход

его набойка. Это будет для него распрекрасное лекарство. И я к нему зайду, когда приеду. Дам ему прочесть одну интересную для него бумагу. Да, да, передайте, крепко жму руку.

Затем Петр сообщает в телефонную трубку о своих московских новостях. Алексей отодвигает газету, убирает очки: это надо внимательней послушать.

Так, так... Исходная новость старшему известна: предложение младшего принято, утверждено в Центральном Комитете партии. Петр сам будет вводить свой способ на некоторых крупнейших предприятиях. Он с группой доменщиков из Кураковки поедет на огромный, почти равный Магнитке, уральский завод в Нижнем Загории,— эту группу кураковцев решено именовать инициативной,— получит там на месяц в свое распоряжение доменную печь, одну из шести, и поведет ее по-своему.

— Не откажетесь, Дмитрий Николаевич, ехать со мной? Я стану начальником печи, вы заместителем. Наша красавица? А вас заменит вот кто...

Он называет фамилии, производит перестановки, уже загодя обдуманные. На ряду с Мартынюком он берет с собой в предстоящую месячную схватку, к которой, несомненно, будет отовсюду присматриваться вся доменная республика, и еще двух инженеров, и отряд горновых, и газовщиков, и электриков, и ремонтных слесарей, и машинистов вагона-весов. Его группа, смена за сменой, будет занимать решительно все посты у домны. Заглядывая в записную книжку, он еще и еще перечисляет фамилии, порой смолкает, внимает собеседнику, что-то вычеркивает, вносит исправления.

— И передайте,— продолжает Петр,— пусть собираются. Послезавтра выезжаем. Быстро? А мы должны, Дмитрий Николаевич, убыстрять темпы развития. Этому вас разрешите не учить.

Разговор с Кураковкой закончен. От телефонного столика Петр возвращается к академику и брату. Алексей спрашивает:

— Так как же там у тебя четвертый номер?

Петр восклицает:

— Работает прекрасно. Хотя еще дитя.

Стороннего слушателя, пожалуй, могла бы изумить эта интонация нежности, казалось бы, совсем не вяжущаяся с тяжелой нижней челюстью Петра, с серьезным его взгля-

дом. Здесь, однако, сторонних слушателей нет. Он продолжает:

— По-детски немного капризничает. Но вольничать ей не даем. А с ковшами-то как отлично у нас вышло.

И Прохоров-старший и Макарычев, естественно, заинтересованы: чем же, собственно, отличились на Кураковке ковши, в которых перевозится жидкий металл. Раскрыв записную книжку, Петр на чистом листе рисует ковш. Рисует с непроизвольной, привлекательной и, пожалуй, вдохновенной улыбкой. Сейчас он в своей стихии. Без затруднения детализируя чертеж, он тут же поясняет. Инженер такой-то, начальник смены на Кураковке, задумал обложить стенки ковша вместо огнеупорного кирпича попросту смесью песка и глины. Он обратился с письмом в Москву в научно-исследовательский институт: какую смесь, какой материал могут рекомендовать для этой цели. И была получена ответная бумага, адресованная директору завода: зря-де занимаетесь, такого материала нет.

— Вот бродяги-то, как говорил отец,— восклицает, рассказывая, Петр.— Я эту бумагу получил и, конечно, не показал изобретателю. А он отлично справился. Теперь и материал найден, и ковши с этой набойкой из песка и глины превосходно служат. Завтра его увижу, вручу на память эту грамотку из института.— И опять Петр не удерживается от ругательства.— Бродяги... Действительно, Василий Данилович, будешь злым.

Макарычев разглядывает чертежик, входит в тонкости, расспрашивает, Петр с удовольствием, будто сам он придумал такую новинку, отвечает. Затем академик интересуется:

— А как ваш Мартынюк? Тянет? Не молод?

— Недавно, Василий Данилович, мне попалось, и я занес сюда,— энергичным движением Петр взбрасывает руку, в которой все еще держит записную книжку,— занес сюда изречение Горького: «Есть люди, схваченные делом за сердце». К таким, полагаю, принадлежит и Мартынюк.

Вряд ли надо читателю подсказывать, что все трое домещиков, разговаривающие сейчас в кабинете министра, тоже смолоду схвачены делом за сердце. Впрочем Макарычев не жалует подобные высокие слова. И хмыкает. И хотя ранее отозвался поощрительно о замысле Петра, теперь высказывает сомнение:

— А не угодите ли вы там, в Нижнем Загории, товарищи хорошие, в первостатейнейшую склоку?

Директор Кураковки мигом парирует:

— Вы же сами, Василий Данилович, писали в своих воспоминаниях, что именно так действовал Курако. Получал печь, расставлял свою братию и... Я взял эту мысль от вас.

— Э, в те времена его приглашали капиталисты. Понимали свой интерес.

— И поучимся у них,— подхватывает Петр.— У меня бывали с ними встречи в Японии и в Америке. И поражало, как они ценят новинки. Поражало, что такие богатые люди, миллиардеры, занимаются исключительно новинками, предоставив текущее производство наемному персоналу. И зарабатывают на этом колоссальнейшие деньги. Один капиталист-американец мне сказал: если вы в исследовательской работе добились удачи только в пяти процентах всех начинаний, в которые вы вложили деньги, то вы уже миллиардер. Сам он выиграл на том, что его лаборатории нашли дешевый способ обессеривания металла. А чем у нас занимаются директора и министры? И заместители министров? Новинками? Как бы не так! Да и другие наши тузы. Взять, Алексей, даже тебя. И к вам, Василий Данилович, это относится. Есть множество новинок, над которыми там и сям работают металлурги-одиночки или группы, множество новинок, которыми вы пренебрегаете, не отдаете им внимания, я уже не говорю, души...

Алексей, однако, перебивает брата,— черт возьми, лишь заговорил и успел уже уязвить Макарычева. Вон старик спрятал маленькие глазки под бровями, поджал губы.

— Погоди. Прежде скажи, что же ты в «Правде» отыскал?

Петр берет со стола газету, мгновенно находит нужный абзац:

— Прекрасная формулировка Ленина. Читали?

Не ожидая ответа, он с той же сдерживаемой увлеченностью, с энергией оглашает приведенные в «Правде» строки Ленина:

— Мы не можем в точности даже представить себе в настоящее время, какие богатые силы таятся в массе трудящихся... какие силы таятся и могут развернуться при социалистическом устройстве общества. Наше дело состоит только в том, чтобы расчистить дорогу этим силам.

Алексей опять с доброй улыбкой поглядывает на брата. Сам он, Прохоров-старший, газет с такой страстью не читает. Видел же и он эту выдержку из Ленина, но не воспринял ее эдак остро. К тому же, мало ли встречается хороших цитат? Охо-хо-хо... А Петр еще сохранил способность восхищаться. Что же, возможно, и впрямь он теперь развернется. Послушаем, послушаем, как он восторгается. Уже и Макарычев перестал быть насупленным; в самом деле, не обижаться же на прямоту директора Кураковки. Коснувшись ладонью газеты, Прохоров-младший повторяет:

— Расчистить дорогу! Сказано ясно. Я это сегодня же сюда впишу.

Он опять поднимает, словно некое маленькое знамя, свою изрядной толщины записную книжку.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ

Из своих тетрадок 1958 года, что хранят повествование Ильи Коробова,— они сейчас лежат передо мной,— возьму под конец несколько страниц, без которых не могу счесть завершенной эту мозаику-книгу.

На отдельном листке, куда я заносил подготовленные мною вопросы, обнаруживаю строку: «Иван Григорьевич. Его смерть. Его характеристика». Одна из наших бесед и была отдана памяти деда. Привожу слова Ильи Ивановича:

Последние годы отца. Он заболел в 1946 году. Пожаловался на боли в желудке. И сразу же в короткий срок почувствовал себя очень плохо. Удалось показать его лучшим московским врачам. Обследование выявило, что в пищеводе образовалась крупная рана, из-за которой отец терял много крови, язва кровоточила в желудок и кишечник. До этого Иван Григорьевич никогда не болел.

Оказалось, что язва находится на стыке пищевода и желудка. Отец смело шел на операцию. Оперировали. Однако язва избрала себе такое место, что не было возможности ее удалить. Там сплетение нервов, сосудов.

Сделали операцию особого рода с тем, чтобы язва всегда оставалась сухой, нераздраженной. Операция поставила отца на ноги. Вернулись силы, прибавил в весе, продолжал работать обер-мастером. Время от времени обследовался в макеевской больнице и в Москве. Продержался

пять лет под полной рабочей нагрузкой. Был, как и раньше, жизнерадостен, жизнелюбив, словоохотлив, легок на подъем. Неоднажды повторял: «Я себя чувствую, будто только-только начинаю жить».

В пятьдесят первом он, как депутат, приехал в Москву на сессию Верховного Совета. Пожаловался, что опять дают себя знать боли. Не сильные, но все-таки привязчивые. Да и выглядел неважно. Рентген, анализы, консилиум. Вывод: некоторое обострение язвы. Нужен отдых, покой. С этим уехал в Макеевку. А через три недели — очень плохо. Снова Павел взял его в Москву. Специалисты пришли к заключению: перерождение язвы и очень запущенное. Операция лишена смысла, ничего не даст.

Что же делать? Где же выход? Мы обратились к профессору Савиных из Томска. Было известно, что этот профессор помог немалому числу больных, от которых отступились другие врачи. Будучи в Москве, Савиных осмотрел Ивана Григорьевича. И сказал Павлу:

— Уже поздно оперировать. Еще несколько месяцев назад я бы попытался, а сейчас дело безнадежное. Могу сделать только такую операцию, в результате которой он не будет знать мук перед своим концом.

Решили, пусть хирургическое вмешательство произойдет в больнице Савиных в Томске. Отец опять загорелся надеждой, охотно поехал. Конечно, его всюду сопровождала Анна Никитишна.

Недели две Савиных готовил его к операции. Порой вечерами они подологу разговаривали. Отец необыкновенно понравился этому профессору, тоже самобытному, особенному.

Операция была сделана под местным наркозом, продолжалась три часа. В Москву отец приехал словно бы возрожденным. Объявил:

— Я здоров. Вылечили. Ничего у меня не болит.

И отправился восвояси в Макеевку.

Потом силы стали убывать. Худел, худел. Сетовал:

— Хитрый человек этот Савиных. Что он со мною сделал? Я здоров, а сил все меньше.

Я был у него в конце декабря 1951 года. Он настолько исхудал, что весил всего тридцать пять килограммов. Ходить уже было невмоготу. Печаловался:

— Ох, как тяжело! И ничего не болит, а тяжко.

Рассказывал всякие истории про исцеления. Такой-то болел целый год, и нашли лечение, выздоровел, приходил недавно в гости. Жадно выслушивал про всякие случаи выздоровления. Его неизменно утешал, подбадривал старинный друг Антошечкин:

— Ничего. Поправишься.

И сообщал разные были и небылицы. Ослабевший Иван Григорьевич как-то заснул во время такого разговора. И лишь проснулся, сразу послал за ушедшим Антошечкиным. Хотел слушать что-то обнадеживающее.

Последние дни. Отец уже едва поднимался. Просил Михаила (мужа падчерицы):

— Поноси.

Михаил брал его на руки, носил по комнате, подходил с ним к окнам, отец смотрел в проулок и во двор.

Незадолго до смерти сказал:

— Оденьте, посадите в машину, повозите по Макеевке.

Михаил повез его по улицам и на завод. Отец в пути время от времени произносил:

— Тут давай потише.

Или:

— Остановись.

И смотрел, смотрел.

Более полувека прожил он в Макеевке. Пришел туда парнем семнадцати лет. Все его образование — три класса сельской школы. И развился на заводе. Развился, как чрезвычайно энергичный, очень острый, неугомонный, упорнейший рационализатор.

Любую задачу он стремился решить в короткий срок и малыми силами. Скажем, взрыв и уборка козла в доменной печи. Для этого когда-то требовалось суток двадцать, месяц. Иван Григорьевич был непосредственным руководителем таких работ и сумел укоротить срок до нескольких дней. Управлялся и взорвать, и убрать в какие-нибудь три-четыре дня. Достигал этого своей смекалкой.

И необычайно увлекался. Бывало, взявшись сделать что-нибудь серьезное или поглощенный борьбой с расстройством хода печи, не отрывался ни на час двое-трое суток. Домой даже и не забегал. Жена носила ему на завод еду.

Был в свое время горновым. Тяжелый ручной труд. До сотни человек в каждой смене у печи,— ка́тали, чугунщики, газовщики. Сложные громоздкие фурменные

устройства. Чтобы снять сопло, требовалось снимать все огромное тяжеленное колено. Вот залили фурмы шлаком и чугуном. Никуда не денешься, надо разбирать, снимать колена, менять сопла. А отец вдруг заявил:

— Можно по-другому. Не буду разбирать. Не буду снимать колен.

Мастер-француз возмутился:

— Делай, как приказано.

И ушел домой обедать. Приходит, а у доменной печи уже все убрано, все чистенько. И печь задута, фурмы работают. Бросился к Ивану Григорьевичу:

— Как ты сумел? Это же невозможно. Уму непостижимо.

Отец показал, что следовало лишь открутить такие-то крепления, оттянуть колено, а далее уже не надобно и объяснений, все понятно.

В 1924 году на заводе, который несколько лет простоял, как тогда говорилось, на консервации, пустили одну домну. Главным инженером был тогда И. П. Бардин. Он до этого несколько лет работал в Енакиево, знал там весь заводской костяк, свыкся с этими людьми, а они, в свою очередь, привыкли к Бардину. Отец в это время, то есть еще с революционных годов, был обер-мастером доменного цеха. Бардин понизил его в мастера, буркнул:

— Будете работать по двору.

И вместо отца взял енакиевского обер-мастера. Иван Григорьевич был страшно уязвлен, роптал, горчайше переживал обиду.

Итак, действовала одна доменная печь. Энергетическое хозяйство Макеевки было устроено так, что доменный газ служил топливом для газомоторов. Однако теперь никак не удавалось запустить эти газомоторы. Все попытки оставались безрезультатными. Кого только Бардин ни привлекал, ничего не получалось. Отец наблюдал... Он отлично знал газовое хозяйство. Таков был его характер, его выучка: досконально знать не только горн, но и все вокруг. И теперь он ожидал: «погляжу, как вы попляшете». Но в какой-то день не выдержал, пошел к Бардину:

— Иван Павлович, я запущу.

— Каким манером?

Отец объяснил свой план. Ему было не по вкусу пользоваться карандашом, что-нибудь изображать на бумаге. Но очень выразительно действовали пальцы. Так-де и так:

в газоочистке у нас есть две ступени, буду пользоваться мотыльками, вот эдак и эдак, и подам в моторы чистый газ без примеси воздуха.

Бардин подумал, сказал:

— Ты, пожалуй, прав.

И наш Иван Григорьевич запустил газомоторы. Бардин к нему присмотрелся и через месяц отпустил своего енакиевского обер-мастера, назначил обер-мастером опять Ивана Григорьевича.

С 1925 года (главным инженером в тот год по-прежнему был Бардин) отец ввел много всякой рационализации. Инженеров в доменном цехе прибавилось, но управление ходом печей, газовым хозяйством все равно оставалось за отцом. Всякие неполадки, расстройства — его дело.

Потом, когда в Макеевке началось проектирование новой доменной печи, отца привлекали как советчика. И не только отца, но и других мастеров. В результате родилась первая советская механизированная домна, которая затем была принята как типовая конструкция для всей нашей металлургии. Впоследствии, имея постоянно дело с работающей печью, Иван Григорьевич вносил еще много изменений. Это перенималось на других заводах.

Можно смело утверждать: в доменной печи, пока жил Иван Григорьевич, нам не сыскать ни одной детали, куда не была бы вложена капелька его ума, его смекалки.

Орджоникидзе оценил Ивана Григорьевича. Тут, пожалуй, особое значение принадлежит эпизоду 1934 года. Орджоникидзе позвонил директору Макеевки:

— Командируй старого Коробова на Ворошиловский завод. Там пропадает только что пущенная домна. Может быть, твой обер-мастер что-нибудь подскажет.

И отец действительно острым глазом практика отыскал причину, из-за которой новая доменная печь оказалась почти парализованной, отыскал в самом грязном закуте,— там механизмы недостаточно очищали кокс от мелочи, от замусоренности. В несколько дней он наладил дело.

Серго потом стыдил инженеров:

— Эх вы, академики. Не разобрались. А приехал мастер и сделал, что надо.

И в дальнейшем Серго с большим уважением относился к Ивану Григорьевичу. Каждый раз, где бы ни встретил отца, подолгу разговаривал с ним. У отца всегда — практичный прямой подход к любому делу. И острые слова о

беспорядках. Это нравилось Серго. Он считал, что о таких вещах надо говорить очень остро. И живым откликом, смехом, вниманием вызывал отца на откровенность.

Отец ни к кому не подлаживался. Мог ради дела выругать и подчиненных и начальников. Однако никогда не употреблял площадной ругани. Его самые резкие слова: «к свиньям собачьим» или «на голове густо, а в голове пусто».

Любил просмотреть газету, послушать радио. Обязательно перед сном слушал последние известия. Без этого не заснет.

Часто со мной спорил. И воспринял, оценил идею о повышенном давлении на колошнике, стал рьяным сторонником моего способа. Отцу не довелось увидеть этот способ победившим. Настигла болезнь, пришли предсмертные дни.

Анна Никитишна с нескончаемым терпением ухаживала за ним. Смиренно выслушивала его попреки:

— Невкусно готовишь.

Или:

— Как ты легла? Только одно неудобство, когда рядом ложишься.

Ворчал, а потом корил себя:

— Ох, как я тебя мучаю. Ты святая женщина. Не обижайся на меня.

13 января 1952 года ему исполнилось ровно семьдесят лет, а 22 января он умер.

Отец всегда говорил о себе, что родился в сорочке. Тяжелый, опасный труд у доменных печей был ему сподручен, задуманное удавалось.

Если бы теперь поднять отца и пройтись с ним по печам, он был бы крайне удивлен. Там и сям увидел бы незнакомое, новое. Многое раньше было лишь задумкой, смутно маячило, а ныне это уже реальное дело, уже заводская повседневность.

<1972>

Литературные заметки, дневники

О ВОЙНЕ

О ПРОШЛОМ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

1. Что заставляет Вас, спустя много лет, вновь и вновь возвращаться к теме войны? Как, на Ваш взгляд, связана она с современностью?

2. Какие аспекты этой темы Вас особенно волнуют?

3. В какой мере личный военный опыт помогает Вам осмысливать теперь уже далекое прошлое?

4. Какие традиции русской, советской, мировой литературы о войне Вам особенно близки?

5. Каковы планы Вашей дальнейшей работы над военной темой?

1. Дело в том, что книга «Волоколамское шоссе» была задумана с самого начала, то есть еще в 1942 году, когда я принялся за нее, как цикл из четырех повестей.

Представляя себе тогда в воображении книгу в целом, я считал главнейшей, самой важной для моего замысла последнюю, завершающую повесть. Дни второго немецкого наступления на Москву, рождение, кристаллизация новой нашей тактики, бои панфиловцев, отмеченные историей войны как особо характерные, в своем роде классические,— вот о чем в ней, четвертой повести, я хотел рассказать.

Эти же дни были последними в жизни генерала Ивана Васильевича Панфилова. Случилось так, что они стали для него вершиной, высшим проявлением творчества, столь неотъемлемого от всего нашего советского времени. Тогда же совершил свой подвиг, преступая во имя долга букву приказа, и другой герой книги — командир батальона Бауржан Момыш-Улы,— кстати замечу, в моем авторском восприятии собирательный образ; таким он становился под пером, хотя и носил имя реального героя войны.

Давно рисовалась мне эта завершающая повесть и так же, как и ей предшествующая — третья,— долго оставалась ненаписанной. «Волоколамское шоссе» в составе двух первых повестей, которые были для меня лишь подступами к теме, обрело самостоятельное существование, получило признание читателей и в переводах обошло, кажется, все континенты. Для меня высокая награда и честь то, что книгу взяли на вооружение молодые революционные армии социалистических стран.

Однако своего замысла я не оставлял и время от времени возвращался к «Волоколамскому шоссе», набрасывал главу за главой, перечеркивал, писал сызнова. Потом опять эту работу откладывал. Почему? Тому было несколько причин. Укажу здесь на одну. Лишь после того, как культ личности был развенчан партией, остался в прошлом, открылась возможность с чистой совестью, с облегченной душой вернуться к «Волоколамскому шоссе», к теме Великой Отечественной войны, к теме, которая всем нам так дорога.

«Мир хочет знать, кто мы такие. Восток и Запад спрашивают: кто ты такой, советский человек?» Прошу извинения за выдержку из собственной книги. Именно на этот вопрос мне хотелось ответить всеми четырьмя повестями «Волоколамского шоссе». Первые две с этой точки зрения меня не вполне удовлетворяли.

Тут пролегает и связь с современностью. «Кто ты, советский человек?» Мир и ныне хочет это знать.

2. Меня как писателя всегда притягивали, волновали люди творчества, творческой страсти. Таких людей я постоянно встречал и на войне. Они — мои герои.

3. В свое время, в далекой молодости, мне довелось быть участником гражданской войны — сначала рядовым красноармейцем, затем политработником. Несомненно, даже и этот давний армейский опыт как-то сказался в моей военной прозе.

Хочется отметить, что теперь, когда поневоле принадлежишь уже к старшему поколению, мне выпало счастье как бы возвратиться в годы молодости, принять участие в рождении большого документального фильма «Страницы бессмертия», повествующего о незабвенных временах гражданской войны.

Давно я чувствовал себя в долгу у этой темы. Ныне, хоть отчасти, его исполнил. Отношусь с любовью к этому

кинопроизведению; главная заслуга его создания принадлежит талантливому режиссеру Илье Копалину.

4. Разумеется, вряд ли с чем сравнимо могучее обаяние романа «Война и мир». Впечатления от этого полотна неизгладимы. Глубоко затронули меня и книги о войне Хемингуэя. Однако мотив творчества на войне все же вне этих традиций. А именно он, этот мотив, как я уже сказал, особенно мне близок. Он из действительности входит в наши книги.

5. В настоящее время я тружусь над циклом, в который войдут три связанные между собой вещи. Там идет речь о советских металлургах. Первая книга закончена. Остальные в работе.

Вместе с тем исподволь готовлю автобиографического характера книгу о моем писательском пути. В частности, привожу в порядок, подготовляю для печати свои дневники, а также и некоторые письма, относящиеся к поре Отечественной войны.

В дальнейшем предполагаю взяться за роман, который тоже в разное время то набрасывал, то отодвигал, где отваживаюсь вывести в качестве одного из персонажей Владимира Ильича Ленина — самого любимого моего героя, о котором, к сожалению, пока очень-очень мало написал. Действие романа охватывает и годы гражданской войны, ряд глав будут фронтовыми. Мечтаю дать эту книгу к 100-летию со дня рождения Ильича.

<1965>

НА РЕШАЮЩЕМ РУБЕЖЕ

Недавно с группой зарубежных писателей мне пришлось вновь побывать в том знаменитом месте, возле разъезда Дубосеково, где находится памятник дравшимся здесь героям-панфиловцам.

Это место — широкое, ровное поле и небольшая возвышенность, которую вряд ли можно даже назвать высоткой. Достаточно встать там, где сохранились окопчики, чтобы представить себе, как все здесь было 1 ноября 1941 года, когда начался второй этап немецкого наступления.

Среди поля были устроены три узелка сопротивления, три редута, если вспомнить старое военное слово. Они расположены в 10—15 метрах друг от друга, и, как можно

понять, в каждом из этих узелков находилось приблизительно по десять бойцов.

Какая задача им была дана? Находясь здесь, среди поля, впереди других наших войск, оторванные от остальных войск, они должны были держать под обстрелом все это пространство и, главное, по-видимому, отсекать немецкую пехоту от немецких танков.

Открытое поле очень удобно для танковой атаки. Танков у немцев было много. Позади танков, сопровождая их, прикрываясь их броней, шли цепи немецких автоматчиков. Наши бойцы стреляли из винтовок и пулеметов, чтобы заставить немецкую пехоту лечь.

Можно себе представить, сколько мин и снарядов обрушилось на три наших редута, на три крошечных очажка сопротивления. Наскакивали на окоп, конечно, и танки.

Люди выбывали из строя, постепенно их становилось меньше, но они продолжали стрелять, выполняя свою задачу, свой долг.

Этот подвиг, который и сейчас ясно представляешь, выйдя в поле у разъезда Дубосеково, глубоко волнует.

Подвиг панфиловцев — это не только героизм бойцов, это новаторская мысль командира дивизии Панфилова. Генерал Панфилов впервые под Москвой отказался от прежней тактики сплошной линии обороны и применил новую оборонительную тактику. Он приказал удерживать только решающие оборонительные пункты, драться, не страшась быть окруженным, изматывать противника, не давая ему хода по важнейшим удобным для наступления дорогам. Эта новая тактика основывалась на доверии к советскому бойцу, на уверенности, что, даже оказавшись отрезанными от своих, наши бойцы будут драться до последнего дыхания.

У разъезда Дубосеково произошло то, что происходило во многих других местах битвы под Москвой. Подобный подвиг был совершен бойцами панфиловской дивизии в деревне Горюны. (Сейчас деревни под таким названием нет на Волоколамском шоссе. Она носит название Анино.)

Так вот в деревне Горюны по приказу генерала Панфилова окопалась рота, которой было приказано продержаться на холме четыре дня. Держаться до последнего, даже если немцы отрежут роту от наших войск и рота окажется окруженной.

И бойцы продержались здесь четыре дня, не пропуская

немецкие танки и немецкую пехоту по шоссе. Дорога, ведущая на Москву, оказалась словно запертой на замок.

Таких подвигов было совершено множество. Битва под Москвой — это битва массового героизма. И еще эта битва — победа нашей военной мысли.

Немцы, которые сравнительно легко прорывали оборонительные линии и продвигались на десятки километров в день, впервые под Москвой столкнулись с совершенно другой обороной, рассеченной. На любом направлении они натыкались на кулачок отпора и увязали на наших дорогах, теряя силы.

К моменту нашего контрнаступления 6 декабря наступательная сила гитлеровской армии была исчерпана. А наше командование исподволь подготовляло еще один план. Командиры нашей армии стали сосредоточивать резервы на флангах немецких войск. И эти резервы не пускали в ход. После разгрома наших войск под Вязьмой воевать под Москвой приходилось малыми силами, и, чтобы накапливать для удара целые резервные армии, в то время требовалось большое хладнокровие, мужество.

Немецкими войсками под Москвой командовал опытный, старый военный фельдмаршал Браухич. Он понял, чем грозят эти резервы на флангах его армии, и вовремя дал команду отступать. Если бы немецкие войска не отступили, они оказались бы в котле. Произошло бы то, что случилось под Сталинградом. Битва под Москвой оказалась первым звонком поражения гитлеровской армии.

Все места, где шла битва за Москву,— это священные места. Хорошо, если бы пионеры это помнили. Не везде еще могилы содержатся так, чтобы можно было гордиться. Нужно поухаживать за могилами воинов, позаботиться о памятниках героям. Интересно восстановить линию нашей обороны, найти ту избу, в которой был штаб генерала Панфилова, ту улицу, на которой его настигла немецкая мина, и всюду помочь установить памятные знаки.

Для меня было бы большим счастьем, если бы в этой работе путеводителем для вас стала бы моя книга «Волоколамское шоссе».

И еще мне хотелось бы, чтобы вы узнавали и изучали не только подвиги, но весь ход войны, всю правду о войне, иногда тяжелую, горькую, но правду.

<1966>

НА ВОЛОКОЛАМСКОМ ШОССЕ

Анкета «ЛГ»

1. Где и в качестве кого Вы участвовали в памятной битве под Москвой в октябре — декабре 1941 года?
2. Какой эпизод этого исторического сражения запомнился Вам особенно и почему?
3. О каких героях Московской битвы — своих друзьях — Вы вспоминаете сейчас, как сложились их судьбы после войны?
4. Сохранились ли у Вас какие-либо непубликовавшиеся документальные свидетельства этой битвы? Чем они Вам дороги и не можете ли Вы познакомить наших читателей с ними?
5. Какое место тема битвы под Москвой занимает в Ваших личных творческих планах?

1. Вместе со многими писателями-москвичами в начале Отечественной войны я вступил в Краснопресненскую дивизию народного ополчения.

Пережив дни трудных испытаний под Вязьмой в октябре 1941 года, стал военным корреспондентом журнала «Знамя», на страницах которого ранее уже публиковал свои первые вещи.

Нередко «прилеплялся» к бригадам газеты Западного фронта «Красноармейская правда», выезжавшим на грузовике на передовую. И все же не отнес бы к себе слово «воевал». Подвиг воинов, бойцов и командиров, удерживавших опорные точки, рубежи в снегах, в стылой земле Подмосковья, высок и суров. Поклонимся им низко. А о себе выразимся скромнее: участвовал.

2. Отвечу на этот вопрос строками из моего дневника.

«...Вчера с бригадой «Красноармейской правды» выехал на фронт. Впечатление: немца к Москве не пропустят... Побывали в 78-й дивизии. Это дальневосточники, кадровая часть. Вероятно, из лучших наших частей. Против них дивизия СС, густо насыщенная офицерами, ефрейторами.

Прекрасен, обаятелен командир 78-й полковник Белобородов. Человек из породы Коробовых, Бардиных...

...Все признаки указывают, что немцам зимой к Москве не дойти. Исполнился этой уверенности. Сильно пережил.

78-я восхищает. Хочется назвать ее прекрасной. Одна из тех, которые спасли, да, уже спасли Москву».

3. На днях вместе с Алексеем Сурковым выехал в особо памятные нам места Московской битвы. Намеревались повидать генерала армии Афанасия Павлантьевича Белобородова, находившегося в санатории «Архангельское»,— оба мы любим «Апанаса»: этим незамысловатым псевдонимом он, командир дальневосточников, титуловался в телефонных разговорах,— но постеснялись нарушить лечебный режим.

Добрались по Волоколамскому шоссе на 110-й километр в тихую, занявшую привольный взгорок деревню Анино, что на военных картах звалась Горюны. Сюда в ноябре 1941 года генерал Иван Васильевич Панфилов послал свой резервный батальон, которым командовал старший лейтенант Бауржан Момыш-Улы. И в мыслях всплыл разговор Панфилова и Бауржана, позже воспроизведенный в книге «Волоколамское шоссе». Теперь, стоя перед телекамерой у серебрившегося среди снега памятника над братской могилой, отвечая на расспросы Суркова, я наизусть повторил эти строки:

«...— Вы должны, товарищ Момыш-Улы, продержаться четыре дня.

Панфилов по пальцам перечислил эти дни:

— Шестнадцатое. Первые сутки. Они будут для вас легкими. Семнадцатое. Уже придется вам тяжеловато. Восемнадцатое. Вы останетесь в окружении. Девятнадцатое...— Он помедлил, не дал никакой характеристики этому дню.

— Да, и девятнадцатое. Надо, товарищ Момыш-Улы, удержаться до двадцатого...

— Разрешите идти?

— Подождите.

Он подошел к буфету, вынул початую бутылку кагора, наполнил две большие рюмки, достал две конфеты, сказал:

— Пусть надежда вам согревает сердце.

Мы чокнулись. Он протянул мне конфету.

— Ну, иди казах».

Тридцать лет истекло с той поры. Девятнадцатого ноября 1941 года Панфилов был убит в другой деревеньке по соседству с Горюнами. Батальон Момыш-Улы продержался до двадцатого. Ныне он, кому Панфилов сурово и нежно сказал: «...Иди казах»,— живет в Алма-Ате, обрел

профессию литератора, написал книгу о своем генерале. Думая в эти дни о них, русском и казахе, которые вошли и подлинными и преображенными в цикл «Волоколамское шоссе», невольно оцениваешь сказанные недавно слова о новой исторической общности людей — советском народе. 4—5. Дневники и письма тех дней сохранились. Возможно, когда-нибудь переберу эти бумаги, вычеркну незначащее, дам пояснения, также порой страницу-другую воспоминаний, ежели они придутся кстати, то есть проделаю работу, которая мне уже знакома: не так давно я приложил руки к своим дневниковым заметкам и письмам предвоенного времени, составившим небольшой, любезный сердцу томик «Почтовая проза».

Все откладываю такую переборку до собрания сочинений, которое — что греха таить? — мечтаю внимательно подготовить, пока жив. В собрании сочинений потребуются — таков мой замысел — и заметки-воспоминания о том, как рождалось «Волоколамское шоссе»...

<1971>

В ТОТ ДЕКАБРЬСКИЙ ДЕНЬ

В начале 1942 года, когда фашистов уже отогнали от столицы, ко мне на московскую квартиру зашел Александр Твардовский, который в это время работал корреспондентом фронтовой «Красноармейской правды». А у меня сидел командир 9-й гвардейской дивизии генерал-майор Белобородов, один из героев битвы под Москвой. Шумный, горячий, громкоголосый, полный жизни, он рассказывал нам о своем детстве, юности, прошедших в сибирской глухомани. Говорил, вскакивая с места, громко хохотал, а мы с Твардовским сидели, впившись в него глазами, внимая каждому слову. За генералом пришла машина, нам не хотелось его отпускать, но он очень спешил. Мы обнялись, расцеловались, и какая-то необычная тишина воцарилась после его ухода. Ее нарушил Твардовский:

— Настоящий генерал — русак,— не скрывая восхищения, сказал он. И потом вдруг: — Хочешь, я почитаю тебе своего «Теркина»?

Твардовский читал уже написанные главы из «Василия Теркина», а я — наброски к «Волоколамскому шоссе». Мы поговорили, Твардовский сделал очень точные замечания по поводу моего героя, а потом снова сказал:

— Ну до чего ж русский этот генерал Белобородов...

А перед моими глазами встал ноябрь сорок первого, лесная просека в районе Рузы. Идет вражеский обстрел, ухают мины, так что невольно приходится наклонять голову, а мы углубляемся в лес, где расположен штаб дивизии генерала Белобородова. Навстречу, будто из-под кустов, вдруг вынырнул солдат с ружьем — маленький, плотный, аккуратный. Увидев сопровождавшего меня лейтенанта, он еще больше подобрался и лихо прошел перед нами строевым шагом.

«Эге,— думаю,— эка печатает прямо под носом у врага. Не бывать гитлеровцам в Москве. Не бывать! Никогда!..»

Позже, 8 декабря, я сидел рядом с Белобородовым в подвале каменного дома около станции Гучково. Контрнаступление наших войск началось на рассвете. Фашисты яростно, ожесточенно отстреливались. Но наш напор было трудно приостановить, артиллеристы долбили и долбили врага. Тот день я зафиксировал буквально по минутам, начиная с момента, когда увидел Белобородова. Несмотря на бессонную ночь, он был бодр, полон энергии, сил, готов к немедленным решительным действиям. Вплоть до вечера я не отходил от генерала ни на минуту, а когда стемнело, ушел в составе полка, посланного командованием в обход вражеской группировки.

Мы шли по притихшему заснеженному лесу вытянувшейся колонной, и вдруг разорвалась мина. Но комиссар, возглавлявший колонну, снова двинулся вперед... Ночью мы вышли на шоссе. А утром я увидел Белобородова. Он стремительно выскочил из машины и, размахивая рукой, увлекая всех нас, широко зашагал, почти побежал вперед. Истра была нашей.

Когда через месяц я приехал к нему, чтобы показать гранки уже написанной книги «8 декабря», Белобородов, прочитав, закричал в своей обычной веселой манере:

— А ну, принесите мне дивизионную печать!

Печать принесли, генерал шлепнул ею в конце гранок и размашисто поставил свою подпись.

Книга потом несколько раз переиздавалась, но я до сих пор храню гранки, заверенные дивизионной печатью.

...Совсем недавно мы вместе с Алексеем Сурковым и комиссаром 9-й гвардейской дивизии Бронниковым были на Волоколамском шоссе, в той самой школе, откуда бешенно отстреливались гитлеровцы. Около школы сейчас

воздвигнут монумент — советский танк. 30 лет назад такие танки преградили дорогу фашистам к Москве. В самой школе — музей славы. Здесь собраны портреты участников подмосковной битвы, их письма, книги того времени, карты. Сколько любви и старания вложили в создание этого музея взрослые, какой живой предметный урок преподали они детям!.. Ребята связались со многими людьми, участниками происходивших здесь боев, побывали у них, отыскали интереснейшие человеческие документы.

Мы долго в молчании осматривали музей — и Сурков, которого тогда сотрудники «Красноармейской правды» почтительно называли старшиной корреспондентов, и комиссар Бронников, одним из первых ворвавшийся в освобожденную от врага Истру, и я, работавший в сорок первом корреспондентом журнала «Знамя». И снова перед моими глазами встал тот декабрьский день...

<1971>

«МИР ХОЧЕТ ЗНАТЬ, КТО МЫ ТАКИЕ»

От читателей книги «Волоколамское шоссе» я получил немало писем. Меня спрашивают об истории создания повести, о ее документальности, о судьбе героев и т. д.

Почему я решил написать эту книгу? Когда началась Великая Отечественная война, я, отложив в сторону роман о жизни авиаконструктора Бережкова (роман этот был мной завершен уже после войны), стал военным корреспондентом. И первые месяцы войны провел в войсках, которые защищали Москву.

В начале 1942 года я поехал в дивизию имени Панфилова, уже продвинувшуюся от подмосковных рубежей почти до Старой Руссы. Опять пошла в ход прежняя, досконально мне известная методика — знакомства и знакомства с теми, кто воевал под Москвой, неустанные расспросы, нескончаемые часы в роли «беседчика». Постепенно слагался образ погибшего под Москвой Панфилова, умевшего управлять, воздействовать не криком, а умом, в прошлом рядового солдата, сохранившего до смертного часа солдатскую скромность.

Кто послужил прототипом главного героя книги? Выведен ли он под вымышленным или под своим настоящим именем?

Не задумываясь, я письменно и устно отвечал: герой «Волоколамского шоссе» не вымышленное, а реально существующее лицо. Его зовут так, как он назван в книге: Бауржан Момыш-Улы. Он, старший лейтенант, действительно командовал батальоном панфиловцев в дни битвы под Москвой.

Жив ли он?

Да, друзья-читатели, Бауржан Момыш-Улы жив.

Где он находится? Что делает?

Ответ диктовали проносящиеся годы. Под выстрелы идущей к концу войны я писал читателям: полковник Момыш-Улы командует дивизией. Затем, в мирные дни, я сообщал в своих ответах: Момыш-Улы учится в Академии Генерального штаба; Момыш-Улы уже сам преподает оперативное искусство в одной из военных академий; Момыш-Улы серьезно болен, дало себя знать давнее ранение в позвоночник. Время внесло новую перемену в биографию героя Волоколамского шоссе (думается, это название тут следует написать без кавычек): полковник в отставке Бауржан Момыш-Улы поселился в родном Казахстане, избрал профессию литератора, опубликовал свои записки «За нами Москва».

Правда ли, что я потерял уже совершенно законченную рукопись «Волоколамского шоссе», не имея копии ее?

Увы, правда. Мне довелось испытать эту беду. Как это случилось?

Впервые я побывал в Панфиловской дивизии в январе — феврале тысяча девятьсот сорок второго года. Когда мне показалось, что я уже владею материалами будущей повести и как будто неплохо изучил жизнь дивизии, я решил ехать в Москву.

Прошел месяц. Я напряженно думал над повестью, но вдруг почувствовал, что еще плохо знаю панфиловцев, что «материала», как мы, литераторы, говорим, явно не хватает.

Съездил в дивизию еще раз.

«Уже написали?» — спросили меня.

«Нет, товарищи, не написал,— ответил я, смущаясь.— Надо еще пожить с вами, посмотреть, поговорить...»

Но и второго раза мне оказалось недостаточно. Пришлось приехать в третий раз, а затем — в четвертый и попрежнему — без рукописи. В конце концов был дан приказ

«больше не пускать этого корреспондента, который ничего не пишет».

Наконец летом сорок второго года я засел за повесть. Получил для этого отпуск из редакции журнала «Знамя», где состоял военным корреспондентом, снял комнату на станции Быково, почти безвыездно сидел там и писал.

Однажды мне потребовалось поехать в Москву. На даче никого не оставалось. Я побоялся пожара или какой-нибудь другой случайности, которая могла бы вдруг уничтожить мои дневники, заметки, черновики и почти законченную рукопись. Аккуратно сложил все материалы, сунул их в вещевой мешок, надел его на плечи: так будет целее!

В Москве заглянул домой. Жена, провожая меня на дачу, дала с собой бидон с супом и строго предупредила:

«Я знаю тебя... Ты задумаешься и обязательно оставишь бидон в вагоне...»

И вот в дачном поезде я еду в Быково. Положил рядом с собой вещевой мешок, а в ноги поставил бидон. И действительно, крепко задумался. Все думал и не мог решить, как построить действие в последних главах повести. И вдруг прямо над головой услышал голос проводника:

«Быково!..»

Поезд уже остановился. Я вспомнил, что должен что-то не позабыть... Ах, да, бидон! Схватив его, выскочил на платформу. Поезд тронулся. И только тогда взметнулась мысль: «Мешок!» Он остался в вагоне. Все — записки, материалы, черновики и почти готовую рукопись книги — уносил поезд.

Я бросился к начальнику станции, он позвонил на соседнюю станцию, на конечный пункт. Но мешок исчез. Не обнаружил я его и в бюро находок.

Мне ничего не оставалось, как писать повесть заново. Но теперь она потеряла сугубо документальный характер — ведь у меня же не было моего архива. Пришлось дать волю воображению, фигура центрального героя, сохранившего свою подлинную фамилию, все более приобретала характер художественного образа, правда факта подчас уступала место правде искусства.

Так и родилось мое «Волоколамское шоссе».

Возможно, случайность, унесшая готовую рукопись строго документальной повести, позволила мне написать совсем иное, более художественно обобщенное произведение, но другого выхода у меня попросту не было...

Многих читателей интересует, как отнесся к книге ее главный герой — Бауржан Момыш-Улы. Помню, я привез ему во фронтовой блиндаж рукопись повести.

Пачка исписанной на машинке бумаги была не без торжественности извлечена из вещевого мешка и положена на стол. Однако истекло немало часов, прежде чем Бауржан Момыш-Улы, командир гвардейского полка, смог ею заняться.

Прилегши на застланную плащ-палаткой койку, сбитую из досок (я ушел туда, в полутьму, чтобы не мешать), я наблюдал то, что писателю нечасто доводится видеть: герой повести читал эту самую повесть. Бауржан Момыш-Улы читал о Бауржане Момыш-Улы.

Впрочем, он отверг бы эту формулу. Однажды я попросил Бауржана рассказать о детстве, юности, дать штрихи личной жизни. Он лаконично ответил: «Лишнее».— «Почему? Мне это необходимо».— «Я рассказываю не вам».— «Не мне?» — «Не вам, а поколению. Рассказываю о том, что пережито под Москвой, о подвигах батальона панфиловцев. Было бы глупо и неблагородно подсовывать сюда собственную биографию». Переубедить не удалось: мне досталсая трудный, неуступчивый герой.

Склонившись над бумагой, он время от времени быстрым движением узкой, худощавой кисти откидывал очередную страницу. Порой пальцы касались, медленно поглаживая, черных, как тушь, волос, которые упрямо поднимались, как только рука оставляла их.

Вот опять голова приподнялась, на этот раз порывисто — Бауржан достал из планшета карандаш и стал что-то писать наискось бледно-фиолетовых строк машинописи.

— Не чувствую Москвы, воздуха битвы под Москвой,— говорил Бауржан.— Не передан исторический момент — октябрь 1941 года...

Как обычно, его суждения были резки — порой до несправедливости.

— Затем... Я не согласен с вашей трактовкой страха.

— С моей? Почему с моей? Я изложил ваши мысли.

— Возможно... Возможно, что я примерно так и рассказывал. Но по написанному вижу: грубо, топорно, чурбаном выглядит. Ведь существуют разные виды и степени страха, как и степени любви,— маленький и большой страх, а тут (он указал на рукопись) на людей сразу наваливается животный страх — страх в превосходной степени,

ужас, а потом они начисто от него освобождаются. Неверно! И кроме того, вы одновременно принизили солдата.

Я запротестовал. Но Бауржан настаивал.

— Да, принизили. У Наполеона есть изречение: «Людьми управляет страх и личный интерес». К такому пониманию человека в иных местах склоняетесь и вы.

В упор глядя на меня, он повторил:

— Людьми управляет страх и личный интерес... А идеалы? А благородство, совесть, честь, патриотизм, готовность к самопожертвованию в борьбе? Разве все это пустые слова? Разве без этого мы могли бы победить?..

Бауржан был недоволен мною, недоволен собою, собственным рассказом.

— Почему,— спрашивал он,— вы не показали картин поражения? Почему не передали горьких дум об этом? Ведь это было вам рассказано.

Прошло много лет. Книга вышла.

— Почему вы не пишете продолжения вашей книги? — На меня опять устремлен взгляд Бауржана Момыш-Улы. Несколько лет — примерно с того времени, как он вышел в отставку,— нам не доводилось встречаться. Заехав както ненадолго в Москву, он пришел ко мне, я впервые увидел его не в гимнастерке или кителе, а в штатском.

Годы и болезнь сказались на Бауржане. Исчезли памятная мне худоба, легкость движений, лицо стало шире, крутая линия выступающих скул сменилась более плавной. Он был, как и прежде, разговорчив, однако чувствовалась некоторая принужденность, будто что-то невысказанное стояло между нами.

— Почему вы не пишете продолжения «Волоколамского шоссе»? — повторил он.

— По-моему, это законченная книга. У нее уже есть своя судьба.

— Но еще в годы войны вы набрасывали следующую повесть. Где она? Почему вы ее оставили?..

— Бауржан, вы же теперь пишете сами.

— Что из того? Я пишу записки офицера, а вы плаваете в иной реке. Ваша река — повесть, художественное произведение, где есть простор творчеству, воображению. Почему ее течение прервалось?

Я грустно ответил:

— Наверное, как раз поэтому...

— Что значит поэтому?

— Да, Бауржан, «Волоколамское шоссе», видимо, подчиняется законам художественных произведений. В свое время я этого не понимал, а позже понял.

— В таком случае объясните.

— Видите ли... Существуют два Бауржана Момыш-Улы.

— Два? Какие же?

— Один — это тот, что сейчас сидит рядом со мной. То есть вы, Бауржан. Прославленный, увековеченный в мраморе... Автор военных мемуаров... А другой Бауржан Момыш-Улы действует, живет на страницах «Волоколамского шоссе».

— Почему же другой?

— В книге он заново рожден. Родился под пером. Представьте, иногда мне кажется, что я говорил неправду или не всю правду, когда писал читателям, что герой «Волоколамского шоссе» — подлинный, реально существующий, а не вымышленный человек. В этом «а не» заключена ошибка. Он в немалой степени все-таки вымышлен, создан фантазией. Воображение вдохнуло в него жизнь. Это не вы, это другой Бауржан... Если угодно, я готов признать, что у вас больше достоинств, чем у Бауржана из «Волоколамского шоссе», но, так или иначе, это два разных Бауржана. Недавно я прочел ваши записки офицера. Другой кругозор, другой взгляд на вещи, другой язык... В общем, другой человек. Я ведь обещал вам, Бауржан, не изменять подлинного имени моего героя. Как же я смогу писать следующую повесть?

— Не хотите быть словоотступником?

— Не хочу и не буду.

Мы замолчали. Лицо моего гостя было каменным. Я на нем ничего не мог прочесть. Наконец он молвил:

— Если подлинное имя мешает вам писать, я освобождаю вас от обещания. Но вы дадите своему герою имя, которое выберу я. Пусть отныне он зовется Намыс-Улы.

— Намыс-Улы? — переспросил я.

— Да, «намыс» по-казахски значит «честь», «улы», как вам известно,— «сын». Именуйте вашего героя Сыном чести.

С минуту я обдумывал это неожиданное предложение.

— Нет, Бауржан, у меня, автора, тоже есть честь. И долг чести перед вами. С вашего позволения, я тоже Намыс-Улы.

— И тоже Бауржан?

— Не отрекаюсь: когда писал, был Бауржаном.

Момыш-Улы рассмеялся.

— Мудреная задача,— проговорил он.— А не решить ли ее попросту? Расскажите читателям об этом нашем разговоре. И пишите дальше.

Я воскликнул:

— Есть!

Что же было дальше?

Должен сказать, что книга «Волоколамское шоссе» была задумана с самого начала (то есть еще в 1942 году, когда я принялся за нее) как цикл из четырех повестей.

Представляя себе тогда в воображении книгу в целом, я считал главнейшей, самой важной для моего замысла последнюю, завершающую повесть. Дни декабрьского немецкого наступления на Москву, рождение, кристаллизация новой нашей тактики, бои панфиловцев, отмеченные историей войны как особо характерные, в своем роде классические,— вот о чем в ней, четвертой повести я хотел рассказать.

Давно рисовалась мне эта завершающая повесть и так же, как и ей предшествующая — третья, долго оставалась ненаписанной. «Волоколамское шоссе» в составе двух первых повестей, которые были для меня лишь подступами к теме, обрело самостоятельное существование, получило признание читателей и в переводах обошло, кажется, все континенты. Для меня высокая награда и честь то, что книгу взяли на вооружение молодые революционные армии социалистических стран.

Однако своего замысла я не оставлял и время от времени возвращался к «Волоколамскому шоссе», набрасывал главу за главой, перечеркивал, писал сызнова. Потом опять эту работу откладывал.

После встречи с Бауржаном я отважился продолжить свою книгу. Так вышли новые страницы «Волоколамского шоссе» — повести третья и четвертая.

«Мир хочет знать, кто мы такие. Восток и Запад спрашивают: кто ты такой, советский человек?» Прошу извинения за выдержку из собственной книги. Именно на этот вопрос мне хотелось ответить всеми четырьмя повестями «Волоколамского шоссе».

1959, <1971>

ИЗ ДНЕВНИКОВ

(К творческой истории «Волоколамского шоссе»)

Из военной тетради

11.2.1942. Начинаю опять военный дневник. И опять ставлю себе задачу — писать каждый день (и опять не выполню? — нет, врешь!).

Коротко запишу «обстановку»:

I. Я закончил месяц назад рукопись «Восьмое декабря». <...> ...Надеюсь, через месяц (фу, как долго) появится в журнале. Из всех отзывов меня наиболее задел отзыв Б.

«Вещь понравилась, очень правдивая, но в этом ее порок. Я не сомневаюсь, что все так и было, как вы пишете, но писать об этом нельзя. Нельзя писать, что не было разведки, что полезли в лоб, несмотря на приказ и т. д.».

В общем, это была декларация антиправды. Это глубоко враждебно всей моей натуре. Но, в общем, вещь идет.

II. Положение на фронте мне не совсем ясно.

Кажется, оно таково: мы окружили московскую группировку немцев, перерезали дорогу Вязьма — Смоленск, перерезали Варшавское шоссе и т. д. Но немцы сидят в окружении крепко и, кажется, даже не выражают желания уходить. В общем, мы забили два клина в их расположение, но они двумя (или больше) клиньями остались в нашем. Теперь идут как будто тяжелые истощающие бои. Мы бросаем новые силы (в частности, мою девятую), и они бросают. Исход сражения — неясен.

III. Мой план. Начинаю писать хронику битвы под Москвой. Материал есть, подъем есть. Но хотелось бы съездить еще в 8-ю гвардейскую, которая будет главным действующим лицом в первой части. Хочется дать бойцов, душу нашего бойца, а этого я еще не понял. Может быть, завтра поеду дней на пять — восемь.

IV. Злоба дня в Москве — продовольствие <...>. Дают хлеб (500 и 400 гр.) и больше почти ничего. На рынках

очереди за мясом, которое стоит 150—200 рублей кило, за картошку — 25—30 рублей и т. д. Сахару, масла и т. д. достать нельзя ни за какие деньги.

V. Погода мягкая, февральская. 5—10° мороза.

Погоду записывать каждый день. Пригодится для будущих книг.

14.2.1942. Почти оттепель, с крыш капает, и вчера оттепель.

Начинаю писать «Волоколамское шоссе». Принялся было вчера, но, сев за стол, раздумался: как-то выйдет, да и выйдет ли вообще, не лучше ли работать в газете. Очень задерживается выход журнала, выход книги. Плохо с полиграфией — типографии заморожены. И все-таки дело кое-как движется.

И решил: напишу, а там будет видно. Просижу дней двадцать, подойдет весна, может, выйдет книга, опять поеду в 9-ю гвардейскую.

Как ни говори, а битва под Москвой — мировая тема. Сейчас нет темы выше и больше ее. И, может быть, за всю войну не будет.

За работу. Писать строго, чисто. Писать так, чтобы нельзя было оторваться.

15.2.1942. Вчера вечером стало холоднее. Сегодня морозец. Раздумывал вчера о своей работе. Сомнения. Взят очень широкий план (это отлично), но узкого плана нет. Получится публицистика. Нужен узкий план,— как бы рассказ об одной дивизии или об одном батальоне, и словно бы мимоходом, словно случайно (так, будто сам автор не вполне это сознает) картина всей битвы за Москву. Думаю опять поехать в 9-ю гвардейскую и, быть может, даже там и писать. План — дать несколько небольших, законченных в себе вещей. Тема первой — «28-я прибыла на фронт». Там прекрасно уместятся два плана.

А сегодня напишу очерк «Рокоссовский». Не знаю, для газеты или для журнала.

Хочется писать в газету, скорее выходит, а для журнала можно писать полнее, вольнее, писательски. Посмотрим, как выйдет.

28.2.1942 Вернулся с фронта. Начинаю писать о битве под Москвой.

9.3.1942. Писал. Начинал одно, брался за другое. Было подавленное настроение. Что-то тяготило. Понял,— нельзя сейчас писать большие вещи, нельзя базироваться на «Знамени».

Два месяца назад сдал книгу, и до сих пор она не появилась. Если появится через месяц, буду благодарить судьбу. А потом — вряд ли будут выходить книги и журналы.

Решил — работать в газетах. Задача — сработаться с «Красной звездой». Стать нужным, полезным, постоянным сотрудником. Весна. Солнце. Тает. Сегодня сменил валенки на ботинки.

16.3.1942. Три дня жуткой метели. Даже в Москве заметало. Остановились трамваи, троллейбусы, раньше времени закрылось в какой-то день метро. Не было тока.

А каково в эти дни в поле? Наверное, машины не ходили даже по шоссе. Вчера первый раз в сводке новая формулировка: «Ничего существенного не произошло». Это тоже метель. Зима повернулась против нас. Против нас, до известной степени, будет и распутица — нельзя наступать. Но нельзя будет наступать и немцам. Будет напряженное затишье перед грозой. А может быть, и будут операции. Может быть, пустим конницу.

В метелицу ходил в «Красную звезду» (улица «Правды»). Впервые видел Москву пешую. На больших перекрестках у светофоров стоят люди, бросаются к останавливающимся машинам, втискиваются. Я тоже доехал до Белорусского — там пошел пешком. В темноте натыкался на людей. Они шли со мной и навстречу. Подумалось — скоро это станет бытом. Будем ходить пешком. Но на следующий день трамвайное движение восстановилось. Однако в нашем районе, в нашей квартире току нет. Вечерами — в темноте. В Москве очень тяжело с продовольствием. Очередь красноармейцев, получающих по аттестатам. Старик,— предлагает бритву за кусок хлеба. Тяжелое зрелище. Но пока хлеб выдают, пока нельзя сказать, что Москва голодает.

Но неорганизованность иногда мучает<...>

Вчера вечером сидел у Рыкачевых. Много говорили. Обсуждали военное положение, внутреннее положение, перспективы. И вот какие мысли у меня сложились. Хочется их записать. Весной (т. е. в мае) немцы нанесут нам

страшный удар — такой, какой они смогут, собрав все силы <...>

Цель операции — покончить с нашей армией. Поэтому разговоры о том, что они не пойдут на Москву и т. д.,— ерунда. Они постараются выйти за линию Волги, вероятно, двумя или тремя клиньями, с тем, чтобы оставить Москву за собой.

Наш союзник — наши пространства. Мы можем отходить, если не допустим развала, если хватит сил,— организаторских и моральных,— сохранить государство и армию при глубоком отходе. Я верю в партию и думаю, что хватит.

Немцы не могут идти за нами бесконечно — такая растянутость коммуникаций невозможна. Но наш противник — Япония. Я не в курсе того, что делается, что произошло, что делается на японском фронте. Но Рыкачев определил так: Япония — полный хозяин в Азии. Нет силы, которая могла бы ей противостоять. Она может обрушиться на Китай, на Индию, на нас. Неизвестно, что она предпочтет.

Таким образом, весенняя и летняя перспективы, по-моему,— дальнейший отход в глубь страны. <...> Борьба будет поистине беспримерная, титаническая.

Теперь о себе. Последнее время я был глубоко неудовлетворен своим положением. Не была спокойна совесть. Не то я военный, не то не военный, не то писатель-фронтовик, не то самозванец. Особенно плохо я чувствовал себя в писательском клубе. Угнетало то, что ничего не появляется в печати. Теперь это усугубилось новым обстоятельством. Военный отдел Информбюро <...> задержал, не пропустил мое «Восьмое декабря». Значит, и эта вещь не появится в печати. Впрочем, это не слишком огорчило, ибо номер журнала, в котором она должна была бы появиться (в № 11—12 за прошлый год), выйдет, вероятно, только, через месяц-полтора (а может быть, совсем не выйдет). Очень тягостно ждать, работать впустую, не видя результатов.

Опять появились мысли о том, что надо работать в газете. Решил добиваться этого. Сходил в «Красную звезду», договорился о темах, написал очерк «Рокоссовский». Сдал, но прошло уже три дня, а редактор еще не прочитал. Вчера звонил ему: ответ: «Позвоните через пару дней».

Пишу другой очерк — «О бесстрашии» и в проекте еще «Белобородов», а также другие. Но не знаю, возьмут ли

они меня военным корреспондентом и расставаться ли со «Знаменем».

В случае если с «Красной звездой» не выйдет, решил так: прикрепиться от «Знамени» в какой-либо военной части... и существовать там постоянно в качестве корреспондента «Знамени», там жить и даже там писать. Посмотрим, как все сложится. Но пока ясно — надо что-то менять, надо быть фронтовиком.

20.3.1942. <...>Все эти дни холодно — 15, 20, 23 градуса мороза.

Осложнения <...> с Г — м. Он задержал мое «Восьмое декабря».

Говорили с ним. Он сказал: «Я человек с флюсом. Я смотрю только так: полезно или вредно. Только с этой точки зрения».

Пришлось несколько переделывать, что, кажется, в общем и целом не испортило вещь. Но конец написан заново в духе примитивнейшего очерка, «ура-победы». От этого неприятный осадок. Но разрешения еще нет. Только сегодня будет ответ.

27.3.1942. Вчера, в четверг 26 марта, выехал из Москвы. Гораздо легче на душе. В Москве было тягостно.

Отъезду предшествовало следующее: Г — в рукопись пропустил.

Он посмотрел на меня и спросил:

— Ну, что же с вами делать?

Я молчал. Он продолжал:

— Ну, ладно. Печатайте.

И написал на первой странице «Г — в».

Все, казалось, кончено. Готовлюсь ехать в 8-ю. И вдруг новое осложнение. После г-й рецензии заговорила совесть в Б — не, и теперь уже он (работник и консультант редакции) выступил с решительными возражениями. Была собрана редколлегия, на меня всячески давили и предложили как-то, каким-то коренным образом переработать рукопись...

Я решил было удрать (ибо видел, что с рукописью кончено, что все дальнейшие переделки — напрасная потеря времени), но на следующий день пошел к М — й и сказал, что не согласен ничего переделывать коренным образом. Она: «Новая катастрофа!» У нее все «катастрофы». Нервничала, уговаривала, я уперся.

Тогда предложила еще раз съездить на место, чтобы там, быть может, переменить свое мнение.

И вот я еду. Но — в 8-ю, которая сыграла решающую роль под Москвой и вела бой под Крюковом. (То есть таки удрал.) Наверное, не скоро вернусь. Начинается период распутицы.

Когда выехал из Москвы, все текло, было мокро. Но ночью на перегоне Калинин — Кувшиново началась пурга с морозом. Она продолжается и сегодня. Места в кабине сегодня не оказалось, и меня оставили до завтра в Осташкове.

Мои намерения — связать свою судьбу с 8-й. Есть минусы — она далеко от Москвы, она — в очень опасном месте и при немецком наступлении окажется, вероятно, в тылу у немцев, и, наконец, уменьшается свобода передвижения.

Но зато я в самом деле близко увижу войну; я ликвидирую свое двусмысленное положение; я буду обеспечен хлебом насущным. Почему 8-я? Потому что это лучшая дивизия страны, потому что я знаю, в общем, ее историю, ее роль под Москвой и хочу писать об этом.

Как развернется дальше война, история? Не знаю! Ничего не могу сказать с уверенностью. Много думаю. <...>

Дорожные впечатления: народ (то есть два-три почтаря) бодр, нет хныканья, упадка. Но основное новое: строгость с продовольствием, уменьшение норм, прекращение разбазаривания и расточительности. Так в Калинине... так в Осташкове. За деньги нельзя достать ничего. Мне вызвались достать литр за 20 руб. Интересно, достанут ли?

В общем, очень, очень интересно, каковы будут весна, лето?

Захватывающая книга, и в конец нельзя заглянуть.

28.3.1942. Провел сутки в Осташкове. Читал Клаузевица. Замечательная книга. Еще более укрепился в убеждении, что ничего не надо менять в «Восьмом декабря».

29.3.1942. Вчера в три часа дня выехали из Осташкова. Ехали всю ночь. Намерзся в кузове. В пять утра прибыли в Новачки. Здесь на почте увидел пачку газеты «За Родину». Редакция в Шапкине — 4 км отсюда. Поспал до 10-ти, сейчас иду в Шапкино.

Газета произвела прекраснейшее впечатление. Делается с любовью, с журналистским вкусом. Напоминает

поездные газеты времен гражданской войны. Захотелось о ней написать.

30.3.1942. Вчера в 12 часов дня пришел в Шапкино, в редакцию «За Родину». По дороге, в лесу, встречались бойцы, человек 50, группами. <...> На поле перед Шапкином вижу: совсем низко летит самолет — большой, черный, с фашистским крестом. Стою и смотрю, разглядываю. Вдруг очередь из пулемета. Скорее на землю. Оказывается, они здесь так летают запросто, регулярно, пачками. Сегодня утром видел еще три, которые летели так же. Днем здесь стараются не ходить.

В редакции был Мартынов. Встретил приветливо. Первые минуты разговора — самые интересные.

— Выпускаем газету в тылу немцев. Мы ведь в тылу немцев на 300 километров. Я вам покажу на карте <...>.

(И я вспомнил, как злобно встретил нас один старик по пути... Так откровенно злобно, что я изумился. Конечно, есть множество противоположных фактов, которые, на мой взгляд, бесспорно, перевешивают. Например,— женщина в Осташкове, которая видела сон, как она «казнит» немцев.)

Но в общем дивизия в сложном положении. Она пробила длинный (может быть, на 100 километров) коридор в расположении немцев. За ней шли другие части, расширяя коридор. Не исключена возможность, что весной она с другими частями (дивизия входит в корпус Лелюшенко) останется грозной силой в тылу у немцев. Много раздумывал о такой возможности и, взвесив, решил остаться с дивизией — видеть все исторические события здесь, отсюда.

У нас, очевидно, тяжело с продовольствием. Здесь кормят рядовой состав неважно — суп на завтрак и суп на обед. Суп не очень густой (или очень негустой) и не мясной. Слышал жалобы. Но хлеба дают 800 и 900 грамм. Не один раз меня спрашивали:

— Много ли в Москве войск?

В этом вопросе какое-то беспокойство.

Спрашивали также:

— Много ли в Москве авиации?

Безнаказанные и постоянные полеты немцев действуют угнетающе.

Сейчас дивизия уперлась в оборону немцев <...>.

6.4.1942. 5 и 4 апреля во 2-м батальоне 73-й армии. 3, 2, 1 апреля в штабе Талгарского полка.

9.4.1942. Тает; тает днем и ночью. Сегодня утром, пробыв все эти дни в Талгарском, иду к Егорову.

От немцев по репродуктору: «Братья, переходите на нашу сторону»...

12.4.1942. Жизнь складывается так: силы организации и силы распада борются, переплетаются. Или попросту переплетается плохое и хорошее. Героизм и рядом дезертирство, победа и рядом переход одного-двух на сторону врага. Правда искусства должна охватить это переплетение — газеты отрицают этот тезис, вот почему туда не хочется писать. Что ждет нас? ... Во всяком случае, величайшие испытания, сильнейшие удары. А нас в узком смысле,— т. е. 8-ю гвардейскую знаю... Мы будем окружены, отрезаны и будем действовать в тылу врага. <...>

Пишу эти строки, сидя в лесу на талом сыром снегу. В лесу еще снег, на дорогах ледок, в низинах вода, а с подвозом все труднее и труднее. Теперь каждый день будет приносить, вероятно, только неприятные известия. За последние два-три дня два красноармейца перебежали к врагу <...> И вместе с тем в дивизии лозунг — полки должны стать коммунистическими. Вот оно переплетение, борьба сил распада и сил творчества.

Говорят, что в районе Вязьмы началось большое сражение, где действуют 2000? немецких танков. А мы здесь ото всего будем оторваны. Кроме одного — народа! Буду наблюдать, изучать его!

13.4.1942. <...> По дорогам вода,— кое-где чуть ли не по колено. В лесу еще снег. Ясное голубое небо, солнышко, прекрасно,— но идет война. Грязи еще нет, скоро начнется. Пройду этот путь с талгарцами. Это испытание мужества. И быть может, теперь будет так же, как всегда,— мне всегда казалось хуже, катастрофичнее, чем было в самом деле.

14.4.1942. Последние газеты были от 9-го. <...> Завтра наступление, на этот раз самое серьезное, все с той же целью: выйти на шоссе и на берег Ловати (соединиться со своими). Вода, снег и под снегом вода; ползти нельзя,

лежать нельзя, в этом основная трудность. Выйдет ли? Операцию запишу.

15.4.1942. Между нами и Княжем Клином нет сообщения. Разлилась Ловать. Последние пешеходы прошли по мосту, уже залитому, через который уже шли льдины, 15-го утром.

17.4.1942. На солнце вьются первые мошки. В лесу еще снег, но уже видели первую бабочку. Вчера весь день шел бой за дорогу — очень странный. Это решительный бой, а шел вяло, скучно, без воли к победе, без напряжения: сил нет, и победы не видно.

19.4.1942. Вчера вышел из КП 1079. Направление — Москва. Доберусь ли? И когда? Логвиненко на прощание сказал:

— Вы побывали в орлином гнезде. Смотрите же, не окажитесь простым птенцом.

24.4.1942. Сижу в Пено у контрольного пропускного пункта. Жду попутной машины на Осташков, на Калинин. Преодолел дорогу Княжий Клин — Пено. Километров 30 пешком. Много впечатлений. Это дорога голода. <...> Движения (машин) на дороге нет — распутица, трясина. Хотя дороги в других районах высохли. Подвоза на фронт от Пено нет. Это создает чертовские затруднения. Идут два потока пешеходов — туда пополнение разных возрастов. <...> И оттуда поток раненых <...>.

Много думал. Общий итог: немцы нас не разобьют. Но и они очень сильны <...>.

25.4.1942. Сижу в товарном поезде. Двигаюсь на Бологое. Опять просят «сухарики».

27.4.1942. Проехал Калинин. В Калинине сел на санитарный поезд. Стоим и стоим на маленьких станциях. Скорей бы Москва! Скорей бы работа!

3.5.1942. Начинаю работать после нескольких беспутных дней. Работа — 12 часов в день! И ни рюмки водки до слова «конец»!

11.5.1942. Сегодня одиннадцатое. А сделано немногое. Но, слава Аллаху, «Восьмое декабря» исправлено, и кажет-

ся, выйдет. Сегодня (ах, уж сколько было этих «сегодня»!) начинаю работать ритмично, много, днем и вечером. Нашел форму — маленькие рассказы, легко мобильные. Москва после фронта, после голода по дорогам произвела впечатление неожиданного благополучья. Народ живет сытнее, чем в марте. Весна чертовски плохая, до вчерашнего дня почти ежедневно падал мокрый снег. Дороги, говорят, и посейчас непролазны, разбиты даже шоссе. Прошел слух, что немцы прорвались где-то в районе Бологое. Но в сводках — «ничего существенного».

3.6.1942. Скоро двенадцать. Скоро тронемся. Я опять еду на Калининский фронт, в Холму, в панфиловскую дивизию.

Машина (почтовая) грузится, я немного пьян, но все-таки основное запишу. Еду надолго. Еду с открытыми глазами. Знаю, какая опасность мне (нам, панфиловцам) грозит. Мы, вероятно, будем отрезаны, будем пробиваться из окружения или партизанить. Надеюсь, что прикроет лес. Лето началось плохо (Керчь, Харьков). Думаю, на днях последует удар на Калинин и на Бологое (отрезающий нас). Думаю, лето будет очень тяжелым. <...>

Почему еду? Влечет работа, логика работы, которая для меня сильнее всего, сильнее страха смерти. Буду писать о Логвиненко, о Момыш-Улы.

Предполагаю писать на фронте и привезти в Москву к сентябрю-октябрю книжку. Не знаю, выйдет ли, но мой расчет таков.

В Москве были интересные встречи с Твардовским. <...>

Пока все.

Пойду в машину.

4 июня прибыл в Кувшиново.

5 » Осташков.

6 » Торопец.

По сводкам все спокойно.

7.6.1942. Сутки просидел в Торопце. Через час, может быть, поедем. Тоска, тоска. Давно не было такого тоскливого, подавленного настроения, как сейчас. Тоскую по архиву. Жалею его. Мечтаю о нем. Думаю, как бы сделать, чтобы он был цел. Архив — это восемь лет труда, восемь лет удачи, погубленных в несколько дней.

Вся жизнь из-за этого сломана. Или, вернее, план жиз-

ни сломан. Не будет... лучшего, что я мог бы создать,— «Инженер Макарычев», «Югосталь», «АИК»...

Думаю, как по-новому построить литературную жизнь.

Это новое начинается теперь,— с завтрашнего дня.

Что осталось от разгрома? Микулин — это очень-очень важно. Затем — приобретено: Момыш-Улы.

Надо писать современность. Писать упорно, длительно, хорошо.

И быть может, главный мой жанр или, вернее, два главных жанра:

1) записи от первого лица (чьего-нибудь) с характеристикой встречи и 2) записи от первого лица — своего.

Но, в общем,— дорога еще неясна. Что, что оставлю я грядущим поколениям? Тоска. Щемящая тоска по погибшему архиву.

19.6.1942. Приехал в дивизию 8-го. Уже дорогой узнал, что есть приказ отойти за Ловать. Отход начался 11-го или 12-го. Сегодня 19-е. Наши (75-й полк) ведут сдерживающие бои за Ловатью. 73-й и 77-й заняли оборону по берегу Ловати.

Немцы не сразу заметили отход, еще сутки садили из артиллерии по пустому месту и лишь через двое суток начали наступать. <...>

Я очень долго грустил. Никогда, кажется, не было такой грусти. Был углублен в себя, думал о своей проблеме, склонялся к мысли бросить писательство, вернуться к критике.

Сейчас прошло. Стало спокойнее на душе. Буду писать по-своему хронику эпохи. По-прежнему работаю над Момыш-Улы и отчасти над Логвиненко. Он, Логвиненко, получил новое назначение — начальника политотдела. Договорились, что напишем вместе с ним историю Талгарского полка, к годовщине (к 12-му? — но еще не начали, а времени осталось мало). Момыш-Улы хорошо ко мне относится. Вчера стал продолжать рассказы. Записываю в другой тетради многое из того, что вижу. <...> Я узнаю его все ближе. <...>

Все ли в нем подчинено уму? Нет! Есть кое-что сильнее ума. Гордость!..

21.6.1942. Дождь и дождь! Четвертый, кажется, день моросит дождь. Вообще лета я пока здесь не видал. Вчера

был очень продуктивный день — записали с Момыш-Улы две главы, затем его очень интересную беседу с политруками, затем его воспоминания о Панфилове.

Сегодня М.-У. заболел. Кажется, скрутило здорово. Он должен был ехать в лес (задача разведать дорогу на 8—10 км через лес, болота), но не может подняться с постели.

22.6.1942. Дождь и дождь. Дождь целые сутки. Вчера Момыш-Улы на дожде проводил беседу с младшими командирами. Тема: управление отделением в бою. Но половина беседы — о внешнем виде, чистоте, подтянутости.

Вторая половина — как управлять в бою. Значение приказа. Винтовка — грозное оружие. О русских и казахах...

26.6.1942. Вчера и сегодня лето. Жара, солнце. «Скоро рубахи снимем»,— говорит один старик. Я попрощался с Момыш-Улы (хотя беседы не закончены), ибо меня вызвал Логвиненко. Вчера пришел в политотдел. Сегодня, наверное, начнем работать. Тихо, мирно. Появляется авиация. Где-то одна, две бомбы. Но, в общем — спокойно...

28.6.1942. Провел два дня в Княжьем Клину. Меня туда вызвал Логвиненко. Но беседы так и не состоялись. Ушел обратно к Момыш-Улы. Вчера он очень интересно рассказывал. Был в ударе. Начинаю предчувствовать, что может выйти замечательная книга.

29.6.1942. Сегодня утром на меня напали корреспонденты «Советского гвардейца» и работники штаба. Почему не пишешь в газету? Я отбивался... Но произвело сильное впечатление. Пошел к Логвиненко. Сегодня вырву беседу. Завтра начну писать.

11.7.1942. Все дни работал. Втянулся. Пишу «Волоколамское шоссе». Подвигается неплохо. На нашем фронте — затишье...

23.7.1942. Сводка: бои идут в районе Новочеркасск — Цымлянская. Падает меч истории на голову фашистов. Думал вчера и сегодня. Все дни работал. Написал два листа. Иду к талгарцам. Буду там дней пять. Беседы с Момыш-Улы. Затем в Москву.

3.8.1942. Выехал в Москву.

8.8.1942. Армавир.

15.9.1942. Из Москвы. Грустно.

17.9.1942. Вечером приехали в дивизию. Дорогой благоприятные впечатления. Нет признаков развала. Ненависть к немцам. (Раненый в поезде с раздутой ногой.) Организованность автотранспорта. Мало бензина. Обратно порожняк на буксире. Обратно загружаются песком, чтобы улучшить дорогу. Сейчас даже в автобате есть лошади...

22.10.1942. Очень давно не трогал дневник. А между тем многое произошло. Прежде всего во мне. Я чувствую в себе определенную деградацию. Я уже не прежний Бек. Посерел, потускнел. Рассказываю уже не так живо, не так интересно, богато, как раньше. Нередко замечаю, как изменяет память.

Целый месяц (или, быть может, больше) у меня было угнетенное состояние, какая-то болезнь души. Я просыпался с грустью, ходил с нею и засыпал с нею. Что это было? Переход в другой возраст? Литературные неудачи? Потеря архива? Потеря рукописи о Момыш-Улы? Война? Сам не знаю. Сам себя не понимаю.

Рыкачев сказал мне вчера: «Какое у вас лицо! Щеки висят, тут мешочки. Что с вами? Вы посерели?»

Что со мной? Сам не знаю. <...>

Теперь делаю усилие подняться, преодолеть упадок, войти в форму.

Пишу «Волоколамское шоссе»... Но отвлекаюсь разной шелухой. Мало думаю о работе. Пишу с натугой, будто тащу, вытаскиваю слова из-под толстого слоя сора.

Ставлю себе задачу спасти то, что можно. Быть может — все. Вернуться к прежнему Беку. Не пить. Регулярно работать по восемь часов в день. И, между прочим, снова каждый день встречаться с дневником. Записывать военную Москву, записывать себя.

Дисциплинировать себя этим. Поднимать себя этим!

26.10.1942. Позавчера в клубе читал Фадеев из книги «Ленинград»... Военный клуб. Высоко на подоконнике чья-то (кажется, Пастернака) водка — две бутылки. Перцов в военном. Рядом со мной опустившийся, подкошенный войною Г. <...>

Не очень доволен своей работой. Пишу медленно. Нет беглости. Нет разбега. Опять-таки — слово словно вытаскиваешь из-под житейской трухи. Родник не бьет.

Чем преодолеть это? Работой и работой. Думаю в эту неделю достичь разгона.

В образе Момыш-Улы хочется показать, как чудовищная воля соединяется (может соединяться) с тем, чтобы видеть правду (и говорить). <...>

Вообще война воздает и воздает нам что положено — и за нашу силу, и за нашу слабость. <...>

Из тетради «Разные беседы»

11.6.1942. Разговор комиссара с красноармейцем Комаровым. О нем донесли, что он говорил-де: «Что нам советская власть дала за двадцать лет,— ничего хорошего».

Комаров отвечал спокойно, вдумчиво, произвел хорошее впечатление. Он больной — губы толстые, вывернуты, лицо апатичное, часто, сдерживаясь, зевает. Но рассуждает сердечно.

— Если бы я хотел, давно ушел бы к немцам. Стоял на посту в семидесяти метрах от них, никого не пропускал. Зачем эта сволочь полезла к нам? Мы их не звали наводить порядки.

Комиссар говорил очень хорошо, умно:

— Как ты думаешь, почему мы победим? Докажи мне это.

И Комаров ответил, очень разумно:

— Если после такого прорыва мы их остановили, закрыли прорыв, то теперь, конечно, победим.

* * *

— То, что вы привезли, не стоит пота той лошади, на которой вы ехали.

14.6.1942. Разговор с Момыш-Улы «Лошадиный рассказ». Его идея — социалистическая военная диктатура. Диктатура жесткая, как диктатура всадника над лошадью.

19.6.1942. — Я для Берлина берегу белые перчатки в сумке. Не для Алма-Аты. Там меня «гудоком» назовут. На... они мне нужны. Два дня похожу в Берлине и выброшу. Скажут: ну русс, в белых перчатках, да еще на русского не похож, а какой-то китаец. Что за полк первым вошел в Берлин?

Бинокль, фонарик. Меховая безрукавка, подпояска, плащ, целлулоидный белый воротник, ладно пригнанный.

21.6.1942. Момыш-Улы заболел. Пришел С.

— ...Заболел. Дышать не могу. (Раньше он скрипел зубами.) За доктором? Не надо.

Пришел доктор.

— Как чувствуете себя?

— Ничего. Хорошо.

Но потом признался:

— Спина болит, черт знает. Как будто побили. Или упал. Или долго не ездил на лошади, сел и болит все тело.

С Пономаревым:

— Будешь командовать третьим батальоном. Там есть ряд недостатков: жалеют подчиненного, нетребовательность... На испытание. Не выдержишь — полетишь с шестого этажа.

Прекрасный рассказ «Запевай». Он — комвзвода. Усталые. «Запевай!» Не поют. Всех наказать нельзя. Гады. Направо! Назад! Три километра. Навьючил. Пешком по полю. Часа два. Опять сели. На том же месте. «Запевай!» Запели.

За это взыскание.

— Прислали ишаков соблюдать лошадиную честь!

22.6.1942. Беседа с пополнением.

— Гвардеец — храбрейший из храбрых. Быть храбрым, хорошо воевать обязан каждый.

Для чего нужна дисциплина? Для победы. Без нее победы не может быть. Второе — любить оружие. В войне техника не побеждает, а побеждают люди, овладевшие этой техникой. Если вы не будете любить оружие, то и оружие вас любить не будет. Без него, какая бы ни была сила воли, ничего не сумеете.

В бою — выручка. Сам погибай, а товарища выручай. Бросил товарища — преступник. Помогай товарищу штыком, лопатой, если надо — кулаком. Иначе — трусость, предательство. Труп надо выносить, не оставлять на издевательство врагу. Если видишь немца, бей его первым, не то он тебя убьет.

Трус погибает первым. Смелого пуля боится и штык не берет.

Война тяжелая штука. Взять себя в руки. Быть всегда бодрым. А то будешь тряпкой.

Дождь идет, не прячь голову, все равно натечет, держи голову вот так.

Ничего хорошего не обещаю. Голодать будете! Все слышите? Голодать будете... Мокрые портянки. Жрать нечего.

Будут и другие дни. Это солдатская жизнь — иногда сыт, иногда в желудке пусто.

Но это не должно повлиять на гвардейскую честь. Голову держать вот так!

Героям — славу! Письма домой... А трусу — твой муж, твой отец оказался подлецом. Погиб собачьей смертью. Жена с ужасом будет вспоминать тот день, когда она согласилась... За людьми, у которых кишка тонка, надо смотреть — не допустить, чтобы человек стал трусом, предателем.

Не надо быть нянькой! Воротник расстегни ему, штаны...

Заслуга — из труса сделать героя (смеются, повеселели).

Гвардия — батыр. Если бога как следует бить, то и бог погибнет.

Говорить по-русски не умеешь — говори как попало...

Казахская пословица: «Палка приносит боль только телу, а слово пронизывает и кость».

Из послевоенных тетрадей

5 апреля 1956. Долго не спал ночью. Продумывал третью часть «Волоколамского шоссе».

До вчерашнего дня у меня в сознании шло как бы два самостоятельных потока: *первый* — думы о том, что сей-

час совершается в стране, *второй* — размышления о «Волоколамском шоссе».

Вчера эти два потока как бы слились, соединились. Я уяснил: продолжение «Волоколамского шоссе» должно быть ответом на события, своего рода объяснением их, книгу должны с жадностью прочесть жаждущие понимания жизни, истории. Это должен быть, громко говоря, разговор с человечеством, с читателем. Иначе нет смысла писать.

Книга должна ответить на вопрос: что такое Советская страна, что такое советский человек.

И вот несколько моих выводов. Форма «повесть-фильм» для этой вещи негодна. Эта форма не вместит размышлений, характеристик, неустанного думанья, диалектики мысли. Нужна прежняя, вольная, простая, всеобъемлющая и вместе с тем облегчающая задачу форма повествования от первого лица.

При этом следует, вероятно, дать вступление: это рассказывается заново теперь, в апреле — мае 1956 года, с использованием давних записей.

<...> Сейчас мне надо не писать дальше, а проделать следующую работу: внимательно прочесть все мои материалы, составить как бы оглавление, разметить разные частицы по отдельным главам — порядок же глав у меня, как я вижу, остается прежним.

Вместе с тем надо составить список вопросов, которые я задам Бауржану.

Таким образом, я буду в форме, в седле, совершенно подготовлен для разговора с ним, и вообще для большой, очень серьезной работы.

6 апреля 1956. Хотел бы начать переделку приблизительно с 50 страницы — переводить текст из третьего лица опять в первое лицо.

Увидел, что это трудно. Это надо начинать с первой страницы, с самого начала.

Мне сейчас рисуется некое вступление.

Предположим: мы вместе с Бауржаном едем по улицам Волоколамска. Идет разговор о книге («действительность — ваше божество»). И переход к тому, как батальон, выйдя из окружения, шел по улицам Волоколамска. И затем пошла повесть.

Или иначе: сейчас я разбираю все свои записи и все,

что написано самим Бауржаном. В частности, к примеру, его рассказ о чекистах. Потом что-то еще: его книгу о своем детстве. И опять Волоколамск — переход к повествованию.

В повести поставить в разных местах вопросы нашей жизни. Почему так плохо сложился для нас первый этап войны? О сложившемся типе чиновника, знающего лишь приказы начальства (пример с сенатом Наполеона).

О том, что фундамент, заложенный Лениным, остался.

Очень важны в этой связи типы Звягина и Хрымова. Хрымов — заботящийся даже на войне больше всего о себе.

Краев, Бозжанов, Дордия — светлые образы, представители партии, ленинской, советского народа.

Тип Толстунова — контролер (маленький Звягин), но и много в нем хорошего.

Солдаты — Муратов, Мурин, Гаркуша, Курбатов.

Доктор Беленков. Фельдшер Киреев.

Панфилов — лучшее, что у нас есть.

Сегодня буду продолжать читать дальше свои материалы.

У Панфилова — томики Ленина. Он там читает об искусстве отступления.

10 марта 1957. ...Теперь же я хочу закончить третью книгу «Волоколамского шоссе». Это будет особая повесть под названием «Резерв Панфилова». Если я не дожму ее теперь, то не знаю, когда вернусь...

12 марта 1957. ... Не так легко переключиться после волнений последних дней. Начну переключение так: буду переписывать незаконченную главу «Бой под Тимково», этим настрою мозг и въеду в работу, как на саночках.

11 апреля 1957. Вновь взялся за «Волоколамское шоссе». Уже приблизительно месяц работаю вовсю.

Сегодня появилась прекрасная мысль — после Тимкова сразу дать встречу с Панфиловым. Так, собственно говоря, у меня и был набросан первый вариант в 1946 году. Значит, решение было правильное.

И сейчас чувствую, что такое построение сожмет, спрессует вещь, взбодрит все. Как-то стало веселей писать.

2 мая 1957. Итог апрельской работы неплохой.

Я сделал приблизительно 60 страниц карандашом — т. е. полтора листа. Это почти готовый текст.

Главы, как мне кажется, удачные («После большой точки», «Беспорядок это новый порядок»). Они многое определяют в композиции, в тоне вещи. Особенно «После большой точки». Я, очевидно, дам «вступление» (которое было сделано ко второй повести), затем две интерлюдии («После большой точки») и заключение: «После большой-пребольшой точки». Образ Момыш-Улы будет ярок. Я брошу на него свет с нескольких сторон. Сейчас мне предстоят две довольно трудные главы — батальон пробирается к своим. Надо их сделать энергично.

12 мая 1957. За месяц написал около двух листов. Гоню вторую часть.

...Вторая часть — большая. Листов пять. Когда ее сделаю, вздохну. Уже будет виден берег. Сегодня вечером кончу «Ночевку у моста».

Берусь за следующую главу «Бой под Калистово» (пока и названия-то нет). Это будет одна из самых трудных глав. Как только перевалю через нее — будет, чувствую, какой-то перевал. Все остальное пойдет легче. Компактнее! Драматичнее! Ну, завтра с богом!

31 июля 1957. Денька два пленум...

Теперь снова погружен в работу. Пишу Тимковский бой (то, что у меня было пропущено). Работенки еще невпроворот.

20 октября 1957. В Малеевке. Перевалил через середину, через хребет. Таким хребтом считаю «Преступление Краева». Теперь, думается, дело пойдет живей.

7 декабря 1957. Сегодня не работаю. Завтра опять засяду за «Резерв». Продумываю главу о Панфилове. По сути дела, с этой главы начинается вторая часть. Надо так ее и строить, как завязку. Ощущение беспокойства у Панфилова. Ощущение беспокойства, напряжения у читателя. Надо этого добиться!

10 января 1958. Опять в Малеевке...

Осталась последняя треть. Я рассматриваю ее как самостоятельную повесть с внутренним своим подзаголовком «Подвиг».

Эта часть драматична, требует от меня большой свободы, блеска, ибо Бауржан дает этот материал в собственных воспоминаниях. Думаю, что справлюсь.

Меня влечет к работе. Сейчас вещь вошла в то приятное для автора состояние, когда уже близок конец, можно поддать шагу, можно взяться за переписку, перебеление того, что уже написано.

Так и буду делать. Днем — новое, «Подвиг». Там я введу «Как я женился», введу Валю Вахмистрову, Звягина, члена Военного совета; дать драму Филимонова, и, главное, драму, подвиг Бауржана.

Напоследок его целует Звягин, *а мог бы расстрелять.*

Вечером буду переписывать первую часть. Там тоже работенки не мало. Но она приятна.

Хочется работать. Два месяца упорного труда — и дом будет подведен под крышу.

30 августа 1959. Сейчас принимаюсь за четвертую повесть «Волоколамского шоссе» — за ту повесть, ради которой (по-моему тайному замыслу) были написаны три предыдущие. Мой потаенный заголовок этой повести: «Подвиг комбата».

Ее главные лица: Панфилов, Момыш-Улы, Звягин.

В более низшем звене ее герои — тот же Момыш-Улы, Филимонов, Толстунов.

Повесть должна быть наполнена, насыщена материалом и вместе с тем лаконична, лишена длиннот — т. е. написана в стиле «Волоколамского шоссе».

В подтексте будет идея,— злободневная, живая и ныне,— союз творческого человека и управляющего кулаком (Звягин). Посмотрим, как мне все это удастся. Это должно быть сказано так, чтобы читатель даже не подозревал, что автор хотел сказать именно это. Пусть это как бы вытекает из самой картины жизни, из картины, в которую входят и мысли, искания Момыш-Улы,— но не эти, не об этом.

Повесть (как и «Несколько дней») составит около десяти листов. Она у меня хорошо продумана, частью уже существует в черновиках и записях (относящихся еще к

1944 году), и я надеюсь завершить ее в полгода — то есть к марту, к весне 1960 года.

Ну, Сашенька, с богом!

5 сентября 1959. Неделька прошла во всяких «пробах пера».

Пробовал начать с Гали, с Исламкулова. Это не удовлетворяло. Получались какие-то необязательные главы. А необязательность — погибель.

Была еще одна проба — с Дорфмана. Тоже необязательно, вяло. И лишь когда пошел дальше (неудовлетворенный началом), понял: начинать надо прямо с этого «дальше», с приезда Панфилова.

7 сентября 1959. Толстунов — проблема. Где, как его ввести в четвертой повести?

9 сентября 1959. Пишу и испытываю неудовлетворение. Идут поиски начала.

Начало с Панфиловым, что я делал теперь, как-то суживает вещь, придает ей специфически военный характер. На этом (одном этом) нельзя тянуть вещь дальше, становится скучно, однообразно или, сказать по-другому, не хватает дыхания.

А повесть должна быть с широким дыханием.

И мысль все снова и снова возвращается к другому началу. Именно: 1) после большой точки (похитил жену); 2) Галя Заовражина; 3) Исламкулов; 4) батальон — бойцы. Последнее очень важно: надо почувствовать батальон теплым, живым. Нужна любовь к батальону, к людям. (Где-то приказ по армии о расстреле Кондратьева.) Нужно разнообразие глав — не сразу Панфилова одним большим куском.

В общем, надо еще поработать над планом, над списком действующих лиц. Но хорошо, что я глубоко вошел в вещь, непрестанно о ней думаю. Вот тогда-то и рождается что-то хорошее.

8 февраля 1960. Ну, вещь (усеченная, без усеченных глав) идет в «Новом мире».

Сейчас после некоторого перерыва (писал заметку к ленинским дням) возвращаюсь к работе над четвертой повестью.

Испытываю интерес, аппетит к работе.

Думается, смогу дать в середине «Как я украл себе жену».

Мотивировка для этого — поднять настроение штаба (батальона) и пример Звягина.

О Звягине. Покажу его только в Матренино — не растягивая, кратко, но сильно.

Вообще, хочется дать Момыш-Улы в его противоречиях. И как бы: читайте, люди, вот я каков — ваше дело, признавайте или не признавайте.

И над ним, над всем доминирует Панфилов.

Ну-с, сажусь. Приятно, когда есть уже много черновиков, набросков, когда сцены продуманы,— легко работается.

20 февраля 1960. Вчера приехал в Ялту на два месяца. Хочу хорошенько поработать над окончанием «Волоколамского шоссе». Запишу кое-что об этом.

В «Новом мире» появилось наконец продолжение. Эту вещь там обкорнали, и вообще она получилась какой-то «нелюбимой», хотя написана честно и стыдиться в ней нечего. Возможно, я еще переменю свое к ней отношение (это бывало). Возможно, буду считать очень хорошей, если она... понравится читателю. Ее судьба зависит от окончания. Сейчас, без конца, в ней нет определенности, нет ясности — зачем она написана. Конец должен увенчать все здание. Надеюсь, что мне это удастся.

22 февраля 1960. Начал работать здесь над окончанием «Волоколамского шоссе». Уяснил себе построение того, что еще осталось дать читателю. Надо сделать так: во-первых, дать рассказ «Поворот головы» (или «Пятнадцать капель», или как-либо еще) и во-вторых — повесть «Еще несколько дней». И сделать сноску: рассказ и повесть являются окончанием книги «Волоколамское шоссе».

«Несколько дней», вероятно, вызовет читательское разочарование (хотя критика, возможно, погладит по головке). Однако именно поэтому четвертую повесть писать легче,— не надо сверх сил напрягать голос...

18 марта 1960. Как странно — только сегодня (ночью в постели) я наконец уяснил себе главную мысль (или, как говорят, «идею») повести, которую уже заканчиваю.

«Резерв Панфилова» — таково давно намеченное за-

главие. Так что же это за резерв? Солдат оказался способен на большее, чем от него ждали. Ждали даже те, кто верил ему (тот же Панфилов). Контратака у Матренина невозможна. Но она совершена.

И у Заева тоже. И у двадцати восьми — тоже!

И офицер оказался способен на большее. Момыш-Улы: нарушить приказ нельзя, невозможно. Сделал это!

И полководец дал большее, чем ждали.

В общем, советский народ оказался способен на невозможное, на чудо. Именно советский,— а не только русский! — и те, отцы которых не ступали по русской земле. Значит, дело в революции.

Пружина — боец. Эти слова, эту мысль дать Панфилову. Соответственно этому переписывать вещь.

Тогда «Резерв Панфилова» — глубокий смысл.

21 марта 1960. Чувствую, что наконец-то настал последний этап работы. Я здорово погнал конец — по пять страниц в день грубого черновика. И вся вещь прояснилась, вдруг стала значимой, большой. И наконец-то я ее полюбил и увидел с начала до конца (с вопроса «О повороте головы мы с вами говорили?»). И в уме я как-то уже ласкаю вещь, осторожно, нежно ее поглаживаю. И чувствую — ее возьмут, она нужна.

Положение сейчас такое: нужно еще 40—50 страниц последних глав (то, что я делаю грубо по пять страниц, и набросок уже есть) и всю вещь перебелить — это 250 страниц. И в середине страниц 10—15 дописать. В общем, работы еще много, но она обозрима и уже приятна. Ставлю себе задачу справиться с ней за два месяца.

Все время приходят новые мысли о вещи, рождаются новые находки. Например: воспоминание о Заеве, о том, как он сидел, небритый, в холодной избе — это в тот момент, когда надо принимать решение.

И еще о Заеве — он возвращает бегущий батальон, когда встречаются с немцами в лесу. Он, а не Толстунов. Таким образом линия Заева будет прочерчена до конца, будет оправдано начало четвертой повести. И еще — бойцы воспитывают новичков, Голубцов сравнивает своего соседа Застрожина с молодой собакой, Застрожин догоняет, пленяет немецкого капитана. Вот так решается еще одна проблема — «новички». Вообще, все время как бы прохожусь по вещи. Что-то нахожу.

22 марта 1960. Вчера поработал хорошо.

Днем сделал пять страниц грубого черновика — закончил главу «Так ловят хищных птиц». Глава (это кульминация повести) — чувствую, удалась.

Вечером приготовил шесть страниц чистовика. Впрочем, дело не в количестве страниц, а в том, что найдено начало. В общем, повесть во всех своих составных частях, что называется, «легла». Это большое дело.

Но победу еще не должен торжествовать.

Сегодня приступаю еще к одной решающей главе: семнадцатого ноября вечером у Панфилова («Последняя встреча»). От этой главы в значительной мере будет зависеть вся вещь.

Конечно, настоящей, большой находкой является то, что я ее «продумал», «нашел» (она как бы вдруг явилась мне). Теперь дело в исполнении. За работу!

23 марта 1960. Иду по-прежнему хорошим темпом. Продолжаю главу о Панфилове. Появляются хорошие мысли. Глава, кажется, удается.

24 марта 1960. Вчера сделал свои пять страниц. Сегодня должен закончить главу «Последняя встреча». Это перевал. Потом вещь пойдет, побежит к концу.

25 марта 1960. Вчера закончил черновик главы «Последняя встреча». Чувствую, получилась. Значит, получилась и вещь. Теперь еще страниц 40—50 сравнительно легкого (то есть легкого мне и не решающего) текста.

Вперед!

28 марта 1960. 26-е суббота, выходной. Придумал, наконец, эпилог. Сделаю его из рассказа «Последний лист». Весомо, серьезно. И концовка — это уже будет «Ленинградское шоссе».

31 марта 1960. Ура, ура! Приступаю к последней главе. Найдено ее заглавие: «Я буду жить!»

Хорошие мысли все приходят. Например: будет обыграна шашка. С клинком обнаженным Момыш-Улы идет рапортовать Звягину. Тот обнимает Бауржана. То есть «враг мой — брат мой!».

И затем эпилог: и все!

1 апреля 1960. Вчера наконец закончил весь черновик.

Сегодня надо писать черновик главы-вставки «Посланец генерала». Там неясен образ или, верней, фигура Елина. Буду писать! Под пером (под клавишами) что-нибудь родится.

15 апреля 1960. Вчера отъезд Пауста. Не работал. С сегодняшнего дня мне осталось четыре недели до отъезда.

Сделано 156 крепких страниц.

Сегодня опять начинаю с главы «Шестнадцатое ноября». Сжимать, сжимать! Соединю ее со следующей главой.

18 апреля 1960. Удивительно, как я колеблюсь, оставлять ли сцену «Расстрелять перед строем». В общем, надо садиться писать, а решения еще нет.

Работаю упорно. Но двигаюсь медленно. Пока лишь по страничке в день.

26 апреля 1960. ...Сегодня сел в Москве за окончание «Резерва Панфилова». Придется посидеть еще, очевидно, месяца полтора-два.

Сажусь за работу с аппетитом.

ВАШ КОРРЕСПОНДЕНТ ПОТЕРПЕЛ НЕУДАЧУ...

1

В редакции мне сказали:

— Не хотите ли поехать к конструктору авиационных моторов Андрею Константиновичу Ш.? Он только что награжден орденом Ленина. Об этом конструкторе надо написать.

— Поеду.

— Хорошо. Вы с ним знакомы?

— Нет. Кое-что о нем слышал, кое-что читал.

— Этого мало. Перед отъездом обязательно зайдите в Общество изучения жизни. Там вам помогут.

— В Общество изучения жизни? Простите, меня долго не было в Москве, я о нем ничего не знаю.

— Да, вы отстали... Союз писателей создал такое Общество. Кстати, Обществу переданы обширные материалы бывшего горьковского «Кабинета мемуаров». Идите туда, в Союз. Мы сейчас туда позвоним.

2

Заинтересованный, я быстро разыскал Общество. Ему были выделены три или четыре комнаты в нашем большом писательском доме на улице Воровского — старинном московском полукруглом белом здании, которое, как полагают, Лев Толстой описал как дом Ростовых.

Меня уже ждали.

— Садитесь. Располагайтесь поудобнее и читайте.

У окна на столике высилась объемистая стопка папок. Я недоверчиво спросил:

— Это все для меня? Все об Андрее Константиновиче?

— Да.

— Гм... Для очерка, пожалуй, многовато... С чего же начинать?

— Просмотрите все. В этой папке основной материал: рассказ самого Ш. о своей жизни, о своем творческом пути. А тут рассказы и упоминания об Андрее Константиновиче. Это записи бесед с его женой. Это вот стенограмма Чкалова, еще времен горьковского «Кабинета». А это недавние: Туполева, Лавочкина, скульптора Виленского...

— Почему вдруг скульптора?

— Дело в том, что Виленский лепил портрет Андрея Константиновича. И нам казалось интересным, чтобы скульптор выразил своими словами то, что он передал в портрете. Описал бы черты лица, характер... Мы считали, что писателю это пригодится.

— Конечно, пригодится! Еще бы! Но как вы могли предугадать, что однажды к вам придет писатель и попросит эти материалы? Ведь это... Это огромный труд.

— Да, это делается исподволь. Тут работы много. Но ведь Андрей Константинович является одним из создателей советской авиации. Как же мимо этого пройти, изучая нашу жизнь? Еще при Алексее Максимовиче Горьком имя Ш. было включено в план «Кабинета мемуаров».

— Замечательно! Чудесное дело! — восторженно повторил я, раскрывая одну за другой папки.— Это просто клад! Это материал для целого романа!

В ответ мне было сказано:

— Наши материалы — результат коллективного организованного изучения жизни, к какому призывал Горький. Мы и вас в это дело вовлечем, если не возражаете.

— Конечно, не возражаю. А что вы уже сделали?

— Собрали немало воспоминаний бывалых людей. И продолжаем это делать. Вот, например, целая библиотека, или, лучше сказать, «стенотека», застенографированных рассказов партийных работников. Некоторые из них старики, начинавшие революционную работу еще с Лениным.

— Кто же проводит все эти беседы?

— Сами писатели. В том числе литературная молодежь. В Литературном институте недавно введен новый предмет — «изучение жизни». Как, вы об этом не слыхали?

3

Еще раз выразив радостное удивление, я жадно принялся читать стенографическую запись рассказов Ш. Еще ни разу не увидев его, я уже заочно знакомился с ним. Вот первые юношеские изобретения... Увлечение музыкой... Выбор пути: кем быть — композитором или конструктором?.. Проекты авиационного мотора... Творческие блуждания, неудачи... Размышления о своем призвании... Черты времени, эпохи... Формирование характера, мировоззрения... Решающие, драматические моменты жизни... Снова мысли о работе, о творчестве конструктора... О, как все это интересно!

Теперь посмотрим, что говорит Лавочкин об Андрее Константиновиче? У, какая своеобразная, острая характеристика! Сколько подробностей, штришков творческой манеры Ш.! Конечно, это мог в нем, конструкторе, заметить только другой конструктор.

Страница за страницей я заполняю свой блокнот.

Проведя два дня в Обществе, я отправился в поездку, уже до некоторой степени вооруженный, знающий облик, мысли, дела, историю человека, о ком мне предстояло написать.

Теперь нужна личная встреча, личные впечатления, разговор и... И я буду вправе дать читателям образ Андрея Константиновича.

4

Нет, дорогие друзья, ничего этого не было. Я не ходил в Общество изучения жизни: его у нас не существует. Все это лишь мечты писателя. Прошу извинения за игру фантазии.

В действительности же я сел в поезд так, как обычно отправляется в путь наш брат литератор, рассчитывая на месте кое-что увидеть, кое-что услышать и потом написать очерк. Однако при встрече с Ш., конструктором авиационных моторов, представителем самой высшей, самой точной современной техники, эта наша общепринятая старая техника литературной работы потерпела жесточайший крах.

Вот как все произошло. Договорившись с Андреем Константиновичем по телефону, я вошел к нему в кабинет.

Странно, я вдруг увидел, что этот седой человек в генеральском кителе, создатель прославленных моторов, главный конструктор экспериментального завода, начальник многих сотен людей, испытывает сейчас приступ мучительной застенчивости. Он покраснел, неловко что-то буркнул, небольшие глаза под густыми бровями совсем куда-то спрятались. Несколько позже я понял, что он настолько погружен в свое дело, в привычную напряженную атмосферу производства, создания новой машины, что всякое переключение в иную ситуацию, особенно в такую, где он становится объектом наблюдения, требует от него усилия, вызывает юношескую природную застенчивость.

Представившись, я изложил мое задание.

— Это, Андрей Константинович, очень срочно.

— Что же вы от меня хотите?

— Попрошу, если вы позволите, уделить мне время для беседы.

— Сколько же вам нужно?

Я рискнул сказать с запросом:

— Два-три вечера, часа по полтора.

— И этого вам будет достаточно?

— Конечно. Ведь я напишу небольшую вещь.

— Значит, чтобы создать небольшую вещь, можно не так глубоко понимать предмет?

Я не нашелся что ответить. Андрей Константинович уже справился со смущением. Сдвинутые брови разошлись. Были видны маленькие зоркие глаза. На крупных губах появилась усмешка.

— Какие же вопросы вас интересуют? — продолжал он.

— Какие? Их, Андрей Константинович, очень много.

— Ну, например?

— Например, как был создан этот мотор?

Я показал на блестящую черную модель мотора, которая стояла на столе главного конструктора. Андрей Константинович посмотрел туда.

— «Малютка»? — с чуть уловимой теплотой произнес он.

— Как вы сказали? «Малютка»? — живо переспросил я, делая заметку в блокноте.

— Да, так ее прозвали.

— Какая красивая вещь!

Двигатель действительно был очень красив, удивитель-

по соразмерен в пропорциях. Он представлял собой двойную звезду, как бы вписанную одна в другую.

— Да, ничего... Я поседел из-за этой вещи,— коротко сказал мой собеседник.

— Почему?

Он не ответил. Некоторое время мы молчали.

— Что еще вас интересует?

— Еще? Вот, например, мне хотелось бы понять, что такое талант конструктора.

Андрей Константинович опять усмехнулся.

— И все это за два-три вечера?

— Да. Я на большее и не рассчитываю.

— Хорошо, что вы еще назвали два-три вечера. А то, бывало, побудут здесь у меня с час, потом поговорят немного с моими близкими, с помощниками, и пожалуйста,— я читаю о себе статью. У моей жены все эти статьи подобраны.

— Андрей Константинович, разрешите мне их почитать.

— Нет, я вас прошу этого не делать. Мне неприятно, когда их кто-нибудь читает.

И, отвечая на мой вопросительный взгляд, он пояснил:

— Не из-за ложной скромности... А потому, что все это сделано приблизительно, небрежно, кое-как...

Я взглянул на красивую, блестящую, точную машину, что стояла возле нас, потом снова на Андрея Константиновича и, как мне показалось, уловил в эту минуту сущность человека, с которым разговаривал. Как выразить ее? Владимир Ильич Ленин когда-то писал: «Это разгильдяйство, небрежность, неряшливость, неаккуратность, нервная торопливость, склонность заменять дело дискуссией, работу — разговорами, склонность за все на свете браться и ничего не доводить до конца есть одно из свойств «образованных людей»...» Так вот: Андрей Константинович — «образованный человек», интеллигент совсем иного рода, который не выносит, ненавидит небрежность, неряшливость, работу кое-как. Он поседел, но довел свою машину. Нам ныне следует воспеть таких людей, умеющих доводить до конца свой замысел, свою мечту.

Однако это опять-таки было лишь схвачено чутьем, то есть оставалось еще чем-то приблизительным, некой писательской догадкой. На что она опиралась? На впечатление. Но, может быть, этого уже достаточно, чтобы написать очерк?

Я поделился этим впечатлением, этой мыслью с Андреем Константиновичем.

— Нет, не пишите,— сказал он.— Очень вас прошу. Вы же не моментальный фотограф.

Слово за слово мы разговорились. Мне хотелось выяснить, чего ждет от писателя конструктор.

— Почему вы предъявили требование на два-три вечера, а не двадцать — тридцать вечеров? — говорил он.— Ведь довелось столько пережить на своем веку. И каков век! А вы...

Он не закончил фразы, видимо, чтобы не сказать резкости.

— Андрей Константинович, но вы же очень заняты.

— Конечно, занят. И, по существу, уже не имею права дольше сидеть с вами. Но случаются и другие времена. Вот скоро я поеду в отпуск. Будет и расположение, настроение... У меня давно есть эта потребность: рассказать все, что было в жизни. Рассказать, не комкая, не торопясь...

Андрей Константинович говорил, я с удивлением слушал. Перед отъездом я мечтал зайти в несуществующее Общество изучения жизни, прочесть несуществующую запись рассказов этого человека о всем его пути, а оказывается, и сам он давно хочет, испытывает потребность передать историю, опыт своей жизни. И только ли он один? Не разделяют ли с ним это стремление многие люди нашей родины, даже отнюдь не знаменитые,— творцы, участники великих дел нашего века? Не есть ли это поистине народная, могучая потребность — рассказать сверстникам и поколениям о нашем необыкновенном времени, о том, что довелось свершить и пережить?

Вот, может быть, в чем глубина и живучесть горьковской идеи «Кабинета мемуаров».

Почему же мы, советские писатели, забыли о ней? Почему у нас нет нашей общей коллективной сокровищницы человеческих документов, начало которой было положено при Горьком? Почему мы не сохранили, не продолжили горьковского начинания — планомерного, организованного изучения жизни?

...Не буду передавать дальнейших подробностей этой поучительной для меня встречи. Очерка я не написал. И доложил редакции: ваш специальный корреспондент потерпел неудачу, был отражен с уроном, техника оказалась непригодной.

6

Все это мне вспомнилось теперь, после открытого партийного собрания московских прозаиков, где мы обсуждали вопрос о задачах писателей в связи с приближающимся сорокалетием Октября. С большим подъемом на собрании говорилось о возрождении, восстановлении различных начинаний Горького.

И невольно захотелось помечтать. В воображении я увидел еще одно более широкое собрание, или, быть может, даже конференцию, созванную Союзом писателей... Идет взволнованный разговор. Все выпуклей предстает нам облик Горького — организатора литературы, председателя Союза писателей, критика, редактора, инициатора новых журналов, альманахов и иных изданий, настойчиво, последовательно, неуклонно проводящего свою, горьковскую, линию вторжения писателей в жизнь, сближения с жизнью, изучения, изучения и еще раз изучения жизни. На заседании выступают работники различных горьковских изданий, в частности серии сборников «Люди двух пятилеток». Конференция слушает и сотрудников «Кабинета мемуаров», скромных «беседчиков».

И постепенно, в нашем общем разговоре, выясняется, что Горький создавал целый механизм, целую систему связей литературы и жизни, создавал с размахом, с перспективой, с прицелом на десятилетия, что только теперь мы в состоянии оценить.

Мечты мои идут еще дальше. Мне видится учрежденное нами Общество или, дам уж волю фантазии, Институт изучения жизни — постоянно пополняемое хранилище человеческих документов, неисчерпаемая сокровищница для писателей и для историков.

Невольно я себя одергиваю: э, куда хватил! А впрочем... Впрочем, почему не помечтать?

1957

ЛЮДИ ВЕЛИКОГО ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ

Еще раз о «Кабинете мемуаров»

Недавно я сидел у пожилого профессора, в прошлом заводского инженера. Мой седоватый собеседник рассказывал о прошлом, о тридцатых годах, о командире тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе. Беседа разогрела профессора, он припоминал множество характерных мелочей, дарил россыпь подробностей, тех, что могла сохранить в памяти только влюбленность,— влюбленность в легендарные годы, которые явно были гребнем его жизни.

Во время рассказа вторгся гость — мой давний знакомый, директор завода имени Петровского Илья Иванович Коробов. Он только что докладывал в одном из отделов Центрального Комитета партии о том, как используют на заводах его изобретение — особый способ убыстрения хода доменной печи, пришел возбужденный, веселый, энергичный. В его слегка вьющихся каштановых, с рыжинкой, доставшейся от покойного отца, волосах не было приметно, несмотря на пятьдесят лет, ни единой седой нити, ни одна паутинка усталости не затуманила и блеск серых глаз. Он принес с собой ворох горячих впечатлений, пыл семилетки, порыв в будущее. Рассказал, не присаживаясь, о решении, вынесенном по его докладу: создать инициативную группу по внедрению изобретения; послать ее на крупнейшие заводы; руководителем группы утвердить его, Илью Коробова.

— Инициативная группа инженеров! — восклицал он.— Великолепная штука! Бывало ли такое?

...И к седому профессору, влюбленному в тридцатые годы, и к неуемному директору, олицетворяющему жаркую влюбленность в современность, в будущее, должны постучаться «беседчики» из «Кабинета мемуаров».

Дух современности, вкус к ее изучению, исследованию, познанию, неутомимые поиски рассказчиков, принадлежавших не только героическому прошлому, но, главное, и тех, кто творит наше сегодня, наше завтра,— такова была идущая от Горького давняя традиция «Кабинета». Не напрасно он был создан при редакции «Люди двух пятилеток»,— этим как бы подчеркивалась его устремленность. Не напрасно в числе тех, чьи живые свидетельства о времени и

о себе вызывал к жизни, собирал «Кабинет», значительное место занимали люди новых, неведомых ранее профессий, первооткрыватели в науке и технике. Их изустные рассказы, «исповеди сынов века», представляли собой, если воспользоваться ходячими словечками нынешних литературных дискуссий, «лирику физиков».

В поле зрения золотоискателей-«беседчиков» находились не только люди зрелого возраста, но и молодежь, обязательно молодежь! В качестве примера назову того же Илью Коробова: в сейфах «Кабинета мемуаров» хранилась папка, содержащая восемь или девять стенографических записей — историю жизни этого в те времена двадцативосьмилетнего начальника доменного цеха. Уже и тогда ему, нынешнему лауреату Ленинской премии, было что сказать.

* * *

В этом году мы склонили головы над гробом Семена Алексеевича Лавочкина.

Мне привелось несколько раз повстречаться с этим замечательным конструктором, учеником Туполева, творцом самой передовой современной техники. Его широкое, крестьянского склада лицо, короткая, тоже раздавшаяся вширь, крепкая ладонь сочетались с неизменно вдумчивым, спокойным взглядом.

— Остаться наедине с собой и думать,— говорил Семен Алексеевич,— это главная моя работа.

Однажды он негромко (сколько помню, его голос всегда был негромок) признался:

— Мечтаю рассказать о своем пути конструктора. Сегодняшних дел не могу касаться. Но те, которые уже обрели давность, например преодоление звукового барьера, можно изложить во всех деталях. Каждая техническая задача — это часть жизни. И часть книги. Посоветуйте, кому бы я мог ее рассказать?

Горьковского «Кабинета» уже не существовало; я, захваченный другими планами, не смог поработать с Лавочкиным; не сумел и найти для него «беседчика».

Так и осталась непроизнесенной, незаписанной эта творческая исповедь, что рвалась из души конструктора.

Лишь кое-что — несколько заметок, отрывков — я по давней привычке занес в свою тетрадь. Кратко перескажу здесь один эпизод из истории прославленного самолета-ист-

ребителя «Ла-5» — эпизод, имеющий некоторое отношение к нашей теме.

Семен Алексеевич, его конструкторское бюро выпустили опытный экземпляр этой машины незадолго до Отечественной войны. На испытаниях в воздухе новый самолет, однако, не показал качеств, которых по заявке, по замыслу конструктора, следовало от него ожидать. Несколько раз меняли марку мотора. Это не помогло. Истребитель Лавочкина никак не приобретал в небе той маневренности, скорости, которые, как подтверждали расчеты, он обязан был дать. Приемочная комиссия уже зафиксировала в своем заключении: самолет неудачен, для запуска в серию непригоден. В те дни, когда детище Лавочкина, казалось, было уже похоронено, один из его помощников-конструкторов вспомнил:

— Семен Алексеевич, в Москве где-то лежит забракованный мотор Швецова. Может, попробуем?

С горя попробовали. И произошло нечто поразительное. Самолет и мотор как бы нашли друг друга. Две считавшиеся неудачными, непринятые конструкции дали в сочетании превосходную новинку авиационной техники — истребитель «Лавочкин-5» с мотором «Швецов-82»,— тот самый истребитель, на котором лишь один Кожедуб сбил 62 вражеских самолета.

Уже нет среди нас ни Семена Алексеевича Лавочкина, ни Аркадия Дмитриевича Швецова. Они уже не могут поведать эту быль — одну из удивительных историй, которыми так богата жизнь. Обоих уже нет, но живы, работают, умножают их наследие друзья, сподвижники, ученики. Кто из них откажется поделиться воспоминаниями о делах, о подвиге ушедших? Бережно восстановить образы скончавшихся замечательных сынов советской родины — это тоже одна из задач «Кабинета мемуаров».

Здесь хочется остановиться хотя бы мельком еще на одной особенности предстоящего нам дела. Рассказчик, даже тот, кто мечтает раскрыть душу, бывает зачастую скован, как бы нем, не находит естественного тона, живых слов, чтобы вольно и ярко выложить пережитое. Молодой литератор,— мне уже он видится, этот «беседчик» нового набора,— тоже нередко за своим письменным столом мучается немотой, слабо знает жизнь, не находит убеждающих подробностей, простых и сильных слов. Но случается чудо, сходное с тем, о котором мы знаем из биографии Ла-

вочкина и Швецова, двух конструкторов, оказавшихся на каком-то перегоне как бы предназначенными один для другого.

Многие стенограммы горьковского «Кабинета мемуаров» являли собой порой небольшое, иногда значительное подобное же чудо: рождалась запись — плод усилий «беседчика» и бывалого человека. Можно было бы еще немало написать о технологии, которая вырабатывалась для таких чудес. Нам предстоит терпеливо, упорно этому учиться в новом, воскрешенном «Кабинете»

* * *

Накануне девяностой годовщины со дня рождения В. И. Ленина газета «Известия» опубликовала фотоснимок интереснейшего, найденного в архиве документа. Четким, чуть ли не каллиграфическим почерком были выведены заглавные слова: «Коммунистический вексель». Столь же разборчивой оказалась и подпись: «Директор-распорядитель «Югостали» Иван Иванович Межлаук».

При взгляде на снимок мне мгновенно вспомнилось: я, посланец «Кабинета мемуаров», с жадным вниманием выслушиваю, записываю рассказ Ивана Ивановича Межлаука. В ту пору, в 1936 году, когда раз или два в месяц я приходил к нему, он (вижу и сейчас его всегда бледноватое точеное тонкое лицо), сын учителя латинского языка и сам по дореволюционной профессии учитель-латинист, был заместителем управляющего делами Совета Народных Комиссаров. Наши встречи он называл «философскими субботами».

...Иван Иванович рассказывал мне, как пришел к Ленину с просьбой утвердить решение президиума Высшего Совета Народного Хозяйства об ассигновании только что организованному тресту «Югосталь» нескольких миллионов золотых рублей. Директор-распорядитель представил все свои расчеты, развернул увлекательный план восстановления южной металлургии. Подумав, Владимир Ильич сказал:

— Пишите вексель. Коммунистический вексель.

Межлаук достал свой блокнот (еще с грифом ликвидированного революцией Русско-бельгийского металлургического общества) и, тщательно выводя каждую букву, выдал обязательство сроком на один год: «...повинен я, по получении определенных Югостали оборотных средств, предста-

вить Владимиру Ильичу Ульянову (Ленину) с Петровских, Макеевских и Юзовских заводов 6 000 000 пудов чугуна и 4 000 000 пудов катаного металла, а всего 10 000 000 пудов черного металла».

Интересна дальнейшая история этого «коммунистического векселя». Иван Иванович Межлаук увлекся, размахнулся, повел восстановление слишком широким фронтом и... сорвался. Был на время сорван и трудный шаг металлургии Юга, едва поднимавшейся из омертвления. Уже задутые доменные печи пришлось снова тушить. Новая встреча с Ильичем. Ленин потребовал отчета. Урок был жестоким, хотя Владимир Ильич и не лишил молодого директора своего доверия... Иван Иванович повествовал обо всем этом с привлекательной мужественной прямотой.

Мы, советские писатели, тоже в свое время выдали «коммунистический вексель»: обязались собрать, сохранить драгоценные свидетельства — рассказы современников, обязались выпустить серию томов «Люди двух пятилеток».

Наш вексель не погашен. Возьмемся же теперь за оплату своего долга. Вкладывая в эту работу пламень сердца, не забудем о деловитости, которую заповедал Ленин. Надо собрать все, что уберегли годы в сокровищнице горьковского «Кабинета». И не только там. Богатым собранием стенограмм располагала редакция газеты«За индустриализацию». Интереснейшие записи хранились в редакции газеты «Гудок», где готовился сборник «Люди железнодорожной державы». Немало стенограмм могут разыскать писатели в своих архивах. Существуют и неопубликованные воспоминания некоторых, ныне покойных, выдающихся людей, например, мемуары и обширные дневники академика Ивана Павловича Бардина, неизданные главы записок «отца русской металлургии» Михаила Александровича Павлова и так далее. Думается, если новый «Кабинет» завоюет доверие,— это приходит не сразу и не само собой,— к нему отовсюду потекут бесценные человеческие документы.

И, наконец, самое главное: возьмемся за новые записи.

Пусть в особенности ощутят наше внимание старые большевики, участники Октябрьского переворота и боев гражданской войны. Столь же любовно мы обязаны записать воспоминания и тех, кто в солдатской шинели — солдатами с гордостью зовут себя и маршалы и рядовые бойцы — прошел дорогу испытаний и побед Великой Отечест-

венной войны, дорогу, что вовек останется немеркнущей.

Собрание стенограмм, а также дневников и, возможно, писем станет предметом изучения для историков.

Не меньшее значение оно, это собрание, будет иметь и для писателей, поможет освободиться от некоторого однообразия героев и сюжетов, чем страдают многие из нас, познакомит с новыми, как вечно нова жизнь, драматическими поворотами, неожиданными столкновениями, цельными характерами, порожденными революционной эпохой.

1960—1967

СЛОВО ИЛЬИЧА

«Исследовать, изучить, отыскать, угадать, схватить...» Эти слова невольно воспринимаешь как программу работы литератора. Надо ли говорить, кому они принадлежат? Думается, читатель сразу узнал характерную манеру Ленина, его точный, выразительный словарь, нарастающую энергию его фразы.

Должен признаться: иногда меня тянет взяться за статью, которую я хотел бы озаглавить: «Ленин как литератор». Возможно, когда-нибудь я сочту себя в должной мере подготовленным для такого выступления. А пока отважусь поделиться некоторыми впечатлениями от общения с Лениным-писателем.

«Профессия: литератор», «профессия: журналист» — такую строку мы найдем в нескольких анкетах, которые заполнил Владимир Ильич. Его прекрасной профессиональной чертой была любовь к гибкому, богатому родному языку, к русскому меткому слову. Известно, с каким уважением он говорил о Дале, подвижнике — собирателе слов. Известно, с какой поразительной настойчивостью Ленин, глава Советского государства, насчитывающего лишь дватри года жизни, еще дерущегося на фронтах, переживающего отчаянную разруху, заботился о том, чтобы Наркомпрос, лучшие филологи дали бы, составили бы для широчайшего пользования новый «Словарь современного русского языка». Известны исполненные негодования, злости выступления Ленина против порчи русской речи, язвительный подзаголовок его заметки, написанной в защиту чистоты языка,— «Размышления на досуге, т. е. при слушании речей на собраниях».

Однако присмотримся, прислушаемся к языку самого Ленина. Разве мы у него не встретим слов иностранного происхождения? Конечно, встретим. Более того. Можно утверждать, что без слов такого рода, составляющих заметную, сильную струю в сочинениях Ленина, был бы немыслим, невозможен его своеобразный литературный стиль.

Возьмем наудачу один-два примера.

В России «...власть народ отдал буржуазии по темноте, косности, по привычке терпеть палку, по традиции» (апрель, 1917 г.).

Традиция... Пусть это слово латинского корня. Но разве оно не на месте в этой фразе, столь характерной по манере, что автора не спутаешь ни с кем?

Или:

«...ну, а вы кто? Апологеты парламентской обструкции, того, что называлось раньше кляузничеством» (ноябрь, 1917 г.).

Это тоже характернейший ленинский оборот речи. Не чуждаясь таких слов, как «апологет», «парламентский», «обструкция», Ленин тут же находит превосходное емкое русское выражение, посредством которого не только поясняет, но и насыщает новым смыслом, поворачивает свежими гранями привычные политические обозначения.

Ленин-литератор (его не отделишь от Ленина-оратора) любил этот прием: прояснить, приблизить иностранное слово посредством соседствующего русского или, чаще, целого ряда русских. «Рутина»,— пишет он и тут же, через запятую, добавляет: «заскорузлость». Или в другом месте: «Это довод рутины, довод спячки, довод косности». Еще пример: «саботируют» — и тотчас в скобках: «портят, останавливают, подрывают, тормозят».

Вдумаемся, мог ли Ленин, вождь угнетенных всего света, с головы до пят революционный интернационалист, отказаться от слов, которые стали обиходной терминологией в научном социализме, в международном рабочем движении? Даже самые главные, так сказать краеугольные, слова в сочинениях Ленина — коммунизм, социализм, революция, пролетариат, буржуазия, класс, демократия, диктатура, нация, интернационал, эксплуатация, кризис, программа, идеология, партия, дисциплина и множество, множество иных — пришли к нам из Европы, пришли вместе с марксизмом.

О чем бы Ленин ни заговорил, за каждой его фразой, абзацем, страницей чувствуется несокрушимый фундамент — марксизм. Кстати вспомним, с каким упорством Владимир Ильич добивался понимания, что марксизм наследует, перерабатывает, развивает все завоевания человеческой мысли и культуры. Слово Ленина, несомненно, впитало в себя все эти завоевания.

И вместе с тем в стиль Ленина непрестанно врывается как бы иная речевая струя. Слово служит Ленину прежде всего для того, чтобы выразить, схватить бег жизни, ее реальное неповторимое содержание, ее новизну,— новизну, о которой еще ничего не сказано ни в одной книге. «Даже Маркс не догадался написать ни одного слова по этому поводу...»,— не раз говаривал Ленин, направляя свою иронию против тех, кто довольствовался словами-абстракциями, заученными формулами, бесспорными вчера и устарелыми, мертвыми сегодня. Он терпеливо, на всякие лады разъяснял, что «Подменять конкретное абстрактным один из самых главных грехов, самых опасных грехов в революции».

Воюя против тех, кто «...приносит в жертву живой марксизм мертвой букве», Ленин приводил — и не однажды — полюбившееся ему изречение Гёте: «Теория, друг мой, сера, но зелено вечное дерево жизни».

«История вообще, история революций в частности,— писал Владимир Ильич,— всегда богаче содержанием, разнообразнее, разностороннее, живее, «хитрее», чем воображают самые лучшие партии, самые сознательные авангарды наиболее передовых классов. Это и понятно, ибо самые лучшие авангарды выражают сознание, волю, страсть, фантазию десятков тысяч, а революцию осуществляют, в момент особого подъема и напряжения всех человеческих способностей, сознание, воля, страсть, фантазия десятков миллионов, подхлестываемых самой острой борьбой классов».

Где же взять слова, пригодные для того, чтобы характеризовать вечно новую, вечно зеленеющую жизнь? К какому источнику прильнуть, чтобы выбор речений, оборотов, слов был бы хоть приблизительно столь же богатым, живым, как богата, жива, разнообразна, «хитра» история? Этот источник — глубочайшие пласты родного языка, вся в совокупности литературная и отнюдь от нее не отгороженная народная русская речь.

Ленин владел этим богатством, черпал и черпал из этого источника. Вспомним знаменитое ленинское «гвоздь вопроса», или «звено, за которое надо ухватиться», или такие введенные им в политический обиход выражения, как «уклон», «смычка» и т. д. Можно наугад раскрыть любой том Ленина и найти сочное, свежее, меткое русское слово. Вот для примера две строки из письма С. И. Гусеву: «Надо лучших, *энергичнейших* комиссаров послать на юг, а не сонных тетерь» (сентябрь, 1919 г.).

Слова иностранного и русского корня, свободно и естественно связанные в языке Ленина, служат у него единой цели: смелому, точному, тонкому анализу жизни. И еще одна черта в высшей степени характерна для стиля Ленина: его фраза пронизана, заряжена энергией. Пользуясь своим излюбленным приемом, употребляя одно за другим близкие по смыслу слова, Ленин этим не только открывает и, так сказать, запечатлевает разные грани вопроса, факта, события, но и почти всегда вызывает к действию, подхлестывает, будит энергию. Ограничимся опять-таки лишь единственным примером. Дни Брестского мира. Ленин пишет о «...хаосе, безрукости, беспомощности, разгильдяйстве». И тут же продолжает: «Горький, обидный, тяжелый,— необходимый, полезный, благодетельный урок!» Ленинская резкая правдивость, ленинская страсть, энергия в каждой строчке!

Обратим внимание и на диалектический поворот фразы. Это тоже характернейшая черта ленинского стиля. Слово Ленина доводит до отчетливости, до нужной резкости противоречия, парадоксы жизни, которые Ильич умел замечать, открывать, как никто.

Стремление к правде, то есть к глубокому объективному познанию, пониманию жизни, и стремление к действию неразрывно связаны у Ленина. Он не уставал повторять, разъяснять требование, «которое предъявляет марксизм всякой серьезной политике, именно: чтобы в основе ее лежали, за основу ее брались *факты*, допускающие точную объективную проверку». Полемизируя с немецкими «левыми», Ленин писал, что они «...приняли *свое пожелание*, свое идейно-политическое отношение за объективную действительность. Это — самая опасная ошибка для революционеров». И, обращаясь к опыту России, продолжал: «В России, где сугубо дикий и свирепый гнет царизма особенно долго и в особенно разнообразных формах порождал ре-

волюционеров разных толков, революционеров удивительной преданности, энтузиазма, героизма, силы воли, в России эту ошибку революционеров мы особенно близко наблюдали, особенно внимательно изучали, особенно хорошо знаем...»

Думается, каждый из нас, литераторов,— и публицист, и художник — близко знаком по личному опыту с этой ошибкой, которая, по крайней мере отчасти, объясняется естественной трудностью проникновения в характер времени, трудностью открытия истины.

Как же Ленин избегал этой ошибки? Разумеется, схватывание истины — это его гений. Не напрасно он сам, рассуждая о познании, постижении жизни, употребляет и слово «угадать». Однако он отнюдь не полагается лишь на эту способность угадывания, на интуицию, озарение, талант. Он систематически разнообразными способами изучал и изучал жизнь, собирал факты, устанавливал истину, доступную объективной, то есть независимой от чьих-либо желаний, проверке. Ежедневная пресса, специальная литература, статистические сборники — все это анализирует, препарирует наметанный глаз Ленина, из всего этого как бы извлекается экстракт действительности. Ленин изучал и балансы акционерных компаний, и наказы крестьянским депутатам, и речи, письма, резолюции рабочих и солдат. И, жадный к живой жизни, встречался, беседовал с самыми разными людьми, познавал этим путем «реальную историю». «Вот та реальная история одиннадцатидневной войны.— Говорил он в дни Брестского мира.— Ее описали нам матросы, путиловцы, которых надо взять на съезд Советов. Пусть они расскажут правду».

Случалось, Ленин устраивал своеобразные летучие анкеты-опросы на совещаниях или съездах. Одна из таких составленных Лениным анкет была роздана незадолго до Брестского мира делегатам общеармейского съезда по демобилизации армии. В анкете — десять вопросов. Приведем лишь последний: «Если бы армия могла голосовать, высказалась ли бы она за немедленный мир на аннексионистских (потеря всех занятых областей) и экономически крайне трудных для России условиях или за крайнее напряжение сил для революционной войны, т. е. за отпор немцам?» Вопрос ясен и прям; его не назовешь наводящим. Ясна и цель анкеты — узнать фактическое положение, подойти к истине.

Поэтому-то, опираясь на факты, зная и понимая действительность, Ленин мог с чистой совестью, с неколебимой уверенностью утверждать в те дни: «Кто не хочет себя убаюкивать словами, декламацией, восклицаниями, тот не может не видеть, что «лозунг» революционной войны в феврале 1918 года есть пустейшая фраза, за которой ничего реального, объективного нет. Чувство, пожелание, негодование, возмущение — вот единственное *содержание* этого лозунга в данный момент».

Думается, я не впаду в преувеличение, утверждая, что мы, литераторы того направления, которое зовется социалистическим реализмом, усвоили — отчасти сознательно, отчасти еще неосознанно — многое из опыта, правил, традиций Ленина-писателя. Жаль, что в дискуссиях о методе социалистического реализма путь, опыт Ленина-публициста остается за пределами исследований и споров. Ведь социалистический реализм, ежели выразить это понятие на русском языке, есть, думается, не что иное, как ленинская правдивость.

Разумеется, говоря об опыте Ленина-литератора, мы должны избегать всякой натяжки. Разумеется, следует ясно понимать различие между публицистом и художником, различие даже в способах, приемах наблюдения, изучения жизни. И все же в самых крупных, определяющих чертах метод остается единым. Возможно, мне в какой-то мере удалось показать это в настоящей небольшой заметке.

Позволю себе закончить ее теми же словами, которыми она начата, девизом литератора: «Исследовать, изучить, отыскать, угадать, схватить...»

1960

КАК МЫ ПИШЕМ

(Ответы на анкету журнала «Вопросы литературы»)

1. В каком возрасте Вы начали писать и с какого времени считаете себя профессиональным литератором?

С шестнадцати лет начал работать в дивизионной газете — правил заметки, писал передовые и всякие иные статьи в маленьком фронтовом листке, именовавшемся «Известия Подива Н».

В двадцать два года стал литературным критиком.

И наконец лишь в тридцать лет написал первое художественное произведение — повесть «Курако». Имен-

но с этого года — с 1933-го — могу считать себя профессиональным писателем-прозаиком.

2. Когда Вы начинаете свой рабочий день? Как он строится? Сколько времени Вы проводите за письменным столом? Пишите ли от руки или на машинке?

Рабочий день начинаю в десять часов утра. Сижу за письменным столом до двух, затем (если не мешает суета сует) работаю еще два часа вечером.

Раньше всегда писал от руки (вчерне карандашом, набело пером), теперь, вот уже года два, прибегаю к помощи машинки. И привык уже к ней.

3. Как Вы относитесь к писательскому блокноту, записной книжке, дневнику? Считаете ли Вы эти вещи нужными или достаточно того, что Вам придет в голову в самом процессе творчества?

Пользуюсь не только записными книжками, но и (да будет мне прощена неуклюжесть выражения) «записными чемоданами» и даже «записными шкафами». О такого рода технике писательской работы не могу здесь распространяться. Скажу лишь, что усвоил ее с тех времен, когда работал в «Истории заводов» и в «Кабинете мемуаров», который, как и «История заводов», тоже принадлежит к литературным начинаниям А. М. Горького. Поныне верен этой технике.

4. Как известно, работая над своими романами, Золя заводил «личное дело» на каждого героя, не говоря уже о том, что вырабатывал точнейший план всей вещи. Как поступаете Вы? Есть ли у Вас план книги в целом, планы глав, эпизодов? Или вещь создается в процессе творчества, т. е. герои, становясь «живыми», поступают сообразно своим характерам и убеждениям?

В качестве основы для каждой своей вещи беру историю, действительно случившуюся в жизни. Такая история определяет план произведения. Характеры героев тоже пишу с натуры, досконально изучая, исследуя реальные человеческие судьбы. Свободу писателя-художника обретаю лишь после такого изучения и не стесняюсь тогда строить воображаемые, вымышленные сцены, в которых стремлюсь острее и ярче пересказать историю, уже как бы прочитанную мною в жизни. Тут в творческой работе, разумеется, вступают в действие законы искусства, таин-

ства художества. Замечу, что этим таинствам посвящена, например, книга Горчакова «Режиссерские уроки Станиславского». Очень люблю эту книгу и стараюсь писать «по Станиславскому».

Возвращаясь к вопросу о создании образа-характера, скажу, что такой образ окончательно проясняется, создается лишь в процессе работы или, фигурально выражаясь, под пером.

5. *Как, по Вашему мнению, советский писатель может и должен использовать наследие классической русской литературы и литературы мировой?*

Великие писатели прошлого и великие критики (я имею в виду прежде всего Белинского) — разумеется, наши учителя.

Мечтаю иметь у себя на полке девяностотомное собрание Льва Толстого. Это собрание — повторю слова одного моего друга — высшие литературные курсы для современного писателя.

6. *Как пользуетесь Вы народными богатствами речи и языка — тем, что называется фольклором — загадкой, пословицей, сказкой, языковыми особенностями?*

Всегда приобретаю сборники пословиц, разные книги о крылатых и метких речениях. Очень люблю толковый словарь Даля. Постоянно им пользуюсь в работе. Один комплект уже истрепан, куплен другой. Намереваюсь когда-нибудь написать статью о том, что дает писателю этот словарь.

7. *Как Вы относитесь к помощи одного писателя другому? Считаете ли Вы возможным «совать нос», по выражению Горького, в рукопись товарища? Как Вы помогаете молодым?*

Читать друг другу свои рукописи — это, по-моему, необходимое дело для писателей.

Молодым помогаю лишь от случая к случаю, главным образом разбирая их рукописи по поручению издательства «Советский писатель». Ради точности (и однако с некоторой неловкостью) обязан добавить, что одного писателя я все же воспитал. Это Наталия Лойко — автор книг «Ася находит семью», «Женька-Наоборот» и мой соавтор по роману «Молодые люди». Поясню фразу о неловкости: речь идет о моей жене.

8. *Следует ли считать необходимым соответствие между творчеством писателя, т. е. высказанными для народа мыслями, и личным его поведением?*

Об этом хорошо сказал Александр Твардовский на XXII съезде партии: «В искусстве, как и в любви, невозможно притворяться».

9. *Что нового внес XXII съезд КПСС в Ваше личное понимание писательского долга?*

После XXII съезда пишется свободней и смелей.

10. *Ваши ближайшие творческие планы?*

Работаю над большим романом о советских металлургах. Все «записные чемоданы» и «записные шкафы», собранные в течение тридцати лет моей писательской жизни, идут в дело.

Декабрь 1961

О КНИГЕ СОЛДАТА

Итак, еще один роман о второй мировой войне? С некоторым недоверием я раскрыл рукопись. Однако уже с первых страниц она потянула к себе. Потянула и уже до конца не отпускала. А между тем я отношу себя к привередливым читателям — прошу извинения за эту сугубо личную подробность.

Впрочем, такая ли она уж личная? Все мы, люди разных возрастов, ныне составляющие читающую публику шестидесятых годов, много знаем, многое сами видели и пережили — любую книжную новинку мы открываем с предубеждением, как бы вопрошая автора: ну-ка, сумеешь ли ты рассказать нам правду о нашем трагическом и великом времени?

Свой исполненный горечи роман, будто несущий в себе грохот бомбежек, Дитер Нолль назвал «Приключения Вернера Хольта». В этом словечке «приключения» сквозит печальная и умная усмешка автора. Она проглядывает на многих страницах книги. Признаюсь, хочется порассуждать об этой вещи, выявить, определить некоторые секреты ее обаяния. Но нужно ли в данном случае предварять чтение подобными истолкованиями? Если читатель не разделит моего непосредственного восприятия, не ощутит, что при-

общился к таланту, к свежему, чистому источнику, забившему из недр жизни, никакие рассуждения не помогут.

Я, однако, убежден, что роман Дитера Нолля будет тепло встречен у нас. Кратко скажу все же о главной, на мой взгляд, его художественной особенности или — это будет, пожалуй, вернее — постараюсь изложить квинтэссенцию своего впечатления.

Читая роман Нолля, я вспоминал не только о войне, приходили и какие-то иные, вовсе не военные, ассоциации, сперва неотчетливые, слабые, потом все более настойчивые. Мысленно я спрашивал: что же мне напоминает эта вещь, к какой литературной традиции она примыкает? Долго я не мог этого схватить. И лишь в какую-то минуту ярко предстало: я, «беседчик» так называемого «Кабинета мемуаров», что был создан в тридцатых годах А. М. Горьким, чутко внимаю рассказам бывалых людей, которым нередко был присущ и замечательный дар повествования. Эти беседы — те, что являли собой исповедь, именно такими они в большинстве были,— волновали меня, доставляли некое особенное эстетическое наслаждение: я будто припадал к роднику жизни, будто читал книгу, которую писала сама жизнь.

Подобное же впечатление покоряющей непреложной достоверности производит и вещь Дитера Нолля. Порой кажется, что автор лишь живо излагает цепочку действительных случаев и событий. Но нет, профессиональным писательским взглядом замечаешь: вот прикосновение кисти мастера, один, другой «удар», как говорят живописцы,— и почерпнутые из жизни, не утерявшие ее вкуса и запаха злоключения одетого в военную шинель юноши немца вырастают в художественное произведение большой силы.

Я делаю некоторое усилие над собой, чтобы сказать об идее романа. Дело в том, что обычно предисловия, как правило, заранее раскрывают писательский замысел, к которому автор лишь постепенно подводит читателя. В книге Дитера Нолля задача идейного воздействия, идейного воспитания спрятана глубоко, как бы составляет его тайну. Мы прочитываем страницу за страницей, главу за главой, и перед нами предстает жизнь, рассказанная без малейшей назидательности. Движение идеи скрыто в потоке романа, и лишь последние страницы делают ее, эту глав-

ную мысль, совершенно ясной, как бы заново бросающей свой яркий свет на всю только что прочитанную книгу.

Немногие писатели владеют подобным искусством. Во всяком случае, сила воздействия этой книги несомненно велика. Роман написан немцем, который всем разумом, всем сердцем отвергает фашизм, поклонение войне, примыкает к походной колонне борцов, несущих над собою знамя Ленина.

Это немалая победа — появление нового художественно сильного произведения о минувшей жестокой войне, произведения, созданного одним из ее участников, тем, кто вышел из глубин немецкого народа и решительно шагнул в лагерь социализма.

В большом искусстве всегда так или иначе выражаются общественные сдвиги. Свидетельством подобных сдвигов в жизни немецкого народа можно смело считать «Приключения Вернера Хольта».

Мне не доводилось встречаться с ДитеромНоллем. Поэтому я не могу дать его портрета. Когда-то его и меня, советского писателя, рядового Красной Армии, разделял фронт, мы с оружием в руках стояли друг против друга, а теперь... Теперь я горячо обнимаю молодого талантливого писателя, союзника и собрата в идейной борьбе.

<1962>

«ДОКТОР ПАУСТ»

Записки, с которыми я решаюсь познакомить читателя, относятся к весне 1960 года. Несколько недель я прожил в Ялте, в Доме творчества писателей, бок о бок с Константином Георгиевичем. И завел тетрадь, которую впоследствии озаглавил «Месяц с Паустовским». Без дальних предисловий даю отрывки из этой тетради.

* * *

Время от времени, что называется, к слову, неторопливо, не повышая голоса, он рассказывает всякие случаи. Рассказчик божьей милостью. Богат, щедр. Нередко кажется, что он повествует о какой-то нездешней, удивительной земле, не той, на которой мы живем.

* * *

Ночью дул норд-ост. Утром заговорили о городе нордостов — Новороссийске. И, конечно, Паустовский стал рассказывать. Там ветер скатывается с гор, дует вот отсюда (на листке бумаги появляется чертеж — залив, город, стрелка: направление ветра), поднимает густую водяную пыль, несет ее в город, залепляет льдом дома — двери, стекла, печные трубы,— и в домах люди замерзают. А на мостовой на каждом булыжнике нарастают сталактиты и поднимаются вот такими иглами, в рост человека.

Боже, какая фантастическая у него страна! И сам он верит, думается, во все это. И вот что еще поразительно: точность и фантазия соединены в его рассказах.

Он очень много знает. Зашел спор о каком-то растении. Обратились к Паустовскому. Немедленно последовала точная справка и о названии, о свойствах, и т. д.

В другой раз:

— Константин Георгиевич, посмотрите — расцвели тюльпаны.

— Нет, это не тюльпаны. Они, правда, похожи, но у тюльпанов другой лист.

Его определения ярки, точны:

— Кипарисы серые, как слоновая кожа.

* * *

Наблюдательность Паустовского. Он шел между столиками впереди меня. Не оглядывался и все же сказал:

— Вы сначала посмотрели в ее тарелку, а потом с ней заговорили.

Черт возьми, как же он сумел заметить? И это при страшной близорукости — десять диоптрий.

У него близорукость увеличивается и иногда появляются какие-то цветные шарики перед глазами, а когда устает — серый кот у ног.

* * *

Приходя к завтраку в столовую, Паустовский захватывает по пути адресованную ему почту. Иной раз это целая кипа — книги, письма читателей.

Кстати отмечу, он как-то сказал:

— У меня занята письмами целая комната, можно было бы сделать книгу из самых интересных писем.

Кто-то прислал ему давнюю фотографию: несколько писателей в Малеевке у бильярда. Рассматриваем вместе. Константин Георгиевич говорит:

— Помните, как мы познакомились в Малеевке в тысяча девятьсот тридцать третьем году? Я после тифа был худой (действительно, на фотографии он маленький, худой, в кепочке,— ну совсем мальчик). Помните, бильярд стоял на террасе. Как дождь, так сукно в воде. Бьешь, а от борта брызжет вода.

Слушаю с улыбкой. Признаться, я брызг не запомнил. Но таков Паустовский: брызги уже дорисованы его фантазией.

* * *

Манера Паустовского-рассказчика: сначала невнятный, глухой голос, слов почти не разобрать, потом он оживляется, глаза блестят лукаво, слышно ясней.

Как-то сказал:

— Теперь говорю короткими фразами: астма.

Когда рассказывает, сразу молодеет.

Кто-то здесь его сфотографировал. Он посмотрел на это фото, произнес:

— Дед-пасечник что-то рассказывает.

* * *

И вместе с тем он — гражданин мира. Всегда на его столе «Юманите». Это для него важно.

Здесь же, на столе Паустовского, обливной глиняный буйвол. Наклон головы — мощь. Это не подарок, он купил сам, понравилась эта вещица. И рядом глиняный барашек на расставленных, словно расползающихся ножках. Беспомощность, незащищенность и рядом — мощь.

* * *

Его суть — зоркость и выдумка. Но выдумка реалистична. Огромное знание и на этой основе выдумка.

Клочок разговора.

Семен Гехт:

— Вот я поймал ту секунду, когда к правде прибавляется выдумка.

Я:

— Такая секунда бывает и у Паустовского.

Паустовский:

— Да, бывает.— Помолчав.— И если уж сорвешься, то не остановишься.

* * *

Индюк — одно из выражений Паустовского. Это о тех, кто чванливы и глупы, как индюки.

* * *

Вечер проводов «Доктора Пауста» (такое прозвание ему дал Казакевич). Устная анкета.

— Константин Георгиевич, какое качество в человеке вы больше всего цените?

— Деликатность.

— То же о писателе?

— Верность себе и дерзость.

— Какое качество находите самым отвратительным?

— Индюк.

— А у писателя?

— Подлость. Торговля своим талантом.

— Какой недостаток считаете простительным?

— Чрезмерное воображение.

— Напутствие-афоризм молодому писателю?

— «Останься прост, беседуя с царями. Останься честен, говоря с толпой».

* * *

Не напрасно читатели всех возрастов так любят Константина Паустовского — тонкого, сильного художника, обаятельного человека, в каждом произведении которого живет зов к будущему.

1962

Гроб с телом Казакевича взяли на плечи молодые писатели, медленно вынесли из Центрального дома литераторов, столько повидавшего. Молодежь как бы сказала: мы — Ваши продолжатели, прекраснейший, честнейший писатель-коммунист, мы берем на свои плечи то, чего Вы, Эммануил Генрихович, не довершили. Таким было это высокое, трогающее душу признание.

Вспоминаю последнюю встречу с Казакевичем почти накануне его смертного часа. Измученный тяжкой болезнью, он произнес:

— Устал. Зверски устал.

Он уже угасал, уходил из жизни. Что еще могло его интересовать? Я заговорил о его повести «Двое в степи», которую тогда только что перечел, о своих впечатлениях читателя. Оживились его смертно усталые глаза. Смягчилась горькая складка губ, раньше таких жизнелюбивых, всегда готовых улыбнуться, губ, уголки которых болезнь оттянула вниз. Он и теперь слабо улыбнулся, живо слушал, сам с неожиданной горячностью высказался о своем детище.

До самого конца, до последней минуты в умирающем продолжала теплиться свойственная истинному художнику любовь к делу своей жизни, к миру, что он сотворил, неповторимо по-своему воспроизвел, заключенному в обложки его книг. И еще более — к тем своим созданиям, которые еще не были закончены, требовали от него: «Живи, живи!», теснились за этим его выпуклым, высоким, необыкновенно красивым лбом.

Перо Казакевича-писателя было наделено волшебным свойством: без малейшей натяжки, фальши, сладости он умел воссоздавать безупречно хороших, самоотверженных, добрых, верных долгу людей,— людей, что по праву зовутся советскими, несут в душах ленинскую искорку, взращенных нашей великой революцией, партией, к которой принадлежал Казакевич.

Возьмите его сборник «Повести». Там развертываются драмы и трагедии войны, но, если не ошибаюсь, нет отри-

цательных типов. Каждое лицо написано автором с любовью или хотя бы с теплотой.

И каждое как бы просвечено насквозь не жгучим, нежным светом солнца,— таким же, как и то, что в сентябрьский день этого года проводило вместе с нами Казакевича в его невозвратный путь.

И вместе с тем Казакевичу был дан и иной дар: непримиримость. Моральный закон коммуниста: непримиримость к подлости, к несправедливости — владел его душой.

Мягкий и добрый, Казакевич беспощадно заклеймил в «Доме на площади» изменника, гнусного перебежчика в лагерь врагов своей страны...

И, наконец, последнее... Идеалом и глубочайшей любовью Эммануила Генриховича был образ Ленина. Всем известны посвященные Ильичу проникновенные произведения Казакевича.

Чтобы их написать, он в канун XX съезда партии, то есть шесть лет назад, стал перечитывать, изучать Ленина. И, как он мне говорил, прочитал, вооруженный карандашом, важнейшие ленинские произведения и, в особенности, что называется, от доски до доски все, что Владимир Ильич писал в годы революции.

Это тоже своего рода завет Эммануила Генриховича: читайте, изучайте Ленина, не жалейте на это времени и сил. Будьте до последнего дыхания верны Ленину, ленинской партии.

Сам Казакевич, тонкий, умный и нежный художник, всем своим творчеством, всей своей жизнью воплотил этот завет.

1962

О НИКОЛАЕ ЧУКОВСКОМ

— Николай Корнеевич, я в затруднении.

— Что такое?

— Меня просили написать о вашем литературном пути. Помогите, пожалуйста, мне в этом.

— Что ж, готов.

Мы сидим в знакомом мне кабинете Николая Чуковского. Я с нераскрытым покамест блокнотом пристроился к письменному столу. На столе лежат слегка отодвинутые в

сторону листки, испещренные почти без помарок крупным разгонистым почерком работяги-хозяина.

Одетый в домашнюю куртку, он расположился против меня на тахте. Вижу его обычную мягкую улыбку. Впрочем, сейчас она, эта улыбка, пожалуй, не совсем обычна: в ней проступает стесненность. Заядлый, закоренелый, уже поседевший литератор, выросший в литераторской семье, взявшийся за перо чуть ли не с четырнадцати или пятнадцати лет, Николай Корнеевич, как я улавливаю, скрывает смущение, вступая в разговор о своих созданиях, своих книгах.

Над тахтой висят несколько дорогих ему фотографий. Одна относится к тридцатым годам, там увековечены несколько молодых — и Николай Корнеевич в их числе — ленинградских литераторов; на другой сняты писатели в военно-морских кителях — участники обороны Ленинграда, среди них запечатлен и офицер Николай Чуковский.

Примыкающая к столу стена целиком выложена книгами. В простенке высится книжный шкаф. В нем хранятся разные издания собственных произведений Николая Корнеевича. Возле «Балтийского неба», много раз выпущенного на русском и на иностранных языках, выстроились экземпляры «Княжего угла» и «Ярославля». «Княжий угол» впервые появился в печати почти тридцать лет назад. «Ярославль» вышел на два года позже. А теперь они снова переизданы, снова живут. Хочется узнать, услышать от самого автора, в чем, по его мнению, разгадка такой прочности. Спрашиваю об этом.

— Э,— говорит Николай Корнеевич,— я учился писать на неудачах. Еще до «Княжьего угла» я написал два романа: «Юность» и «Слава». И не только написал,— опубликовал в журнале. Потом оба вышли отдельными изданиями. И все же эти вещи были плохими. Напечатаны, но не остались.

— Почему же?

В нашем разговоре двух профессионалов подобные прямые вопросы допустимы. Словно сотоварищи конструкторы, подвергающие разбору чертежи и опытные экземпляры, мы понимаем друг друга с полуслова.

— Шел не от жизни,— отвечает Николай Корнеевич.

И тотчас поправляет себя:

— Не совсем так. Вот, например, «Слава». Этот роман о Кронштадтском мятеже. Я был в Кронштадте накануне

мятежа. Потом изучил сборник документов. И все-таки ряд действующих лиц был взят не из жизни, а из литературы. В этом и заключалась слабость, неудача романа, хотя, повторяю, он был напечатан. Позднее я из него выделил кусок, известный теперь как рассказ «Март». «Март» — это отрывок из «Славы».

Далее Николай Корнеевич продолжает:

— А сколько я в те времена своего литературного ученичества написал рассказов. И опять-таки они печатались. Но уже захирели, не живы. Лишь единственный более или менее удачен — «Бродяга». Только его я теперь включаю в свои сборники.

— В чем же его живучесть?

— Тип взят из жизни. Эта, казалось бы, простая тайна мне далась не сразу.

Затем Николай Корнеевич по моей просьбе рассказывает о том, как писался роман «Княжий угол», известный и современному читателю. В романе речь идет о крахе антисоветского крестьянского восстания или так называемого «зеленого» движения. Почти весь 1921 год Николай Корнеевич прожил в одном из сел Псковской губернии, соприкоснулся там с «зелеными», близко наблюдал людей, которые стали впоследствии действующими лицами «Княжьего угла». Пособием для романа явился и сборник аб антоновщине. Чуковский почерпнул оттуда некоторые факты, драматические положения. Они естественно находили себе место в романе, хотя банды Антонова, как известно, действовали в другом углу России. Этот способ — наблюдение, изучение, сравнение — позволил Чуковскому выделить некоторые главные или существенные черты в исторически неизбежном крахе «зеленых» восстаний. Уже тогда молодой автор представал читателю, как социальный писатель, человек, с острым интересом к большим темам революции.

— В этом романе легко обнаружить слабости,— говорит Николай Корнеевич,— которыми я страдал и прежде.

Он бегло, в двух-трех фразах, разбирает несколько демоническую фигуру Алмазова, крупного деятеля партии эсеров, играющего не последнюю роль в «Княжьем углу». Рисуя Алмазова, автор имел в виду небезызвестного террориста Савинкова.

— Однако характер Савинкова,— продолжал Чуковский,— я представлял себе лишь по литературным источникам. И как бы привнес его из литературы. Видите, в дан-

ном случае я опять шел не от жизни. Но в целом все же совладал с материалом. Изложил в сценах романа реалистический революционный материал. Это была моя третья попытка. И впервые удалась.

— А ваш «Ярославль», как мне кажется, написан строже.

— Да, строже, точнее. Вся эта вещь сделана на основе моих записей. Я два раза ездил в Ярославль, опрашивал людей, записывал. Изучил судебный процесс Перхурова и других организаторов восстания. Изучил сборник документов, изданных Истпартом. Я же совсем не умею писать, если ни на что не опираюсь.

Далее Чуковский легко формулирует главную тему романа:

— В центре — участье рабочих в подавлении Ярославского мятежа.

Да, от романа к роману он вырастал, как писатель революции, как автор социальных полотен, где вступали в борьбу, действовали массы. Изучение жизни, точность, верность правде — такова была его школа.

— «Ярославль» остался,— продолжает Николай Корнеевич.— Не сочтите меня хвастуном, но думаю, что более полного и верного изложения фактов этого мятежа, пожалуй, не существует.

Беседа подходит к «Балтийскому небу». Разумеется, мне интересно, как писалась эта самая известная и покамест главная книга Николая Чуковского. Узнаю от него, что свободное, казалось бы, течение романа опять-таки строго подчинено наблюдению, изучению, исследованию реальности, суровой реальности войны. Николай Корнеевич был участником боевой жизни Третьего гвардейского авиационного истребительного полка, много месяцев провел бок о бок с летчиками и работниками аэродромного обслуживания, составил историю этого полка.

— Затем по черновикам истории,— говорит он,— написал роман. Почти все там взято с натуры.

— А вот эта эстонка, которая так запоминается?

— Тоже с натуры. И описана столовая, в которую я ходил. Придуманная фигура — один только Лунин.

— Как? Лунин написан без прототипа?

— Да. Кое-что взял от себя, кое-что пришло как-то само. Потом я над этим раздумывал, увидел здесь для себя новую дорогу. Документальному способу я же не присягал.

Если богат впечатлениями жизни, то... Впрочем, об этом не будем толковать. На своем новом пути я почти ничего еще не сделал.

И Чуковский возвращается к «Балтийскому небу».

— В «Балтийское небо»,— говорит он,— я включил несколько эпизодов из жизни других полков. Меня иногда упрекали: «этого же не было в нашем полку». Но к эпизодам, которые случались в других полках, я прибегал лишь для того, чтобы более отчетливо выразить собственную мысль. Мысли по поводу фактов — вот что у меня принимало форму романа. И освобождаясь теперь от документальности...

Николай Корнеевич вновь обрывает себя. Видно, что и его тянет поговорить о своей новой, кажется, лишь недавно начатой, работе и вместе с тем он не позволяет себе этого.

Придерживаясь хронологической последовательности, мы касаемся повести «Последняя командировка».

— Это тоже невыдуманная история,— сообщает Чуковский.— В самом конце войны я был командирован в Берлин. И описал эту командировку. Немка нарисована с натуры. Шарлотта Фенске — так ее и звали. Главная мысль этой вещи: для Германии нет иного пути, иного выхода, кроме социализма. И еще вот что: фашизм — это результат поражения немецкой пролетарской революции 1918 года.

Я слушаю Николая Корнеевича, своего давнего друга, и как-то заново, более ясно ощущаю значение мысли, сверлящей мысли в его книгах. Спрашиваю об «Аэродромных рассказах».

— По существу, это эскизы к «Балтийскому небу»,— отвечает Чуковский.— Все они тоже написаны по записям, которые я вел в годы войны. Пожалуй, можно выделить лишь рассказ «Суд». Он с одной стороны как бы подытоживает эту группу рассказов, а с другой стороны...— Николай Корнеевич запинается, явственней проглядывает его смущение: — С другой стороны этот рассказ уже означает для меня преодоление документальной манеры, выход к чему-то иному.

Он не хочет расписывать свои литературные планы,— кто знает, ведь каждого из нас может постигнуть неудача,— но все же сообщает кое-что о вещи, над которой трудится. Это будет роман, который охватит большой отрезок

времени, несколько десятилетий революции, а сам по размеру будет небольшим. История одной судьбы. Жизнь одной женщины от рождения и до наших дней. Новые рассказы Чуковского, например «Последний разговор», напечатанный в «Литературной газете», являются поисками нового для Николая Корнеевича, вольного, не стесненного документальностью стиля и как бы пристрелкой для романа. Возможно, Николай Чуковский на новой основе возвращается к себе, молодому и, обогащенный, нагруженный впечатлениями жизни, вверяется воображению. Прежняя слабость становится его нынешней силой. Впрочем, это лишь мои домыслы. Обдумывая услышанное, я произношу:

— Вы, Николай Корнеевич, настоящий военный писатель. Ваша тема — война и война.

Он меня мягко поправляет:

— Моя тема — революция. Всю жизнь писал только об этом.

Что же, пожалуй, не найдется лучших слов, чтобы завершить эту заметку.

1963

КНИГИ ЖИЗНИ

В искусстве прекрасно характерное, говорил Роден.

«Площадка Кузнецкстроя»... Это выражение для меня поныне привлекательно исторической характерностью, привкусом, колоритом времени — того времени, с которым связаны мои первые шаги писателя-прозаика.

1932 год. Бригада литераторов. Обязательство написать книгу «История Кузнецкстроя». Командировка. И вот мы на площадке.

Обойдусь в этом кратком слове без индустриального пейзажа. Илья Григорьевич Эренбург, который тоже оказался тогда в этой кузнецкой котловине,— он, кстати сказать, литературных бригад не признавал,— угостив нас коньяком, сдабривая разговор иронией, обронил:

— Не ради домен сюда стоило махнуть. Доменные печи можно разглядывать и в Италии.

Не однажды впоследствии я раздумывал над этими его словами. Он был, по-моему, и прав и неправ.

Здесь, в центре Сибири, у берегов Томи и впадающей в нее речушки Абушки, мы могли видеть сгусток, средото-

чие нового мира. Это был прежде всего новый мир в большом, широком смысле слова — мир нашей революции, которая взрастила, сформировала и меня, успевшего поработать в дивизионной газете в гражданскую войну,— «новая земля», как озаглавил Эммануил Казакевич свой последний, незавершенный роман, ее привычный, напоенный порывом в будущее воздух, ее противоречия, ее страсти, родная мне среда.

Но постепенно, изо дня в день, из недели в неделю, мне открывался на площадке Кузнецкстроя и еще один ранее неведомый, некий, так сказать, более узкий новый мир.

Это круг металлургов или, еще суживая, доменщиков. Горновые, механики, мастера, инженеры. Люди, одержимые особенным влечением, о котором, должен сознаться, я не имел понятия, наделенные удивительной привязанностью к своему доменному делу, к башням-печам, выплавляющим черный металл.

Профессия — вот страсть этих людей, источник захватывающего творчества, трагедий или острого счастья, раздоров и единения в некоей, никакими актами не узаконенной «республике доменщиков». Да, такие фигуры, одушевленные профессией, творчеством в технике, и схожие между собой, и одновременно разнообразные, еще оставались тогда неизвестной или почти неизвестной страницей для нашей, а пожалуй, и мировой литературы.

Знакомясь с подобными людьми, жадно расспрашивая, трепетно слушая — о, как важно, чтобы этот скрытый трепет ощущался собеседником,— выпытывая множество подробностей, я как бы строка за строкой прочитывал книгу, таившуюся в самой жизни, содержавшую целый мир характеров, еще не тронутых ничьим пером.

Неудержимо потянуло пересказать эту книгу. Меня в особенности поразила, увлекла личность Ивана Павловича Бардина, неуемного или, по заводскому словцу, отчаянного доменщика, главного инженера Кузнецкстроя, в ту пору уже академика. Вижу и сейчас его нависшие над маленькими глазами сивые брови, слышу его буркающий голос. Преодолевая природную застенчивость, он исполняет долг перед историей — не только историей Кузнецкстроя,— повествует о пути, что он прошел. От него мы впервые узнали про Михаила Константиновича Курако, о котором тогда существовали лишь изустные предания, а в печати еще ни строки.

В облике Курако, этого легендарного горнового и затем начальника доменных цехов, конструктора печей и вместе с тем участника революционных выступлений, организатора боевых дружин и забастовок, побывавшего в политической ссылке, сторонника советской власти, умершего в 1920 году в том самом Кузнецке, где он с молодыми помощниками проектировал будущий Кузнецкий завод,— в облике Курако для меня как бы соединились обширный, давно свой мир революции и другой, лишь тут, на площадке, мне отверзшийся, новый в потоке литературы мир профессии.

О Курако я написал свою первую повесть. Потом еще и еще трудился над образами металлургов, врубался в этот пласт, приносил читателю отколотые и как-то мною выделанные небольшие куски.

Жилка, которую посчастливилось тронуть и мне,— жилка профессии — все богаче, все рельефней проступает в литературе. И не только в нашей. По-видимому, это явление мировое. Тут хочется назвать Сент-Экзюпери, прекрасно запечатлевшего поэзию работы летчика. Невольно на ум приходит и имя его собрата по штурвалу, по приборной доске — нашего Марка Галлая.

Не буду умножать примеров. Скажу под конец, что ныне я снова возвратился в ту не обозначенную на карте республику, которой обязан своим писательским крещением,— в республику советских металлургов. Новый роман о них уже закончен. Читатель вскоре сможет произнести свой суд. Пишу следующий. Тоже исполняю свой долг перед теми, кто для меня дважды и трижды — новый мир.

<1967>

ГЕРОИ КНИГ — СОВРЕМЕННИКИ

Сейчас я пишу повесть, которую условно называю «Двадцатые годы»,— о последних годах жизни Владимира Ильича Ленина. В этом произведении будут действовать вымышленные герои и совершенно реальные личности, например Серго Орджоникидзе, который давно влечет меня и о котором я уже много писал.

Интерес к деятельности Владимира Ильича как главы Советского государства возник у меня очень давно. Я изу-

чил огромное количество документов Центрального партийного архива, работал в библиотеках Баку и Тбилиси — действие моей книги будет происходить и в этих местах,— беседовал со многими очевидцами событий тех лет. Сейчас значительная часть этой повести уже написана. Работаю с большим увлечением.

Кроме того, хочу продолжить «Почтовую прозу». Одну из ее частей решил назвать «Мои неудачи». Она будет относиться к 1938—1939 годам, когда я особенно заинтересовался современной рабочей темой. Надумал писать о знаменитой тогда семье металлургов Коробовых: об отце — старом обер-мастере и трех его сыновьях. Поехал в Макеевку, к главе семьи. Старый Коробов мне очень понравился непосредственностью и удивительной прямотой. Он был замечательный мастер, талант в своей области, самородок. Я понял, за что его так ценил Орджоникидзе. Старик самозабвенно любил доменные печи, понимал их и ревновал к сыновьям-инженерам, но в то же время гордился своими детьми.

Я по-настоящему увлекся этой семьей и написал книгу о доменщиках Коробовых. Но книга не получилась. Слишком много было умиления, это ее и испортило. Написал пьесу — она вышла слишком сухой и не годилась для сцены.

Но тема не давала мне покоя, и я попробовал сделать книгу от имени старика, который сам чрезвычайно интересно рассказывал. Так и назвал ее: «Рассказ доменного мастера». На этот раз получилось естественней, и книга вышла. Вот с какой трудностью приходят удачи и как непросто писать о рабочем классе. Обо всем этом я и думаю рассказать в продолжении «Почтовой прозы».

Надеюсь, что в этом году читатели познакомятся с моим новым романом под названием «На другой день».

<1970>

ПО СЛЕДУ ОТЦОВ

Читая новую повесть Анатолия Рыбакова, испытывая некую особую радость доверия к тому, о чем тебе рассказывают, уже перенесенный силою художества в разворачивающийся перед тобой мир,— вдруг близко к завершающим страницам ловишь себя на несогласии с автором, на

сопротивлении ему. И, сбрасывая власть автора, готов воскликнуть: «Куда он меня тянет? Хочет, чтобы и я, читатель, склонился перед сокрытием истины, признал законность этого? Нет, нет, не соглашусь!»

Заново перечитываю эти куски повествования, меня опять подхватывает глубоководное сильное течение, все же не сдаюсь, ищу возражений, пытаюсь обнаружить, поймать искусную подгонку обстоятельств, чрезмерное драматическое обострение. Но, черт побери, разве я против обострения? Разве не Л. Н. Толстой сказал: «Заострить художественное произведение, чтобы оно проникло»? И разве этому, чего ты сперва не принял, запрещено возникнуть в вихорьках и вихрях, превратностях, непредвиденностях жизни, уже четверть века мирной? Продолжаю вбирать строки и как бы со стороны подмечаю: писатель каким-то способом развеивает, рушит мое сопротивление, возвращает мне радость доверия, вновь покоряет, пленяет меня. И уже от души верю, соглашаюсь, когда герой повести — юноша Крош, чьими устами во многих главах ведется рассказ, заявляет: «Я не мог сказать ей правду, не мог, не мог, не мог».

Как же, какими путями Анатолий Рыбаков завоевывает душу читателя?

Пожалуй, автор не особенно заботится о том, с чего именно начать свое сказание. Никакой попытки сразу же пустить в ход пружину действия он не предпринимает. Его герой Сережа Крашенинников, прозванный Крошем, которого читатель уже знает по предшествующим книгам Рыбакова, теперь попросту кое-что сообщает о себе. «Я приехал в Корюков двадцатого августа, после заключительного экзамена, опять получив четверку. Стало очевидно, что в университет я не поступил». Крош ранен неудачей. «Мне стали неинтересны разговоры о папиной и маминой работе, о людях, про которых я слышал много лет, но ни разу не видел, о каком-то негодяе Крептюкове — фамилия, ненавистная мне с детства, я готов был задушить этого Крептюкова. Потом оказалось, что Крептюкова душить не следует, наоборот, надо защищать, его место может занять гораздо худший Крептюков. Конфликты на работе неизбежны, глупо все время говорить о них. Я вставал из-за стола и уходил. Это обижало стариков, но я ничего не мог поделать с собой». И далее: «...вдруг мне захотелось уйти из дому, забиться в какую-нибудь дыру. Может быть, я устал от экзаменов? Тяжело переживаю неудачу? Старики ни в

чем меня не упрекали, но я подвел, обманул их ожидания. Восемнадцать лет, а я все сидел на их шее. Мне стало стыдно просить даже на кино».

Казалось бы, перед нами будничность, обыденный случай: мальчик не попал в высшее учебное заведение. Еще ничто не предвещает водоворота событий, который захватит и Кроша и читателя. Однако непритязательное или, как говорится, без затей начало повести уже проделало некоторую существенную работу, нашло путь к сердцу. Думается, такая работа совершена интонацией. Тебя уже забрала раскованность внутреннего мира, свобода признаний, прямизна взглядов, прямизна мнения. В двух словах это — интонация личности. С таким ощущением, вероятно, еще безотчетным, читатель следует за юным героем.

И вот Крош — новичок-рабочий на дорожно-строительном участке. Асфальтовая трасса прокладывается через поля. Срезающий землю бульдозер негаданно натыкается на солдатскую могилу.

«В это время подъехал еще самосвал, из него вышел Воронов (начальник участка.— *А. Б.*), подошел к нам, нахмурился:

— Стоим?

Взгляд его остановился на могиле, на штакетнике, кто-то уже собрал его в кучку и положил сверху выцветшую звезду. На лице Воронова отразилось неудовольствие, он не любил задержек, а могила на дороге — это задержка... Он сказал Андрею:

— Обойди это место, завтра пришлю землекопов — перенесут могилу... Крашенинников! Поезжай в город поспрашивай, чья могила.

Я был поражен таким странным приказанием.

— У кого же я буду спрашивать?

— У кого? У местных жителей.

— А почему именно я?

— Потому что ты местный.

— Я не местный.

— Все равно, у тебя здесь дедушка, бабушка.

— Нет у меня бабушки, умерла...

— Тем более старые люди,— со странной логикой продолжал Воронов.— ...Найдешь хозяина, скажи: пусть забирают могилу, что надо, поможем, перевезем, а не найдешь хозяина, зайди с утра в военкомат... пусть пришлют представителя для вскрытия и переноса. Понял?..»

Этак, еще без единого патетического слова, взламывающего будничность, вступает тема Неизвестного солдата. И тут речь Кроша прерывается. Писатель без каких-либо дальнейших приуготовлений, со смелостью, которую тотчас принимаешь, вводит новую нить повествования.

...Сорок второй год. Пять военных шоферов — четверо рядовых и старшина Бокарев — гонят машины в ремонт. С первых же строк отлично вырисован Бокарев, человек командирской жилки, постоянно требовательный, несущий — не только по долгу, а словно по призванию — ответственность за каждого в своем отрядике. И опять автор предстает как бы мастером обыденных картин — на этот раз будней войны.

Бокарев «лихо приложил, потом отбросил руку от козырька фуражки...

— Позвольте обратиться с просьбой, товарищ капитан!

— Какая просьба?

— Товарищ капитан! Люди с передовой, с первого дня. Позвольте в город сходить, в баньке помыться, письма послать, купить кое-что по мелочи. Завтра вернемся, отработаем, очень просят люди...

— Идите! Завтра к вечеру быть здесь. Опоздание — самоволка».

И вновь слово передается Крошу. «Почему именно я должен ходить по домам и спрашивать, чей покойник на дороге?» В таком настроении Крош принимается за препорученную ему миссию. Но проходит немного дней, и Крош уже поглощен задачей узнать, открыть имя неизвестного солдата, совершившего, как выяснилось, воинский подвиг, разгромившего гранатами вражеский штаб в городке Корюкове. Крош уже занимается поисками с жаром, со страстью; он принадлежит к натурам, что нелегко разогреваются, но, воспылав, сохраняют упрямо, упорно высокое свое калепие. Препятствия лишь усиливают его энергию, устремленность. На работе с него взыскивают: «Кто тебя уполномочивал?» Он со свойственной ему прямотой, резкостью бросает: «Сам себя уполномочил!»

В какую-то минуту он задумывается: «Для чего же и для кого я ищу, для кого и для чего стараюсь, зачем влез в дело, которое ничего, кроме неприятностей, мне не доставляет? Сколько раз я уже зарекался ввязываться в какие-нибудь истории, «высовываться»! Нет! Я опять «высовываюсь». Зачем?.. И все же я не брошу этого дела, дове-

ду его до конца. Почему?.. Слишком много сил и времени потрачено, слишком много усилий сделано, осталась самая малость...— жаль бросать. И стыдно перед дедушкой. Он говорил об этом только тогда, когда я сам заговаривал, но я чувствовал его интерес не только к солдату, но и к самому тому факту, что я этим занимаюсь. Он это одобрял и был бы разочарован, если бы я это бросил... если я брошу дело Неизвестного солдата, он мне этого не простит».

Образ дедушки, тепло и точно выписанный, дедушки, который всю жизнь проработал на конезаводе, стал уважаемым человеком в городе, следовало бы особо разобрать, но надо поспешать, предстоит сказать еще о многом. Крош лишь нащупывает ответ на свои почему и зачем. Сам герой, впрочем, отнюдь не обязан определять собственный «стержень». Разгадку дает целостный облик героя. Докопаться, дойти до края, до корня, узнать и понять — таков крепнущий внутренний зов, обретенный пафос мужающего и мужествующего Кроша. Этим он как бы становится в шеренгу искателей, примыкает к передовым людям сегодняшней юности, у которой впереди большие свершения. Не будем забывать, что Крошу всего восемнадцать лет, он лишь находит себя, идет через малое к большому.

Уже и немногочисленный коллектив строителей дороги, каждый со своим лицом, своей оригинальностью, очерченный уверенной сильной рукой, подпирает его своим участием. Сотоварищи по житью в полевых вагончиках устраивают складчину, берут на себя добрую толику расходов, когда рьяный Крашенинников решает слетать в глубинку Красноярского края на родину старшины Бокарева.

И снова прямая речь Кроша сменяется другой струей повествования. Идут пятеро военных шоферов, получивших суточный отпуск. Встреча с вражескими мотоциклистами. Бой. Немецкая разведка перебита, но двое из пяти наших солдат тоже никогда больше не встанут. Еще один — Вакулин — серьезно ранен. Прикрытые сумерками, старшина Бокарев и пожилой, бывалый, не речистый солдат Краюшкин несут товарища к окраине города. Их подстерегает неожиданность — советские войска ушли из Корюкова, туда ночью входят немцы.

А в повесть вдруг вторгается как бы третья протока, третья стремнина, пролагающая свое русло вне рассказа Сережи Крашенинникова и вне картин войны. Автор без всяких ухищрений вводит эту третью стилевую нить, за-

просто к ней приступает: «Председатель сельсовета шел по широкой деревенской улице...»

Тут меня, признаюсь, взяла опаска: выдержит ли конструкция вещи еще новую эту перебивку, «пройдет» ли этакая стилевая беззаконность? Ей-ей, если мне будет позволено это сказать, я бы на такое вряд ли отважился. Однако, представьте, выдерживает, «проходит».

Итак, действие переброшено в далекое сибирское село. Мы впервые знакомимся с матерью старшины Бокарева. Эта фигура доживающей свой век русской крестьянки — одна из самых лучших, самых привлекательных в произведении. Трогает бескорыстие, смирение, истинное благородство женщины. Красок положено немного, но они верны, лишены привкуса сусальности, фальши, этим достигнут художественный эффект. Старушку поторопились осведомить — это сделано помимо Кроша,— что найдена могила ее сына. Она продает дом, убогое свое имущество, чтобы переселиться в Корюков и там отдать остаток своих дней уходу за могильным холмиком.

Однако строгий расследователь, рыцарь истины Крош неопровержимо устанавливает, что в могиле похоронен Краюшкин, а не Бокарев.

Повествование возвращается в сорок второй год. Писатель, которого мы было обозначили как мастера будничности, теперь выступает художником подвига. Участник великой войны Анатолий Рыбаков первый раз, если не ошибаемся, пишет о ратных делах, кладет собственное весомое, верное, чистое слово в тему воинского героизма. «Уйти без Вакулина старшина Бокарев не мог. Может, убили его немцы, может, умер у хозяина — рана у него была серьезная, может быть, в плен забрали, все равно он должен все знать о нем, не имеет права так бросить и уйти». Хочется мимоходом отметить, что почти теми же словами говорит о себе Крош: «...не брошу этого дела, доведу его до конца». И не обязанности службы заставляют так поступить, а нечто высшее — совесть, непреклонная власть долга. Вряд ли писатель сознательно руководствовался намерением вскрыть родственность характеров Бокарева и Кроша. Не исключено, что тут сработала стихия творчества. Но тем сильнее, возможно, это действует: они кровная родня, у обоих в крови — долг.

Нельзя бросить товарища и уйти. Бокарев ночью пробирается к Вакулину по улицам занятого врагом городка.

И в этом путешествии, что для него сделалось смертным, сталкивается с немцами. «Бокарев выстрелил... и бросился в переулок, но упал, раненный, немец дал по нему очередь. И уже лежа на земле и слыша вокруг себя свист пуль, он повернулся, вытащил гранату, размахнулся и кинул ее в машину. Взрыв, потрясший небо, было последнее, что услышал Бокарев».

А невидный пожилой Краюшкин, задетый шальной пулей, тоже обреченный на смерть, встречает ее не согнувшись, выпрямившись в рост. Думается, эти страницы особо впечатляющие в повести. Они написаны на высокой ноте, что пронзительно звучит, волнует, контрастируя с низковатой октавой зачина.

Мать Бокарева приезжает блюсти могилу сына. А что же Крош? Должен или не должен объявить ей правду, выложить, кто же в действительности здесь похоронен? Это драма совести, драма внутренней борьбы. И мы будто слышим его вскрик: «Не мог, не мог, не мог!» Не мог открыть матери правду. Повторяю, в какие-то секунды взметывается несогласие, однако логика художественной убедительности, сила писателя вновь берет в полон: да, таков юноша Крош, к которому мы успели привязаться, ему ведома не только страсть правдолюбца, но и человечность, бережность к чужой судьбе.

Крош отступил от правды, но этого не сделал художник. Правда искусства торжествует. В этом итог вещи.

У Анатолия Рыбакова за спиной немало хороших книг, читатель знает и любит его, но, пожалуй, «Неизвестный солдат» — самое сильное из его опубликованных произведений. Что ж, тем отрадней: работа вышла из-под пера в канун шестидесятилетия автора. Поздравим же писателя с его праздничной датой и с новой серьезной удачей.

1970

О ПРАВДЕ

Охотно откликаюсь на письмо Л. Финка. Оно взволновало меня, вызвало ряд мыслей. Поделюсь ими. Прошу извинить некоторую отрывочность моих заметок.

Я сказал: письмо взволновало. Да, вопрос о правде, о правдивости связан со всей нашей жизнью. И является,

пожалуй, главнейшим в профессии исследователя жизни, литератора. Творческие радости, боли, провалы — сужу и по себе — неотъемлемы от правды: удалось ли ее выразить?

Мне очень нравится приведенная в письме выдержка из коллективного труда «Ленинизм и диалектика общественного развития», изданного в 1970 году. Не откажу себе в удовольствии повторить этот призыв нести «всю полноту яркого света правды» (снимаю лишь прописную букву: понятие правды включает в себя будничную упорную непрестанную работу), призыв не подменять полноту правды «удобной для каждого случая полуправдой и четверть правдой».

Да, сколь я разумею, именно этого требует марксизм, требует Ленин. Думается, здесь окажутся к месту хрестоматийно известные сильные и точные строки Владимира Ильича: «...Необходимо брать не отдельные факты, а *всю совокупность* относящихся к рассматриваемому вопросу фактов, *без единого* исключения, ибо иначе неизбежно возникнет подозрение, и вполне законное подозрение, в том, что факты выбраны или подобраны произвольно, что вместо объективной связи и взаимозависимости исторических явлений в их целом преподносится «субъективная» стряпня для оправдания, может быть, грязного дела».

Хочется,— в этом стремлении я, наверное, не уступлю автору письма,— чтобы все мы, избравшие писательство своей профессией, а также и те, кто так или иначе оказывает воздействие на литературное дело (ныне говорится: литературный процесс), усвоили бы, приняли бы умом и сердцем, настойчиво и, конечно, не рассчитывая на легкие победы, воплощали бы ясные, не допускающие превратных толкований слова: полнота правды, вся совокупность, ни одного исключения.

Это настолько близко касается каждого из нас, что я рискну выдвинуть предложение: устроим творческую конференцию или хоть так называемый «круглый стол» с единственным пунктом в повестке: исследование действительности и литература. Впрочем, быть может, другая формулировка будет лучшей: литература и полнота правды.

Есть в письме Л. Финка утверждение, мимо которого нельзя молчком пройти. Вот оно: «Общеизвестно, что со-

крытие правды от врага — норма поведения советского человека».

Думается, такой тезис неточен, неверен. Конечно, революционер, схваченный охранкой, должен скрывать правду о своих связях, об организации, никого не выдавать. Пленный на допросе обязан не помогать правдой врагу. Да и в повседневности необходимо хранить и военную, и государственную, и партийную тайну.

Однако как только мы выходим из этих пределов, так сразу же фраза: «...Сокрытие правды от врага — норма поведения советского человека»,— становится ошибочной. И к тому же крайне опасной.

Можем ли мы, участники борьбы идей, исследователи жизни, принять, как говорится, двойную бухгалтерию; одно говорить врагу, а своим — другое? Не существует какой-либо глухой стены, пролегающей между врагом и многочисленными промежуточными, колеблющимися слоями общества, откуда неисчислимые нити ведут к тем, кто объемлется широким выражением: мы, наш стан. Обман идейного противника, сокрытие истины в борьбе с ним может обернуться, оборачивается обманом всех. А ведь именно правда, вся ее совокупность, правда в целом, охватывающая решительно все относящееся к вопросу факты без единого исключения,— это главное наше оружие, которому не знаю равных.

Кстати, скажу: полнота правды, рассматриваемая как обязанность, как долг, о чем писал Ленин, особенно притягательна, в частности, для художественной интеллигенции, неудержимо влечет реалистов-художников.

Полагаю, автор письма не будет настаивать на своей, верится, непродуманной,— что, впрочем, не делает ее менее опасной,— формуле.

Не могу обойтись еще без одного замечания общего характера.

Нам заповедано исследовать, постигать, воссоздавать правду в ее целостности. Однако практика осуществления этого завета или, напротив, отход от него на разных этапах нашей жизни тоже есть предмет объективного исследования. Ощущаем ли мы насущную нужду в таком анализе? Является ли ныне эта проблема живой, чувствительной в

в нашей работе, в нашей литературной повседневности? Или уже отошла в прошлое?

Недавно «Литературная газета» дала выступления с трибуны последнего писательского съезда, в частности и речь Е. Евтушенко. Вот несколько строк из этой речи:

«...Должен быть лишь запретный подход к темам, но не должно быть запретных тем. Факты умолчания в литературе о тех или иных кусках нашей истории или освещение этих фактов под тем или иным углом в зависимости от конъюнктуры на сегодняшний момент чревато последствиями, ибо литература — это эмоциональная информация и недостаточно информированный или дезинформированный читатель — это неполноценный член общества».

Ни один оратор, говоривший после Е. Евтушенко, не возразил — я опять пользуюсь публикацией «Литературной газеты» — против этих его слов о фактах умолчания.

Но такой безгласной поддержкой и удовлетворимся? Нет, вопрос слишком серьезен. Дело идет, я бы сказал, об анкерных камнях, опорных точках нашего мировоззрения,— немало они выдюжили,— о нашем убеждении, что для марксизма нет и не может быть запретных тем.

Вряд ли ошибусь, если скажу, что и теория искусства — теория, которую мы называем нашей,— не приемлет понятия: запретная тема. А какова практика? Воздержимся от размашистых и поспешных заключений. Сначала надо бы изучить: как фактически обстоит дело, впрямь ли наличествует расхождение теории и практики? В чем оно проявляется? Глубоко ли въелось?

Таков, естественно, смысл этого моего замечания. Не только провозглашать требование правды, ее целостности, полноты, но и обязательно сопоставить провозглашенное и практику — практику идущей изо дня в день работы с литераторами.

Эту проблему, волнующую нас, тоже следовало бы обсудить на творческой конференции, которая мне видится, рассмотреть факты без какой-либо предвзятости, без крикливости или жеманства.

А пока... Пока, если следовать тов. Л. Финку, пусть за все про все отвечает изменивший правде, сурово в письме осужденный юноша Крош. К нему, герою повести Анатолия Рыбакова, мы теперь и перейдем.

Крош, на мой взгляд, удивительно счастливая находка писателя. Открыт, создан (или, не лучше ли сказать, воссоздан?), живет, действует естественный во всех своих проявлениях, единый в щедром разнообразии черточек, охваченный страстью расследователя, разыскателя истины, новый, никого не повторяющий характер. Живет не только на страницах книги. Он для меня настолько ощутим, что я, не подхлестывая воображения, могу представить себе Кроша сидящим напротив меня вот у этой моей настольной лампы. Слышатся его слегка еще мальчишечьи независимые интонации.

Такого рода художественная удача, улыбнувшаяся А. Рыбакову, не часта в литературе.

Крош не приходит в книгу с уже готовым или, так сказать, заданным, пронизывающим личность устремлением. Страсть, что движет им, рождается, возгорается на наших глазах. Выяснить правду, добраться, докопаться, одолеть затруднения, которые неизбежно, неумолимо встают на пути,— в этом проросшее зерно характера, натура, душа Кроша. Случай, которым он подвигнут, выглядит не очень значительным — всего-навсего надо установить фамилию неизвестного солдата; однако и возраст-то Кроша невелик. Верим: эта натура складывается, выковывается для больших дел.

Но оставим предугадку.

Всмотритесь: какое богатство действительности раскрывается в связи с поисками Кроша. Один за другим, вереница различных и вместе с тем равно привлекательных, волнующе хороших,— сказал бы, замечательных, да высокий стиль не в духе Кроша,— людей предстают в главах «Неизвестного солдата». Это и сами солдаты, что живут в книге посмертно, и дедушка, и некогда капитан, а ныне заместитель министра Стручков, и мать не вернувшегося с войны солдата, сибирская крестьянка Бокарева. В повествовании не обойдены и люди иного пошиба, вызывающие насмешку, презрение, даже ненависть Кроша. Полноводье жизни с силой, которую трудно измерить, впечатляет, воспитывает, формирует нашего героя, захваченного розыском правды.

Помню, в свою пору и мы, молодые работники овеянных именем Горького «Истории заводов» и «Кабинета мемуаров», с такой же, как бы унаследованной Крошем настойчивостью, страстностью изучали вдоль и поперек наше

прошлое и настоящее, жизнь замечательных,— извини, Крош, все же вылетело! — наших современников, что звались людьми двух пятилеток. Помню, словно бы живой водой освежали, воодушевляли эти встречи. Поныне не заглохла боль, с какою я узнал, что все собранные нами воспоминания, нигде не опубликованные, хранившиеся в несгораемых шкафах издательства «Правда», были в некий разнесчастный день чьей-то волей уничтожены. И все же надеюсь, что удастся восстановить, найти хоть некоторую часть,— эх, нужен бы и тут свой Крош! — этих сгинувших тысяч и тысяч страниц, что являлись, скажу без преувеличения, национальным достоянием.

Да, распознаю в Кроше преемника тогдашних «беседчиков», старателей, добытчиков правды. И, давая своей рецензии неброское, даже примелькавшееся название «По следу отцов», я втайне имел в виду и эту, дорогую мне, особенную преемственность.

Но как же, однако, случилось, что доброволец, неизвестный солдат истины, Крош изменил ей? Какой приговор вынесем ему?

Позволю себе словами В. Д. Бонч-Бруевича рассказать один эпизод из жизни Ленина.

«— Надя плоха, все хуже и хуже...— грустно и тихо сказал Владимир Ильич в ответ на мой вопрос, почему он так мрачно смотрит...

— Надежде Константиновне необходим длительный отдых и обязательно вне Москвы,— сказал я Владимиру Ильичу...

Владимир Ильич серьезно, искоса посмотрел на меня. Я понял, что эта моя настойчивость пришлась ему по душе, и так как я знал всю опасность болезни Надежды Константиновны, то с радостью стал советовать Владимиру Ильичу перевезти Надежду Константиновну в одну из лесных школ в Сокольники».

Далее в воспоминаниях сообщается о переезде Надежды Константиновны в Сокольники. Ее частенько навещал Владимир Ильич. Собрался к ней и под рождество. Выехал, как обычно, на автомашине из Кремля, но почему-то не прибыл вовремя в школу, где уже находился Бонч-Бруевич.

«Не показывая никому и тени волнения, я решил незаметно выйти и поехать навстречу по пути следования

Владимира Ильича. Я стал отыскивать шофера, как вдруг увидел входящих Владимира Ильича и Марию Ильиничну. Он поздоровался и спросил:

— Где Надя?

— Пошла к себе наверх.

— Ты иди к ней,— обратился он к Марии Ильиничне и, немного задержавшись, тихо сказал мне:

— На нас напали какие-то хулиганы с револьвером и отняли машину, я приехал на чужой... Ничего не говорите Наде...

Выяснилось, что «хулиганы» были вооружены с ног до головы и что Владимир Ильич стоял под угрозой двух револьверов, направленных в виски...

Я почувствовал, что меня одолевают мурашки, нервная дрожь распространяется по всему телу. Надо было справиться с собой и действовать...

— Вас ждет Надежда Константиновна, она волновалась по поводу вашего запоздания...— сказал я Владимиру Ильичу.

— Да, да, я пойду, только молчок... Наде ни слова...— сказал он полушепотом, делая пальцем знак молчания».

На следующей странице читаем про елку, вечер в лесной школе, общение Ленина с детьми. И потом:

«Мы распростились с Надеждой Константиновной, оставив ее и учителей школы в полном неведении о случившемся, и двинулись в моем автомобиле с шофером Рябовым в путь, на всякий случай держа наши револьверы на изготовке».

Выступит ли в данном случае Л. Финк в роли прокурора? Предъявит ли обвинительное заключение: нельзя прятать правду, ситуационная этика, нравственный компромисс? Воскликнет ли: нас зовут согласиться, а соглашаться нельзя?!

Не знаю, какую он займет позицию. Что касается меня, я не сумею, да и не хочу прибегать к рассуждениям, чтобы выгородить Ленина. Некое чувство, чутье — сейчас не найду ему эпитета,— которое, уверен, разделяют со мной читатели, говорит: Ленин, всегда требующий правды, беспощадно, бескомпромиссно, проникновенно извлекающий истину, был вправе шепнуть Бонч-Бруевичу: «Молчок!» — и ничего не сказать своей трудно выздоравливающей жене о нападении.

Не так ли?

И все же он сказал.

В словах Бонч-Бруевича: оставив Надежду Константиновну «в полном неведении», словно бы недоставало — это я смутно, очень смутно ощущал — какого-то последнего живого штришка. И перед моим мысленным взором (тут разрешу себе признаться, что отважился рисовать Ленина в большой вещи, над которой исподволь работаю) картина не оживала. Стал перелистывать воспоминания Крупской. И вот:

«...Мы в лесной школе поджидали Ильича с Марьей Ильиничной и удивлялись, что они запаздывают. Когда они добрались, наконец, до школы, лица у них были какие-то странные. Я потом в коридоре спросила, что с ним? Он минуту поколебался, боясь меня взволновать, а потом мы пошли в мою комнату, и он рассказал подробно».

Теперь тот вечер в лесной школе для меня, писателя, затрепетал светотенями. Да, Владимир Ильич поколебался-поколебался, нужно ли выложить правду,— ох, уже достаточно и этого, чтобы пошла в ход неумолимая обвинительная логика. И наверняка не распространился,— иначе не могло статься,— что два револьвера были нацелены в виски.

Как же все-таки понять его будто непоследовательность: «Молчок!», а потом сам же сказал? Да попросту увидел, что скрыть происшедшее от Надежды Константиновны, уже что-то угадавшей, заподозрившей, значило бы еще больше взволновать, и поделился пережитым.

И ей-ей, саркастически расхохотался бы, если б кто-либо стал домогаться: на основании чего и кто должен решать, когда можно и нужно прятать или искажать правду? Ситуационная этика? Несете, сударь, чушь, архисхоластику.

Каков же ключ к нему? По-моему, это лишь два слова: живой Ленин. Не манекен, не машина, не мумия, не святоша, не ханжа — повторим: живой Ленин.

Парнишка Крош тоже существует живьем,— в этом-то сила и закон художества,— совершает поступки согласно собственным горячим, живым побуждениям, а не как фигурка, которую дергает за ниточки автор.

Колебания раздирают душу Кроша.

Один голос:

«— Я неправды говорить не буду».

Другой:

«— Не мог я ей этого сказать, не мог!.. Если бы ты видел ее глаза, видел бы эту несчастную женщину — она живет одним, этой могилой, этой поездкой,— ты бы тоже не смог ей сказать».

Перед нами совестливый, живой Крош. Он внутренне метался, спорил сам с собой, и что-то непреложное, неодолимое повелело ему вести себя так, а не иначе.

Как сформулировать это «что-то»? Для меня ответ лишь в том же: живой Крош! Ищите объяснения в его личности, его натуре.

Можно ткнуть пальцем в его непоследовательность. Решил скрыть правду, а потом взял да и рассказал нам все начистоту. Писатель как бы услышал, запечатлел исповедь своего героя. И на мой слух, ни в чем не сфальшивил.

Тут мы обязаны сказать еще несколько слов о художественной правде. Л. Финк трижды употребляет глагол «заставлять». А. Рыбаков «заставил своего симпатичного Кроша выбирать между правдолюбием и человечностью». «...Заставляет своего героя соврать», «...Заставляет... пережить серьезную внутреннюю драму». Я не хочу уколоть Л. Финка. Он мне видится начитанным, мыслящим, интересным человеком, с которым я бы в охотку побеседовал. И несомненно, сумел бы кое-что вобрать в такой беседе. Поспорили бы относительно, как он выражается, «абсолютной категоричности», или, по-моему, топорности, иных его суждений насчет правды. И пожалуй, во многом сошлись бы: противник лжи, он этим мне понятен, близок. А не пришли бы к согласию — что же, какая тут беда?

Но вот со словечком «заставлять» надо, тов. Финк, обходиться осторожней, аккуратней. Ведь если писатель заставляет героя действовать по указке, то почему бы не заставить и писателя? Весьма опасаюсь; ежели, к примеру, дать вам властишку в литературе, вы с вашей «абсолютной категоричностью» именно к этому придете.

И не посчитаетесь с азбукой художества, гласящей, что лишь в ремесленных поделках автор может принуждать и по надобности перепринуждать действующих лиц. В истинно же художественных произведениях герой живет собственной жизнью, попробуй-ка его заставить: сломаешь. Или, по крайней мере, испортишь образ, испортишь про-

изведение, пострадает правда. Своими «заставлять» вы, тов. Финк, можете вызвать лишь отповедь, отпор правдивого художника.

А именно к таким принадлежит Анатолий Рыбаков. Закончу словами, уже сказанными мною в рецензии. «Неизвестный солдат» — победа писателя. Правда искусства торжествует. В этом итог вещи.

<1972>

ВЫСЛУШАЕМ И ТОМАСА МАННА

Вопрос, который мы сегодня обсуждаем, касается не только нашего товарища В. Ковалевского. Многие писатели подвергались и еще будут подвергаться обвинениям, похожим на те, что выдвинуты нынче против книги В. Ковалевского.

Думается, мы в подобных случаях обязаны дать себе ясный отчет: идет ли речь об истинно художественном произведении, не свободном, быть может, от ошибок или перед нами вещь дурного пошиба, подделка, имитация литературы. Позволю себе привести некоторые выдержки из написанной па эту тему статьи Томаса Манна «Бильзе и я».

Статья начинается так:

«Бильзе,— все помнят о нем,— это тот блестящий военный, который нам преподнес эпос о «Маленьком гарнизоне». Недавно в Любеке, моем родном городе, во время судебного разбирательства одного издательского дела,— сильно нашумевшего, но для нас не представляющего интереса,— много и горячо говорилось о нас обоих: о Бильзе и обо мне, или, скорее, о моем романе «Будденброки» — книге, без которой не обходится ни один скандальный процесс; дело в том, что часть ее образов слеплена с живых лиц... Представитель обвинения несчетное количество раз с большой строгостью произносил мое имя, равно как название моего сочинения; в заключение своей обвинительной речи, говоря о «романах в духе Бильзе», он, в качестве убедительного примера этого нового и скандального литературного жанра, назвал роман «Будденброки». «Я хочу,— сказал он,— открыто и во всеуслышание заявить, что и Томас Манн написал свою книгу à la Бильзе, что «Будденброки» — тоже «роман в духе Бильзе», и я буду от-

стаивать это свое утверждение!» Он стоял, гордо выпрямившись во весь рост».

А я как раз перед выступлением спрашивал у некоторых моих товарищей: знают ли они эту статью? И оказалось — не знают. Прочтем далее строки Томаса Манна:

«Без сомнения, он (прокурор.— *А. Б.*) верит в то, о чем говорит. Он верит прежде всего в то, что литературный жанр, который он называет «романы в духе Бильзе», возник в наши несчастные дни, что он его открыл и дал ему название. Та степень образованности, обрести которую ему представил случай, не позволяет ему знать о том, что рядом с литературой настоящей всегда существовала другая, сомнительная,— «литература в духе Бильзе», если хотите, и которая в известные времена достигала особого расцвета... Он считает господина Бильзе отцом всякого скандала, а меня — его духовным братом... Он не видит разницы между мною и автором «Маленького гарнизона» и никогда не увидит, даже если бы захотел. «Я буду это отстаивать!» — говорит он. Он стоит, гордо выпрямившись, весь — воинствующая тупость. В этой позе мы его и оставим».

Оставив прокурора, Томас Манн спрашивает:

«Как могло случиться, что искусство, до известной степени строгое и страстное, не колеблясь смешивают с писаниями захолустного пасквилянта, который корявым немецким языком выразил весь свой жалкий запас озлобленности нижнего чина против начальства?»

Превосходный немецкий писатель продолжает:

«Можно утверждать одно: если всех авторов, которые, руководствуясь исключительно художественными соображениями, изображали живых людей из своего окружения, окрестить именем лейтенанта Бильзе, тогда под этим именем следовало бы собрать целые библиотеки из произведений мировой литературы, в том числе и самые бессмертные творения. Я не располагаю местом для примеров, которые бы мог привести; пришлось бы цитировать всю историю литературы насквозь. Возьмите хотя бы Ивана Тургенева, возьмите даже Гете — ведь и они причиняли неприятности. После появления «Вертера» Гете стоило немалого труда успокоить скомпрометированных прототипов Лотты и ее мужа. Тургенев вызвал негодование, когда в своих «Записках охотника» с беззаботностью художника изобразил русских помещиков, гостеприимством которых

пользовался. Отыскивая в прошлом могучих и истинных творцов среди тех, кто вольному «изобретению» предпочитает опору на нечто уже данное, прежде всего — на действительность, мы именно здесь находим великие и величайшие имена; напротив, нам менее дороги имена тех, кто в истории поэзии значится в числе великих «изобретателей». И это, разумеется, вполне закономерно».

Думается, не будет нескромным сказать, что мне близка, дорога эта статья Томаса Манна. Некоторые мои вещи тоже подвергались ударам, о которых он с такой болью говорит. Впрочем, личные переживания — в сторону!

Усвоим, восприемем, товарищи, главную мысль статьи: взявшись судить о любой книге, мы обязаны определить, является ли она истинно художественным произведением или это нечто не принадлежащее к художественной литературе. Хотелось бы выслушать аргументы тех, кто принципиально отрицает такие критерии. Конечно, тут аргументация затруднительна. Однако на деле иные авторы,— я имею в виду и выступление Б. Бялика на страницах журнала «Вопросы литературы»,— попросту уклоняются от художественной оценки вещи, о которой ведут речь. Так нельзя. Не найдешь правильную меру, верный тон.

Мне вспоминается шутка К. Паустовского. Он говаривал: «В литературе идет война Алой и Серой Розы».

Используя этот афоризм, выскажу свое убеждение, что книга В. Ковалевского являет собою, может быть, скромную, непритязательную, но, несомненно, одну из алых роз. Другие участники нашего обсуждения уже доказали, что «Тетради из полевой сумки» — произведение высокой художественной пробы. Пусть в нем есть ошибки, промахи, неосторожности,— не надо их замалчивать,— но это ошибки художника.

К сожалению, К. Симонов в своем интересном критическом разборе ушел от художественного анализа «Тетрадей». Он употребляет лишь термин: мемуары. Но это роман, обретший себя в облике мемуаров, роман нового жанра. В. Ковалевский достаточно ясно сам пишет об этом. Вот, например, запись: «Какая это будет книга? Ничего не знаю. Хотелось бы избежать традиционной формы романа. Что это будет? Скорее всего — в личной форме или нечто необычное по форме». Запись оканчивается грустными словами: «Мечты, мечты!..»

Книга В. Ковалевского есть осуществление этих его писательских мечтаний. Совершенно необычная по стилю, не повторяющая манеры ни одной из нам известных дневникового характера книг о войне и вместе с тем сохраняющая совершенную естественность формы, естественность авторской интонации, эта книга и дает решение коренной художественной задачи, которую поставил себе автор.

В заключение повторю: критически разбирая книгу В. Ковалевского, ничего в ней не затушевывая, мы должны понимать, что имеем дело с работой поэта, истинного большого художника.

<1971>

«...ЭТО И ЕСТЬ НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»

Дневник. 19 марта <1937 года>

Сутки назад приехал в Енакиево. Днем был в горкоме, в заводоуправлении, вылавливая стариков, знакомился, коечто успел.

Вечер провел у Свицына и только что (в час ночи) вернулся к себе в номер <...>.

Завтра пойду с ним осматривать завод.

Письмо. 20 марта <1937>

Встретили меня очень приветливо в заводоуправлении и более холодно в партийном комитете. Инженерство и администрация все-таки знают меня как писателя, а партработники Енакиева, к сожалению, не знают. Не знают и рабочие. Надеюсь, будут знать немного шире, когда выйдут «Доменщики».

Я получил отдельную комнату, большую, в заводском доме приезжих. Дом этот очень близко от завода и совсем рядом с «деловым клубом», где я обедаю, ужинаю и т. д. И вот совпадение — в этом доме раньше, давным-давно, была квартира Курако, а потом когда Курако уехал из Енакиева,— квартира Бардина.

В дальнейшем я, может быть, перееду подальше от завода, в лес, в зелень, к пруду, где расположены дома отдыха. Это может случиться через месяц, когда я покончу в основном с беседами...

Здесь на заводе полностью сохранился архив нужных мне годов, это очень хорошо. С послезавтрашнего дня начну работать в архиве, а завтра утром еду в Сталино, пред-

ставляться в обком, в писательскую организацию, и, кстати, попробую устроить некоторые литературные дела...

Старых рабочих, переживших здесь разруху, помнящих Бардина, Межлаука и др., здесь очень много. Некоторых уже видел, с одним провел беседу, но колоритных типов, просящихся в роман, пока что не нашел.

Представь себе, меня здесь взял под свое покровительство Свицын. Я у него провел вечер, он был очень любезен, сам вызвался показать завод, показал, выписал мне постоянный пропуск, знакомил с людьми и т. д. С директором я виделся еще мельком, свидание назначено на послезавтра.

В общем, все устраивается как будто хорошо <...>.

Дневник. 20 марта

Обход завода со Свицыным.

Вечером беседа с Пшеничным — доменщиком, брат которого был повешен. Беседа дала мало. Выяснил для себя лишь, что был большой слой рабочих, нашедших разрешение своих жизненных противоречий в квалификации. Он (Пш.) стал к революции старшим газовщиком, получал 3 р. 50 к. в день да приработки. Имел 2000 рублей сбережений и считал, что жизнь сложилась удачно. (Но хотелось еще чего-то — свободы, утверждения своего пролетарского первенства, 8-ми часов работы.) Преданность заводу, любовь к работе — очевидно, основное в характере таких рабочих.

Письмо. 24 марта

<...> Здесь уже настоящая теплая, солнечная весна. На улицах сухо, хожу без галош, хорошо, что не купил сапог — здесь они совсем не нужны. Вчера и сегодня даже пальто не надевал, ходил в пиджаке...

Наступает, в общем, лето, и мне немножко грустно. Зима прошла как-то неплодотворно, сделано очень мало, особенно как-то досадно за Малеевку — это было, как вижу сейчас, очень пропащее время. Только два-три осенних месяца я работал в полную силу и много сделал, а остальное время как-то расползлось. Теперь надо наверстывать и наверстывать.

Здесь мне хорошо. Особенно чувствуется, что нет под окнами этого проклятого трамвая, который незаметно, но верно подтачивает жизнь...

Теперь мои новости.

Я работаю энергично, по утрам сижу в архиве, вечерами — беседы. Пока еще знакомлюсь с нужными людьми, со стариками и выбираю для последующих основательных бесед. Охватил пока человек 5—6. Это представители одного слоя, квалифицированных рабочих, мастеров, имеющих талант к технике, любящих свое тонкое дело, находящих в нем творчество, нашедших в любом квалифицированном труде разрешение своих жизненных проблем, нашедших даже счастье в этом. До другого слоя, несравненно более обширного, до рабочих черного, не творческого, тяжелого труда, я еще не добрался. Но и их я разыщу, быть может, за ними я отправлюсь в шахты. Работать хочется, энергии много, хочется скорее, скорее все узнать, изучить <...>.

Дневник. 24 марта

Получил неприятный щелчок в нос.

Утром пошел завтракать в «деловой клуб» и вдруг случайно узнал, что здесь сейчас будет заседание актива при дирекции. Естественно, мне захотелось быть, но вместе с тем я был несколько удивлен, что меня не пригласили. Подошел к П., попросил разрешения присутствовать. Он несколько неуверенно сказал: «Можно». А через пять минут ко мне подходит его секретарь и говорит: «Приходите через два — два с половиной часа, начнутся прения рабочих, вам будет интересно» <...>.

Не оставляет меня вместе с тем не совсем приятное чувство, когда я вспоминаю о письме Твардовскому. Одно место, где я писал, что на заводе нет угля, что хозяйство дезорганизовано, тревожит меня: надо ли было это писать? Не лучше ли держать про себя? И верно ли это? Ведь информацию я получил от Свицына. Как жаль, что именно от него я получаю информацию <...>.

Все эти дни я был в хорошем настроении, потому что хорошо работалось. Нашел богатый архив, нашел стариков рабочих, кое-что стало проясняться, и, главное, все время было чувство, что я много узнаю, выясню и дам хорошую, глубокую вещь.

А теперь настроение испортилось.

Письмо. 27 марта

<...> Работа моя идет медленнее, чем хотелось бы. Знаешь, как это бывает. Обещал человек прийти на беседу

и не пришел, то я не могу застать нужного работника, то еще что-нибудь. Например, три дня подряд хожу к председателю завкома (чтоб договориться о собрании старых рабочих) и не могу застать.

Где у меня есть хорошие успехи — это в разработке архива. Нашел массу ценнейших материалов, и эпоха делается для меня яснее и яснее. Самое приятное, что материалы подтверждают мою прежнюю концепцию и обогащают ее. У меня уже руки чешутся приступить к писанию, и, наверное, в первых числах апреля я начну писать, одновременно продолжая беседы.

Я окончательно решил, что буду сперва делать только первую часть под заглавием «Последняя печь». Сюжет — отстаивание последней печи. Это еще не восстановление промышленности, а борьба за последний живой островок средь моря разрухи.

Будет показан военный коммунизм, экономическая политика военного коммунизма, и суть образа Щербака — рабочего-директора — будет в том, что он идет против течения, обходя декреты, изворачиваясь и поэтому удерживая дыхание завода. Будет много новых глав, даже новых действующих лиц, произведение будет листов 10—12 (из них написано почти начисто 6), к середине июня должно быть готово. Боюсь только одного, что вторую часть придется замариновать, ибо надо браться за АИК. Вот как случается с моими вещами: размахиваюсь, потом сокращаю, сокращаю, а в печать идет в виде отдельной повести одна десятая задуманного. «Курако» — первая часть «Истории Кузнецкстроя», «События одной ночи» — первая часть «Доменщиков». «Последняя печь» тоже будет, как видно, всего лишь первой частью большой эпопеи. Отсюда надо извлечь какой-то урок.

Последние три дня почти не проводил беседы, потому что проходил актив партийных и непартийных большевиков завода <...>.

Здесь сухо, ветер, пыль, вечно ходишь грязный, запыленный.

Письмо. 31 марта

<...> С сегодняшнего дня я по утрам начинаю заниматься дома. Работа в архиве закончена, материалов масса, несколько дней я еще и еще буду их изучать в своей комнате. С фигурой рабочего повезло наконец-таки.

Я перебрал человек шесть старых рабочих, и все бледноватые типы, плохие рассказчики, неподходящие. Наконец в лице седьмого я, кажется, нашел то, что мне нужно. Это заводской железнодорожник, непоседа, общественник, рабкор и т. д. Сейчас ему больше шестидесяти, в годы разрухи он ездил с маршрутными поездами завода (заводской паровоз, заводские вагоны, заводской уголь и даже заводская цистерна с водой — на всякий случай, вдруг где-нибудь разрушена водокачка), ездил добывать хлеб и разные материалы для завода. У него и семья очень интересная — четыре сына, один инженер, другой начальник эксплуатации заводской железной дороги, третий мастер проката, четвертый студент. И все в Енакиеве! Я их всех немного потормошу...

Теперь мне надо будет найти шахтера. Надеюсь, и с этим справлюсь. Денька через два поеду на шахту.

Сегодня будет вечер воспоминаний стариков, который организован для меня. Работа кипит.

Письмо. 2 апреля

<...> 31-го был вечер воспоминаний, собралось человек 60, было сумбурно, но какую-то общую картину я получил.

С сегодняшнего дня я начинаю проводить эти вечера воспоминаний маленькими группками, по 5—6—7 человек, по цехам. Сегодня электрики, завтра железнодорожники, послезавтра доменщики и т. д. Я хочу таким образом пропустить сквозь себя человек сто, из них выделить трех-четырех и с этими еще беседовать и беседовать отдельно.

Ты видишь, что это дело тяжелое, но иначе нельзя. Писательская добросовестность не позволяет!

Днем я буду писать, вечером беседовать, а через месяц (может быть, и раньше) целиком перейду на писание. Вот моя программа.

Дневник. 2 апреля

С сегодняшнего дня начинаю проводить собрания старых рабочих маленькими группками. Надо придумать вопросы, которые я буду ставить.

Первый вопрос, самый центральный, вопрос всех вопросов — почему рабочие были за революцию, за большевиков. Как ни странно, но для меня это не совсем ясно. Ведь были другие пути, другие программы — скажем, меньшевист-

ские, почему же рабочие поддерживали большевиков? Ради немедленного прыжка к коммунизму? Ради того, чтоб беспощадно разделаться с врагами? В чем тут соль? И когда эта поддержка колебалась, когда готова была рухнуть? Пожалуй, именно немедленный переход к коммунизму дает ответ на этот вопрос (и на тот и на другой). И если бы не было поворота к нему, то поддержки бы, пожалуй, и не было.

В общем, это центральный вопрос. Но, черт возьми, чем дальше в лес, тем больше дров. Ведь придется и меньшевистской организацией заняться. Ничего не поделаешь, кажется, придется.

Второй вопрос — военный коммунизм отбрасывал личную заинтересованность и делал ставку на абстрактную героичность. Герои были, были случаи геройства, но почему был необходим переход к нэпу, почему необходимо было отступить? Что было бы, если бы военный коммунизм держался бы дальше?

Конкретные проявления политики военного коммунизма на заводе:

1) зарплата,
2) хлеб,
3) дис[циплинарные] суды,
4) принуждения,
5) связи с деревней,
6) семейная жизнь.

Картина разрухи, разные случаи, иллюстрирующие это.

Письмо. 6 апреля

Можешь меня поздравить, с завтрашнего дня начинаю писать. Поездка уже дала мне очень много. Я убедился в том, чего раньше не понимал (или понимал неясно),— что рабочий любит свой труд. Простая истина, а добрался я до нее только сейчас. Даже самый грязный, тяжелый труд, например, кочегара или шахтера является любимым, дает удовлетворение, дает содержание жизни. Не у всех, вероятно, но я нашел уже старого кочегара, простого русского рабочего, который поэтизирует свой труд, всегда раньше лишь проклинавшийся в литературе. Вот я читаю Золя «Жерминаль», у него шахтеры ненавидят труд. У меня будет совсем наоборот (если мне это удастся показать). <...> Человеку присущ инстинкт труда. И мой Гардин в высшей мере выражает эту преданность труду, которая живет

в тысячах рабочих. Он выражает самое лучшее, самое коренное в их натуре, и поэтому любим ими.

Второе, что я понял и что совершенно не постигал в Москве,— это то, что последняя печь удержалась именно благодаря рабочим. Я понял не доходившие раньше до меня слова о героизме масс. В общем, понятно много, я написал сейчас только одну частицу (и быть может, поэтому она выглядит несколько односторонне), я понял, почему массы поддерживали большевиков, понял, почему был неизбежен военный коммунизм и почему необходим был затем отход от него <...>

Дневник. 7 апреля

Итак, с сегодняшнего дня я приступаю к писанию.

Ставлю себе задачу дать широкую картину 20-го года, эпоху военного коммунизма. Вырисовался тип председателя завкома — носителя идей коммунизма, рабочей власти, молодого, горячего, красивого, смелого парня.

Идея такова — 20-й год, попытка прыгнуть в коммунизм, она ошибочна, но неизбежна, ибо рабочие именно поэтому поддерживали большевиков, и им нужен был долгий путь, долгий опыт для того, чтобы убедиться в необходимости отступления. Ввожу ряд новых сцен, новых глав и новых действующих лиц. Председатель завкома (буду списывать до некоторой степени с Г.) — для него хорошая фамилия Мачта, затем председатель кооперации (образ до сих пор неясен), затем Башмаков, зав. отделом снабжения, комбинатор, затем — рабочие: кочегар Федорцев, железнодорожник Никишин, доменщик Равенский, шахтер и т. д. Все они представители труда, и лучший из них выразитель страсти к производству — Гардин. Так сталкивается труд и коммунизм. Щербак опытный, зрелый человек, хозяйственник по призванию, реальный коммунист.

Дать все эти образы, дать картину производства и широкую панораму эпохи. Надеюсь, что справлюсь.

Два с половиной месяца в моем распоряжении, я должен сделать работу за два.

Какие новые сцены (главы) необходимо ввести:

1) ввод Чистякова (на кладбище),
2) сцена дис[циплинарного] суда,
3) арест Щербака (в подвале),
4) маршрутный поезд.

5) герои труда (Гардин перед списками, все же они, рабочие, удержали завод, хотя в его, Гардина, руках и не было, казалось, реальной власти),

6) сцена в Дружковке (разоренный завод).

Вводить ли Луговика? Быть может, с небольшой ролью.

Гардин пьет в лаборатории у Луговика.

Письмо. 10 апреля

Пишу я как-то по-новому, не боюсь психологии, не боюсь быть длинным. Наоборот, выходит очень много. В общем, хорошо, только чтоб не сглазить...

Письмо. 12 мая

Три дня я работаю с полной нагрузкой и сделал довольно много — 23 страницы. Правда, многое переписывал с черновиков, но кое-что написал и заново. Тружусь с подъемом, выходит как будто хорошо, рельефно, интересно, глубоко, но когда я обозреваю взглядом весь роман, то пугаюсь. Слишком много еще впереди работы. Ой как много! Страниц четыреста должно быть, а у меня начисто написано лишь шестьдесят, да в черновиках страниц сто. Двести пятьдесят придется создавать еще наново. Тяжела ты, шапка романиста!

Пугает меня еще вот что — будет ли интересно в целом? Не скучно ли будет? Ведь задумана мною титаническая эпопея. Показать весь разворот завода на первом этапе коммунизма, изобразить технические, и главное, социальные проблемы, вставшие перед большевиками при переходе к хозяйственному строительству, показать инженеров, большевиков, рабочих. Пронизать все это драматизмом, борьбой сильных характеров. Это будет поистине подвиг, если я с этим справлюсь. Черт возьми, ведь пишут же люди романы по двадцать, по тридцать листов. И я знаю, что мой роман будет не менее интересен, чем романы Золя, лишь бы довести его до конца, лишь бы хватило, как говорится, дыхания.

Я вспоминаю, как Галкин в Малеевке передавал нам слова Бергельсона: «Для прозаика самое важное три вещи: во-первых, спокойствие, во-вторых, спокойствие и, в-третьих, спокойствие». Вероятно, в этом много правды. Спокойно вести повествование, не стесняясь тем, что якобы длинно, якобы скучно. Высказывать не торопясь все, что хочешь сказать. Мне еще так далеко до конца...

Этот роман будет для меня испытанием — перейду ли я от шестилистных повестей к двадцатилистным романам. Иной раз трудности кажутся столь велики, что хочется бросить, но нет, бросить нельзя, надо пробиваться вперед и вперед, «иного нет у нас пути». Итак, глубоко вздохнув, вновь принимаюсь за работу. Буду писать неторопливо, основательно, добротно. Спокойствие, спокойствие и спокойствие.

Дневник. 13 мая

Приехал в Донбасс восьмого. 9-го, 10-го, 11-го работал очень хорошо. Написал за три дня 25 страниц (правда, по большей части по старым черновикам). 12-го работал неважно, днем по случаю выходного играл в шахматы, а вечером сидел за столом всего лишь часа три. Работается с аппетитом, творческий накал хороший, но шахматы — невиннейшая страсть! — все же меня отвлекают, и вчера я дал зарок не играть всю пятидневку. Сегодня днем работал хорошо — пять часов сполна! Это у меня такое правило: утром — пять часов, вечером — четыре. Мне удается выполнять этот режим. Но сегодня вечером, едва я поработал часа полтора, как погас свет. Я ждал почти полчаса, свет не зажигался, я пошел в «деловой клуб» и проваландался там почти два часа. В шахматы, правда, не играл, но засел за домино. Хрен редьки не слаще. В результате написано в чистовике только две страницы (и, правда, еще порядочно сделано в черновике). Пишу сейчас очень ответственную сцену — психологию рабочих, волынящих, не работающих. В общем, удается, мрамор до некоторой степени слушается. Нарочно пишу так осторожно, чтоб не сглазить. Выходит как будто интересно и глубоко по замыслу, но все эти дни меня страшил объем работы. Шутка сказать, изобразить завод, проблему труда, производство при режиме социализма, полном иллюзий, дать характеры, их борьбу. Нет любви, нет маленького сюжета (вроде как в «Событиях»), но надо дать напряжение, надо писать так, чтоб читали не отрываясь. И я чувствую, что могу это сделать, что задача по плечу. Надо лишь работать, работать, работать. Не отвлекаясь даже маленькими страстишками. Впереди еще много труда, но сегодня это меня почему-то не страшит. Сегодня я уверен, что справлюсь. Хорошо здесь работается, отдельная комната, чистая, большая, никто не отвлекается, прямо-таки дом творчества, да и только.

Поработаю числа до седьмого, потом три-четыре дня в шахтах, потом беседы для «Наших достижений».

Не считая выходных — двадцать рабочих дней. Устанавливаю себе норму — пять страниц в день. Значит, я должен сделать сто страниц черновика. Буду трудиться в выходные, хотя бы по полдня.

Каждый день буду кратко записывать — сколько сделано.

Дневник. 14 мая

Работал девять часов. Сделано 2,5 страницы.

Письмо. 15 мая

Моя жизнь здесь чрезвычайно однообразна. С утра до вечера работаю — все. <...> Это, пожалуй, подвиг: сидеть и писать, писать, запрещая себе даже партию в шахматы, но только при таком подвижничестве можно чего-нибудь добиться. И все-таки при всем напряжении работа двигается медленно. Вчера, например, за девять полных часов работы я сделал только две с половиной страницы. Смотри как мало! И это на полном разгоне.

Я пишу сейчас труднейшие сцены — даю образ массы, ее характеристику, ее анализ, и все-таки это дается мне. Приходится ставить коренные вопросы революции, и с этим я, кажется, справляюсь. Одно меня беспокоит — будет ли это интересно. Ведь хочется, чтоб все это было захватывающе. Боюсь, что этого не достигну, ведь в моем романе почти совсем не будет «частной жизни». А это крупнейший минус.

Письмо. 16 мая

<...> Мучения, порывы, борения, труд — это и есть настоящая жизнь, дающая больше счастья, чем безмятежное существование. Да, настоящим писателем стать трудно, если не сказать: невозможно (титаны творчества совершают именно невозможное).

Комментарии

В четвертый, завершающий Собрание сочинений. том вошли крупные мемуарно-автобиографические произведения А. Бека «Почтовая проза», роман-записки «На своем веку» и рассказ, примыкающий к ним по творческому методу, «Такова должность».

Кроме того, в настоящем издании впервые объединены выступления писателя в периодической печати, а также представлены дневниковые записи. Условно-тематически они разделены на две части — материалы, связанные с Великой Отечественной войной, и выступления, посвященные вопросам литературы.

Поскольку для интервью, статей, заметок А. Бека о войне характерны текстуальные повторения, в том дублирующиеся материалы не включены.

Тексты вошедших в том произведений в большинстве своем печатаются по первым и единственным прижизненным публикациям. Исключения оговариваются.

ПОЧТОВАЯ ПРОЗА

Впервые — в авторском сб. «Почтовая проза». М., «Советский писатель», 1968.

Упоминания о книге появляются в дневнике А. Бека в 1960 году: «...У меня есть еще одна работа, которая сейчас меня очень «завлекает». Дело в том, что недавно Лида Т(оом) отдала мне всю нашу переписку. Писем огромное количество — несколько сот. И я вдруг увидел, что если взять период 1932 года (поездка в Кузнецкстрой) — 1938 г. (конец «Кабинета мемуаров»), то письма этого периода с сегодняшними комментариями могут составить интересную содержательную книгу. Начал разбирать эти письма, готовить эту книгу о временах Горького, «История заводов», о моих первых шагах на писательском пути» (Архив Бека).

В процессе создания книги план изменился: писатель сузил первоначально намеченные хронологические рамки до 1932—1936 гг. (работе 1938 года посвящен роман-записки «На своем веку») и привлек, помимо писем и «сегодняшних комментариев», дневниковые записи, стенограммы, наброски тех лет.

Спустя два года книга была завершена: «На днях закончил «Почтовую прозу». Что собой представляет эта книга, еще сам не понимаю. Хороша ли? Плоха? Будет ли напечатана? Не знаю, не знаю. Но очень захотелось ее сделать. Какая-то ценность в ней есть»,— записал Бек в дневнике 6 мая 1962 года (там же).

«Почтовая проза» вызвала широкий отклик в печати, критика единодушно отметила ее историко-литературную ценность. «Книга, посвященная времени, когда документальная проза еще только становилась, отыскивая свои пути и формы, весьма любопытна и ценна как свидетельство современника и участника созидания нового жанра советской литературы. «Почтовая проза» многое может дать литературоведу и историку, интересующемуся такими начинаниями эпохи как «История заводов», «Кабинет мемуаров» и т. д. Интересна и полезна книга А. Бека будет, наконец, всем тем читателям, которые любят и знают творчество писателя, интересуются его истоками,— они с удовольствием примут приглашение побывать в его творческой мастерской» (В. Масловский. Глазами очевидца.— «Новый мир», 1969, № 9).

Стр. 70. *«...это советовал Чехов: бейте читателя по морде...»* — вольная цитата из письма А. П. Чехова к Ал. П. Чехову (между 10 и 12 октября 1887 года). Полн. собр. соч. Письма. Т. XIII, 1948, с. 372.

Стр. 93. *«...все это сгорело в 1941 году на даче под Москвой».*— По ряду свидетельств Бека архив был утрачен в 1942 году.

Стр. 166. *«Пришла «Литгазета» со статьей о «Событиях одной ночи».*— См.: Островский Ю. События одной ночи.— «Литературная газета», 1936, 5 августа, № 44.

ТАКОВА ДОЛЖНОСТЬ

Впервые — «Новый мир», 1969, № 7.

Происхождение рассказа восходит к неосуществленному роману А. Бека «АИК». Материал об Американской Индустриальной Колонии — так именовалась группа американских рабочих во главе с иностранными коммунистами Хейвудом и Рутгерсом, которая в начале двадцатых годов приехала на помощь Советской стране,— был накоплен писателем-«беседчиком» в тридцатые годы.

Значительную часть материала составили беседы с С. Дыбецом, который юношей рабочим иммигрировал в Америку, где примкнул к движению индустриальных рабочих мира, затем, в 1917 году, вернулся в Россию, а в двадцатые годы по поручению В. И. Ленина поехал в Кузбасс, чтобы принять участие в работе АИКа.

В 1942 году большая часть этих заметок и стенограмм погибла. Но план романа «АИК» не был полностью отложен писателем, а трансформировался в замысел романа с условным названием «Дыбец». Относящиеся к пятидесятым годам конспекты бесед с дочерью Рутгерса и вдовой Дыбеца, дневниковые записи и рукописные наброски, хранящиеся в архиве А. Бека, свидетельствуют о неослабевающем интересе писателя к тому пласту советской истории, который преломился в прихотливой судьбе С. Дыбеца. «Этот роман будет очень важным, очень в глубине острым, я рассматриваю его как дело жизни»,— записывает Бек в дневнике 1957 года (там же). Но повествование о Дыбеце было оттеснено иной работой, и лишь весной 1967 года Бек возвращается к нему, ограничив свое внимание на одном из моментов биографии героя.

«Надо подготовлять в набор «Почтовую прозу». Я решил добавить листа три-четыре — рассказ о Дыбеце, о гражданской войне, Махно и т. д.»,— пишет он в дневнике 27 апреля 1967 года. Из записи от 27 мая также явствует, что Бек писал рассказ как вкрапление в «Почтовую прозу» (типа главы «Гулыга»): «...Гоню и гоню большую (страниц на сто) вставку — рассказ Дыбеца» (там же).

«Вставка», однако, оформилась в самостоятельное произведение «Такова должность», а в «Почтовую прозу» вошло лишь вступление к рассказу о Дыбеце («Знакомство»), которое в настоящем издании в «Почтовой прозе» опущено.

Готовя рассказ «Такова должность» для одноименного сборника (вышел посмертно в издательстве «Советский писатель» в 1973 году), Бек внес в текст несколько стилистических поправок.

Стр. 174. *«У Маркса нет и капельки утопизма...»* — В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 33, с. 48.

НА СВОЕМ ВЕКУ

Впервые — «Знамя», 1973, №№ 4—5 (сокращенный вариант).

Роман-записки «На своем веку» продолжает «Почтовую прозу» и в той же «мозаичной», по определению А. Бека, форме рассказывает историю неосуществленного романа о династии доменщиков Коробовых, материал к которому писатель собирал в 1938 году. Роль этой довоенной работы в творчестве Бека значительно шире создания «Записок доменного мастера» (1939). В дневнике 1965 года Бек отмечает: «Доменщики Коробовы занимают особенное место в моей писательской судьбе. Когда-то я увлекся отцом (теперь покойным), обер-мастером доменных печей и его сынами. Отчасти именно через Коробовых, полюбив их, я любил свое вре-

мя...» (Архив Бека). В пятидесятые — шестидесятые годы Бек не раз возвращается к этим материалам и возобновляет беседы с Коробовыми-сыновьями.

Воплощение замысла писатель нашел не в традиционной повествовательной форме, а в «подборке» бесед, писем и собственных комментариев. Несмотря на жанровую однотипность «Почтовой прозы» и «На своем веку» (сам Бек называл роман-записки «второй книгой «Почтовой прозы»), последний, повторяя найденный прием, строится больше на жизненном, нежели на историко-литературном материале. Это — не столько рассказ о работе писателя, сколько повествование о Коробовых,— не случайно черновое заглавие романа «Моя неудача» Бек сменил на слова И. Г. Коробова «На своем веку».

Работа над романом-записками была начата 11 декабря 1970 года: «Сегодня приступаю к новой вещи. Это вроде продолжения «Почтовой прозы». История моей неудачи с книгой о семье доменщиков Коробовых. Вещь будет порядочная — листов 12. Намереваюсь сделать ее за полгода. Материалов очень много. Хочу, чтобы читатель как-то сжился со мною (автором) и с моими героями. И тогда — неудача. Неудачные куски рукописи. И обсуждение среди писателей. Полный провал. В чем же его смысл? Как понимаю сейчас — не было расстояния между мной и временем, между мною и героями. Не было исторического расстояния, которое дается мыслью, позицией. Впоследствии я об этом где-то сказал,— кажется, в «Волоколамском шоссе» (см. «Страницы жизни».— *Т. Б.)*. И все-таки эта неудача, а также последующая полуудача («Рассказ доменного мастера») оказалась подступом, преддверием к «Волоколамскому шоссе...» (там же).

В 1972 году роман-записки «На своем веку» — последняя работа А. Бека — был завершен.

В настоящем издании роман представлен полностью. Печатается по рукописи, хранящейся в архиве писателя.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ. ДНЕВНИКИ

О войне

О прошлом во имя будущего

Впервые — «Вопросы литературы», 1965, № 5.

Ответы на анкету были напечатаны под общей рубрикой «К 20-летию победы над гитлеровской Германией».

На решающем рубеже

Впервые — «Пионер», 1966, № 8.

На Волоколамском шоссе

Впервые — «Литературная газета», 1971, 1 декабря, с. 3, № 49. Ответы на анкету были напечатаны под общей рубрикой «Этих дней не смолкнет слава... 30-летие битвы под Москвой».

Стр. 514. *«...написал книгу о своем генерале...»* — Имеется в виду книга Момыш-Улы «За нами Москва».

В тот декабрьский день

Впервые — «Вечерняя Москва», 1971, 6 декабря, с. 3, № 286, с подзаголовком «Из блокнота писателя».

Стр. 515. *«Твардовский сделал очень точные замечания по поводу моего героя...»* — См. рассказ Ал. Лесса «Замечания Твардовского. Из творческой истории «Волоколамского шоссе» (Ал. Лесс. Непрочитанные страницы. М., «Советский писатель», 1966.

«Мир хочет знать, кто мы такие»

Впервые — «Ленинское знамя», 1971, 31 декабря, с. 3, № 304. Статья представляет собой расширенную заметку «На крыльях» (1959), напечатанную в сб. «Почтовая проза». Не вошел в статью лишь один, заключительный, абзац заметки: «Что сказать еще? Решено: примусь за повесть. На крыльях (не мною открыто, что одно из них Внимание, другое — Воображение) я полетел во фронтовой блиндаж, где меня ждал человек, с которым я много лет назад расстался, воин-казах Бауржан Момыш-Улы, прозванный в детстве Шап-Тимесом по имени легендарного коня, скакавшего столь быстро, что даже пыль, поднятая им, не касалась его».

Из дневников

Впервые — «Вопросы литературы», 1973, № 5.

Первую часть публикации составили выдержки из дневника 1942 года и записи из тетради Бека тех же лет «Разные беседы», сравнение которых с окончательным текстом «Волоколамского шоссе» позволяет проследить путь от торопливого наброска до художественно обобщенного образа, от небольших сценок до центральных сюжетных линий книги.

Вторая часть («Из послевоенных тетрадей») — впервые. Выдержки из дневников 1956—1960 гг., когда Бек работал над третьей и четвертой повестями «Волоколамского шоссе», вводят в творческую мастерскую писателя.

На основе этого материала Бек предполагал написать продолжение начатого «Почтовой прозой» цикла «историй» своих книг. Обдумывая финал романа-записок «На своем веку», Бек в дневнике 1970 года замечает: «О «Волоколамском шоссе» следующая книга...»

Отвечая на анкету «Литературной газеты», в 1971 году Бек подтвердил свое намерение прокомментировать творческую историю «Волоколамского шоссе»: (см. «На Волоколамском шоссе»).

Стр. 523. *«Восьмое декабря».*— См. комментарий к очерку «День командира дивизии» (т. 2 наст. изд.).

Стр. 524. *«Рокоссовский».*— См. комментарий к очерку «Штрихи» (там же).

Стр. 528. *«Читал Клаузевица...»* — Имеется в виду книга выдающегося военного мыслителя XIX в. Карла Клаузевица — «О войне».

Стр. 538. *«Продумывал третью часть «Волоколамского шоссе»* — продолжение опубликованных в 1942 году первой и второй повестей. В итоге «третья часть» распалась на повести «Несколько дней» и «Резерв генерала Панфилова».

Стр. 540. *«Бой под Тимково»* — черновое название главы «Ночь».

Стр. 541. *«Беспорядок это новый порядок»* — черновое название главы «Побеседуем втроем»; от заключения *«После большой-пребольшой точки»* Бек в процессе работы отказался; *«Бой под Калистово»* — черновое название главы «Двадцать восьмое октября»; *Краев* — прототип Заева.

Стр. 542. *«Как я женился».*— От этого эпизода Бек отказался, предпочтя ему воспоминания из детства Бауржана Момыш-Улы; *Валя Вахмистрова* — прототип Вари Заовражиной.

Стр. 543. *«...вещь (усеченная, без усеченных глав)...»* — В журнальной публикации третья повесть «Волоколамского шоссе» — «Несколько дней» — завершается главой «Командир дивизии за работой»; три главы о преступлении и оправдании Заева опущены. *«Пробовал начать с Гали...»* — речь идет о Варе Заовражиной.

Стр. 544. Рассказ *«Поворот головы»* вошел как эпизод в главу «Последняя встреча»; *«Еще несколько дней»* — вариант названия четвертой повести «Резерв генерала Панфилова».

Стр. 545. *Застрожин* — в окончательной редакции — Строжкин.

Стр. 546. *«...эпилог. Сделаю его из рассказа «Последний лист».*— См. комментарий к одноименному рассказу (т. 2 наст. изд.).

Стр. 547. *«Посланец генерала».*— Имеется в виду глава «Секрет чистого бритья»; *«Шестнадцатое ноября»* — черновое название главы «Так держать — значит не удержать».

Публикуется по рукописи. (Архив Бека.)

О литературе

Ваш корреспондент потерпел неудачу...

Впервые — «Литературная газета», 1959, 20 мая, с. 3, № 61, в сокращении.

Печатается по сб. «Почтовая проза», М., «Советский писатель», 1968.

Люди великого пятидесятилетия

Впервые — «Литературная газета», 1960, 30 июня, с. 1—2, № 77.

В 1967 году, готовя заметку для сб. «Почтовая проза», Бек внес в нее ряд сокращений, а также разбил текст звездочками на разделы,— эта правка и обусловила двойную авторскую дату: 1960—1967.

Печатается по сб. «Почтовая проза», М., «Советский писатель», 1968.

Слово Ильича

Впервые — «Литературная газета», 1960, 22 апреля, с. 2, № 48.

В черновике заметка носит название «Ленин как литератор». Остановившись на названии «Слово Ильича», Бек оговорил при этом во вступлении к заметке свой замысел написать когда-нибудь более обширную статью о Ленине-литераторе.

Действительно, заметка «Слово Ильича» была для писателя предварительной. В дневнике 1961 года содержится запись с новыми подступами к теме: «Ленин как литератор» (мысли, заметки). «Написанное Лениным — особенно в 1917—1923 гг.— дает полное представление о времени. По его вещам можно узнать эпоху. Все существенные ее стороны. Ему была ведома и ее тайная жизнь... Полнота изучения, полнота отражения, глубина, диалектика противоречия, парадоксы — все это схватывала мысль Ленина, его перо. И не было правила — не трогать теневых сторон и т. д. Настоящее и прошлое, все повороты, все противоборствующие силы, все он схватил. Что значительное, существенное он пропустил? Полнота — вот что подчеркнуть. Кто его герой? Международный рабочий класс. Так ли это? Продумать. Во всяком случае, где у нас еще такой писатель с таким ощущением рабочего движения,

как своей стихии?» (Архив Бека). Замысел статьи реализован не был.

Готовя заметку «Слово Ильича» для сб. «Счастливая рука», Бек несколькими абзацами дополнил газетный вариант. При включении в сб. «Почтовая проза» заметка также подверглась правке.

Печатается по сб. «Почтовая проза», М., «Советский писатель», 1968.

Как мы пишем

Впервые — «Вопросы литературы», 1962, № 5.

Готовя текст для сб. «Почтовая проза», Бек расширил ответ на вопрос № 7 (со слов «Ради точности...»).

Печатается по сб. «Почтовая проза», М. «Советский писатель», 1968.

О книге солдата

Впервые — «Иностранная литература», 1962, № 4.

Заметка была написана в качестве предисловия к роману Дитера Нолля «Приключения Вернера Хольта» (перевод с немецкого).

«Доктор Пауст»

Впервые — «Книжное обозрение», под названием «Константин Георгиевич (штрихи)», 1968, 9 марта, с. 10, № 11, в сокращении.

Записи, на которых основан этот литературный портрет, сделаны в марте — апреле 1960 года (о их происхождении рассказано непосредственно в тексте).

В мае 1967 года Бек впервые обнародовал их на юбилейном вечере в Центральном доме литераторов. «...Сегодня вечер 75-летия Паустовского. Я там выступаю. Прочту заметку о нем, написанную ровно пять лет назад и еще неопубликованную».

Тетрадь «Месяц с Паустовским», о которой Бек говорит во вступлении к заметке, хранится в его архиве. Интерес представляет одна из записей, не вошедшая в окончательный текст «Доктора Пауста». «К его внешности: чудесный высокий лоб, горбатый острый нос, как бы всюду забирающийся, губа дегустатора, глаза лукавца, начинающие блестеть, когда он рассказывает... Его уши большие на редкость, но не уродливые, красивые, его брови — разлет, кончики на середине вверх, а дальше продолжение, нормальные. Может быть, именно в бровях разгадка внешности. Внешнее как выражение внутреннего» (т а м ж е).

Текст печатается по изданию «Воспоминания о Константине Паустовском». М., «Советский писатель», 1975.

Стр. 573. *«Останься прост, беседуя с царями...»* — цитата из «Заповеди» Р. Киплинга в переводе М. Лозинского.

Памяти друга

Впервые — «Огонек», 1962, с. 4, № 40.

Сохранилась машинопись этого прощального слова с точной датой написания — 26 сентября 1962 года.

На следующий день после кончины Казакевича, 23 сентября, Бек записал в дневнике: «Итак, все кончено. Казакевич — огромная потеря и для меня, он — это целая полоса и в моей жизни» (Архив Бека).

О Николае Чуковском

При жизни А. Бека заметка опубликована не была.

Печатается по машинописи с авторской правкой и датировкой — 25 марта 1963 года (Архив Бека).

Книги жизни

Впервые — «Новый мир», 1967, № 11.

Материал напечатан в подборке «Полвека советской литературы», общее содержание которой раскрыто в редакционном вступлении «Редакция журнала обратилась в преддверии юбилея (пятидесятилетия советской власти.— *Т. Б.*) к ряду известных советских писателей, попросив поделиться на страницах журнала своими мыслями о советской литературе, о том, что им дорого в ее опыте, в ее свершениях, как складывались их собственные писательские судьбы, какие писатели и произведения сыграли особую роль в их творческой биографии, какие уроки для себя и для общества видят они в пятидесятилетнем пути нашей литературы, как понимают задачи ее дальнейшего развития».

Герои книг — современники

Впервые — «Труд», 1970, 24 марта, с. 3, № 69.

Материал напечатан в подборке под рубрикой «Говорят писатели России».

Стр. 582. *«Двадцатые годы».*— См. комментарий к циклу «Рассказы о Серго» (т. 1 наст. изд.).

Стр. 583. *«Мои неудачи».*— См. комментарий к роману-запискам «На своем веку» (т. 4 наст. изд.).

По следу отцов

Впервые — «Новый мир», 1970, № 12.

Рецензия на повесть А. Рыбакова «Неизвестный солдат», как обозначено в дневнике Бека, написана 22—27 октября 1970 года.

Стр. 584. *«...Крошем, которого читатель уже знает...»* — Имеются в виду повести А. Рыбакова «Приключения Кроша» (1960) и «Каникулы Кроша» (1966).

О правде

Впервые — «Вопросы литературы», 1972, № 1.

Выступление напечатано в журнальной полемике — «Неизвестный солдат». Этические принципы и правда художественного произведения», которую составили открытое письмо Л. Финка А. Рыбакову, ответ автора повести «Неизвестный солдат» критику и комментарий к письму Л. Финка А. Бека. Письмо Л. Финка А. Рыбакову написано «под впечатлением рецензии А. Бека» (см. «По следу отцов») и, в сущности, полемизирует не только с автором «Неизвестного солдата», но и в равной степени с его рецензентом.

Стр. 590. *«Необходимо брать не отдельные факты...»* — Цитата из статьи В. И. Ленина «Статистика и социология» (Полн. собр. соч., т. 30, с. 351).

Стр. 592. *«...последнего писательского съезда...»* — Имеется в виду V съезд писателей СССР, состоявшийся в 1971 году.

Стр. 594—595. *«Позволю себе словами В. Д. Бонч-Бруевича...»* — Бек приводит цитату из книги: В. Д. Бонч-Бруевич. Воспоминания о Ленине. М., «Наука», 1969, с. 367 и далее.

Стр. 596. *«Стал перелистывать воспоминания Крупской...»*—См.: Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. М., Госполитиздат, М., 1957, с. 399.

Выслушаем и Томаса Манна

Впервые — «Вопросы литературы», 1971, № 6.

Стенограмма выступления А. Бека в дискуссии «Права и обязанности документалиста», которую журнал «Вопросы литературы» провел совместно с творческими объединениями прозаиков и критиков Москвы. Дискуссия возникла вокруг полемических заметок Б. Бялика «По холодным следам» («Вопросы литературы», 1971, № 1), где высказан ряд критических замечаний к книге В. Ковалевского «Тетради из полевой сумки».

А. Беку была особенно близка такая проблема обсуждения, как соотношение прототипа и литературного героя. Об этом он не-

однократно размышлял на страницах своего дневника: «Откуда же нам брать свои сюжеты и своих героев, как не из жизни? Изучение жизни. Что это — пустые слова? Для меня писательство без этого немыслимо. А классики? Вот вам Тургенев. Нам же известны прототипы Рудина, Базарова, многих других тургеневских героев. И вместе с тем Рудин все же не Бакунин. Если писателю удалось создать характер, произведение искусства, прототипы, откуда бы он их ни взял, перевоплощены, преображены» (Архив Бека).

Стр. 598. *«...эпос о «Маленьком гарнизоне».*—Томас Манн пишет о романе немецкого писателя Фрица Освальда Бильзе «В маленьком гарнизоне».

«Это и есть настоящая жизнь...»

Впервые — «Вопросы литературы», 1974, № 9, с подзаголовком «Из архива Александра Бека».

Эту посмертную публикацию, построенную, как и материал «К истории «Волоколамского шоссе», по аналогии с книгами А. Бека «Почтовая проза» и «На своем веку», составили выдержки из дневниковой тетради «Енакиевские записи» и писем к Л. П. Тоом от 1937 года, которые иллюстрируют историю создания повести «Последняя домна» (см. т. 1 наст. изд.). Дневниковые записи и отрывки из писем чередуются в строго хронологической последовательности.

Стр. 601—602. *Свицын, Курако, Бардин, Межлаук* — прототипы ранних повестей А. Бека о доменщиках.

Стр. 602. *«...беседа с Пшеничным...»* — Речь идет о прототипе Аржанова, одного из персонажей повести «Последняя домна».

Стр. 604. *«...надо браться за АИК».*— См. комментарий к рассказу «Такова должность» (т. 4 наст. изд.).

Стр. 606. *Гардин* — фамилия, которую Бек предполагал дать главному герою повести «Последняя домна», в окончательной редакции — Макарычеву.

Стр. 609. *«...вроде как в «Событиях»...»* — Имеется в виду повесть «События одной ночи».

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ВОШЕДШИХ В СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ АЛЕКСАНДРА БЕКА

СОДЕРЖАНИЕ

Бек А.

Б42 Собрание сочинений. В 4-х томах. Т. 4. Почтовая проза. Такова должность. На своем веку. Литературные заметки. Дневники. Коммент. Т. Бек. М., «Худож. лит.», 1976.

624 с.

В четвертый том Собрания сочинений А. Бека вошли мемуарно-автобиографические произведения писателя — «Почтовая проза», «Такова должность», роман-записки о династии доменщиков Коробовых «На своем веку».

В настоящем издании впервые объединены литературные заметки, опубликованные в разные годы в периодической печати, а также дневники, относящиеся к творческой истории «Волоколамского шоссе» и повести «Последняя домна».

Б $\frac{70302\text{-}056}{028(01)\text{-}76}$ подписное **Р2**

Александр Альфредович Бек

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ IV

Редактор З. Батурина

Художественный редактор В. Горячев

Технический редактор С. Журбицкая

Корректоры М. Муромцева и И. Филатова

Сдано в набор 28/V 1975 г. Подписано в печать 24/XII 1975 г. А 13497. Бум. типогр. № 1. Формат 84×108 1/32. 19,5 печ. л. 32,76 усл. печ. л. 33,526 + вкл. = 33,576 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Заказ 2377. Цена 1 р. 40 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Полиграфкомбинат имени Я. Коласа Государственного комитета Совета Министров БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Минск, Красная, 23.


40 к.